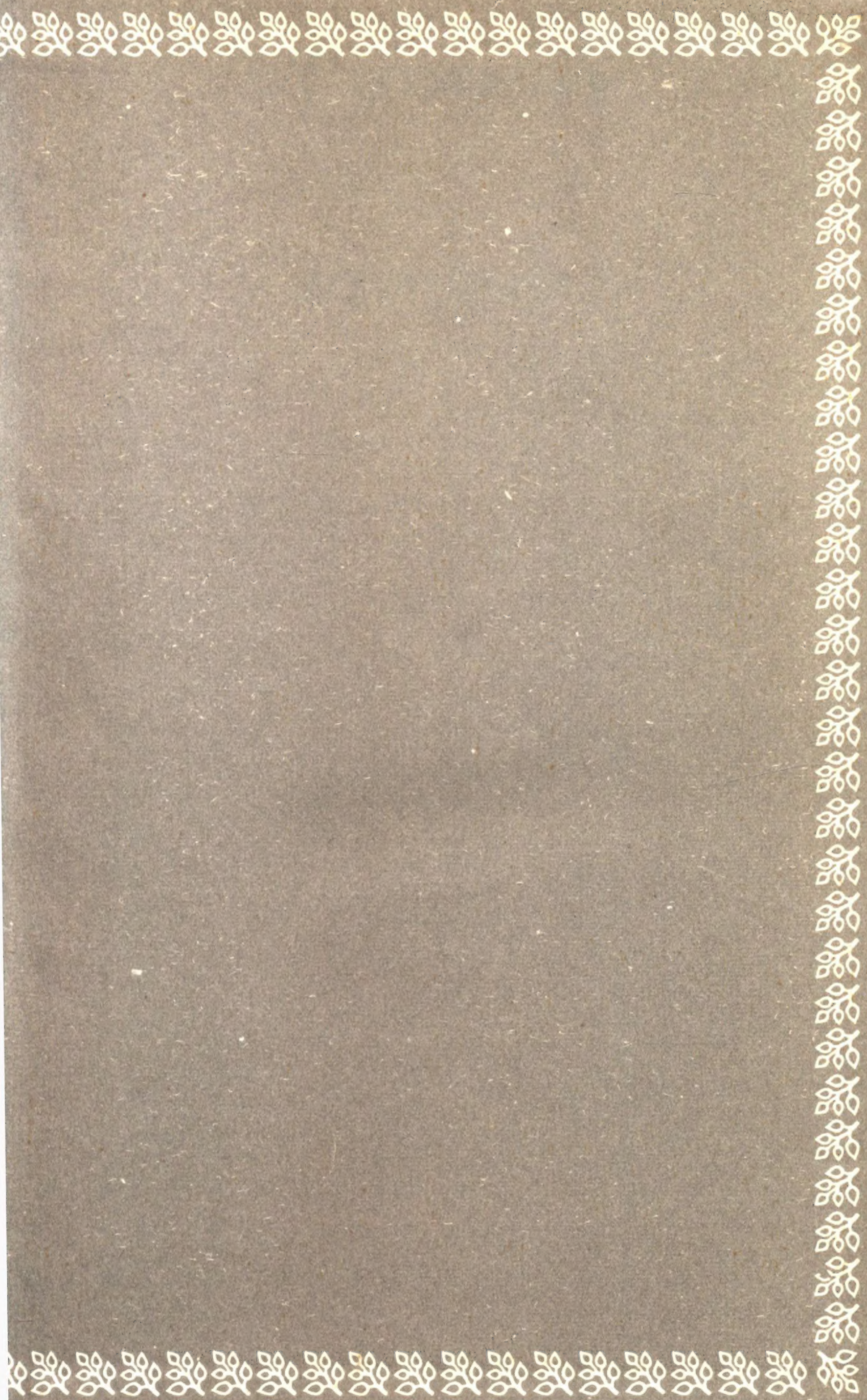


Д. Григорович

ИЗБРАННОЕ



Д. Григорович

ИЗБРАННОЕ

Д. Григорович

ИЗБРАННОЕ

Москва
«Современник»
1984

P1
Г83

Текст печатается по изданиям:

Григорович Д. В. Полное собрание сочинений в XII томах 3-е, вновь пересмотренное и исправленное автором издание. Т. VII, VIII. СПб., Изд-во А. Ф. Маркса, 1896. Григорович Д. В. Избранные сочинения. М., Гослитиздат, 1954.

Составитель и автор вступительной статьи *Н Утехин*

Художник *С. Соколов*

Григорович Д. В.

Г83 Избранное/Сост. и авт. вступ. статьи Н. Утехин. Худ. С. Соколов.— М.: Современник, 1984.— 528 с., ил.

В пер.: 2 р. 80 к.

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899) — выдающийся писатель-реалист, отобразивший в своем творчестве русскую действительность 40—60-х годов XIX века, и прежде всего жизнь крестьянства.

Сборник составили известные произведения, прочно вошедшие в золотой фонд классики, — повести «Деревня», «Антон-Горемыка», «Гуттаперчевый мальчик», и произведения, редко издававшиеся в наше время, — рассказ «В ожидании парома», повести «Пахарь», «Кошка и мышка», в которых выражен активный протест писателя против крепостнического гнета и произвола

Г 4702010100—039 П1—83
М106(03)—84

ББК 84 Р7
Р1

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Более чем полувековая творческая деятельность Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1899) охватывает почти все основные периоды развития русской реалистической литературы XIX века. В своих многочисленных произведениях: очерках, рассказах, повестях, романах, литературных воспоминаниях — писатель с присущей его таланту наблюдательностью сумел отобразить самые различные стороны жизни как дореформенной, так и послереформенной России, особенности литературно-общественной борьбы своего времени, возбудить интерес читателей к тем вопросам, которые тревожили передовое русское общество на протяжении второй половины прошлого века. И не случайно в 1893 году, в день пятидесятилетия литературной деятельности Д. В. Григоровича, лучшие русские писатели, в том числе и Л. Н. Толстой, отдали ему дань почтительности и признания как одному из патриархов отечественной литературы.

И все же лучшие страницы его творческого наследия, наивысшие художественные достижения, в силу условий воспитания, особенностей дарования, среды, его окружающей, общей направленности духовного развития, были прежде всего связаны с эпохой сороковых и пятидесятих годов, с воздействием на мировоззрение писателя революционно-демократических идей В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. А. Некрасова, писателей, примыкающих к кружку журнала «Современник».

Дмитрий Васильевич Григорович родился 19(31) марта 1822 года в городе Симбирске, в семье отставного майора Василия Ильича Григоровича, служившего в 20-х годах управляющим имениями графа А. Соллогуба, а затем приобретшего имение Дулебино в Тульской губернии, где и поселилась семья будущего писателя.

Отец Д. В. Григоровича умер, когда мальчику было всего восемь лет, и его воспитанием в основном занималась бабушка по матери, Мария Петровна Ледантю.

Как замечал в своих воспоминаниях Д. В. Григорович, «в кругу русских писателей вряд ли много найдется таких, которым в детстве привелось встретить столько неблагоприятных условий для литературного поприща, сколько было их у меня»¹

¹ Григорович Д. В. Полн. собр. соч. в XII т. Т. XII. СПб, 1896, с. 209.

До восьми лет, по свидетельству писателя, в его руках не было ни одной русской книги. Конечно же, в этом была особенность судьбы не только Григоровича, но и некоторых других дворянских русских писателей, которым приходилось обучаться родному языку как иностранному. В то время, замечал Герцен, существовало как бы «две разных России» «...между образованным классом и народом — полный разрыв: иная одежда, иной язык, иные мысли. община и дворянство, более ста лет (после реформы Петра I. — Н. У.) противостоявшие друг другу и друг друга не понимавшие»¹. И несмотря на этот, казалось бы, полный разрыв, русские писатели не только не утрачивали сознания своей национальности, но и оказывались в своих лучших произведениях выразителями самого духа народного. Может быть, действительно «есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей»², — задавал вопрос себе и своим читателям Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», — которое не дает нам прервать эту кровную связь со своим народом, отечеством, позволяет нам оставаться русскими.

Если такое «химическое соединение» и было, то, как мы знаем, образовывалось оно прежде всего воздействием на души дворянских детей тех самых крепостных крестьян, которыми владели и трудом которых жили их родители.

Не был здесь исключением и Григорович. «Русскому языку, — писал он позже, — выучился я от дворовых, крестьян и больше от старого отцовского камердинера Николая; он любил меня, как будто я десять раз был его родным сыном... О нем можно сказать то же, что Филарет говорил о русском народе: *в нем свету мало, но теплоты много*. По целым часам караулил он, когда меня пустят гулять... водил по полям и рощам, рассказывал разные приключения и сказки... за весь холод и одиночество моей детской жизни я отогревался только — когда был с Николаем»³. Быть может, именно эта бескорыстная, преданная любовь крепостного, тесное общение с крестьянами и определили в конечном счете общий пафос и тематическую направленность произведений Григоровича, до конца своих дней сохранившего верность униженному и угнетенному народу.

В 1832 году мать Д. В. Григоровича, Сидония Петровна, желая дать сыну необходимое образование, привозит его в Москву и помещает сначала в гимназию, а затем в частный французский пансион Монигетти, где он учился до 1836 года.

Переезд в 1836 году в Петербург и зачисление в Главное инженерное училище, куда двумя годами позже поступил и Ф. М. Достоевский, во

¹ Герцен А. И. Полн. собр. соч. в XXX т. Т. XIII. М., изд-во АН СССР, 1958, с. 171.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в XXX т. Т. V. Л., «Наука», 1973, с. 52.

³ Григорович Д. В. Полн. собр. соч., т. XII, с. 214.

многим определили судьбу писателя. Годы учебы в училище с его строгой дисциплиной, атмосферой дружного и в то же время порой беспощадного и сурового товарищества были безусловно хорошей школой жизни для нерешительного, робкого и чувствительного подростка, которому вскоре предстояло самостоятельно устраивать свою жизнь.

Специальные лекции, читаемые в военном учебном заведении, все же мало занимали внимание Григоровича. Во многом благодаря знакомству с Достоевским истинным его увлечением становится литература. Воодушевленный чтением Шиллера, юноша принимается за сочинение первой своей пьесы — из итальянских нравов. Жизнь в училище все более тяготит его. Дисциплинарное наказание за то, что он не отдал по рассеянности честь великому князю Михаилу Павловичу, и последовавшая за тем болезнь явились для Григоровича достаточным предлогом, чтобы уволиться из училища.

Заявив матушке, что его призвание быть художником, юноша поступает в Академию художеств, об учебе в которой он напишет позже в своей повести «Неудавшаяся жизнь» (1850), но вскоре оставляет и ее и поступает на службу в канцелярию директора императорских театров А. М. Геденова. Знакомство с актерами и завзятыми петербургскими театрами и, «особенно, частые посещения Александринского театра», как писал сам Григорович, невольно внушили ему мысль «принять более близкое участие в сценической деятельности»¹. Довольно успешно он переводит французский водевиль «Шампанское и опиум» и драму Ф. Сулье «Наследство», которая вскоре даже была напечатана в журнале «Репертуар и Пантеон».

Еще будучи кондуктором (курсантом) училища, Д. В. Григорович прочитал сборник стихотворений Н. А. Некрасова «Мечты и звуки», а затем познакомился и с самим поэтом, еще только вступившим на литературное поприще. Сближение с Некрасовым окончательно утвердило его в желании «жить также своим трудом, сделаться также литератором», посвятить свою жизнь высокой поэзии.

В литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» появляются первые оригинальные произведения Григоровича «Театральная карета» и «Собачка», рассказы, которые, как понимал и сам автор, к сожалению, лишены были хоть каких-либо достоинств.

Столь же беспомощным оказался и рассказ Григоровича «Штука полотна», помещенный в юмористическом сборнике «Первое апреля», задуманном и осуществленном предприимчивым Некрасовым.

И все же, несмотря на неудачи первых опытов, Григорович не оставляет литературной деятельности. Благодаря сотрудничеству с Некрасовым, он попадает в сферу действия новых идей, охвативших передовую русскую литературу в 40-е годы и оформившихся затем в статьях и выступ-

¹ Григорович Д. В. Полн. собр. соч., т. XII, с. 251.

лениях В. Г. Белинского в целостную идейно-эстетическую программу так называемой «натуральной школы»

К 40-м годам XIX века со всей очевидностью обнаружилась иллюзорность романтических представлений о жизни, а вместе с тем и страшная власть над человеком окружающей его среды. Отсюда естественное стремление передовой русской литературы к неприкрашенному исследованию действительности, ее «деромантизации», «депоэтизации», к раскрытию губительного воздействия ее на человека и резкой ее критике. Формула «литература есть художественное познание действительности» во многом стала определять направленность творчества передовых писателей этого времени.

Наряду с утверждением необходимости трезвого взгляда на то положение, в котором оказалось в 40-е годы русское общество, художники «натуральной школы», основываясь на идейно-эстетических принципах творчества Гоголя, заявившего, что для искусства нет низких тем, и сумевшего возвести в «перл создания» «жизнь толпы», «людей низших сословии», огромное значение придавали широкой демократизации литературы. Следуя этим принципам, русская литература окончательно становилась на путь возмужания, на путь осознания подлинной народности.

«Русская литература,— писал Н. А. Некрасов,— поумнела и быстро вступает в период зрелости... Отказавшись от изображения бурь и волнений, без сомнения возвышенных и глубоких, возникающих в благовонной атмосфере аристократических зал, при громе бальной музыки... она не гнушается темных дел, страстей и страданий низменного и бедного мира... Сделав великий шаг твердо и сознательно, она не смущается позорными упреками, которые, к стыду нашего времени, сыплются еще на нее из разных углов, за то, что занимается она предметами *ничтожными и унижительными для нее, роется в грязи...*»¹

Неукротимое стремление литературы к познанию, анализу, исследованию, сближение научного и художественного сознания являлись одной из важнейших идейно-эстетических установок «натуральной школы». В своей статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В. Г. Белинский, отстаивая демократичность искусства, прямо сближает его с наукой. «Природа,— писал он,— вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не человек? — Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что? — Его душа, ум, сердце, страсти, склонности, — словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого; но разве... для анатомика и физиолога организм дикого австралийца не так же интересен, как и организм просвещенного европейца? На каком

¹ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в XII т. Т. IX. М., Гослитиздат, 1950, с. 180—181.

же основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки?»¹

Естественно, что стихия научного, детального, «микроскопического» исследования человека и среды, его окружающей, наиболее яркое, чем в других жанрах прозы, выражение получило в так называемых физиологиях, очерках, с возможной точностью воспроизводящих черты и свойства тех или иных социальных типов (крестьянина, ремесленника, помещика, чиновника), их быта и условий жизни.

Именно такого рода физиологический очерк «Петербургские шарманщики», написанный по заданию Некрасова и помещенный в программном сборнике писателей «натуральной школы» «Физиология Петербурга», вышедшем в 1844 году, и обеспечил первый серьезный успех Григоровичу.

«Петербургские шарманщики» г. Григоровича,— писал Белинский в 1845 году,— прелестная и грациозная картинка, нарисованная карандашом талантливого художника. В ней видна наблюдательность, умение подмечать и схватывать характеристические черты явлений и передавать их с поэтической верностью. Г-н Григорович — молодой человек и только что начинает писать. Такое начало подает хорошие надежды в будущем»².

Влечение к изображению действительности «так, как она представляется», к созданию новых, неизвестных для прежнего искусства тем, которое, как заметит позже сам писатель, он тогда испытывал, было, конечно, не только личным влечением Григоровича. Это была общая тенденция развития передовой русской литературы 40-х годов. Но надо отметить, что молодой Григорович был одним из первых русских писателей, в чьем творчестве она нашла свое яркое выражение.

Во вступительной части своего рассказа писатель прямо заявляет о той задаче, которую он ставит перед собой как художник.

Григорович как бы приглашает читателя вместе с ним внимательно присмотреться к такому, казалось бы, всем знакомому явлению, как петербургские шарманщики. В их «частной и в общественной, уличной жизни многое достойно внимания». — уверяет он и тут же с большой художественной убедительностью доказывает это своим рассказом, обосновывая тем самым новым героям право на место в литературе, чуждавшейся до тех пор всего низменного, грубого, неизящного.

Писатель создает несколько блестящих по исполнению социальных портретов проживающих в Петербурге шарманщиков, представляющих как «класс мещан» — бедных шарманщиков-одиночек, так и «аристократию» от шарманки, устраивающую коллективные выступления на улицах. В то же время он дает как бы национальный срез физиологии своих героев,

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в XIII т. Т. X. М., изд-во АН СССР, 1956, с. 300.

² Там же, т. IX, 1955, с. 55.

метко подмечая национальные особенности характера итальянских, немецких и русских шарманщиков. Причем, рассказывая о приехавших в Петербург итальянских и немецких шарманщиках. Григорович дает понять, что не только в России, но и в других странах Европы образуется целый класс обездоленных людей, готовых на все, чтобы добыть себе и своим детям кусок хлеба.

В соответствии с идеино-эстетическими установками «натуральной школы» писатель не ограничивается лишь фиксацией тех или иных черт жизни и быта своих персонажей; он стремится выявить социальные мотивы их поведения, их психологии, выяснить, что обрекло человека на нищенское существование, что заставляет его заниматься этим жалким ремеслом.

Хотя Григорович и заявляет во вступлении к «Петербургским шарманщикам», что не рассчитывает на сострадание своим героям и хочет лишь показать, что и они достойны внимания, но то сочувственное отношение к их жизни, которое выказывает автор, безусловно, не могло оставить читателей равнодушными к судьбам этих бесправных ремесленников, не могло не заставить их задуматься о несправедливом общественном устройстве, угнетающем человека. Вникнув вместе с автором в «нравственную сторону этого человека», читатель не мог не увидеть также, «что под грубою его оболочкою скрывается очень часто доброе начало — совесть». Ведь шарманщик, замечает писатель, мог бы, как другие бедняки, просить подаяние, вместо того, чтобы за жалкие гроши, а порой и без надежды на них, таскать за собой целый день тяжелый ящик, разыгрывать веселье, когда впору плакать, убивать месяцы на дрессировку собаки или обезьяны. «Что же вынуждает его на такие подвиги, если не чувство, говорящее ему, что добывать хлеб подаянием или плутовством бесчестно?»

Писатель показывает, что тяжелый, неблагодарный труд, ужасающий по своим условиям быт все же не поборол в душе этих обездоленных людей добрых качеств, выражающихся в их отношении к товарищам, близким, в юморе, в самом их несколько грубом, однако с удовольствием принимаемом народом искусстве.

Воссоздавая своеобразный мирок петербургских шарманщиков, Григорович, кроме всего, как бы еще раз подтвердил мысль Гоголя о социальной разобщенности русского общества. И в то же время — вызывая у читателей сострадание и симпатию к этим живущим особой жизнью героям — он безусловно своим рассказом не мог не способствовать преодолению существующих между различными сословиями преград.

В 1846 году, под влиянием резко усилившихся в передовом русском обществе антикрепостнических настроений, Д. В. Григорович создает повесть «Деревня», сюжетной основой для которой послужил рассказ матери писателя о безотрадной судьбе насильно выданной замуж за нелюбимого грубого парня молодой крестьянки.

Последовательно, год за годом, от рождения в хлеву до смерти, прослеживает писатель злосчастную судьбу сироты Акулины, и от подробностей этого путешествия по кругам ада невольно стынет душа

Если судить по ироническому обращению автора «Деревни» к своим читателям («Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных людях, хотя он вполне убежден что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными... мужиками и бабами, однако ж он перейдет скорее к последним »), автор и в этом произведении ставил перед собой, в соответствии с программой «натуральной школы», задачу создания новых для литературы социальных типов, исследования их жизненных условий, критическое изображение феодально-крепостнической действительности и т. д.

И эта задача была реализована художником. Но замысел Григоровича был все же несколько иным, в известном отношении выходящим за рамки установок «натуральной школы» и отразившим очень знаменательную для русской литературы второй половины 40-х годов тенденцию. В литературе, в произведениях Ф. М. Достоевского, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, постепенно намечался поворот от веры во «всеподчиняющую силу века, среды» к мысли об активности человеческой личности, ее достоинстве, самосознании, а следовательно, в эстетическом плане — от бытописательства к психологизму. Постепенно «маленького человека», человека толпы, еще ранее утвердившегося в качестве литературного героя, стали изображать не только как жертву несправедливого социального устройства или как некий необычный социальный тип, а, в некоторых отношениях, с тех же идейно-эстетических позиций, что и главного традиционного героя повестей и романов (дворянина, отчасти разночинца). Именно такую задачу и ставил перед собой художник, стремясь утвердить свою героиню — простую крестьянку — как личность, показать особенности ее сознания, раскрыть богатство и поэтичность ее души. К сожалению Григоровичу лишь в малой степени удалось воплотить свой замысел.

Пытаясь представить Акулину как фигуру исключительную (то есть как истинную героиню), со своим особым, отличным от других духовным миром, он разорвал все узы, связующие ее со средой и общественной, и семейной, и естественно, как реалист, отрицая идеализацию при изображении действительности, не мог показать тех оснований, на которых бы развилось или как-либо проявилось ее сознание.

Но, как это иногда бывает, недостаток в одном обернулся достоинством в другом. Поставив свою героиню в столь исключительные обстоятельства полного пренебрежения к ней всех окружающих, художник тем самым настолько подчеркнул трагическую сторону ее социального положения что она превратилась в своего рода символ бесправия и обездоленности крестьянки в условиях крепостничества, испытывающей на себе гнет помещика, управляющего, семьи мужа. Общность судеб Акулины и

многих крестьянок как бы подчеркивалась и самим названием повести— «Деревня».

Повесть «Деревня» вызвала самые противоречивые отклики в печати. «Не обошлось, конечно,— как замечает сам писатель,— без насмешек со стороны ненавистников реального направления литературы; в «Ералаше» я был изображен в виде франта, роющегося в навозной куче, между тем как из ближайшего окна баба вылиwała мне на голову шайку помоев»¹. Особое место было отведено «Деревне» Григоровича и в статье славянофила Ю. Самарина, напечатанной в журнале «Москвитянин» в 1847 году и направленной против литературы «натуральной школы».

Повесть Григоровича, так же как и другие близкие ей по духу произведения, рассматривалась славянофилами как «карикатура и клевета на действительность».

В повести молодого писателя идеологов «Москвитянина» раздражало даже не то, что в ней все внимание было сосредоточено лишь на «темных сторонах жизни»,— изображенные в повести взаимоотношения крестьян и помещика, совершенно равнодушного к судьбам своих рабов, взаимоотношения селян между собой разрушали утверждение славянофилов о целостности и единстве патриархального и нравственного мира деревни.

Совсем по-иному была встречена «Деревня» демократически настроенными русскими писателями и критиками. Это «одно из лучших беллетристических произведений прошлого года»²,— писал в 1847 году В. Г. Белинский.

Повесть Григоровича явилась не только ярким свидетельством тяжелой жизни русского крестьянина, внося тем самым заметный вклад в борьбу передовой части общества с крепостничеством; она имела еще и большое историко-литературное значение: это была, как верно заметил И. С. Тургенев, «по времени *первая* попытка сближения нашей литературы с народной жизнью»³, первая попытка утвердить в качестве *главного* героя литературы обыкновенных «грубых, невежественных» мужиков и баб.

Защищая автора «Деревни» от нападок «Москвитянина» и отстаивая право каждого писателя изображать любые, в том числе «темные стороны» жизни, Белинский замечает, что не «только дикость и зверство в семейных отношениях» видит Григорович в русской деревне. «Но вот тот же самый г. Григорович, который написал «Деревню», предлагает читателям, в этой книжке «Современника», новую свою повесть («Антон Горемыка»), в которой на сцене опять деревня и которой герой — русский крестьянин,

¹ Григорович Д. В. Полн. собр. соч., т. XII, с. 283.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X, с. 43.

³ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в XXVIII т. Т. XIV. М.—Л., «Наука», 1967, с. 33.

но уже вовсе не вроде мужа Акулины, а человек добрый, который, по-своему, нежно, человечески любит своего племянника, свою жену и обращается с ними по-человечески»¹

И действительно, герой новой повести Григоровича Антон был наделен многими добрыми качествами души, присущими русскому крестьянству. Антон трудолюбив, он по-доброму, отзывчиво относится к своим родным, ближним, вообще окружающим. Он любит животных, терпеливо и стойко переносит жизненные невзгоды и т. д.

Но именно эта доброта, невинность Антона, схожесть его живого кроткого характера с характерами тысяч других русских мужиков и поднимали значимость его драматической истории до уровня социальной трагедии. Получалось, что весь строй жизни объективно оказывался направленным на то, чтобы сломить, уничтожить человека, низвести его до положения бесправного и безропотного животного. Стоило крестьянину хоть в чем-то воспротивиться безжалостному гнету этой системы — и судьба его была решена. Так случилось и с несчастным Антоном, написавшим под диктовку односельчан письмо в Петербург о притеснениях управляющего.

Рассвирепевший от наглости холопа управляющий учинил над Антоном расправу. Брата, Ермолая, в первое рекрутство записал, землю отнял вконец разорил и отправил в кандалах в Сибирь.

Этот страшный рассказ, страшный именно своей беспристрастностью, отсутствием каких-либо прямых авторских оценок, сетований, выводов, деклараций, жалоб, был воспринят многими русскими людьми как обвинительный акт существующему мироустройству.

«Ни одна русская повесть,— свидетельствовал В. Г. Белинский,— не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушющего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину — законное наследие его благородных предков»².

Но рассказ о судьбе Антона-Горемыки не только вызывал сострадание, жалость к угнетенному крестьянству, он будил в лучших русских людях чувство возмущения, стыда за то, что такое возможно и до сих пор происходит в России, звучал как призыв к борьбе за освобождение народа.

«В Неаполе в 1848 году,— писал А. И. Герцен,— я впервые прочитал его «Антон-Горемыку»... Это «*memento patriam*»³ было особенно тягостным в разгар революционных событий в Италии, под сладостными и ласкающими порывами ветра с Средиземного моря. Я испытывал угрызение совести, мне было стыдно находиться там, где я был. Крепостной крестьянин, с преждевременными морщинами, нищий, добрый, смиренный, в кан-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X, с. 251.

² Там же, т. XII, 1956, с. 445.

³ Напоминание о родине (лат.).

далах безвинно бредущий в Сибирь, неотступно преследовал мое воображение, когда я жил среди прекрасного народа»¹.

Знакомя читателя со страшными картинами жизни крепостных крестьян, писатель всем ходом своего повествования как бы подводил его к единственно возможному выводу: положение крестьян настолько невыносимо и безнадежно, что им не остается ничего иного, как восстать на своих поработителей. И не случайно в первом варианте повесть заканчивалась сценой бунта крестьян, выступивших против своего управляющего и сжигающих его дом, которая была затем (чтобы провести повесть через цензуру) переписана и заменена другой сценой одним из редакторов «Современника» А. В. Никитенко.

Вопрос о положении крестьян в России был теснейшим образом связан и с вопросом о помещичьем праве, с вопросом о том, что же представляют из себя те, кому волею судьбы дано право распоряжаться жизнью миллионов русских мужиков. И Григорович дает на него свой ответ, который от произведения к произведению становится все определеннее и однозначнее

В повести «Деревня» писатель делает лишь легкий иронический набросок портрета помещика, который, как замечает рассказчик, конечно, никогда бы и не заехал на родину, «и на этот раз предпочел бы чужие края скучной своей деревне, если б управляющий... не решился доложить ему... о постепенном уменьшении доходов с имений». Григорович здесь прямо не порицает помещика, не говорит о той непреодолимой пропасти, которая лежит между ним и крестьянином, он лишь показывает, как филантропическая затея помещика выдать замуж Акулину, с целью облагодетельствовать сироту, приводит ее к гибели, да замечает мимоходом, что Акулиной овладевал всегда какой-то совершенно необъяснимый страх, когда оказывался перед ее глазами барин, хотя и было всем известно, что Иван Гаврилович был «человек добрый, благонамеренный».

В «Антоне-Горемыке» фигура помещика вообще не появляется на сцене. И читатель мог бы предполагать, что барин и не знает вовсе о злоупотреблениях своего управляющего, о том, как притесняют простого мужика богачи мельник или целовальник. Мог бы! Хотя и настораживает читателя ирония автора, сообщающего о «слепом доверии» молодыми господами своего полуразоренного имения честности управляющего, хотя и намекало на полное безразличие владельца деревни к своим полунимцам подданным замечание писателя о скопленном помещиком за несколько лет несметном множестве «скирд убранного хлеба», стоящих в ожидании всеобщего неурожая в губернии. Но это все лишь косвенная характеристика помещиков. Истинные сущность и смысл отношения к крестьянству вроде бы действительно доброй и заботливой помещицы Григорович со всей обнаженностью раскрывает в рассказе «Бобыль»

¹ Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 177—178.

(1847), тесно примыкающем по своей проблематике к повестям «Деревня» и «Антон-Горемыка»

Конечно, мягкий юмор писателя, спокойный, объективированный тон повествователя, рисующего образ старушки помещицы, заботливо ухаживающей за забредшим в ее деревню, бездомным умирающим кровельщиком, мог ввести на время в заблуждение читателя, подобно тому, как был введен в заблуждение либеральный критик П. В. Аненков, увидевший в образе Марьи Петровны портрет «доброй помещицы». Но вряд ли кого мог обмануть финал истории, заканчивающейся тем, что умирающего крестьянина выбрасывают из скотного двора на улицу под дождь, — финал, полностью разоблачающий все лицемерие помещичьей филантропии.

И царское правительство, после революции 1848 года во Франции усилившее репрессивные меры по отношению к демократической и революционно настроенной интеллигенции, совершенно правильно поняло смысл созданного Григоровичем рассказа: особым комитетом, созданным с целью наблюдения над журналами, рассказ «Бобыль», наряду с повестью «Антон-Горемыка», статьями «Об историческом развитии чести» А. И. Герцена, «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В. Г. Белинского, был признан «особо вредным».

Повести Д. В. Григоровича о крепостных крестьянах были оценены его современниками не только как художественное открытие народной жизни, но и как акт большого гражданского мужества, как открытое выступление в защиту угнетенного рабством народа. «Имена Тургенева и Григоровича, — писал Герцен в 1857 году, — не забудут ни русский крепостной, ни вольноотпущенный. Сейчас, накануне освобождения, при более мягком режиме, против крепостного права выступают многие; а эти два художника делали это при страшном господстве Николая»¹.

Сороковые годы стали для Григоровича годами расцвета его художнического дарования, годами его литературной славы. Его имя становилось в один ряд с именами выдающихся русских писателей: Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина; его произведения были в центре ведущихся в это время литературных дискуссий. Он был самым непосредственным участником того переворота, который произошел в эти годы в литературе и которым окончательно утвердились в ней в качестве ведущих — идейно-эстетические принципы реализма, народности, гражданственности, окончательно определилась главная ее цель — служение народу, борьба за его освобождение.

В 1848 году в журнале «Современник» появляется повесть Григоровича «Капельмейстер Сусликов», рассказывающая о драматической судьбе бедного музыканта, сына крепостного крестьянина. В ней писатель развивает параллельно сразу две очень важные для русской реалистической литературы того времени темы. С одной стороны, писатель ставил

¹ Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XIII. с. 177.

перед собой задачу воссоздать трагическую историю художника из народа, не имеющего никакой надежды на признание и успех в условиях крепостнического общества и обреченного в нем, как и героиня повести «Сорока-воровка» Герцена, вышедшей чуть раньше повести Григоровича, на гибель, с другой,— подобно И. С. Тургеневу, автору «Записок охотника»,— представить простого человека, сына крепостного мужика как личность, как человека одаренного, талантливого, куда более способного, чем использующие и присваивающие его талант дворяне, распоряжающиеся судьбой музыканта.

Если в «Деревне» социальный антагонизм между крестьянами и помещиками-дворянами Григорович раскрыл лишь косвенно, через исключительную ситуацию, в которой оказалась героиня, через изображение ее несчастной судьбы, то в «Капельмейстере Сусликове» и в других произведениях конца 40-х — начала 50-х годов писатель представляет этот антагонизм уже в открытом противостоянии двух сословий, как нечто обычное, как характернейшую черту современной ему действительности. Причем эти противоречия художник стремится подчеркнуть, обозначить и композиционно: параллельным изображением барской пустой, бессмысленной жизни и тяжелой, безотрадной мужицкой доли. Прием социального контраста становится одним из важнейших сюжетно-композиционных приемов в творчестве Д. В. Григоровича 1850-х годов.

Именно этот принцип во многом определяет поэтику таких его повестей, как «Кошка и мышка» (1857), где рассказывается о мытарствах крестьянина Савелия, оказавшегося в лапах прохвоста откупщика Пукина; «Пахотник и бархатник» (1860). о разорении семьи трудолюбивого мужика Карпа; и, наконец, романа «Переселенцы» (1856), в котором дается параллельное изображение жизни господ и их крепостных.

Сопоставление быта и занятий мужика и барина, естественно, невольно приводило читателя к мысли о недопустимости, невозможности, да и просто бессмысленности такого положения вещей, когда один трудолюбивый, честный, но полуголодный и несчастный человек всю свою жизнь с утра до вечера трудится для того, чтобы другой человек, чье бесцельное существование (как жизнь, например, Слободского — героя повести «Пахотник и бархатник») и оправдать-то ничем и никак нельзя, мог нежиться в довольстве и роскоши.

Писателю удается с особой художественной убедительностью показать все бесправие, всю неустойчивость жизни крестьянина — намеренным введением в сюжет повествования элемента случайности. Он как бы еще раз подчеркивает тем самым, что жизнь, благополучие мужика совершенно не зависят ни от результатов его труда, ни от его старательности, рассудительности, ума, таланта. Его судьба оказывается в полной подчиненности прихоти помещика и слепой воле случая. Самая пустая, элементарная случайность начисто разрушает создаваемый нечеловеческим

трудом крестьянский быт, ведет мужика зачастую к полному разорению и даже гибели. *Случайно* барин, скучая, взглянул на бедную сироту Акулину — и ей была тут же уготована мученическая жизнь и преждевременная смерть. *Случайно*, раньше срока, помещику Слободскому («Пахотник и бархатник») понадобились на какие-то пустяки деньги — и деревня разорена. *Случайно* в провинциальный городок приезжает значительное лицо — и жизнь капельмейстера Сусликова оказывается изломанной. Племянник Савелия Гришутка («Кошка и мышка») *случайно* купил для готовящихся крестин бочонок водки не в том, в каком нужно было, кабаке, за пределами уезда, — и Савелий оказывается на грани разорения, попав в хищные лапы исправника, писаря, откупщика, готовых содрать с него за нарушение положения об откупах три шкуры. Правда, в конце концов жизнь в семье Савелия вроде бы налаживается. Но надолго ли? Не сметет ли вновь все благополучие семьи какой-либо нелепый случай — невольно думает читатель, вспоминая встречу откупщика Пукина со становым приставом, когда писатель ясно дает понять, в какой зависимости находится судьба мужика от минутного настроения помещика, богача.

Вообще мастерское умение организовывать отдельные сценки, вводить в начале или в середине повествования те или иные детали, которые неожиданно «срабатывают» в финале произведения, — одна из важнейших особенностей творческого метода Григоровича. Читая о том, как бежала по снегу «в мутных волнах между сугробами» маленькая Дунька за гробом матери, вспоминаешь вдруг горестные размышления писателя в первой главе повести «Деревня» о том, как много гибнет в раннем детстве предоставленных родителями на волю судьбы детей, и уже перестаешь сомневаться в трагическом исходе и этого эпизода рассказанной истории.

Значительное место в творчестве Григоровича в эти годы занимают и так называемые нравоописательные повести, рисующие жизнь и быт городских обывателей. К такого рода произведениям, продолжающим и развивающим традиции Гоголя в изображении самодовольства, тупости и никчемности жизни паразитирующих слоев общества, снедаемых завистью чиновников, городских обывателей, бездарных и самодовольных литераторов и т. д., обращались в это время многие русские писатели — И. И. Панаев, В. А. Соллогуб, А. Н. Плещеев, М. Е. Салтыков-Щедрин.

В посвященных этой теме повестях «Похождения Накатова, или Недолгое богатство» (1849) и «Свистульки» (1855) наиболее ярко проявляется сатирическая сторона дарования писателя. И хотя критика Григоровичем дворянско-чиновничьей среды и не подводила читателя к тем глубоким социально-значимым выводам, которые подготавливались сатирическими произведениями Герцена, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, все же художник создает в них целый ряд запоминающихся карикатурных образов беспутно живущих богачей, франтов, резонерствующих либералов, зараженных патологическим тщеславием чиновников, лицемеров, авантюристов.

Гоголевские традиции сатирического изображения быта провинциальных помещиков Григорович продолжает разрабатывать и в романе «Проселочные дороги», в котором отдельные эпизоды провинциальной жизни объединяются в повествовании, как и в «Мертвых душах» Гоголя, мотивами путешествия, дороги. Роман этот, напечатанный в 1852 году в журнале «Отечественные записки», успеха не имел. Им не был доволен и сам автор, не сумевший должным образом «распределить материал» в произведении.

Однако для характеристики общей направленности романа «Проселочные дороги» следует упомянуть тот факт, на который особое внимание обращает в своих мемуарах и Григорович: роман был приостановлен цензурой сразу после публикации первой части, ввиду того, что дворянство в нем было выставлено «в слишком карикатурном виде».

Несмотря на разносторонность творческих интересов писателя в 50-е годы, главная цель его литературной деятельности по-прежнему — исследование народной жизни. Хотя к этому времени и появилось немало произведений из народной жизни, крестьянин во многом продолжает оставаться для русского общества той же загадочной, непознанной фигурой, что и раньше. И не случайно в 1853 году сам автор «Записок охотника» писал: «Мужички совсем одолели нас в литературе. Оно бы ничего; но я начинаю подозревать, что мы, так много возившиеся с ними, все-таки ничего в них не смыслим»¹.

Некоторые представители так называемого просвещенного общества знали о жизни крестьян не более, чем знакомые помещика Слободского («Пахотник и бархатник»), считавшие, что мужик только и делает, что «хлебает себе щи, пичкает с утра до вечера пироги и сметану да на печке валяется...», или имели о мужике совершенно извращенное представление (как о существе примитивном, неспособном на проявление человеческих страстей, чувств, желаний), подобно толстому господину из рассказа Григоровича «В ожидании парома», в котором писатель сатирически заостренно раскрывает подлинную сущность отношения дворян к своим крепостным.

В романах «Рыбаки» и «Переселенцы» писатель ищет новые пути постижения души русского крестьянина, разностороннего исследования его отношений к своим ближним, к барину, к труду, окружающей его природе.

Роман «Рыбаки» (1853) привлек внимание читателей и критики уже одним тем, что это был первый роман, центральной фигурой которого стал мужик — крестьянин-рыбак Глеб Савинов, умудренный жизнью, наделенный сильным, решительным характером.

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. II, 1961, с. 160.

И этот важный для развития русской литературы факт был особо подчеркнут А. И. Герценом в статье «О романе из народной жизни», посвященной «Рыбакам». Несмотря на то что в общей оценке великим русским критиком и писателем романа и тех надеждах, которые он у него вызвал, отразились во многом его народнические иллюзии, Герцен все же верно отметил главное достоинство «Рыбаков», указав на эпичность характера Глеба Савинова и на то, что в нем впервые жизнь крестьянина изображена «не в условиях неравной борьбы с помещиком и его деспотическими нравами или с крючкотворными притеснениями администрации, это жизнь крестьянина *в себе*»¹.

Новый роман Григоровича — «Переселенцы» как бы подытоживал, художественно обобщал на широком полотне повествования накопленный писателем опыт исследования крестьянской жизни, взаимоотношений крестьянина с помещиком, его подневольного, рабского, бесправного положения. Роман был высоко оценен Н. Г. Чернышевским, который писал в 1856 году в «Заметках о журналах», что в «Переселенцах» Григоровича «есть живая мысль, есть действительное знание народной жизни и любовь к народу; у него поселяне выводятся не затем, чтобы исполнять должность диковинных чудаков с неслыханным языком: нет! они являются, как живые люди, которые возбуждают в себе полное ваше участие. В этом и причина постоянного успеха его повестей и романов из сельского быта»². Общественная значимость романа «Переселенцы», раскрывшего непримиримость социальных антагонизмов между помещиками и угнетаемым ими крестьянством, определялась не только верным, объективным изображением народной жизни, но еще и тем, что он был создан в годы усиления массовых крестьянских выступлений, в то время, когда вопрос об освобождении мужика от крепостного ига стал важнейшим, коренным вопросом русской жизни.

Очень часто исследователи творчества Д. В. Григоровича, опираясь на замечание Н. Г. Чернышевского в статье «Не начало ли перемены?» о том, что предшественники Н. В. Успенского (то есть и Григорович тоже) идеализировали мужицкий быт, изображали простолюдинов такими благородными, возвышенными и добродетельными, кроткими и умными, упрекают автора романов «Рыбаки» и «Переселенцы», а также таких повестей, как «Пахарь» (помещенную в настоящий сборник), в сентиментальном любовании духовной цельностью крестьянина, в том, что он идеализировал патриархальные отношения в деревне и, отображая социальное расслоение крестьянского мира, не понимал его общественного значения и т. д. Но можно ли действительно признать, что Григорович идеализировал своих героев из народа? Л. Н. Толстой, например, видел

¹ Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 178.

² Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в XV т. Т. III. М., Гослитиздат, 1947, с. 694—695.

«недостаток Григоровича и его рыбаков» в том, что писатель показывает не только хорошее, но и дурное в народе¹ Иначе оценивал творчество художника и такой знаток русского народа, как Н. С. Лесков «Я не понимаю, писал он, почему пейзажные рассказы Григоровича подвергаются осмеянию, а рассказы целой толпы позднейших народников, напечатанные в самом огромном количестве и прошедшие без всякого следа и значения, считаются чем-то полезным. По-моему, пейзажи Григоровича не только гораздо поэтичнее, но и гораздо живее, чем сахарные добродетельные мужички Небольсина, или дураки Успенского (имеется в виду Н. Успенский.— Н. У.), или ядовитые халдеи Левитова...»²

На самом же деле, конечно, Григорович не идеализировал народ, во всяком случае, такого рода поэтизация героев не была его творческой установкой. Он просто с любовью писал о крестьянах, видя, безусловно, и отображая вполне объективно и дурные стороны их характера и быта. Так, он с горечью писал о бездушном порой отношении крестьянина к собственным детям, инертности его сознания. «Простым классом народа,— замечал он,— вообще управляет рутина: его пугают всякие нововведения: он боится идти новым путем...» и т. д.³

Для того чтобы объяснить противоречивость оценок творчества Григоровича и изменившееся вдруг отношение к его произведениям Чернышевского, следует вспомнить о том, что в годы создания писателем его романов «Рыбаки» и «Переселенцы» передовая русская литература вступила уже в новый этап своего развития. Несмотря на то что к середине 50-х годов литература сделала очень многое в изображении крестьянина, ремесленника, «простолюдина» вообще (герои из народа стали изображаться в свете больших нравственных, общественных, государственных проблем, раскрывалось богатство их внутреннего мира), все же отношение многих художников к крестьянину, мужику, как отмечал Чернышевский, продолжало оставаться «сострадательным», на народ продолжали смотреть только как на жертву несправедливого социального устройства. Поэтому пафос многих произведений приобретал часто не столько социальное, сколько общегуманистическое звучание. И самое главное — в народе не видели той общественной силы, которая только одна и способна сломать, уничтожить несправедливый, основанный на рабстве общественный строй.

Кризис феодально-крепостнических отношений, рост демократических тенденций, усиливающееся «движение народных масс за решительную ликвидацию старых порядков» (Г. И. Успенский) ставили перед литературой совершенно новые задачи.

¹ Сб. «Русские писатели о литературном труде», в 4-х т. Т. 3. Л., «Советский писатель», 1955, с. 461.

² Там же, с. 212.

³ Григорович Д. В. Полн. собр. соч. т. VIII, 1896, с. 189.

Наряду с поэтизацией трудовой жизни народа, его высоких нравственных качеств, перед литературой (главным образом демократической) встала задача критически трезво и серьезно отобразить действительное состояние народной жизни, узнать, в чем же реальные причины ее «тяжелого хода». Для того чтобы решить эту задачу, должны были явиться на смену представителям передового дворянства писатели, представляющие другие слои русского общества, наделенные иным, чем писатели прежней эпохи, сознанием. И такие писатели явились в лице братьев Успенских, Ф. М. Решетникова, В. А. Слепцова, Н. Г. Помяловского, А. Ф. Писемского и многих других художников-разночинцев.

Многими узами связанный с прошедшей эпохой, с грузом прежних литературных пристрастий, идеалов, упований, писатель не сумел, да и не мог перейти на новые идейно-эстетические позиции и все более отставал от общего поступательного хода литературного развития. Он пытается как-то изменить свою жизнь и даже принимает предложение А. Б. Головина, управляющего канцелярией морского министерства, совершить на корабле кругосветное плавание, с тем чтобы описание путешествия было помещено в «Морском сборнике». Но его путевые очерки, созданные по впечатлениям путешествия на корабле «Ретвизан», публиковавшиеся сначала в периодических изданиях, а затем объединенные в книгу, не имели успеха.

В 60-е годы Д. В. Григорович почти полностью отходит от литературной деятельности, изредка напоминая о себе как о писателе публикацией отдельных рассказов или повестей, не вызывающих уже прежнего интереса.

В эти годы Григорович возвращается к юношеской своей привязанности — к занятиям искусством, живописью. Он изучает историю художественного образования в России, пишет статьи о творчестве выдающихся художников, подготавливает своего рода путеводитель «Прогулки по Эрмитажу». Как признанный всеми тонкий ценитель и знаток искусства (не случайно в 1858 году И. И. Панаев писал в «Современнике», что «никто лучше его не знает императорского Эрмитажа и всех замечательных частных галерей в Петербурге»), Григорович выбирается секретарем Общества поощрения художников. Много сил и времени он отдает общественной работе, являясь несколько лет подряд председателем Театрально-литературного комитета, членом Комитета литературного фонда.

Лишь через два десятилетия Д. В. Григорович как писатель вновь привлекает к себе внимание литературной общественности повестью «Гуттаперчевый мальчик» (1883), в которой рассказывает печальную историю маленького сироты, мальчика Пети, безжалостно эксплуатируемого жестоким цирковым акробатом Беккером. В этой повести, сразу вошедшей в самые разнообразные школьные хрестоматии и сборники для чтения и ставшей одной из любимых книг для многих поколений детей, как бы вновь возрождались все лучшие свойства художественного дарования писателя,

та благородная и мощная сила социального протеста против угнетающих человека жизненных обстоятельств, которая составляла пафос прежних его лучших произведений

В 1880- 1890 годах Григорович работает над «Литературными воспоминаниями», начатыми ранее и завершенными в 1892 году, в которых, в живых и ярких картинах, воспроизводит писательский быт и литературно-общественную борьбу 40—60-х годов, представляет целую галерею портретов виднейших русских писателей — Тургенева, Толстого, Островского, Гончарова, Некрасова; но уже не создает более ни одного сколько-нибудь интересного художественного произведения.

И тем не менее творческое наследие Д. В. Григоровича ни в конце прошлого века, ни позже не утрачивает своего значения. Его произведения постоянно переиздавались как в отдельных сборниках, так и в собраниях его сочинений. Для многочисленных поколений русских читателей он оставался интересен прежде всего как историк целой огромной области ушедшей в прошлое российской жизни, как тонкий и глубокий знаток крестьянского быта 40—50-х годов XIX века. Не могут не волновать современного читателя и общая гуманистическая направленность произведений писателя, его любовь к родной земле, к простым людям, чьим тяжелым, самоотверженным трудом подготавливалось будущее России, яркие, живописные картины русской природы, придающие особую лирическую тональность его повестям из народной жизни. «Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы,— писал Д. В. Григоровичу А. П. Чехов, еще только начинавший тогда свой путь в литературе,— не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя. Вымрут и забудутся люди, которых Вы изображали, но Вы останетесь целы и невредимы. Такова Ваша сила...»¹

Н. Утехин

¹ Чехов А. П. Собр. соч. в XII т. Т. XI. М., «Художественная литература», 1963, с. 170.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

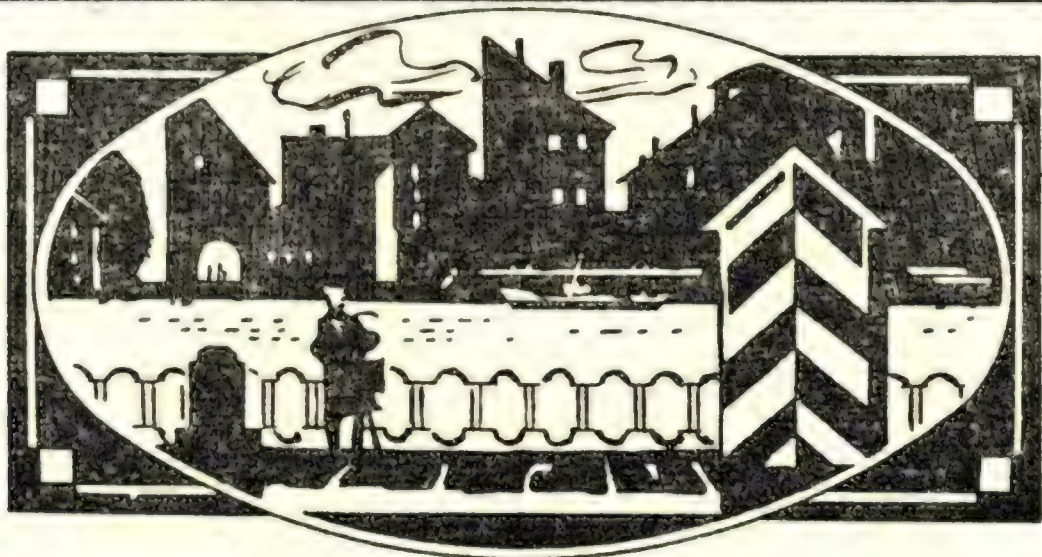
Рассказ

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Взгляните на этого человека, медленно переступающего по тротуару; всмотритесь внимательнее во всю его фигуру. Разодранный картуз, из-под которого в беспорядке вырываются длинные, как смоль черные волосы, падающие на худощавое загоревшее лицо, куртка без цвета и пуговиц, гарусный шарф, небрежно обмотанный вокруг смуглой шеи, холстинные брюки, изувеченные сапоги и, наконец, огромный орган, согнувший фигуру эту в три погибели,— все это составляет принадлежность злополучнейшего из петербургских ремесленников — шарманщика. В особенности наблюдайте за ним на улице: левая рука его с трудом вертит медную ручку, прикрепленную к одной из сторон органа; звуки то заунывные, то веселые вырываются из инструмента, оглашая улицу, между тем как взоры хозяина внимательно устремлены на окна домов; он прислушивается к малейшему крику, зову и едва встречает приветливый взгляд, как тотчас ставит свою шарманку и начинает играть лучшую пьесу своего репертуара. Каждый раз, как которая-нибудь из труб, позабыв уважение к человеческим ушам, запищит неестественно и нескладно,— посмотрите, как старательно завертит он рукою, думая тем загладить недостатки пискливого своего инструмента и не возбудить в слухе вашем неприятного ощущения. Форточка отворается, пятак или грош, завернутый в бумажку, падает к ногам его в награду за труды; но часто, весьма часто, истощив напрасно свой репертуар, он медленно удаляется, грустный, унылый, не произнося ни жалобы, ни ропота. Он уж давно привык к такой жизни. Какая бы на улице ни стояла погода, знойный жар, дождь, трескучий мороз, вы его увидите в том же костюме, с тою же шарманкою на спине — и все для того, чтоб получить медный грош, а иногда и

«надлежащее распеканье» от дворника, присланного каким-нибудь регистратором, вернувшимся из департамента и после сытного обеда расположившимся лихо всхрапнуть. Часто шарманка кормит целое семейство, и тогда можете себе представить, сколько ужасных чувств волнуют горемыку при каждом тщетном покушении растрогать большею частию несострадательную к нему публику. Из всех ремесел, из всех возможных способов, употребляемых народом для добывания хлеба, самое жалкое, самое неопределенное есть ремесло шарманщика. Нет ремесленника, который приобретал бы копейку, не имея в виду явного барыша: полунищая баба в грязном салопе, покрытом заплатками сверху донизу, продающая на Сенной площади вареный картофель, прикрываемый, для сохранения в нем надлежащей теплоты, известным способом, то есть без помощи чего-нибудь постороннего, кроме тряпья, составляющего ее исподнее платье,—приглашая гг. инвалидов и мужиков «на картофель на горячий, служба, служба! на карто, на карто... кавалер, на горячий, на карто, на карто...»—и та даже совершенно уверена, что вернется домой с доброю краюхой хлеба, достаточной величины, чтобы накормить двух-трех пострелят мужеского или женского пола, что очень часто трудно бывает разобрать, если судить по одной одежде. Шарманщик же, спускаясь из-под кровли пятиэтажного дома или подымаясь из своего подвала, редко бывает уверен, доставит ли ему скудный его промысел кусок хлеба, соберет ли он столько денег, чтобы в конце месяца заплатить за квартиру—большею частию угол, нанимаемый им у той же торговли картофелем, которая за неисправный платеж будет вправе прогнать его со двора. Вникнув хорошенько в нравственную сторону этого человека, находишь, что под грубою его оболочкою скрывается очень часто доброе начало—совесть. Он мог бы, как другие бедняки, просить подаяние; что останавливает его? К чему таскает он целый день на спине шарманку, лишает себя свободы, убивает целые месяцы на дрессировку собачонок или изощряет свое терпение, чтобы выучить обезьяну делать разные штуки? Что же вынуждает его на такие подвиги, если не чувство, говорящее ему, что добывать хлеб подаянием или плутовством бесчестно? Я не хочу здесь представлять шарманщика идеалом добродетели; еще менее расположен я доказывать, что добродетель составляет в наше время исключительный удел шарманщиков и что,



следовательно, вы должны запастись шарманкою и отправиться с нею по улицам, если считаете себя добродетельным; далек я также от мысли рассчитывать на ваше сострадание, представляя шарманщика злополучнейшим из людей. Нет, я хочу только сказать, что в шарманщике, в его частной и в общественной, уличной жизни многое достойно внимания. И если вы со мною согласны, то мне нечего и просить вас читать далее: вы это сделаете сами...

Я намерен заняться своим героем со всем подобающим усердием...

II

РАЗРЯДЫ ШАРМАНЩИКОВ

Трудно определить происхождение слова «шарманщик»; тем более трудно, что оно, кажется, родилось на Руси и обязано жизнью простолудью. Называть незнакомое лицо или предмет без основания, часто даже без очевидного смысла, хотя подчас и характеристически метко, свойственно русскому человеку, который, как вы знаете, «за словом в карман не полезет»; недосуг ему затрудняться в причинах, почему и как, а тут же, экспромтом, отпустит он иногда такое, что после думаешь, думаешь, и все-таки не придумаешь, почему выразился он так, а не иначе, назвал орган шарманкой, а не оглоблей, что было бы для него все равно... Если б я принадлежал к числу почтенных мужей, называющих себя корнесловами, то по поводу происхождения слова «шарманка» предложил бы вам множество остроумных догадок. «Всего вероятнее, — сказал бы я, — что первоначальное слово было: ширманка, и произошло от ширм, из-за которых Пучинелла (Петрушка), доныне почти всегдашний спутник шарманщика, звонким своим голосом призывает зевак и любопытных. Такое предположение, — при-совокупил бы я с большею уверенностью, — тем более основательно, что первые появившиеся у нас органы были неразлучны с кукольною комедией, существующею с незапамятных времен в Италии». Но так как и без того в продолжение рассказа я не отчаиваюсь вам наскучить, то, оставив в покое происхождение слова, перехожу к самому шарманщику. С первого взгляда кажется, что все шарманщики составляют одно целое, один класс уличных промышленников; но в сущности подлежат они бесчисленным разрядам, резко отделяющимся друг от друга как занятиями, так и

духом национальности. Шарманщики в Петербурге вообще бывают трех различных происхождений: итальянцы, немцы и русские. Между ними итальянцы занимают первое место. Они неоспоримые основатели промысла, составляющего у них самобытную отрасль ремесленности, тогда как русские и немцы не более как последователи, которые хватаются за шарманку как за якорь спасения от голодной смерти, или по неспособности, чаще по неохоте к другому, более дельному, ремеслу. Шарманщики редко начинают свое поприще с инструментом, от которого получили название; ручной орган, или, как принято называть, шарманка, есть уже следствие улучшенного состояния. Тюлень, заключенный в ящике и показываемый толпе с обычным присловьем: «посмотрите, господа, на зверя морского», высокий ящик, покрытый зеленым сукном, с каким-то дребезжанием вместо музыки, называемый у шарманщиков «фортепьяно англезе», виола с бесконечным скрипом и плясом хозяина и, наконец, флейта или кларнет — вот средства, с какими впервые дебютирует шарманщик на своей обширной и богатой разнообразными декорациями сцене — на улицах. После уже, спустя два или три года, достигает он счастливейшего дня (если только до того времени не нашел другого средства добывать хлеб), блистающего на бледном его горизонте, как блудящий огонек, — вожака и прекрасного дня, в который на скопленные деньги покупает он шарманку. С этим приобретением осуществляет он все надежды, все мечты и, взвалив на спину свое сокровище, думает только о том, как бы обратить на себя внимание и получить возмездие за все пропавшие труды. То аккомпанирует он вальс Ланнера свистками и трелями, то присоединяет к себе двух маленьких детей, нанятых у бедной трубочистихи или прачки, и заставляет их выплясывать бессмысленный танец своего изобретения; то, если представляется счастливый случай, меняет тощую свою шарманку на другую, несравненно меньшую, но представляющую почтеннейшей публике с одной стороны презанимательное зрелище: Наполеона в синем фраке и треугольной шляпе, вертящегося вокруг безносых дам, с ног до головы облепленных фольгой. Если владелец этого сокровища итальянец, то он непременно вступит с вами в разговор и, объясняя значение каждой куклы порознь, не утерпит, чтобы не выбрать хорошенько Наполеона и бог весть почему кружащихся с ним австрийских дам. Если ему снова случается накопить несколько

денег, желания его простираются тогда еще далее: он покупает высокий орган с блестящими жестяными трубами, медными бляхами, золотыми кистями, горделиво качающийся на зеленой тележке, везомой бурою клячею. И действительно, такое приобретение достойно всех пожертвований: во-первых, орган не приходится носить, следовательно, менее труда; во-вторых, его можно возить по дачам, где, как известно, люди как-то добрее, самые солидные отцы семейства склоннее к невинным буколическим удовольствиям, приехавшие гулять особенно расположены тратить деньги, а главное — много детей, которые вообще большие любители кукольной комедии и шарманки; все это имеет значительно благодетельное влияние на доход шарманщика, в особенности если он обладает умением занять хорошую позицию и задать серенаду кстати. Не всем, однако, улыбается фортуна; есть бедняки, до глубокой старости осужденные наигрывать одну и ту же арию на кларнете или выплясывать трепака по уличному паркету, устланному булыжником, аккомпанируя себе виолою.

Впрочем, так начинают карьеру свою одни только «мещане» этого класса промышленников; «аристократия» вступает на нее с большим достоинством.

Шарманщики-аристократы редко ходят поодиночке, но большею частью компаниею; один несет богатую шарманку, увенчанную бубенчиками, другой — обезьяну в гусарском платье и тирольской шляпе, третий — ширмы и ящик, наполненный куклами, одетыми в разноцветное тряпье, испещренное блестками; шествие закрывает старый оседланный пудель, служащий гусару в тирольской шляпе вместо лошади. Другие блуждают целым оркестром; третьи присоединяют к себе гаера, который на дырявом ковре делает *salto mortale*¹ при завывании шарманки; романсы с аккомпаньеманом арфы, ученые собаки, две или три скрипки и кларнет, разыгрывающие вечно один и тот же галоп, — все это показывает уже некоторым образом зажиточность хозяев и высоко ставит их над многочисленным классом «мещанства». Впрочем, и здесь, как всюду, разница сглаживается деньгами. Скромною жизнью шарманщику-мещанину случается накопить маленькую сумму, и тогда «аристократия» (живущая несравненно богаче, семейством, и если впадающая иногда в крайнюю нищету, то единственно по духу спекуляции, чрезвычайно, как увидим ни-

¹ Здесь — сложное акробатическое упражнение (итал.).

же, в ней развитому) спускается с своих подмостков и, как бы движимая добрым чувством, сближается с прежним отверженцем, принимает его в компанию или, если денег у него не окажется более, чем предполагалось, привязывает его к себе и еще прочнейшими узами — узами родства. Нужно заметить, что деньги — единственное условие сближения между двумя этими разрядами, вечно враждующими...

III

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

Происхождение их чрезвычайно темно; большею частью получают они жизнь под деревянною полуразвалившеюся кровлею хижины, живописно расположенной в Апеннинских горах, переименованных ими *monte Perpi*¹. Родители их — полунищие горцы, исполняющие, за недостатком земли или по сродной всем итальянцам лености, скромную должность пастухов. Не имея достаточно хлеба, чтоб кормить часто многочисленное семейство, они отдают детей своих старому шарманщику, вернувшемуся на родину и вынужденному спустя несколько времени снова приняться за шарманку и блуждать по белому свету. Таким образом, мальчик покидает родной кров, отца, мать и, вверившись судьбе, спускается с своих гор, надеясь когда-нибудь увидеть их снова. Швейцария, Тироль, Франция, Германия — везде наигрывает он пять или шесть песен, составляющих весь репертуар его; нет ни одного городка, бурга, селения, которое не слышало бы их по нескольку раз. Наконец доходят до него слухи, что где-то на севере, в России, собратья его редки, что там может он получить верный барыш: туда! а *Pietroborgo*!² восклицает бедняк и предпринимает трудный поход. Его не обманули: трудность дороги действительно вознаграждается грошами, довольно щедро выбрасываемыми на дворы и улицы. Иногда направляет он путь свой не прямо к столице, но обходит сначала провинции, посещает города, ярмарки, деревни и, скопив несколько денег, является в столицу, где нанимает работников из своего звания. Мало-помалу, с прибылью денег, итальянец отстает от бродячей жизни, заводит круг знакомства с отечественниками-ремесленниками, гаерами, канат-

¹ Горы Перпи (*итал.*).

² В Петербург! (*итал.*)

ными плясунами, фигурщиками, носящими вечного амура с сложенными накрест руками, кошку, болтающую вправо и влево головою, Наполеона, окрашенного розовой краской, всех возможных форм, видов и несходств, и, наконец, женится на дочери одного из своих приятелей. Заведшись таким образом хозяйством, итальянские шарманщики неизвестно почему избирают жилище в Подъяческих и Мещанской. Маленький двухэтажный деревянный дом, выкрашенный всегдашнею зелено-грязною краскою и возвышающийся в углу темного двора, служит им убежищем. Наружность такого рода строений облеплена обыкновенно галереей, на которую с трудом взбираешься по шаткой лестнице, украшенной по углам (у каждой двери) кадкою, на поверхности которой плавают яичные скорлупы, рыбий пузырь и несколько угольев; вообще лестницы эти, не считая уже спиртуозного запаха (общей принадлежности всех петербургских черных лестниц), показывает совершенное неуважение хозяев к тем, которым суждено спускаться и подниматься по ним. Квартира шарманщика почти всегда находится в конце такой галереи, по причине дешевизны, и состоит из двух комнат, сделанных из одной.

Если вы хотите иметь о ней точное понятие, то потрудитесь нагнуться и войти в первую комнату. Первый предмет, на котором остановятся ваши взоры, отуманенные слезою (по причине спиртуозности лестницы), будет невероятной величины русская печь, покрытая копотью и обвешанная лохмотьями, составляющими гардероб хозяев; стены и потолок усеяны теми приятными насекомыми, которые пользуются честью носить название, одинаковое с известным европейским народом. (Я выразился бы и проще; но боюсь людей, не привыкших «сморкаться» там, где есть возможность «обойтись посредством платка»...) Стены эти окружены длинными скамьями, на которых в разных, чрезвычайно неграциозных положениях лежат работники — русские, немцы, итальянцы, нанятые хозяином, каким-нибудь *signor Charlotta Bonissy*¹. Посреди комнаты стоят ящики с соломой, и три или четыре обезьяны не перестают в них возиться и пищать самым неприятным дискантом; несколько ширм, коробок с куклами, мешков с мукою и макаронами разбросано по разным углам; кадка с помоями издает из-под печки особенно неприятный запах; дым, висящий из коротеньких деревянных трубок (необходимой принад-

¹ Синьором Шарлотто Бонисси (итал.).

лежности русских работников), наполняет освобожденное от хлама пространство; говор, хохот, писк обезьян, лай собак, визг детей — заглушают храпенье нескольких шарманщиков, сверхъестественно согнувшихся на печке, на лавках и на полу. Наконец, одно маленькое окно пропускает в комнату несколько лучей света, и то не всегда, потому что если в компании есть хоть один русский человек, то стекла непременно залеплены разными фигурками, с известным искусством вырезанными из сахарной бумаги, между которыми козел с необыкновенно большими рогами и бороною прежде всех бросается в глаза. Вторая комната представляет совершенно противоположное зрелище; тут тотчас заметно присутствие женщин. Не только чистота и порядок составляют отличительное ее свойство, но даже заметно некоторое притязание на роскошь: стенные часы огромного размера, годные для любой башни, с привешенными вместо гирь кирпичами; на окнах горшки с жиденькими растениями, занавески, комод, стол с блистающим самоваром, широкая постель, наконец, шарманки различных величин и свойств, в ряд расположенные вдоль стены, показывают присутствие самого хозяина. Едва часы пробили восемь, как все народонаселение квартиры пробуждается, опоражнивает чашку щей или макарон и, взвалив на плечи каждый свою принадлежность, спускается на улицу, где, разделившись на партии, принимает разные направления. Главный промысел итальянцев — кукольная комедия. Разумеется, та, которая доставляет на наших дворах столько удовольствия подмастерьям в пестрядинных халатах, мамкам и детям, а подчас и взрослым, не похожа на ту, которую вывез он из своего отечества. Обрусевший итальянец перевел ее, как мог, на словах русскому своему работнику, какому-нибудь забулдыге, прошедшему сквозь огонь и воду, обладающему необыкновенною способностью врать не запинаясь и приправлять вранье свое прибаутками, — и тот уже переобразовал ее по-своему. Нигде характер народного русского юмора так сильно не проявляется, как в переделках такого рода; нигде так резко не выказывается бедняк, на фуфу зарабатывающий копейку. В диалогах Пучинелла русского произведения и соответствующих ему персонажей, в их действиях, в самом расположении комедии, ими представляемой, вы тотчас найдете сродство с теми русскими песнями, в которых слова набраны только для рифмы и не заключают в себе ничего, кроме рифмы, с теми сказками,

где все делается по щучьему велению и ни в чем рассказчик ни себе, ни слушателям не отдает отчета. Например, при всех моих стараниях я никак не мог добиться, почему в известной уличной комедии, особенно любимой народом, является лицо, совершенно постороннее действию, ни с которой стороны, по-видимому, не нужное,— лицо, известное под именем «Петрушки», без которого, как вы знаете, не обходится ни одно уличное представление? Или по какой причине, прежде нежели (в той же комедии) черт, чрезвычайно похожий на козла, должен увлечь Пучинелла, являясь на сцену два арапа, играющие палкою и прерывающие действие?— для чего?.. Попробуйте добиться у шарманщика! «Нет-с, уж оно так, прежде-с арапы, а уж после черт уносит Пучинелла, уж так водится, так быть следует»,— отвечает он, оставив вас в совершенном недоумении насчет появления Петрушки и обоих арапов.

Впрочем, кукольная комедия не есть еще единственный ресурс итальянского шарманщика; ученые обезьяны, уличный гаер составляют также исключительную его принадлежность, и, кроме того, жена и дочери (разумеется, если таковые есть налицо) немало способствуют к благосостоянию дома. Выражаясь так, я хочу сказать только, что мать выливает из воска херувимчиков, разыгрывающих на вербах немаловажную роль, а дочери, хорошенькие итальяночки с продолговатыми личиками, шьют по заказу платья или раскрашивают модные картинки и верхушки помадных банок. Вообще итальянские шарманщики не представляют нам толпу беспутных бродяг, но, напротив того, картину скромных и тихих ремесленников. Они чрезвычайно любят свое ремесло и считают его благородным искусством, художеством; я никогда не забуду, как раз один из них на вопрос: «каково идут дела его в Петербурге?» отвечал мне ломаным французским языком: «Oh! mon signore, nous povero artisto pas bien vivere à Pietroborgo; à Pietroborgo on n'aime pas beaucoup les artisto... le publiko ne pas aimer la musica, signore!..»¹ Страсть к благородному искусству часто простирается до того, что итальянец проводит целые месяцы на улучшение шарманки; он облепливает ее разными фигурками, украшениями, прикрепляет к сторонам ее треугольник, бубенчики, тарелки, турецкий барабан,

¹ О, синьор, нам, бедным артистам, плохо живется в Петербурге; в Петербурге не очень любят артистов... публика не любит музыку, синьор!.. (Смесь искаженного французского с итальянским.)

навешивает колокольчики и, приведя все в движение веревочкою, привязанною к ноге, самодовольно посматривает на своих собратий, воображая себя обладателем восьмого чуда в мире. Помещик, показывающий вновь выстроенный дом свой, не пропуская малейшей подробности, и хвастающий даже устройством тех мест, куда никто не заходит без настоящей нужды, не так старается вырвать у вас похвалу, как шарманщик, только что купивший шарманку. Он несколько раз откроет ее, развинтит, попросит вас посмотреть внутренность, пощупать, погладить, повертеть ручкою, наконец определить ее ценность, и все для того только, чтобы не уронить в вашем мнении себя и горемычное ремесло свое.

Имея столько средств к наживанию денег, итальянские шарманщики легко могли бы по прошествии нескольких лет вернуться в свои горы, обеспеченные на всю жизнь, но природное влечение к деньгам и спекуляциям часто ввергает их снова в нищенское состояние. То фабрика гипсовых фигур, как известно, раскупающихся плохо и за бесценок; то постройка балагана на Адмиралтейской площади, где показывают ученых обезьян, китайские тени, кукольную комедию, что все в общей сложности представляет хозяину более издержек, нежели барыша; то, наконец, попытка основать какое-нибудь ремесленное заведение,—одно из таких предприятий, рано ли, поздно ли, разоряет бедного труженика в пух и снова вынуждает бродить по улицам с шарманкою, собирать по грошу и кормить семейство куском черствого хлеба, добываемого трудом и потом.

IV

РУССКИЕ И НЕМЕЦКИЕ ШАРМАНЩИКИ

Хотя шарманка редко бывает уделом немцев, все-таки сходство промысла дает им место в общем классе, нами описываемом.

Немецкие шарманщики бывают двух родов. Одни приходят к нам из Швейцарии, Тироля, Германии и промышляют с самого детства, другие образовались в Петербурге следствием каких-нибудь жизненных переворотов. Вообще частный быт как тех, так и других не представляет большого интереса. Они живут кучками на Сенной и Гороховой

в самом жалком и незавидном положении. Уж в том отчасти их натура виновата. Итальянец, например, предан своему ремеслу душой и телом; он оборотлив, сметлив, хитер, весел и веселостию своею завлекает, интересуется, электризует свою публику. Немец — сущая флегма; он вял, небрежен и не возбуждает никакого участия в русском человеке, который любит, чтоб его тешили, не жалея усилий. Он никогда не старается вас позабавить, произвести на вас приятное впечатление; напротив, вся его цель — надоесть кому-нибудь одною и тою же скучною ариею и получить деньги от выведенного из терпения обывателя, с условием оставить его в покое.

Вот политика немецкого шарманщика, не всегда приносящая денежный результат. Впрочем, средства их промысла довольно многочисленны: орган, издающий пискливые звуки — «По всей деревне Катенька», сопровождаемые заунывным аккомпанементом хозяина; арфа, на которой обыкновенно играет сухоощавая немка в огромном чепце и черной шали, немка с лоснящимся красным лицом и необыкновенно острым носом, — в то время как муж ее выделяет на своей скрипке быстрые вариации; ученые собаки, прыгающие на задних лапах под музыку знаменитой поездки Мальбруга в поход и боязливо посматривающие на плечистого хозяина, вооруженного бичом, годным для слона; виола с приплясыванием и присвистыванием маленького тирольца, одетого в национальный костюм; наконец, бродячие оркестры, состоящие или исключительно из одних тромбонов, оглушающих скромных жителей дворов, или из двух-трех скрипок да кларнета. Кроме того, подобно итальянцам немцы-шарманщики имеют еще частные промыслы: готовят зажигательные спички, курительные свечи, порошки, воспитывают щенков, которых, по окончании курса, передают инвалиду с раздутой губой, а инвалид сбывает их чувствительным томным барыням, носящим букли и ридикюль, или чиновникам, отцам семейства, любящим делать сюрпризы дочерям и не находящим для такого употребления ничего лучше мохнатых болонок или курносых мопсов.

Немецких шарманщиков в Петербурге немного; большею частью они недолго остаются в этом звании, нисколько не соответствующем их характеру.

Выгнанный хозяином безродный подмастерье, закутившийся лакей, приказчик, пожертвовавший хозяйскими день-

гами пристрастие к орлянке, свайке и картам, а иногда и бедняк, лишенный места несправедливым барином, составляют незначительную часть русских шарманщиков, ежедневно шлифующих петербургские тротуары. Непреодолимое влечение оставлять последний грош в заведении под фирмою: «с распивочной», рано или поздно заставляет его обратиться к итальянцу, содержащему шарманщиков. Правда, и русские шарманщики живут иногда в независимости от итальянца-хозяина, но уж не иначе, как компаниею; редко, весьма редко кто-нибудь из них отделяется от толпы и живет один с своим органом; ему нужно непременно «компанство», товарищи; он вообще склонен к общественной жизни. Селятся они на Петербургской стороне, в скромной лачужке, обнесенной с трех сторон огородами; четвертая же, как водится, смотрит в узкий переулок, в перспективе которого возвышается пестрая будка. В этих жилищах выказывается вполне характер почтенных наших соотечественников, народных виртуозов, со всею их беспечностью. Хотя горе (часто залетающее к русскому шарманщику) приводит его иногда в такое положение, что хоть ложись да умирай с голоду, но, несмотря на то, в нем, как и в каждом русском простолюдине, не угасает стремление к «художеству». Он непременно оклеивает стены своей лачуги любопытными картинками: «Торжество Мардохея», «Аман у ног своей любовницы», «Мужики Долбило и Гвоздило, побивающие французов», «Вид города Сызрани» (такого рода пейзажи состоят обыкновенно из маленьких пригорков в виде сахарных головок, расположенных один на другом, с травкою на каждой вершинке и увенчанных рядом кривых куполов), «Портной в страхе» и тому подобные создания отечественной фантазии резко выдаются красными, пунцовыми и желтыми пятнами на закопченных стенах. Рядом с изображением какого-нибудь фельдмаршала, занимающего с лошадыю все поле картины, вы увидите верхушку помадной банки с надписью: «а ла виолет», или над трогательною сценою, погребение кота мышами, тотчас же прилеплен портрет Кизляр-аги.

Нет ничего беспечнее русского шарманщика, он никогда не заботится о следующем дне, и если случается ему перехватить кой-какие деньжонки, обеспечивающие его на несколько дней, он не замедлит пригласить товарищей в ближайший «кафе-ресторан», где за сходную цену можно получить пиво, селедку и чай. Как неаполитанский лаза

рони, он не будет работать, если денег, добытых утром, достаточно на вечер: нашатавшись досыта, наш виртуоз возвращается домой, и если усталость не клонит его на жиденький тюфяк, служащий ему постелью, он предается мирным занятиям, сродным мягкой его душе: слушает, как один из его товарищей, грамотей труппы, читает добытые на толкучке брошюры. Его в особенности восхищают книги: «Жизнь некоторого Аввакумовского Скитника, в брынских лесах жительствовавшего, и курьезный разговор души его при переезде через реку Стикс», «Анекдоты Балакирева», «Похождение Ваньки Каина со всеми его ссысками, розысками и сумасбродною свадьбою», «История о храбром рыцаре Францыле Венцыане и прекрасной королеве Ренцывене», «Козел бунтовщик, или Машина свадьба» — сочинение удивительное, в эпиграф которому приложено: «все сочинения теперь в пыли, а это только что взято из были»; «Кандрашка Булавин». «Вред от пьянства» — книги, в особенности последняя, чрезвычайно назидательные, но приносящие как читателям, так и слушателям мало существенной пользы.

К удивлению, в публике русский шарманщик как-то не общежителен, он мало обращает внимания на своих слушателей, всегда почти пасмурен, недоволен собою, разве завлечет его дружеский удар по плечу знакомого кучера с приветствием: «эх, брат Ванюха!!!»

V

УЛИЧНЫЙ ГАЕР

Чердак одного из огромных домов, окружающих Сенную площадь, служит обыкновенно местом его рождения. Какая-нибудь прачка, горничная третьего разряда, обманутая лакеем, разделяющим любовь свою между кабаком и махоркою. — причина появления на свет будущего уличного гаера. Первый взгляд, брошенный новорожденным на полухмельного отца своего, бывает часто последним взглядом; непостоянный вскоре после рождения на свет залога любви бросает свою подругу и чердак, с твердым намерением разыграть роль Ловеласа в других, более удобных местах. Бедная женщина остается таким образом одна в своем жилище, где спартанец не нашел бы лишней роскоши. Убедившись в неверности своего любезного, она тотчас же принимается за работу; чувство матери придает ей новые силы

и вскоре вознаграждает потерянное время. Между тем мальютка растет; он уже бегает по комнате, лепечет несвязные слова и ест уголья и глину, заимствуя их у печки, — шалость, за которую мать имеет причины не слишком строго взыскивать. Птичка покидает гнездо, едва почувствует свои силы, и летит далеко в небо, купаясь в синеве его, или спускается в кущу пахучей липовой рощи, оглашая громким чиликаньем песчаный берег близ журчащей речки; точно так же и герой наш оставляет родной чердак, почувствовав себя в силах помощью рук и ног спуститься по грязной лестнице на улицу. Воспитание его окончено: природа была первым его наставником, время довершит остальное. Тротуары и мостовая, давно пожираемые жадным его взором с чердака, где получил он существование, появляясь ему теперь в полном блеске, представляют тысячу развлечений и удовольствий. Толпы таких же, как он, мальчишек, шарманщики, кукольная комедия, бабки, лотки, уставленные апельсинами и пряниками, солдаты, проходящие по площади с музыкою впереди, — все это до такой степени очаровывает молодое его воображение, что он готов лучше целые сутки просидеть на улице под дождем, любясь на воду, извергаемую желобом, нежели идти домой. Но известно всякому, даже не читавшему детских прописей, что счастье скоротечно и исполнено тревожных волнений. Едва минуло мальчугану восемь лет, как заботливая мать уже думает о том, как бы доставить ему честное хлебное ремесло. То вталкивает его в общую колею уличной промышленности, привесив ему на шею деревянный ящик, наполненный спичками, снабдив его тросточками, сургучом, зелеными яблоками, или, если есть кой-какие средства, избирает своему детищу более прочное ремесло, поручая его богатому мастеровому. Натянув на плечи толстый полосатый халат, мальчик становится подмастерьем. Хотя халат может поместить в широких полах своих трех таких молодцов, но подмастерье, уже вкусивший раз свободы, чувствует его тесным и, по возможности, старается стрясти с себя это иго. Избалованные мальчишки-товарищи скоро увлекают новичка; каждое воскресенье отправляются они на Крестовский на целый день, где проявляется впервые идея о кутеже. С пряников и кедровых орехов переходит на трубку, с трубки на вино; бедняк, увлеченный более и более, делается негодяем и кончает обыкновенно карьеру свою у хозяина воровством или побегом

Выгнанный хозяином или бежавший от него, он случайно сталкивается с содержателем труппы кочующих фигляров; мать ли его стирает белье на эту труппу, или он сам заводит знакомство, одним словом, бывший подмастерье делается членом труппы, в качестве портного или сапожника, с назначением перекраивать известные лохмотья или приставлять подметки. Но звание это, вместо того чтоб доставить ему кусок хлеба, делается источником всех его бед и несчастий. Фигляры, вольтижеры, канатные плясуны являются пред ним господами, героями; страждущее самолюбие не дает ему покоя ни днем ни ночью; ему грезится бархатный камзол, шитый блестками, рукоплескания, дружба и радушие фигляров, вместо презрения, и он решается, во что бы то ни стало, достигнуть высокой для него цели. Хитрый хозяин, подметив эту слабость и не имея особенного желания платить своему работнику, предлагает ему, вместо денег, услуги; бедняк с восторгом принимает предложение и вверяет свои члены бичу и палке хозяина.

Тут наступает для него трудная школа, и если он до конца выдерживает ее, то по прошествии нескольких лет удостоивается приема в компанию. Разумеется, претензии его на жалованье считаются дерзостью, и потому он немедленно переходит в другую труппу уже действующим лицом, с правом быть выставленным на афише. В этих труппах герой наш обязан выполнять все возможные «амплуа» по благоусмотрению антрепренера, какого-нибудь г. Каспара, Вейнерта, Добрандини и т. д. Начиная с обязанности ламповщика и кончая почетным званием вольтижера, переходит он все состояния: поочередно является перед почтеннейшей публикой клоуном, Кассандром, паяцом, чертом, глотает шпаги, зажженный лен, подымает гири, играет в пантомимах, кончающихся обыкновенно тем, что все действующие лица, без исключения, исчезают в исполинской пасти холстяного черта; деятельность его иногда баснословна; он в одно и то же представление сзывает зрителей, продает билеты на вход, делает *salto mortale*, танцует на канате, перепрыгивает помощью трамплина чрез двенадцать солдат, танцует на лошади, играет какую-нибудь роль в следующей за сим пантомиме и часто довершает представление коленцем из русской пляски, отхвачанным с примадонною труппы. Но непродолжительна блестящая эпоха его жизни; когда масленая, а затем и святая недели миновали, он вынужден бесчестить (так выражается гаер) бла-

городное ремесло свое, вступив гаером к богатому шарманщику, с условием получать по двадцати пяти копеек меди с рубля, добытого на дворах и улицах.

Должно заметить, что уличный гаер всегда почти русский; балаганные его товарищи, будучи иностранцами, тотчас же по истечении праздников уезжают за границу, оставив его на произвол судьбы. Спустясь с своих подмостков на худошавый ковер, бывший Геркулес показывает нам свое искусство при завывании шарманки и гудении тамбурина. Большую часть года уличный гаер проводит у шарманщиков, и это время составляет несчастнейшую часть его жизни.

Деньги, получаемые на улицах, едва достаточны на содержание, а так как он любит после дневных трудов посибаритствовать, то нажитое в балагане мало-помалу исчезает в заведениях. С каждым днем положение его становится хуже и хуже; к концу года остается у него одно платье, и он уже, по русскому обычаю, собирается угостить товарищей на последний камзол, шитый блестками, как является хозяин балагана и завербовывает его на следующие праздники. Без этого прощай и камзол и человек, все бы погибло! Несмотря на скудную жизнь уличного гаера у шарманщика, он не унывает духом, и хотя наружность его пасмурна, смотрит он исподлобья и всегда ворчит, но это продолжается только до минуты, когда он входит на двор, намереваясь дать представление. В то время как один из его товарищей расстилает на мостовой тощий ковер, служащий ему ареною, гаер гордо посматривает на толпу, сбежавшуюся смотреть на него. Взгляните, с какою самодовольною улыбкою сбрасывает он с себя длиннополый сюртук, скрывающий пунцовый камзол и широкие белые шаровары. Бубен и шарманка играют интродукцию, гаер встряхивает курчавою головою, отходит несколько шагов назад и, разбежавшись, становится на руки; *salto mortale* следуют одно за другим, публика рукоплещет, гроши сыплются из окон, но гаер ничего этого не примечает; у него давно на носу стул, на котором сидит маленькая девочка, взятая из толпы... Унылые звуки «Лучинушки» возвещают конец представления; гаер надевает снова сюртук, нахлобучивает на взъерошенные свои волосы избитую шляпу и покидает двор, преследуемый тою же публикой, еще долго не покидающею его.

Не все уличные гаеры случайно попадают в тяжкое свое

ремесло; есть такие, которые посвящаются ему с самого детства. Дети старого фигляра или гаера, они поневоле должны идти по стопам отца и обыкновенно кончают жизнь или на этом поприще, или от неудачного salto mortale. Положение их самое несчастное; от колыбели до гроба обречены они неимоверным трудам, не имея другого способа кормить себя, так как гаер по призванию имеет всегда время отказаться от гаерства, коль скоро почувствует его тягостным. Часто случается, что, проведши несколько лет в этом звании, он возвращается к прежнему ремеслу своему, и вы немало удивитесь, увидев того самого гаера, которым восхищались на дворе, который так ловко ходил на руках, держал на носу стул и поворачивал на мизинце тамбурин, с шилом или ножницами в руках.

VI

ПУБЛИКА ШАРМАНЩИКА

В осенний вечер, около семи часов, партия шарманщиков поворотила с грязного канала в узкий переулок, обставленный высокими домами. Шарманщики заметно устали. Один из них, высокий мужчина флегматической наружности, лениво поворачивал ручкою органа и едва передвигал ноги; другой, навьюченный ширмами, бубном и складными козлами, казалось, перестал уже и думать об усталости, только рыжий мальчик с ящиком кукол нимало не терял энергии.

Шарманщики, кажется, намереваются войти в ворота одного знакомого и прибыльного дома.

Так! нет сомнения! Комедия будет! Они вошли на двор, вот уже заиграли какой-то вальс и раздался пронзительный крик Пучинелла. Оборванный мальчишка, который до того времени спокойно сидел на тумбочке, играл камешком и дразнил сестру с двумя маленькими ребятишками на руках, вдруг вскочил, сделал братьям еще гримасу и, перескочив чрез всю группу, сломя голову бросился на двор. Будочник, стоявший тут же, с прилепленною к стене будкою, снисходительно улыбнулся и понюхал березинского. Два солдата, занятые весьма интересным разговором, заметив вошедших в дом шарманщиков, остановились, с минуту оставались в нерешимости и наконец вошли.

Баба с необыкновенно красным лицом и веником под

мышкою последовала их примеру; одним словом, эффект был произведен.

Отчего же бы и нам не зайти? Двор широк и просторен; на него выходит до сотни окон. Посреди двора уже поставлены ширмы; флегматический носитель шарманки успел уже уставить свою ношу на складные козла и играл интродукцию. Представление не могло замедлиться, потому что на публику нельзя было жаловаться: она сбегалась со всех сторон. Но шарманщик не переставал оглядывать окна, из которых начинали высовываться головы любопытных, естественно ожидая от них более, чем от толпы сгруппировавшихся вокруг него зевак.

Крик Пучинелла раздается в другой и третий раз, верхние этажи населяются, оживляются, кучи самых разнообразных голов перевешиваются на подоконники; виден и чиновник в пестром халате, красной ермолке и с трубкою в зубах; рядом с ним артель работников заняла целые шесть окон сряду; хорошенькая женщина и болонка поместились на сафьянной подушке, брошенной на окно; кое-где выглянуло несколько размалеванных лиц, обративших на мгновение общее внимание.

Чиновник Федосей Ермолаевич, весьма почтенный человек, занимавший выгодное место и которого сам директор однажды потрепал по плечу, также был пробужден после обеденного отдыха призывными криками Пучинелла.

— Терешка! что это, братец, там такое?— закричал Федосей Ермолаевич, зевая и потягиваясь.

— Шарманщики, сударь,— отвечал Терешка, делая движение рукою и головою к окошку.

— Да как же это они, братец... того?..

Но тут новый крик Пучинелла совершенно разбудил Федосея Ермолаевича; он потянулся еще раз, встал с постели и заспанными глазами посмотрел на двор.

— Папенька, то, то, то, они вот все, вот так, вот все играют?— спросил маленький Ермолай Федосеевич, таща всеми силами отца к окну. Ребенок гнусил, произнося последние слова нараспев, что, впрочем, нисколько не мешало ему быть любопытным и подавать большие надежды.

— Шарманщик, душечка...

— Нет, нет, то, вот они, вот так, вот все играют?— продолжал ребенок, требуя непременно объяснения.

— Шарманщик, душечка...

— Нет, нет, то, они все так...

Но и мы, не находя ответ Федосея Ермолаевича удовлетворительным, спустимся лучше вниз вместе с нянькою, торопливо выносившею пискливого ребенка, который не давал ей покоя целые три часа.

Комедия должна начаться сию минуту, публике некуда уже было поместиться. Два солдата, долго колебавшиеся вмешаться в толпу, стояли теперь на первом плане; их плотно окружала орда мастеровых в изодранных армяках, с выпачканными сажею лицами; мамки, няньки, кормилицы с ребятишками всех сортов и возрастов пестрели в голпе яркими сарафанами; денщик, возвращаясь с четверкою вакштафа, которую с нетерпением ожидал вновь произведенный прапорщик, казалось, позабыл своего господина; босоногая девчонка, остриженная в кружок, стояла в каком-то бессмысленном созерцании, держа в руках корзиночку с копеечными сухарями; толстый барин в очках, вышедший подышать свежим воздухом, разделял общее нетерпение; трое писарей с лихими ухватками подшучивали над шарманщиком, который переменил уже два мотива и с самой недовольной миной переходил на третий; с улицы подходила беспрестанно толпа всякого сброда; даже два моншера остановились у входа ворот, завернув ногу назад и картинно упершись на тросточку.

Толпа волновалась и шумела; все ожидали. все требовали представления; один только знакомый нам мальчишка бегал кругом, как гончая собака, обнюхивая каждого, высывал язык всем, кто ему не нравился, щипал исподтишка детей и, протянув руку, готовился стащить пятый сухарь у девочки, как вдруг над шарманкою показался Пучинелла. Пучинелла принят с восторгом; характером он чудак, криклив, шумлив, забияка, одним словом, обладает всеми достоинствами, располагающими к нему его публику.

— Здравствуйте, господа! Сам пришел сюда, вас повеселить, да себе что-нибудь в карман положить!— так начинает Пучинелла.

Его приветствие заметно понравилось; солдат подошел поближе, мальчишка сделал гримасу, один из мастеровых почесал затылок и сказал: «ишь ты!», тогда как другой, его товарищ, схватившись за бока, заливался уже во все горло. Но вот хохот утихает; Пучинелла спрашивает музыканта: взоры всех обращаются на его флегматического говарища.

— А что тебе угодно, господин Пучинелла?— отвечает шарманщик.

Пучинелла просит его сыграть «По улице мостовой»; музыкант торгуется:

— Да что с тебя, мусью? двадцать пять рублей ассигнациями!

Пучинелла. Да я и отроду не видал двадцати пяти рублей, а по-моему, полтора рубля шесть гривен.

Музыкант. Ну хорошо, мусью Пучинелла, мы с тобою рассчитаемся.

Сказав это, он принимается вертеть ручкою органа.

Звуки «По улице мостовой» находят теплое сочувствие в сердцах зрителей: дюжий парень шевелит плечами, раздаются прищелкивание, притоптывание.

Но вот над ширмами является новое лицо: капитан-исправник; ему нужен человек в услужение; музыкант рекомендует мусью Пучинелла.

— Что вам угодно, ваше высокоблагородие?— спрашивает Пучинелла.

— Что ты очень хороший человек, не желаешь ли идти ко мне в услужение?

Пучинелла торгуется; он неизвестно почему не доверяет ласкам капитана-исправника; публика живо входит в его интересы.

Капитан-исправник. Экой, братец, ты, со мною торгуешься! много ли, мало ли, ты станешь обижаться.

Пучинелла. Не то чтобы обижаться, а всеми силами стану стараться!

Капитан-исправник. У меня, братец, жалованье очень хорошее, кушанье отличное, пуд мякины да полчетверика гнилой рябины, а если сходишь к мамзель Катерине и отнесешь ей записку, то получишь двадцать пять рублей награждения.

Пучинелла. Очень хорошо, ваше благородие, я не только записку снесу, но и ее приведу сюда.

Публика смеется доверчивому Пучинелла, который побежал за мамзель Катериною. Вот является и она сама на сцену, танцует с капитаном-исправником и уходит. Толпа слушает разиня рот, у некоторых уже потекли слюнки.

Новые затеи: Пучинелла хочет жениться; музыкант предлагает ему невесту; в зрителях совершенный восторг от девяностодевятилетней Матрены Ивановны, которая живет «в Семеновском полку, на уголку, в пятой роте, на

Козьем Болоте». Хотя Пучинелла и отказывается от такой невесты, но все-таки по свойственному ему любопытству стучит у ширм и зовет нареченную. Вместо Матрены Ивановны выскакивает собака, хватает его за нос и теребит что есть мочи.

Публика приходит в неистовый восторг: «тащи его, тащи... так, так, тащи его, тащи, тащи!..» — раздается со всех сторон; Пучинелла валится на край ширм и самым жалобным голосом призывает доктора, не забывая, однако, спросить, сколько будет стоить визит.

Является доктор, исцеляет Пучинелла и в благодарность получает от него оплеуху.

За такое нарушение порядка и общественного спокойствия исполненный справедливого негодования капитан-исправник отдает Пучинелла в солдаты.

— Ну-ка, становись, мусью, — говорит капрал, вооружая его палкою, — слушай! на кра-ул!

По исполнительной команде Пучинелла начинает душить своего наставника вправо и влево, к величайшему изумлению зрителей. Ясно, что такого рода буян, сумасброд, безбожник не может более существовать на свете; меры нет его наказанию: человеческая власть не в состоянии унять его, и потому сам ад изрыгает черта, чтобы уничтожить преступника.

Комедия кончается; Петрушка, лицо неразгаданное, мифическое, неуместным появлением своим не спасает Пучинелла от роковой развязки и только возбуждает в зрителях недоумение. Неунывающий Пучинелла садится верхом на черта (необыкновенно похожего на козла), но черт не слушается: всадник зовет Петрушку на помощь, но уже поздно: приговор изречен, и Пучинелла погибает образом, весьма достойным сожаления, то есть исчезает за ширмами.

Раздается финальная ария, представление кончилось. Публика чрезвычайно довольна, но когда шарманщик взял бубен, завертел его на мизинце и стал обходить зрителей, толпа заметно стала редеть. Первыми дезертирами оказались два солдата и баба с веником под мышкою: рев детей, на минуту умолкнувший, возобновился с большей силой и заставил мамок поскорее удалиться; словом, из голпы утекали поминутно. К совершенному отчаянию шарманщика, даже и сам толстый господин в очках, остановившийся послушать комедию, посмотрел на бубен, подносимый ему шарманщиком, как бы не понимая, чего хоте-

лось просителю; с горя шарманщик обратился к ложам, то есть к окнам, в которых все еще торчали головы любопытных; наконец один пятак упал, звеня и прыгая, на мостовую, за ним другой, потом третий, брошенный собственноручно сыном Федосея Ермолаевича, которому папенька вручил его с наставлением: «брось ему, душенька, в бубен».

— Нет, нет, то, то, они вот, так вот все играют?— твердил упрямый мальчишка...

Пятак как-то неловко упал между камнями; тут чиновник в красной ермолке, не давший решительно ничего и более других хлопотавший о начатии комедии, принял необыкновенное участие в судьбе шарманщика.

— Направо, направо,— кричал он, указывая ему пальцем на то место, куда упал пятак.— Еще правее... эх, братец! не туда! говорят тебе, правее.

— Направо, теперь еще немножко назад,— слышался голос из другого окошка.

«Эх вы,— думал шарманщик, нагибаясь, чтобы поднять деньги,— хлопотать-то ваше дело, на то вы мастера, а вот как самому положить что-нибудь, так нет... эх! житье, житье!»

Шарманку сняли, и под звуки плачевной музыки она тронулась с места; толпа расходилась; чем бы, кажется, и все должно было кончиться, но тут случилось обстоятельство, которого пропустить невозможно. Дождь, накрапывавший еще до окончания комедии и не замечаемый увлекшеюся публикой, полил как из ведра; чиновник в очках, по благоразумному своему обыкновению в таких случаях, полез в карман, чтобы вытащить оттуда платок и обернуть им еще новую шляпу, как к совершенному своему изумлению вместо платка вытащил чью-то руку, уже прежде нырнувшую туда за платком.

Чиновник обернулся, но мальчишка, наш старый знакомый (это был он), одним движением руки вырвался из тисков оскорбленного чиновника, ринулся вперед и исчез в толпе.

«Держи! держи!»— закричал чиновник; «держи! держи!»— раздалось повсюду, «держи!»— закричали мастеровые.

Двор опустел до единого; один только мужик, восторженно хохотавший от самого начала до развязки, остался на прежнем месте; улыбка удовольствия еще не покидала

лица его; он осмотрелся кругом, взглянул на то место, где стояла шарманка, не забыл посмотреть на окна, которые запирались от проливного дождя, и, сделав недовольную мину, отправился к воротам.

Под воротами он встретил бедную собачонку, дрожавшую от холода и прижимавшуюся к стенке. Мужик остановился, посмотрел на нее пристально, нагнулся к ней как можно ближе и произнес: «озябла!..», после чего тотчас же покинул двор, весьма довольный собою.

VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Случалось ли вам идти когда-нибудь осенью поздно вечером по отдаленным петербургским улицам?

Высокие стены домов, изредка освещенные тусклым блеском фонарей, кажутся еще чернее неба; местами здания и серые тучи сливаются в одну массу, и огоньки в окнах блестят, как движущиеся звездочки; дождь с однообразным шумом падает на кровли и мостовую; холодный ветер дует с силою и, забиваясь в ворота, стонет жалобно; улицы пусты, кое-где плетется разве запоздалый пешеход или тащится извозчик-ночник, проклиная ненастье; но скоро все утихает, изредка только слышатся продолжительный свист на каланче или скрип барки, качаемой порывами ветра, и снова все погружается в безмолвие.

Погода всегда имеет сильное влияние на расположение духа, и вам как-то невольно становится грустно. Постепенно одна за другою приходят на ум давно забытые горести; одно печальное, неотрадное наполняет душу, и невыразимая тоска овладевает всем существом вашим...

Вы входите в глухой, темный переулок; сердце ваше сжимается еще сильнее прежнего. Высокие заборы исчезают в темноте; полуразвалившиеся лачужки без признака жизни, все пусто, ни живой души, разве пробежит мокрая собачонка, фыркая и чутко обнюхивая, в тщетной надежде напасть на след потерянного хозяина... Вдруг посреди безмолвия и тишины раздается шарманка; звуки «Лучинушки» касаются слуха вашего, и фигура шарманщика быстро проходит мимо.

Вы как будто ожили, сердце ваше сильно забилося, грусть мгновенно исчезает, и вы бодро достигаете дома. Но

не скоро унылые звуки «Лучинушки» перестанут носиться над вами; долго еще станет мелькать жалкая фигура шарманщика, встретившаяся с вами в темном переулке поздно ночью, и вы невольно подумаете: может быть, в эту самую минуту продрогший от холода, усталый, томимый голодом, одинокий, среди безжизненной природы, вспоминал он родные горы, старуху мать, оливу, виноград, черноокою свою подругу, и невольно спросите вы: для чего, каким ветром занесен он бог знает куда, на чужбину, где ни слова ласкового, ни улыбки приветливой, где, вставши утром, не знает он, чем окончится день, где ему холодно, тяжело..

ДЕРЕВНЯ

Рассказ

1

Далеко в глухой сторонушке
Вырастала тонка белая береза,
Что тонка береза, кудревата,
Где не греет ее солнышко, ни месяц
И не частые звезды усыпают;
Только крупными дождями уливает,
Еще буйными ветрами поддувает.

Русская народная песня

В одном богатом селении, весьма значительном по количеству земли и числу душ, в грязной, смрадной избе на скотном дворе у скотницы родилась дочь. Это обстоятельство, в сущности весьма незначительное, имело, однако, следствием то, что больная и хилая родильница, не быв в состоянии вынести мучений, а может быть, и просто от недостатка бабки (что очень часто случается в деревнях), испустила последний вздох вскоре после первого крика своей малютки.

Рождение девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы, товарки умершей, деливших с свойственным им бескорыстием обношенные, дырявые пожитки ее. Ребенок, брошенный на произвол судьбы (окружающие были заняты делом более важным), без сомнения, не замедлил бы последовать за своими родителями (и, конечно, не мог бы сделать ничего лучшего), если б одно из великодушных существ, наполнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то случайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящею причиною, определившею судьбу младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала его между жизнью и смертью. Дележ, совершаемый по всем законам справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоил, однако, шумного их сборища; хотя тетка Фекла и уступила скотнице Домне полосатую понёву покойницы за ее изношенные коты (главную причину криков и размирья); хотя завистливая Домна перестала кричать на Голиндуху, завладевшую повязкою и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась недолго и была только предвестницей новой бури.

Теперь каждая их этих достойных женщин с жаром принялась защищать права свои в рассуждении того, на чью горькую долю должен достаться ребенок, как будто на зло им родившийся. Но сколько ни спорили горемычные, ничего не могли решить (чувство справедливости было в них сильно), и потому положили с общего голоса предоставить все судьбе и бросить жребий — способ, как известно, решающий в деревнях всякого рода недоразумения. Жребий, в благодарность за такое доверие, не замедлил, по обыкновению, показать собою пример безукоризненного беспристрастия и справедливости: сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не в пример другим бабам, была наделена полдюжиною собственных своих чад.

Домна (так звали новую скотницу), хотя баба норова твердого, или, лучше сказать, ничем не возмутимого, не могла, однако, вынести равнодушно определения судьбы и тут же, зная наперед, сколько бесполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будет проклятому пострелу, невесть как несправедливо навязавшемуся ей на шею.

Маленькая Акулина (таким именем окрестили малютку) сделалась на скотном дворе с первого же дня своего существования предметом всеобщего нерасположения.

Да и какая, в самом деле, нужда была бабам знать, был ли младенец виною своей докучливости? Довольно того, что он досаждал им поминутно. «Добро бы — своя была, — говорили они, — добро бы родная, а то невесть по какого лешего смотришь за нею; словно от безделья». Но хуже всего приходилось терпеть сиротке от самой скотницы. Нельзя сказать, чтоб Домна была женщина злая и жестокая; но день бывал у ней неровен: иной раз словечка поперек не скажет, что бы ни случилось; в другое время словно дурь какая найдет на нее; староста ли заругается или подерется, дело ли какое не спорится в доме — осерчает вдруг и пойдет есть и колотить сиротку. Сором таким лается на нее, что хоть вон из избы беги; все припомнит, ничего не пропустит; усопшую мать не оставит даже в покое и при каждом ударе такого наговорит дочери на покойницу, чего и вовсе не бывало.

Впрочем, необходимо сказать в оправдание Домны, что в грубом обхождении и побоях, которыми угощала она свою питомицу, скрывалась иногда весьма уважительная, добрая цель. В доказательство можно привести собственные слова ее. Однажды жена управляющего застала Дом-

ну на гумне в ту самую минуту, когда она безмилосердно тузила Акулю. «За что бьешь ты, дурища, девчонку?» — спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нету, матушка Ольга Тимофеевна, — ответила Домна, — а так, для будущности пригодится». Если найдутся люди, которые, по свойственному им человеколюбию или сострадательности, не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частию жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее.

Страсть к «битью, подзатыльникам, пинкам, нахлѣбучникам, затрещинам» и вообще всяким подобным способам полирования крови не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развилась чрез круговую поруку — бог ее ведает; вернее, что чрез круговую поруку...

В одном только можно было упрекнуть Домну, именно в излишнем пристрастии, которое уже чересчур ясно обнаружила она к собственным своим детям. Можно даже сказать, что слепая эта любовь часто заглушала в ней чувство справедливости и всякого рода добрые намерения, оправдывавшие почти всегда пинки и побои, которыми наделяла она сиротку. Случалось ли ребятам напроказить: разбить горшок или выпить втихомолку сливки — разгневанная Домна накидывалась обыкновенно на Акульку, видя в ней если не виновницу, то по крайней мере главную зачинщицу; забредет ли свинья в барский палисадник, и за свинью отвечала бедняжка. Когда муж скотницы, проживавший по оброку в соседней деревне на миткалевой фабрике, возвращался домой в нетрезвом виде (что приключалось нередко), всегда почти старалась Домна натолкнуть на него сиротку, чтобы отклонить от себя и детей своих первые порывы дурного расположения, — словом, все, что только могло случиться неприятного в домашнем быту скотного двора, — все вызывало побои на безответную Акульку. Вне этих отношений с жителями избы сиротка проводила детство свое, как и все остальные дети села, в совершенном забвении и пренебрежении. Слово «авось» играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к собственному его житью-бытью, но даже к житью-бытью детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать с невыразимою беспечностью предоставляют свое детище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единст-

венным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девчонке лет четырех или пяти, которая нянчится с ним по-своему, то есть мнет и тербит его во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что и через двадцать лет отзовется.

Мать ли плетется с коромыслом на реку стирать белье — и дочка тащится вслед за нею вместе с драгоценною своею ношею; развлеченная каким-нибудь камешком или травкою, она вдруг покидает питомца на крутом берегу или на скользком плоту... Бегут ли под вечер ребята навстречу несущемуся с поля стаду — нежная головка младенца уже непременно мелькает в резвой, шумливой толпе; когда наступает сырая холодная осень, сколько раз бедняжка, брошенный на собственный произвол, заползает на середину улицы, покрытой топкою грязью и лужами, и платится за такое удовольствие злыми недугами и смертью! А весною, когда отец и мать, поднявшись с рассветом, уходят в далекое поле на работу и оставляют его одного-однихонького вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой, столько же нуждающейся в присмотре, сколько и трехлетние внучата ее, — о! тогда, выскочив из избы, несется он с воплем и криком вслед за ними, мчится во всю прыть маленьких своих ножек по взбороненной пашне, по жесткому, колючему валежнику; рубашонка его разрывается на части о пни и кустарники, а он бежит, бежит, чтоб прижаться скорее к матери... и вот сбивается запыхавшийся, усталый ребенок с дороги; он со страхом озирается кругом: всюду темень лесная, все глухо, дико; а вот уже и ночь скоро достигнет его... он мечется во все стороны и все далее и далее уходит в чащу бора, где бог весть что с ним будет... Поминутно слышишь, что там-то утонул ребенок в ушате, что тут-то забодал его бык или проехала через него отцовская телега, что сын десятского отморозил себе ногу, а трехлетняя внучка старостиhi разрезала серпом щеку двухлетней сестре своей и тому подобное.

Конечно, крестьянская натура крепкая, и если ребенок уцелеет, то к зрелому возрасту он превращается почти всегда в дюжего и плечистого парня с железным здоровьем или в свежую, красную девку, во сто крат здоровее иной барышни, с колыбели воспитанной в неге и роскоши: но ведь не всякому посчастливится уцелеть: сколько их и гибнет! сколько остается на всю жизнь уродами! Трудно найти де-

ревню, где бы не было жертвы беспечности родителей; калеки, слепые, глухие и всякие увечные и юродивые, служащие обыкновенно предметом грубых насмешек и даже общего презрения,— в деревнях сплошь да рядом! Притом между крестьянскими детьми нередко встречаются нежные натуры, которые если и выдерживают детство, зато сохраняют во всем существе своем пагубные следы его надолго— на всю жизнь.

Обремененные наследственными недугами, больные и слабые, они считаются в родной семье за лишнюю тягость и с первых лет до того дня, когда оканчивают тихое, бездейственное поприще свое на земле в каком-нибудь темном углу избы, испытывают одно только горе, приправляемое ропотом окружающих и горьким сознанием собственной своей бесполезности.

К счастью, Акулина не принадлежала к последней категории, и Домна могла употреблять ее с пользою в многочисленных занятиях скотного двора. Едва сиротке минул седьмой год, тотчас же приставила она ее смотреть за барскими гусями и утками.

II

Как чужие-то отец с матерью
Безжалостливы уродились:
Без огня у них сердце разгорается,
Без смолы у них гнев раскипается;
Насижусь-то я у них, бедная,
По конец стола дубового,
Нагляжусь-то я, наплачуся.

Русская песня

Осень. На дворе холодно; частый дождь превратил улицу в грязную лужу; густой туман затянул село, и едва виднеются сквозь мутную сквознину его ветхие лачуги и обнаженные нивы. Резкий ветер раскачивает ворота и мечет по поляне с каким-то заунывным, болезненно хватающим за сердце воем груды пожелтевших листьев. Улица пуста — ни живой души. Сизый дымок, вьющийся из низеньких труб избушек, свидетельствует, что никого нет в разброде, что все хозяева дома и расправляют на горячей печке продрогшие члены. Все живущее прячется, кто куда может, лишь бы укрыться от холода и ненастья. Куры и голуби приютились на своих жердочках под навесом, завернув голову под тепленькое крылышко; воробей забился

в мягкое гнездо свое; даже неугомонные шавки и жучки комком свернулись под телегами. Каждому готов приют, каждому и хорошо и тепло...

Изба скотницы Домны жарко-нажарко натоплена; вся семья дома; даже теленок, которого откармливают для барского стола, привязан заботливою Домною к печке и опустился на мокрую свою солому. Двое парнишек ее вместе с бабушкою и любимою кошкою давно забрались на полати. Другие два шумно возятся под лавками. Дождь стучит в узкие стекла окон, ветер свищет на дворе и улице, и по временам все стихает в избе, прислушиваясь к дребезжащему, протяжному вою. Одной только Акули что-то не видно: ее послали на реку стеречь уток.

Возвращается она наконец к обеду домой. Издали виднеется ее почерневшая от воды лачуга, но сиротка не спешит укрыться от холода под теплую ее кровлю; она со страхом и смущением приближается к ней. Дело в том, что одного утенка унесло течением реки в колесо мельницы.

Между тем как подходила она к дому, на скотном дворе как нарочно затеялся жаркий спор между Домною и Голиндухою. Здесь дело было уже вот в чем: кто-то из ребят скотницы стянул лапоть Голиндухи, прислоненный к печке для просушки, и, привязав к нему бечевку, стал возить его по полу. Голиндуха, занимавшаяся в то время выпариванием квасной кадушки, неоднократно кричала на ребенка, приказывая ему тотчас же поставить обувь на прежнее место; ребенок не слушался и, как бы назло, начал колотить лаптем во все углы избы. Выведенная наконец из терпения баба бросила работу, отвесила озорнику добрую затрещину и, вырвав обувь, положила ее на печку.

Домна, все видевшая и еще прежде чем-то раздосадованная, не вынесла выходки Голиндухи.

— Куда лапоть-то поганый свой ставишь?— сказала она, выглянув вдруг из-за перегородки,— места ему небось нету?.. Эка нашлась какая прыткая... словно барыня — драться еще задумала...

— А что, невидаль, что ли, какая?.. барские дети-то твои, что ль? Вестимо бить стану, коли балуются...

А ну-тка, сунься...

— Тебя небось послушалась?

- Ах ты, собака этакая. .

Сама съешь..

— Чтоб тебе подавиться лаптями-то..

Эй, Домна, не доводи до греха; у тебя уста, у меня другие.

— Плевать мне... А вот только тронь еще раз Ванюшку, так посмотришь...

— Да ты, в самом-то деле, что ты тычешь мне своими ребятами-то?..

— А ты что?..

— Да...

— Побирушка проклятая!.. и мать-то твоя чужой хлеб весь век ела, да и тебя-то христа-ради кормят, да еще артачится, да туда же лезет... Ах ты, пес бездомный! нуткась, сунься, тронь, тронь...

Домна и Голиндуха с покрасневшими лицами, вылупившимися глазами и поднятыми кулаками подступали уже друг к другу, когда в избу вбежала вдруг Машка, старшая дочь скотницы.

— Мамка! мамка! — голосила девочка, — глядь, глядь... Акулька-то одного утенка загнала... одного утенка нетути.

— Как! — вскричала исступленная Домна, мгновенно обращая свою ярость на только что вошедшую сиротку. — Ах ты, проклятая! случилось, тебе неслюбно смотреть за ними?.. Постой, вот я те поразогрею...

И она пошла на помертвевшую от страха девчонку с готовыми кулаками.

Страх, в котором держала скотница свою питомицу, часто даже исчезал в ребенке от избытка горя. Так случилось почти всякий раз, когда Домна, смягчившись после взрыва необузданной ярости, начинала ласкать и нежить собственных детей своих. Громко раздавались тогда за печуркою рыдания и всхлипывания одинокой, заброшенной девочки...

Много слез и горя стоило также Акулине новое назначение, определенное ей скотницею. Выгоняя утром гусиное стадо, проходила ли она по улице — всюду встречались веселые ребятишки, беззаботно игравшие под навесами и на дороге, всюду слышались их веселые песни, крики; одна она должна была проходить мимо, не смея присоединиться к ним и разделить общую радость. А уж как страшно-то было ей, боязливой девочке, напуганной разными дивами, проводить целые дни одной-одинешенькой, далеко от села, в каком-нибудь глухом болоте или темном лесу! В первое время она часто не могла вынести своего одиночества и, бросив тут же гусиное стадо свое, возвращалась одна на



скотный двор, позабывая и побои скотницы, и все, что могло ожидать ее за такой своевольный поступок.

Кроме этого, сколько приходилось терпеть безответному ребенку в самом доме. Вернется, бывало, вместе со стадом в избу — на дворе стужа смертная, вся она окоченела от холода — ноги едва движутся; рубашонка забрызгана сверху донизу грязью и еле-еле держится на посиневших плечах; есть хочется; чем бы скорее пообедать, закутаться да на печку, а тут как раз подвернется Домн'а, разгневанная каким-нибудь побочным обстоятельством, снова ушлет ее, куда вздумается, или наконец бросит ей в сердцах кусок хлеба, тогда как другие все, спустившись с полатей, располагаются вокруг стола с дымящимися щами и кашею.

Забьется Акуля в любимый уголок свой у печки, между лукошком и сором, закроет личико исхудавшими пальчиками и тихо, тихо плачет. Но прошел год, другой, и свылась Акулька со своей тяжкою долею. Какое-то даже радостное чувство наполняло грудь девочки, когда, встав вместе с зарею, раным-рано, вооружась хворостиною, выгоняла она за околицу свое стадо. Теперь, уже не ожидая намека, спешила она убраться со своими гусями и утками в поле, лишь бы только скорее вырваться из избы. Как птичка, встрепенется она тогда; все изменялось в ней; движения делались развязнее, стан выпрямлялся — словом, трудно было узнать в сиротке одну и ту же девочку. Робкий и жалкий вид, так резко отличавший ее дома от прочих детей, как бы мгновенно исчезал. Бывало даже, на Акулю находил в эти минуты вдруг какой-то припадок веселости, резвости.

Она особенно любила загонять свое стадо в густую основую рощу, находящуюся почти на самой границе земель, принадлежащих селу. Ей невыразимо легко, весело, привольно было просиживать тут с утра до вечера. Тут только запуганный, забитый ребенок чувствовал себя на свободе.

Перед нею широко стлался зеленый луг; медленно и плавно расхаживали по нем белые, как снег, гуси; селезни и пестрые утки, подвернув голову под сизое крылышко, лежали там и сям неподвижными группами. Далее сверкала река со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухом и кустарниками, из которых местами выбивались длинные, сухие стебли дикого щавеля и торчали фиолетовые верхушки колючего репейника. За рекою виднелось черное, взбороненное поле: далее, вправо, местность подымалась

горою. По главным ее отлогостям, изрезанным промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лесок; местами рыжее, высохшее дерево, вырванное с корнем весеннею водою, перекидывалось через овраг висячим мостом. Влево тянулось пространное болото; камыш, кочки и черные кустарники покрывали его на всем протяжении; по временам целые вереницы диких уток с криком поднимались из густой травы и носились над водою. Там и сям синевшая холмистая даль перемежалась снова серебристыми блестками реки.

Бесконечная сереющая даль, в которой двигались почти незаметными точками телега или спутанная лошадь, постепенно синела, синела, и наконец все более и более суживавшиеся планы ее сливались мутною линиею со сквозною голубого неба.

Но природа нимало не пленяла деревенской девочки; неведомо приятное чувство, под влиянием которого находилась она, было в ней совершенно безотчетно. Случайно ли избрала она себе эту точку зрения, лучшую по всей окрестности, или инстинктивно почувствовала обаятельную ее прелесть — неизвестно; дело в том, что она постоянно просиживала тут с рассвета до зари.

Разве выводили ее из раздумья однообразное кукованье кукушки, крик иволги или коршуна, который, распластав широкие крылья свои, вдруг, откуда ни возьмись, кружась и вертясь, появлялся над испуганным ее стадом. Акуля вскакивала тогда, бледное личико ее покрывалось ярким румянцем; она начинала бегать и суетиться, хмурила сердито узенькие свои брови и, размахивая по сторонам длинною хворостиною, казалось, готовилась с самоотвержением защищать слабых своих питомцев.

Наступал вечер. Поля, лощина, луг, обращенные росой и туманом в бесконечные озера, мало-помалу исчезали во мгле ночи; звезды острым своим блеском отражались в почерневшей реке, сосновый лес умолкал, наступала мертвая тишина, и Акуля снова направлялась к околице, следя с какою-то неребьяческою грустью за стаями галок, несшихся на ночлег в теплые, родные гнезда.

С возрастом, по мере того как сиротка становилась разумнее, постоянное это одиночество обратилось не только в привычку, но сделалось для нее потребностью. Оно было единственным средством, избавлявшим ее от побоев скотины и толчков встречного и поперечного. Всеобщее отчуж-

дение, которое испытывала она со стороны окружающих, как круглая сирота, и которое с некоторых пор как-то особенно тяготило ее, также немало способствовало подобному расположению.

III

Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные!

Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный!

Кольцов

Постоянное отдаление Акули от жителей скотного двора и одинокая жизнь производили на ее детство сильное влияние. Прежде еще, когда неотлучно оставалась она при людях, приластится, бывало, к тому, к другому или вымолвит ласковое слово, невзирая на толчки, которыми часто отвечали ей на ласки; теперь же едва успеет вернуться с поля, как тотчас забьется в самый темный угол, молчит, не шевельнется даже, боясь обратить на себя внимание. Каждый раз, когда достойные всякого сострадания гуси, продрогнув от холода, располагали идти восвояси, а следовательно, доставляли и сиротке случай погреться, она входила в избу с каким-то страхом, смущением, трепетом — чувствами, проявлявшимися прежде не иначе, как вследствие приключавшегося с нею несчастья.

Ребенок одичал наконец до того, что раз без особенной причины целые трое суток кряду не возвращался домой со своим стадом: голод только мог вынудить его покинуть поля и рощу.

Первое зазимье и морозы возвращали, однако, волею-неволею полуодичалую сиротку на скотный двор.

В это время года, когда все, от мала до велика, не исключая даже домашних животных, столпляются вместе под одною и тою же кровлею, — она снова сближалась несколько с семейством скотницы.

Зимою образ жизни в избе как-то всегда собирает разбредшихся поселян воедино.

Многочисленность семьи, тесное, неудобное помещение, работа, делающаяся в эту пору более общею, домашнею, —

все это, вынуждая каждого входить теснее в отношения другого, невольно сродняет их между собою.

Хотя Акуля действительно сблизилась зимою с жителями скотного двора, однако сближение это у ней было более внешнее, нежели нравственное.

Робкий и тихий нрав девочки, притом постоянно грубое обхождение, которому она подвергалась,— все это должно было отталкивать ее от задушевных с ними сношений.

Одни рассказы и каляканье, на которые год тому назад не обращала она ни малейшего внимания и которые теперь, с двенадцатилетним возрастом, как-то особенно начали возбуждать любопытство, присоединяли иногда ее к общему кругу.

В длинные зимние вечера изба скотницы Домны, как почетной гражданки села, наполнялась соседками и кумушками, заходившими покалякать о том, о сем, о делах того или другого.

Усядутся, бывало, в кружок, кто на лавке, кто попросту — наземь, каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или коклюшками, и пойдут и пойдут точить лясы да баить про иное, бывалое время.

Сначала все сидят молча — никто не решается перекинуться словом. В избе стихнет. Веретена гудят, трещит лучина, сверчок скрипит за подполищею, или тишина прерывается плачем которого-нибудь из малолетних ребят скотницы, проснувшегося внезапно на полатах от тяжкого сновидения.

Но потом мало-помалу гости оживляются, все в избе принимает участие в рассказях, и каждый в свою очередь старается вставить красное словцо. Даже девяностолетняя мать Домны изменяет вечно лежащему своему положению и, свесясь с печки, прислушивается одним ухом к диковинным рассказам соседок.

Чем далее, тем речи становятся бойчее и бойчее. То Кондратьевна, старуха бывалая, слышавшая в деревне лекаркою и исходившая на веку своем много — в Киев на богомолье и в разные другие города,— приковывает внимание слушателей; то тетка Арина, баба также не менее прыткая и которая, как говорили ее товарки, «из семи печей хлеба едала», строчит сказку свою узорчатую; то, наконец, громкий, оглушающий хохот раздается вслед за прибаутками другой, не менее торопливой кумы. Много разных разностей говорилось на засидках у Домны. Бабий язык, как извест-

но, и смирно лежит, а уж как пойдет вертеться, как придет ему пора,— так что твои три топора — и рубит, и колет, и лыки дерет! Примерно, хоть тетка Арина уж как начнет раздобаривать, так нагородит такого, что и ввек речи ее в забыть нейдут. Иной раз так настрашает, что все только и знают — крестятся да исподлобья на стороны поглядывают; про девок и говорить нечего; мертвецы-мертвецами сидят — хоть в гроб клади! Куда мастерица была всякое диво размазать. Да вот, раз речь зашла о том, что значит в добрый час молвить, а что в худой; так она такое приплела, что, сколько ни слушало народу,— так вот и повскакало с лавок.

— Вот,— говорит,— бывают такие неразумные бабы из нашего брата, что за пустое корят да хаят детей своих самыми недобрыми словами, «анафема» скажут, или «провались ты», или «возьми тебя нечистый». Оно кажется — ничего, ан глядь — и во вред ребенку ложится такое злое слово: долго ли накликать беду!

«Так-то прилучилось у нас с Дарьей, снохою Григория. Пришла она с поля, сердечная; устамши, что ли, была или другое что, господь ее ведает, только и завалилась она прямо на полати. Мальчишка-то у ней дома в люльке лежал; вот, как словно назло, расплакался на ту пору. Зачала Дарья унимать его. Унимала, унимала — нет, ревет себе знай; куда осерчала наша Дарья; встать, вестимо, не хочется — поясницу больно поразломило,— тут недобрый стих и найди на нее: «непутный, говорит, возьми тебя нечистая сила». Парнишка как будто к слову такому вдруг и затих; Дарья обрадовалась, повернулась на другой бок, подкинула под себя мужнину овчину да и завалилась спать. И молитвы даже не сотворила она над младенцем после такого слова — уж так, верно, дрема взяла ее, сердечную.

А слово-то, видно, сказано было не в добрый час.

Спит Дарья. Вдруг стало ей что-то неладно; так вот к самому сердцу и подступает, инда в пот кинуло. Она обернулась от стены к люльке, взглянула вполглаза на ребенка — смотрит... подполица расступилась надвое, и, отколь ни возмись, выходит большущая женщина, вся в белом закутана... вышла да прямо к люльке и протягивает руки к парнишке, норовит взять его...

Дарья испугалась, не зная куда и сон девался; и вскрикнуть-то ей хочется, не может, вся словно окоченела; а белая женщина все ближе да ближе протягивает руки.. ви-

дит Дарья, что достала она парнишку-то, да и взяла к себе на руки...

Месяц в ту пору вышел и светит к ней в избу — словно днем, — видным-виднешенько.

Вспомнила Дарья свой великий грех; так в голове все и завожилось у ней; как взвизгнет!.. Враг его знает, как это сталося — все сгнуло разом; Дарья вскочила с полатей да прямо к люльке; глядь — а парнишка-то лежит себе мертвешенек; головка просунута в веревку, на которой висит люлька, и ручонками-то ухватился за нее; весь поси-нел — знать уж нечистая сила больно вздосадовала на Дарью да и удавила его. Вздуги лучину, — и так и сак, и туда и сюда, и отец-то прибежал, и все-то в доме, кто был, подскочили — нет, ничем не помогли. Как ни убивалася Дарья, да, видно, не на шутку стряхнулось на нее горе — пришлось хоронить парнишку!»

Акуля более всего напрягала внимание, когда речь заходила о том, каким образом умерла у них в селе Мавра, жена бывшего пьяницы-пономоря, — повествование, без которого не проходила ни одна засидка и которое тем более возбуждало любопытство сиротки, что сама она не раз видела пономариху в поле и встречалась прежде с нею часто на улице. Кончину Мавры объясняли следующим образом:

Однажды пономариха отправилась было за грибами в дремучий бор (которого, между прочим, вовсе и не было в селе или окрестностях). Не успела она поднять трех рыжиков, вдруг слышится ей, что кто-то перекликается между деревьями. Вот она и стала прислушиваться: все словно как будто опять стихло, лист не шелыхался. Мавра снова стала искать грибы, набрала их без малого до верху котомки да идет на дорогу, чтоб скорее к дому; ан не тут-то было. Леший и перекинься ей поперек пути... Ходила, ходила пономариха, плутала, плутала: куда ни ступит, куст да трава, а проселка-то и не видать, словно сгинул; а ауканье-то в лесу все сильнее да сильнее... Что далее было, то неизвестно; а вот на другой день раным-рано, с рассветом, Гаврюшка-конторщик, возвращаясь из города с барскими письмами, видит, на самой меже белеется что-то: пень не пень, камень не камень; глядь, ан Мавра-то лежит навзничь; и руки посинели, и тело-то все избито, и понёва разодрана... Думал, думал Гаврюшка, да делать, видно, нечего было; не оставить же так тела христианского на съедение волкам: он

взвалил его на телегу да и привез в село прямо к мужу. Мавра очнулась только к вечеру, да будто язык у нее отнялся, слова не молвит. Пономарь был в ту пору буяный, навеселе: давай выпытывать по-свойски жену. Уж он ее колотил, колотил. бил, бил, куда ни попало, в голову, и в грудь, и в спину, лишь бы не мимо; Мавра все ни гугу; а на третий-то день, глядь, и душу отдала — померла, родимая; знать уж так суждено ей было, сердечной, али сама в чем виновата была, что подпустила к себе нечистую силу. Вестимо, коли душа чиста, так и злой дух тебя не тронет.

Далее словоохотливая рассказчица распространялась обыкновенно о том, как вообще мертвецы ненавидят живых людей за то, что последние остаются на земле как бы взамен их и пользуются всеми мирскими благами и удовольствиями. Она присовокупляла тут же в доказательство справедливости слов своих, что всем известный кузнец Дрон вскоре после смерти стал являться в селе, пугал всех, и что кума Татьяна сама, своими глазами, видела его раз за барским овином.

Акулина притаивала дыхание, и сердце ее стучало сильно-сильно, когда Кондратьевна, старая лекарка, подтверждала все это, уверяя даже, что Дрон, злобствовавший на нее еще при жизни, действительно являлся в селе, бывал у ней в избе, переходил из окна в окно, из ворот в ворота, шарил по всем углам и аккуратно выпивал у ней каждую ночь в погребе сливки. Она рассказала, что вскоре после того как пали у нее две коровы, рыжонка и белая, кузнец Дрон перестал таскаться по деревне, и объясняла чудо тем, что брат тогдашнего старосты, Силантий, раздосадованный, вероятно, ночными проказами кузнеца и желая вконец отвести беду, раскопал его могилу, положил тело грешника ничком и вбил ему в спину длинный-предлинный осиновый кол.

Слушая все эти чудеса, Акуля едва от страха переводила дух; то замирало в ней сердце, то билось сильно, и не раз в вечер личико ее покрывалось холодным потом. По временам ослабевавший свет лучины вдруг угасал от невнимания присутствующих, развлекаемых интересными повествованиями и рассказами, и тогда бедному ребенку казалось, что вот-вот выглядывает из-за печурки домовый, или, как называют его в простонародье, «хозяин», или всматривается в нее огненными глазами какое-то рогатое, безобразное чудовище; все в избе принимало в глазах ее

страшные образы, пробуждавшие в ней дрожь. Засидки баб длились иногда за полночь. Истомленная Акуля, несмотря на возрастающее любопытство и усилия избавиться от дремоты, более и более покорялась, однако, ее влиянию; русая головка ее медленно склонялась на плечо, глаза смыкались, и она засыпала наконец крепким сном. Часто слух ее как будто прояснялся, между тем как вся она оставалась в том расслабленном состоянии, похожем на летаргию, и внятно слышались ей тогда отрывистые речи гостей скотницы, долго еще за полночь толковавших о деяниях одноглазого лешего, чужого домового, моргуньи-русалки, ведьмы киевской и сестры ее муромской, Бабы-Яги костяной ноги и птицы гаганы...

Все эти диковины, которые с таким любопытством выслушивала Акуля в продолжении зимы, сильно распаляли ее воображение. Но робкий нрав ребенка, притом всегдашний гнет, под влиянием которого находился он, и, вдобавок, грубые насмешки, с которыми встречены первые его попытки высказать окружающим все, что лежало на сердце, невольно заставили его хоронить в себе самом свои впечатления и не выбрасывать их наружу. Такое сосредоточивание в себе своих мыслей и ощущений, какого бы они ни были свойства, должно было развить рассудок девочки несравненно скорее, нежели б это могло случиться при других обстоятельствах. Впрочем, в жизни сиротки являлись случаи, когда она разом высказывала все, что по целым месяцам мало-помалу накоплялось в голове ее. Это бывало не иначе, однако, как когда удавалось ей попасть в кружок людей совершенно сторонних, не принадлежавших даже к вотчине.

Калики и побирушки-перехожие, заносимые иногда бог знает каким ветром в их деревню, чаще всего доставляли Акуле подобные случаи.

Когда две или три такие старушонки, преследуемые с остервенением по всей улице воем и лаем собак, останавливались перед окнами скотного двора, затягивая тощим голосом обычную свою стихеру:

Семь, семь кралей,
Семь кесарей
Пошли-пришли поклониться
Христу-спасителю...
Подайте, отцы родные, милостинку
Во имя Христово...

Акуле уже не сиделось на месте, так ее и подмывало. Всегда почти находила она случай выбежать вон из избы. Она пряталась сначала в куриный хлев, чтоб отстранить подозрение скотницы, потом потихоньку проползала в узкое отверстие между плетнем и землею и вырывалась на свободу. Она пускалась тогда во всю прыть по задним дворам, перескакивала гряды капусты и огурцов, огибала огороды, господскую ригу и наконец вся впопыхах останавливалась за околицею. Тут Акуля, прислонившись к старой высокой рябине, с трепетом ожидала минуты, когда нищенки выйдут из села. Осмотревшись кругом и убедившись, что никто не следует за нею, решалась она присоединиться к ним. Тогда между каликами и Акулею завязывался разговор. Те, как водится, начинали с расспросов о том, есть ли в селе барин, строг ли с мужиками, есть ли барыня и барчонки, о том, кто староста, стар ли, молод ли он; потом мало-помалу объясняли Акуле, что вот-де они ходят из села в село, собирают хлебец да копеечки во имя Христово, заходят в монастыри, бывают далече, в Киеве и Иерусалиме, на богомолье, и что, наконец, жутко приходится им иногда жить на белом свете. Акуля внимательно следила за каждым словом старушек: ей так редко удавалось слышать ласковую речь! И вот, обрадовавшись случаю, она расспрашивала их и о Иерусалиме, и о городах, и о том, так ли живут там, как в селе, есть ли также церковь и будет ли она в вышину равняться с большим вязом, разросшимся вон там, далече-далече у них на погосте, и т. д. Расспросам не было конца.

Сиротка вспомнила наконец, что зашла далеко; села не было видно; побои и ругательства тотчас же мелькали в голове ее. Скрепив сердце, она прощалась со своими спутницами и снова пускалась во всю прыть по дороге. Между тем сколько новых впечатлений волновали душу бедного ребенка! Как часто останавливалась она в нерешимости, сама не зная, бежать ли ей вперед к дому, или назад вернуться и не разлучаться более с добрыми каликами-перехожими.. Но страх брал обыкновенно верх, и сиротка принималась снова бежать к старой рябине, осенявшей околицу села.

Трудно сказать, о чем могла думать тогда деревенская девочка, но дело, однако, в том, что при постоянном одиночестве и самозабвении рассудок ее не мог никоим образом оставаться в совершенном бездействии...

Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Хочет жизни другой!

Кольцов

Муж Домны, являвшийся домой только по праздникам, неизвестно отчего оставил вдруг миткалевую фабрику, на которой работал несколько лет сряду, и переселился с своим станом к жене на скотный двор.

Обстоятельство это сильно озадачило Домну: она предвидела все хлопоты и заботы, которые упадут на нее с такою переменою.

Карп начал с того, что потребовал себе помощницу; потом, волею-неволею, должны были уступить ему чуть ли не половину избы, без того уже загроможденную корчагами, лагунами, крынками, кадками и лукошками; далее предчувствия Домны также не обманули ее: Карп на следующий же день натянулся сивухи, должно быть припасенной им заранее, и задал таску всем, кто только попался ему на глаза: досталось и самой хозяйке дома. А отводить беду, избежать всех этих неприятностей не было возможности, ибо, как выражалась сама скотница, Карп не терпел ни в чем супротивности. «Ладно,— говорила она бабам, упрекавшим ее в слабости,— поди-тка, сунься перечить ему, так, кажись, только и жил; закажу другу-недругу». Домна не упала, однако, духом; она как можно скорее, чтоб только усадить мужа за работу, назначила ему помощницу. Такая завидная доля, разумеется, могла пасть не иначе как на Акулину, девку самую безответную, смирную и притом более других приученную к повиновению.

Карп был мужик крутой и несговорчивый. Некоторые барыши, получаемые им сверх оброка, и разгульная фабричная жизнь сделали из него, особенно в последнее время, горького пьяницу и еще более расположили к буйству. И трезвый-то никому добром не промолвит — лается, словно собака, а как почнет пить — так лучше беги из дому вон. Сам сознавался Карп, что бывал во хмелю куда неугомонен. Уж чего не делали с ним: и знахаря-то призывали заговорить его против хмеля, и Кондратьевна не раз изошряла свои знания в лекарском деле, и управляющий секал

Карпа, больно секал, нет, встряхнет, бывало. Карп за бубенною, непутною своею головушкой, когда окончится экзекуция, да вымолвит «Покорно благодарю, Андрей Андреевич, что дурака учить изволите» — и снова принимается за косушку. Ничто не помогало!

С первых же дней житья от него в доме не стало, заходит ли кто из соседей или соседок в избу — подымались брань, ссоры, нередко кончавшиеся даже дракой, так что вскоре никто и не стал заглядывать к скотнице. Сама она, подверженная беспрерывно буйным выходкам мужа, сделалась как-то еще сварливее, заносчивее и с большим еще остервенением взъелась на все окружающее.

Трудно выразить отчаяние горемычной сиротки; новое назначение не только лишало ее свободы, но даже неотлучно подчиняло Карпу, к которому еще сызмала чувствовала она особенный страх.

Вначале старалась она всеми силами угождать ему; но усердие ее оставалось решительно незамеченным. Иногда без всякой причины (и это случалось всего чаще) приходилось терпеть; нитка ли порвется, защемит ли Карп челноком палец или просто случится повздорить ему с женою — колотит ее, благо она под рукою! Молча покорилась наконец бедная девушка горькой своей участи. Прошло несколько месяцев, и Акулина, как бы накануне своего заточения, не переставала тосковать по прежней своей беззаботной одинокой жизни. С наступлением лета изба и ее жители становились сиротке еще нестерпимее. Все оживало вокруг нее, все как будто радовалось. Едва заблистают первые лучи солнца в окнах избы, зазолотятся свежие, подернутые росой поля и раздастся звонкое чиликанье воробьев на кровле, все, от мала до велика, спешили вырваться из душной избы. Бабы шли в огороды, ребята и девки целыми ватагами отправлялись в только что опушившийся лес за первыми ягодами — одна она не смела шевельнуться с места и должна была сиднем сидеть за пряжею и шпулями. К вечеру или обеду вернутся веселые толпы на дом, натащат полную избу венков да молодых ветвей; разольется по всей избе запах свежей зелени... Сколько грусти ложилось тогда на душу сиротки, сколько тайных, никому не известных страданий теснило ее, бедную!..

Иногда удавалось Акулине вырваться под каким-нибудь предлогом на минуту из дому; не нарадуется, бывало,

своему счастью, не утерпит — выбежит за ворота, и грусть как бы исчезнет, и тоска сойдет с сердца.

И вправду, хорош и упоителен божий день в ведреное, теплое лето; какое ликование во всей природе, во всем мире! все трепещет жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растение издает какой-то шелест, сливающийся в стройную, нежную гармонию; все, на что устремляются взоры, наполняет душу радостным, непостижимо-прекрасным чувством. С жадностью вдыхала Акулина в расширявшуюся грудь свою пахучие струи воздуха, приносимые с поля; всматривалась она тогда в зеленеющий луг, забрызганный пестрыми цветами, в эту рощу, где беззаботно, счастливо даже, просиживала она когда-то по целым дням, с красной утренней зари до минуты, когда последние бледные лучи заходящего солнца исчезали за сельским погостом. Но непродолжительны были такие минуты: как раз грубый голос Карпа возвращал ее к горькой действительности. Скрепя сердце подходила она к воротам; а между тем вдалеке, по улице, с веселыми песнями и кликами неслись купаться целые рои молодых девок: все, кто только был молод из них по деревне, спешили присоединиться к веселой толпе, и одна только Акулина-сиротинка утирала слезу да спешила запереть за собою дверь тесной, душной лачуги...

Бывают случаи в жизни человека, — к какому бы ни принадлежал он классу общества, — которые хотя и кажутся с первого взгляда ничтожными, не стоящими внимания, но со всем тем они часто решают судьбу его или же производят в нем сильные перевероты нравственные. Иногда так нечувствительно бывает их действие, что само лицо, на которое они стряхиваются, не замечает его.

Раз как-то (это было в самую страдную пору лета) большая часть жителей села Кузьминского отправилась в соседнюю деревню праздновать, как водится между соседями, приходской праздник. На всем скотном дворе осталась одна только Акулина. День был невыносимо зноен; душно было ей сидеть под навесами, и она вышла за ворота. Деревня словно вымерла, все было тихо, нигде живой души. Акулина перелезла чрез околицу и почти машинально сворила на проселок, огибавший бесконечное поле ржи, только что золотившейся от цвета. Солнце горело высоко и знойно. Пот градом катился по исхудавшим щекам сиротки, а между тем она все шла да шла вперед,

влекомая каким-то странным чувством. В поле, в роще, в воздухе царствовало безмолвие; ничто не шелыхалось, не отзывалось жизнью; кузнечик приутих и не трещал в тесной траве; даже гибкие, длинные стебли дикого чеснока с их тучною верхушкою стояли неподвижно на закраине дороги. Густой пар подымался от земли и растений, и душно было в переливающихся струях воздуха.

Акулина миновала поле и почти незаметно очутилась близ церкви, на погосте. Вырытая свежая яма, на которую она случайно набрела, вывела ее из раздумья. Дрожь пробежала по всем членам сиротки; ей стало страшно; безотчетное чувство, которого, впрочем, никак, никогда не могла она победить в себе, обдало ее холодом. Акулина бросилась бежать. Она уже была на самом почти конце кладбища и вдруг как вкопанная остановилась перед одною заросшею могилкою, едва выглядывавшею из-за плетня, ограждавшего церковь. Акулина вспомнила, что давно, много лет назад, на Фоминой неделе, во время поминок кто-то сказал ей, что тут погребена ее мать.

Была ли она задолго еще перед тем под влиянием грустного чувства, тяготило ли ее более чем когда-нибудь одиночество, или была какая причина, но только вся жизнь, все горести, вся судьба ее прояснились, пробудились и разом отозвались в ее сердце; в эту минуту с мыслью о матери как бы впервые сознала она всю горечь тяжкой своей доли. Она долго стояла в каком-то оцепенении; слезы ручьями текли по бледным щекам ее и капали на руки, на грудь, на рубашку... Наконец горе Акулины разразилось и как бы сломило ее... болезненное рыдание вырвалось из груди; она грохнулась грудью на тощую могилку и, судорожно обхватив ее руками, осталась на ней без движения...

Вечерело. Домна вместе с ребятами и работниками возвратилась домой после соседней пирушки. Входя в избу, крайне удивлены были они, не видя Акулины, ибо ни на дворе, ни подле амбаров, ни даже под навесами ее также не встречали. Изба была пуста. Только куры, как видно уже влетевшие давно в растворенные настежь двери, бегали по столам и лавкам. Скотница и работницы начали шарить по всем углам избы, как вдруг совершенно неожиданно услышали за печкою вздохи. Домна взгромоздилась на ушат и чуть не вскрикнула от изумления. Акулина, закутав голову овчинным тулупом и как-то сверхъестественно скомкавшись, лежала навзничь в тесном, неуклюжем углу

между печкою и стеною. Это обстоятельство тем более удивило Домну, что никогда не случалось ей видеть, чтоб с сироткою было что-нибудь подобное.

Скотница подошла ближе и стала толкать ее что есть мочи. Ее старания оставались, однако, без всякого действия. Удивление присутствующих возрастало с каждою минутой. Домна, выведенная наконец из терпения, вытащила Акулину на середину пола, прислонила ее к скамье и раскутала ей голову.

— Что буркалы-то выпучила?— сказала она, принимаясь снова тормошить девку,— столбняк нашел, что ли? Ну, чего смотришь, как шальная какая?.. встань, говорят тебе... эх-ма! ишь как ревет, полоумная... словно махонькая какая... право-ну. Ах ты, дура, дура!.. вишь, как рубашку вымочила слезами-то своими глупыми... Пошла, просушись... скотина ты этакая... право-ну...

Акулина, очнувшись совершенно, вскочила с земли, закрыла лицо руками и как угорелая, качаясь из угла в угол, потащилась вон из избы.

Несколько дней спустя после этой сцены обыватели скотного двора заметили большую перемену в сиротке. «Что с ней? Эка расторопная вдруг стала!— говорили они,— отколе прыть взялась? словечка не вымолвит,— а работает куды против прежнего,— словно приохотилась к делу». Они единогласно утверждали, что впрок пошли девке побои, что наконец-то обратили они ее на путь истинный. И действительно, что-то странное произошло во всем существе Акулины.

Действия и движения ее стали обозначать более сознания и обдуманности, нежели случайности; она как бы разом обрела и силу воли и твердость характера. Преимущества, которыми пользовались перед нею остальные жители избы и которые прежде, можно сказать, были единственным источником ее огорчений,— перестали возмущать ее. Она, казалось, поняла настоящее свое положение.

Акулина заметнее стала отделяться от общего круга живших с нею людей, и одна из самых главных забот ее состояла уже в том, чтоб безукоризненным, точным исполнением работы и обязанностей отклонять от себя всякого рода отношения, которые могли бы возникнуть между ними и ею в противных обстоятельствах.

Внутреннее отчуждение, чувствуемое ею еще с детства к Домне, проявилось теперь сильнее, чем когда-нибудь:

в этом, впрочем, она решительно не могла дать себе ясного отчета. Замечательны также были старания Акулины скрывать от окружающих впечатления, производимые на нее их насмешками и оскорблениями. Когда уже чересчур переполнялось сердце горем, она старалась всегда почти скрыться из вида; затискается куда-нибудь подальше, в амбар или самую скрытную клеть, и там уже дает полную волю слезам своим. И в эти-то горькие минуты стала представляться Акулине с некоторых пор возможность иной, лучшей жизни; перед нею являлся с раздирающею сердце ясностью родной кров, родная семья и посреди всего этого мать, добрая мать, которую невыразимо сильно любила она... Грустны, грустны казались ей тогда сиротство и одиночество.

Мало-помалу бедная девка решительно перестала принимать нравственно участие во всем том, что делалось вокруг нее; происходило ли то на скотном дворе, в селе или соседстве — ей было все равно.

V

Господин что плотник — что захочет, то и вырубит.
Русская простонародная пословица

Прошло три года. В жизни деревенской, как известно, переворотов не много: все та же изба, то же поле из двух, много-много из трех нив; те же вечно неизменные заботы и суеты. На скотном дворе точно так же не могло произойти никаких особенных перемен. Дни и месяцы протянулись обычным своим порядком, не принося ни радостей, ни горя, за исключением разве редких, незначительных потасовок, которыми награждал Карп того или другого, когда находила на него дурь рвать лишнюю косушку с сватом или кумом. Акулина просиживала подле хозяина за станком с пряжею и мотками, а бабы по-прежнему не переставали дивиться ее грусти и неотвязчивому раздумью. Конечно, этим только и ограничивалось их участие; каждая готова была раздобаривать вдоволь, между тем как ни одна не подошла бы к сиротке, не сказала бы ей: что с тобою? о чем кручинишься? о чем тоскуешь?.. Впрочем, такое равнодушие относится собственно к работницам, лицам, совершенно сторонним; что ж касается Домны — она, неведомо почему, с некоторых пор стала принимать необыкновенное участие в судьбе своей питомицы. Она беспрерывно повторяла соседкам, что

Акульку пора бы и замуж, хоть бы в другое какое село отдать, что ли; что Акулька уже давно на возрасте, давно в поре и только сохнет, как порошинка.

Несмотря, однако, на всю справедливость подобных замечаний, свахи и не думали заглядывать на скотный двор, и если та или другая кумушка, исправлявшая на деревне такую должность, завертывала в избу скотницы, то это случалось не иначе как в качестве простой гостыи или соседки. Никому на ум не приходила сиротка-невеста: ее как будто не было, как будто вовсе не существовала она на свете.

И протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ее так же тихо, без треволнений и переворотов, если б в селе Кузьминском не случилось одного обстоятельства, разом изменившего всю судьбу ее.

Приехал барин.

Барин этот, отлучавшийся летом из Петербурга не иначе как куда-нибудь на воды, за границу, конечно, и на этот раз предпочел бы чужие края скучной своей деревне, если б управляющий, собравшись наконец с духом, не решился доложить ему о плохом состоянии финансов и вообще о постепенном уменьшении доходов с имений. Известие это, как следует, привело барина в глубокое огорчение.

Все обрушилось на управляющего. Считая доклады его чистою ложью, подозревая его в плутнях и мошенничестве (так водится обыкновенно в подобных случаях), решился он сам объездить многочисленные свои поместья, чтоб убедиться лично в их расстройстве.

Ему уже, правда, давно приходила мысль заглянуть туда хоть раз, посмотреть, все ли шло там должным порядком, да как-то все не удавалось: то, как назло, одолеют ревматизмы, и надо было покориться воле врача, предписавшего непременною поездку в Баден или Карлсбад, а оттуда в Париж, где, по словам врача, только и можно было ожидать окончательного выздоровления; то опять являлись какие-нибудь домашние обстоятельства: жена родила, или общество, в котором барин был одним из любезнейших членов, переселялось почти на все лето в Петергоф или на Каменный остров, на дачи; или же просто не случалось вдруг, ни с того ни с сего, денег у нашего барина. С кем не бывает подобных грехов в настоящее время?

Твердо решившись на этот раз пожертвовать двумя-

три месяца весны и лета, барин поспешил сообщить свой план молодой супруге Та, несмотря на трогательные филантропические цели, под предлогом которых супруг старался расположить ее к скучной поездке, хотя несравненно более симпатизировала даче на Каменном острове, однако после многих толков и нежных убеждений кончила тем, что согласилась на предложение.

Так как поездка эта все же некоторым образом была вынужденною со стороны супругов, то положено было вознаграждать себя по крайней мере всем, что только могла доставить приятного сельская жизнь. На этом основании избрали они для своего местопребывания село Кузьминское, как самое богатое, привольное, живописное и притом заключающее в себе довольно комфортабельный господский дом.

Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людях; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однако ж он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим, увы! главный предмет его повествования.

Он, к глубочайшему своему прискорбию, не имеет здесь достаточно времени и места, чтоб войти в подробности касательно приезда помещика, первых его действий и распоряжений; ни слова не скажет о домашнем его быте, а прямо перескочит на то место, где помещик выступает уже как действующее лицо рассказа.

Прошли целые два длинные-длинные месяца. Барин и барыня давно соскучились и думали только, как бы поскорее вырваться из Кузьминского и уехать в Петербург.

Полные таких мыслей, сидели они однажды утром на балконе, перед палисадником. День был прекрасный; легкий ветерок колыхал полосатую маркизу балкона и навевал прохладу; палисадник, облитый горячими лучами полуденного солнца, блистал всею своею красою.

Но помещик, которому пригляделись даже берега Рейна, Тироль и Италия, не обращал решительно никакого внимания на все это. Он машинально глядел на скучную, сухую местность, расстилавшуюся за садом.

— Посмотри, — сказал он наконец жене, указывая пальцем на пыльную дорогу, — как ошибаемся мы, думая, что

уж русский простолюдин непременно должен быть дюжий и здоровый: взгляни хоть вон на эту девку... вон, вон, что идет по дороге с коромыслом, еле-еле в ней душонка держится... какая худая и желтая!

— Знаешь ли, Jean¹, несмотря на то, она довольно интересна.

— Да, пожалуй, если хочешь... Но, воля твоя... elle a l'air bien bete...² Постой, я подзову ее сюда...

— Ну вот еще; бог с ней!

— Ничего; я ужасно люблю говорить с ними; ты не согласишься, та bоппе³, как люди эти бывают иногда забавны! Эй, девка, девка!— закричал барин,— подойди сюда!

Девка до того была занята своими ведрами, что не только не слышала голоса барина, но, казалось, даже совсем позабыла, что шла мимо господского дома.

— Эй, девка! девка!— продолжал кричать помещик. Она подняла голову.

Первое движение ее ясно обнаружило намерение бросить тут же, на месте, ведра и коромысло и пуститься в бегство; но, рассудив, вероятно, что уже было поздно, ибо всего оставалось несколько шагов до балкона, где сидели господа, она поспешила отвесить низкий-пренизкий поклон.

— Подойди сюда, милая, не бойся.

Девушка подошла с видимым страхом и смущением.

— Ты чья?— спросил барин.

— Домнина...— едва внятно прошептала она.

— Кто такая Домна?

— Скотница.

— Что же, она тебе мать, что ли?

— Нет.

— А мать где?

— Померла.

— Ну, а отец-то жив?

— Помер.

— Ты, значит, круглая сирота?

— Да...

— Не бойся,— продолжал барин,— ну, чего же ты испугалась? А сколько тебе лет?

— Не знаю.

¹ Жан (франц.).

² У нее очень глупый вид... (франц.)

³ Моя милая (франц.).

— Как тебя звать?

— Акулиной.

— Ну что же, Акулина, тебе, я чай, замуж пора? Небось замуж-то хочется? а?

Акулина стояла как вкопанная и только переминала красными руками своими пестрядинную свою юбку.

— Ну, отвечай же, когда спрашивают тебя господа... Чего боишься? Говори: замуж хочешь?

Акулина не прерывала молчания.

— Je vous avais bien dit, qu'elle était stupide¹, — произнес барин, обращаясь к жене.

— Mais aussi vous lui faites des questions... Cette pauvre fille!² — отвечала супруга.

— Ну, ступай, — сказал он, слегка улыбнувшись, — ступай, Акулина; бог с тобой... Знаешь ли, ma bonne amie³, — продолжал он, когда сиротка скрылась из вида, — сделаем доброе дело: пристроим бедную эту девку к месту, выдадим ее замуж...

— Ах! и в самом деле! мне давно хочется посмотреть на деревенскую свадьбу; говорят, обряд этот у них чрезвычайно оригинален...

— О, удивительно! Я непременно доставлю тебе это удовольствие и завтра же прикажу старосте навести справки...

Но на другой день, как назло, приехало к ним несколько соседей, и барин, вместо того чтоб приказать старосте навести справки о деревенских женихах, отправил его в город для закупки разных съестных припасов, провизии и шампанского.

Несколько дней прошло в пирах и охоте.

Соседи наконец разъехались.

В скором времени сам владетель села Кузьминского стал приготовляться в дорогу. За всеми этими хлопотами он, конечно, не мог не забыть сиротки и, без сомнения, вернулся бы в Петербург, не вспомнив даже о намерении пристроить бедную сиротку, если б один совершенно неожиданный случай не навел его опять на прежнюю мысль. Доложили, что мужички пришли и просят позволения лично поговорить с его милостью. Барин отправился в при-

¹ Я же вам сказал, что она глупа (франц.).

² Да, но вы задаете ей такие вопросы... бедная девушка! (франц.)

³ Милый друг (франц.).

хожую, где крестьяне в молчании ожидали его появления.

Старый кузнец Силантий, его жена, брат и старший сын, парень превздорный, рыжий, как кумач, полинявший на солнце, вооруженные, как водится, яйцами, медом, караваем и петухом, повалились на пол, едва завидели господина

— Встаньте, встаньте! — проговорил с достоинством помещик, — вы знаете, я этого не люблю. встаньте, говорят вам...

Семейство кузнеца медленно и как бы нехотя приподнялось с пола

Одна жена Силантия противилась исполнить приказание и с заметным упрямством продолжала валяться по земле, так что барин вынужден был на нее наконец вскрикнуть.

— Что вам надо? — спросил помещик.

— Вот, батюшка, — начал Силантий, — не побрезгай, отец ты наш... Вы, вы отцы наши, мы ваши дети, прими хлеб-соль.

— Какие вы глупые, право; сколько раз говорено было не носить ко мне ничего!.. Ну, куда мне все это?

— Уж так водится у нас, батюшка Иван Гаврилыч, — не обидь нас, кормилец...

— Ну, ну... отдайте людям.

Вручив принесенное близ стоявшим лакеям, старый кузнец снова повалился наземь и, как бы почувствовав себя теперь облегченным от огромной тяжести, сказал гораздо развязнее и бойчее прежнего:

— К твоей милости пришли, Иван Гаврилыч.

— Что такое?

— Заставь, батюшка, за себя вечно богу молить...

— Ну, ну, ну...

— Да вот, отец ты наш... парню-то моему не то двадцатый годок пошел, не то более, так пришли просить твоей милости, не пожалуешь ли ему невесты?..

— Пускай, братец, парень твой выберет себе какую ему угодно невесту... из любка любую выбирает; я не прочь, отнюдь не прочь.

— Дело-то, батюшка Иван Гаврилыч, такое приспело, что вот что хошь делай: нет на деревне у нас ни одной девки, да и полно, и не знать, куда это подевались они... мы на тебя и надеялись, отец наш... Заставь вечно бога молить...

— Откуда же мне взять невесту, братец, когда сам ты говоришь, что их нет у нас?

— Дело знамое; оно вестимо так, батюшка... Да мы чаяли, буде твоей милости заугодно буде... вот в соседнем-то селе — Посыпкино... так ему кличка,— вот есть девка, добрая, куда какая... Летось еще, батюшка Иван Гаврилыч, смотрели мы ее и сваху засылали, да отец с матерью дорого больно просят... а девка знатная, спорая... Вот, батюшка, мы на ту пору и понадеялись на тебя, чаяли, буде господь бог даст, пожалуешь ты к нам, да не будет ли твоей милости... не заплатишь ли выводного за девку... а уж он, Иван Гаврилыч, куда парень гораздый, на всяко дело такой, что и!.. Батюшка! сделай божеску милость, не откажи нам...

— Постой, постой!— прервал барин,— как же, братец, говоришь ты: нет у нас невест... постой... да я знаю одну... Эй! кликнуть старосту.

Староста, стоявший в это время за дверью и, по обыкновению своему, или, лучше сказать, по обыкновению всех старост, не пропустивший ни единого слова из того, что говорилось между мужиками и барином, не замедлил явиться в переднюю.

— Что, Демьян, есть у нас в Кузьминском невеста?

— Есть, батюшка Иван Гаврилыч.

— Где?... В какой семье?

— Вот, сударь, примерно хошь на скотном дворе у скотницы есть работница...

— Ах да, да! я и забыл... как, бишь, ее зовут-то?

— Акулиною, сударь.

— Да, Акулина, Акулина...

Кузнец и жена его заметно смутились; барин продолжал:

— Так что же ты врешь, Силантий, а? что ж ты приходишь меня беспокоить по пустякам!

— Помилуй, отец ты наш!— сказал Силантий; голос его дрожал и понизился целою октавою, не то что вначале, где он думал, что барин-де не смекает ничего в крестьянском деле и что, следовательно, легко будет обмишурить, надуть такого барина.— Помилуй,— продолжал он,— не обижай ты нас, кормилец. Вы... вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч; какая же то невеста?

— Что ж?

— Сирота, батюшка, бездомная, и девка-то совсем хвора... Опричь того, батюшка, позволь слово молвить, больно ломлива, куды ломлива! умаешься с нею... Ни на какую работу не годна... рубахи состебать не сможет... А я-то стар стал, да и старуха моя тож... перестарились, батюшка... Вестимо, мы твои, Иван Гаврилыч, из воли твоей выступить не можем, а просим только твоей милости, не прочь ты ее моему парню.

— Ах ты, старый дуралей!— сказал барин, сердито топнув ногою,— если уж сирота, так, по-твоему, ей и в девках оставаться, а для олуха твоего сына искать невест у соседей... Что ты мне белендрысы-то пришел плесть?.. а?.. Староста! девка эта дурного поведения, что ли?

— Кажись, ничего не слыхать про нее на деревне... девка хорошая.

Нет сомнения, что староста жил не в ладу с кузнецом Силантием.

— Так что ж ты? а?..

— Не гневись...

— Молчать!.. Слушай, Силантий! сейчас же, сию ж минуту сватай Акулину за твоего сына... слышишь ли?

— Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч...

— Отправляйся же на скотный двор... Смотри, брат... да чтоб свадьбу сыграть у меня в нынешнее же воскресенье... Вот еще вздор выдумал, если сирота, так и пренебрегать ею... а?..

Старуха Силантия не выдержала. С плачем и воплем бросилась она обнимать ноги своего господина.

— Батюшка!— вопила баба,— отец ты наш! не губи парня-то... Девка совсем негодная, кормилец; на всей деревне просвету нам с нею не дадут, кажинный чураться нас станет; чем погрешили мы перед тобою, касатик ты наш?.. Весь свет осуду на нас положит за такую ахаверницу...

— Что ты врешь, глупая баба? Встань, встань, говорят тебе... Пошла вон... А ты, Силантий, понял мой приказ? Ну, чтоб все было исполнено, да живо, слышишь ли?

— Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч,— отвечал кузнец, кланяясь в пояс.

— Ну, ступай же!— продолжал барин,— ах, да! я и забыл... Силантий!..

Кузнец вернулся в переднюю.

— Тебе говорил Петр Иванов осмотреть коляску? там, кажется, шина лопнула.

— Сказывал, Иван Гаврилыч.

— Ну, так распорядись же как можно лучше; я еду во вторник на будущей неделе... ступай!..

Когда дверь передней затворилась за кузнецом, Иван Гаврилович отправился во внутренние покои. Проходя мимо большой залы, выходявшей боковым фасом на улицу, он подошел к окну. Ему пришла вдруг совершенно бессознательно мысль взглянуть на мину, которую сделает Силантий, получив от него такое неожиданное приказание касательно свадьбы сына.

Иван Гаврилович, к крайнему своему удивлению, заметил, что все члены семейства кузнеца шли понуря голову и являя во всех своих движениях признаки величайшего недовольствия.

— Что ты здесь делаешь, Jean? Что тебя так занимает?—сказала барыня, подкравшись к нему на цыпочках и повиснув совершенно неожиданно на шею своему мужу.

Иван Гаврилович молча указал ей на удалявшихся мужиков, покачал сначала головою и пожал плечами...

VI

Что без ветра, что без вихоря
Воротички отворилися.
Как въезжал на широкий двор
Свет Григорий, господин,
Свет Силантич, сударь.
Увидела Акулина, душа,
Закричала громким голосом:
«Сберегите вы, матушки, меня!
Вот идет погубитель мой!..»

Русская песня

Быстро летит время! Не успели мужички села Кузьминского и двух раз сходить на барщину после описанной нами сцены, как глядь — уж и воскресенье наступило. В этот день, как вообще во все праздничные дни, деревня заметно оживлялась.

Только что раздались первые удары благовеста, во всех концах улицы загремели щеколды, заскрипели ворота и прикалитки, и жители забежали, засуетились.

Кто выходит из дома и, крестясь, остановился посреди улицы, на лужайке, против бадьи, с намерением выждать

жену или свата; кто прямо шел к околице. Из окон беспрестанно зачали высовываться головы. «Эй! тетка Феклуха! погоди маненько! пойдём вместе: дай управиться — куда те несёт!..» или: «Кума, а кума! Авдотья, а Авдотья, выжди у коноплей... ишь, только заблаговестили...» Бабы, которые позажиточнее, в высоких «кичках», обшитых блестками и позументом с низаными подзатыльниками, в пестрых котах и ярких полосатых исподницах или, кто победнее, попросту повязав голову писаным алым платком, врозь концы, да натянув на плечи мужнин серый жупан, потянулись вдоль усадьбы, блистая на солнце, как раззолоченные пряники и коврижки. Мерно и плавно выступали за ними мужья и парни. Толпы девчонок и мальчишек неслись, как стаи воробьев, то сбиваясь в кучу, то снова разбиваясь в рассыпную, оглушая всю улицу своим визгом и криком. Пестрая ватага из женщин, мужиков и ребят тянулась за околицу движущеюся узорчатою каймою, огибая бесконечное поле ржи, исчезала потом за косогором, пропадала вовсе и уже спустя немалое время появлялась, как сверкающее пятно, на белевшей вдалеке церковной паперти.

Дорога к церкви мало-помалу пустела; кое-где разве проезжала телега, наполненная приходскими мужиками, или ковыляла, подпираясь клюкою, дряхлая старушонка, с трудом поспевавшая за резвою внучкою, которой страх хотелось послушать вблизи звонкий благовест.

В селе уже давно водворился покой. Воз заезжего купца-торгаша с красным товаром, запонками, наместьями, варежками, стеклярусом, тавлинками со слюдою, свертками кумача, остановившийся у высокого колодца, оживлял один опустевшую улицу.

Посреди движения, произведенного в Кузьминском благовестом, оставались две только избы, которых обыватели, казалось, не хотели принимать участия в общей суматохе. Одна из таких изб принадлежала кузнецу Силантию, другая скотнице Домне. Судя по некоторым наружным признакам, как в той, так и в другой должно было происходить что-нибудь да особенное.

Невзирая на пору и время, труба в избе Силантия дымилась сильно, и в поднятых окнах блистала широким пламенем жарко топившаяся печь. Кроме того, на подоконниках появлялись беспрестанно доски, унизанные ватрушками, гибанцами, пирогами, или выставлялись горшки и золо-

ченые липовые чашки с киселем, саломатою, холодничком и кашею.

Вторая изба хотя не представляла ничего подобного, однако тишина (как известно, весьма не свойственная мирному этому крову) могла служить ясным доказательством, что и у Домны дело также шло не обычным порядком.

И действительно, то, что происходило в избе скотницы, отнюдь не принадлежало к числу сцен обыденных.

Толпа баб, разных кумушек, теток, золовок и своячениц, окружала Акулину. Сиротка сидела на лавочке посередине избы, с повязкою на голове, в новой белой рубашке, в новых котах, и разливалась-плакала. Собравшиеся вокруг бабы, казалось, истощили все свое красноречие, чтоб утешить ее.

— Не плачь,— говорила какая-то краснощекая старуха,— ну, о чем плакать-то? слезами не поможешь... знать уж господу богу так угодно... Да и то грех сказать: Григорий парень ловкий, о чем кручинишься? девка ты добрая, обижать тебя ему незачем, а коли по случай горе прикатит, коли жустрить начнет... так и тут что?.. бог видит, кто кого обидит...

— Вестимо, бог до греха не допустит,— перебила Домна.— Полно тебе, Акулька, рюмить-то; приставь голову к плечам. И вправду Савельевна слово молвила, за что, за какую надобу мужу есть тебя, коли ты по добру с ним жить станешь?.. Не люб он тебе? не по сердцу пришелся небось?.. Да ведь, глупая, неразумная девка! вспомни-ка, ведь ни отца, ни матери-то нет у тебя, ведь сирота ты бездомная, и добро еще барин вступился за тебя, а то бы весь век свой в девках промаячилась. Полно... полно же тебе...

— Эх, бабы, бабы!— подхватила третья, не прерывавшая еще ни разу молчания,— ну что вы ее словами-то закидываете?.. нешто она разве не знала замужнего житья? хоть на тебя небось, Домна, было ей время наглядеться, а ты же еще и уговариваешь ее... Эх! знамая песня: чужую беду руками разведу, а к своей так ума не приложу... век с мужем-то изжить не поле перейти... она, чай, сама это ведает...

— А разве всем быть таким, как твой Борис? небось не за доброго человека она идет, что ли?.. Григорий забубенный разве какой парень?.. Полно же, Акулька! в семью идешь ты богатую... У Силантия-то в доме всякого жита по лопате... чего рюмишься?.. Коли уж быть тебе за

Григорьем, так ступай; что вой, что не вой — все одно.

— И то правда,— подхватила какая-то близ стоявшая кума,— вестимо, полно грустить... Не надсаживай, Акулина, своего здоровьица некрепкого по-пустому... брось кручину; авось бог милостив...

Но все эти увещания, в сущности способные убедить каждого здравомыслящего человека, что-то плохо действовали на Акулину.

Она была безутешна.

«Эка, право, девка-то чудная какая!— думали бабы,— как узнала ономнясь, что велено замуж идти, так ничего, слезинки не выронила, словно еще обрадовалась; да и все-то остальные дни, бог ее ведает, нимало не кручинилась. Уж на что Домна, кажись, не больно ее жалует, а третья дня, как запели девки песни да зачали расплетать ей косу, так и та благим матом завывала, да и всех-то нас нешто слеза прошибла, а ей одной нипочем — словно, право, каменное сердце у человека тогда было. Ну, думали, обрадовалась больно, сердечная, ан не тут-то было: вот теперь, в самый-то день свадьбы, отколь и горе привалило... ревет, и не уймешь еще... что бы за притча, примерно, такая?..»

Бабы решительно становились в тупик; им невдомек было поведение Акулины. Недоумение кумушек возрастало, главное, оттого, что горе невесты последовало внезапно после нескольких дней, проведенных ею с самым невозмутимым равнодушием. Дело в том, что ни одна из них не замечала,— конечно, и не могла заметить,— тех тонких признаков душевной скорби, того немого отчаяния (единственных выражений истинного горя), которые между прочим сильно обозначались во все то время в каждой черте лица, в каждом движении сиротки.

Известие о разговоре барина с мужиками повергло ее в такое отчаяние, что, если б не надежда переменить дело, не выходить замуж, она кончила бы, без сомнения, чем-нибудь трагическим.

Надежда, вкравшись раз в душу Акулины, укрепила ее. Она ждала, только удобного случая, чтоб броситься к ногам барина. Полная уверенности в том, что он не откажет ей своей милостью, она принялась караулить Ивана Гавриловича.

Но странно, необъяснимо странно было, что каждый раз, как показывался барин, ее охватывала такая робость, такой страх овладевал всем существом ее, что она не смела

даже шевельнуться, боясь обратить на себя его внимание.

Необходимо здесь заметить, что чувство это было в ней совершенно бессознательно, ибо Иван Гаврилович был, как уже известно, человек добрый, благонамеренный и отнюдь не давал своим подчиненным повода трепетать в его присутствии. Приписать опять чувство это врожденной робости Акулины, тому, что она была загнана, забита и запугана, или «идее», которую составляют себе о власти вообще все люди, редко находящиеся с нею в соприкосновении и по тому самому присваивающие ей какое-то чересчур страшное значение,— было бы здесь неуместно, ибо отчаяние бедной девки могло не только победить в ней пустые эти страхи, но легко даже могло вызвать ее на дело несравненно более смелое и отважное. А между тем где бы ни встретилась Акулина с барином, решимость в ту же минуту ее покидала; затаив дыхание, дрожа как осиновый лист, пропускала она его мимо, дав себе слово в следующий же раз без обиняков броситься в ноги к нему и прямо рассказать, в чем дело. Но много раз на день являлись такие случаи, и тысячу раз результат выходил один и тот же; мало того, в решительную минуту Акулина мирилась даже с горькою своею долею.

А барин тем временем шел себе спокойно, слегка покуривая сигару, беспечно поглядывая на стороны и не подозревая даже, чтоб за соседним плетнем или обвалившеюся перегородкою могло происходить что-либо подобное.

Надежда не покидала, однако, Акулину; еще накануне своей свадьбы всю ночь провела она на коленях, умоляя святых угодников защитить ее, укрепить ее духом. Но, как на беду, в воскресенье утром Иван Гаврилович ни разу не вышел из хором, и Акулина, выжидавшая его за сараем, могла только видеть, как коляска помчала его вместе с барыней по дороге в церковь.

Тут, ввиду исчезнувшей надежды, гибели неминуемой и неизбежной, почувствовала она, что не в силах бороться долее с своим горем; сердце ее перестало биться, глаза подернулись темною пеленою и, как подрубленная молодая береза, покатилась бедная на землю.

Случайно натолкнулась на нее баба; ее принесли в избу, привели в чувство и, как мы видели, немало заботились успокоить. Мало-помалу бабы начали достигать своей цели; невеста уже несколько подавалась на их красноречивые убеждения, как вдруг крики: «едут! едут!», раз-

давшиися со всех концов избы, снова испортили все дело.

Пока Домна (посаженная мать сиротки), соседки и кумушки суетились вокруг невесты, ворота с надворья скрипнули и на дворе послышался шум, говор и звук бубенчиков, свидетельствовавшие о приезде жениха.

Вскоре Пахомка (старший сын скотницы и дружка невесты) появился на пороге; за ним, крестясь и кланяясь, вошли по порядку жених, его отец, мать, дружка и родственники. Все они казались не слишком-то радостными; один дружка жениха скалил зубы, подмигивал близ стоявшим бабам да весело встряхивал курчавою своею головою.

После обычных приветствий как с той, так и с другой стороны Григория и Акулину поставили на колени на разостланный дружками на полу зипун. Домна взяла тогда образ и подошла к ним; начался обряд благословения.

Акулина как бы успокоилась, и только судорожно стиснутые губы и смертная бледность лица свидетельствовали, что не все еще стихло в груди ее; но потом, когда дружка невесты произнес: «Отцы, батюшки, мамки, мамушки и все добрые соседushки, благословите молодого нашего отрока в путь-дорогу, в чистое поле, в зеленые луга, под восточную сторону, под красное солнце, под светлый месяц, под часты звезды к божьему храму, к колокольному звону», и особенно после того как присутствующие ответили: «Бог благословит!», все как бы разом, окончательно в ней замерло и захолонуло. Она машинально, с отсутствием всякого чувства и мысли, влезла в повозку и уселась подле жениха своего.

Поезд тронулся.

Обедня только что кончилась, когда свадебные повозки остановились перед церковью. Иван Гаврилович, его супруга и еще кой-какие помещики того же прихода стояли на паперти.

Первые, как жители столицы, с заметным любопытством ожидали начала брачной церемонии добрых мужичков.

Так как невеста была круглая сирота, то, по принятому обыкновению в подобных случаях, ей следовало еще отправиться до венца на кладбище, чтобы помолиться над могилою родителей, или, как выражаются в простонародье, «поплакать голосом».

Едва начался обряд венчанья, как супруга Ивана Гавриловича почувствовала уже тоску и сильный позыв к зевоте; крестьянская свадьба, заинтересовавшая ее дня три

тому назад, казалась ей весьма скучным удовольствием; невеста была глупа и выглядывала настоящим уродом, жених и того хуже — словом, она изъявила желание как можно скорее ехать домой. Иван Гаврилович, разделявший с женою одни и те же мысли, не замедлил сесть в коляску, пригласив наперед к себе некоторых из соседей.

Вскоре все обыватели Кузьминского вернулись домой, и улица села снова загремела и оживилась.

Мужики Ивана Гавриловича были народ исправный, молодцы в работе и не ленивцы; но греха таить нечего, любили попить в денечек господень. Приволье было на то большое: в пяти верстах находился уездный город... да что в пяти! в двух всего дядя Кирила такой держал кабак, что не нужно даже было и уездного города для их благополучия. Уж зато как настанет праздник, так просто любо смотреть: крик, потасовки, пляс, песни, ну, словом, такая гулянья пойдет по всей улице, что без малого верст на десять слышно.

Но на этот раз — конечно, говоря относительно, — во всей деревне не было такого раздолья, как в одной избе кузнеца Силантия; немудрено: сыновей женить ведь не бог знает сколько раз в жизни прилучится, а у Силантия, как ведомо, всего-то был один. Несмотря на то что старику больно не по нраву приходилась невеста, однако он, по-видимому, не хотел из-за нее ударить лицом в грязь и свадьбу решился сыграть на славу.

И то сказать, угощение затеялось лихое! что душе угодно, всего было вдоволь. Василиса и Дарья — сестры кузнеца, старые девки, и старуха его только и делали, что таскали из печи на стол разные яства; мисы щей, киселя горохового, киселя овсяного, холодничка и каши, большущие чашки, наполненные доверху пирогами с морковью, пирогами с кашею, ватрушками пресными и сдобными и всякими другими, поочередно появлялись перед многочисленными гостями. О напитках и говорить нечего: штофики с сивухою, настойками, более или менее подслащенными медом, погуливали из рук в руки без устали; что же касается до сусла и браги, они просто стояли в больших ведрах близ каждого стола, гостю стоило только нагнуться, чтоб черпать. Силантий, казалось, совсем распоясался и чествовал гостей своих не на шутку. Много оставались довольны и гости; отовсюду неслись крики и приветствия радужному хозяину. Мало-помалу и сам он расходился.

Он сидел, обнявшись с кумом Иваном и сватом Гаврилою, и беспрестанно подносил им то из одного штофика, то из другого. «Сват Гаврило! еще стаканчик, ну чего отнекиваешься?.. пей!» — «Так и быть, — отвечал сват Гаврило, глаза которого уже казались плавающими в масле, — так и быть, обижу свою душу, согрешу, выпью...» — «Кум, а кум! без опаски пей, чего боишься?..» — «Спасибо те на ласковом слове, Силантий Васильевич, много довольны без того... много благодарствуем...» — «Молодая!.. что же ты! — кричал Силантий, обращаясь к Акулине, которая молча и неподвижно сидела на месте и, несмотря на увещания соседок, не выпивала своего стакана. — Эй! Гришка! что ж! оба словно пни сидите... сноха? что не пьешь?.. аль оглохла?.. Экие дурни!.. да поцелуйтесь же... небось при людях-то не любо... Тетка Арина, еще винца... милости просим, не побрезгай... дядя Пахом! во здравие молодым!.. Кум Иван... ты... ты... ведь брат мне, родной... ну, и пей!.. Левон Трифоныч! а ты что прикорнул? небось неси в ворота, где ус да борода!.. Кума! Домна Карповна, дай тебе господь много лет здравствовать и деткам твоим всяческа благополучия от царя небесного... да... Эй! во саду ли в огороде... эй, братцы!.. ну!..»

Гам, чваканье, стук ложек, неистовые крики подымались все сильнее да сильнее; вскоре слышались они не только в сенях, но даже на дворе, под корытами и колодами, куда успели забраться, неизвестно каким образом, некоторые из гостей Силантия.

Как ни весело было, однако пирушке должен же быть конец. Уж вечерело, когда стали расходиться. Кто, придерживаясь к плетню, побрел к себе домой; кто помощью рук и ног соседей и своих собственных карабкался вон, сам не зная куда; кто присоединился к общей массе народа, толкавшейся с песнями перед барскими хоромы.

Силантий, молодые и домашние его последовали примеру последних. Тут веселье было уже совсем другого рода.

У самого палисадника вертелись хороводы, словно намазанные колеса какие, с их несвязною и нескончаемою песнью; в другом месте толпа окружала молодого парня, который, по желанию Ивана Гавриловича, выплясывал с бабой трепака. Заломив высокую свою шапку в три деньги, запрокинув голову, выделявал он с самою серьезною миною свои па, между тем как господские люди разносили обступившим его подносы с штофами пенника и ломтиками

хлеба; ребятишки и девчонки бегали кругом балкона и с визгом кидались наземь каждый раз, как барин или барыня бросали в них пригоршню жемков и орехов. Старики и старухи также имели свою долю в общем веселье: они стояли у решетки и тешились, глядя на забаву.

Разгулявшиеся гости Силантия еще более оживили толпу; окружили молодых, втискали их силою в хоровод — и пошла потеха еще лучше прежней. Иван Гаврилович и супруга его казались на этот раз очень довольными; они спустились с балкона и подошли к хороводу.

— Что же она у тебя не весела, Силантий?.. — сказал Иван Гаврилович, указывая ему на Акулину.

— А вот вишь ты, отец наш... она... молодая... а вот парень-то мой... Вы ведь отцы наши, мы ваши дети... ба-тюшка Иван Гаврилыч... много благодарны... Вот те, ей-ей, много благодарны... не погневись ты на нас... мы ведь слуги твои...

— Ну, хорошо, хорошо, — прибавил барин, видя, что Силантий едва держится на ногах, — хорошо, ступай...

Долго продолжалось в этот день веселье в селе Кузьминском. Уж давно село солнце, уже давно полночь наступила, на небе одни лишь звездочки меж собою переглядывались да месяц, словно красная девка, смотрел во все глаза, — а все еще не умолкали песни и треньканье бала-лайки, и долго-долго потом, после того как все уж стихло и смолкло, не переставали еще кое-где мелькать в окнах огоньки, свидетельствовавшие, что хозяйкам немало стоило труда уложить мужей, вернувшихся со свадебной пирушки кузнеца Силантия.

VII

.....
Ах, раскройся, мать сыра земля,
Поглоти меня, несчастную!!..

Русская песня

Еще солнышко вихра не думало выставлять, как уже Григорий, муж Акулины, выбрался из каморы, куда накануне положили его с женою, и ушел в поле. Само собой разумеется, что такое усердие не могло проявиться в нем без особенной причины; он наверняка об эту пору думал поймать соседей, взявших с некоторого времени повадку пускать лошадей своих на его гречиху и овес. «Добро, —

молвил он, украдкою приближаясь к своим нивам,— добро! вы, чай, мыслите: бабится Григорий с женою да лыка не вяжет со вчерашнего похмелья? Погодите-тка, дружки! я вам покажу свата Кузьму... Недаром с весны скалю зубы-то... постой...» Но Григорий, должно быть, нес чистую напраслину на соседей своих, ибо сколько ни обходил поля, сколько ни высматривал его, нигде не было заметно ни истоптанного места, ни даже следа конского или человеческого: овес и гречиха были невредимы. Бодро, словно ратники в строю, торчали мощные их стебли; один только ветер, потянувший к рассвету, бугрил и колыхал злачные их верхушки. «Ишь, лешие!— сказал он, оглянув еще раз поле: — как барин-то здесь, так небось и дорогу узнали... по чужому, знать, не шляндаете... не то что прежде... Ах, кабы попался кто из вас, мошенников... во как бы оттаскал!.. да еще и к барину бы свел...» Ободрив себя такими мыслями, Григорий повернулся спиною к полю и отправился по меже к проселку. Ступив на проселок, он остановился, поглазел направо и налево, почесал затылок, потом оба бока и спину. «А что?— подумал он,— ведь вот коли все прямо по дороге идти, так вестимо оно будет и дальше... в полях-то, чай, еще никого нет!.. Э!..»

Григорий махнул рукой и без дальних рассуждений пошел отхватывать по соседней ржи. Уж начали было мелькать перед ним верхушки ветл, ограждавших барский сад, мелькнула вдалеке и колокольня, как вдруг рожь в стороне заколыхалась, и отколе ни возмись выглянула сначала одна шапка, потом другая и третья; не успел Григорий присесть наземь, как уже видел себя окруженного тремя мужиками.

— Э-ге-ге!.. так это, брат, ты?— вскричал самый дюжий из них, в котором Григорий узнал дядю Сыся.— Так вот оно как! Нет, знай, не отбояришься... не пущайте его, ребята...

Петруха Бездомный и Федос Простоволосый пододвинулись.

— Что словно черти обступили?.. что надо?..

— Небось чужое-то не свое — не жаль...

— Да ты чего лезешь?.. нешто твое?

— А то чье же!..

— Ну твое так твое... и черт с тобою!..

— Вот мы те покажем черта...

— А что ты мне покажешь?..

— Да... а помнишь, как летось батька твой поймал на своих горохах мою кобылу да слупил целковый-то рубль?.. этого ты не помнишь?

- А что мне помнить?..

— То-то, воронье пугало! теперь и тебе не уйти...

— Да чего те надо! леший!

— Э, брат! ты еще куражишься... Хватай его, ребята!

Мужики бросились на Григория; тот, парень азартный, изворотливый, видя, что дело дошло до кулаков, мигом вывернулся, засучил рукав, и дядя Сысой не успел отскочить, как уже получил затрещину и облился кровью. «А! так вяжи ж его, ребята! вяжи его, разбойника!»— закричали что было мочи мужики, уж не на шутку принимаясь комкать Григория. Тут сила перемогла его: дядя Сысой, Федос и Петруха связали его кушаками, не потерпя даже на этот раз малейшего ущерба, разве только что гречиха первого была решительно вся вымята во время возни,— а она ведь все же чего-нибудь да стоила, ибо у Сысои, его жены и детей всего-то было засеяно ею полнивы.

— Тащи его, братцы, прямо к барину, тащи!— кричал дядя Сысой, размазывая себе, как бы невзначай, скулы кровью и, вероятно, желая тем произвести больший эффект перед барином,— там те покажут, собаке, как драться... тащи... тащи!..

— Что, взял?— говорил Петруха Бездомный,— не хотел по добру ладить... вот те бока-то вылушат... погоди...

— А! мошенник!— продолжал дядя Сысой, не забывая мазнуть себя по носу,— я ж покажу!.. разбойник! тащи... тащи, ребята... тащи его!..

— Что, брат Гришка,— подхватывал Петруха,— якшаться с нами небось не хотел: и такие, мол, и сякие, и на свадьбу не звал... гнушаться, знать, только твое дело; а вот ведь прикрутили же мы тебя... Погоди-тка! барин за это небось спасибо не скажет: там, брат, как раз угостят из двух поленцев яичницей... спину-то растрарафетят...

— А что, дядя Сысой,— молвил Федос,— вестимо, чай, жутко ему будет?.. так выпарят... и!.. и!.. и!.. Господи упаси!..

Рассуждая таким образом, мужики заметно придвинулись к околице; тут Григорий, не показавший во все время смущения или робости, стал вдруг крепиться и упираться ногами. Дядя Сысой, заметив это, перемигнулся

с Петрухой и, как бы почувствовав прилив вдохновения, произнес:

— Стой, ребята! стой! Гришка! вот те Христос, отдерут, не на живот, а на смерть отдерут!.. Слушай! Ну... хошь аль не хошь?

— Ну что?.. ну, хочу...

— Братцы! уговор лучше денег,— продолжал тем же восторженным тоном дядя Сысой,— бог с ним... обидел он меня...— уж вот как обидел... ну, да плевать... выпустим его...

— Выпустите, братцы! ну за что вы меня тащите? выпустите! ей-богу, скажу спасибо...

— Э-ге!.. даром кафтан-то у те сер, а ум-то, верно, не лукавый съел... ишь чего! а ты думаешь спасибо, да и отбоярился?

— Чего ж вам еще?..

— Что больно дешево?.. нет... ты, брат, вот что... Ну, да что с тобой толковать! давай целковый!

— А отколе возьму его?..

— Не хошь?.. тащи его, ребята, тащи!..

— Гришка, полно тебе артачиться!— сказал Петруха,— хуже будет, шкурою ведь заплатишь... вот те Христос, такого срама нахлебаешься, что и!..

— Толком говорят тебе, откуда мне взять его?.. ну...

— Врешь, чертов сын! у вас с бачкой денег много... недаром всю деревню вчерась угощали... Ну, хошь, что ли, говори?

— Ей-богу, дядя Сысой, провалиться мне сквозь землю, если есть такие деньги...

— Э! ну, черт с тобой! давай полтинник.

— Да нету, тебе, чай, говорят!

— Нету?.. ну так тащи его, ребята... тащи, тащи, тащи!..

— Погодите... дядя Сысой... стойте... дайте вымолвить слово... пять алтын, по-моему, бери!

— Эк, ловок больно! Нет, этим обиды, брат, не вышибешь... Тащи его знай, ребята, тащи...

— Ну, двугривенный... Вот как бог свят, больше нет ни полушки!..

— Ребята!— крикнул снова дядя Сысой,— была не была! возьмем с него двугривенный да могарычи в придачу... Идет, что ли?..

— Отсохни руки и ноги, если у меня есть больше,— всего двугривенный...

- О! еще скалдырничает... Так ты не хочешь?
- Не замай его, дядя Сысой, сам напоследях спокается...
- Вестимо!— вымолвил Федос.
- Черт же бы вас подрал!— сказал Григорий,— ну, развязывай руки-то, что ль...
- Двугривенник и могоарычи — слышишь?
- Ну, слышу!
- Идет?
- Ну, идет!
- Развязывай его, ребята! Давно бы так: кобениться еще вздумал... эх, жила, жила!..
- Да куда мы пойдём-то?..
- Вестимо куда! река, чай, не больно далече...
- К свату Кириле, что ли?
- А то куда же? сегодня, кажись, еще базар...
- И то, ребята...
- Ступайте, братцы!— сказал Федос.
- А ты что?
- Я не пойду...
- Да куда те приспичило, на барщину разве гонят, черт?
- Свой пар, дядя Сысой, не пахан стоит...
- А у одного тебя не пахан он, что ли? Простоит вёдро, спахаешь...
- Вестимо простоит вёдро; давно ли был дождь?..
- Полно, кум, пойдём!
- Идемте, что ли?
- Идемте...
- Погодите, куда вас несёт?
- А что?
- Обогнуть, чай, надо дорогу...
- А пес велит нам идти по ней?..— сказал дядя Сысой.
- А то как же?
- Что тут долго болтать... вот так все прямо и пойдём... полем, как раз на реку выйдем...
- Э! полем! а рожь, не видишь?
- Э! рожь... Что, ребята, чего стали?
- Оно, вестимо, короче, дядя Сысой, полем-то, чай, выйдешь на забродное...
- Ну, так что?
- А овсы господские...
- Овсы господские! а какой леший увидит нас? день,

что ли? ишь, только светает. И много помнем мы небось овсов-то господских... Да ну, ступайте, что ли!

— Пойдемте, братцы!

— Пойдемте!..

И все четверо свернули с дороги.

Дядя Сысой не ошибся: избранная им дорога сокращала путь по крайней мере целымидесятью минутами, что, впрочем, в ожидании могоарыча не было безделицей. Вскоре путники наши миновал барский овес, расстилавшийся за ним ельник и вышли на берег.

Солнце только что показалось из-за темных гор, ограждавших противоположную сторону реки; ровная, тихая, как золотое зеркало, сверкала она в крутых берегах, покрытых еще тенью, и разве где-где мелькали по ней, словно зазубрины, рыбацьи лодки, слегка окаймленные огненными искрами восхода. Песчаный берег, по которому ступали мужички, незаметным, ровным почти склоном погружался в воду. Внизу, у самой подошвы его, возвышалась серая высокая изба, обнесенная с одной стороны плетнем, с другой сушившимся бреднем. На дощатой заплесневевшей кровле этого здания возносился длинный шест с пучком соломы и елка, столь знакомая жителям Кузьминского и вообще всему околотку. Кругом по песку валялись без всякого порядка обручи и торчали порожные бочки, брошенные, вероятно, хозяином для просушки.

Несмотря на раннюю пору, перед крылечком здания уже толкалось немало народа, и товарищам дяди Сысои надо было выждать, прежде нежели войти под гостеприимный кров.

Тут стояли мужики с возами, мельники из соседних деревень с мукою и рожью, высовывались кое-где даже бабы; виден был и купчик с своей бородкою и коновал с своими блестящими на ременном поясе доспехами, но более всех бросался в глаза долговязый рыжий пономарь с его широкою шапкою, забрызганною восковыми крапинами, который, взгромоздившись бог весть для чего на высокий воз свой, выглядывал оттуда настоящею каланчою.

На пороге кабака находился сам хозяин; это был дюжий, жирный мужчина с черною как смоль бородою и волосами, одетый в красную рубаху с синими ластовицами и в широкие плисовые шаровары. Он беспрерывно заговаривал с тем или другим, а иногда просто, подмигнув кому-нибудь в толпе, покрикивал: «Эй, парень! а что ж хлеб-

нута-то? ась?.. Э-ге-ге, брат! да ты, как я вижу, алтынник!»

Григорий, дядя Сысой и другие вошли наконец в кабаки, не снимая шапок, как это принято в таких местах, уселись рядышком в углу на лавке. Внутренность избы не представляла ничего особенно нового и замечательного. Тот же порядок, как и во всех кабаках, усеивающих большие и малые дороги, пристани, базарные сходки и приречья обширной России. Те же закопченные сосновые бревна, та же печь исполинского размера с полатами и выступами. В одном углу — бочка с прицепленным к краю ковшом, в другом — конторка, устроенная из досок, положенных на козла; на ней штофы, полуштофы, косушки и стаканы, расположенные шеренгами с необыкновенною симметрией, как-то странно бросающиеся в глаза посреди окружающего хлама и беспорядка. У самых дверей на лавке пыхтел и шипел неуклюжий самовар (сват Кирила также держал чай и закуску); подле него подымалась целая груда позеленевших, поистертых сухарей и баранок; далее тянулся косвенный, наподобие бюро, прилавок, покрытый чашками, мисками и блюдами с разною потребою для крестьянского брюха.

На безлюдье нельзя было жаловаться; мало того, что изба была полным-полнешенька, в дверях беспрестанно появлялись новые лица, так что сам Кирила едва поспевал управляться. «Маякончику на гривенничек, — трое пьют!» — кричал мельник, вводя двух мужиков, купивших у него муки. «Эй, дядя Кирила, давай перемену!» — «Аль рыбу-то поснедали? что больно скоро?» — «Малый, косушку!» — «Эй, целовальник! а целовальник! или Максим, что ли, как те звать! полуштоф на одного — вот и деньги...» Но Кириле не в диковинку были такие хлопоты; он не упускал даже случая перекинуться словом то с тем, то с другим из гостей своих. «Эй, Ванюха! что рыла-то не мочишь?.. полно тебе глазеть по сторонам-то; спроси — дадут... чего прикорнул?» — «Да что, брат, денег нету». — «Ой ли? аль все пропил?» — «Пропил не пропил, а был грех!..» — «Давно ли? Вот то-то оно и вышло: мужик простоволос год не пьет, два не пьет, а как бес прорвет, так и все пропьет!» — «Эй, Трифон, опохмелиться, чай, надо, — чего зеваешь? коли алтын не хватает, так муки, чай, привез?» — «И то привез». — «Ну, давай ее сюда! Что будешь делать? надо уважить кума... тащи!» — «Да ты сколько даешь?» — «Вестимо, ни твоей, ни своей души обижать не стану». — «А сколько?» —

«Ты пуд, а я косушку». — «Э! косушку! что больно тороват?» — «Ну, не одну, так две». — «Давай!» — «Э! ге, ге, ге!.. Дорофей, а Дорофей! что, брат, приуныл? аль кручина какая запала?» — «Да что, брат Кирила! беда прилучилась, за свою же кобылу приплатился». — «Как так?» — «А вот как: увели у меня на прошлой неделе кобылу». — «Не гнедую ли?» — «Нет, саврасую. Я и туда и сюда — и след простыл, что ты будешь делать?.. Захожу к свату Ивану, а тот и надушил меня: ступай, говорит, в Пурлово — знаешь Пурлово? — говорит он мне, — это сват-то Иван говорит. — Знаю, говорю, Пурлово, как не знать! — Ну, так коли знаешь, так ступай, отыщи там Онисима-коновала; я знаю, — говорит сват Иван: — это его ребята балуют. — Что ты станешь делать? беда, да и только; взял красную, прихожу. — Ну, что? — говорит. — Да вот, мол, кобыла саврасая пропала; так не поможешь ли беде? — Как не помочь, говорит, ступай в осинник на завалишинский выгон, знаешь завалишинский выгон? — Знаю, говорю. — Ну, когда так, так и кобылу свою найдешь: она там траву, вишь, щиплет. — Отдал деньги, прихожу: и вправду стоит моя кобыла!.. Так вот какая прилучилась беда, — красную ни за что ни про что отдал». — «О, брат, добро еще красную, видали и больше; счастлив, что дешево отбоярился». — «Такая, право, беда! Хорошо, что деньги были, а то просто и кобылу поминай как звали... право-ну!» — «Что деньги, брат, не боги, дядя Дорофей, да, видно, много милуют».

Каляканье не мешало, однако, нашим мужичкам пропускать чарку за чаркою; вскоре почувствовали они сами, что уже сильно нагрузились. Всего страннее в этом деле было то, что мирный и тихий Федос проявил такую прыть и смелость, что многих трудов стоило Григорию и Сысою удержать его, чтоб он не вцепился в бороду долговязому пономарю, к которому получил он, ни с того ни с сего, непреодолимую ненависть. Наконец кое-как уgomонили они его и уложили под навесом подле Петрухи, давно заснувшего сном богатырским. Расплатившись, как следует, наши приятели (я говорю: приятели, ибо дядя Сысой и Григорий шли теперь обнявшись крепко-накрепко и не переставали лобызать друг друга в ус и бороду) вышли из кабака и, как ни покачивались на стороны, благополучно достигли дороги. Неизвестно, о чем толковали они; разумеется, много было всяких сердечных излияний как с той, так и с другой стороны. Дядя Сысой и Григорий пойдут-пойдут, да и

остановятся — остановятся да обнимутся. «Во как люблю, Гриша!.. Ей-бо... право...» — «Больно ты мне полюбился, дядя Сысой... Во... те... Христ...» — и опять продолжают путь тем же порядком.

Но счастье скоротечно; вскоре очутились они посреди улицы и волею-неволею должны были расстаться.

Нередко попадают дни в жизни человека, которые как бы исключительно пользуются правом наделять его неприятностями и неудачами. Точно такой же день, должно быть, пал на долю Григорию, ибо не успел он отворить ворота, как уже неприятно был поражен криком и бранью, раздававшимися у него в доме. Григорий остановился, обтер рукавом пот, капавший с лица, и стал прислушиваться; так! голосили Дарья и Василиса, но на кого? — бог их ведает! Он поднялся по шаткому крылечку, выходявшему на двор, и вступил в избу. Василиса и Дарья стояли, каждая по концам стола, с поднятыми кулаками; перед ними близ окна сидела Акулина; она, казалось, не старалась скрывать своего горя и, закрыв лицо руками, рыдала на всю избу... Слезы ручьями струились между сухощавыми, грязными ее пальцами. Зрителем этой сцены была старуха, мать Григория, свесив с печи седую голову, как-то бессмысленно глядела она на все, происходившее перед ее глазами.

— Чего горланите?.. Что еще? ну?.. — закричал Григорий, бросая с сердцем кушак и шапку наземь.

— Да то же, что вот навязал нам на старости лет дьявола... Поди-тка сам теперь и ломайся с ним! — отвечала Василиса, указывая костлявою своею рукою на Акулину.

— Да, — подхватила Дарья, вся дрожа от злобы, — не боюсь, и руки-то понадсодишь — сунься только...

— Покою не дает, проклятая, — продолжала Василиса, — воеет знай себе на всю избу. Послали было за хворостиной печь истопить, прошляндала без малого все утро... велели хлебы замесить — куды те!.. ничего не смыслит — голосит себе, да еще: пойду, говорит, к барину...

Василисе и Дарье, по известным причинам, более, нежели остальной родне, ненавистна была женитьба Григория; тетки, как видно из слов их, решились даже прибегать в иных случаях к клевете, чтоб только навлекать на Акулину гнев мужа, парня, как ведали они, крутого и буйного.

— Да, — подхватила Дарья, приступая к племяннику, — к барину, говорит, пойду... он, говорит...



Но Григорию и этого было довольно; он оттолкнул тетку и подошел к жене.

— Что, окаянная?— произнес хмельной Григорий, страшно поваживая очами,— что? артачиться еще вздумала, а?

— Да как бы не так!— голосила Василиса,— много возьмешь словами.

— Вестимо, что ей даешь потачку... разве не видишь, она с умыслом воет? думает: услышит...

— Э! толковать еще тут!— бормотал сквозь зубы Григорий, хватая Акулину за волосы и повергая ее одним движением руки на пол...

— Вот так-то!— сказала Дарья.— Да здесь не замай ее, Гриша; стащи лучше в сени... неравно еще горшки побьешь...

Бешенство, казалось, обуяло Григория; тут все разом завожилось в голове его: и неволя, с которою он женился, и посторонние неприятности, и хмель, происшествие утра,— кровь путала его; сначала долго возил он бедную женщину взад и вперед по избе, сам не замечая, что беспрерывно стучался по углам и прилавкам, и наконец потащил ее вон...

— Эй, черти!— слышалось тогда в сеничках,— чего расходились? Эй! Григорий, Гришка, а Гришка!— произнес тем же голосом седой как лунь мужик, входя в избу.— Э! э! э!.. эхва как рано пошло размирье-то! вчера свадьбу играли, а сегодня, глядишь, и побои... эхва... Что?.. аль балует?.. пестуй, пестуй ее, пусть-де знает мужа; оно добро.

— Чего, леший, надо?.. проваливай, проваливай... черт, дьявол, собака!..

Это обстоятельство, казалось, еще больше остервенило Григория, и бог знает, что могло бы случиться с Акулиною, если б в ту самую минуту не раздалось в дверях звонкого хохота и вслед за тем не явился бы на пороге Никанор Никанорович, барский ловчий.

Василиса и Дарья мгновенно исчезли за печуркою, Григорий тотчас же выпрямился, стряхнулся и подошел к нему.

— Добро здравствовать, Никанор Никанорыч,— произнес он,— зачем пожаловали?

— Ох... дай, брат, Христа ради, душеньку отвести... о!.. о!.. Ай да молодые!.. чем бы целоваться, а они лупят друг друга. Эх вы, простой народец!.. хе, хе, хе...

— Балуется больно, Никанор Никанорыч.

— И куды, кормилец ты наш, ломлива! и не ведает

господь, что за баба такая...— сказала Василиса, показывая голову из своей прятки.

— Ну, ну... ну, а вот что: барин вас зачем-то спрашивает... Эй, тетка!.. вынь-ка крыночку, молочка — смерть хочется... Не могу сказать зачем, а только приказал кликнуть вместе с женою... Что ж ты, тетка, коли молока нет, так простокваши давай — не скупись... ну!

Григорий бросился сломя голову вон из избы; тетка не замедлила последовать его примеру.

Пока почетный гражданин барской дворни хлебал простоквашу, в каморе и в сенях происходила страшная суматоха.

— Зачем это барин-то кличет?

— Что такое прилучилось?..

— Эх, нелегкая его дергает!..

— А вот что: хочет, видно, на молодых поглядеть...

— Что, что?.. ну, ты... рожу-то всплесни водой...

— Рубаху-то новую вынь. Долго, что ли, чертова дочь, возиться станешь?.. У! как пойду...

— Гриша, я чай, полотенце надо для поклона?..

— Давай, тетка Дарья... хошь свое давай... Ишь, леший! ничего не принес!..

— Вот ты покажи у меня только вид какой, только поморщься... я с те живой тогда сдеру шкуру...

— Все, что ли?

— Кажись, все...

— Ну, ступай!

Григорий и Акулина вышли из ворот и вскоре очутились в барской передней.

— Поздравляю вас!— сказал Иван Гаврилович, подходя к молодым вместе с женою.— Поздравляю! Смотрите же, живите ладно, согласно, не ссорьтесь.

— Mon Dieu, gu'elle a l'air malheureuse!..¹ — сказала барыня.

— Comment! vous ne saviez pas que chez eux la jeune mariée doit pleurer pendant une semaine? mais c'est de rigueur...²

— Вот, возьмите,— продолжал он, подавая Григорию беленькую бумажку,— это вам жалует барыня.. Мирно у меня жить, дружно... Ты во всем слушайся мужа своего. работай... Ну — бог с вами, ступайте.

¹ Боже, какой у нее несчастный вид! (франц)

² Как! Разве вы не знаете, что новобрачная у них должна плакать целую неделю? Таков обычай (франц)

Дорогою молодые повстречались с Никанором Никаноровичем.

— Зачем барин-то звал?

— Да вот пожаловал, вишь, денег...

— Покажи... Ах ты, черт этакой!.. Вашему, знать, брату мужику только и счастье... Нам небось никогда не перепадает... Э! поди тут, разбери: иной и службой не выслужит, а то другой шуткой вышутит... А что, брат Григорий, ведь угостить надо, ей-богу, надо... Погоди, мы придем спрыснуть.

— Приходите.

— Сегодня и придем... а?..

— Ну, хоть сегодня... а что?

— Да завтра, чем свет, мы уезжаем в Питер с барином; так тут не до того... Смотри же, жди нас...

— Добро...

Утро и полдень протекали тихо и смирно в избе Григория, и если б не визит Никанора Никаноровича и еще двух лакеев, которые подняли ввечеру изрядную суматоху, можно было бы сказать, что водворившаяся так внезапно тишина не прерывалась ни разу и в остальную часть дня.

VIII

Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!

Кольцов

Но семейство Силантия не могло прожить более одного дня в ладу и согласии; знать уж под такую непокойною звездою родились почтенные члены, его составлявшие. С следующей же зарею пошли опять свалки да перепалки. Нечего и говорить, что Акулина была главным их предлогом. Трогательные убеждения Ивана Гавриловича при последнем свидании его с Григорием, казалось, произвели на последнего то же действие, что к стене горох — ни более ни менее.

Но прежде нежели приступлю к дальнейшему описанию житья-бытья горемычной моей героини, не мешает короче ознакомить читателя с новой ее роднею. Это будет недолго; она состоит всего-навсего из четырех главных лиц: Дарьи, Василисы, старухи жены Силантия и Григория. Первые две

уже некоторым образом известны читателю из первой главы; прибавить нечего, разве то, что они считались еще с самых незапамятных времен ехиднейшими девками окотка.

Мать Григория была не менее их несносна, в другом только отношении. Брюзгливая, хвораая, она никому не давала покоя своими жалобами, слезами и беспрестанным хныканьем; старуха вечно представляла из себя какую-то несчастную, обиженную и не переставала плакаться на судьбу свою, хотя не имела к тому никакого повода. Она постоянно проводила время лежа на печке; изменяла своему положению, залезая иногда в самую печку, когда уж невмочь подступало к пояснице. В этом да в оханье состояла вся деятельность ее жизни. «Хоть бы прибрал ее господь... ну ее... всем тягость только; провались она совсем...» — говаривали частенько тетки; но господь, видно, их не слушал: старуха жила, наполняя по-прежнему дом жалобами и канюченьем.

Силантия незачем присчитывать к семье; подобно большей части крестьян Ивана Гавриловича, он работал по оброку и являлся домой из Озерок, деревни в тридцати верстах от Кузьминского, не иначе как только в большие праздники или же в дни торжественные, как-то: свадьбы, мирские сходки, крестины и тому подобное. Остается, значит, сказать несколько слов о его сыне.

Григорий принадлежал сполна к числу тех молодцов, которых в простонародье именуют «забубенными головушками». Статься может, он не удостоился бы такого прозвища, если б судьбе угодно было наделить Силантия не одним детищем, а целою дюжиной.

Сызмала еще во всем давали ему потачку. Залезал ли Гришка в соседний огород, травил ли кошек, топил ли собак (утехи, к которым с первых лет обнаруживал он большую склонность) — все сходило ему с рук, как с гуся вода. «Что с него взять? — говорил Силантий. — Малехонек еще, ничего не смыслит; побалуется, побалуется да и перестанет...» Если случалось соседу поймать парнишку в какой-нибудь проказе и постегать его, Силантий тотчас же заводил с соседом ссору, брань, часто оканчивавшуюся дракой, не помышляя даже о том, происходило ли то на глазах озорника-сына. «Скинь-ка шапку да постучи-ка себя в голову-то, не пуста ль она, — твердили Силантию, — что ты его добру-то не наставишь? Пес ли в нем будет, коли та-

ким вырастет». — «А тебе что? — отвечал обыкновенно кузнец. — Знай своих; про то мое дело ведать, будет ли в нем прок; небось не хуже твоих выйдет». Шаловливость молодого парня могла бы, конечно, пройти с летами и не возбудить в нем более дурных наклонностей, если б к зрелому возрасту не доконала его окончательно фабричная жизнь. В больших деревнях и селах средней России, наделенной, как известно, не слишком-то плодородною почвою, мужики искони занимаются ткачеством. Занятие это дает им возможность заменять иногда с лихвою недоимки хлеба и частые неурожайи.

Силантий, как оброчный крестьянин, а следовательно, наблюдавший только за собственными своими барышами, почел выгоднейшим отослать сына в соседнюю деревню на фабрику, а для обработки тощей, плохо удобренной земли своей нанял батрака.

Нет сомнения, что Григорию было гораздо привольнее щелкать челноком в теплой, просторной избе, среди многочисленного общества таких же, как и он, лихих ребят, чем тащиться в зной и дождь за тяжелою сохою. Дело, однако, в том, что пролетные эти головушки развили в нем окончательно дурные семена, посеянные еще смолоду. Вскоре Григорий не замедлил отличиться в разных проделках, стоивших ему не раз прогулок к становому и управляющему. Одна из таких проделок достойна даже особенного замечания. Раз как-то Григорий и другой фабричный повстречались на дороге с огородником, везшим на базар арбузы. Огородник спал мертвецки на своем возу. Молодцам приглянулся такой случай истинною находкой. Они смекнули поживу и недолго затруднялись, как спроворить дело. Григорий мигом очутился под возом с ножом в руках и принялся прорезывать отверстие в лубочном дне телеги. Проползши таким образом на карачках с версту, он благополучно довершил зачатое предприятие. По мере того как арбузы сыпались один за другим, товарищ Григория скатывал их в небольшую лощинку, огибавшую дорогу. Бедный огородник, должно быть, хлебнул лишнее, ибо спал так крепко, что доехал до базара, не заметив пропажи. Между тем молодцы успели притащить из села телегу, навьючить на нее добычу и тронуться в путь. Они не откладывали дел своих в долгий ящик и потому решили немедленно ехать на базар, не сообразив в первом пылу удачи, что такая поспешность могла как раз накликать им беду. Так

и случилось. Григорий наткнулся на мужичков Кузьминского; пошли толки, намеки, пересуды; каждому казался товар подозрительным. В Кузьминском не было огородов. Тут, как на беду, пронеслись слухи, что обокрали на дороге огородника; вскоре сам он явился налицо. Тотчас и ведали дело. Молодцов схватили, скрутили по рукам и по ногам и повели к заседателю, присутствующему на базаре для наблюдения порядка; заседатель, отпотчевав, как водится, добрым порядком, отправил их к становому. Не ведомо, что произошло у последнего; достоверно только то, что из рук его так же трудно выпутаться, как из рук первого. Пришлось поплатиться спиною.

Ко всем дурным наклонностям, которыми так щедро снабдила Григория фабричная жизнь, она поселила в нем еще расположение к ерофеичу — средству, без которого никак не обходится простолюдин, успевший уже нащупать в сапогах своих лишние гроши. Словом, Григорий был изрядным негодяем, когда отец вызвал его на пашню. Не понаторевшись смолodu в трудностях полевых работ, быв притом лентяем по натуре, Григорий вышел никуда не годным мужиком. «Не покой пашни, коли мужик оставил шашни», говорит пословица; и действительно, вместо пользы принес он в дом одно размирье, ибо только и делал, что ссорился да ругался с матерью и тетками.

Акулина, переступив из дома скотницы Домны в семью кузнеца, попала, как говорится, из огня да в полымя. Есть люди, которым как бы предназначено судьбою целую жизнь мыкать горе. Мы уже видели, что бедная женщина сильно не приходилась по нраву новой родне своей; неволя, с какою попала она замуж за Григория, имевшего в виду другую, богатую, «здоровенную» бабу, была одною из главных причин всеобщей к ней ненависти. А ведь стоит только запасть в душу человека невежественного предубеждению, стоит только раз напиться ей злобою — и уже ничем, никакими доводами и убеждениями, никакими силами не вытеребишь их оттуда. И сострадательность и всякое другое побуждение пошло тогда к черту: все черствеет в ней и притупляется; овладевшее ею раз чувство как бы все более и более укрепляется и, укрепляясь, глушит в ней остальное. Первый день замужества Акулины, казалось, вполне выразил всю ее жизнь, все, что ожидало ее в будущем. Хотя такие побыты и доходили до соседей, но никто, однако, не обнаруживал явного к ней участия; каждый из

них был проникнут убеждением, что, правда, худо бабе у мужа, а как без мужа, так и того было бы хуже. Зато вся деревня единодушно далась диву, когда пронесся слух, что Акулина, вместо того чтоб умереть родами (чего ожидали соседки, ведавшие домашнее жите-бытье ее), родила Григорию дочку, да еще, как рассказывал пономарь, такую крепенькую, что сам батюшка на крестинах немало нахвалился.

Если уж младенец так приглянулся попу и пономарю, то чем же должен был он казаться бедной матери? Акулина как бы ожила; что-то похожее даже на радость мелькнуло в глазах, знавших прежде одни только слезы, и на печальном лице ее показалась небывалая дотоле улыбка. Она не обращала уже теперь никакого внимания на оскорбления Василисы и Дарьи; ей нипочем были и побои Григория и распри всего семейства. Все, что вложено было в ней чувства, все сосредоточивалось на милом ее младенце, далее она ничего не видела, ко всему казалась равнодушною, бесчувственною. Но это-то равнодушие и запропастило вконец голову бедной бабы. Григорий не мог сносить его. Он приходил в бешенство, видя, что слова и побои не действовали более на робкую и покорную жену; словом, жизнь Акулины стала еще хуже прежней.

Встречаются иногда люди с характером кротким и нежным в такой степени, что существование их кажется как-то неполным, неопределенным, вряд ли способным даже проявиться без подпоры или влияния другого, более мощного и твердого характера. Им не чужды самые сильные страсти, порывы самые пламенные и энергические; но все это закрыто в них под непроницаемую пеленою какой-то робости и застенчивости, которая мешает им выказываться наружу и только глушит их. Оба эти чувства у иных так сильны, что ни воспитание, ни положение в обществе, ни даже самое общество не в состоянии их исторгнуть. Жизнь такого рода людей может пройти, невзирая ни на какие обстоятельства, так же тихо и спокойно, как песок стеклянных часов. Все способен вынести и претерпеть такой человек; терпение и смирение кажутся его уделом, его назначением.

Но являются случаи, где то же самое робкое существо, по-видимому лишенное воли и силы, проявляет вдруг твердость воли, какою одарены только редкие, на диво сплоченные натуры. Так бывает, когда доведут до предела вложен-

ные ему в душу кротость и терпение. Все силы, тратившиеся понемногу на пути жизни, оставшись в нем непочатыми, нетронутыми, как бы заодно пробуждаются тогда и восстают всею своею массою.

Акулине пришлось невмочь терпеть долее. Видя, что ни покорность, ни труды, ни смирение — ничего не действовало, она решилась идти наперекор не только мужу, но даже всей родне своей, перед которой незадолго еще так трепетала. Заметив, что злоба их усилилась от равнодушия, с каким старалась она выносить ее, Акулина употребила все свое старание, чтоб казаться еще спокойнее и равнодушнее. Мало того: она дала себе клятвенное обещание хранить молчание со всеми домашними и никогда, ни в каком случае, хотя бы такая решимость могла стоить ей жизни, не произносить перед ними ни единого слова. Она как бы вдруг онемела.

IX

Ах, не жаль-то мне роду, племени,
Не жаль-то мне родимой сторонушки:
Мне жаль-то малое дитятко;
Останется дитятко малешенько,
Малешенько дитятко, глупешенько,
Натерпится холода и голода.

Русская песня

Ах ты, гнутое деревцо, черемушка,
Куда клонишься, туда склонись!

То же

Прошло четыре года...

Кому бы случилось видеть Акулину прежде, в первые дни ее замужества, тот, конечно, нашел бы в ней, по прошествии этих четырех лет, большую перемену. Иной вряд ли даже мог бы узнать ее. Она казалась состарившеюся целыми десятью годами. Оставалась только сухая, отцветшая кожа да страшно выглядывавшие кости. Бледное лицо, изнуренное тяжкою жизнью и безвременьем, покрылось морщинами; скулы сильно выступили под мутными, впалыми глазами, и вообще по всей физиономии проскальзывала какая-то ноющая, неотразимая грусть, виднелось что-то столь печальное и унылое, что нельзя почти было отыскать в ней и тени былого. Поступь ее стала медленна; идучи, она беспрерывно останавливалась, прикладывала тощую свою руку к груди, и вслед за тем слышался тяжелый,

жестокий, долго не прерывавшийся кашель. Она видимо чахла.

С некоторых пор чаще стали посылать Акулину на реку, выбирая для этого, как бы невзначай, сырую и ненастную погоду; заметно сваливались на нее самые трудные и утомительные хозяйственные работы; при всем том Василиса и Дарья не упускали случая раззадоривать Григория разными побоями, зная наперед, что злоба его неминуемо должна была вымещаться на плечах безответной Акулины. Последнее обстоятельство было тем менее затруднительно для теток, что Григорий, выпивавший прежде стакан-другой без всякого позова, так только, ради компанства, успел в эти четыре года уже свыкнуться, сдружиться окончательно с ерофеичем — пил мертвую и частенько бывал пьян как стелька. Утешительная сторона всего этого была по крайней мере та, что старания теток оказались не бесполезными. Акулина занемогла не на шутку. В первое время вряд ли даже предстояла ей надежда отделаться от смерти.

Рассказывать обстоятельно все то, что претерпела она в продолжение болезни, по-моему, лишнее: читателю и без того легко смекнуть, каково ей было лежать в душной каморе под неутомимым надзором и ухаживанием Василисы и Дарьи.

Неизвестно как, откуда и чрез какие добродетельные уста, но только состояние Акулины вскоре дошло до слуха жены управляющего. К счастью, последняя была женщина добрая, простая; она поспешила к ней на помощь.

Следствием ли лекарственных разных снадобий, которыми поили больную, или просто помогла сама натура, но Акулине стало, однако, гораздо легче. Мало-помалу она начала даже поправляться, к несказанной досаде домашних, желавших ей от всей души царствия небесного и иной, лучшей жизни. Им ведомо было более, нежели кому другому, все, что терпела горемыка на белом свете. Сострадательность их не замедлила вскоре обнаружиться в полной своей силе. Распространяться не стану, ограничусь описанием одного случая, который выразит нетерпеливость теток наделить племянницу лучшею долею, в чем, как увидит читатель, они вполне успели.

Акулина не одумалась еще после болезни и находилась в том неопределенном состоянии, когда сам врач не может решить: жизнь или смерть сулит судьба пациенту. Она едва передвигала ноги.

Осень, или, как выражаются в простонародье, листопад приближался на пегой своей кобыле к концу. Деревья обнажились. Местами по улице и дворам сверкала гололедица; воздух становился сух и холоден.

В такой-то день после обеденного времени к Григорию явился староста. По очереди следовало кому-нибудь из домашних его идти досушивать чечевицу — ибо подступила пора сеять.

В выборе затруднялись недолго; что думать: Акулина и так провалялась целые два месяца; к тому же Василиса и Дарья формально объявили, что им недосуг, что и без того работают за всех и не пойдут — приходи хоть сам управляющий. Перекорять теткам было дело мудреное, притом отнюдь не касалось старосты: ему все одно, тот ли, другой ли, — был бы исполнен наказ, а там пусть себе трепещут бабы сколько им взгодно; в домашние дразги никому входить не приходится.

Акулина молча поплелась вон из избы вместе с маленькою своею Дунькою. Никогда, ни в каком случае не разлучалась с нею Акулина. Сам ребенок, казалось, искал этого: где только ни встречалась мать, там уж непременно виднелась и дочка. Стояла ли стужа, шел ли дождь, пекло ли солнце — всюду тащилась девчонка, цеплялась то с той, то с другой стороны за поняву матери. Итак, взяв Дуньку за руку (она не в силах еще была поднять ее на руки, как имела обыкновение), Акулина вступила на просторный двор и уселась перед циновками, на которых сушилась чечевица.

Но не в добрый, зная, час вышла хозяйка Григория. Началось с того, что она упустила из виду курицу, забежавшую на одну из циновок, и управляющий, проходивший в то время мимо, загнул ей крепкое словцо; потом стряхнулось на нее и другое горе: она почувствовала вдруг, что не может шевельнуться, ибо все члены и особенно ноги тряслись, как в лихорадке, от прохватившей их насквозь стужи.

Акулина поспешила закутать в дырявый жупан Дуньку и усадить ее так, чтоб не застудился младенец; сама же кой-как свернула ноги под поняву да прикуталась в сорочку: другого одеяния на ней не было (она никогда не имела кожуха или тепленького овчинного тулупчика). И то даже, с чем вышла она, глядело как-то непригоже; всюду и на спине и на плечах виднелись прорехи, кото-

рые то и дело ощеливали кость да посиневшее от холода тело.

Уверившись еще раз в том, что Дуньку не прошибала дрожь, Акулина принялась глядеть на двор.

Но печальная картина расстилалась перед нею.

Дощатый забор, ограждавший почти весь двор, местами покривился набок, местами совсем повалился и, выказывая то поблекший кустарник, то потемневшие купы полыни с отощавшими стеблями и верхушками; с одной стороны тянулся непрерывный ряд сизых, однообразных амбаров и конюшен с высокими кровлями, осененными круглыми окнами, из которых торчало хлопьями серое дикое сено. Далее возносились над забором скирды убранного хлеба, покрытые бледною соломой; между ровными их рядами виднелась речка какого-то синего, мутного цвета, за нею стлалось неоглядное, словно пустырь, поле; на нем ни сохи, ни птицы,—чернела одна только гладко взбороненная почва. Остальную часть двора занимали барский сад и палисадник с выглядывавшими из-за них бельведерами и крышками флигелей. Листья с деревьев осыпались и темными грудами лежали в аллеях и близ ограды. Кое-где мелькала разве березка с сохранившеюся на ней зеленью, казавшеюся издалика как бы забрызганной золотистою рыжеватой охрою. Сучья, стволы растений, кровли и все окрестные предметы как-то резко, бойко вырезывались на бледном, почти белом небе, что придавало картине вид холодный и суровый. Воздух был неподвижен, сух и прохватывал члены нестерпимым ознобом.

Время от времени раздумье Акулины прерывалось проходящими мимо конюхом или дворовою бабою; застывшая земля издавала какой-то металлический звук под их стопами, и далеко отдавались шаги в опустевшем пространстве. Иной раз она поднимала голову и смотрела пристально в ясное, бледное небо; там, в беспредельной вышине, проносились к востоку длинные вереницы диких журавлей и жалобным, чуть внятным криком своим возмущали на миг безжизненность, всюду царствовавшую. Не ведомо, какие мысли занимали тогда Акулину; сердце не лукошко, не прошибешь окошко, говорит русская пословица. Она недвижно сидела на своем месте, по временам вздрагивала, тяжело, тяжело покашливала, да поглядывала на свою дочку — и только... Впрочем, из этого следует, что бабе было холодно, что болела у нее слабая грудь,

а наконец и то, что ее беспокоило состояние собственного ребенка — чувство весьма обыкновенное, понятное каждому.

Раздумье Акулины было внезапно прервано чьим-то знакомым голосом; она обернулась.

Перед нею стояла жена управляющего.

— Как! Акулина! — сказала она с заметным удивлением. — Зачем ты здесь?.. ведь я же говорила твоим, чтоб не выпускать тебя раньше трех недель... Как это можно!.. Кто послал тебя?..

— Староста...

— Староста! Ах он бездельник!.. да чего же смотрели твой-то?.. а? Мужа разве не было дома?..

Акулина молчала.

Жена управляющего повторила вопрос.

Акулина не прерывала молчания.

— Разве ты чувствуешь себя лучше?.. Ну, что? где теперь болит?

— Тут... все тут, — произнесла хрипло Акулина, прикладывая окоченевшие пальцы к тощей, посиневшей груди своей; вслед за тем послышался длинный, прерывистый кашель.

— Ай, ай!.. нет, нет, сиди-ка дома. Как это можно! — говорила жена управляющего, глядя на Акулину пристально и с каким-то жалостным выражением в лице. — А! да какая у тебя тут хорошенькая девочка! — продолжала она, указывая на Дуньку и думая тем развеселить больную, — она, кажись, дочка тебе?.. То-то; моли-ка лучше бога, чтоб дал тебе здоровье да сохранил тебя для нее. Вишь славенькая какая, просто чудо!..

Она подошла к ребенку и погладила его по голове.

Рыдание, раздирающее, ужасное, вырвалось тогда из груди Акулины; слезы градом брызнули из погасавших очей ее, и она упала в ноги доброй барыне...

— Что ты?.. что ты?.. что с тобой? — говорила та, силясь приподнять бабу. — Успокойся, милая! о чем кручиниться?.. Бог даст, здорова будешь... перестань...

— Матушка!.. матушка... ты... ведь ты одна... одна приголубила мою сиротку... — И она снова повалилась в ноги доброй барыне.

.....
.....
.....

Жена управляющего каждодневно наведывалась в избу Григория. Истинно добрая женщина эта употребляла все свои силы, все свои слабые познания в медицине, чтоб только помочь Акулине. Она не жалела времени. Но было уже поздно: ничего не помогало. Больной час от часу становилось хуже да хуже.

Наступившая зима, морозы, растворяемые беспрерывно на холод двери, против которых лежала Акулина, 'сильно к тому способствовали. Наконец ей совсем стало невмочь. Григорий сходил за попом. После обычного обряда отец Петр объявил присутствующим, что божьей воли не пересилить, а больной вряд ли оставалось пережить ночь. Ее так и оставили.

В избе смеркалось. Кругом все было тихо; извне слышались иногда треск мороза да отдаленный лай собаки. Деревня засыпала... Василиса и Дарья молча сидели близ печки; Григорий лежал, развалившись, на скамье. В углу против него покоилась Акулина; близ нее, свернувшись комочком, спала Дунька. Стоны больной, смолкнувшие на время, вдруг прервали воцарившуюся тишину. Вздуги огня и подошли к ней.

— Что тебе?.. аль прихватило?..— сказала Дарья.

Но Акулина ничего не отвечала и только вперила угасавшие очи на мужа; долго смотрела она на него и наконец произнесла прерывающимся голосом: «Григорий»... Василиса и Дарья перемигнулись и вышли на двор.

— Ну, что?— отвечал тот, подходя ближе к жене...

— Григорий!..— продолжала Акулина тем же замирающим голосом.— Григорий... Григорий...— У нее не хватало сил сказать больше.

— Ну, слышу; что же надо?

Она положила руку на спавшего возле нее ребенка и произнесла протяжно:

— Не бей... ее... не бей... за что?

Видно было, что она хотела что-то еще сказать, но речь ее стала уже мешаться и вышла нескладна; мало-помалу звуки ее голоса слабели, слабели и совсем стихли; смутные полуоткрытые глаза не сходили, однако, с мужа и как бы силились договорить все остальное; наконец и те начали смежаться... Григорий взглянул на нее еще раз, потом подошел к полатам, снял с шеста кожух, набросил его на плечи и вышел из избы.

Дарья и Василиса попались ему в сеничках.

— Ну что? — произнесли тетки почти в одно и то же время.

— Отходит, — отвечал Григорий, натягивая узкий рукав на мощную свою руку.

Когда они вступили в избу, Акулины уже не было на свете.

На другой день рано утром отец Петр явился к Григорию в сопровождении дьячка, чтоб совершить панихиду над грешным телом жены его. Когда панихида была окончена, тело Акулины снесли в каморку, где назначено ему было пролежать еще до похорон.

...Выюга не утихала; резкий морозный ветер не переставал наметывать груды снега и, казалось, еще усиливался с каждым часом; но Григорию нипочем была стужа и вялица: он никак не соглашался отложить похорон. Немало твердили ему домашние: «Выжди немного; ишь какая посыпала погода, зги не видно. Эй, в сугробе засядешь!..» Григорий не слушался и норовил лишь как бы скорее спровадить покойницу. По колени в снегу, он уже припрягал тощую клячу к оглоблям розвальней, на которых лежал длинный, живьем сколоченный гроб Акулины. Василиса и Дарья глядели с крылечка на его приготовления. Из избы слышались время от времени чьи-то стоны и вопли...

— Что не уймете пострела-то? — сказал наконец Григорий, — ишь как воет...

— И то в каморку заперли, не унимается, — отвечала Дарья...

Когда все было готово, кляча взнуздана, а гроб привязан веревками к розвальням, Григорий замотал поводья к перекладине навеса и поплелся в избу. Вступив в нее, он снял с полки небольшой штоф, заткнутый грязною ветошью, и принялся цедить из него себе в горло; натянувшись вдоволь, он поспешил возвратиться к делу.

— Что ты, Гриша, пораскраснелся? — заметила Василиса, не покидавшая с сестрою прежнего своего места, — выпил, что ли, для куража?..

— Маленько было, — отвечал тот, — ну, отворяйте же ворота...

Он приладился на край гроба, нахлобучив на глаза шапку, гаркнул: «Эй, вы, поваливай!!», махнул вожжами и понесся по улице.

Выюга злилась по-прежнему, дорогу заметало, целые

горы снега рассыпались ему на голову. Григорий, ошеломленный вином, ни на что не обращал внимания и знал только хлестал и стегал несчастную свою клячу, которая то и дело вязла в оврагах... Вдруг, посреди завывания ветра и шума метелицы, ему послышались крики; он оглянулся: в мутных волнах между сугробами бежала сломя голову Дунька. Григорий приподнялся на облучке и погрозил ей. «Пошла, пострел, домой... пошла́ домой!.. замерзнешь! пошла́ домой!»— кричал он, принимаясь с бóльшим еще остервенением колотить свою клячу. Хмель, благо морозно было, успел уже обуять его; удары сыпались за ударами, лошадь несла его во всю мочь; изредка оборачивался Григорий назад... «Пошла́ домой, пострел!.. пошла́ домой!»— горланил он; но ребенок не переставал бежать за ним с тем же криком и воплем. «Пошла́ домой! вот я те... окаянную!»— продолжал отец. Дунька все бежала да бежала...

А вьюга между тем становилась все сильнее да сильнее; снежные вихри и ледяной ветер преследовали младенца и забивались ему под худенькую его рубашонку, и обдавали его посиневшие ножки, и повергали его в сугробы... но он все бежал, все бежал... вьюга все усиливалась да усиливалась, вой ветра становился слышнее и слышнее; то взрывал он снежные хребты и яростно крутил их в замутившемся небе, то гнал перед собою необозримую тучу снега и, казалось, силился затопить в нем поля, леса и все Кузьминское со всеми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами...

АНТОН-ГОРЕМЫКА

Повесть

Живи, коли можется;
Помирай, коли хочется.

Народная пословица

I

ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик; он держал обеими руками топор и рубил сплеча высокие кусты хвороста, глушившие в этом месте лес непроходимой засекой. Наступала пора зимняя, холодная; мужик припасал топливо. Шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пегой клячонке; поодаль, вправо, сквозь обнаженные сучья дерев виднелся полунагой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочьими гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сгорбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет от роду: он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с редкою бледно-желтою бородою, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности: все было до крайности дрябло и ветхо, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмою. Стужа была сильная; несмотря на то, пот обильными ручьями катился по лицу мужика; работа, казалось, приходилась ему по сердцу. Кругом в лесу царствовала тишина мертвая; на всем лежала печать глубокой, суровой осени: листья с деревьев попадали и влажными грудями устилали застывавшую землю: всюду чернелись голые стволы дерев, местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма с стоячею водою покрывалась изумрудною плесенью: по ней уже не скользил водяной паук, не отдавалось кваканья зеленой лягушки; торчали одни лишь мшистые сучья, облепленные слизистою тиной, и гнилой, недавно свалившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами

Вдалеке ни птичьего голоса, ни песни возвращающегося с пашни батрака, ни блеяния пасущегося на пару стада; кроме однообразного стука топора нашего мужичка ничто не возмущало спокойствия печального леса.

Время от времени за лесом подымался пронзительный вой ветра; он рвался с каким-то свирепым отчаянием по замирающим полям, гудел в глубоких колеях проселка, подымал целые тучи листьев и сучьев, носил и крутил их в воздухе вместе с попадавшимися навстречу галками и, взметнувшись наконец яростным, шипящим вихрем, ударял в тощую грудь осинника... И мужик прерывал тогда работу. Он опускал топор и обращался к мальчику, сидевшему на осине:

— Эй, Ванюшка! ишь куда забрался! того и гляди, ветром снесет, ступай наземь!..

— Не замай, дядя Антон,— откликался парнишка,— небось не снесет!

Дядя Антон, успокоенный каждый раз таким увещанием, брал топор, нахлобучивал поглубже на глаза шапку и снова принимался за работу. Так повторялось неоднократно, пока наконец воз не наполнился доверху хворостом. Внимание мужика исключительно обратилось тогда к племяннику; его упорное неповиновение как бы впервые пришло ему в голову, и он не на шутку рассердился.

— Ах ты баловень!— закричал он, стукая обухом топора в осину,— долго ли говорить тебе? слезай! вот я те, озорника, поартачишься у меня, погоди!..

— А вот же не слезу, коли так,— отвечал мальчуган, взбираясь все выше и выше.

— Не слезешь?.. ладно же, оставайся один в лесу, пусть те едят волки... проклятого!..

Угроза, казалось, подействовала на ребенка; он обхватил ручонками коренастый ствол дерева, приговаривая спуститься наземь при первой попытке дяди исполнить обещание.

— А бить станешь?— вымолвил он, наклонив из-за ветки кудрявую свою головку и глядя пристально на дядю.

— Ну, ну, слезай, знай слезай...

— Взаправду не станешь?..

— Говорят, не стану, ступай скорей!

Ванюшка спустился сажени на две и опять повис на сучке.

— И на лошадь, дядя Антон, посадишь?

— Ладно, ладно, ступай только.

— Не обманешь?

— Экой пострел, прости господи! говорю, посажу — чего еще?

Последнее обстоятельство окончательно успокоило парнишку; с быстротою и ловкостью белки проскользнул он между верхними сучьями и в одно мгновение ока очутился на земле подле дяди.

Вскоре воз, навьюченный красноватым и сизым хвостом, медленно выезжал из лесу, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, как бы изловчаясь сбросить с себя при первом косогоре лишнюю тяжесть. Ванюшка сидел верхом на пегашке; он был вполне счастлив. Русые его кудряшки, развеваясь по ветру, открывали поминутно круглое, свежее личико, сияющее восторгом. Антон шел подле, запустив одну руку за пазуху, другой упираясь в оглоблю. Проколесивши добрый час по глинистым кочковатым полям, стлавшимся за лесом, путники наши выехали наконец на проселок и немного погодя услышали отдаленный шум мельницы. Воз приближался к троскинской лощине. Незаметная издалека и терявшаяся в волнистых линиях местности, лощина эта принимала вблизи довольно широкие размеры: на дне ее, поросшем конятником и ветельником, заваленном плитняком и громадными угловатыми камнями, шумела и пенилась река; вместо моста через нее перекидывалась узкая плотина, упиравшаяся одним концом в старую водяную мельницу. С той стороны, откуда приближалась телега, мельница освобождалась совершенно от ветл, ограждавших ее с других трех частей, так что амбары, клетки, двор, толчея, навесы виднелись как на ладони. Шлюзы были опущены: все три постава работали без устали; главное здание, обдаваемое с одного бока белою шипящею пеной, тряслось словно в лихорадке; мука, покрывавшая его кровлю, сыпалась в воду и крутилась в воздухе. Гул был страшный. Прежде чем спуститься с уступистой кручи на берег, Антон остановил лошадь и указал племяннику на мельницу.

— Поглядь-кась, Ваня, не видать ли где мельника?

— Аксентия Семеныча? — спросил ребенок.

— Экой дурень! нешто у нас кроме него другой какой есть...

— Нет, дядя Антон, нету... а кто-то стоит... вон в белой-то рубахе... вон, вон руками-то размахивает!..

— Ладно, не будь только он; того и смотри, с ярманки вернется, встренется да денег станет просить, беда! ох-хо, хо! Ну, Ванюха, трогай, да смотри, не больно круто спущай!

Миновав благополучно шаткую плотину, пегашка взнесла воз на противоположный берег, поднялась на косогор и приостановилась; она вздохнула свободнее и замотала хвостом, что делала обыкновенно, когда была довольна. Дорога опять пошла ровная и гладкая. Когда соломенная кровля мельницы с осенявшими ее скворешницею и ветлами скрылась за горою, перед глазами наших мужичков снова открылась необозримая гладь полей, местами окутанная длинными полосами тумана, местами сливающаяся с осенним облачным небом, и снова ни былинки, ни живого голоса, одна мертвая дорога потянулась перед ними. Наконец вправо начал показываться господский дом, ближе,— и вот он весь выглянул словно из земли. Все в нем обозначало не только отсутствие хозяина, но даже давнее запустение; ставни заколочены наглухо: некоторые из них, сорванные ветром, качались на одной петле или валялись подле треснувшего и обвалившегося основания; краска на кровле, смытая кое-где дождем, обнаружила гниль и червоточину; стекла в покосившейся вышке почти все были выбиты; обветшала наружность этого здания, или, лучше сказать, этой развалины, облеплялась повсюду неровными рядами ласточьих гнезд; они виднелись в темных углах, вдоль желоба, под карнизами. Казалось, одни ласточки не покидали старого барского дома и оживляли его своим временным присутствием, когда темные купы акаций и лип, окружавшие дом, покрывались густою зеленью; в палисаднике перед балконом алели мак, пион, и сквозь глушившую их траву высывала длинную верхушку свою стройная мальва, бог весть каким-то странным случаем сохранившаяся посреди всеобщего запустения; но теперь даже и ласточек не было; дом глядел печально и уныло из-за черных безлиственных деревьев, поблекших кустарников и травы, прибитой последними ливнями к сырой земле дорожек.

Проходя мимо, Антон не замедлил, однако, снять шапку; так прошел он вдоль старого сада, флигелей, пчельника, пока наконец не поравнялся с помещичьими рогою и овином. Тут он не только надел шапку, но даже остановился: за плотным забором возносилось такое несметное мно-

жество скирд убранного хлеба, что невольно разбегались глаза и вчуже забирала зависть. Уже несколько лет сряду стояли они таким образом неприкосновенными, непочатыми, приглашая каждого любоваться ими вдоволь. Поговаривали в околотке, будто огромным этим запасам хлеба суждено было выждать здесь благоприятной и счастливой минуты всеобщего неурожая в губернии, на что, как утверждали, были у владельца их свои особые соображения, не совсем чуждые корысти; но слухам, известно, верить нельзя: чего не выдумают! Дело в том, что чем далее глядел наш мужик на скирды, тем более потуплял голову и наконец, господь знает отчего, совсем загрустил. Раздумье одолело его так сильно, что он стал даже пропускать без внимания груды хвороста, валившиеся у него с воза, тогда как прежде тщательно собирал сторонние веточки, попадавшиеся на окраине дороги.

Между тем деревня все еще не показывалась. Темные тучи, сгустившиеся над нею, окутывали ее сизой непроницаемой тенью; струйки белого дыма, косвенно поднимавшиеся в сизом горизонте, давали, однако, знать о близости избышек. Прежде всего попалась на пути маленькая кузница с дюжим кузнецом Вавилою на пороге, который, приветливо кивнув Антону головою, вымолвил: «отколе?» и на ответ: «а из осинника», зевнул, перекрестив рот; там глянули высокие «магазеи», за ними крестьянские густые огороды, а там потянулось и самое село Троскино, расположенное по скату лощины. Толпа чумазых ребятишек, игравших в бабки, стояла на улице подле колодца. Они, казалось, нимало не замечали стужи и еще менее заботились о том, что барахтались, словно утки, в грязи по колени; между ними находилось несколько девчонок с грудными младенцами на руках. Семи- или восьмилетние нянюшки дули в кулаки, перескакивали с одной ножки на другую, когда уже чересчур забирал их холод, но все-таки не покидали веселого сборища; некоторые из них, свернувшись комочком под отцовским кожухом, молча и неподвижно глядели на игравших.

Проезжая мимо, Ванюшка, начинавший было корчиться от стужи на своей кляче, вдруг вытянулся, приосанился и крикнул, во сколько хватило силенки: «Эй! пошли прочь!.. раздавлю!.. ишь лошадь едет...» Толпа дала дорогу, окидывая седока завистливыми взглядами. Одна девчонка, рыженькая, курносая, взъерошенная и вдобавок еще хро-

мая, пустилась догонять воз, прыгая и вертясь на одной ножке.

— Дядя Антон, дядя Антон, посади на воз!— кричала она.— Посади, голубчик, на воз... золотой, посади, правую посади!..

— Пошла прочь,— вымолвил Антон, грозя хворостинной,— чего привязалась! Вот я те!..

Девчонка остановилась, дала ему проехать несколько шагов и потом снова поскакала; только теперь, как бы назло, она коверкалась и ломалась несравненно более, кричала звонче, приступала настойчивее, пока наконец, выбившись из сил, поневоле должна была отказаться от своего преследования, но и тут не упустила случая высунуть Антону язык и поднять рубашонку.

Изба стояла у самой околицы и завершала собой правую линию села, выдавшуюся в этом месте несколько вперед. Она бросалась в глаза своею ветхостью: один бок ее, примыкавший к околице, почти сгнил дотла, отчего остальная часть здания покачнулась и села на ту сторону. Кровля от тяжести давившей ее когда-то соломы приняла совершенно другое направление; она сползла наперед и грозила ежеминутным падением. Трубы не было; ее заменял глиняный горшок с выбитым дном для дыму. Деревянный петушок, красовавшийся, вероятно, в лучшие времена на макушке крыши, принял также свое направление во время всеобщего обвала и уныло свесился влево. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругом глиною, глядело невыразимо кисло. Изба со всех сторон подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику нищему, наступившему на костыли свои; словом, все на ней, как говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердце, глядя на это жилище; даже Степан Бичуга, сосед, вообще равнодушный ко всему житейскому, за исключением одной разве косушки, и тот не проходил мимо без того, чтобы не оглянуть Антонову избенку со всех сторон и не покачать заботливо лысою головою.

Несмотря на то, хозяева лачужки заметно ускоряли шаг, и лица их, по мере приближения к ней, просветлялись приветливой улыбкой. Ванюшка никак даже не мог удержаться, чтобы не крикнуть в порыве восторга несколько раз сряду: «Дядя Антон, домой приехали! Ишь, дядя Антон, ишь, дом-то, вон он!.. вон он какой!..» При въезде на

двор навстречу им выбежала девочка лет шести; она хлопала в ладоши, хохотала, бегала вокруг телеги и, не зная, как бы лучше выразить свою радость, ухватила ручонками за полы Антонова полушубка и повисла на нем; мужик взял ее на руки, указал ей пальцем на воз, лукаво вытащил из середины его красный прутик вербы, подал его ребенку и, погладив его еще раз по голове, снова пустил на свободу. Девочка была в неопisanном восторге от роскошного подарка.

— Ну, Ваня, будет! Слезай-ка с лошади да ступай скорее с сестренкой в избу, на печку,— сказал дядя.— Небось оба поесть хотите?

— Дядя Антон, голубчик, золотой ты мой! дай распрячь лошадку, я опосля поем,— кричал мальчишка.

— И то замерз совсем, куды те справиться!

— Ничаво, дядя, голубчик, ничаво, право-слово ничаво... Ты, Аксюшка, ступай в избу, ишь озябла ты... а я приду.

Не все же понукать да драться: дядя покорился; вскоре все трое взошли на крылечко, а оттуда и в избу.

II

ГОЛЫШ

Хозяйка Антона была не одна: против красного угла избы, почерневшего так, что едва можно было различить в нем икону, сидела гостья, старуха лет пятидесяти. Свет из единственного светлого оконца падал прямо на нее. Сморщенное, желтоватое лицо старухи, осененное космами седых волос, кой-как скомканных под клетчатый платок, ее карие глаза, смотревшие из впадин своих зорко и пронизательно, острый тоненький нос, выдавшийся подбородок, лохмотья и клюка — все это напоминало как нельзя лучше сказочную Бабу-Ягу или по крайней мере деревенскую колдунью-знахарку. Но в сущности ничего этого не было: старуха принадлежала просто-напросто к тем жалким побирешкам без семьи, роду и племени, которые таскаются из села в село, из деревни в деревню и кормятся мирским подаванием, или, как выражаются в простонародье, «грызут окна».

— Здорово, Архаровна,— произнес Антон, видимо недовольный присутствием гостьи.

— Здравствуй, кормилец ты мой,— отвечала, вздыхая,

старуха и тотчас же наклонила голову и явила во всей своей наружности признаки величайшей немощи и скорби.

— Что те давно не видать в нашей стороне,— заметил мужик с явной иронией,— мы уж думали, ты и вовсе не по-жалуешь...

— Асинька?..

— Аль оглохла, старая?

— Не слышу, кормилец...

— Что те давно не видать?— крикнул Антон.

— Пришла по хлебушко, родимый ты мой,— простонала она жалобно,— не дадут ли на старость люди добрые...

— Да, что говорить,— продолжал мужик, пристально на нее глядя,— что говорить, хлебца-то небось и всякому хочется... иной вот и не так чтобы больно нуждается, а глядишь, туда же канючит, словно и взаправду с голоду...

— С голоду, касатик, о-ох! с голоду,— отвечала она, принимая последнее слово как исключительно до нее относящееся.— На старости лет куды те горько, и помереть так негде...

— И-их, бабка, кажись, уж ты много больно берешь бедности на свою душу,— вымолвил с досадою хозяин,— ишь вон сказывают, будто ты даром, что ходишь в оборва-шах да христарадничаешь, а богаче любого из нашего брата... нагдысь орешкинские ребята говорили, у тебя, вишь, и залежные денежки водятся... правда, что ли?..

Он недоверчиво посмотрел ей в лицо.

— Ась?.. не слышу, родимый,— произнесла недвижно старуха.

— Да полно, так ли? погоди, дай-ка разуться, авось тогда услышишь.

Сказав это, Антон подошел к печке и стал раздеваться. Слова его, казалось, однако, произвели на глухую старушонку не совсем обыкновенное действие; лицо ее как бы внезапно оживилось, глаза, которые держала она постоянно опущенными, быстро поднялись и окинули избу. Хозяин подошел к ней и сел на лавочку; лицо Архаровны выражало по-прежнему скорбь и уныние.

— Что ты баял, кормилец?

Антон повторил побирушке слухи, носившиеся о ней на деревне.

— И-и-и!— проговорила она, качая седою головою,— невесть чего не скажут злые люди, на злую речь слово купится...

— А что им, прибыль, что ли, какая?.. ишь ты сколько лет слоняешься по белу свету да окна грызешь! куды девать деньги — вестимо, хоронишь про черный день...

— В чужой руке ломоть велик, касатик, ину пору и хлебушка нетути, не токма что денег, по миру пойдешь, тестом возьмешь... ох-хо-хо!..

— Ладно, толкуй,— отвечал, смягчаясь, Антон,— ну, да что тут, я только так к слову молвил; если и водятся деньжонки, так известно, кому до того дело... Варвара! чего нахохлилась? собери обед, смерть есть хоцца, да, чай, и ребята проголодались.

Это обращалось к хозяйке дома, невзрачной бабенке, молчаливо сидевшей в углу на скамейке поодаль от старухи. Она не принимала до сих пор никакого участия в разговоре и только изредка поглядывала на мужа. Услыша слова его, она повернула к нему изнуренное, бледное лицо свое, вздохнула и сказала:

— Чего я тебе дам, Антонушка... ох, ничего-то у нас нету...

— Кажись, намедни лучку осталось?

— Нет, не осталось — нагдысь ребята весь поели...— И она снова вздохнула.

— Ну, давай хлеба, кваску... да полно тебе день-деньской хохлиться-то... инда тоска берет, на тебя глядя...

Варвара поднялась, сняла с полки чашку, нацедила в кувшинчик кваску, потом вынула из столового ящика остаток ржаного каравая, искалеченную солоницу, нож и молча уставила все это перед мужем. После чего она тотчас же уселась на прежнее свое место, скрестила руки и стала смотреть на него с каким-то притупленным вниманием.

— Эй, ребятишки!— крикнул Антон,— вы и взаправду завалились на печку,— ступайте сюда... а у меня тюря-то славная какая... э! постойте-ка, вот я ее всю съем... слезайте скорее с печки... Ну, а ты, бабка, что ж,— продолжал он голосом, в котором не заметно уже было и тени досады,— аль с хозяйкой надломила хлебушка?— чего отнекиваешься, режь да ешь, коли подкладывают, бери ложку — садись,— человек из еды живет, что съешь, то и проживешь.

— Спасибо, отец родной, и то хозяйюшка твоя накормила, дай ей господь бог много лет здравствовать...

В это время Аксюшка подбежала к дяде, всползла к

нему на колени и обняла смуглую его шею тоненькими своими ручонками.

— Эка девчонка-то у меня баловливая какая, бабушка,— вымолвил мужик, целуя ребенка.— Эка озорливая девчонка-то,— продолжал он, гладя ее по головке.— Сядь-ка ты сюда, плут-девка, сядь-ка поближе к своему дядьке-то да поешь... ну, а Ванюшка где?..

— А он, дядя Антон, на улицу ушел к ребятам.

— Ишь, пострел какой, прости господи, только и норovit, как бы ему из дому прочь; погоди, Аксюшка, дай ему вернуться, вот мы ему с тобой шею-то наkostenяем... Слышь, бабка, озорник-ат мой от дому все отбивается.

— А господь с ним, не замай его,— молвила Архаровна,— пущай его балует, пока невеличек...

— Какой невеличек!.. поглядела бы ты на него: парнишка куды на смысле, такой-то шустрый, резвый, все разумеет, даром от земли не видать; да я ведь посмеялся, я не потачлив, что греха таить, а бить не быю... оба они дороги мне больно, бабка, даром не родные, во как,— продолжал он, лаская Аксюшку,— во! не будь их, так, кажись, и мне и хозяйке моей скорее бы жизнь опостыла; с ними все как бы маленечко повеселее, право-ну!

— Вестимо, они теперь махочки, смыслу нет, а как подрастут, так тебе же спасибо скажут, родимый, за добро твое...

— Э! бабка, было бы им ладно, а там что останется от моей бедности, то и им достанется...

— Что ж, родимый,— спросила вдруг старуха,— брат небось весточку посылает?..

— Нет, с той самой поры, как в солдаты взяли, ни слуху ни духу; и жена и муж.— словно оба сгнули; мы летось еще посылали к ним грамотку да денег полтинничек; последний отдали; ну, думали, авось что и проведем, никакого ответу: живы ли, здоровы ли — господь их ведает. Прошлый год солдаты у нас стояли, уж мы немало понавещивались; не знаем, говорят, такого,— что станешь делать... Ну, а ты, старуха, кажись, сказывала нам, также не ведаешь ничего про сына-то своего с того времени, как в некруты пошел...

— Нет, родимый, ничего не ведаю,— произнесла жалобно старуха и отвернулась...

Антон и жена его принялись утешать побирушку.

— Да,— начал мужик,— на старости лет, вестимо,

одной-то горько: неравно помрешь, и похоронить-то некому.

— Ох, некому, кормилец, родимый ты мой, некому...

— А вот нам, коли молвить правду, не больно тошно, что брата нету: кабы да при теперешнем житье, так с ним не наплакаться стать; что греха таить, пути в нем не было, мужик был плотный, не работающий, хмельным делом почал было напоследях-то заниматься; вестимо, какого уж тут ждать добра, что уж это за человек, коли да у родного брата захребетником жил,— вот разве бабу его — так жаль: славная была баба, смирная, работающая... ну, да, видно, во всем бог... на то его есть воля... ох-хо-хо...

Антон прислонил ложку к закраине чашки, уперся спиною в стену и перестал есть; долго сидел он таким образом, пригорюнясь и не произнося ни слова. Только изредка ласкал он Аксюшку, которая, положив русую головку свою на грудь дяди, забавлялась медным крестиком, висевшим у него за пазухой. Мало-помалу добродушное, кроткое лицо мужика нахмурилось; вытянувшиеся черты его уже ясно показывали, что временная веселость и спокойствие исчезли в душе бедняка; в них четко проглядывало какое-то заботливое, тревожное чувство, которого, по-видимому, старался он не обнаруживать перед женою, потому что то и дело поглядывал на нее искоса. Наконец Антон облокотился на стол, взглянул еще раз на жену и сказал старухе голосом, который ясно показывал, что он приготовлялся вымолвить ей совсем другое.

— Вот, бабушка,— так начал мужик,— было времечко, живал ведь и я не хуже других: в амбаре-то, бывало, всего насторожено вволюшку; хлеб-то, бабушка, родился самшост да сам-сём, три коровы стояли в клети, две лошади,— продавал, почитай что кажинную зиму, мало что на шестьдесят рублей одной ржицы да гороху рублей на десять, а теперь до того дошел, что радешенек-радешенек, коли сухого хлебушка поснедаешь... тем только и пробавляешься, когда вот покойник какой на селе, так позовут псалтырь почитать над ним... всё гривенку-другую дадут люди...

Он оглянулся на Варвару; та сидела, закрыв лицо руками и несколько отвернувшись от него; заметив, что слезы струились между ее пальцами, Антон замялся.

— Да,— подхватил он громче прежнего,— а, бабушка, так во како дело-то — во оно дело-то какое... а ты все на свою долю плачешься, того, мол, нет, да того не хватает... а вот мы и тут с хозяйкой не унываем (он посмотрел на

Варвару), не гневим господа бога... грешно! знать уж на то такая его воля; супротив ее не станешь...

— О-о-ох, вестимо, кормилец ты мой, бог дал, бог и взял...

— Да, не знаешь, где найдешь, где потеряешь,— сказал мужик, стараясь принять веселый вид,— день дню рознь: пивал пьяно да ел сладко, а теперь возьмешь вот так-то хлебушка, подольешь кваску — ничаво, думаешь, посоля схлебается! по ком беда не ходила!.. Эх! Варвара, полно тебе, право; ну что ты себя понапрасну убиваешь; говорю, полно, горю не пособишь, право-ну не пособишь...

— Вестимо, касатка,— отозвалась старуха,— веку только убавишь себе... ох, что ваша бедность! у вас хошь вот поплакать-то есть где... а вот у меня, горькой сироты, так и поплакать-то негде...

— Ну, в том не больно велика утеха; что вой, что не вой, все одно — живи, коли можется, помирай, коли хочется... Э! старушка, горько жить на белом свете нашему брату!..

— О-ох-ох, горько, родимый, так-то горько, что и сказать мудрено...

Варвара быстро приподнялась и вышла из избы.

— Вот,— сказал Антон, посмотрев на дверь,— она-то, бабушка, крушит меня добре слезами-те своими; вишь, баба плошная, квелая... долго ли до греха!.. теперь, без нее скажу тебе по душе... по душе скажу... куды!.. пропали мы с нею и с ребятенками, совсем пропали!.. вот ведь и хлебушко, что ешь, и тот — сказать горько — у Стегнея соседа вымолил! спасибо еще, что помог... ох... а такое ли было житье-то мое...

— Сказывают,— заметила Архаровна, по-видимому не принимавшая до сих пор никакого почти участия в том, что говорил Антон,— сказывают, Стегней-то богат добре!..

— Богат-то он богат... да ведь иной и богатый хуже нашего брата голыша...

— Мне, кормилец, Савельевна говорила, что у него три лошади... да и медку, вишь, сказывают, продавал по осень... и денег-то, чай, много...

— Ну, господь с ним,— отвечал откровенно Антон,— я тебе про свое горе говорю... эх, доля моя, доля!.. вот, почитай, пятый год так бьюсь, и что ни день, то плоше да плоше...

— Все небось управляющий, касатик, не жалует?

— Не жалует?.. ох! это бы еще ништо; кого он жалует? а живут же люди... нет, он злодей мне напался, весь мой век заедает! с бела света долой гонит! — а что наше дело, вестимо какое, терпишь да терпишь; мы ведь на то и родились, бабушка!.. да!.. Вот хоть теперь — пришло время подушные платить, где я их возьму? отколе? он же разорил меня да пустил по миру, а страшает теперь: в солдаты, говорит, да на поселенье сошлю, не погляжу, говорит, что у те жена есть, вот он что толкует... Ох, бабка, бабка, кабы был один я, ну бы еще ништо, одна голова не бедна, а то с ними-то что станется?.. Да... прогневил, знать, я чем господа бога!..

Вошла Варвара,— муж замолчал. Почти в то же время в воротах послышался стук. Антон подошел к светлому оконцу, выходявшему во двор, и крикнул:

— Кто там?

Отклика не было.

— Кто там?— повторил мужик, подняв окно.

— Это я, дядя Антон,— отозвался тоненький серебристый голосок в сенях, и в избу вбежала девочка лет двенадцати.

На бледном, чрезвычайно продолговатом личике этого ребенка и вообще во всей его наружности было что-то такое, что невольно обращало на себя внимание; этот тоненький нос с легким, едва приметным погибом на середине, узенькие губы, приятно загнутые по углам, чистый, правильный очерк головы, нежные черты прозрачного личика и тоненькие тщедушные члены отличали его сразу от известного уже типа коренастых, грубо обточенных детей крестьянских. Особенно поражали в ней эти черные выразительные глаза, которым необыкновенная бледность и худоба щек придавали еще более блеску и величины. Черные волосы смоляного отлива, небрежно обстриженные когда-то в кружок, рассыпались неровными прядями вокруг ее нежной, утиной шейки. Одежда ее отличалась также от крестьянской. Она состояла из неуклюжего платья синей домо-тканой полосухи, прорванного на локтях, с заплатками из белой холстины,— платья, которое снизу едва прикрывало босые ноги девочки до колен; вверху от шеи до перехвата оно ниспадало угловатыми, широкими складками, обтягивало и обтирало ей грудь и плечи. Девочка остановилась посередь избы, раскрыв губы и прижимая грудь

ручонками: она едва переводила дух от усталости. Между тем хозяин и хозяйка подошли к ней.

— Что ты, Фатимушка?— спросил первый с заметным смущением,— а? не хочешь ли тюрьки, на поди...

— Нет, дядя Антон, нет, Никита Федорыч прислал,— отвечал скороговоркою ребенок, приправляя каждое слово быстрыми, живыми движениями рук,— приказал кликнуть тебя — ступай скорей — сам наказывал...

И она откинула назад голову, чтобы поправить волосы, которые заслонили ей лицо.

Варвара присела на скамейку и зарыдала на всю избу. У Антона захолонуло в сердце.

— Ну!— вскричал он, отчаянно ударяя себя кулаками об полы,— пришла беда, отворяй ворота! верно, опять за подушными! Полно тебе, Варвара, душу мне только мутить слезами-те... Эко дело... эко дело... как тут быть!..

Смущение бедного мужика было так велико, что он несколько времени ходил как угорелый по избе, заглядывал без всякой нужды во все углы, поправляя то крышку кадки, то солоницу, то кочергу и наконец вышел из дому, позабыв даже накинуть на плечи полушубок. Вой Варвары сопровождал его до самой улицы. Вступив на барский двор, где находился старый флигель, помещавший контору и квартиру управляющего, Антон увидел Никиту Федорыча, который уже ожидал его на пороге. Приближаясь к крыльцу, мужик почувствовал, что колени его тряслись и дыхание спиралось у него в горле: озноб прошибал его до костей. Опустив голову, подошел он медленным, робким шагом к управляющему. Это был человек средних лет, то есть от сорока до пятидесяти, средней полноты и среднего роста; шарообразная голова его, покрытая белокурыми волосами с проседью, обстриженными ниже, чем под гребенку, прикреплялась почти непосредственно к плечам, что делало Никиту Федорыча издалека весьма похожим на бульдога. К этому сходству немало также способствовали густые черные брови, серые глаза навывкате, широкие калмыцкие скулы, пышный трехъярусный подбородок и коротенькие ноги наподобие обруча, или, как говорится, «кибитки». Несмотря на все эти мелочные недостатки, которые, между прочим, не представляли в общем ничего особенно отвратительного, фигура управляющего нимало не теряла важности и той спокойной гордости, сияющей всегда в чертах человека, сознающего в себе чувство собственного достоин-

ства. Фигура его имела, напротив того, какую-то приятную соразмерность, стройность даже, и была чрезвычайно характерна. Но если всмотреться хорошенько, нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах, в этой толстой круглой голове, важно закинутой назад, в этих толстых раздувшихся губах что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкого, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцев богатой избалованной дворни или аристократической передней. В настоящую минуту на нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками и застегнутый доверху, пестрая шерстяная ермолка и синие, непомерно широкие шаровары. Из верхней петли архалука висела толстая золотая цепочка с ключиком для часов. Он стоял в дверях, растопылив ноги, запустив одну руку в карман шаровар, другою поддерживал длинный чубук, из которого, казалось, высасывал вместе с дымом все более и более чувство собственного достоинства.

— Что ж ты, шутить, что ли, думаешь!— сказал он Антону.— Все внесли подушные, ты один ухом не ведешь, каналья! а? говорил я тебе, а? сказывай, говорил или не говорил — худо будет?.

И управляющий закинул еще выше голову.

— Сказывали, Никита Федорыч...

— Ну!

— Докладывал вашей милости,— отвечал мужик, потупляя голову,— как будет угодно... у меня подушных нет... взять неоткуда... извольте делать со мною, что угодно: на то есть власть ваша... напишите барину, пускай наказать прикажет, а мне взять, как перед богом, неоткудова...

— Ах ты плут, бестия этакая... из-за тебя стану я беспокоить барина... вас только секи, да подушных не бери... ну, да что тут толковать... не миру платить за тебя... знаю я вас, мошенников... Лошадь жива?..

Антон обомлел; дрожь пробежала по всем его членам; он быстро взглянул на Никиту Федорыча и произнес дрожащим голосом:

— Никита Федорыч! никак уж ты и совсем погубить меня хочешь?..

— Что?

— Никита Федорыч! батюшка!— продолжал мужик,— пожалей хоть ребяенок-то махоньких... и то почитай пустил ты нас по миру...

— А вот потолкуй-ка еще у меня, потолкуй,— перебил управляющий, делая движение вперед,— я тебя погублю! завтра же води лошадь в город на ярманку, теперь пора зимняя, лошади не надо,— произнес он лукаво,— да смотри, не будет у меня через два дня подушных в конторе, так я не погляжу, что ты женат,— лоб забрею; я и так миловал тебя, мерзавца!..

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч,— сказал Антон, едва удерживаясь от слез,— батюшка!..

И он повалился в ноги.

— Э! меня этим не разжалобишь, пошел! чтоб было, как приказываю, вот и все! Ступай!— прибавил он, топнув ногой.

— Что ж у меня-то останется,— говорил отчаянно мужик,— как последнюю-то лошаденку продам?.. и так по миру, почитай...

— Ну, ну, ну... разговаривай, разговаривай... кабы не ярманка, так я бы не так еще с тобой разделался...

В это время дверь из квартиры управляющего растворилась; из нее выглянуло вполровину желтое женское лицо, перевязанное белою косынкой.

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч!— крикнула женщина пискливо,— ступай чай пить; что тебя не дождешься, ступай скорее...

Управляющий повернулся в ту сторону и, не дожидаясь дальнейших возражений мужика, поспешил к самовару.

Домогаться милости Никиты Федорыча было делом совершенно лишним; по крайней мере в этом нимало не сомневались троскинские крестьяне; Антон знал это еще лучше других. Медленно покинул он двор и вышел на улицу. Сумерки, или «сутисочки», как называют их в деревне, начинали уже ложиться на землю; бледные дымчатые полосы тумана там и сям окутывали поля и распускались по окрестности; в воздухе заметно похолодело. Антон, сам не зная почему, не пошел по улице, а, обогнув ближние за флигелем избы и крестьянские огороды, поплелся задами.

.....
.....

Приближаясь к крайним амбарам села, то есть тем, которые стояли уже подле околицы, Антон увидел, совершенно неожиданно, в нескольких шагах от себя клетчатый платок, висевший на кусте репейника. Это обстоятельство



и, вдобавок, измятые и сломанные стволы растений, показывавшие, что на том самом месте кто-то своротил с дороги в рощу, чрезвычайно удивило его. Он невольно забыл на минуту свое горе; поосмотревшись кругом, пошел он к кустам, снял платок и начал пристально рассматривать. Не доискавшись, разумеется, ничего, Антон бережно свернул его, сунул за пазуху и пошел далее. Но не успел он сделать и двух шагов, как увидел бегущих навстречу соседей, Степана Бигучу и старшего сына его Пантелея. Оба казались сильно встревоженными; они бежали сломя голову по дороге, без шапки, без полушубка и сильно размахивая в воздухе руками. Поравнявшись с Антоном, они остановились.

— Сват!— сказал ему торопливо Степан,— не встрели кого на дороге?... а?..

— Нет... сват... никого...— отвечал Антон.

— Эко дело... и никого не видал?

— Никого...

— Эко дело! что за черт!— вскричал Степан,— бабы, вишь, лен мяли... слышат, как словно кто шевелится в клетке... они глядь... ан человек сидит... да как пырснет вон... э! ты дьявол! что за притча... они кричат... хватать... ан трех кур как не бывало! они к нам... мы с Петрухой бегом... нагонять! бегали, бегали, никого... что за леший... Ты, сват, никого не встрел?..

— Никого,— отвечал удивленный Антон,— хоть бы живого человека встрел... а вот кусты... больно вымяты...

Мужички покинули соседа и снова пустились в погоню по дороге...

Такое обстоятельство не могло не привлечь внимания Антона; в Троскине, и особенно с некоторых пор, только и слуху было, что о разных проказах: то уводили лошадей, то подползали в клетки и каморы, выбирали деньжонки, холсты и всякое домашнее снадобье. Поговаривали даже, будто в соседнем селе Орешкове мужик Дормидон, идучи по лесу, наткнулся на двух бродяг, которые наказывали ему передать их старосте, чтоб берег лошадей, не то уведут, и что, несмотря на все принятые предосторожности, лошадей все-таки увели в первую ночную сторожку. Все это разом прихлынуло в голову Антона; он невольно забыл на мгновение свое горе. Сумерки уже совсем омрачили небо, когда он вступил к себе в избу. Тут все уже давным-давно успокоилось. Варвара, свесив голову на стул

и обняв обеими руками остаток каравая, спала крепко-накрепко; свет от догоравшей лучины отражался лишь в углу на иконе; остальная часть избы исчезла в темноте; где-где блистала кочерга или другая домашняя утварь; с печки слышалось едва внятное легкое храпенье обоих ребятишек. Антон поправил лучину, оглянул кругом стены и сел подле жены на лавочку. Движение это мгновенно пробудило Варвару.

— Ну что, Антонушка? — сказала она, отводя от лица волосы и придвигаясь проворно к мужу, — зачем звал тебя злодей-то наш?.. да что ж ты не баешь? — прибавила она, нетерпеливо дергая его за полу.

— Что тут баять, — отрывисто отвечал муж; он тяжело вздохнул и, как бы собравшись с духом, промолвил: — велел пегашку вести... на ярманку!.. не надоть ее, говорит... теперь дело зимнее: проживешь без лошади... Ну, вот, сказал тебе сдуру, а ты... эх, Варюха, Варюха! полно тебе рюмиться-то, ведь говорю, слезами-те пуще мутишь мне душу! Эка ты, право, неразумная баба какая... нешто горю этим пособишь?.. знать, погрешил я, право, чем перед господом богом!..

— Касатик ты мой! — говорила, рыдая, баба, — нешто я о своем горе убиваюсь... ох, рожоной ты мой... мне на тебя смотреть-то горько... ишь заел он тебя... злодей, совсем... как погляжу я на тебя... индо сердечушко изнывает... и не тот ты стал... ох... — И тут она, опустившись на лавку, затянула нараспев: — Ох, горькая наша долюшка... и пошла-то я за тебя горькой сиротинушкой, на беду-то на кручину лютую...

— Послушай, Варюха, а Варюха... слушай, что я тебе скажу, — твердил мужик, силясь приподнять ее, — не убивайся так-то, наше дело еще не пропащее, вот ономясь встретился мне Федотов из Выселок, сказывал... сулил, что, коли, мол, хошь, Антон, я тебя возьму в работники... пять десятков в год, вишь, дает... не убивайся, пойду в работники, отпрошусь на оброк...

— Ох, не верти меня, родимый; я все проведала: у Федотова давнешенько батрак нанялся... ох, горькая, горькая наша-то долюшка...

И баба снова повалилась на лавку, залилась пуще прежнего слезами.

— Эх я, дурень! — вскричал мужик. — Эй, Варюха, я, бишь, и забыл, вот поглядь-кось, поглядь — ишь какую

штуку поднял я на дороге.. поглядь...— Сказав это, он выложил на стол платок, стараясь утешить бабу.— Иду по задам, гляжу, никого нет, а он вот висит на кусте, как словно зацепился...

— Родной ты мой, ведь это, знать, старуха обронила...

— Какая старуха?

— Да вот нищенка-то, что к нам заходила...

— Ой ли?.. Полно, так ли, Варвара?.. Не обмолвилась ли ты спросонья?

— Что ты, касатик! Я сама видела, как она, сердешная, платок-то повязывала.

— Тут, Варюха, мотри, что-то непутное,— вымолвил Антон раздумчиво,— старуха-то... Э! То-то люди сказывают, будто и вчастую заставляли ее за такими делами. И как это она скоро улизнала... Нет, не пущай ты ее к нам, долго ли до греха!.. Гость и немного гостит, да много видит; ишь, я было сдуру-то разговорился с нею, а кто ее знает, может, и взаправду зло какое замышляет... в чужой разум не влезешь... Я давно заприметил, она только и норовит, как бы выведать, что у нас в деревне делается... У кого, вишь, сколько скота, лошадок, как живет... Вот и нынче про Стегнея Борисова тоже выводывала, до всего ей дело! Э, нет, не пущай ее к нам в избу, ни за что не пущай, господи упаси!..

— Ее платок, точно ее,— заметила Варвара, утирая слезы,— вот и прореха на самой серединке.

— То-то,— отвечал мужик, заботливо качая головою,— ишь на старости лет какой грех принимает на свою душу, и бесстыжая ведь какая! Так вот и лезет, а поглядишь, словно и взаправду нищенка... Недаром говорят: у ней деньга-то водится, да... о-ох!..

Антон помолился перед иконою, разулся и, вздохнув несколько раз сряду, полез к ребятишкам на печку. Варвара затушила лучину и последовала за мужем. Вскоре все затихло в избе. Неизвестно, однако, скоро ли заснул бедный ее хозяин; быть может, он даже вовсе не смыкал глаз...

Верно только то, что не спал сверчок; унылая песня его потянулась мерно и тихо, потом стала чаще, звончее, наконец мало-помалу заглушила храпенье ребятишек и наполнила собою избушку.

III

ДОРОГА

В избушке царствовал еще глубокий, непроницаемый мрак, когда Антон приподнял потихоньку голову и начал прислушиваться... Убедившись, что жена и ребята крепко-накрепко спали, он осторожно, чуть дыша, спустился с печи и стал приготовляться в дорогу. Отыскать ощупью полусубок и шапку, намотать наскоро в потемках онучи, отрезать краюху хлеба, завернуть ее в тряпицу и засунуть за пазуху — мужику дело привычное. Он перекрестился наобум перед углом, где стояла икона, и выбрался на крыльцо. Заря еще не занималась; на дворе только что проглядывали первые повиднушки. Антон припер как можно плотнее дверь из крылечка в избу.

— Ну, теперь спите вволю, — вымолвил он, — господь с вами, спите... Слезами-то только душу мутите, а мне и без них куда тошно...

Он вошел в клеть, где стояла пегашка. Почувяв хозяина, она тотчас же повернула к нему кудластую свою голову, насторожила уши и замотала хвостом.

— Ну, пегашка, полно, полно те хвостом-то вилять, — произнес мужичок не совсем твердым голосом, — небось из дому-то не хочешь? Ступай-ка, ступай, не кобенься; супротив воли и люди не идут, не токмо что ты... Ступай; знать, и тебе пришла пора делить хозяйское горе...

Антон взнуздал ее и вывел на двор. Бедная кляча словно предугадывала свою участь: всегда смирная и покорная, она в этот раз фыркала, упорно мотала головою и беспрестанно озиралась на стороны, как бы прощаясь навсегда с двором и клетью, посреди которых выросла и вскормилась. Антон также глядел на дряблую избушку свою; бог весть о чем он думал: чужая голова — темный лес. Наконец махнул он рукой, взял лошадь под уздцы и вышел на улицу. Он сел на лошадь. Но пегашка никак не хотела идти к околице, куда направлял ее Антон; несмотря на все усилия его, она пустилась сначала вскачь к колодцу, потом дала круг по всей улице и все-таки остановилась у избушки. Видя, что сила не берет, хозяин принужден был слезть наземь, снова взять ее под уздцы и вывести за околицу. Ворота заскрипели и затворились. Темнота уже заметно рассеялась; но не ясный, ведренный день обещало утро;

там, с востока, не багрянилось небо, не ложились алые, золотистые полосы света, предвестницы теплого солнышка; небо было серо, пасмурно; сизые тучи облегали его отовсюду, суля ненастье и сиверку.

Дорога от околицы шла в гору; по мере того как Антон подымался, местность, окружавшая деревню, постепенно ограждалась возвышенностями и принимала вид лощины. Там, словно из земли, выступали поминутно — то крестьянский овин с пригнувшеюся к нему рябиною, то новый дощатый забор, то часть барского сада, о существовании которых нельзя было и подозревать с улицы. Мало-помалу показалась речка с угловатыми своими загибами, потом ветлы и кровля мельницы, еще выше — потянулись поля с знакомым осинником, потом снова все это попряталось одно за другим; вот уже исчезли мельница, господский дом, село, а вот и избушка Антона начала уходить за горою... Хозяин ее еще раз обернулся в ту сторону, прищурился, протер глаза и вдруг хлестнул пегашку и пустился рысцою по дороге. Миновав троскинские земли, Антон притянул поводья и поехал шагом. Гора уже давным-давно закрыла собою дорогу села; во все стороны на необозримый кругозор открывались черные поля, смоченные дождями; редко-редко мелькала вдалеке полоса соснового леса или деревушка; дорога то и дело перемежалась проселками.

Антон давно уже не ездил в город. Никита Федорыч не любил отпускать часто мужиков из деревни; особенно строго держался он этого правила с теми из них, с которыми находился в неприязненных отношениях. По его мнению, не отпустить мужика в город считалось хорошою и вместе с тем очень действительной мерой наказания. Так, например, накоплялось ли гороху у мужичка — где бы свезти его на базар, благо цена красна, ан нет: как ни бьется сердечный, Никита Федорыч ни за что не отпустит; подумает крестьянин: плетью обуха не перешибешь, да и продаст горох соседу за сущий бесценок — не лежать же стать житу да гнить в закроме. Другому господь бог залишнюю телушку послал; вот и бредет он к управляющему: «Деньги, мол, понадобились, батюшка, соблаговолите отпустить в город кой-что продать; надо, вишь, обзавестись тем да другим по хозяйству». — «Ах ты такой-сякой, — молвит ему управляющий, — небось как соты-то ломал прошлую осень, так не принес мне медку? Сиди-ка дома; все бы вам только шлаться...» «Что, — думает проситель, — господ наших не-

тути, а он у нас сила, не стать перечить», зарежет телку, да и поснедает ее с божьей помощью. Так же точно было с Антоном, если еще не хуже.

Но теперь дело в том, что на шестнадцатой или семнадцатой версте наш мужик решительно стал втупик; очнувшись внезапно от раздумья, которое овладело им с того самого времени, как покинул он Троскино, Антон никак не мог припомнить ни места, где находился; ни даже сколько верст оставалось приблизительно до города. Он только и помнил, что проехал Киясавку и Выселки да свернул влево от Екиматовской слободы. На пегашку же положиться не было никакой возможности; Антон знал, что, будучи лошадыю незаметною, то есть лишенною способности припоминать дорогу, она могла очень легко завезти его бог весть куда. Он задумывал было свернуть в сторону, к видневшейся влево за перелеском деревушке, когда один совершенно неожиданный случай навел его снова на путь истинный. Оглядывая местность, он увидел на распутье полуразвалившийся деревянный крест, водруженный в небольшой бугорок.

— Эхва, у меня из памяти-то вышла могилка дяди Андрея!— воскликнул он, снимая шляпу и крестясь набожно.— Дорога-то вот тут же и сворачивает в город... на Закуряево... Эх, совсем запамятовал, чуть было с пути не сбился!

Дорогою Антон невольно принялся припоминать происшествие, связывавшееся с дядею Андреем.

Года три тому назад на этом самом распутье стояла мазанка, принадлежавшая монастырскому сборщику, одинокому старичку. Редкий из окрестных жителей не знал его; бывало, кто бы ни плелся, кто бы ни ехал в город, мужик ли, баба ли, седой старикишка тут как тут, стоит на пороге да потряхивает своей книжонкой, к которой привязан колокольчик. И редкий говорил ему: «бог подаст!», редкий не отдавал ему копеечку на построение господнего храма. Все по привычке к нему с самого детства. И вдруг не стало дяди Андрея, как словно никогда его здесь и не бывало. Толковали, толковали мужички окрестные и наконец вот что узнали. Однажды в самую глухую зимнюю полночь входят к Андрею два незнакомых человека, скручивают его по рукам и по ногам и требуют денег. Долго допытывались они,— стоит на одном старик: три гроша всего, вишь, у него, остальные вечер в монастырь отослал, а боль-

ше, видит бог, нетути! Они пуще пытать. Уж он им молился, молился, нет! уходили-таки старика обухом и сами принялись искать. Как перешарили все до ниточки, тут только и спохватились, что даром потеряли человека: в тряпице за печью всего-навсего было три гроша. Наехали со всех сторон земские да понятые, закопали дядю Андрея на самом распутье, мазанку снесли на другую дорогу, ибо никто не соглашался поселиться в ней, а на ее месте воздвигли крестик, тот самый, что так часто напоминал мужичкам дорогу в город.

Антон не успел еще перебрать в голове все подробности этого происшествия, наделавшего в свое время много шуму в околотке, как увидел вдалеке телегу, которая медленно приближалась к нему навстречу. Сначала показалось ему, будто в ней никого не было, но потом, когда она поравнялась, он разглядел на дне ее мужика, лежавшего в растяжку. Антон несказанно обрадовался.

— Эй! послушай, брат,— крикнул он,— а, примерно, далеко ли отсель до столбовой дороги?

Тот, к кому обращался вопрос, лениво и как бы нехотя приподнял голову, подперся локтем, поглядел пристально на Антона, зевнул протяжно и, не отвечая ни слова, улегся в телегу.

— Эй, сват, эй!— крикнул Антон,— что ж ты?— эй, далече ли до столбовой?..

Мужик снова приподнял голову, поглядел на Антона, опять зевнул и, опять не ответив ни слова, опустил на дно своей телеги; только на этот раз он хлестнул лошадь, которая мигом унесла его из виду.

Антон опять остался один-одинешенек посреди полей: пегашка плетется дробным шажком, а он то и дело посматривает вправо да влево, то прищурится, то раскроет глаза, принимая каждый пенек, каждую кочку за живого человека. И вот снова чудится ему, что кто-то едет навстречу. Глядит, и впрямь несется тележка; вороная лошадь в наборной шлее с медными бляхами, на облучке подскакивает не то мещанин, не то помещик, а только не мужик: на нем картуз и синий кафтан. На этот раз, однако, встреча, казалось, не порадовала нашего мужичка; он круто осадил пегашку, смутился, сделал даже движение, ясно выражавшее намерение кинуться в сторону, но тотчас же остановился; было поздно; Антон узнал в синем кафтане троскинского мельника, которого так усердно избегал несколько

месяцев сряду. Мельник остановился; Антон слез с лошади.

— Здравствуй, Аксентий Семеныч!— произнес он, переминая в руках шапку.

— Здорово, брат, куда?

— В город, Аксентий Семеныч, лошадь продавать... подушных платить нечем; такая-то беда стала со мною...

— Ну, а мне-то когда заплатишь? я, кажись, и то немало ждал...

Антон замялся.

— То-то, брат,— продолжал мельник, переменив тон,— ведь так промеж добрых людей делать не приходится; летом еще осталось получить с тебя за помол, а ты с той поры и глаз не кажешь: сулил отдать ко второму спасу, а я хоть бы грош от тебя видел... так делать не показано вашему брату... на то есть правота: как раз пойду в контору... я давно заприметил, ты от меня отлыниваешь...

— А что мне от тебя отлынивать... нешто я коли отлынивал...

— Видно, так.

— Ину пору и рад бы отдал, да коли нечем; сам ведаешь, отколе скоро-то взять нашему брату хрестьянину... был нынче недород, с корки на корку почитай что весь год перемогались... Аксентий Семеныч... тут вот подушные еще платить надо...

— Про то не мое дело ведать... вам подушные платить, а мне небось по миру идтить... делай, как быть следно, знай честь, счетом взял, счетом и отдавай; что тут баить...

— Что ты опасаешься?..— сказал Антон, смягчая по возможности голос.— Разве я отнекиваюсь от долга, говорю, отдам, обожди маненько, твое дело не пропащее, право, скажу спасибо...

— На какой мне леший твое спасибо? из него шубы-то не сошьешь...

— Кажись, Аксентий Семеныч, мне не впервые с тобою ведаться.

— Точно не впервые, что говорить; зачем же молоть-то на чужой мельнице? ась?

— На Емельяновке-то?

— А хоть бы и на Емельяновке...

— Сходнее, Аксентий Семеныч...

— Как сходнее?.. за восемнадцать-то верст сходнее?..

— Оно, что баить, далече, да на Емельяновке-то за помол берут с нас хлебом, а ты, вишь, требуешь деньгами...

да еще пятак с воза набавил... сам порассуди, откуда их взять... наше дело знамо какое...

— Ладно, ладно... ну, а зачем же подзадоривал Федосея да Ивана Галку ездить на Емельяновку?..

— Да когда я их подзадоривал?.. что ты?..

— А кто же? Ты первый из троскинских поехал...

— Знать, сами проведали...

— Сами проведали! То-то, шишковато больно говоришь; ты говори, да не ври, не вечор я родился,— что, думаешь, не знаю!

— Чтоб мне век от добрых людей добра не видать, Аксентий Семеныч, коли я им хошь слово какое сказал...

— Ладно, брат, толкуй дьяковой кобыле; я думал по чести вести с тобой дело, а ты вот на что пустился! других еще стал подзадоривать... Ладно же,— вскричал мельник, мгновенно разгорячаясь,— коли так, отколе хошь возьми, а деньги мои подай! подай мои деньги!.. не то прямо пойду в контору... Никита Федорыч не свой брат... как раз шкуру-то вылушит! погоди, я ж те покажу!

Сказав это, мельник дернул вожжи и поехал далее. Смущение и досада, овладевшие Антоном при этой встрече, уступили место тяжкому горю. Обстоятельство это показывало ему в самых резких и сокрушительных чертах и без того уже горькую его долю. Он уже не глазел теперь по сторонам; понутив голову, смотрел он печально на бежавшую под его ногами дорогу, и не раз тяжкий вздох вырывался из груди бедного мужика. Таким-то образом, сам почти не замечая этого, выехал он на большую дорогу. Тут Антон невольно должен был оставить свои думы и заботиться исключительно о настоящем своем положении.

Дорога, размытая осенними ливнями, обратилась в сплошную топь; стада волов, которых прогоняют обыкновенно без разбора, где ни попало, замесили ее и делали решительно непроходимую; стоило только зазеваться раз, чтобы окончательно посадить и лошадь и воз или самому завязнуть. Сколько ни оглядывался Антон, не замечал ни верст, ни вала, ни ветелок, которые обозначили бы границу: просто-попросту тянулось необозримое поле посреди других полей и болот; вся разница состояла только в том, что тут по всем направлениям виднелись глубокие ямы, котловины, «черторои», свидетельствовавшие беспрестанно, что здесь засел воз или лошадь; это были единственные признаки столбовой дороги. Местами, впрочем, заметны

были следы чьего-то заботливого попечения: целые груды хвороста и мелкого леса воздвигались, как бы предохраняя путника от трясины или топи; но путники, в числе их, разумеется, и Антон, старались по возможности объезжать их; даже кляча последнего с необыкновенною тщательностью обходила эти поправки, догадываясь, вероятно, глупым своим инстинктом, что тут-то легче всего сломить ногу или шею.

Спустя немного времени Антон встретил длинную вереницу баб в белых платках и таких же балахонах, делавших их владелиц издали похожими на привидения. Они тянулись одна за одной гуськом по дороге. У каждой была клюка и берестовая котомка с прицепленною к ней парой лаптей за плечами. Все от первой до последней шли босиком.

— А что, бабушка, вы небось из города?— спросил Антон у старушки, сгорбленной и едва передвигавшей от стужи ноги.

— Из города, касатик.

— Что, много небось на ярманке нашего брата с лошадьми?..

— А не знаю, кормилец,— отвечала она, кланяясь,— кто их знает: мы не здешние...

— Да вы отколе?

— Сдалече, родимый: мы каширские... идем в Воронеж на богомолье...

— По своей охоте... идете?— спросил рассеянно мужик.

— По своей.

Антон вздохнул и почесал затылок.

— Э!— произнес он, махнув рукою.

— О чем спрашиваешь, касатик?— сказала другая богомолка, помоложе первой.

— Далече ли до города?— вымолвил он отрывисто.

— А сколько?— продолжала она, обращаясь к третьей.— Тетка Арина, сколько до города? верст десяток станет?..

— Что ты,— отвечала нерешительно Арина,— много-много, коли пяток...

Не дожидаясь спора, который, без сомнения, должен был возникнуть вследствие этого недоразумения между бабами, Антон поехал далее; отъехав версты две, он услышал песню и немного погодя различил двух человек, которые шли по окраине дороги и, как казалось, направлялись

к стороне города. Вскоре он нагнал их. Это были два молодые парня веселой и беспечной наружности. Один из них, тот, который казался постарее, был с черною как смоль бородою, такими же глазами и волосами; белокурая бородака другого только что начинала пробиваться.

Мещанский картуз с козырьком, обвитый внизу у залома лентой, из-под которой торчали корешки павлиньих перьев, украшал голову каждого из них, спустившись с макушки набекрень; белые, как мел, полушубки с иголки составляли их одежду, отличавшуюся вообще каким-то особенным щегольством. Смазные сапоги с алою сафьянною оторочкою болтались у них за плечами; коротенькая трубочка, оправленная медью, дымилась в губах того и другого. Не успел поравняться с ними Антон, как уже оба они остановились и черный крикнул ему, оскалив свои белые, как кипень, зубы:

— Здорово, брат крестьянин! эй! не берешь ли попутчиков? Посади нас на лошадь, мы бы с тебя дешево взяли...

— Нет, братцы, спасибо... и одного-то насилу везет...— нехотя отшутился Антон.

— А мы, ей-богу, дешево бы с тебя взяли. Севка! сколько даешь?

Севка вынул изо рта чубучок, отплюнул сажени на три и залился звонким хохотом.

— А что, братцы, много ли еще осталось до города?

— Да вот как,— отвечал без запинки черный,— пойдешь — близко, думаешь, а придешь — скажешь, дорога дальняя!..

— Полно вам чудить, ребята,— произнес мужик,— э!— он махнул рукой,— ишь лошадь совсем умаялась...

— Что с тобой станешь делать... изволь, скажу... мотри только... чур не обгоняй, спроси у Севки, он те скажет...

— Как раз пять верст,— сказал Севка.

— Что ты! эк махнул!— вскричал черный,— пять!.. и в десять не вопрешь! что больно близко?..

— Ан пять!

— Ан десять!

— Ан пять!

— Ан десять!

— Врешь! эк ты, Матюшка, спорить горазд; сейчас за горою будет село Бублино, а от него всего четыре версты до заставы...

— Эка шалава, пра шалава,— отвечал ему на это Ма-

тюшка потихоньку,— нешто не видишь, я хотел было мужика повертеть... пра шалава...

Севка снова залился смехом.

— Отколе тебя бог несет, христов человек?— начал Матюшка.

— Мы из троскинских... знаете село Троскино?..— отвечал со вздохом Антон.

— Ну, вестимо, как не знать.

— А вы, братцы, отколе?

— Отколе? а из сельца Дубиновки, слободы Хворостиновки, вотчины Колотиловки,— отвечал серьезно черный.

— Ишь черти, балясники!— вымолвил Антон.

— Аль не веришь?— продолжал Матюшка,— ей-богу, правда; а коли знать хочешь, так по деревням шлялись, зипуны да понявы шили... Эй, земляк, нет ли табачку: смерть нюхнуть хоцца.

— Нет, нету... ну, а, примерно, какая ваша служба?

— А вот какая: пришел в деревню, брякнул дубиной в окно: «эй вы, тетки, бабы, девки да хозяева с чечеревятами, нет ли шитва?», а нет шитва, так бражки подавай удалому Кондрашке!..

— Стало, вы портные?

— Портные, ребята удалые!.. Эй, Севка, что ж прикорнул, собачья голова, аль сноху нажил? ну, запевай: «Эй, вдоль по улице, да мимо кузницы»... ну!..

И оба затянули лихую, забубенную песню. Антон слушал, слушал и не мог надивиться удали молодцов.

— Что, много оброку платите?— спросил он задумчиво, когда песня была кончена и парни закурили свои трубки.

— Ровно ничего,— отвечали они в один голос.

— Как так?..

— Да так же: мы, брат, вольные, живем не тужим, никому не служим!..

Тут Матюшка приложил коренастую ладонь к правой щеке своей и запел тоненьким, пронзительным дискантом:

Ты зачем, зачем, мальчишка,
С своей родины бежал?
Никого ты не послушал,
Кроме сердца своего...

Вскоре все три путника достигли высокой избы, осененной елкой и скворешницей, стоявшей на окраине дороги при повороте на проселок, и остановились.

— Вот мы шутя, а алтын на сороковину отмахнули,— сказал Матюшка Антону.— Ну что ж, слезай, пора духу перехватить; вот, гляди, и казенная аптека перед нами...

— Нет, спасибо, братцы,— отвечал тот,— пра, спасибо,— прибавил он, озираясь на стороны и почесывая затылок.

— Э, полно миряком-то прикидываться, пойдем, сорвем косуху при спопутности...

— Неколи... вам дело досужное, а мне в город пора... Антон вздохнул.

— Ну вот еще, поспеешь.

— Денег нету.

— Эка беда, ступай, оставь что-нибудь в закладе, как назад поедешь, отдашь...

Видно было, что наш мужик сильно колебался; наконец он собрался с духом и сказал решительно:

— Ей-богу, не пойду!

— Что ж ты, глотку опозорить боишься, что ли? не пьешь?..

— Пить-то пью... эх, нет, не пойду!..

Антон повернул лошадь к городу.

— Ну, да черт те дери... эй, земляк, выпей хошь для миру... хошь для миру-то выпей...

— Господь с вами,— сказал Антон, пуская рысью пегашку.

— Экой черт!— кричали ему вслед молодцы,— прямая шалава!.. погоди, обронил хвост у лошади... эй!.. цапля!..

Но Антон ничего не слышал; он давно уже был за горою. Погода между тем как будто собиралась разгуляться; свинцовое небо прояснилось; это делалось особенно заметным вправо от дороги к селу Бабурину. Белый господский дом и церковь, расположенные на горе, вдруг ярко засияли посреди темных, покрытых еще густою тенью деревьев и избушек; в свою очередь, сверкнуло за ними дальнее озеро; с каждою минутой выскакивали из мрака новые предметы: то ветряная мельница с быстро вращающимися крыльями, то клочок озими, который как бы мгновенно загорался; правда, слева все еще клубились сизые хребты туч, и местами косая полоса ливня сливала сумрачное небо с отдаленным горизонтом; но вот и там мало-помалу начало светлеть... Сквозь туманную мглу просияла пестрая радуга, ярче — и вот она обогнула собою половину неба; луч солнца, неожиданно пробившись сквозь облако, заиграл в бо-

роздах, налитых водою, и вскоре вся окрестность осветилась белым светом осеннего солнышка. В то же время и самая дорога как бы немножко повеселела. Чем ближе придвигалась она к городу, тем более было заметно на ней оживления. Нередко начинали уже попадаться тучные, укутанные веретями возы с мукою, рожью, огурцами, горшками и разными другими хозяйственными принадлежностями. Кое-где встречались бабы, тащившие за веревку хилую, костлявую коровенку с высохшим выменем, которую, вероятно в награду за ревностную службу многих лет, влачили продавать кошатникам на шкуру. Из проселков то и дело сворачивали телеги, наполненные мужиками и бабами, горланившими песни. Нарядные поярковые шляпы, кафтаны и сапоги у мужчин, алые повойники и коты пестрые у женщин давали знать о происходившей в городе ярмарке. Проехав еще версты две, Антон увидел длинную, бесконечную фуру с высоким верхом, покрытым войлоком; на передке сидел, нахохлившись, седой сутуловатый старик и правил изнуренною, едва переводившею дух тройкою; подле него на палке, воткнутой в облучок, развевался по воздуху пышный пучок ковыля. Из кузова, завешенного кое-как рогожею, высывалось несколько ног, смуглых, черных, а между ними виднелась кудластая, взъерошенная голова, державшая во рту трубку с медною оковкою. Из фуры слышался живой разговор на каком-то странном, диком языке. К задней части экипажа, переплетенной веревками, была привязана целая дюжина разношерстных лошадей, тавренных по бедрам. Словом, по всему узнать можно было цыган-барышников. Далее попался слепой нищий, упирившийся одной рукой на сучковатую палку, другою на плечо худощавого оборванного мальчика, с трудом вытаскивавшего изнуренные больные ноги из грязи. Оба они, как видно, также поспешали на ярмарку в надежде выгодной добычи. Наконец-то заблестали вдалеке маковки церквей, глянули кровли, здания, а там выставилась из-за горизонта и вся гора, по скату которой расползлся город. На песчаных отмелях широкой реки, огибавшей гору, белелся монастырь; паром, нагруженный подводами, медленно спускался по течению реки, на берегу чернелось множество народу, возов, лошадей. Шум слышался еще издали.

Сердце почему-то сильно забилося в груди Антона, когда он подъехал к заставе. Он словно впервые почувствовал себя на чужбине и безотчетно вспомнил о жене и ребятиш-

ках. Вслед за тем пришел ему в голову Никита Федорыч, горькая доля, ожидавшая семью в случае неудачи, потом встреча с мельником... Он быстро соскочил с пегашки и, приблизившись к мужику, торговавшему ободьями, спросил отрывисто, как бы проехать короче на конную. Получив ответ, Антон вступил за заставу и вскоре, подобно зерну, попавшемуся раз под порхающий жернов, был затерт толпою и исчез вместе с своей клячонкой.

IV

ЯРМАРКА

Городишко, где происходит ярмарка, принадлежал к самым ничтожным уездным городам губернии. Глядя на него в обыкновенное время, нельзя даже подумать, чтоб он мог служить целью какой бы то ни было поездки; он являлся скорее на пути как средство ехать далее; куда ни глянешь: колеса, деготь, оглобли, кузницы, баранки — и только; так разве перехватить кой-чего на скорую руку, подмазать колеса, сесть, и снова в дорогу. Но в ярмарочную пору, и особенно осенью, он принимал такую оживленную, разнообразную наружность, что трудно даже было узнать его. И немудрено: сколько ни находится в околотке мужичков с залежными гривнами и пятаками, с припасенными про случай ржицею, гречею, мукою и сеном, все окрестные купцы, барышники, мещане, промышленники всякого рода и сброда — все стекалось сюда, кто для барышей и дела, а кто, как водится, погулять, поглазеть да мошну повытрясти. Впрочем, и то сказать надо: есть на что посмотреть, есть что и купить в «коренную ярмарку»¹. Сколько одних навесов, яток, строек, шатров понаставлено не только на площадке, но даже по всем переулкам, закоулкам, по всему скату горы, вплоть до самого берега! И чего уж нет-то под ними, какого надо еще добра и товара? Тут пестрыми группами возносятся кубышки, крыночки, ложки кленовые, бураки берестовые, чашки липовые золоченые суздальские, жбанчики и лагунчики березовые, горшки, и горшки-то все какие — муравленые коломенские! Там целые горы жемков, стручьев, орехов, мякушек, сластей паточных-медовых, пряников, писанных сусальным золотцом...

¹ Так называются вообще в средней России осенние ярмарки. (Прим. автора.)

Здесь мечутся в глаза яркою рябизною своею полосушки, набойки, холстинки, миткали всякие... А сколько платков, и сизых, и желтых, и алых, с разводами и городочками, развеваются по воздуху! Сколько александровки, кумачу, ситцев московских, стеклярусу!.. А сколько костромского товару: запонок, серег оловянных под фольгою и тавлинок под слюдою! — кажись, на весь бы свет с залишком стало.

Поглядите-ка теперь, сколько посреди^{сь} всего этого народу движется, толкается и суетится! какая давка, теснота! То прихлынут в одну сторону, то в другую, а то и опять сперлись^{сь} все на одном месте — хоть растаскивай! Крик, шум, разнородные голоса и восклицания, звон железа, вой, бляенье, топот, ржание, хлопанье по рукам, и все это сливается в какой-то общий нестройный гам, из которого выхватываешь одни только отрывчатые, несвязные речи... Прислушайтесь: «Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» — пронзительно взвизгивает толстая мещанка в мухояровой душегрейке на заячьем меху. «Ой, родимые, отпустите! Проклятый — чего лезешь!..» — и вслед за тем раздается подле густой бас: «А сама чего топыришься... Ну, ну, не больно пихайся, я и сам горазд...» — «Ах ты такой-сякой, общипанец...» Но тут голос мещанки покрывается рассыпчатым дребезжаньем торговки: «Купчиха! голубушка! на баранки, на баранки, сама пекла! На сайку, на горячу, сама пекла, на сайку...» — «По лук, по лук!» — слышится вслед за этим. «Э! лачи грай! тамар у девел, течурасса ман!» (э! добрая лошадь, убей меня бог, украл бы). — «Авен, авен-те кинас!» (пойдемте торговать!) — кричат в отдалении цыгане. «Что покупаете? Ситцы-с, канифасы, нанки, выбойки!.. у нас брали, пожалуйста!..» — «Эх, солнышко садится, а у меня в мошне ничего не шевелится!» — раздается где-то в стороне. «Иван Трофимыч! Иван Трофимыч! где, вы говорили, гребенки продают?.. Ой! ой! давят!.. Иван Трофимыч, не отставайте!» — и толпа дворовых девок, разряженных в пух и в прах, кидается сломя голову к высокому лакею со встрепанной манишкой. «Сюда, сюда, Анна Андреевна, не опасайтесь-с, ничего-с... Марфа Васильевна, не отставайте, город помещенье большое-с, долго ли потеряться...» — «По клюкву, по ягодку по клюкву!» — «Помилуй, христов ты человек, сам гляди, нынешнее!» — «Черно больно...» — «Како черно, где оно черно? Ну где? Сено что ни есть свежее, звонкое сено, духовитое...» — «Спиридоныч, а Спиридоныч! купи девке-те коты-те, ишь воет, ажно душу

дерет». Звуки гармоники и удалая песня заглушают на мгновение все голоса. «Севка, а Севка! припрем-ка вон ту купчиху-то, что больно топырится...»—«И то, и то, напирай сильнее, Митюха, ну, не робей!»—«Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!»— снова вопиет на всю ярмарку мещанка в душегрейке на заячьем меху. «Ишь, чертова кукла, как воет; а ну-кась, Севка, катнем-ка еще...»—«Ну, черт с ней! Знаешь что, Матюшка, пойдем-ка, брат, на конную, нашлались здесь вволюшку...»—«На нашу долюшку! Ну, Севка, пойдем... Эй, стой! Вон, кажись, сцепились — драка; ступай сюда!» Долговязый белокурый парень стоит, оскалив зубы, перед седым стариком, увешанным кнутами, варежками, кушаками, который ругается на все бока и чуть не лезет парню в бороду.

— Эй, дядя, чему оскаляешься, али рад, что дожил до лысины? Что таришь парня-то?— крикнул Матюшка.

— Вестимо, что у вас? что?— раздалось в сдвинувшейся толпе.

— Братцы!— прохрипел старик,— он мошенник, хлыновец окаянный!.. почитай что вот с самого утра прикидывается у меня к кушаку; торгует, торгует, а, словно на смех, ничего не покупает... Ах ты, в стекляночной те разбей!.. Ах, ты!..

— Господа, а господа, полно вам!— говорит городской польского происхождения, инвалид с подбитым глазом, выступая вперед и толкая ссорившихся.— Полно, господа, начальство узнает, ей-богу, начальство... полно... вон (он указал на острог) туда как раз на вольный хлеб посадят... Полно, господа!..

— Эки дьяволы, право!— произнес Матюшка, отходя прочь.— Хошь бы маленько-то почесали друг друга, а то ишь чего испужались... Ну, леший с ними! Пойдем, брат Симион, на конную, ишь солнце того смотри сядет!

Конная площадь составляет главную точку ярмарочной промышленности. Там, правда, не встретишь ни офеней, увешанных лубочными картинами, шелком-сырцом, с ящиками, набитыми гребешками, запонками, зеркальцами, ни мирных покупателей — баб с задумчивыми их сожителями; реже попадаются красные девки, осанистые, сытые, с стеклярусными на лбу поднизями; тут по обеим сторонам широкой луговины сбился сплошною массою народ, по большей части шумливый, задорный, крикливый, охочий погулять или уже подгулявший. Одна сторона поля загромож-

дена возами сена, дегтем, ободьями, лесом, колесами; также торгуют тут коровами и всяким скотом; другая почти вплотную заставлена ятками, харчевнями, кабаками и навесами со всяким харчем и снедью. Здесь-то теснятся кружки играющих в свайку и орлянку, разгуливают шумными ватагами песельники, хлыновцы, барышники и цыгане. По полю там и сям носятся всадники, пробующие лошадей, или летят иноходцы в беговых дрожках и легоньких тележках. Кое-где виднеются группы конских любителей, продавцов и покупателей.

Приятели — портной Матюшка и товарищ его Севка — не успели еще продраться сквозь толпу, составлявшую ограду площади, как первый закричал что есть мочи:

— Эй, Севка! поглядь-кась, никак вон тот самый мужик, что встрелся с нами на дороге... Ну, так, так он и есть... вон и пегая его кляча. Должно быть, не продал... Эй, Старбей! — продолжал он, обращаясь к Антону. — Как те звать, добрый человек?.. Знакомый, аль знать не хочешь?.. Ну что, как бог милует?..

— Здравствуйте, братцы, — вымолвил Антон, подходя к портным вместе с другими двумя мужиками.

Новые товарищи Антона были приземистые рыженькие люди, очень похожие друг на друга; у обоих остроконечные красные бородки и плутовские серые глазки; синий дырявый армяк, опоясанный ремнем, вокруг которого болтались доспехи коновала, баранья черная шапка и высокие сапоги составляли одежду того и другого.

— Что невесел, словношь мыш на крупу надулся, ась? — произнес Матюшка насмешливо.

— Како тут веселье, — отвечал печально Антон, рассеянно глядя в поле.

— Что ж, опять небось алтын не хватает?.. Знамо, без денег в город — сам себе враг; жаль, брат, прохарчились мы больно, а то бы, вот те Христос, помогли, ей-богу, хоть тысячу рублей, так сейчас бы поверили. А то, вишь, на косуху не осталось, словно бык какой языком слизнул... право...

В толпе раздался хохот. В это время к Антону подошли два мужика: мука, обсыпавшая их шапки и кафтаны, давала тотчас же знать, что это были мельники.

— Послушай, братец ты мой, — сказал старший из двух, — что ж, говори последнее слово; продашь лошадь-то али нет?..

Рыженькие приятели перемигнулись между собою, дернули Антона потихоньку сзади и сказали шепотом: «Мотри, земляк, не отдавай, надуть хотят, не отдавай!»

— Да побойся хоть ты бога-то, — отвечал Антон мельнику, — побойся бога; христов ты человек, аль нет? ну, что ты меня вертишь, словно махонького; ишь за каку цену хочешь лошадь купить...

— Оставь его, дядя Кондрат, — отозвался с сердцем товарищ мельника, — оставь, говорю; с ним и сам сатана, возившись, упарится; вишь, как он кобенится, часов пять и то бились, лошадь того не стоит; пойдем, авось попадем на другую, здесь их много...

— Вестимо, — отвечали в одно время рыженькие, — знамо, свет не клином сошелся; ступайте, вы лошадь найдете, а мы покупщика.

Старый мельник, казалось, с сожалением расставался с мыслию приобрести пегашку; он еще раз обошел вокруг нее, потом пощупал ей ноги, подергал за гриву, качнул головой и пошел прочь.

— Ишь, ловкие какие, — произнес один из рыженьких, — чего захотели, «атусбеш»¹, то бишь... тридцать пять рублей за лошадь дают... да за эвдаку животину семьдесят мало...

— Эй, земляк, давай я лошадь-то куплю! — снова закричал Матюшка, — не грусти; что голову повесил? сколько спросил? сколько хошь, столько и дам: чур, мотри, твои могарычи, а деньги за лошадь, как помру.

— Чего вы привязались ко мне? Ну, чего вам от меня надуть? — сказал с сердцем Антон и сделал шаг вперед. По всему видно было, что бедняга уже давным-давно вышел из себя и выжидал только случая выместить на ком-нибудь свою досаду.

Севка и Матюшка сделали вид, как будто испугались, и отскочили назад; толпа, расположенная к ним прибаутками, которые рассыпал Матюшка, заслонила их и разразилась громким, продолжительным хохотом. Ободренный этим, Матюшка высунул вперед черную кудрявую свою голову и заорал во все горло:

— Гей! земляк всех избил в один синяк!.. братцы, ребята, это, вишь, наш бурмистр, ишь какой мигач, во всем под стать пегой своей кобыле, молодец к молодцу... ворон, вишь, приехал на ней обгонять... Эй, эй! Фалалей, мотри,

¹ Тридцать пять рублей на языке конских барышников и конокрадов. (Прим. автора.)

мотри, хвост-ат у клячи оторвался, ей-богу, право, оторвался... ей, го... го... го... го...

Антон в это время следовал за рыженькими своими приятелями, которые почти против воли тащили его на другой конец поля. К ним тотчас же подскочили три цыгана.

— Что, добрый человек, лошадь твоя?

— Моя.

— Продаешь?

— Мотри, не продавай,— снова шепнули Антону рыженькие,— народ бедовый, как раз завертят.

— Продаю,— отвечал нерешительно Антон и в то же время поглядел с беспокойством на приятелей.

Тогда один из цыган, дюжий, рослый мужчина в оборванных плисовых шароварах и синем длинном балахоне с цветными полотняными заплатами, подбежал к пегашке, раздвинул ей губы, потом поочередно поднял ей одну ногу за другой и, ударив ее в бок сапогом, как бы для окончательного испытания, сказал товарищам:

— Лачи грай, ян таранчинас, шпал, ды герой лачи! (Добрый конь, давайте, братцы, торговать, смотри: ноги хороши больно!)

— Мычынав курано (как будто старенька),— отвечали те,— а нанано — пробине, пробине (а все попробуем).

И все трое принялись осматривать лошадь. Разумеется, удары в бок, как необходимейшее условие в таком деле, не заставили себя дожидаться.

— Что стоит?— спросил первый цыган.

— Семьдесят рублей,— отвечали равнодушно и как бы из милости рыженькие спутники Антона, отводя его в сторону и принимаясь нашептывать ему на ухо.

Цыгане засмеялись.

— А саранда рубли крууг, де гаджо лове ватопаш, сы-туте лове? (А сорок рублей стоит, да мужик отдаст за половину: деньги у вас есть?) — сказал первый.

— Сы (есть),— отвечали те.

— Лачи (ладно). Ну, братцы, и ты, добрый человек,— продолжал тот, указывая на лошадь с видом недовольным,— дорого больно просишь; конь-то больно изъезжен, стар; вот и ребята то же говорят...

— Да чуть ли еще не с норовом,— подхватил цыган, глядя пегашке в зубы,— ишь, верхний-то ряд вперед выпучился... а ты семьдесят рублей просишь... нет, ты скажи

нам цену по душе; нынче, брат, не то время,— корм коня дороже... по душе скажи...

— Сколько же, по-вашему?— спросил Антон.

— Да что тут долго толковать, мы в деньгах не постоим, надо поглядеть сперва ходу, как бежит... был бы конь добрый, цену дадим не обидную... веди!

Рыженькие отвели Антона в сторону.

— Экой ты, брат... мотри, не поддавайся... не купят, право слово, не купят, попусту только загоняешь лошадь и сам измаешься... говорим, найдем завтра покупателя... есть у нас на примете... вот уж ты сколько раз водил, не купили, и теперь не купят, не такой народ; тебе, чай, не первинка...— твердили они ему.

— Спасибо, родные, за доброе, ласковое ваше слово, да, вишь, дело-то мое захожее.

— Вот по той причине мы те и толкуем, на волоку и по волоку — надо дело рассуждать.

— Господь их ведает, может, и по честности станут цену давать; мне, братцы, така-то, право, тоска пришла, что хошь бы сбыть ее с рук скорей.

— Пожалуй, ступай себе; а только, право, попусту сходишь.

Антон взял пегашку под уздцы и, сопровождаемый цыганами, повел ее к стороне харчевен, откуда должен был, по обыкновению, начаться бег. Рыженькие пошли за ними. Пройдя шагов двадцать, они проворно обернулись назад и подали знак двум другим мужикам, стоявшим в отдалении с лошадьми, чтобы следовали за ними; те тотчас же тронулись с места и начали огибать поле; никто не заметил этих проделок, тем менее Антон. Видно было по всему, что он уже совсем упал духом; день пропал даром: лошадь не продана, сам он измучился, измаялся, проголодался; вдобавок каждый раз, как являлся новый покупатель и дело, по-видимому, уже ладилось, им овладевало неизъяснимо тягостное чувство: ему становилось все жальче и жальче лошаденку, так жаль, что в эту минуту он готов был вернуться в Троскино и перенести все от Никиты Федорыча, чтобы только не разлучаться с нею; но теперь почему-то заболело еще пуще по ней сердце; предчувствие ли лиха какого или что другое, только слезы так вот и прошибали ресницы, и многих усилий стоило бедному Антону, чтобы не зарыдать вслух.

— Эх, каман чорас грай, томар у девел чорас ме! (Эх,

вот бы украл лошадь, убей меня бог, украл бы!) — сказал кто-то из цыган, когда пришли на место.

Тут стояли уже несколько человек с лошадьми; между ними находились и те, которым подали знак рыженькие.

— Ну, брат хозяин, садись на коня, — вымолвил первый цыган Антону, — поглядим, как-то он у тебя побежит... садись!..

Антон медленно подошел к пегашке, уперся локтями ей в спину, потом болтнул в воздухе длинными, неуклюжими своими ногами и начал на нее карабкаться; после многих усилий с его стороны, смеха и прибауток со стороны окружающих он наконец сел и вытянул поводья. Толпа, состоящая преимущественно из барышников, придвинулась, и кто молча, кто с разными замечаниями окружили всадника-мужика. В числе этих замечаний не нашлось, как водится, ни одного, которое бы не противоречило другому; тот утверждал, что конь «вислобокой», другой, напротив того, спорил, что он добрый, третий бился об заклад, что «двужильный», четвертый уверял, что пегая лошадь ни более ни менее, как «стогодовалая», и так далее; разумеется, мнения эти никому из них не были особенно дороги, и часто тот, кто утверждал одно, спустя минуту, а иногда и того менее, стоял уже за мнение своего противника.

— Ну, теперь пущай ее... пущай! — закричало несколько голосов, и толпа ринулась в сторону.

Но усталая, измученная и голодная пегашка на тот раз, к довершению всех несчастий Антона, решительно отказывалась повиноваться пруканью и понуканью своего хозяина; она уперлась передними ногами в землю, сурово потупила голову и не двигалась с места.

— Конь с норовом... ан нет... ан да... о! чего смотрите, черти!.. она, вишь, умаялась: дай ей вздохнуть, вздохнуть дай!.. — слышалось отовсюду.

А Антон между тем употреблял все усилия, чтобы раззадорить пегашку: он то подавался вперед к ней на шею, то спускался почти на самый хвост, то болтал вдоль боков ногами, то размахивал уздечкой и руками; нет, ничего не помогало: пегашка все-таки не подавалась.

— Э... ге... ге... ге! — заметил цыган, — да она, брат, видно, у тебя опоена, видно, на кнуте только и едет.

Антон удвоил усилия; пот выступил у него на лбу.

— Ну, ну, — бормотал он, метаясь на лошади как уго-

релый,— ну, дружок! ну, дурачок!.. э!.. эка животина... ну... ну... э!..

— Эй, брат!.. ребята! да вы проведите ее...

— Нет, зачем проводить... оставь... она и сама пойдет... дайте ей вздохнуть...

— А долго будет она так-то стоять!— сказал кто-то и без дальних рассуждений, подбежав к лошади, ударил ее так сильно в брюхо, что сам Антон чуть было не слетел наземь.

Толпа захохотала, а пегашка тем временем брыкнула, взвизгнула и понеслась по полю.

— Э! Взяла, взяла! э! пошла, пошла, пошла! гей! гей! го-го-го!— слышалось со всех сторон.

Один из зрителей пришел в такой азарт, что тут же снял с себя кожух и, размахивая им с каким-то особенным остервенением по воздуху, пустился догонять лошадь.

— Ишь, прямо с копыта пошла, хорошо пошла,— произнес цыган, обращаясь к толпе.

— Николко, проста лашукр (ведь хорошо бежит).

— Урняла, целдари урняла (знатно скачет!) — отвечали те в один голос, глядя ей вслед, и закричали Антону: — эй! пусти ее во весь дух, пусти небось... дыкло, дыкло! посмотрим!

Рыженькие, казалось, того только и ждали, чтобы отъехал Антон, они подошли к двум мужикам-товарищам и переговорили.

Когда Антон вернулся назад, они уже стояли на прежнем своем месте, а товарищи их пододвинулись со своими лошадьми к цыганам.

— Ну, вот что, брат,— сказал первый цыган Антону,— семьдесят рублей деньги большие, дать нельзя, это пустое, а сорок бери; хошь, так хошь, а не хошь, так как хошь; по рукам, что ли? долго толковать не станем.

Антон поглядел нерешительно на рыженьких. Те замолтали головами.

— Нет,— сказал он печально,— нельзя, несходно...

— Братцы, что вам, лошадь, что ли, надо?— заговорили тотчас приятели рыженьких,— пойдите поглядите у нас... уж такого-то подведем жеребчика, спасибо скажете... что вы с ним как бьетесь, ишь ломается, и добро было бы из чего... ишь, вона, вона как ноги-то подогнула... пойдите с нами, вон стоят наши лошади... бойкие лошади! супротив наших ни одна здесь не вытянет, не токмо что эта.

— А чего вы лезете! — перебил один из близ стоявших мужиков, — нешто это дело — отбивать? экие бесстыжие, совести нет; вишь, он продает, а вы лезете; завидно, что ли?.. право, бесстыжие...

— А черт ли велит ему отмалчиваться? коли продаешь, так продавай, что кобенишься? да! что буркалы-то выпучил, словно пятерых проглотил да шестым поперхнулся... отдавай за сорок... небось несходно?.. отдавай, чего надседаешься...

— Нет, за сорок не отдам.

— Твоя воля, конь твой, — отвечал цыган, — ну, слушай последнее слово: сорок рублей и могоарычи... хошь?

— Что мне могоарычи? на кой мне их леший!..

— Узду в придачу!

— И узды не надуть.

— Эх, вы, ребята, словоохотливые какие, право, — начали опять те, — видите, не хочет продавать — и только; и что это вы разгасились так на эту лошадь? мотрите, того и гляди, хвост откинет, а вы сорок даете; пойдете, вам такого рысачка за сорок-то отвалим, знатного, статного... четырехлетку... как перед богом, четырехлетку...

— Соле саракиресса, накамыл тебыкнел, авен, пшалы, не каман. (Ну что с ним, взаправду, толковать? пойдете, братцы; не хочет.) Ну, прощай, добрый человек, — сказал первый цыган. — Авен, авен, пшалы. (Пойдете, пойдете, братцы.)

Рыженькие тотчас же повели Антона в другую сторону.

— Ну, вот, говорили мы тебе... как, бишь, те звать?

— Антоном.

— Э! да у меня, брат, свояка зовут Антоном. Ну, ведь говорили мы тебе не ходи, не продашь лошади за настоящую цену! э! захотел, брат, продать цыгану! говорят, завтра такого-то покупателя найдем, барина; восемьдесят рублей как раз даст... я знаю... Балай, а Балай, знаешь, на кого я мечу?..

Балай кивнул головою, искоса поглядел на Антона и значительно подмигнул товарищу.

— Спасибо, братцы, за ваши добрые речи, — отвечал мужик, уныло потупляя голову, — да, вишь, дело-то мое захожее; куды я теперь пойду? ночь на дворе.

— Куды пойдешь! об эвтом, земляк, не сумлевайся... а мы-то на что ж?.. вот брат пойдет домой в деревню, а

я остаюсь здесь; пожалуй, коли хочешь, пойдем вместе, я тебе покажу, где заночевать.

— У меня, братцы, ведь денег нету... вот беда какая! думал лошадь продать, так...

— Эхва, беда какая! мало ли у кого не бывает денег, не ночуют же в поле... я тебя поведу к такому хозяину, который в долг поверит; об утро, как пойдешь, знамо, оставь что-нибудь в заклад, до денег, полушубок или кушак, придешь, рассчитаешься; у нас завсегда так-то водится...

— Когда ваше такое доброе слово,— отвечал Антон,— пойдемте, братцы, авось, господь милостив, завтра удастся продать лошаденку...

— Не сумлевайся, брат Антон, говорю, покупатель у нас есть знатный для тебя на примете; ты, вишь, больно нам полюбился, мужик-ат добре простой, не приквельный... хотим удружить тебе... бог приведет, встренемся, спасибо скажешь...

И все трое покинули площадь. Только что своротили они в переулок, как Балай распрощался с Антоном и, перемигнувшись еще раз с товарищем, исчез в толпе.

V

НОЧЛЕГ

«Ох, горе мое, горе, кручинное житье!— думал Антон, следуя медленным, нетвердым шагом за товарищем.— День прошел, да, видно, до нас не дошел, ишь вечеряет, а лошаденка все с рук не сошла; что станешь делать!.. нет, знать, так уж господу богу угодно... погрешился я чем перед ним... охо-хо... Дома-то, дома у меня, я чай, ждут, сердешные, не дождутся; не наболится у родимых сердечушко... Правда, напался человек добрый, сулил покупателя хорошего, да это когда еще, завтра!.. Заночевать, вишь, пришлось в чужой стороне промеж чужих людей, денег ни полушки, а дело захожее. Ну, а как завтра да опять не выйдет на мою долю счастья, лошади опять не продашь, а только пуще бед наживешь, и с тем домой вернешься... Никита просвету не даст тогда, долой с бела света сгонит, совсем беда! пропадем ни за что и я, и Варюха, да и ребятенки-то тож... охо... хо, хо, горе мое, горе, кручинное житье!..»

День между тем зримо клонился к вечеру; солнце село; золотистые хребты туч, бледнея на дальнем горизонте, да-

вали знать, что скоро и совсем наступят сумерки. Подошва горы, плоские песчаные берега, монастырь и отмели окутались уже тенью; одна только река, отражавшая круглые облака, обагранные последними вспышками заката, вырезывалась в тени алой сверкающей полосой. Осенний ветер повеял холодом и зашипел в колеях дороги. Время от времени он изменял свое направление, и тогда слышались с реки отрывистые крики народа, толпившегося на берегу и ожидавшего паром, который чуть видимою точкой чернелся на более и более бледневшей поверхности воды, влача за собою огненную, искристую полосу света. Шум ярмарки умолкал; толпа в городе постепенно редела; скидывались ятки, запирались лари, лавки; купцы и покупатели расходились во все стороны, и все тише да тише становилось на улицах, на площади, между рядами телег, подвод, укутанных и увязанных на ночь в рогожи. Вниз по горе тишина делалась еще заметнее; тут исчезли уже почти все признаки ярмарки; кое-где разве попадался воз непроданного сена и его хозяин, недовольное лицо которого оживлялось всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо, или встречалась ватага подгулявших мужиков и баб, которые, обнявшись крепко-накрепко, брели, покачиваясь из стороны в сторону и горланя несвязную песню.

Антон и рыженький его товарищ достигли уже подошвы горы, когда на одном из поворотов дороги должны были остановиться по случаю стечения народа. Они подошли ближе. На самом крутом уступе лежал замертво пьяный мужик; голова его, седая как лунь, скатилась на дорогу, ноги оставались на возвышении; коротенькая шея старика налилась кровью, лицо посинело... Присутствующие, которых было очень много, не помышляли, однако ж, поднимать его; иные, проходя мимо, замечали только: «эк его раздуло!» или: «ишь те как нализался!» Бóльшая часть зрителей не делали, впрочем, никаких замечаний; они глядели на него с каким-то притупленным любопытством, почесывали затылки и качали головами, как бы в душе соболезнуя о злополучном землячке; но помощи никто решительно не подавал, никто даже не трогался с места. Антон принадлежал, должно быть, к последней категории; он постоял, покачал головою и готовился уже кликнуть своего товарища; но в эту самую минуту из толпы выскочил полный кудрявый детина в синем кафтане и с радостным восклицанием бросился обнимать его.

— Эхва!.. Антон! как тебя бог милует? по добру ли, по здорову? вот не чаяли встретиться...

— Здорово, Митроха,— вымолвил Антон, ошеломленный несколько неожиданным приветствием,— как можешь?..

Они обнялись и поцеловались. Встреча эта сильно озадачила рыженького; он суетливо подошел к Антону, дернул его за полу и шепнул: «земляк, пора до фатеры, поздно, того и гляди места не станет...»

— Шутка, дело какое!— продолжал Митроха,— почитай что целый год не видались: ну что, брат Антон, как тебя перевертывает? как поживаешь с хозяйкою и с ребятишками?..

— Ох, лучше и не спрашивай, плоше моего житья, кажись, на свете нет... мое житье самое последнее...

— Неужто все Никита проклятый досаждаёт?..

— Да,— отвечал печально Антон,— да; вот и теперь пришел, брат, сюда последнюю лошадь продавать,— велел!.. не знаю, что и будет; совсем, знать, пришло мое разоренье...

— Ой ли? ну, брат, жаль, больно жаль мне тебя!.. а я, брат, на фабрике-то поперился маненько; живу верстах в трех отсель на миткалевой фабрике... и хозяин такой-то, право, добрый достался, не в обиде живешь... Ну, расскажи-ка, братец ты мой, как поживают Стегней с женою? он ведь свояк мне...

— А что им делается — хлебушка есть, живут ладно, по милости господней.

— Новую избу, говорят, поставили?

— Поставили.

— Так; ну, брат Антон, где ж ты остановился здесь?

— Вот тут... близехонько,— отвечал скороговоркой рыженький,— у самого перевоза на постоялом...

— Дай ему господь бог здоровья,— продолжал Антон, указывая земляку на рыженького,— встрелся добрый человек... хочет провести на ночлег.

— Пойдем, Антон,— сказал тот,— пора, не опоздать бы нам, народу не подошло бы много с ярманки...

— Ну, ладно,— подхватил Митроха,— я к тебе завтра зайду на фатеру... как бог свят, зайду; ты, я чай, не больно рано пойдешь на ярманку... а мы до того времени перемолвим слово, покалякаем про своих... так-то, брат, я тебе рад, Антон, право, словно родному... инда эвдак сердце радуется, как случай приведет с земляком повидаться... Ну,

прощай, брат, и мне пора ко двору, а завтра непременно зайду...

— Прощай, Митроха, заходи же, мотри...

— Ладно, ладно...

— Ну, братец, куда же нам теперь идти?— спросил Антон, когда земляк исчез за поворотом.

— Сойдем вниз, а там пойдем все по берегу, все по берегу, до самых кузниц.

— Далече?

— Эко ты наладил одно: далече да далече? видишь перевоз?

— Вижу...

— Ну, коли видишь, так ладно; тут как раз будет тебе и постоянный двор... он прямо стоит за кузнями...

Движения, походка, лицо товарища Антона мгновенно изменились: теперь все уже показывало в нем человека довольного, даже торжествующего; серенькие плутовские глазки его насмешливо суживались и поочередно устремлялись то на мужика, то на пегашку; он стал разговорчивее; но в речах его уже не было той заботливости, той вкрадчивости, с какими прежде подъезжал он к Антону. Все произошло, однако, так, как говорил рыженький: вскоре они достигли перевоза, там поднялись по скользкому грязному берегу и вышли на пустынное поле, огражденное с одной стороны рядом черных, мрачных кузниц, которые неровною линиею спускались почти к самой воде.

Миновав кузницы, рыженький молча указал Антону на высокую избу, одиноко стоявшую на дороге и окруженную длинными навесами. Тем временем, как они к ней приближались, ночь окончательно обхватила небо и окрестности. Месяц вышел из-за туч и весело проглянул на небе. Антон обернулся назад и бросил взгляд к стороне города; там все уже стихло; редко, редко долетала отдаленная песня или протяжное понукание запоздалого мужика, торопившего лошадь. Где-то в стороне, далеко-далеко за рекою слышался стук в чугунную доску деревенского караульщика. Он увидел реку, исчезающую после многих изгибов в темноте, крутые берега, отдалявшиеся от нее белым туманом, и черные тучи, облегавшие кругом горизонт. Луна скрылась; воцарился глубокий, непроницаемый мрак; подходя к избе, Антон едва-едва различал подводы, стоявшие у ворот. Шумный говор и свет, выходивший длинною полосой

из окна, давали знать, что на постоялом дворе было довольно народу.

— Ну, вот и пришли,— сказал рыженький Антону,— води лошадь в ворота; ладно; ставь ее вот сюда, под навес, да пойдем ужинать...

— Послушай, добрый человек,— произнес Антон, оглядывая с беспокойством постоялый двор и навесы,— послушай, мотри, не было бы лиха... не обидели бы меня... не увели бы лошадежки; я слышал, народ у вас в городах на это дело добре податлив...

— Эх ты!— воскликнул тот, ударив мужика по плечу,— прямой ты, брат, деревенщина, пра, деревенщина; борода у те выросла, а ума не вынесла; ну, статочно ли дело? сам порассуди, кому тут увести? ведь здесь дворик есть, ворота на ночь запирают; здесь не деревня, как ты думаешь. Знамо дело, долго ли до греха, коли не смотреть, на то, вишь, и двор держат, а ты думаешь, для чего?..

— Оно так,— отвечал мужик, продолжая озиаться на стороны,— вестимо так, а все словно думается...

— Что говорить,— начал рыжий, переменяв вдруг насмешливый тон на серьезный,— кто против того? животину водить — не разиней ходить, это всякий знает... полно, земляк, полно; а ты взаправду опасаясь, что ли?..

— Как перед богом, боюсь... добрый человек.

— Ну, коли так, привяжи ее пока здесь к столбу, а потом приходи сюда спать; я и сам с тобою лягу... пойдем выпьем по чарке винца, смерть прозяб... а там подкинем соломы да всхрапнем... ладно, что ли?..

— Ладно, коли твоя добрая душа будет...

— Привязал?

— Привязал...

— Мотри, привязывай крепче, чтоб не отвязалась неравно да не ушла...

— Нет, не уйдет...

— Пойдем.

Изба, в которую рыженький ввел Антона, была просторна; по крайней мере так показалась она последнему при тусклом свете сального огарка, горевшего на столе в железном корявом подсвечнике; один конец перегородки, разделявшей ее на две части, упирался в исполинскую печь с уступами, стремешками и запечьями, другой служил подпорою широким полатам, с которых свешивались чьи-то длинные босые ноги и овчина. За столом, под образами,

сидели четыре человека и ужинали; подле них хлопотала хозяйка, рябая, встрепанная, заспанная баба.

— Хлеб да соль, братцы,— вымолвил рыженький, запирая дверь,— здравствуй, хозяйка!

— Хлеб да соль,— проговорил в свою очередь Антон, крестясь перед образами.

— Спасибо,— отозвались сидевшие мужики.

— Вам постоять, что ли?— грубо спросила дворничиха.

— И то тебя, вишь, не обходим, вот и товарища привел... ну, а хозяин где?

— Кто там?..— слышалось сверху, и в то же время длинные ноги, висевшие с полатей, перевернулись и показали, что принадлежащее им туловище перевалилось на спину.

— Что там развалился, черт?— закричала сиповатым голосом хозяйка,— ступай! вишь, народ подошел...

На полатах слышалась зевота.

— О-о-о! Господи, господи, о-о!— бормотал хозяин, сползая по стремешкам печи вниз.— А!— воскликнул он, останавливаясь,— а! здорово, рыжая борода!

Рыженький подал ему из-за спины Антона выразительный знак рукою. Хозяин тотчас же замолчал; закинув обе руки за шею, он потянулся, зевнул и продолжал лениво:

— Эк вы поздно как таскаетесь, люди спать давно леглись; ну, а мужичок с тобой пришел?

— Со мной.

— Лошадь есть?

— Есть.

— Сенца надоть, что ли?— спросил хозяин Антона,— у меня сено знатное...

— Нет,— отвечал простодушно Антон,— сена не надо, я лошадь-то продавать привел: и так простоит, сердешная...

— Твоя на то воля... ужинать небось станете?

— Давай!..

— Такая-то беда у меня... малого своего отослал в Зименки... до сих пор не вернулся; сам за все и про все,— говорил хозяин, слезая наземь.

— А почем ужин?— рассеянно спросил рыженький.

— Известно, что тут толковать, лишнего не берем, что в людях, то и у нас: шесть гривен с хлебом.

— Ладно... Эй, хозяйка! собирай скорей, смерть проголодались.

— Вам чего? щей плехнуть, аль гороху вальнуть, аль лепеху с семенем?— спросила хозяйка.

— Давай что ни есть... Хозяин, а хозяин, нет ли, брат, винца?

— Как не быть... вам сколько?

— Что, Антон, голову-те повесил, вино есть, аль не слышишь? выпьем, говорю, завтра знатный день будет. Хозяин, давай штоф!..

Когда дворник вышел, рыженький повертелся еще несколько минут подле печки и шмыгнул в двери. Это было сделано так ловко, что Антон ничего не заметил; он снял с себя полушубок, повесил его на шесток, помолился богу, сел за стол и в ожидании ужина принялся рассматривать новых своих товарищей. Двое из них немного погодя встали, перекрестились и молча улеглись на нары, занимавшие целую стену избы. Антон увидел, что тут спало еще несколько человек мужиков. Из оставшихся двух за столом один особенно привлек внимание нашего мужика. Это был толстенький, кругленький человек, с черною окладистой бородкой, плоскими маслястыми волосами, падавшими длинными космами по обеим сторонам одутловатого, багрового лица, отличавшегося необыкновенным добродушием; перед ним на столе стояла огромная чашка каши, деревянный кружок с рубленой говядиной и хрящом и миска с лапшою; он уписывал все это, прикладываясь попеременно то к тому, то к другому с таким рвением, что пот катился с него крупными горошинами; слышно даже было, как у него за ушами пищало. Антон первый прервал молчание.

— Вы отколе?— спросил он.

Мужик встряхнул головою, устремил на него оловянные глаза и, проглотив кашу, мешавшую ему закрыть рот, отвечал:

— Сдалече: ростовские.

— Господские?

— Барские...

— Большая вотчина?

— Большая...

Тут хозяйка поставила перед ним чашку тертого гороху; мужичок принялся за него с тем же ничем не сокрушимым аппетитом и уже ничего не отвечал на вопросы Антона. Скоро вернулся рыженький с штофом вина, сел подле товарища, и оба принялись ужинать. Немного погодя явился и сам хозяин.

— А ты ехать собрался, что ли?— спросил он у мужичка, сидевшего рядом с ярославцем.

— Да, мне пора,— отвечал тот, подтягивая кушак,— до свету надо быть дома.

Антон мгновенно поднял голову, поглядел на него, вздохнул и перестал есть. Хозяин снял с полки счеты и подошел к отъезжавшему вместе с хозяйкой.

— Щи хлябал?

— Хлябал.

— Кашу ел?

— Ел.

— Масло лил?

— Лил.

— Сорок копеек,— произнес отрывисто хозяин, щелкнув костями.

Мужик расплатился, помолился перед образами и, поклонившись на все четыре стороны, вышел из избы. В то время толстоватый ярославец успел уже опорожнить до чиста чашку тертого гороху. Он немедленно приподнялся с лавки, снял с шеста кожух, развалил его подле спавшего уже товарища и улегся; почти в ту ж минуту изба наполнилась его густым, протяжным храпением. Дворничиха полезла на печь. В избе остались бодрствующими рыженький, Антон и хозяин.

— Хозяин!— начал первый, прислушавшись прежде к шуму телеги отъехавшего мужика, — подсядь-ка, брат, к нам, не спесивься; вот у меня товарищ-ат что-то больно приуныл, есть не ест и пить не пьет; что ты станешь с ним делать...

— Ой ли?— произнес хозяин, подходя к столу,— ну, давай... как, бишь, звать-то тебя?.. Пантелеем, что ли?

— Антоном...

— Давай, брат Антон, я выпью... да ты-то что? э! полно, чего кобенишься, пра, выпей, вино у меня знатное, хошь пригубь...

Антон выпил.

— Не то, братцы, на разуме у меня; так разве со стужи,— произнес он, крякнув и обтирая бороду.

— Пей, не робей,— вскрикнул рыженький, перемигиваясь с хозяином...— Ну-кась, брат, со стужи-то еще стаканчик...

— Спасибо... много доволен...

— Э! что за спасибо! пей, сколько душа примет... знамо,

первая чарка колом, вторая соколом, а третью и сам позовешь; пей; душа меру, брат, знает... а там и спать пойдем...

— Под навес?— спросил Антон, глаза которого начинали уже разгораться.

— Вестимо что под навес... вот добрый хозяин и соломки даст... да пей же, брат, пей без опаски... хлеб ешь?

— Ем.

— Ну, а разве вино не тот же хлеб? маненько только пожиже будет... валяй! Ну, экой, право, приквельной какой, долго думать, тому же быть...

— Для ча не выпить, когда добрый человек подносит,— подхватил хозяин.— От эвтого, брат Антон, зла не будет... пей за столом, говорят добрые люди, да не пей, мотри, только за углом...

Антон выпил еще стакан.

— Братцы!— произнес он вяло и принимаясь тереть лицо, лоб и щеки, с которых катился крупными каплями пот.— Братцы, пра, пора... вот те Христос... домой пора бы. Варвара-то... э! Варвара... братцы...

— Погоди... поспеешь еще...— отвечал рыженький, наливая еще стакан,— вот выпей наперед, выпей, слышь, последний выпей... на стужу идешь...

— Пейте скорее, ребята, и мне пора спать... чай, полночь давно на дворе...— вымолвил хозяин, зевая и потягиваясь.

Антон осушил стакан бычком и почти в ту же минуту повалился, как сноп, на лавку...

— Спит?— спросил поспешно хозяин у рыженького, который уже нагнулся к Антону и слушал.

— Хоть кол на голове теши, не услышит!— отвечал тот, выпрямляясь и махнув рукою.

Оба засмеялись. Рыженький подошел к столу, выпил оставшуюся в штофе водку, взял шапку и стал поочередно оглядывать спавших на нарах; убедившись хорошенько, что все спали, он задул свечу и вышел из избы вместе с хозяином...

VI

ПЕГАШКА

Время подходило уже к самому рассвету, когда толстоватый ярославец был внезапно пробужден шумом в избе. Открыв глаза, он увидел стол опрокинутым; из-под него

выползал на карачках Антон, крестясь и нашептывая: «Господи благослови, господи помилуй, с нами крестная сила...»

— Что, брат, с тобою?.. Эй, что ты?— спросил мужичок, соскакивая с нар и принимаясь трепать Антона по плечу.— Эк ты меня испужал; словно «комуха»¹, так вот и трясет меня всего...

— Господи благослови... ох!.. насилу отлегло...— выговаривал Антон, вздрагивая всем телом,— ишь, какой сон пригрезился... а ничего, ровно ничего не припомню... только добре что-то страшно... так вот к самому сердцу и подступило; спасибо, родной, что подсобил подняться... Пойду-ка... ох, господи благослови! пойду погляжу на лошаденку свою... стоит ли она, сердешная...

Антон снова перекрестился и поспешно вышел из избы. Мужик сел на нары и начал мотать онучи.

Шум, произведенный Антоном, разбудил не одного толстоватого ярославца; с полатей слышались зевота, оханье, потягиванье; несколько босых ног свесилось также с печки. Вдруг на дворе раздался такой пронзительный крик, что все ноги разом вздрогнули и повскакали наземь вместе с туловищами. В эту самую минуту дверь распахнулась настежь, и в избу вбежал сломя голову Антон... Лицо его было бледно, как известь, волосы стояли дыбом, руки и ноги дрожали, губы шевелились без звука; он стоял посередь избы и глядел на всех страшными, блуждающими глазами.

— Что там?— отозвалась хозяйка, просовывая голову между перекладами полатей.

— Что ты?.. эй, сват!.. мужичок... дурманом прихватило, что ли?.. Эк его разобрало,— заговорили в одно время мужики, окружая Антона.

— Что ты всех баламутишь?— произнес грубо хозяин, оттолкнув первого стоявшего перед ним мужика и хватая Антона за рубаху.— Да ну, говори!.. что буркалы-то выпучил...

— Увели!..— мог только вскрикнуть Антон.— Лошаденку... ей-богу... кобылку пегую увели!..

— Ой ли?.. братцы... ишь, что баит... долго ли до греха... э! э! э!

И все, сколько в избе ни было народу, не исключая даже Антона и самого хозяина, все полетели стремглав на двор. Антон бросился к тому месту, куда привязал вечор пегашку, и, не произнося слова, указал на него дрожащими

¹ Лихорадка, по-ярославски. (Прим. автора.)

руками... оно было пусто; у столба болталась одна лишь веревка...

— Взаправду увели лошадь! ишь вот, вот и веревка-то разрезана, ножом разрезана... и... и... и...—слышалось отовсюду.

Антон ухватился обеими руками за волосы и зарыдал на весь двор.

— Братцы,— говорил бедный мужик задыхающимся голосом,— братцы! что вы со мною сделали?.. куды я пойду теперь?.. Братцы, если в вас душа есть, отдайте мне мою лошаденку... куды она вам?.. ребятишки, вишь, у меня махонькие... пропадем мы без нее совсем... братцы, в Христа вы не веруете!..

Ничто не совершается так внезапно и быстро, как переходы внутренних движений в простом народе: добро ряд об ряд с лихом, и часто одно венчается другим почти мгновенно. Почти все присутствующие, принявшие было горе Антона со смехом, теперь вдруг как бы сообща приняли в нем живейшее участие; нашлись даже такие, которые кинулись к хозяину с зардевшими, как кумач, щеками, со сверкающими глазами и сжатыми кулаками. Толстоватый ярославец горячился пуще всех.

— Ты, хозяин, чего глядел!— вскричал он, подступая к нему.— Разве так делают добрые люди? нешто у *тие* постоялый двор, чтобы лошадей уводили?.. нет, ты сказывай нам теперь, куда задевал его лошадь, сказывай!..

— Да ты-то, тие, тие... охлестыш ярославский пузатый,— возразил не менее запальчиво хозяин,— мотри, не больно пузырься... что ко мне приступаешь? Мотри, не на таковского наскочил!..

— Вестимо, вестимо,— заговорили в толпе,— он тебе дело баит; сам ты, мотри, не скаль зубы-те! нешто вы на то дворы держите? этак у всех нас, пожалуй, уведут лошадей, а ты небось останешься без ответа.

— Да что вы, ребята,— отвечал хозяин, стараясь задобрить толпу,— что вы, взаправду: разве я вам сторож какой дался! Мое дело пустить на двор да отпустить, что потребуется... А кто ему велел,— продолжал он, указывая на Антона,— не спать здесь... Ишь он всю ночь напролет пропил с таким же, видно, бесшабашным, как сам; он его и привел... а вы с меня ответа хотите...

— Братцы!— закричал Антон, отчаянно размахивая руками,— братцы, будьте отцы родные... он, он же и поил

меня... вот как перед богом, он, и тот парень ему, вишь, знакомый... спросите хошь у кого... во Христа ты, видно, не веруешь!..

— Ребята,— вымолвил ярославец,— я сам видел, как он вечер поил его... право слово, видел...

— А нешто я отнекиваюсь? Пил с ними; да, позвал меня товарищ, сам подносил; ну и пил...

— Да ты его знаешь... того, рыженького-то? Что прикидываешься!

— А отколь мне знать его? Эка леший! Нешто у меня здесь мало всякого народу перебывает! так мне всех и знать... я его впервинку и в глаза-то вижу... да что вы его, братцы, слушаете? может, лошадь-то у него крадена была... вы бы наперед эвто-то разведали.

— Братцы, кобылка, как перед господом богом, девятый год у меня стоит... спросите, у кого хотите...

— Да, ишь ловок больно! А у кого они спросят? Экой прыткой какой!— заметил хозяин.

— Что мне теперь делать? Что делать, братцы?— воскликнул снова бедный мужик, ломая руки.

— Слушай, брат, как, бишь, тебя?..

— Антон, родимый... как перед господом богом, Антон.

— Ну, хорошо; слушай, Антон,— сказал ярославец, выступая вперед,— коли так, вот что ты сделай: беги прямо в суд, никого не слушай, ступай как есть в суд; ладно; сколько у те денег-то?..

— Ни полушки нетути, касатик, то-то и горе мое; кабы деньги были, так разве стал бы продавать последнюю лошаденку... Нужда!..

— Как! у тебя денег нету?— возразил хозяин, разгораясь.— Ах ты, мошенник! так как же ты приходишь на постой?.. ты, видно, надуть меня хотел... Братцы! вот вы за него стояли, меня еще тазать зачали было... вишь он какой! он-то и есть мошенник...

— Тебе, я чай, сказывал рыженький... ах он... Господи! чем погрешился я перед тобою?— произнес Антон, едва-едва держась на ногах.

— Да, теперь отвертываться да на другого сваливать станешь... Ах ты, бездельник! да я сам пойду в суд, сам поташу тебя к городничему; мне и приказные-то все люди знакомые и становой!..

— Полно, хозяин, ты, может, напраслину на него взводишь, ишь он какой мужик-ат простой, куды ему чудить!

и сам, чай, не рад, бедный; может, и сам он не ведал, с каким спознался человеком...— слышалось в толпе.

Но хозяин и слышать не хотел; сколько ни говорили ему, сколько ни увещевал его толстоватый ярославец, принимавший, по-видимому, несчастье Антона к сердцу, он стоял на одном. Наконец все присутствующие бросили дворника, осыпав его наперед градом ругательств, и снова обратились к Антону, который сидел теперь посередь двора на перекладине колодца и, закрыв лицо руками, всхлипывал пуще прежнего.

— Слушай, брат Антон,— начал один из них,— не печалься добре; гореваньем лошади не наживешь; твоему горю можно еще пособить; этакое дело не впервинку случается; слушай: ступай-ка ты прямо, вот так-таки прямо и беги в Заболотье... знаешь Заболотье?

— Нет, кормилец, не знаю: я не здешний.

— Ну, да нешто... ступай все прямо по большой дороге; на десятой версте, мотри, не забудь,— на десятой, сверни вправо, да там спросишь... Как придешь в Заболотье-то, понаведайся к Ильюшке Степняку... там тебе всякой укажет...

— Полно, кум, что баишь пустое! Ну, зачем пойдет он в Заболотье? тут вот, может статься, и ближе найдешь свою лошадь... Послушай, брат Антон, ступай помимо всех в Спас-на-Журавли, отсель всего верст двадцать станет... я знаю, там спокон века водятся мошенники... там нагдысь еще накрыли коноводов... ступай туда...

— А как туда пройти-то, касатик?..

— Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку влево; там тебе будет село Завалье; как пройдешь Завалье-то, спроси Селезнев колодезь...

— Эка, а Кокино-то и забыл...— заметил кто-то.

— Да, как пройдешь Завалье, спроси Кокинску слободу; обмолвился было маненько, ну, да нешто... а из Селезнева колодца пройдешь прямо в Спас-на-Журавли... вотчина будет такая большая...

— Дядя Михека, а дядя Михека,— перебил высокий и плешивый мужик, придвигаясь медленно к говорившему.

— Ну, что?

— А вот послушай ты меня, старика, что я тебе скажу...

— Ну...

— Право слово, ему податнее будет сходить в Котлы... вот как бог свят, податнее... Антон, право слово, ступай

в Котлы; оно, что говорить, маненько подалее будет, да зато, брат, вернее; вот у нас намедни у мужичка увеликущего мерина, и мерин-ат такой-то знатный, важнеющий, сказывали, в Котлах, вишь, нашли...

— Э! эка ты проворный какой! ну куда ты его за семьдесят-то верст посылаешь...

— А что? пойдет и за двести, коли лошади не отыщет,— ответил тот с чувством оскорбленного самолюбия.

— Полно, Антон, ступай, говорю, в Спас-на-Журавли; там как раз покончишь дело...

— И то ступай в Спас-на-Журавли!— закричали многие,— в Спас-на-Журавли ступай!

— Да, как бы не так,— возразил сурово хозяин,— я небось так вот и отпущу его вам в угоду... он у меня пил, ел, я его задаром отпущу; коли так, нут-кась, ты хорохорился за него пуще всех, ну-кась заплати... что?.. а! не-любо?..

— Что?..

— А вот то-то — теперь что? что?..

— Что мне тебе дать...— сказал Антон, поспешно вставая,— бери, что хочешь, бери, не держи только...

— Давай полушубок!

— Бери, господь с тобою...

— Так-то сходнее; придешь опять — отдам, не то пришли из деревни девять гривен... за постой да за ужин...

— Ах ты, алочный человек! пра, алочный! жалости в тие нет...— сказал ярославец.— Ишь, на дворе стужа какая... того и смотри дождь еще пойдет... ишь, засиверило, кругом обложило; ну, как пойдет он без одежды-то! ему из ворот, так и то выйти холодно...

— А мне что, он пил, ел...

— Тебе что! эх ты...

— Да ты-то что! ну, отдай ему свой полушубок, коли жалеешь...

— А я в чем пойду?

— Ну, вот то-то и есть; и всякий хлопочет, себе добра хочет...

— Куда же мне идти теперь?— перебил Антон, отдавая полушубок хозяину.

— Ступай в Спас-на-Журавли!— закричало несколько голосов.

— Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку вправо. не забудь, Завалье, так Кокино

— Спасибо... отцы мои... спасибо...— бормотал Антон, выбегая без оглядки на улицу.

— Ступай все прямо... ступай!— кричали ему вслед мужики, выходя также за ворота,— ступай, авось лошадь найдешь...

— А вряд ему найти,— заметил кто-то, когда Антон был уже довольно далеко,— ведь денег у него нету...

— Ой ли? и то, и то... где ж тут найти! попусту только измается, сердешный...

— Ну, да пущай его поищет, авось как-нибудь и набредет на след... без денег, вестимо, плохо... да во всем милость божия...

— Дядя Федосей, найдет он лошадь аль нет?

— Как тут найдешь, черта с два найдешь; слышь, денег нету... напрасно набегаются...

В это время Антон остановился у берега и крикнул:

— А куды пройти к заставе?

— Ступай, ступай все прямо по горе, мимо острога... ступай на гору, ступай вверх по горе...— отвечали мужички в один голос...

И долго еще продолжали они таким образом кричать ему вслед; Антона и вовсе не было видно; уже давным-давно закрыла его гора, а они все еще стояли на прежнем месте, не переставая кричать и размахивать на все стороны руками.

VII

РОССКАЗНИ

Наконец-то мало-помалу мужички успокоились; кто сел на лавочку подле ворот, а кто на завалинку. Пошли толки да пересуды о случившемся. Хозяин присоединился к ним как будто ни в чем не бывало; сначала, однако, не принимал он ни малейшего участия в россказнях, сидел молча, время от времени расправлял на руках полушубок Антона, высматривая на нем дырья и заплаты, наконец свернул его, подложил под себя и сел ближе, потом слово за словом вмешался незаметно в разговор, там уже и заспорил. Кончилось тем, что не более как через полчаса все присутствующие, не включая и тех, которые более других бранили дворника, согласились с ним во всем и чуть ли даже не обвинили кругом бедного Антона. Сам толстоватый яро-

славец, принявший было так горячо сторону обиженного, и тот начал понемногу подаваться...

— Знамо, что говорить,— сказал он примирительным тоном хозяину,— кто его знает, что он за человек? в чужой разум не влезешь... да ведь разве я тебя тазал когда?.. когда я тебя тазал?.. я к слову только молвил, к полушубку; мужика-то жаль добре стало... ишь, стужа... а я тебя не тазал, за что мне тебя тазать?..

— Известно, братец ты мой, надо настоящим делом рассуждать,— отозвался седой старик,— за что ему на тебя злобу иметь, за что? (Он указал хозяину на ярославца.) — Он ему не сват, не брат... может статься, так, слово какое в пронос сказал, а ты на себя взял; что про то говорить, может, и взаправду конь-то у него краденый, почем нам знать? Иной с виду-то таким-то мирыком прикидывается, а поглядишь — бядовый! вор какой али мошенник...

— Как не быть! всяк случается, братец ты мой,— начал опять ярославец,— ты не серчай... Вот, примерно,— прибавил он после молчка,— у нас по соседству, верстах этак в пяти, и того не станет, жил вольной мужик, и парень у него, сын, уж такой-то был знатный, смирный, работающий, что говорить, на все и про все парень!.. С достатком и люди-те были... Об лето хаживали, вишь, они по околотку, и у нашего барина были, крыши да дома красили, тем и пробавлялись; а в зимнее дело либо в осенину ходили по болотам, дичину всякую да зайцев стреляли; кругом их такие-то все болота, и, и, и! страсти господни! пешу не пройти! вот какие болота! Ну, хорошо; и говорю, мужички богатые были, не то, примерно, голыши какие... К ним господа езжали, и наш барин бывал, другой день поохотиться приедет, знамо, дело барское, ину пору позабавиться... Старик-ат куды, сказывают, горазд был знать места, где дичина водилась; куда, бывало, поедет, руками загребай; вот по этой-то причине господа-то... да, ну хорошо. Молодык, сын-ат, слышите, братцы, такой-то парень был, что, кажись, во всем уезде супротив ни одному не вытянуть... куда смирный, такой-то смирный... хорошо, вот, на бяду, спознаться ему с солдаткой из Комарева; знамо, дело молодое! а уж она такая-то забубенная, озорная баба, бяда! Ну хорошо, стакнулись, согласились, живут, то есть, выходит, примерно, по согласью живут. Вот, братцы, раз этак под утро приезжают к ним три купца: также поохотиться, видно, захотели; ну, хорошо; парнюха-то и выгляди

у одного из них невзначай книжку с деньгами; должно быть, они с ярманки или базара какого к ним завернули; разгорелось у него сердце; а парень, говорю, смирный, что ни есть смиряющий; скажи он сдуру солдатке-то про эти деньги, а та и пошла его подзадоривать, пуще да пуще, возьми да возьми: никто, мол, Петруха, не узнает... А какой не узнает! где уж тут не узнать...

— Как не узнать!.. вона дело-то какое... э! э! ишь, проклятая!.. ишь, чего захотела... э! — заговорили в одно время слушатели, качая головами.

— Ну хорошо, — продолжал ярославец, — как начала она его так-то подзадоривать, а парень, знамо, глупый, дело молодое, и польстись на такое ее слово; она же, вишь, сам он опосля рассказывал, штоф вина ему принесла для куража, а может статься, и другое что в штофе-то было, кто их знает! туман какой, что ли! Ну, поснедали купцы, запалили ружья, да и пошли в лес; взяли с собой и парня, Петруху-то; ну хорошо. Вот, братцы вы мои, и залучи он того, с деньгами, в трущобу, вестимо ради охоты... Пришли. Как закричит Петруха-то на зайца, тот сердешный купец и кинулси; как кинулси-то он, а Петруха-то тем временем как потрафит да как стрельнет ему в спину, так, сказывали, лоском и положил купца, зараз потерял человека...

— Э!.. о!.. воно оно... ишь!.. эка грех какой!.. — отозвалось несколько голосов.

— Ну хорошо, — продолжал ярославец, — сам, братцы, сказывал опосля Петруха... самому, говорит, так-то стало жалко, ужаси, говорит, так жалко, за что, говорит, потерял я его; а как сначала-то обернулся купец-ат, говорил Петруха, в ту пору ничего, так вот сердце инда закипело у меня, в глазах замитусило... и не знать, что случилось такое... знать уж кровь его попутала... Ну хорошо, как повалился купец, Петруха по порядку, как следно, взял у него деньги, закопал их в землю, да и начал кричать, словно на помощь, примерно, зовет, кричит: застрелился да застрелился! Стало, уж так недобрый какой обошел его; пришли два другие купца; прибежали, спрашивают Петруху... а тот и замялся, сробел, сердешной... Осмотрели они купца, видят, что спина у него опалена; глядят, дело неладно, обшарили — и денег нетути; так да саяк, взяли они Петруху, тогда сам, вишь, дался, в неправде-то бог, знамо, запинаят, скрутили да в острог и посадили; в нашем остроге и сидел... Так вот, братцы, како дело вышло, а парень, го-

ворю, что ни на есть смирнеющий, хороший парень, ловкий такой...

— Ну, а чем же, брат, дело-то покончилось?—спросили несколько человек.

— Дело-то чем покончилось?... а вот чем: сидит так-то год целый Петруха в остроге... ладно; а отец, старик-ат, тем временем хлопотать да хлопотать, много и денег передавал, сказывают... ну, совсем было и дело-то уладил, ан вышло и бог знает как худо. Солдатка-то Петрухина повадилась опять, вишь, к нему таскаться; уж как угодила она, леший ее знает, а только в острог к нему таскалась. Ходила, ходила, да и выведай от него, недобрая мать, про деньги-то! простой был парень; он сдуру-то и поведай ей то место, куды закопал их; известно, может, думал, пропадут задаром, так пусть же лучше ей достанутся; хорошо; как получила она себе деньги, и пошла дурить, то есть чего уж ни делала! что ни день, бывало, платки у нее да шелки, прикрасы всякие, то есть цвету такого нет в поле, какие наряды носила, вот как! Знамо, бабье дело: чем бы деньги-то приберечь, припрятать, а она гремит их на весь свет... Что то за диво? думали в Комареве. Отколь валит такое у Матрешки? таракали, таракали, хватать да хватать, спросы да расспросы, туда-сюда, да и довелись: все рассказала, где взяла, откуда и как достались... Дело и спознали... тут, как уж потом ни бился старик отец, ничего не сделал; денег-то, знамо, уж не было у него в ту пору, все растуторил, роздал, кому следует... так и осталось... Заковали Петрушку в кандалы и погнали в Сибирь... Я помню, как и отправляли-то его, сердешного, довелось видеть... народу-то!.. и, и, и!.. видимо-невидимо... право, так инда жаль его стало; парень добре хороший был...

— Ну, а отец что?

— Да, сказывают, прошлу зиму помер...

— Ишь оно дело-то какое; какой грех на душу принял: польстился на деньги,— заметил старик.— А что, братцы, он ведь это неспроста? помереть мне на этом месте, коли спроста...

— Знамо, что неспроста,— подхватил другой глубокомысленно,— надо настоящим делом рассуждать; разве по своей воле напустит на себя человек тако лихоимство? шуточно ли дело, человека убить! лукавый попутал!..

Во время этого разговора к воротам постоянного двора подъехала телега; в ней сидели два мужика: один моло-

дой, парень лет восемнадцати, другой — старик. Последний, казалось, успел уже ни свет ни заря заглянуть под ёлку и был сильно навеселе.

— Ребята! Эй, молодцы! — кричал он еще издали, размахивая в воздухе шапкою, — хозяин! можно постоять до ярманки?

— Ступайте, — откликнулся хозяин, — на то и двор держим, ступайте...

Он отворил ворота и ввел приезжих под навес.

Вскоре хмельной старичишка и молодой парень, сопровождаемые хозяином, подсели к разговаривающим.

— Про что вы тут толмачите, молодцы? — спросил старикашка, оглядывая общество своими узенькими смеющимися глазками; тут приподнял он шапку и, показав обществу багровую свою лысину, окаймленную белыми, как снег, волосами, посадил ее залихватски набекрень.

Присутствующие разразились громким единодушным смехом.

— Ишь, балагур, старик какой! ай да молодец! а ну-ткась, тряхни-ка стариной! у! у! — посыпалось со всех сторон.

— Ой ли? — произнес старик, подпираясь в бока и пускаясь в пляс, — ой ли? аль не видали?..

— Полно, батюшка, — сказал сердито молодой парень, удерживая его, — эк на старости лет дуришь, принес свою бороду на посмешище городу; полно...

— А что ж, — отвечал тот, силясь вырваться из рук сына. — Ах ты такой-сякой... я ж те, не замай... пфу!.. да ну те к нечистому, плюньте на него, ребятушки... давайте сядемте-ка... рассказывай ты, рыжая борода, о чем вы тут таракаете?..

— А вишь, нынешнюю ночь увели отсель у мужичка лошадь... — отвечал кто-то, думая вызвать этим известием хмельного старичка на потеху.

— Эхва! увели... ну, а где ж он сам-ат? в кабачище, чай, косуху рвет с горя?..

— Да, как же, в кабаке... побежал, вишь, ее разыскивать...

— Эй, Ванюха, чертова кукла! — вскричал старичишка, обращаясь мгновенно к сыну, который, казалось, очень был недоволен штуками отца, — мотри, уж не тот ли это мужик... Вот, ребятушки, — продолжал он, оскаливая свои беззубые десны и заливаясь хриплым смехом, — не будет тому больно

давно, повстречали мы за заставой мужичка... такой-то чудной... так вот и бежит и бежит по полям, словно леший его гонит... «Поглядь-ка, говорю, Ванюша, никак мужик бежит, по пашне». — «И то, говорит, бежит...» Поглядели... бежит, так-то бежит, и, и, и! и давай кричать: «эй, погоди, постой!..» Куды те, дует себе, не докличешься!.. уж такой-то, право, мужик любопытный! пра, любопытный!.. должно быть, он...

— Он, он и есть... он... — отозвалось несколько голосов. Старик ухватился под бока, и все туловище его закачалось от хриплого прерывистого хохота. Тут разговор сделался общим; несколько человек, увлеченные сочувствием к старичку-балагуру, тотчас же принялись рассказывать ему в один голос все подробности происшествия ночи.

Между тем занялось утро; окрестности мало-помалу пробудились; по скату горы снова потянулись подводы, забелели палатки, запестрел народ. Паром, нагруженный возами и мужиками, задвигался по реке, противоположный берег которой заслонялся совершенно серым, мутным, туманом; в кузницах подле постоянного двора загудели мехи, зазвенело железо. Ярмарка снова начиналась, кому на горе, а кому и на радость. В самое короткое время двор наполнился постояльцами, приезжавшими из заречья; кое-кто из пешеходов подходил и со стороны города. Последние располагались кучками подле ворот и вокруг избы; в числе их особенно много было баб проходимок, богомолков, нищих. Между последними нельзя было не заметить Архаровны. Она, по-видимому, не принадлежала ни к какой кучке и одиноко бродила туда и сюда. Никто из присутствующих не знал побирушки; но одна ее одежда, состоящая на этот раз исключительно из лохмотьев, связанных узлами и укутывавших ее с головы до ног, так что снаружи выглядывало только сморщенное, темное лицо старухи и несколько пучков серых, желтоватых волос, в состоянии уж была обратить на себя всеобщее внимание. К тому также немало способствовали: сапоги вместо лаптей, непомерно длинная суковатая клюка, а наконец, и широкая сума, набитая вплотную и которую Архаровна держала на сгорбленной спине своей так же свободно, как любой бурлак. Три молодых парня, стоявшие у ворот, были первые, которые ее заметили. «Ишь, — сказал один, — вот так старуха; ну уж, баба-яга, подлинно что баба-яга». — «Да, — подхватил другой, — повстречаться

с такой-то ночью, так испугаешься: подумаешь, нечистого встретил...» — «Ишь, старая, старая,— продолжал насмешливо третий,— а шутка каку штуку наворошила себе на спину... и нашему брату не под моготу...»

Архаровна подошла, припадая с одной ноги на другую, к окну избы, постучалась легонько по рамке клюкою и произнесла жалобно нараспев: «Кормилицы наши, батюшки, подайте милостинку во имя Христо-о-во...» Окно отворилось, из него высунулось рябое лицо дворничихи. «Бог подаст, много вас здесь шляется... ступай-ка, ступай...» — сказала она грубо и без дальних рассуждений захлопнула окно. Архаровна перекрестилась, потупила голову и подошла тем же точно порядком, припадая и прихрамывая, к толпе, стоявшей у ворот.

— Что, бабушка,— сказал один из молодых парней, ударяя ее по плечу,— умирать пора!..

— Ась, касатик!..

— Умирать пора, что шлешься...

— По хлебушко, кормилец, хлебушка нетути...

— А вон это что у тебя в мешке? ишь туго больно набито,— заметил он, подходя ближе и протягивая руку, чтобы пощупать суму; но старуха проворно повернулась к нему лицом и никак не допустила его до этого.

Другой молодой парень, стоявший поблизости, ловко подскочил в это время к ней сзади, и та не успела обернуться, как уже он обхватил мешок обеими руками и закричал, надрываясь от смеха:

— Старуха, мотри, эй, крупа-то высыпалась... право, на дне прореха... дорогой, того и гляди, всю раструсишь...

— Оставь!.. каку тут еще крупу нашел... — бормотала сердито Архаровна, стараясь высвободить мешок из рук парня,— экой пропастный, полно, оставь...

Но парень одним поворотом руки бросил суму наземь, повернул старуху и указал ей на прореху, из которой в самом деле сыпалась тоненькою струею крупа.

— Ахти!.. батюшки!.. — крикнула старуха, расталкивая собравшихся зевак и поспешно нагибаясь,— ой, касатики мои... вот люди добрые подали крупы на мою бедность... да и та растерялась... растерялась... ох...

И она заплакала.

— Знать, много ты бедна,— сказал иронически парень,— что целый мешок наворочали тебе люди-то добрые... эки добрые, право; у них крупа-то, видно, что скорлупа...

Да что ты пихаешься, тетенька? небось не возьму, не съем,— продолжал он, удерживая одною рукою Архаровну, другою развертывая суму.— Ишь, ребята... эй, поглядите, какова нищенка... вона чего припасла... вон в кулечке говядинка... э! э!.. эхва, штоф винца в тряпице... два! братцы! два штофа и сала кусок, э! а вот и кулек с крупкою... жаль только, тетка, прорвался он у тебя маленько... ай да побирушка! да полно, уж не живешь ли ты домком?.. Чай, на ярманке накупила по хозяйству... что ж, в гости-то позовешь нас, что ли?.. да полно, ну, чего пузыришься, ишь огрызается как! говорят, не съедим, не тронем, поглядеть только хотелось...

И он обхватил ее еще крепче руками.

— Ишь, взаправду, чего набрала,— заметил старик, подбираясь к мешку,— а еще милостинку собираешь... эх, ты... жидовина... да тебе, старой, эвтого и в год не съесть...

Все эти замечания, хохот, насмешки толпы, обступившей парня и нищенку, остервенили донельзя Архаровну; куда девались ее несчастный вид и обычное смирение! она ругалась теперь на все бока, билась, скрежетала зубами и казалась настоящей ведьмой; разумеется, чем долее длилась эта сцена, тем сильнее и сильнее раздавался хохот, тем теснее становился кружок зрителей... Наконец кто-то ринулся из толпы к парню и, ухватив его за плечи, крикнул что было силы:

— Эй, Петруха, мотри, укусит... пусти!..

Парень отскочил; толпа завывала еще громче, услышав страшные ругательства, которыми старуха начала осыпать ее. Наконец Архаровна встала; повязка сползла с головы ее, седые волосы рассыпались в беспорядке по лохмотьям; лицо ее, искривленное бешенством, стало вдруг так отвратительно, что некоторые отступили даже назад. Она подобрала, не оправляясь, все свои покупки в суму, взяла ее в обе руки, забросила с необыкновенною легкостью на плечи и, осыпав еще раз толпу проклятиями, поплелась твердым шагом к городу. Все это исполнено было так неожиданно, что все опешили от удивления; густой, оглушительный хохот раздался уже тогда в толпе, когда старуха совсем исчезла из виду...

Хмельной старикишка, приехавший с молодым парнем, готовился было начать рассказ о встрече своей с Антоном какому-то мельнику (что делал он без исключения всякий

раз, как на сцену появлялось новое лицо), когда к кружку их подошел человек невысокого роста, щегольски одетый; все в нем с первого разу показывало зажиточного фабричного мужика. На нем была розовая ситцевая рубаша, подпоясанная низехонько пестрым гарусным шнурком с привешенным к нему за ремешок медным гребнем; на плечах его наброшен был с невыразимою небрежностью длинный-предлинный синий кафтан со сборами и схватцами. Зеленые замшевые рукавицы, отороченные красной кожей, высокая шляпа, утыканная алыми цветами с кулича, и клетчатый бумажный платок, который тащил он по земле, довершали его наряд.

— Здравствуйте, братцы,— произнес он, приподымая легонько шляпу,— вот что, не здесь ли остановился троскинский мужичок Антон?.. Он сюда лошадь приехал продавать... лошаденка у него пегая, маленько с изъянцем... Обещался я его проведать, да никак не найду; по всему низовью прошел, ни на одном постоялом дворе нету...

— А какой он из виду?— спросил кто-то.

— Такой сухолядый, долговязый, лет ему под пятьдесят... с проседью...

— Э! э! э!..— раздалось в толпе,— да уж не тот ли, братцы?..

— С кем я повстречался на дороге?— подхватил хмельной старичишка,— говорю, мотри, Ванюха, мужик, мужик бежит... И то, говорит...

— Ну, брат,— живо перебил третий,— с ним неспорое дело попритчилось...

— Что ты? какое дело?..

— Да зевуна дал: у него кобылку-то подтибрили, увели; нынче ночью и увели...

— Неужто правда? — вскричал фабричный, ударяя об полы руками.

— Не встать мне с этого места... спроси хошь у ребят, вот те Христос — правда...

— Да кто ж это? как?..

— А бог их знает, увели, да и все тут!

— Где ж он сам-от?

— Разыскивать побежал лошадь... маненько, брат, и не захватил ты его...

— Я встретился с ним на дороге,— начал было снова старичишка,— бежит, бежит, такой-то, право, мужик любопытный!

— Эко дело! э!— произнес с истинным участием фабричный,— да расскажите же, братцы, как беда-то случилась.

Все разом принялись кричать, рассказывать; хозяин перекричал, однако, других и с разными прибавлениями, оправдывавшими его кругом, рассказал парню обо всем случившемся.

— Ну, пропал! совсем запропастил, сердяга, свою голову,— твердил тот, хмурясь и почесывая с досадою затылок,— теперь хоть смерть принять ему, все одно.

— А что, он тебе брат али сродственник какой?

— Нет, не сродственник: земляк; да больно жаль мне его, пуще брата... то есть вот как жаль!.. мужик-то такой добрый, славный, смирный!.. Его совсем, как есть, заест теперь управляющий... эка, право, горемычная его доля... да что толковать, совсем он пропал без лошади...

— Знамо, в крестьянском житье лошадь дело великое: есть она — ладно, нет — ну, вестимо, плохо.

— А какой мужик-то,— продолжал земляк Антона, садясь на лавочку и грустливо качая головою,— какой мужик! ох, жаль мне его...

— А мы, брат, не посетуй, признаться, чаяли, вот и хозяин говорил, будто он человек недобрый какой... И господь знает, отчего это нам на разум пришло.

— Хоть верьте, хоть нет, я не про то его хвалю, что земляк он мне... да вот, братцы, спросите...— С этими словами указал он на мужика в красной александринской рубашке, подходившего к их кружку,— знаешь, Пантюха,— крикнул он ему, когда тот мог слышать,— знаешь, беда какая... подь скорей сюда...

— Ну что?

— Ведь у нашего Антона лошадь-то увели.

— Ой ли?

— Ей-богу, правда, вот здесь и молодцы все знают... а я думал, брат, на радость привести тебя к землячку, эка беда!..

И он повторил Пантюхе все слышанное им от дворника.

— Ну, пропал, совсем пропал мужик,— произнес тот после некоторого молчания,— невесть что с ним станется. Никита заест его... эка, право, мужик-ат этот лихобойный, несчастный!..

— Да кто у вас Никита-то?

— Управляющий...

— Что ж ему заедать его? ведь лошадь не господская, мужицкая...

— А то, что он послал его продавать ее... податей заплатить нечем...

— Э! вот оно что... Стало, мужик добре бедный!..

— Какой бедный! совсем разоренный; а все через него же, управляющего... этакого-то господь послал нам зверя...

— Драчлив, что ли?

— Такой-то колотырник, так-то дерется, у-у-у!.. беда! — отвечал Пантюха, махнув рукой и сядя на лавку подле товарища, — и не то чтобы за дело; за дело бы еще ничто, пущай себе; а то просто, здорово живешь, казнит нашего брата...

— Что и наш, верно, — перебил ярославец, молчавший все это время, — у нас вотчина-то большая, управляющий-то из немцев, такой же вот бядовый! ни богу, ни людям, ни нам, мужикам... смерть! Раз вот как-то иду я и, признаться, не приметил, шапку ему не снял; ну хорошо; как подошел он ко мне да как хватит меня вот в это само место; ну хорошо; я ему и скажи в сердцах-то: Карл Иванович, за что, мол, ты дерешься? как он, братцы, хлысть меня в другую; ну хорошо; я опять: бога, мол, не боишься ты, Карл Иваныч... Как почел таскать, так я инда и света не взвидел, такой-то здоровенный, даром что немец... А спроси, за что бил, я чай, и сам не знает; такое, знать, уж у него сердце... ретив, больно ретив...

— Поди ж ты, иной барин не так спесив: мужичка жалует...

— Эти-то, что из нашего брата, да еще из немцев, — хуже, — заметил старик, — особливо, как господа дадут им волю, да сами не живут в вотчине; беда, того и смотри, начудят такого, что ввек поминать станешь... не из тучки, сказывали нам старики наши, гром гремит: из навозной кучки!.. Скажи, брат, на милость, за что ж управляющий-то ваш зло возымел такое на землячка... Антоном звать, что ли?

— Думает, он понес на него жалобу барину в Питер...

— А, вот что! э! ишь!.. — слышалось в толпе, которая все плотнее и плотнее окружала разговаривающих.

— А жалобу-то не он совсем и понес... коли на прямые денежки отрезать, по душе сказать. Она пошла от всего мира... он виновным только остался...

— Как так?

— Да вот как... Старый барин наш помер, тому лет пять будет; Никита и остался у нас управляющим. По настоящему делу ему не след было бы; да так уж старый барин пожелал... он, вишь, выдал за него при живности своей свою любовницу; ее-то он жаловал, она и упросила...

— Стало, любил ее барин?

— А так-то любил, что и сказать мудрено... у них, вишь, дочка была... она и теперь у матери, да только в загоне больно: отец, Никита-то, ее добре не любит... Ну, как остался он у нас так-то старшим после смерти барина, и пошел тяготить нас всех... и такая-то жисть стала, что, кажись, бежал бы лучше: при барине было нам так-то хорошо, знамо, попривыкли, а тут пошли побранки да побои, только и знаешь... а как разлутуется... беда! бьет, колотит, бывало, и баб и мужиков, обижательство всякое творит...

— Ну, а молодые-то господа?

— Молодые господа наши, сын да дочь, в Питере живут... мы их николи и в глаза-то не видали... вестимо, братцы, кабы они здесь жили или понаведывались, примерно, хошь на время, так ина была бы причина... у нас господа по отцу, добрые, хорошие, грех сказать, чтобы зла кому пожелали, дай им господь за то много лет здравствовать! Вот мой брат был в Питере и говорит: господа важные!.. Да где ж им самим до всего доходить? вотчин у них много, и то сказать, всех не объездишь; живут они в Питенбурхе,— господа! они рады бы, может статься, особливо барин, в чем помочь мужикам своим, да, вишь, от них все шито да крыто; им сказывают: то хорошо, другое хорошо, знатно, мол, жить вашим крестьянам, ну и ладно, они тому и верят, а господа хорошие, грех сказать; кабы они видали, примерно, что мужики в обиде живут от управляющего да нужду всяческу терпят, так, вестимо, того бы не пустили... Управляющему, знамо, какое до нас дело? нешто мы его? дана ему власть над нами, и творит, что ему задумается; норовит, как бы последнее оттянуть от мужичка... И добро бы, братцы, человек какой был, сам господин али какого дворянского роду, что ли; все бы, кажись, не так обидно терпеть, а то ведь сам такой же сермяжник, ходит только в барском кафтане да бороду бреет... а господа души, вишь, в нем не чают, они нашего мужицкого дела не разумеют, все сполняют, что ему только поволится... Ну, как почал он так-то обижать нас, видим, плохо; вот вся

деревня наша и сговорилаь написать жалобу молодому барину в Питер; время было к самому разговенью... а сговорившись-то и собрались так-то ночью в ригу, все до единого вросхмель, как теперь помнится, а рига такая-то большая, за барским садом стоит... был с нами и Антон...

При этом имени в толпе произошло движение, некоторые из слушателей наклонились еще ближе к рассказчику, и почти в одно и то же время со всех концов слышалось: «ну, ну!»

— Он, нужно сказать,— продолжал фабричный,— изо всего нашего Троскина один только грамоте-то и знал... уж это всегда, коли грамоту написать али псалтырь почтить над покойником, его, бывало, и зовут... ну, его и засадили; пиши, говорят, да пиши; подложили бумагу, он и написал, спроворили дело... Ну хорошо, послали в Питер, никто и не пронюхал; зарокон было бабам не сказывать, и дело-то, думали, споро, ан вышло не так...

У нашего управляющего, Никиты Федорыча, в Питере есть брат, такой же нравный; ходит он за барином; ну, вестимо, что говорить, сила! и другие-то люди из тамошних все ему сродни, заодно; как пришло наше письмо туда, известно, не прямо к барину: к людям сначала попало; швацар какой-то, сведения мы опосля, принял; барину он уж как-то там передает... у меня брат в Питирбурге-то у господ бывал... в одной, говорит, прихожей только-то народу, и-и-и... знамо, где уж тут дойти? народ все проворный, не то что наш брат, деревенский; ну, братцы, как получили они себе письмо, должно быть и смекнули, с кой сторонки... бумага али другое что не ладно было; а только догадались — возьми они его, утай от барина, да и поведайся, что в нем писано... а мы, вишь, писали, что управляющий и бьет-то нас беззаконно и всякое обижательство творит. Они видят, плохо пришло Никите, возьми да и отошли письмо-то назад к нему, да еще и свое приписали... Вот раз призывает нас так-то управляющий, этому года четыре будет, эвтак об утро, такой-то осерчалый, сердитый... а нам невдомек, и в мыслях не держали, чтой-то за дело... «Ах, мол, вы такие да сякие; я вас, говорит, по-свойски! я ж вам задам! Кто, говорит, писал на меня жалобу?» да как закричит... так вот по закожью-то словно морозом проняло: знамо, не свой брат, поди-тка, сладь с ним; маненько мы поплошали тогда, сробели: ну, а как видим, дело-то больно плохо подступило, несдобровать, доко-

нает!.. все в один голос Антона и назвали; своя-то шкура дороже; думали, тут того и гляди пропадешь за всех... Ну, вестимо, пришло Антону куды как жутко; уж чего-то он с ним, с сердешным, ни делал, как ни казнил, господь один знает. Был у Антона брат, Ермолай, женатый парень, того в первое рекрутство записал, а Антона на барщину да на барщину без отмены... Землица-то у него, как и у всех нас, плохая была; ну, вестимо, как рук не стало на нее, не осилил, и вовсе не пошло на ней родиться... тут, вишь, братнина семья на руках осталась, двое махоньких ребятенков, не в подмогу, а все в изъян да в изъян...

— Знамо, уж какая тут подмога — баба с ребятенками... — сказал, вздыхая, толстоватый ярославец. — Эка, мужик бедный, право...

— Это еще не все, братцы! — продолжал фабричный, постепенно воодушевляясь, — куды! он в отместку ему и землю-то у него ту отнял...

— Как, и землю отнял, землю? — крикнули многие.

— Да, отнял, и вырезал ему что ни на есть плошную во всей вотчине: суглинок... Хлеба у Антона с первого же года и не стало... а жил он, нужно сказать, прежде не хуже других... Была у него при покойном барине добрая «кулига»¹ сена, и той не оставил ему Никита: жирно больно живешь, говорит... Видит Антон, нечем кормить скотинку, а нужда пришла, крайность; он и давай продавать, сердешный, то лошадку, то корову, то овцу... И что бы вы думали? и тут-таки донял его Никита: не пускает его в город, да и полно; что ты станешь делать? Продавай, говорит, в деревне... Известно, какой уж тут торг, мужички же неимущие, денег нету, отдавать стал за бесценок. Пришло Антону день ото дня плоше да плоше; вестимо, мужичок не грибок: не растет под дождёк... долго ли разорить его? Так-таки совсем и разорил его, довел дотолева, что не осталось у него в доме ни полщепочки, живет как бы день к вечеру, и голодную собаку нечем стало из-под лавки выманить...

— Знамо, какое уж тут житье! Проти жара и камень треснет.

— Я чай, сам-то уж не рад, что грамоте горазд.

— Эх! бог правду-то видит, да, видно, не скоро ее сказывает! — заметил кто-то в свой черед.

— И такой-то человек этот Никита, — сказал фабричный, — что хоть бы раз забыл свою злобу. Вот нагдысь ска-

¹ Кулига — частица, участок. (Прим. автора.)

зывал мне наш же мужик, приходит к нему нынешнюю весну Антон попросить осину — избенку поправить; уж он его корил, корил, все даже припомнил... опричь того, и осины не дал... Вестимо, одно в одно; до того дошел теперь Антон, что хошь ступай сумой тряси, то есть совсем, как есть, сгиб человек... Уж так-то, право, жаль мне его...

— Как же не жаль,— начал опять ярославец.— Охо-хо!.. Ты же, брат, говоришь, мужик-ат добрый...

— Уж такой-то добрый... простой... Бывало, как жил-то хорошо, всякого готов уважить, простыня-мужик... Через простоту свою да доброту и пострадал более... Добрая была душа...

— Ох, что-то теперь с ним станется?.. Ведь лошадь, ты, брат, говоришь, у него была последняя?..

— Последняя...

— Вот то-то... мерзлой роже да метель в глаза... Плохо ему... и вряд ему найти...

— Где, где теперь найти! И господь знает, куды загнали лошадь...

— Право, кабы знал, пособил бы ему, ей-богу бы пособил,— сказал ярославец.— Послушай, брат хозяин, полно тебе жидоморничать; ну, что ты с него возьмешь, ей-богу, грех тебе будет, отдай ему полушубок... Э! Не видал, что ли, полушубка ты крестьянского?.. Слышишь, мужик бедный, неимущий... Право, отдай; этим, брат, не разживешься; пра, отдай!..

Оба фабричные и бо́льшая часть присутствующих изъявили то же мнение. Хозяин отмалчивался. Сухоощавое лицо его выражало совершенное невнимание к тому, что говорили вокруг него; ни одна черта не обозначила малейшего внутреннего движения. Наконец он медленно приподнялся с своего места, погладил бороду, произнес с озабоченным видом: «пустите-ка, братцы»... подошел к воротам, окинул взором небо, которое начинало уже посылать крупные капли дождя, и, бросив полушубок Антона к себе на плечи, вошел в избу. Брань и ругательства сопровождали его.

Холодный осенний дождь — забойный, как называют его поселяне, полил сильнее и сильнее. В одно мгновение вся окрестность задернулась непроницаемою его сетью и огласилась шумом потоков, которые со всех сторон покатились, клубясь и журча, к реке. Мужички поднялись с лавки и подошли к воротам.

— Вот тебе и ярманка,— сказал толстый мельник, вы-

ставляя свои сапоги под желоб.— Ишь какое господь посылает ненастье... Хорошо еще, что я не поторопился: того и гляди муку бы вымочил...

— Ишь, дядя Трифон, погляди-ка, как народ-то бежит по горе,— произнес молодой парень, схватившись за бока,— вон, вон, по горе... Небось дождем-то знатно пронимает...

— Что за напасть, братцы, вот почитай месяц целый, как дождь льет бесперечь... Теперь того и гляди мороз, долго ли до беды, как раз озими обледенеют... вымочки пойдут...

— Да, погрелись, знать, перед господом богом: и прошлого года было куды с хлебами-те плохо, а как нынешний пойдет такой же, так и совсем бяда...

— Что-то теперь с землячком твоим станет, где-то он, сердешный?— сказал ярославец, подходя к одному из фабричных, прислонившемуся к завалинке.— Вот ему куды, чай, как плохо: ишь чичер, сиверца пошла какая...

— А что случилось,— перебил седой старикашка, проходя в это время мимо,— бежит себе да бежит, как когда я его встретил... так вот и дует, чай... Такой-то мужик любопытный...

— Пошел, старый, не тебя спрашивают... Эх, жаль мне его, уж так-то, право, жаль!— прибавил фабричный, обращаясь к ростовцу.

— И полушубка-то на нем нет... у хозяина, у подлой души, за долг оставил... чай, так-то иззяб, сердешный...

— Как не прозябнуть! Ишь какая пошла погода, все хуже да хуже, индо в дрожь кинуло... И ветрено как стало... так с ног и ломит...

— Чай, промок?

— Как не промокнуть! Говорят, в одной рубахе пошел, аль не слышишь?..

— Ишь, кругом, братцы, как есть обложило, надолго, знать, будет дождь.

— Пойдемте в избу... и здесь донимать начинается... смерть... Ишь золко добре...

И толпа повалила греться.

VIII

НИКИТА ФЕДОРЫЧ

Несмотря на раннюю пору и сильный морозный ветер, обращающий лужи в гололедь, троскинский управляющий,

Никита Федорыч, был уже давно на ногах. Исполненный благодарности к молодым господам своим, которые так слепо доверяли его честности свое состояние, так безусловно поручали ему страшную обузу управления полуразоренного имения, он старался всеми силами если не вполне оправдать их доверие, то по крайней мере не употреблять его во зло. И мог ли он в таком случае щадить свои силы и здоровье? Должен ли был потакать той гнусной лени, которая, бог весть за что и почему, досталась в удел русскому человеку?.. С обязанностью управляющего соединяется всегда столько хлопот, труда, попечений, ответственности!.. Нет, Никита Федорыч не мог действовать иначе. Если бы даже находился он при других обстоятельствах, то есть не пользовался бы таким безграничным доверием господ или был поставлен судьбою сам на их место, и тогда, в этом можно смело ручаться, нимало не утратил бы ни благородного своего рвения, ни деятельности, ни той ничем не сокрушимой энергии, которая так резко обозначалась в его серых, блистающих глазах; он слишком глубоко сознавал всю важность такой должности, он как будто нарочно рожден был для нее.

Иметь под надзором несколько сот бедных крестьянских семейств, входить в мельчайшие их отношения, чужь сердцем их потребности и нужды, обладать возможностью иногда словом или даже движением обращать их частные горести в радость, довольствоваться умеренно их трудами, всегда готовыми к услугам, и вместе с тем наблюдать за их благополучием, спокойствием, — словом, быть для них, бедных и безответных, отцом и благодетелем, — вот какая доля досталась Никите Федорычу! вот чему он так горячо мог сочувствовать и сердцем и головою. И, боже, как был счастлив троскинский управляющий! Как легко довелось ему стать в положение такого человека! Есть люди, которые с детства готовятся для какого-нибудь назначения, работают денно и нощно, истощают все силы и средства свои и все-таки не достигают того, чтобы обнаружить свои труды и мысли на деле, тогда как он... Стоило только Аннушке, теперешней супруге управляющего, замолвить слово старому барину — и уже Никита Федорыч стоит лицом к лицу с своей задушевной целью и действует. Впрочем, сказывают, все это случилось перед самою кончиною барина.

Итак, Никита Федорыч, несмотря на раннюю пору и стужу, был уже на ногах. Он успел побывать на скотном

дворе, заглянул в клеть, где стояли три тучные коровы, принадлежавшие супруге его, Анне Андреевне, посмотрел, достаточно ли у них месива, погладил их, потом прикрикнул на старую скотницу Феклу, хлопотавшую подле тощих барских телок, жевавших по какому-то странному вкусу, им только свойственному, отлежалую солому. Далее заглянул он в ригу, где несколько мужиков обмолачивали господскую рожь. Исполнив это, Никита Федорыч направился к собственному своему «огородишку», как называл он его, то есть огромному пространству отлично удобренной и обработанной земли, на которой виднелись в изобилии яблони, груши, лен, ульи и где репа, морковь, лук и капуста терпели крайнюю обиду, ибо служили только жалким украшением. Тут он совсем захлопотался с мужиками, которые окутывали ему на зиму яблони и обносили огород плотным забором и канавой. «Экой проклятый народ,— твердил он, размахивая толстыми своими руками,— лентяй на лентяе; только вот и на уме, как бы отхватать скорее свои нивы, завалиться на печку да дрыхнуть без просыпу... до чужого дела ему и нуждушки нет... бестия народ, лентяй народ, плут народ!»

Время, вот видите ли, подходило к морозам; Никита Федорыч нарочно нагнал всю барщину, думая живее отделаться с своим огородом, чтобы потом, сообщая, дружнее, всем миром приняться за господскую молотьбу; но мир почему-то медленно и нехотя подвигал дело, и это обстоятельство приводило бедного управляющего в такое справедливое негодование. Пожурив, как водится, лентяев, снабдив их при случае полезными советами и поучительными истинами, Никита Федорыч поплелся через пустынный барский двор прямо к конторе. Но даже и здесь не дали ему покоя. Не успел он сделать двух шагов, как Анна Андреевна высунула из окна больное, желтое лицо свое, перевязанное белой косынкой по случаю вечного флюса, и прокричала пискливым, недовольным голосом:

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч, ступай чай пить! что это тебя, право, не дожدهшься; да ступай же скорее!.. полно тебе переваливаться!..

— Иду, иду, барыня, успеешь еще... иду...— проговорил заботливый супруг.

Тут замахнулся он было в рассеянности на петуха, взгромоздившегося на соседний забор и неожиданно продравшего горло, но, к счастью, спохватился заблаговре-

менно: петух был его собственный; он кашлянул, плюнул и, окинув еще раз двор, вошел к себе в сени.

Квартира его занимала часть старого флигеля, построенного, как водилось в прежние годы, для помещения гостей, имеющих обыкновение приезжать в провинции на неделю, а иногда и более, нисколько не заботясь о том, приятно ли это или нет хозяину. Но теперь не оставалось и тени тех крошечных, уютных комнаток с ситцевым диванчиком, постелью, загроможденною перинами, умывальником подле окна с вечно висевшим над ним пестрым полотенцем — узаконенным годичным приношением трудолюбивых деревенских баб. Следы комнаток обозначались лишь на внутренней стене всего здания желтоватыми полосами от перегородок, замененных двумя капитальными стенами, с сеничками посередине, разделявшими флигель на две равные половины. Над дверьми одной стороны сеней висела черная доска с надписью: «Контора»; над дверьми другой не было никакой надписи — да и не надо было: всякий знал хорошо, что тут жил Никита Федорыч. Нельзя пропустить без внимания промежутка между двумя этими половинами, то есть сеничек; они также имели свое особое назначение, хотя также не видно было никакой надписи: здесь в летнее время Никита Федорыч производил суд, или, лучше сказать, расправу над провинившимися крестьянами, порученными его надзору; с истинно безукоризненной справедливостью.

Квартира управляющего состояла из темной прихожей, в то же время кухни, и трех больших светлых комнат. В первой из них, как прежде других бросающейся в глаза, хозяин и хозяйка старались завсегда соблюдать чистоту и порядок. Предметы роскоши также имели здесь место. В самом светлом и видном углу блистал ярко вычищенный образ в богатой серебряной ризе, которым покойный барин, в качестве посаженного отца, благословил жену бывшего своего камердинера; подле него на старинной резной горке находился разрозненный фарфоровый сервиз, или, лучше сказать, несколько разрозненных сервизов, вероятно тоже подаренных в разных случаях старым барином смазливой Анне Андреевне. В остальных углах и вдоль стен были установлены в ряд разнокалиберные, разнохарактерные диваны, кресла, стулья, иные из красного дерева с позолотою, другие обтянутые полинявшим штофом, которыми владел Никита Федорыч, должно быть, вследствие духовного завещания после барина или чрез излишнюю к нему

благосклонность покойника. Две другие комнаты были почти вплотную заставлены пожитками, перинами, холстинами, сундуками и всяким другим добром обоих супругов, не выключая, разумеется, и широкой двуспальной постели, величественно возносившейся поперек дверей. Но туда из посторонних никто не заглядывал; Никита Федорыч почему-то не допускал этого, а следовательно, и нам нет до них никакой надобности.

— У-уф! матушка Анна Андреевна, умаялся совсем с этим проклятым народом,— произнес Никита Федорыч, сядя к окну в широкие старинные кресла.— Ну, барыня-сударыня,— продолжал он,— наливай-ка теперь чайку... смотри, покрепче только, позабористее... Эй ты, ваша милость, троскинский бурмистр, поди-ка, брат, сюда...— сказал он, обращаясь к необыкновенно толстому, неуклюжему ребенку лет пяти, сидевшему в углу под стенными часами и таскавшему по полу котенка, связанного веревочкою за задние ноги.— Экой плут, зачем привязал котенка? брось его, того и гляди глаза еще выцарапает...

Ребенок, страдавший английскою болезнью, согнувшей ему дугой ноги, встал на четвереньки, поднялся, кряхтя и побрякивая, на ноги и, переваливаясь как селезень, подошел к отцу.

— Ну, ну, скажи-ка ты мне, молодец,— продолжал тот, глядя его с самодовольной миной по голове,— я, бишь, забыл, какие деньги ты больше-то любишь, бумажки или серебро?..

Это был всегдашний, любимый вопрос, который Никита Федорыч задавал сыну по нескольку раз в день.

— Бумажки!— отвечал, отдуваясь, ребенок.

— Ха, ха, ха!.. Ну, а отчего бы ты скорее взял бумажки?

— Легче носить!— отвечал троскинский бурмистр таким голосом, который ясно показывал, что уже ему надоело повторять одно и то же.

— Ха, ха, ха!.. Ну, ну, поди к матери, она тебе сахарку даст; пряничка ел сегодня?

— Нет,— сказал ребенок, глядя исподлобья на мать.

— Врешь, ел, канашка, ел... плутяга...

— Полно тебе его баловать, Никита Федорыч; что это ты, в самом деле, балуешь его,— подхватила Анна Андреевна,— что из него будет... и теперь никак не сладишь...

— Ну, ну... пошла, барыня,— вымолвил муж, громко

прихлебывая чай,—будет он у меня погляди-ка какой молодец... ха, ха, ха!.. Ваня,—шепнул он ему, подмигивая на сахарницу,—возьми потихоньку,—ишь, она тебе не дает... Ну, матушка Анна Андреевна,—продолжал он громко,—видел я сегодня наших коровок; ну уж коровы, нечего сказать, коровы!..

— Мне кажется только,—заметила супруга,—Фекла стала что-то нерадеть за ними... ты бы хоть разочек постраждал ее, Никита Федорыч... даром что ей шестьдесят лет, такая-то мерзавка, право...

— Небось, матушка, плохо смотреть не станет: еще сегодня задал ей порядочную баню... Ну, видел также, как наш огородишко огораживали... велел я канавкой обнести: надежнее; неравно корова забредет или овца... с этим народцем никак не убережешься... я опять говорил им: как только поймаю корову, овцу или лошадь, себе беру,—плачь не плачь, себе беру, не пущай; и ведь сколько уже раз случалась такая оказия; боятся, боятся неделю, другую, а потом, глядишь, и опять... ну, да уж я справлюсь... налей-ка еще чайку...

— Мне говорила наша попадья, что ярманка была очень хорошая,—начала Анна Андреевна,—и дешево, говорит, очень дешево продавали всякий скот... вот ты обещал тогда купить еще корову, жаль, что прозевали, а все через тебя, Никита Федорыч, все через тебя, впрочем, ты ведь скоро в город пошлешь, так тогда еще можно будет.

— Нет, я в город не скоро пошлю,—отвечал как можно равнодушнее супруг.

— Как! а оброк-то барской когда ж пошлешь на почту?—возразила та сердито.

— Он еще не собран; да хоть бы и весь был, торопиться нечего, подождут! Брат Терентий Федорыч пишет, что барину теперь не нужны деньги... Этак станешь посылать-то без разбору—так, чего доброго, напляшешься с ними; повадятся: давай да давай... я ведь знаю нашего молодца: вот Терентий Федорыч пишет, что он опять стал ездить на игру; как напишет, что проигрался, да к горлу пристало, тут ему и деньги будут, а раньше не пошлю, хоть он себе там тресни в Петербурге-то! Меня не учить, барыня-сударыня; я ведь знаю, как с ними справляться, с господами-то: «нет у меня денег,—написал ему, да и баста!—пар, мол, сударь, не запахан, овсы не засеяны, греча перепрела», вот тебе и все; покричит, да и перестанет; разве они дело

разумеют; им что греча, что овес, что пшеница — все одно, а про чечевицу и не спрашивай... им вот только шуры-муры, рюши да трюши, да знай денежек посылай; на это они лакомки... Вот с ними так куды мастера справляться; э! матушка, знаю я их, голубчиков, не в первый раз вести с ними дело... вот потому-то и оброку не пошлю... незачем!..

— Так-то ты всегда,— проговорила, ворча, хозяйка.— Когда это до нашего добра, так ты всегда кобенишься... денег небось жаль на корову... оттого и в город не посылаешь...

— Да, жаль, жаль! оттого и не посылаю...

— Жаль, то-то... а от кого и в люди-то пошел? от кого их добыл, деньги-то?..

— Ну, ну... пошла, барыня... э! смерть не люблю!..

Тут, без сомнения, возникла бы одна из тех маленьких домашних сцен, которые были так противны Никите Федорычу, если б в комнату не вошла знакомая уже нам Фатимка. Не мешает здесь заметить при случае, что лицо этой девочки поражало сходством с лицом жены управляющего, и особенно делалось это заметным тогда, когда та и другая находились вместе; сходство между ними было так же разительно, как между одутловатым лицом самого Никиты Федорыча и наружностью троскинского бурмистра. Те же черты, несмотря на разницу лет и всегдашний флюс Анны Андреевны, который сильно вытягивал их; разница состояла исключительно в одних лишь глазах; у жены управляющего были они серы и тусклы, у Фатимки — черны, как уголья, и сыпали искры. Впрочем, сходство между ними должно было приписывать одной игре природы, ибо Фатимка, или, как называли ее в деревне, «Горюшка», никаким образом не приходилась сродни Никите Федорычу.

— Ну, что?— спросил он ее.

— Мельник-с пришел...— отвечала она робко.

— Ах, я, бишь, совсем забыл... да, да... скажи, что сию минуту выйду в контору.

— Что там еще?— отозвалась Анна Андреевна.

— Должно быть, матушка, насчет помочи...— сказал супруг смягченным голосом,— мужиков пришел просить на подмогу...

Никита Федорыч хлопотливо покрыл недопитый стакан валявшимся поблизости календарем, искоса поглядел на жену, хлопотавшую подле самовара, потом как бы через силу, ворча и потягиваясь, отправился в контору. Косвен-

ный взгляд этот и суетливость не ускользнули, однако, от Анны Андреевны, подозрительно следившей за всеми его движениями; только что дверь в комнату захлопнулась, она проворно подошла к сыну и, глядя его по головке, сказала ему вкрадчивым, нежным голосом:

— Ванюша... ты умница?..

— Умница.

— Сахару хочешь... голубчик?..

— Кацу.

— Ну, слушай, душенька, я тебе дам много-много сахара, ступай потихоньку,—смотри же, потихоньку,—к тятке, посмотри, не даст ли ему чего-нибудь мельник... ступай, голубчик... а мамка много-много даст сахарку за то... да смотри только не сказывай тятке, а посмотри да и приходи скорее ко мне... а я уж тебе сахару приготовлю...

— Ты обманешь...

— Нет, душенька, вот посмотри... я сюда сахарок положу... как придешь, так и возьми его...

— Ты мало положила... еще...

— Экой... ну, вот еще кусочек...

— А еще положи...

— Довольно, душечка: брюшко заболит...

— Нет, еще... еще, а то не пойду,—закричал ребенок, топая ногою.

— Ну, ну... на вот тебе еще два куска...—отвечала мать, боязливо взглянув на дверь,—ступай же теперь.

Ванюшка сполз со стула и потащился из комнаты, оборачиваясь беспрестанно к матери, которая одной рукой указывала ему на порог, другою на кучку сахара

— Здравствуй, брат Аксений,—сказал управляющий, подходя к мельнику и глядя ему пристально в глаза.

— Здравствуй, батюшка Никита Федорыч,—отвечал тот, низко кланяясь.

— Что скажешь? а?..

— Да к вашей милости, батюшка, пришел.

— Ну, ну, ну...—проговорил заботливо управляющий и сел на лавочку.

— Что, батюшка Никита Федорыч,—начал мельник, переминаясь, но со всем тем бросая плутовские взгляды на собеседника каждый раз, как тот опускал голову, моргал или поворачивался в другую сторону,—признаться сказать... вы меня маненько обижаете...

— Как так?

— Да как же, батюшка: прошлого года, как я поступил к вам на мельницу, так вы тогда, по нашему уговору, изволили сверх комплекта получить с меня двести пятьдесят рублей; это у нас было по уговору, чтоб согнать старого мельника... я про эвти деньги не смею прекословить, много благодарен вашей милости; а уж насчет того... сделайте божескую милость, сбавьте с меня за... вино.

— Э! ге, ге, ге... так вы вот зачем, батюшка, изволили пожаловать!— произнес управляющий тоном человека, возмущившегося неблагодарностию другого.— Э! я тебе позволил держать вино на мельнице, беру с тебя сотню рублишков, а ты и тут недоволен, и этого много... Да ты знаешь ли, рыжая борода, что за это беда! вино не позволено продавать нигде, кроме кабаков, а уж я так только, по доброте своей, допустил это тебе, а ты и тут корячишься... Еще нынешнею весною допустил тебя положить с наших мужиков лишний пятак с воза, и это ты, видно, тоже забыл, а? забыл, что ли?..

— Нет, батюшка Никита Федорыч, мы много благодарны вашей милости за твою ласку ко мне... да только извольте рассудить, если б, примерно, было такое дело на другой мельнице, в Ломтевке или на Емельяновке, так я бы слова не сказал, не пришел бы тревожить из-за эвтого... там, изволите ли видеть, батюшка, место-то приточное, по большей части народ-то бывает вольный, богатый, до вина-то охочий; а вот здесь, у нас, так не то: мужики бедные, плохонькие... винца-то купить не на что... а мне-то и не приходится, батюшка Никита Федорыч...

— Ах ты, бестия, бестия!— говорил управляющий, качая головою,— ну, что ты мне пришел турысы-то плесть? а? Выгод тебе нет!.. Ах ты, борода жидовская!.. Да хочешь, я тебе по пальцам насчитаю двадцать человек из троскинских мужиков, которые без просыпу пьянствуют?..

— Что говорить... батюшка, есть пьющие... да только супротив Емельяновки-то того... а я вашей милости, пожалуй, перечить не стану, готов заплатить... да только, право, маненько как будто обидно станет...

— Полно тебе, старая харя,— возразил, смеясь, Никита Федорыч,— меня, брат, не проведешь; да ну, принес, что ли, деньги-то?..

— Есть, батюшка,— отвечал тот, охорашиваясь.

— То-то, выгоды тебе, верно, нет; вот оно что; вино-то почему берешь?

— Да по десяти с полтиной, батюшка-с.

— А сколько воды-то подливаешь? — спросил лукаво управляющий.

Мельник улыбнулся, почесал голову и поклонился.

— Давай-ка, давай; что толковать... — продолжал Никита Федорыч, вставая и подходя ближе к мельнику.

Тот вынул из-за пазухи тряпицу, в которой были деньги, и стал считать. В это время дверь конторы скрипнула. Никита Федорыч дернул мельника, набросил на деньги его шапку и выбежал в сени. Вскоре вернулся он, однако, совсем успокоенный; за дверью никого не оказалось.

— Вот так-то лучше, — говорил он, кладя деньги в карман, — а насчет дарового леса я уж писал барину... сказывал, что плотину сшибло паводком; он непременно пришлет разрешение выдать... ну, доволен, что ли, борода?..

— Благодарствуйте, батюшка Никита Федорыч, готов и впредь служить вашей милости, как угодно...

— Ну то-то же, смотри у меня...

— Никита Федорыч, — произнес мельник, взявшись за шапку, — к вам еще просьбица есть...

— Что такое?

— Да вот, батюшка, у вас здесь мужичок находится, Антоном звать; прикажите ему отдать мне деньги; с самой весны, почитай, молот он у меня, по сию пору не отдает; да еще встретился я как-то с ним, на ярманку вы его, что ли, посылать изволили, так еще грубиянить зачал, как я ему напомнил... уж такой-то мужик пропастный... батюшка...

— А!.. хорошо, хорошо, — вымолвил с расстановкою управляющий, — я этого еще не знал... ну, да уж заодно не миновать ему поселений! поплатится, каналья, поплатится за все... Эй, Фатимка!.. — произнес он, отворяя дверь.

Фатимка прибежала.

— Ступай сейчас в крайнюю избу, к Антону, скажи, чтобы шел сюда...

— Да он еще не возвращался с ярманки, — возразил мельник, — я уже заходил к нему...

— Как! и нынче еще не возвращался! вчера и третьего дня тоже! ну, да ничего, тем лучше; ступай, да смотри ты, бегом у меня, зови сюда жену его; я ж им покажу!

Фатимка побежала.

— А ты, Аксентий, ступай пока домой, я с ним разделаюсь.

В сенях Никита Федорыч встретил Ванюшу, который сосал пальцы, выпачканные сахаром.

— А ну-ткась, бурмистр,— сказал отец, подымая сына на руки,— хошь ли быть троскинским управляющим?

— Кацу,— живо отвечал мальчишка.

— Ха, ха, ха!.. ну, а что бы ты стал тогда делать?..

— А вот... вот... высек бы Михешку кузнецова...

— Ха, ха, ха!.. ай да бурмистр... ну, а за что бы ты его высек?

— У него,— отвечал Ваня гнусливо,— у него, вишь, бабка-свинчатка есть... он мне ее не дает...

— Ха, ха, ха... пойдем, пойдем, Расскажи-ка это матери... Анна Андреевна, а Анна Андреевна! послушай-ка, что говорит наш молодчик... ха, ха, ха!.. ну-ка, Ваня, скажи же мамке, за что бы ты высек Михешку-то кузнецова...

Но, к крайнему удивлению Никиты Федорыча, жена его не обнаружила на тот раз ни малейшего удивления к необыкновенной остроте любимого чада; она сердито поправила косынку, перевязывавшую больную щеку, и сухо сказала супругу:

— Полно пустяки-то врать!.. зачем приходил к тебе нынче мельник?

— Эка тебе, барыня-сударыня, приспичило! плотина повредилась — так мужичков просил... ведь я тебе уже рассказывал...

— Ах ты бессовестный! бессовестный! — закричала она, всплеснув яростно руками,— так-то ты? обманывать меня хочешь? Ты думаешь, что я не узнаю, что он тебе денег дал?.. ты от меня прячешь, подлая душа! Разве забыл ты, через кого в люди пошел... через кого нажился?.. кто тебя человеком сделал!..

— Что ты орешь, ведьма! — вскричал в свою очередь Никита Федорыч, делая несколько шагов к жене,— молчи! теперь старого барина нет, я тебе властитель, я тебе муж! шутить не стану; смотри ты у меня! Да, получил деньги, не показал тебе, не хотел говорить, да и не дам ни полушки, вот тебе и знай... да не кричать!

— Разбойник! — завопила жалобно Анна Андреевна, ложась на диван и ударяясь выть,— ты меня погубить хочешь! зарезать, обокрасть... Не жена я тебе, холопу проклятому!

— Варвара пришла-с... — произнесла Фатимка, войдя в комнату.

Услыша вопли Анны Андреевны, она быстро обернулась в ту сторону; видно было по первому ее движению, что она хотела к ней броситься, но взгляд Никиты Федорыча тотчас же осадил ее назад; она опустила глаза, в которых заблестали слезы, и проворно выбежала в сени. Управляющий вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. Трепещущая от страха Варвара стояла в сенях и, закрыв лицо разодранным рукавом рубахи, тяжело всхлипывала. Услышав шаги Никиты Федорыча, она мгновенно открыла лицо свое, на котором изображались следы глубокого отчаяния, простерла руки и с криком повалилась к нему в ноги.

— Батюшка! батюшка!.. не погуби! — твердила она, рыдая и орошая грязный пол и сапоги управляющего потоками слез, — не погуби... нас... сирот горемычных...

— Ступай-ка сюда, сюда! — произнес Никита Федорыч, топнув ногою.

Он указал ей на контору. Оба вошли. Фатимка, притаившись в темном углу сеней, глядела с каким-то страхом на всю эту сцену; но только что скрылась Варвара, она, как котенок, выпрыгнула из своей прятки, подбрела к дверям конторы, легла наземь и приложила глаза к скважине. Каждый раз, как голос Никиты Федорыча раздавался громче, бледное личико ребенка судорожно двигалось; на нем то и дело пробегали следы сильного внутреннего волнения; наконец все тело ее разом вздрогнуло; она отскочила назад, из глаз ее брызнули в три ручья слезы; ухватившись ручонками за грудь, чтобы перевести дыхание, которое давило ей горло, она еще раз окинула сени с видом отчаяния, опустила руки и со всех ног кинулась на двор. Так обогнула она флигель, потом опять перелезла через забор и, очутившись в крестьянских огородах, пустилась все прямо, по задам деревни. У крайних изб, за ригами, между обвалившимися плетнями стояла толпа девчонок и ребятшек; завидя ее, все в один голос принялись кричать: «Горюшка идет! Горюшка! Горюшка!» Тут Фатимка, как бы собравшись с последними силами, пустилась как стрела и, размахивая отчаянно ручонками, прокричала задыхающимся голосом:

— Беда с Варварой! бьют! бьют!

В то самое мгновение в толпе раздался детский вопль

и слова: «ой, мамка! мамка, мамка!» В то же время из среды ребятишек выбежала рыженькая хромая девочка, уже знакомая читателю, и поскакала навстречу Фатимке, вертясь на одной ножке и пронзительно взвизгивая: «Горюшка! Горюшка!..»

— Полно тебе, Анютка: услышат! — проговорила та, удерживая ее за руку и торопливо подбегая к Аксюшке и Ванюшке, племянникам Антона, которые ревели в два кулака. — Ну, Ваня, ну, Аксюшка, — продолжала она, обхватив их ручонками, — беда! беда пришла тетке Варваре... беда! «бык-от» и дядю вашего хочет, вишь, куда-то отправить... Я все, все слышала... все в щелочку глядела... не кричите, неравно услышат... право, услышат...

Все это проговорила она с необыкновенным одушевлением; ее бледные щеки разгорелись, она живо при каждом слове размахивала руками, непрерывно поправляя длинные пряди черных своих волос, которые то и дело падали ей на лицо. Аксюшка положила свой кулачок в рот и, удерживая всхлипывания, еще пуще зарыдала.

— Ой, дядя Антон, дядя Антон, — бормотал, заливаясь, Ванюшка, — куда ты ушел?.. он бы не дал бить тетку Варвару...

— Вот что! — сказала вдруг Фатимка, выпрямляясь и становясь посередь толпы, — вот что! Ваня, Аксюшка, все, все... побежимте туда... берите все камни, швырнем ему в окно, я покажу, в какое... мы его испугаем! кто из вас меток?..

— Я! я! я! — закричало несколько тоненьких голосков, и множество худеньких ручонок замахали в воздухе.

— Я! я! Горюшка, я! — звончее всех визжала хромая Анютка, принимаясь снова кривляться вокруг Фатимки.

— Полно тебе, дура! эка бесстыжая!.. молчи!..

— Я пойду! я меток! — вскричал Ванюшка, торопливо утирая слезы, — я пойду!..

И он бросился уже поднимать камень; но камень пришелся не по силам; Ванюшка залился снова слезами.

— Ничего, Ваня, ничего, — продолжала с тем же волнением Фатимка, — побежимте скорее... там много камней у забора... скорее, скорее, а то будет поздно... ложитесь все ползком наземь, а не то увидит; скорее, скорее...

Хромая Анютка принялась было опять за свои прыжки, но на тот раз со всех сторон посыпались на нее брань и

ругательства, она поневоле легла наземь и ползком потащи́лась за всеми вдоль плетня на брюхе. А между тем Никита Федорыч давным-давно отпустил жену Антона Бабы, глядевшие из окон и видевшие, как прошла она мимо деревни, перестали даже толковать об этом предмете и перешли уже совсем к другому. Никита Федорыч один-одинешенек расхаживал теперь вдоль и поперек по конторе, заложив руки назад, опустив голову; казалось, он погружен был в горькое, тревожное раздумье. Сцена, которую сделала ему Анна Андреевна, возмущала его кроткую душу. Наконец он как будто бы принял какое-то твердое намерение, ударил себя руками по полам архалука, закинул голову назад и направился к двери. В эту самую минуту верхнее слуховое окно конторы зазвенело, разлетелось вдребезги, и несколько увесистых камней упало ему чуть-чуть не на нос. Никита Федорыч обомлел: с минуту стоял он как вкопанный на одном месте, потом со всех ног кинулся в сени и, метаясь из угла в угол как угорелый, закричал что было мочи:

— Эй! кто здесь? Степан! Дормидон! Эй, Фатимка! эй, черти!..

Никто не отвечал. Никита Федорыч остановился и стал прислушиваться... Волнение его мало-помалу утихло, когда он убедился, что кругом его никого не было. Он осторожно вышел из сеней, еще осторожнее обогнул флигель и не без особенного смущения, похожего отчасти на страх, поглядел через забор. Но каково же было его изумление, когда он увидел собственное чадо.

— А, так это ты, пострел! — закричал он, грозя сыну. — погоди! я тебя выучу бить стекла!.. ступай сюда!..

— Нет, тятенька, нет, — отвечал троскинский бурмистр, подбегая к отцу, — это ребятишки... сейчас убежали... я их видел...

— Какие ребятишки?

— Деревенские-с... я знаю, кто камень-то бросил, тятенька... это не я-с... не я-с.

— Ну?

— Это, тятенька-с... как, бишь, его?.. Ванюшка... Антонов... не я, тятенька... я сам видел...

— А!.. ну хорошо, э! э! э!.. да это того самого... э!.. хорошо, я с ним тотчас же разделаюсь... пойдем, Ванюшка, холодно тебе...

Сказав это, Никита Федорыч перекинул через плетень

толстые свои руки, обхватил ими сына, поднял его на плечи и с торжествующим видом направился к дому.

IX

ВОЗВРАЩЕНИЕ

...Трое суток бегал Антон, разыскивая повсюду свою клячонку; все было напрасно: она не отыскалась. В горе своем не замечал он студеного дождя, лившего ему на голову с того самого времени, как покинул он город, ни усталости, ни холоду, ни голоду... Без полушубка, без кушака и шапки, потерянных где-то ночью, метался он как угорелый из деревни в деревню, расспрашивая у встречного и поперечного о своей пегой кобылке. Никто ничего не знал; никто даже не дал ему разумного ответа. Кто молча отворачивался за недосугом, кто равнодушно отсылал его дальше, а кто попросту отзывался смешком на его оторопевшие нескладные речи. Впрочем, и то сказать надо, что если б Антону посчастливилось даже отыскать конокрада, последствия были бы не лучше. У него не было денег. Мужички, провожавшие его за ворота постоянного двора, были совершенно правы, решив в один голос, что «не найти-де ему лошади, коли алтын нетути, попусту только измается, сердешный...».

Полный немого отчаяния, которое, постепенно возрастая в нем, жгло ему сердце и туманило голову, Антон бросил наконец свои поиски и направился к дому. Когда он ступил на троскинские земли, была глухая, поздняя ночь, одна из тех ненастных осенних ночей, в которые и под теплым кровом и близ родимого очага становится почему-то тяжело и грустно. Ледяной порывистый ветер резал Антону лицо и поминутно посылал ему на голову потоки студеной воды, которая струилась по его изнуренным членам; бедняк то и дело попадал в глубокие котловины, налитые водою, или вязнул в глинистой почве полей, размытой ливнем. Густой туман усиливал мрак ночи; в двух шагах зги не было видно, так что иногда ощупью приходилось отыскивать дорогу. Когда ветер проносился мимо и протяжное его завывание на минуту смолкало, окрестность наполнялась неровным шумом падающего дождя и глухим журчанием потоков, катившихся по проселкам. Казалось, не было уголка на белом свете, где бы в это время могло светить солнышко и согреть человека. С каждым шагом вперед все темней и темней

становилось в душе мужика. Вскоре почувствовал он под ногами покатость горы, по которой дней пять тому назад подымался на пегашке, смутно и как бы сквозь сон мелькнуло в голове его это воспоминание. Откинув дрожавшими руками мокрые волосы от лица, вперил от тогда помутившийся взор к селу и значительно прибавил шаг.

Таким образом спустя несколько времени очутился он посереде улицы. Но здесь было так же мрачно, как в поле: темнота ночи сливала все предметы в одну неопределенную, черную массу; слышно только было, как шипела вода, скапываясь с соломенных кровель на мокрую землю. Вытянув шею вперед, Антон продолжал идти, ускоряя все более и более шаг... Вдруг посреди завывания непогоды раздалась резкая, звонкая стукотня в чугунную доску... Сердце мужика вздрогнуло. Он остановился как вкопанный и поднял голову: перед ним возносился старый флигель, вмещавший контору и квартиру управляющего. Пока он силился припомнить, каким случаем попал сюда, в стороне слышались шаги, и почти в ту же минуту грубый, сиповатый голос прокричал: «кто тут?» Голос показался Антону чей-то знакомый; он невольно сделал несколько шагов вперед.

— Какого тут дьявола еще носит? Кто тут?.. — произнес тот же голос ближе, и Антон увидел перед собою двух человек с дубинками.

— Что ты, леший, не откликаешься? — повторил громче прежнего один из караульщиков, стучая дубинкою по грязи. — Аль оглох? Слышь, тебя спрашивают!..

Антон молчал, потирая руками мокрую свою голову.

— Стой! — закричали в один голос караульщики и кинулись на него.

Тот без всякого сопротивления дался им в руки.

— Управляющий... дома? — спросил он глухо.

Но едва успел он произнести это, как один из мужиков тотчас же выпустил его и, засмеявшись, сказал товарищу:

— Дядя Дорофей... поглядь-ка, да ведь это наш Антон!

— Ой ли?..

— Вот те Христос... отсохни руки и ноги.

— Эй, сват! — крикнул Дорофей, также выпуская Антона и принимаясь его ощупывать, — какого лешего тебе здесь надоть?.. Что с тобой?.. Аль с ума спятил?.. Без шапки, в такую-то погоду... какого тебе управляющего?.. Из города, что ли, ты?..

— Из города...— проговорил Антон, вздрагивая всем телом.

— Эхва!.. так ты теперь-то управляющего хватился!.. Ну, брат, раненько! Погоди, вот тебе ужотко еще будет... Эк его, как накатился... Федька, знать выпимши добре, ишь лыка не вяжет... Что те нелегкая дернула,— продолжал Дорофей, толкая Антона под бок,— а тут-то без тебя что было... и-и-и...

— Что...

— Да, теперь небось что?.. что?.. Ишь у тебя язык-от словно полено в грязи вязнет... а еще спрашиваешь — что? Поди-тка домой, там те скажут — что! Никита-то нынче в обед хозяйку твою призывал... и-и-и... Ишь, дьявол, обрадовался городу, словно голодный Кирюха — пудовой краюхе... приставь голову-то к плечам, старый черт! Ступай домой, что на дожде-то стоишь...

— Эх, фаля! вот погоди, погоди; что-то еще завтра будет тебе?.. Да что же ты ничего не баишь, аль совсем те ошеломило?! Антон, а Антон! сват!..

— А?..

Дорофей и Федька залились во все горло.

— Слышь, что ли,— произнес первый, дергая его за руку,— полно тебе зуб-то об зуб щелкать; ступай домой, пра, ступай домой, слышь, что те говорят?..

Но Антон уже ничего не слышал. С остервенением оттолкнул он наконец караульщиков и кинулся стремглав к стороне околицы.

— Антон! эй, Антон! — кричали ему вслед мужики.— Экой леший! Что с ним, право, попритчилось?..

— А что попритчилось,— примолвил Дорофей,— запил! вот те и все тут; экой, право, черт... должно быть, деньги-то все кончил... Поди ж ты, Федюха, а кажись, прежде за ним такого дела не важивалось; управляющего, слышь, захотелось ему ночью... знать уж больно он его донимает... ну, да пойдем, Федюха: я индо весь промок... так-то стыть-погода пошла...

— Пойдем, дядя Дорофей... Постучим еще в доску... да завалимся спать... смерть иззяб...

Немного погода резкие, звучные удары в чугунную доску далеко разнеслись по окрестности, заглушая на минуту завывание ветра и шум бури, которая, казалось, усиливалась час от часу. Антон между тем продолжал бежать как полоумный. Поравнявшись с первыми избушками, он

круто своротил к огородам и пустился задами деревни. Тут шаг его сделался тверже и медленнее. Когда он приближался к тому месту, где несколько дней тому назад поднял платок, ему вдруг почудилось, что кто-то мелькнул мимо него поперек дороги. Он остановился и оглянулся в ту сторону. В эту самую минуту сильный порыв ветра раздвоил тучу, и бледным светом озарилась та часть поля. Антон явственно различил тогда в белом пятне неба над поверхностью межи профиль старухи. Согнувшись в три погибели, она ковыляла, размахивая сучковатою своею клюкою, которой, казалось, ощупывала дорогу... Антон тотчас же узнал Архаровну. Все рассказы и слухи о богатстве ее разом прихлынули ему в голову; ему пришло в голову, что она может пособить ему. Секунду спустя кинулся он вслед за побирушкой, несколькими прыжками нагнал ее и крикнул задыхающимся голосом:

— Помоги, коли хочешь спасти душу христианскую от греха — дай денег!

— Касатик! касатик! — могла только проворчать побирушка, — Христос с тобой... ой... да это... ты, родной... Антон Прохорыч... какие у меня деньги!.. Христос с тобой!..

— У тебя есть!.. Все сказывают! — прибавил он.

— Что с тобой делать, — завопила старуха, — вишь ты какой странный... аль руку на себя поднять хочешь, что ли, прости господи! — деньги... у меня в березничке... в кубышке... зарыты...

— Веди туда... — крикнул мужик, — веди!.. скорее...

Старуха оправилась, поспешно подняла клюку; он уцепился ей за полу, и оба быстрыми шагами пустились по дороге к роще.

Пока еще тянулся проселок, они шли ходко, но как только старуха свернула на пашню, Антон начал уже с трудом поспевать за ней; ночь стала опять черна, и дождь, ослабевший было на время, полил вдруг с такой силой, что он едва мог различать черты своей спутницы. Глинистая почва пашни прилипала к их ногам тяжелыми комками и еще более затрудняла путь; время от времени они останавливались перевести дух. Наконец старуха свела его в глубокую межу, на дне которой бежал, журча и клубясь, дождевой сток; с обеих сторон поднимались черные, головастые дуплы ветел; местами тянулись сплошною стеною высокие кустарники; кое-где белый ствол березы выглядывал из-за них как привидение, протягивая вперед свои угло-

ватые худошавые ветви. Дорога час от часу становилась затруднительнее; ноги поминутно встречали камни или скользили в тине; иногда целые груды сучьев, слеманных ветром, заслоняли межу. Подобно несметному легиону духов, ветер проносился с одного маху по вершинам деревьев, срывая миллионы листьев и сучьев: потом вдруг, как бы встретив в стороне препятствие, возвращался с удвоенною силой назад, покрывая землю глыбами смоченных листьев. Тогда грохот бури смолкал на минуту, и снова слышалось журчание потоков и однообразный шум дождя, который падал полосами на деревья и скатывался на дорогу.

— Ой, погоди, касатик, дай вздохнуть... надеть еще в овраг спускаться,— сказала старуха.

Антон молча остановился. Немного погодя они, в самом деле, начали спускаться по крутому каменистому скату в овраг. Очутившись на дне, Антон поднял глаза кверху; окраины пропасти вырезывались так высоко на небе, что едва можно было различить их очертание. Несколько раз Антону приводилось проползать под стволами деревьев, опрокинутыми там и сям поперек пропасти, загроможденной повсюду камнями; старуха, по-видимому, хорошо знала дорогу; она ни разу не оступилась, не споткнулась, несмотря на то что шла бодрее прежнего и уже не упиралась более своею клюкою. Затесавшись наконец вместе с Антоном в густую чащу кустарников, из которых выход казался невероятным, она неожиданно остановилась, рванулась вперед и закричала хриплым своим голосом:

— Ребятунки! сюда, родимые!..

Одуматься не успел Антон, как уже почувствовал себя в руках двух дюжих молодцов. Движимый инстинктивным чувством самоохранения, он бросился было вперед, но железные руки, обхватившие его, предупредили это намерение и тотчас же осадили назад.

— Куда? — сказал один из них, — куда? небось не уйдешь, и здесь подождешь!..

— Ермолаюшка, касатик,— заговорила старуха,— погоди, не замай его... родимый, ведь это брат твой, Антон; ох! рожоный, уж такой-то, право, колотырный... пристаает, вишь, пособи ему, дай ему денег.

Услыша это, Ермолай отступил назад и крикнул: «Антошка, ты ли?..» Но так как Антон не отвечал, он быстро подошел к нему, взял его обеими руками за плечи, гля-

нул ему в лицо и потом, упершись кулаками в бока, залился дребезжащим смехом.

— Антошка! черт! каким те лешим принесло сюда?.. Петруха,пусти его, небось не уйдет: он сродни!..

Петруха пристально посмотрел в лицо мужику и тотчас же выпустил его, промолвив, однако, грубо товарищу:

— Что ж, что он брат тебе... коли пришел выведать... так все одно ему...

— Да что ж ты ничего не говоришь, словно пень? — продолжал Ермолай, обращаясь к брату, который не двигался с места. — Зачем пожаловал сюда, чего те от нас надо?.. да говори же, дьявол! аль взаправду глотку-то заколотили тебе на деревне?..

— Дай ему опомниться, касатик ты мой, видно, запужался больно, — подхватила старуха, нагибаясь и кладя что-то наземь, — вот иду я так-то, родной, из ихнего Троскина...

— Ну, что? — спросили в одно время Петр и Ермолай.

— Да вот, — отвечала она, понизив голос, — две курочки у мужичка сволочила... Ну, вот так-то, — продолжала она громко, — иду я, а он, окаянный, как кинется ко мне: денег, говорит, давай!.. такой-то пропастный!..

— Э! ге-ге... так ты, видно, горемыка! — воскликнул Ермолай. — Что, брат, знать, не по вкусу пришли дубовы-то пироги с березовым маслом?.. Да что же ты, взаправду, ничего не говоришь? ай не рад, что встретился?..

— Рад не рад, — произнес другой, подходя к мужику, — тебе отсель не выйти...

— Братцы, — начал вдруг Антон, как бы пробудившись от сна, — мне денег надо, денег!.. Лошадь увели намедни... последнюю лошадь... оброку платить нечем, — прибавил он через силу.

— Так ли?.. Слышал я про эвто, да...

— Так, родной, — перебила старуха, — по миру, почитай, пустил его управитель-то...

— Ну, а ребята мои живы? — спросил Ермолай.

— Живы... да есть нечего, — отвечал мрачно Антон, — пособи́те, братцы, хоть сколько-нибудь дайте денег! — промолвил он голосом отчаяния.

— Мы ведь недавно, всего, кажись, три недели сюда подоспели... Вот парнюхе старуху свою хотелось проведать... да место вышло податно, так и остались зимовать... а то бы я навестил тебя... на ребяток поглядеть хоте-

лось, мать-то их добре померла... так что ж ты, Антонушка?... К нам, что ли?..

— Последнюю лошадь увели,— начал снова Антон,— подушных платить нечем... денег мне надо...

— Эх-ма! пособить-то те можно, да вот, вишь, какое дело — деньги-то у нас не то что свои, не то что чужие. Они у нас теперь в кармане, так, стало, наши. А вот маленько прежь сего их держал у себя за пазухою купец, ехавший с ярманки; мы к нему, знашь, тово: поделись, дескать, добрый человек! Он на нас с криком, мы погрозили порядком, деньги-то с бумажником он нам и швырнул в лицо, а сам давай бог ноги... Ну, ты теперь наш, все узнал; помочь-то тебе мы поможем, да только ни гугу, а то ведь беда! Купец-то ночью нас не разглядел, да и лыжи отсюда-ва наострил далеко, так никто не узнает, коли ты не проболтаешься. Мы теперь зайдем в кабак вместе недалеко отсюда, а там дадим тебе на разживу да разойдемся на разные стороны. А что ты, Антошка, бывал у Борискирыжака, пивал у него когда?

— Нет.

— Ну, стало, не знает тебя рыжий?

— Не знает.

— Ну и ладно, идем... А ты, матушка, здесь оставайся!

— Вестимо, родной... вас поджидать стану... мотри только, касатик, его-то от себя не пущайте...

— Небось не уйдет! — отвечал тот. — Ну, идемте, ребята... мотри же, Антонушка, опростоволосишься, вот те Христос, поминай как звали!..

Бродяги допили штоф, подняли кверху дубинки и, сказав еще что-то шепотом старухе, пропустили Антона вперед и начали выбираться из оврага.

Кабак, куда направлялись они, стоял одиноко на распутье, между столбовой дорогой и глубоким, узким проселком; сделав два или три поворота, проселок исчезал посреди черных кочковатых полей и пустырей, расстилавшихся во все стороны на неоглядное пространство. Ни одно деревцо не оживляло их; обнаженнее, глуше этого места трудно было сыскать во всей окрестности.

Здание кабака соответствовало как нельзя лучше печальной местности, его окружавшей: оно состояло из старинной двухэтажной избы с высокою кровлей, исполосованной по всем направлениям темно-зеленым мохом и длинными щелями. На верхушке ее торчала откосо рыжая ис-

сохшая сосенка; худощавые, иссохшие ветви ее, казалось, звали на помощь. Стены избы были черные и мрачные; промежутки между бревнами, серо-грязноватого цвета, показывали, что мох уже давным-давно истлел. Новенькое сосновое крылечко, прилаженное ко входу избы, еще более выказывало ее ветхость. Его гладенькие вылущенные столбики, белый, лоснящийся навес с вычурами, тоненькие перила так резко бросались в глаза своим контрастом с остальной частью кабака, что невольно напоминали уродливое сочетание безобразного старика с свеженькой молодой девушкой. Здание, подобно многим в этом роде, было окружено с трех сторон навесами, дававшими тотчас же знать, что радушие хозяина не ограничивалось одною лишь косушкой: тут находился и постоянный двор; польза соединялась, следовательно, с приятным. Таким образом проходимцу или извозчику предстояло чрез это истинно благодетельное соединение выпить вместо одной косушки, уже необходимой для подкрепления сил, еще две лишние: одну, как водится, после ужина, другую при расставанье под утро.

По мере того как темнота ночи рассеивалась, черная профиль высокой кровли кабака и сосны, усеянной заночевавшими на ней галками, вырезывалась резче и резче на сероватом, пасмурном небе. Кругом тишина была мертвая. Несмотря, однако ж, на ранний рассвет, в одном из окон нижнего этажа, пока еще смутно мелькавшем сквозь полосы тумана, светился огонек. После некоторого внимания можно даже было довольно четко различить длинную тень человека, ходившего взад и вперед по избе. Вскоре тень эта скрылась. На крылечке показался тогда высокий мужчина в длиннополом кафтане на лисьем меху. Сначала нагнулся он на перила и, приложив ладонь ко лбу в виде зонтика, долго глядел на большую дорогу; потом, сделав нетерпеливое движение, незнакомец сошел вниз. Видно было, однако, что и здесь остался он недовольным; простояв еще несколько времени, махнул он наконец с досадою рукой и опять поднялся на крылечко. Находясь, должно быть, под влиянием нетерпеливого ожидания и не доверяя, вероятно, своей зоркости в первых двух попытках, он сел на ступеньки, подперся ладонью и снова принялся глядеть в туманную мглу, окутывавшую местность.

Но вот уже потянулся туман в вышину, глубокие колеи дороги, налитые водою, отразили восход, а он все еще не

покидал своего места и не сводил глаз с дороги. Пахнёт ли ветерок по влажной земле, пронесется ли в воздухе стая галок,— он быстро подымает голову, прислушивается. Терпение его, казалось, наконец истощилось: он вскочил на ноги и проворно вошел в сени кабака. Тут по-прежнему увидел он рыжего целовальника, лежавшего навзничь между двумя бочками, устланными рогожей; в углу, на полу, храпели два мужика и мальчик лет тринадцати, батрак хозяина. Дверь налево, в кабак, была заперта на замок. Человек в длинном кафтане прошел поспешно сени и вступил в избу направо. Он, по-видимому, был чем-то сильно встревожен. Слабый свет догоравшей свечки, смешиваясь с белым светом утра, набрасывал синевато-тусклый отблеск на лица нескольких мужиков, спавших на нарах. На лавке подле стола, покрытого скудными остатками крестьянского ужина, сидел, опустив голову на грудь, бородатый человек, которого по одежде легко можно было принять за купца. Опершись одной рукой на стол, другою на лавочку, он храпел на всю избу. Незнакомец прямо подошел к нему и дернул его за руку; потеряв равновесие, купец свалился на лавку и захрапел еще громче.

— Матвей Трофимыч,— сказал с досадою незнакомец, принимаясь будить его,— Матвей Трофимыч, проснись, эй!.. до сна ли теперь? Да встань же... ну...

— Мм... а что, брат приехал? — отозвался купец, торопливо протирая глаза.

— Какой приехал! Слышь, Матвей Трофимыч... мне все думается, не беда ли какая случилась с братом...

— Гм! — произнес Матвей Трофимыч, приподнимаясь,— давно бы надо здесь быть... вечор еще... сколько, бишь, сказывал он, верст от города до Марина?

— Да никак двадцать или двадцать две, говорил...

— Эх, напрасно, право, мы с ним тогда не поехали, получка денег не бог знает сколько взяла бы времени!.. Да делать нечего, подождем еще, авось подъедет...

— Мне все думается, не прилучилось бы с ним беды какой... поехал он с деньгами... долго ли до греха... как индо сердце не на месте... Слышал ты, мужики вечор рассказывали, здесь и вчастую бывает неладно... один из Ростова, помнишь, такой дюжий, говорил, вишь, из постоянного двора, да еще в ярманку, вот где мы были-то, у мужичка увели лошадь.

— Ой ли?..

— То-то, Матвей Трофимыч, ты спал, а я слышал...

— Авось, бог милостив... ох-хе-хе...

В то время в избу вошел целовальник; закинув коренастые руки свои назад за шею, он протяжно зевнул и сказал, протягиваясь:

— А что, не приезжал еще ваш товарищ?..

— Нет, брат, не едет, да и полно,— отвечал высокий,— я уж поджидал, поджидал, глаза высмотрел... По-баиваемся мы, не случилось ли с ним беды какой... ехал ночью, при деньгах... на грех мастера нет...

— Что случится... запоздал, должно быть...

— У вас вот, говорят, на дорогах-то шалют больно... вот об этом-то мы и сумлеваемся...

— Что говорить, случалось, всяко бывает; да уж что-то давно не слыхать; намедни вот, сказывают, бабу, вишь, какую-то обобрали... а то не слыхать... кажись, смирно стало...

— О-ох, беда, да и только... уж не съездить ли мне в Марино... далече отселева станет?

— Верст семнадцать без малого... да вы не ездите... обождите... Господь милостив... о!.. о!.. (целовальник зевнул).— Эх, Пахомка! что ты, косой черт...— крикнул он, выходя в сени и толкнув под бок ногою мальчика,— вставай, пора продрать буркалы-те... время кабак отпирать... день на дворе...

Матвей Трофимыч сел снова на лавочку и задремал; товарищ его вышел на крылечко и снова принялся глядеть на дорогу.

Вскоре кабак ожил. Зазвенели склянки, зашумел народ, все пришло в движение. Работница-стряпуха затопила печь, мужики завозились под навесами, и немного погодя слышались уже громкие восклицания и удалая песня. Человек в длиннополом кафтане продолжал глядеть с тем же притупленным вниманием на дорогу. Вдруг он поднялся, взбежал на крыльцо и вытянул вперед шею, как бы силясь приблизиться к увиденному им вдалеке предмету. Но лицо его, обнаружившее радость, мгновенно нахмурилось; обманутый ожиданием, он печально отошел назад. На дороге показались три пеших человека.

Когда подошли они ближе, купец невольно обратил на них внимание. Двое из них были покрыты грязными лохмотьями, лица их были тощи и изнурены; щетинистые, взъерошенные брови и бакены придавали им вид суро-

вый, дикий. Наружность третьего путника особенно поразила купца. Это был высокий сгорбленный мужик лет шестидесяти, покрытый сединою, с лицом известкового, болезненного цвета, он как будто удручен был каким-то сильным недугом. Голова его несколько висела набок; огромные коренастые руки старика как-то безжизненно болтались при каждом шаге вдоль угловатых, костлявых ног, перепутанных разодранными онучами, покрытыми грязью. Он, казалось, совершенно бесчувствен был к стуже, которая багровила ему грудь и плечи, едва прикрытые лохмотьями крестьянской рубашки. Приблизившись к кабаку, товарищи старика оглянулись сначала на все стороны, потом взяли его под руки и поспешно вошли в кабак, не взглянув даже на сидевшего незнакомца. Купец, поглядев еще несколько минут на дорогу, тоже вошел в кабак. В голове его невольно мелькнуло какое-то подозрение...

Большая часть мужиков, заночевавших у целовальника, находилась уже тут; некоторые из них стояли посередь избы и о чем-то горячо спорили, другие сидели на лавочке за большим столом. В углу подле сороковой бочки, установленной разнокалиберными медными воронками, за небольшим столиком сидели по обеим сторонам Антона брат его Ермолай и Петрушка. Перед ними стояли штоф и стаканы. Ермолай, положив локти на стол и запустив ладони в черные свои волосы, глядел беспечно в окно; но усилия, с какими расширял он глаза, непрерывное движение мускулов на узеньком лбу его и легкое наклонение головы свидетельствовали, что он жадно прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Антон и другой его товарищ сидели насупясь и молчали. Немного спустя целовальник подошел к купцу.

— Ну, что? — сказал он, — видно, брат-от не едет...

— Нет, не едет, — отвечал тот, бросив косвенный взгляд на угол, где сидели бродяги, — я уж, право, думаю, беда случилась... он был при деньгах... поехал ночью...

Движение Ермолая и товарища его, который быстро поднял голову, не ускользнуло от купца; сердце его колотилось так сильно, что он несколько секунд не мог произнести слова; оправившись, он продолжал, однако стараясь принять по возможности спокойный вид:

— Ты же, брат, рассказывал, что у вас здесь какую-то бабу обобрали на дороге... точно, место глухое... чего доброго, ограбят еще...

Речь замерла у него на устах; взгляд, брошенный Ермолаем на дверь и на товарищей, усиливал в нем подозрение; все говорило ему, что тут крылось что-то недоброе. Он как бы нехотя приподнялся с своего места и, толкнув локтем целовальника, вышел с ним в сени.

— Слушай, брат хозяин,— сказал он торопливо,— мне сдается, беда прилучилась... видал этих трех, что сидят в углу подле бочки?..

— Как же... а что?..

— Сделай милость,— продолжал купец убедительным голосом,— ради господ бога, не пущай ты их, разведаем сперва, что они за люди... тебе будет не в обиду... ишь они какими недобрыми людьми выглядят... И тот, что с ними, старик-ат... в одной рубахе... точно, право, бродяги какие... не пущай ты их... я пойду разбужу товарища... мне, право, сдается, они...

И купец, не dokonчив речи, опрометью кинулся в избу. Целовальник, страстный охотник до всяких свалок и разбирательств и которому уже не впервые случалось накрывать у себя в заведении мошенников, тотчас же принял озабоченный вид, приободрился и, кашлянув значительно, вошел в кабак. Ермолай и его товарищи успели опорожнить в то время штоф и собирались в путь.

— Хозяин,— сказал он, подходя бодро к целовальнику,— что с нас?

— Штоф, что ли? — спросил тот, окидывая взглядом стол и Антона, сидевшего недвижно, как и прежде.

— Да, брат, штоф,— отвечал Ермолай, надевая одною рукою шапку, другою подавая красную ассигнацию.— Эх, жаль, время не терпит, а то бы знатную у тебя выпивку задали.

— А вам нешто к спеху,— продолжал рыжий Борис, которому красная бумажка показалась что-то подозрительною в руках такого оборванца.— Вы отколь?..

— А мы, брат, сдалече, копальщики, идем с заработок... домой,— отвечал, нимало не смущаясь, Ермолай и в то же время подал знак Петру, указав на брата.

Но, заметив усилия, с какими Петр приподнимал Антона на ноги, целовальник спросил:

— А что это у вас товарищ-ат... кажись, разнемогся...

— Да... на дороге из Тулы... что-то животы подвело...— отвечал Петр, подбираясь с Антоном к двери.

— Хозяин, давай-ка скорей сдачу,— сказал Ермолай нетерпеливо.

Но купец, сопровождаемый несколькими мужиками, загородил им дорогу. В числе мужиков находился и ростовец, тот самый, что встретился с Антоном на ярмарке. Увидя его, он растопырил руки и произнес радостно:

— А! здорово, брат, как тие бог милует... Вот не чаял встретить! ну что, нашел лошадь?

Антон вздрогнул.

— Разве ты его знаешь? — спросил удивленный купец.

— Как же! — отвечал ростовец, подходя ближе к Антону, — да ведь это, братцы, тот самый мужичок, что сказывал я вам вечер, у кого лошадь-то увели... ну, брат... уж как же твой земляк-то убивалси!..

Несколько мужиков встали с своих мест и подошли с участием к Антону.

— Мы на другой день нашли его лошадь... — отвечал, оторопев, Петр, — насилу откупились...

— Ой ли?..

— Да тебе-то что?.. — сказал Ермолай, толкнув плечом ярославца и сиясь пробиться к двери. Видно было, что ему становилось уже неловко.

— Ты, брат, мотри не пихайся, не к тебе слово идет...

— Стой, молодец! — произнес вдруг целовальник, удерживая бродягу. — Как же ты говорил мне, вы с заработок шли... а вот он его видел (тут Борис указал на ростовца и потом на Антона) с лошадью на ярманке... и сказывал, мужик пахатный... помнится, еще из ближайшей деревни...

— Как же, из Троскина какого-то, — заметил ростовец.

— Что ж ты бабушку путаешь? — воскликнул Борис, подступая к Ермолаю. — Какой же он копальщик?..

— Да чего тебе от нас надо? — крикнул Ермолай, врываясь силою в двери.

— Нет, погоди... постой... эй, ребята! не пущайте его... сказывай прежде, что вы за люди...

— Разбойники, разбойники! — завопил неожиданно купец, выхватывая из рук Ермолая зеленые замшевые рукавицы, которые тот не подумал второпях спрятать. — Братцы! вяжи их! братнины рукавицы!.. знать, они его ограбили... крути их!..

— Эй... держи!.. вяжи!.. держи!.. — раздалось со всех сторон в кабаке, и толпа мужиков обступила бродяг.

— Чего вы, дьяволы! ну что,— кричал Ермолай, становясь в оборонительное положение,— ну, что вам надо?..

— Откуда у тебя рукавицы, разбойник? — произнес купец, хватая его за грудь.

— На дороге нашел!..

— Врешь, собачий сын!..— сказал целовальник, вытаскивая в эту самую минуту из-за пазухи Ермолая замшевый бумажник.— А это что?..

Не прошло минуты, как уже Ермолай лежал в сенях, связанный по рукам и по ногам; Петрушку также выводили из кабака; проходя мимо товарища, он сказал дрожащим, прерывающимся голосом:

— Братцы... отпустите меня... за что вы меня тащите... это вот он с своим братом... мужик тот... седой... обобрали купца... отпустите!..

— Как! убили! — завопил купец, вбегая в сени.— Обобрали!..— И он кинулся как полоумный вон из избы.

— Эй, целовальник! хозяин! — закричал Матвей Трофимыч рыжему Борису, все еще хлопотавшему подле Ермолая,— посылай скорей в их вотчину... в накладе не будешь... скорей парня на лошади посылай в их деревню за десятским... за управляющим... да ну, брат, проворней!..

Пока прикручивали Петра, в дверях кабака слышался страшный шум; в то же время на пороге показалось несколько мужиков, державших Антона; ухватив старика кто за что успел, они тащили его по полу с такою яростью, что даже не замечали, что голова несчастного, висевшая набок, стукалась оземь. Глаза Антона были закрыты, и только судорожное вздрагивание век и лба свидетельствовало о его жизни. Сквозь стиснутые зубы и на бледных губах его проступала кровь. Толстоватый ярославец, казалось, более других был в бешенстве; он не переставал осыпать его ударами.

— Вяжи его, разбойника... вяжи!.. — кричал он хриплым голосом.— Вишь, надул... мошенник... надул, собака... а я-то, волк меня съешь, еще плакал было над ним... тащи его!.. разбойника!.. вяжи его! вяжи!..

— Эй, Степка! бери скорей лошадь, валяй в Троскино село,— сказал целовальник вбежавшему дворнику,— ступай прямо к управляющему, зови его сюда... да скажи, чтоб слал народу, разбойников, вишь, поймали из их вотчины...

Тот опрометью кинулся под навесы. Немного погодя Степка мчался что есть духу по дороге в Троскино.



Рыжий Борис, Матвей Трофимыч и еще несколько человек из мужиков стояли между тем на крылечке, махали руками и кричали ему вслед:

— Ступай, не стой... мотри скорей... зови управляющего, зови народ... погоняй, не стой!..

Х

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неделю спустя после происшествия в кабаке на улице села Троскина толкалась почти вся деревня; каждый, и малый и взрослый, хотел присутствовать при отправлении разбойников. Пестрая толпа из мужиков, баб, девок, ребят и даже младенцев, которых заботливые матери побаивались оставить одних-одинешеньких в качках, окружала с шумом и говором две подводы, запряженные парюю тощих деревенских кляч. В телегах покуда никого еще не было. Прислонившись к одной из них, стояли друг подле дружки два седые старика в рыжеватых коротеньких полушубках, туго подтянутых ремнем; медные восьмиугольные бляхи, пришитые к правой стороне груди каждого из них, и обритые бороды давали знать, что это были не кто иные, как наемные сотские из стана. Оба дружелюбно разговаривали с молодым парнем, которому, в качестве хозяина очередной подводы, следовало везти конвойных до ближнего острога. Поодаль от этой группы находился служивый этапной команды; опершись на ружье и повернувшись спиною к хозяину другой телеги, малому лет шестнадцати, он то и дело поглаживал щетинистый ус свой и вслед за тем лукаво подмигивал близстоявшим бабам. По другую сторону подвод сидели, прислонившись на ось, кузнец Вавила и его помощник. Последний расположился на кожаном мешке, из которого выглядывали железные кольца и молоты; он свирепо почесывал затылок и, закинув голову назад, всматривался почему-то очень пристально в небо, покрытое густыми беловатыми тучами. К ним-то толпа и напирала сильнее всего. Каждый старался просунуть голову, чтобы только хоть вскользь да поглядеть на новые березовые колодки, лежавшие грудой у ног Вавилы. Высокий плешивый старик, стоявший впереди других, не утерпел даже, чтобы не прикоснуться к ним несколько раз ногою.

— Эки штуки! — произнес он наконец, проворно отдергивая ногу.

— А чего надо? — сказал сурово Вавила. — Не видал, что ли?..

— Нет, не приводилось, — отвечал тот с сожалением, — занятно больно...

— А что, дядя Вавила, я чай, куды тяжелы станут? — спросила в свою очередь красная, как мак, и востроносая, как птица, баба, вытягивая вперед длинную, костлявую свою шею.

— Вестимо, тяжелы... попробуй... — отвечал кузнец.

— Ну, ты что лезешь... нешто не видала? Пошла, вот как двину! — вымолвил высокий плешивый старик, выжимая востроносую бабу из толпы и снова устремляя круглые свои глаза на колодки — предметы всеобщего любопытства.

— Где ты их срубил, дядя Вавила, в осиннике, что ли? — вымолвила румяная курносая девка, повязанная желтым платком, высунув голову из-за плеч сгорбленной, сморщенной старушонки.

— А тебе на што?..

— Эх, я чай, побредет теперь наш Антон, — заметил кто-то далее. — Вот привелось на старости лет надеть сапожки с какой оторочкою...

— Поделом ему, мошеннику!.. А разве кто велел ему на старости лет принять такой грех на душу... Шуточное дело, человека обобрать!..

— Да, братцы, не думали, не гадали про него, — начал опять другой. — Дались мы диву: чтой-то у нас за воры повелись: того обобрали да другого; вот намедни у Стег-нея все полотно вытащили... а это, знать, всё они чудили... Антон-от, видно, и подсоблял им такие дела править. Знамо, окромя своего некому проведать, у кого что есть...

— Поделом ему, мошеннику, поделом... Что вы его, разбойника, жалеете, братцы...

— Тетка Федосья, была ты ономясь на улице, как провели ту побирушку-то, что к нам в деревню шлялась?

— Нет, матушка, не привелось видеть; ведь она, сказывают, мать тому бедному-то?

— Мать... Трифон Борисов баил, уж такая-то, говорит, злыдная, невесть какая злыдная; руку, говорит, чуть было не прикусила ему, как вязать-то ее зачали.

— Что ты?

— Провалиться мне на этом месте, коли не сказывал... Вот, тетка Федосья, и на уме ни разу не было, чтобы она

была таковская... Поглядеть, бывало, смирная, смирная... еще и хлебушки подашь ей, бывало...

Словом, всюду в толпе, окружавшей подводы, раздавались толки да пересуды. Но вдруг толпа зашумела громче, и со всех сторон раздались голоса: «ведут! ведут!»

На противоположном конце улицы показались тогда Ермолай, Петр, Архаровна и Антон; впереди их выступал с озабоченным, но важным видом Никита Федорыч, сопровождаемый сотскими и старостами; по обеим сторонам осужденных шли несколько человек этапных солдат в полной походной форме, с ружьем и ранцем; позади их валила толпа народу. Между нею и Антоном, который шел позади товарищей, тащилась, переваливаясь с ноги на ногу и припадая беспрестанно на колени, Варвара, сопровождаемая Ванюшей и его сестрою, ревелившими на всю деревню. В стороне от всех бежала, то тискаясь, то рассыпаясь, пискливая ватага девчонок и ребятишек. Рыженькая хромая девочка, прыгая на одной ножке и коверкаясь как бесенок, опережала всех.

— Пошли прочь! — крикнул сердито Никита Федорыч, расталкивая мужиков и баб, теснившихся вокруг телег.— Чего стали?.. Пошли, говорю. Ну, ты, вставай да набей-ка им колодки, мошенникам. А вы смотрите, братцы,— продолжал он, обращаясь ласково к старикам, сотским и солдатам,— не зевайте, держите ухо востро!

Никита Федорыч отошел несколько в сторону.

Вавила приступил немедленно к исполнению приказа. В толпе воцарилось глубокое молчание, так что с одного конца улицы в другой можно было ясно слышать удары молотка, которым кузнец набивал колодки.

— Эх, брат Вавила,— произнес бойко Ермолай, подставляя ногу,— вот где привелось свидеться!.. Помнишь, кум, как пивали вместе? Лихой, брат, был ты парнюха!

— Садись, мошенник! — сказал ему Никита Федорыч,— садись! Вот погоди-ка, тебе покажут парнюху.

Ермолай с помощью сотских взгромоздился на телегу подле Архаровны и Петра. Когда очередь пришла Антону и Вавила, усадив его на ось телеги, ударил в первый раз по колодке, посреди смолкнувшей толпы раздался вдруг такой пронзительный крик, что все невольно вздрогнули; почти в то же мгновение к ногам Антона бросилась Варвара; мужики впихнули за ней Ваню и Аксюшу. Понява

Варвары распадались лохмотьями; волосы ее, выпачканные грязью, обсыпали её спутанными комками лицо и плечи, еле-еле прикрытые дырявою рубахой. В беспамятстве своем она ухватилась обеими руками за ноги мужа, силясь сорвать с них колодки.

— Отец ты наш... отец, батюшка... Ой, родные, спасите... вы меня... не пущайте его, родного сиротинушку, на кручину лютую... На кого-то, отец, оставишь ты нас, горемычных!..

Далее ничего нельзя было разобрать: протяжное рыдание заглушило её несвязную речь. Ваня и сестра его стояли неподвижно подле дяди и обливались слезами.

— Эй, братцы! — закричал снова Ермолай. — Мотрите, по старой дружбе не давайте моих ребят в обиду, они непричастны!.. Эй, вы, девки, и юбки-голубки, сорочки-белобочки, — присовокупил он, подмигивая глядевшим из толпы девкам, — мотрите, будьте им отцами!..

Антон, сидевший по сю пору с видом совершенного онемения, медленно приподнял голову, и слезы закапали у него градом.

Он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и обтер обшлагом сермяги глаза.

— Ну, сажай его! — сказал Никита Федорыч, указывая сотским на Антона. — А вы-то что ж стоите?.. Садись да бери вожжи; что рты-то разинули!.. Эй вы, старосты, оттащите ее... было ей время попрощаться с своим разбойником... Отведите ее... Ну!..

— Батюшка! — вскричала Варвара, судорожно протягивая руки к мужу. — Ба... тю... шка!.. Ох, Антонушка!.. Ох!..

И баба грохнулась со всех ног наземь.

— Эх-ма! тетка Варвара, — начал опять Ермолай, взмохавшись на перекладину телеги. — Полно! его не разжалобишь (он указал на Никиту Федорыча): ишь он как пузо-то выставил...

— Трогай! — закричал сердито Никита Федорыч, махнув рукою мужикам, усевшимся на облучки подвод.

Они ударили по лошадям, присвистнули, и телеги покатились.

Толпа кинулась вслед за ними; впереди всех, подле самых колес, скакала, вертясь и коверкаясь на одной ножке, рыжая хромая Анютка.

— Прощайте, ребята, прощайте! — кричал Ермолай,

размахивая в воздухе шапкой.— Не поминайте лихом! Прощайте, братцы, прощайте, нас не забывайте!

Телеги приближались к околице. В это время белые густые тучи, висевшие так неподвижно на небе, как бы разом тронулись, и пушистые хлопья первого снега повалили, кружась и вертясь, на землю. В миг забелела улица Троскина, кровли избушек, старый колодец, а наконец и поля, расстилавшиеся далеко-далеко вокруг всей вотчины; холодный ветер дунул сильнее, и снежная сеть заколыхалась, как тяжелое необъятное покрывало. Никита Федорыч закутался плотнее в свой архалук и обернулся к околице; но ничего уже не увидел управляющий; даже крайние избы села едва заметно мелькали сквозь пушистые хлопья валившего отовсюду снега.

— Эки мошенники! — произнес он, отряхиваясь и продолжая путь.— Ведь вот говорил же я, что вся семья такая... Недаром не жалел я их, разбойников... Ну, слава богу, насилу-то наконец отделался!.. Эк, подумаешь, право, заварили дело какое... с одним судом неделю целую, почитай, провозились... Ну, да ладно... Теперь по крайней мере и в помине их не будет!..

Размышляя таким образом, Никита Федорыч не заметил, как подошел к конторе. Голос Анны Андреевны мгновенно вывел его из задумчивости.

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч, ступай чай пить! — прокричала она, высовывая из форточки желтое лицо свое, перевязанное белой косынкой.— Ступай чай пить, полно тебе переваливаться-то!..

— Иду, иду, барыня-сударыня, — отвечал супруг с достоинством и вошел в сени старого флигеля, не заметив Фатимки, которая стояла за дверьми и, закрыв лицо ручонками, о чем-то разливалась-плакала.

БОБЫЛЬ

Рассказ

Суд наедет, отвечай-ка,
С ним я век не разберусь!

Пушкин

Темная осенняя ночь давным-давно окутала село Комково. Погода стояла бурная, ненастная; мелкий дождь падал пополам с снегом; холодный ветер гудел протяжно в отдаленных полях и равнинах... Но буря, слякоть и темнота нимало не вредили приходскому празднику в селе Комкове, и гулянка, которой год целый ждали обыватели, была в полном своем разгаре. На улице толпилась тьма народу. Со всех сторон слышались нестройные песни, восклицания, говор, хохот; правда, время от времени их заглушал суровый голос бури, которая с ревом и свистом пробегала по обвалившимся плетням и лачугам, но тем не менее песни и крики раздавались громче и громче, когда ветер проносился мимо и буря на минуту стихала. Почти в каждой избушке светились огоньки, и длинная нить их, отражавшаяся багровыми полосами в лужах, давала знать, что и внутри домов точно так же продолжалась пирушка. Словом, жители Комкова веселились и гуляли на славу.

Но тогда как веселье так единодушно обнаруживалось с одного конца деревни до другого, в доме самой помещицы было что-то особенно спокойно и тихо. Распутица ли помешала соседям съехаться по обыкновению к Марье Петровне, ненастье ли или другое что, а только она сидела этот раз почти без гостей. Общество составляли всего-навсе — бедная вдова, поручица Степанида Артемьевна, проживавшая в доме третий год в качестве «приживалки», и еще ближайшая соседка Марьи Петровны, Софья Ивановна, или просто «Иваниха», как называли ее крестьяне. Все три дамы расположились в небольшой уютной комнатке, выходившей на улицу.

В углу, подле незавешенного окна, сидела особнячком Степанида Артемьевна и вязала чулок; против нее на столи-

ке стояло все нужное для чаю. Огромный неуклюжий самовар из красной меди, занимавший чуть ли не половину стола, пыхтел и отдувался, как толстяк, обремененный тяжкою ношей, в знойное время; из него валили, клубясь и журча, густые струи серого пара, то направляясь на соседнее окно и обдавая его крупными каплями, то вдруг обращаясь косою полосой на сальный огарок, находившийся тут же, между чайником и чашками.

При таком неожиданном нападении со стороны соседа огарок бросал еще более сомнительный свет на поручицу, женщину с наружностью жесткой и деревянной, одетую, как вообще все вдовствующие поручицы-приживалки, в глубокий траур. Другие две дамы сидели поодаль от окна, у лежанки. Красное пламя жарко топившейся печки не только позволяло различать их лица, но даже обозначало на стене длинные, угловатые профили собеседниц. Одна из них, хозяйка дома, была подслеповатая маленькая старушонка, с лицом кротким и добродушным, напоминавшим скорее, однако ж, безответную простоту, чем первые два качества. На ней был черный поношенный платок, черный ситцевый капот с белыми крапинами и жиденский чепец с темными лентами, находившимися постоянно в каком-то лихорадочном состоянии, вопреки неподвижности самой владелицы; это происходило оттого, что головка старухи, и без того уже слабая, приняла дурную привычку трястись с тех пор, как раз ночью испугали Марью Петровну, объявив ей, что в Комкове загорелась баня. Наружность Софьи Ивановны представляла самую резкую противоположность с наружностью ее соседки. Ясно, что эти крутые багровые щеки, готовые лопнуть каждую минуту вместе с серыми глазами навывкате, этот узенький лоб, сплюснутый нос и темные волосы без проседи, несмотря на пятидесятый год, могли только принадлежать бойкой и энергичной женщине. Все три дамы хранили глубокое молчание. Тишина в комнате прерывалась лишь треском и шелканьем печки, метавшей на пол искры, и пискливым напевом самовара, которому вторило иногда недовольное ворчанье собачонки, лежавшей на диване, за спиною помещицы. Извне слышался отдаленный гул толпы, бродившей по улице; время от времени гул этот как будто приближался и, смешавшись внезапно с свирепым завыванием ветра и шумом дождя, посылаемого в окна, производил такой грохот, что даже канарейка, сидевшая нахохлившись

в клетке над головою поручицы, вздрагивала, высовывала из-под крылышка голову и начинала отряхиваться.

— Цыц, Розка,— говорила тогда Марья Петровна, обращаясь к собачке, которая принималась неистово лаять,— цыц! Господи благослови,— продолжала она,— с ума они сошли, что ли? того и смотри деревню сожгут... Степанида Артемьевна, посмотрите, матушка, в окно, уж не случилось ли чего?..

Тут Марья Петровна поворачивала с беспокойством худощавое лицо свое к окошку и крестилась с особенною выдержкою.

— Не видно ничего-с,— отвечала приживалка, обтирая рукою мутное стекло,— все окно доверху занесло снегом-с.

— Эх, матушка, Марья Петровна, охота же вам, право, допускать такие буйства,— произнесла Софья Ивановна грубым голосом, соответствовавшим как нельзя лучше ее дубовой наружности,— смотрите, когда-нибудь наживете себе беду с вашей добротой; уж когда-нибудь да сожгут вам ваше Комково ваши же мужики!..

— Пресвятая богородица, божья мать, святой Сергей-угодник... ох!.. моя Анюточка-покойница (царство ей небесное!) к нему прикладывалась...— простонала жалобно хозяйка, возводя очи к потолку и принимаясь снова креститься.

— Да, конечно, сожгут вам деревню,— продолжала соседка,— если станете попускать такие буйства и бесчинства; время же стоит почти всякий раз в этот день, как нарочно, ветреное; разумеется, дело осеннее, долго ли до беды!

— Ох! да что ж мне делать-то с ними, Софья Ивановна?..

— Как что делать, матушка? вот славно! Да кто же здесь госпожа? Сказали: не хочу, не смею, мол, вам буйствовать! да и постращать хорошенько, вот и будет все в порядке; а то, право, долго ли этак до греха... слышите сами, какой ветер?.. слышите?..

Софья Ивановна наклонила набок голову, Марья Петровна и поручица последовали ее примеру.

Пронзительный ветер люто завывал вокруг всего дома, потрясая ставни и выступы; дождь стучал неумолимо, то глухо ниспадая на кровлю, то барабанил по окнам.

— Ох, сколько, я думаю, Софья Ивановна, бездомных-

то сироточек идут теперь по миру в такую-то погодушку,— промолвила после молчка Марья Петровна,— и пристанища-то у них, бедненьких, нету...

— А вам бы их небось всех к себе заманить хотелось? Много их, матушка Марья Петровна,— на всех богадельни в вашем Комкове не построишь, да и капиталу-то не достанет. Знаете ли, чем нам об этом сумлеваться, погадайте-ка лучше опять в карточки...

Слова эти произвели магическое действие на старушку; лицо ее, обыкновенно безжизненное, осмыслилось вдруг выражением живейшего участия; даже что-то вроде улыбки показалось на иссохших губах ее. Нужно заметить, что она слыла во всем околотке мастерицею гадать в карты, и в этом сосредоточивалась вся деятельность, все самолюбие доброй Марьи Петровны. Она с самодовольною улыбочкой взяла со стола замасленную колоду, стасовала ее и, потрянув быстрее обыкновенного головкой, сказала поручице:

— Степанида Артемьевна, поставьте-ка, голубушка, к нам огарок да присядьте сами сюда.

Приживалка зажгла, однако же, другую свечку, поставила ее перед помещицею и, не отвечая ни слова, уселась на прежнее свое место. Профили старух еще значительнее вытянулись и расширились на стене: голова Софьи Ивановны приняла вид исполинской тыквы; нос Марьи Петровны вытянулся и заострился так немилосердно, что дотянулся до чайного стола, так что при малейшем движении пламени, казалось, он клевал прямо в сахарницу, а иногда зацеплял даже за чепец поручицы, принявшейся снова за свой чулок.

— Вам, Софья Ивановна, я знаю, верно, на червонную даму... вы всегда на нее загадываете? — спросила старушка, утвердительно кивая головою.

— Ну, хорошо, ставьте хоть на червонную,— отвечала та, придвигаясь ближе.

— Уж как хорошо выходит,— говорила помещица, между тем как художавые ее пальцы так вот и бегали по столу,— уж как хорошо... интерес, да, от трефового короля получите большой интерес... постойте, что это? Да,— продолжала она, задумчиво потирая лоб,— препятствует какая-то белокурая дама, довольно пожилая...

— Гм! белокурая! кто же, однако ж?... ну, что же еще?

— Письмо получите из дальней дороги, вести, вот види-

те ли, дорога?.. постойте... вот тут как будто болезнь, но небольшая, так, простуда какая-нибудь легонькая... но вообще все очень, очень хорошо; интерес, большой интерес от трефового короля получите...

— Марья Петровна, Софья Ивановна,— перебила сухо поручица,— не будете больше кушать чаю? я прикажу снести самовар...

— Погодите, Степанида Артемьевна, может, Софье Ивановне угодно будет выкушать еще чашечку...

— Нет, матушка, благодарствуйте, я уж и так по горлышко... больше не могу...

В эту самую минуту на улице раздался такой неистовый грохот, что все три дамы разом вздрогнули. Почти в то же время подле окна, где сидела приживалка, послышался протяжный вой собаки; он начался тихо, но потом, по мере возвращавшейся тишины, вой этот поднялся громче и громче, пока наконец не замер с последним завыванием ветра. Собачка, лежавшая на диване, на этот раз не удовольствовалась ворчаньем: она проворно спрыгнула на землю, вскочила на окно и принялась визжать и лаять, царапая стекла как бешеная.

— Цыц, Розка! цыц, Розка! — болезненно простонала испуганная Марья Петровна,— ох! что это в самом деле? слышите, душенька Софья Ивановна, как на дворе собака-то воет, и ведь не в первый раз, уж не к покойнику ли?..

— Ну вот еще,— возразила ее собеседница,— у вас все на уме такое... просто воет себе собака.

— Ох,— начала снова Марья Петровна, крестясь и возводя очи к потолку,— божья мать, святой Сергей-угодник, моя Анюточка-покойница (царство ей небесное!) к нему прикладывалась... Степанида Артемьевна, да отгоните же Розку, ишь как она мечется, того и смотри окно прошибет.

Поручица бросила с сердцем чулок, крикнула на собачонку и, бормоча что-то сквозь зубы, вышла вон. Минуту спустя в комнатку вошла высокая рябоватая белобрысая девка; она подошла к самовару и стала убирать чашки.

— Палашка,— сказала помещица,— какая у вас там собака воет? весь вечер покою не дает...

— Змейка, сударыня,— отвечала Палашка, глядя исподлобья,— у ней щенят вечор покидали в реку... так, должно быть, и воет... Мы ее отгоняли от крыльца, да никак не сладишь с проклятой-с.

— Ох уж мне эта собака! Представьте, какой случай с ней был нынешним летом: взбесилась да Фетиске, кучерову сыну, всю икру искусила... уж как же она меня тогда напугала, сказать вам не могу...

— Чем же вы его вылечили, Марья Петровна?

— Обыкновенно чем, всегдашнее мое средство: сначала мышьяком присыпала... а потом давала ему пить по три раза в день подорожника листочка...

— Напрасно вы это делали, только лишняя трата вам... Если хотите, я вам скажу другое средство... и гораздо дешевле; мне передала его по секрету одна дама... да я, уж так и быть, не утаю от вас, для милого дружка и сережка из ушка... вы же много больных лечите, вам оно пригодится.

— Ах, матушка Софья Ивановна, уж как же вы меня много обяжете... вы не поверите, сколько мне стоят эти лекарства; поверите ли, ведь из чужих деревень приходят; разумеется, больной принесет из благодарности то яичек, то рыбки, то медку, да господь с ними, я ведь ничего не беру, народ бедный, а денежки-то всё идут да идут...

— Вот то-то и есть,— перебила соседка,— слушайте же, что я вам скажу.— Тут она придвинулась еще ближе и примолвила с таинственным видом:— Как у вас придется еще такой случай: укусит кого-нибудь бешеная собака, вы возьмите просто корку хлеба, так-таки просто-напросто корку хлеба, напишите на ней чернилами или все равно, чем хотите, три слова: «Озия, Азия и Ельзозия», да и дайте больному-то съесть эту корку-то: все как рукой снимет.

— Неужели правда? — воскликнула помещица, всплеснув руками.

— Да вот как,— отвечала скороговоркою Софья Ивановна,— та, которая передала мне этот секрет, сказывала, что пятерых сряду вылечила этим средством.

— А, матушка, как же я вам благодарна; сами знаете, мышьяк дорого стоит, да еще и не скоро достанешь его... уж так-то я вам благодарна, так благодарна...

— Очень рада, Марья Петровна, очень рада... ну, так как долг платежом красен, говорят добрые люди, и у меня также найдется к вам просьбица...

— Что такое?..

— Вот что: вы картофель нынче сеяли?

— Сеяла, Софья Ивановна, и такой-то крупный уродился, благодарение царю небесному...

— В таком случае попрошу я у вас без зазрения совести, просто без зазрения совести, мерочку на мою долю я не сеяла.

Софья Ивановна проговорила все это с той приятной шутливостью, под видом которой люди, думающие бить на-верняка, делают самые нахальные просьбы. Помещица с радостью изъявила готовность пособить горю соседки.

— Экая память, право, у меня,— вымолвила она после минуты раздумья,— вот ведь я уж и забыла, что вы мне сказали... что, бишь, писать-то надо такое... зо... за... за... как, бишь, это?..

— Азия-с, Озия-с и Ельзозия-с...— отвечала соседка наилюбезнейшим образом,— да вам бы лучше записать на бумажке...

— Да, да, и то правда... Степанида Артемьевна,— сказала она входившей в это время поручице,— дайте, матушка, чернильницу и календарь...

Исполнив просьбу приживалка сердито сняла со свечки, пошевелила узенькими своими губами и села к окну. Помещица записала рецепт и, как бы утомленная такою продолжительною работой, прислонилась к спинке дивана. В маленькой комнатке вновь воцарилось глубокое молчание, прерываемое по-прежнему ворчаньем Розки, шумом бури, а иногда песнями и криками гулявших комковцев.

Минут двадцать спустя в комнату вошла рябая Палашка, сопровождаемая скотницей Феклой. Последняя выступила с озабоченным видом вперед и, поклонившись барыне в пояс, возвестила, что пришел какой-то старик на скотный двор, пришел да и сел на порог, стонет да охает да гос-пожу видеть просит.

— Уж так плох, матушка-барыня, так плох,— присо-вокупила скотница, качая головою,— лица на нем, сударыня, нетути; и ничего-то не молвит, только что охает, так-то охает, что беда-с; больно хил, сударыня; побоялась я оставить его до завтра, народу в избе нет, на праздник все ушли... я и пришла доложить вашей милости...

— Пресвятая богородица, заступница наша! — произнесла после тяжкого вздоха помещица,— ох, должно быть, больной какой-нибудь, бедняжушка! Сейчас, Фекла, сейчас иду, подожди меня в «аптеке»...

— Что это вы, Марья Петровна,— воскликнула Софья Ивановна, удерживая ее за руку,— уж не хотите ли идти

в такую пору, в такое ненастье на скотный двор? помилуйте, Христос с вами! что это вы делаете?..

— Нет, отпустите меня, душенька Софья Ивановна,— возразила старушка,— у меня и сердце не на месте...

— Так вот нет же, не отпущу.

— Нет, отпустите, душенька, право, сердце не на месте; пойду погляжу... может, помощь нужна скорая...

— Ну, вот, уж и скорая — да не умрет, не бойтесь; должно быть, у вас же на деревне употчевали его, дело праздничное, вот и все тут...

— Нет, все равно, душенька Софья Ивановна, а я пойду к нему, все спокойнее на сердце-то будет.

Сказав это, старушка поспешно вступила в комнату еще меньшего размера, увешанную с потолка до полу пучочками сушившихся трав. Тут также находился старинный, вычурный шкаф; сквозь стекла его можно было различить легионы пузырьков, баночек, скляночек и ярлыков — это была «аптека» помещицы. Марья Петровна немедленно натащила на ноги теплые валенки, закуталась в старый салоп на заячьем меху, намотала на шею платок и, сопровождаемая Феклою, державшею фонарь, отправилась на скотный двор.

— Сюда, сюда-с пожалуйста, матушка-барыня,— твердила Фекла, поддерживая одною рукою барыню, другою освещая ей дорогу,— не оступитесь, матушка-барыня, извольте вот сюда пожаловать, ишь лужи какие...

— Святой Сергей-угодник,— твердила жалобно Марья Петровна, шлепая по грязи,— ох! чуть было не оступилась...

— С нами все святые! — присовокупила скотница, удваивая старания,— долго ли до беды... ишь ветер какой, так с ног вот и ломит... да снег-то глаза залепляет... пожалуйста сюда-с... здесь будет посуше...

Вскоре своротили они за дом. Скотница направила фонарь прямо по долони через длинный барский двор, и обе пустились по этому направлению.

С улицы все еще слышались крики и песни неугомонных комковцев; там и сям за заборами, сквозь темноту мерцали огоньки, показывавшие, что пирушка и не думала умолкать.

Наконец Фекла подвела свою госпожу к скотному двору — мрачной избе, обнесенной с трех сторон навесами. Посоветовав Марье Петровне не трогаться с места, чтобы не быть вымоченной дождем, шумно ниспадавшим с навесов, баба уставила фонарь в грязь и приблизилась к

зданию; тут она неожиданно загремела шеколдой, отворила узенькую дверцу, снова подняла фонарь и осторожно ввела барыню в большие черные сени, где вместо пола служила твердо убитая земля.

— Не оступитесь, матушка-барыня,— говорила Фекла,— он тут того и смотри где-нибудь да на полу валяется; как пошла-то я к вашей милости, лежал он на пороге...

В сенях, однако ж, никого не было, и помещица, ступая осторожно в багровом кругу света, бросаемого фонарем, вошла в избу. Совершенная тишина царствовала повсюду; в избе было темно, хоть глаз выколи; острый запах дыма свидетельствовал, что лучина незадолго угасла. Когда фонарь осветил жилище Феклы, взоры помещицы встретили прежде всего одни голые бревенчатые стены и угол закопченной высокой печки; но потом, когда она обратила глаза назад, ей представилась в тени чья-то фигура, полулежачая, полусидячая на полу, покрытом редкой соломой.

— Посвети поближе, Фекла,— вымолвила смущенным голосом помещица, принимаясь креститься под салопом.

Фекла вынула из фонаря оплывшую свечку и поднесла ее почти к самому полу. Марья Петровна явственно увидела тогда при желтоватом, трепетном свете огарка длинный, костлявый образ старика лет восьмидесяти. Продолговатое, правильное лицо его, обрамленное реденькими сероватыми волосами, мягкими как пух, склонялось на узенькую сухощавую грудь, еле-еле прикрытую дырявой рубашкой, из которой выглядывали также тщедушные плечи и локти. Рубашка была мокра до последней ниточки; казалось, все члены старика съеживались под ней как осенние листья, прохваченные морозом. Черная тень, спускаясь от сухого подбородка прямо на середину груди, скользила по ней угловатою, глубокою извилиной и выказывала еще резче ее худобу и впадины; но, несмотря на некоторую резкость, придаваемую чертам этого человека его чрезмерною худобою и грубыми пятнами света и тени, лицо его сохраняло выражение самое кроткое и тихое; даже запекшиеся, побелевшие губы дышали тем невыразимым добродушием, которое как бы просвечивалось во всей его наружности. Старик, как уже сказано, лежал на полу; костлявое туловище его, слегка приподнятое локтем правой руки, бросало густую тень на стену и лавку, в которую упирались его длинные ноги, перепутанные онуча-

ми. Левая рука бедняка безжизненно покоилась на жиденькой холстяной суме в заплатах и поношенной шапке. Последние два предмета обозначали на полу следы воды, которою были пропитаны.

Страдальческая наружность бедняка, возбуждавшая невольное сочувствие, успокоила мало-помалу Марью Петровну. Она нагнулась и сделала шаг вперед. Старик, узнав в ней тотчас же барыню, хотел было привстать; но усилие его оказалось бесполезным, и он снова опустился на локоть. Подняв дрожащую руку на грудь, он устремил на нее мутные глаза свои и сказал с сильною одышкою:

— Простите, матушка... встать-то не смогу никак... не взыщите... сударыня... силой-то больно плох стал...

— Не надо, не надо,— торопливо проговорила Марья Петровна,— ничего, лежи, старичок... лежи; что с тобою? чем ты болен?

Старик опять попробовал было приподняться, закашлялся и вымолвил, останавливаясь почти на каждом слове:

— Грудь одолела... ломит все... матушка... ходить не дает... Одышка тяготит больно меня... Уж пятый месяц так-то бьюсь с ней... сударыня...

— Что ж ты, застудил ее, что ли?

— Нет, матушка,— продолжал бедняк, опуская в изнеможении голову,— не застудил ее... зашиб добре...

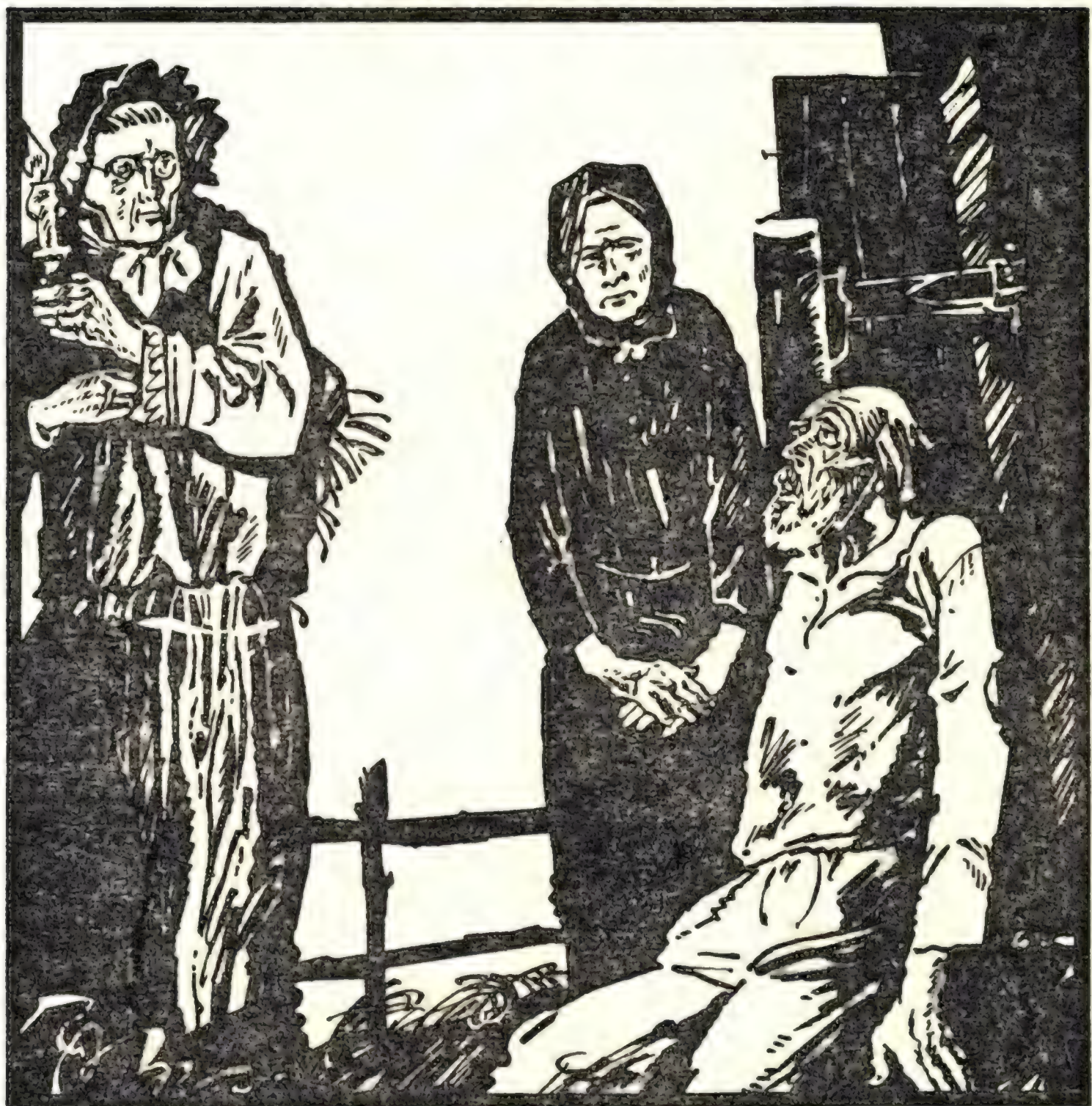
— Э, да как же это случилось?

— Я кровельщик... сударыня; у нас в вотчине... мельницу ветряную ставили... Народ-то все молодой... меня и послали... кровлю свести, вишь, понадобилось... Время-то ненастное стояло... по весне было, матушка... Я и скатись с нее... да вот грудью-то и упал на бревна... Ох!.. С той поры так-то вот все и бьюсь... с ней...

— Э-э-э, старичок,— перебила Марья Петровна, жалостливо качая головой,— да тебе бы тогда надо было кровь пустить или сходить тотчас же в город к лекарю...

— Был, матушка,— отвечал старик ослабевшим голосом,— да не приняли... Места, вишь, в ту пору не было... О... ох!..

Усилия, какие употреблял бедняк, чтобы говорить с помещицей, казалось, превышали его силы; едва произнес он последнее слово, как звук уже замер на устах его, одышка и хриплый кашель, которому конца не



было, совсем одолели старика. Внезапно лицо его искривилось, руки брякнули оземь, и он покатился на солому.

— Воды! Фекла, скорей воды! — завопила Марья Петровна, мотаясь как угорелая. — Господи боже мой! Заступница наша, пресвятая богородица... Скорей, Фекла, спрысни ему лицо... Господи, что с ним такое?

— Ох, матушка-барыня, — твердила не менее испуганная скотница, поливая без милосердия голову старика студеной водой, — с ним это не впервые... как только пришел он сюда, тоже вот такое попритчилось... Ох! чего доброго, помрет еще, пожалуй... Спросить бы его, барыня, откуда он... все бы, кажись, не так опасно... Эка беда какая!..

В это время старик глубоко вздохнул, открыл глаза и медленно начал приподниматься; он как будто совестился оставаться в таком положении при барыне.

— Откуда ты, старичок? — спросила Марья Петровна, трясая головой сильнее обыкновенного.

Старик тотчас же заметил выражение беспокойства на лице барыни; он, вероятно, также понял причину ее опасений и вместе с тем все, что ему угрожало в таком случае. Стараясь по возможности придать лицу своему бодрое и спокойное выражение, он произнес с меньшею, однако, против прежнего твердостью:

— Вот, матушка, как словно теперь полегче стало... Со мной так-то бывает... Оно ничего, сударыня... ничего... не откажите только своею милостию... не гоните меня без помощи, как другие. (Тут он устремил на нее умоляющий, влажный взор.) Оно ничего, матушка, прошло, ты не бойся... на силы-то больно я понадеялся... прошел добре много, сударыня...

— Да ты откуда? — спросила Марья Петровна.

— Я-то? — простонал старик.

— Да, из каких ты мест?

— Издалече... верст за девяносто...

— Чьих господ?

— Бакушиной... Анастасии Семеновны... матушка...

— Э-э-э, — перебила Марья Петровна, потряхивая головой, — экой ты какой, старичок, право! да тебе бы лучше подождать в городе, пока место в больнице не очистилось...

— Я и сам думал, сударыня, — заметил старик, — да сказали: долго придется так-то ждать... Я и пошел опять в деревню...

— Оно бы лучше было, хоть в деревне бы дождался... в больнице тебя бы, наверное, вылечили...

— Не у кого было, сударыня, жить в деревне-то,— отвечал со вздохом бедняк,— землицы и избенки нету у меня, матушка... Я по старости с пашни-то уже девятый год снят... затыглым считаюсь... семьи нет, одинокий...

— У кого же ты жил?

— Да у своего же мужичка... на хлебах... Подсоблял ему кое-что править... пока господь сил не отнял... Он меня и кормил, матушка... Ну, как сил-то не стало, случилась со мной беда-то, расшибся, пришел ему в тяготу... Он кормить-то и не стал меня... Вестимо, в чужих людях даром хлеба не дадут...

— Так неужто у тебя никого нет из родни в деревне?

— Есть, матушка... дочка есть...— отвечал он, оживляясь,— да только не в деревне у нас... За садовником она, в тридцати верстах отселева живет... К ней-то я, сударыня, и пошел, и лето, почитай, все у нее прожил... да так же, сударыня, люди они бедные,— прибавил он после вздоха,— в тягость я им пришелся... Они-то не сказывали, да вижу сам, не вмоготу им стало кормить меня, старика... я и пошел побираться... Вот в Заполье ономнясь проведаль я про твою милость... и пришел к тебе... да, видно, чрез силу шел-то, время холодное, ненастье такое... мне хуже и стало... Не оставь, матушка, меня своею милостью... век буду за тебя молить бога; мне у тебя здесь так-то хорошо... изба теплая... совсем обогреюсь... не оставь... родимая...

— Погоди, погоди, бедный старичок, погоди,— сказала Марья Петровна,— отдохни здесь, сейчас пришлю тебе лекарства... Напьешься горяченького, и груди легче станет... и мази также пришлю тебе...

Старик не отвечал ни слова, но взгляд, брошенный им на барыню, передавал его благодарность лучше всякой речи. Марья Петровна и Фекла, успевшая уже в это время воткнуть огарок в фонарь, вышли из избы

— Ну, что у вас там такое случилось? спросила Софья Ивановна, встречая соседку в «аптеке» Что это за старик?

— Ох, душенька Софья Ивановна, лучше и не спрашивайте! могла только проговорить помещица Ох! представьте продолжала она, разводя руками, какой-то старик, старый-старый, пришел за девяносто верст в эту

погоду, и уж чуть-то живехонек... Грудь расшиб, бедненький, с мельницы упал... Ох! не знаю, право, чем бы ему помочь... бузины разве с шалфеем сварить... пусть напьется горяченького, оно смягчит, а потом велю Палашке натереть ему грудь оподельдоком... как вы думаете?

— Смотрите, Марья Петровна, не нажить бы вам бед с вашими лечениями! Сами же вы говорите, что старик этот чуть живехонек... Ну, а как он вдруг да отдаст у вас богу душу, умрет, что вы думаете? Знаете ли, какое это дело? Да тут от суда не отделаешься. Разве не слышали, каких хлопот нажил себе чрез такой же точно случай Егор Иванович Редечкин третьего года?.. Христос с вами, Марья Петровна, что вы делаете?..

— Ох, Софья Ивановна, не пугайте меня, душенька, у меня и так сердце не на месте! — воскликнула в страхе старуха. — Палашка! Палашка! поди сюда, дура, взлезь поскорей на стул да сними вон с того шестка два пучочка травы... Ну, беги теперь в кухню, спроси медный чайник у Прасковьи и неси его в ту комнату... Что, печка еще топится?

— Топится.

— Ну, хорошо; так беги же, смотри, скорей... Напою его, Софья Ивановна, тепленькой бузиной, авось господь не попустит такой беды...

Минуту спустя Марья Петровна сидела перед печкой, заставляя рябую Палашку мешать целебные травы и в то же время твердя молитвы. Софья Ивановна вместе с поручицей, все еще вязавшей чулок, расположилась подле нее. Первая не переставала повторять соседке свои опасения, подтверждая их каждый раз случаем с Егором Ивановичем Редечкиным.

А между тем буря по-прежнему свирепствовала на улице, ветер жалобно завывал вокруг всего дома и дождь безмилосердно барабанил в окна; заунывный голос Змейки также иногда раздавался за окном, вторя мрачному напеву бурной осенней ночи... Вода в чайнике начинала уже закипать, когда в комнату неожиданно вбежала Фекла; комки мокрого снега, покрывавшие голову и плечи бабы, свидетельствовали, что она не подумала даже второпях отряхнуться и обчиститься в сенях; лицо ее изображало сильную тревогу. Марья Петровна, увидя ее, раскрыла рот, глаза и осталась как окаменелая в этом положении; Софья Ивановна одна не растерялась.

— Что ты? — спросила она, поднимаясь на ноги. — Верно, что-нибудь случилось?..

— Беда, матушка-барыня! — проговорила скотница, размахивая руками и посылая при этом случае брызги воды на обеих старух. — Старик-ат никак совсем отходит!..

— Божья мать, святой Сергей-угодник... — простонала наконец помещица.

— Ну, Марья Петровна, не говорила ли я вам, что это будет? — произнесла торжественно соседка.

— Ох, что ж мне с ним делать?

— А вот что, — вымолвила опять Софья Ивановна, энергически махнув рукой, — по-моему, просто-напросто прикажите-ка скорей отвезти его на дорогу, да пусть идет себе умирать куда хочет!..

— Вестимо, матушка-барыня, — возразила Фекла, поливая барыню, как из лейки, — оно что про то говорить, время ненастное, да все же лучше отослать его от греха...

— Видите, Марья Петровна, — перебила соседка, — вам даже это говорит простая мужичка... что вы делаете? Помилосердуйте... послушайте меня... я вам добра желаю... Посудите сами, время праздничное, подумают еще, как следствие затеется, что его здесь и убили у вас; прикажите его, говорю вам, отвезти скорее, бог с ним, своя рубашка ближе...

Марья Петровна минуту целую ничего не могла отвечать; глаза ее были устремлены на лампадку, висевшую в углу перед образом, и, казалось, все существо ее переселилось мысленно на кончик светильни. Наконец она обратила добродушное лицо свое к Фекле и сказала более твердым голосом:

— Беги скорее к старосте, скажи ему, чтобы велел запрячь тележку да отвез бы старичка куда ему надо... ох! Да вели ему дать, бедненькому, пирожка на дорогу... Постой, вот я волю в посудинку бузины... пусть прежде напьется хорошенько горяченького... Палашка! Вынь ей также белый хлебец из кладовой... а ты, Фекла, ступай сюда (тут она ввела бабу в «аптеку»), на тебе мазь, скажи ему, чтоб натирал грудь утром и вечером... Ох! С нами крестная сила!.. Ну, ступай, ступай... Господь с тобою!..

Получив, что следовало, Фекла заблагорассудила наперед всего забежать домой и поглядеть на старика. Она

увидела его распростертого, как прежде, на полу без малейшего признака жизни.

Заметив, однако ж, после внимательного рассмотрения легкое колебание рубашки на груди страдальца, она перекрестилась, поставила фонарь и ношу свою на окно и сломя голову кинулась к старосте.

Изба Демьяна была полна народу и, прежде чем Фекла достигла «красного угла», где дребезжал, как струна бойкого шерстобита, голос старостиhi, она должна была протискаться сквозь густую толпу баб, девок, ребят, мужиков. Хозяйка дома, краснощекая, румяная баба, стояла против дюжего багрового мельника, кланялась ему низменно и упрашивала откусать еще пирожка; она не обращала ровно никакого внимания на то, что стол перед мельником был покрыт грудami съестного; еще менее заботилась старостиha о том, что кусочки лепешек, пирогов и каравая, за неимением другого места, покоились гуськом на коленях именитого гостя; она только кланялась да приговаривала:

— Да пожадуйце, да покорнейше прошу, да откушайте...

На что гость отвечал, отдуваясь, как бык:

— Много довольны... не обессудьте... очень довольны...

— Да пожалуйце,— продолжала хозяйка,— да хоть скушайте кусочек... вы мало чего получаете... из-под себя кусочек выкушайте...

— Много довольны,— отвечал опять тот,— и так передо мной копной-с наворочено...

Когда Фекла объявила во всеуслышание причину своего посещения, в избе поднялся такой страшный шум, что с минуту можно было думать, что она разрушается до основания; в сенях послышалась давка, визг, пискотня... Не успела одуматься хозяйка, как уже изба ее опустела, остался только мельник; благодаря радушному приему один он не в силах был последовать общему примеру.

— Ахти, матушка! — вскричала старостиha, всплеснув руками.— А ведь мужа-то нету дома... Знать, загулял где... постой, я побегу за ним... поди ты, дело-то какое!

Не дожидаясь приготовлений старостиhi, Фекла стремглав понеслась домой. Она до того была занята своим делом, что на повороте улицы не заметила двух пьяных мужиков, лежавших в луже поперек дороги, и чуть не шлепнулась через них со всего размаху; услыша неожиданно голос старосты, она подбежала к одному из них и, толкая

его, принялась было передавать ему приказание барыни; но тщетны были ее старания; Демьян ничего и слышать не хотел. Обняв крепко-накрепко свата своего Стегня, он только лобызал его в бороду, повторяя: «Сенька, Сенька, запой! запой!..», вследствие чего сват раскрывал рот наиболее образнейшим образом, испуская сиплый, раздирающий звук,— только то и было.

Видя, что толку не доищешься, Фекла поспешно подобрала подол и продолжала путь. Народ, извещенный случаем, валил на скотный двор со всех сторон и успел уже натискаться в избу вплоть до самых сеничек. Никто, однако ж, из толпы, окружавшей бедняка, не трогался с места; все глядели на него, вылупив глаза, с каким-то притупленным любопытством, и только глухой ропот пробегал иногда с одного конца избы до другого. Старик лежал по-прежнему на соломе; ему как будто опять отлегло. Ошеломленный шумом, смотрел он в недоумении на толпу, его окружавшую. Казалось, тяжкое предчувствие того, что должно было случиться, начинало уже мало-помалу забираться в его душу; но когда Фекла, продравшись к нему, тряхнула его за руку и сказала: «А что, старик, тебе, кажись, опять легче стало? Вставай!» — все разом прояснилось перед ним. Судорожный трепет пробежал по всем его жилам. Он не сказал, однако ж, ни слова. Медленно, с невероятными усилиями приподнялся он с помощью рук на колени, и только раздирающий вздох ответил на шум толпы, поднимавшийся все сильнее и сильнее.

— Постой, дядя, я те помогу привстать-то,— вымолвил наконец дюжий мужик, выступая вперед и пропуская коренастую руку под плечо больного.— Митроха,— примолвил он, толкнув локтем молодого парня,— подсоби! Чего стоишь, рот-то разинул?

Старика поставили кой-как на ноги. Кружок значительно расширился.

— Вот что, старик,— начала Фекла, заглядывая ему пристально в лицо,— ступай-ка ты лучше от нас с богом, мы те проводим, а то пришел ты, господь тебя знает, отколе... неравно еще беда с тобой случится, всем нам хлопот наживешь... ступай, до греха..

— Вестимо,— перебила какая-то близ стоявшая старушка, обращаясь к бобылю,— погляди-ка, касатик, на себя, ведь на тебе лица нет, родимый, того и смотри богу душу отдашь.

— И то,— заметил дюжий мужик, все еще поддерживавший старика,— ишь уже ноги-то как трясутся... и всего инда дрожь пронимает... ступай-ка лучше от нас до беды... ты помрешь, тебе что, а нам от суда-то житья не будет, дело знамое; ишь у те как глаза-то посоловели... ступай, дядя, лучше от нас, пра, ступай...

— Да что вы с ним больно кобянитесь,— слышался чей-то голос,— ведите его, и все тут; чего ждете? небось хотите, чтоб помер да всем беду накликал!..

— Погодите! — закричала Фекла.— Барыня велела ему дать мази на грудь... Старик, где у тебя сума-то? Старик!

— Ась?

— Мешок где?

— А!..

— Здесь, здесь! — закричало несколько голосов, и в то же время множество рук протянулось к Фекле с сумою.

— Погодите,— продолжала Фекла,— барыня велела еще положить туда хлеб белый да лекарство; ну, дядюшка, а посудинка где твоя?.. Эй, тетки,— крикнула она,— за вами, кажись, на окне посудинка стоит... Да что вы тискаетесь, черти, словно угорелые, чего не видали? Эки бесстыжие какие!.. (При этом Фекла начала угощать подзатыльниками девчонок и мальчишек, карабкавшихся под ее ногами.)

— Кажись, все теперь,— прибавила она, торопливо надевая мешок на плечи старика и нахлобучивая ему на глаза шапку.— Ну, теперь господь с тобой, дядюшка!.. Ступай от нас!..

Старик медленно поднял костлявые, сухие руки свои к голове и стащил шапку; после этого правая рука его еще медленнее поднялась кверху, и трепещущая, неверная кисть ее прильнула к страдальческому челу, потом к груди и робко сотворила крестное знамение.

Фекла снова помогла ему надеть шапку; тогда дюжий мужик толкнул еще раз Митроху и, приподняв старика под руки, повел его вон из избы. Опустив голову, бедняк безмолвно протащился в сени, преследуемый шумною толпой, которая чуть не сшибала с ног его вожakov, ругавшихся на все бока; но когда его вывели на улицу, когда неумолимый дождь начал снова колотить его в бока и спину, когда студёные лохмотья рубашки, раздуваемые свирепым ветром, начали хлестать в его изнуренную грудь, старик поднял голову, и помертвелые уста его невнятно

прошептали о пощаде; но яростное завывание бури заглушало слова страдальца, и его повлекли прямо к околице.

Вскоре не стало старика в сельце Комкове, и толпа, его провожавшая, снова загуляла на славу; и долго потом громкие крики веселившегося народа раздавались на улице, долго еще слышались во всех ее концах звонкие залихватские песни, говор и дружный беспечный хохот, пока наконец глубокая полночь не прогнала хмельных обывателей в теплые избы, на полати и печи. Все понемногу стихло и смолкло. Один лишь свирепый ветер, пробегая по кровлям и заборам, подымал свой пронзительный голос в тишине ночи, да изредка вторило ему с барского двора протяжное завывание Змейки, которую не могли никак отогнать карасьники...

.....

На другой день утром Софья Ивановна собралась ехать домой. Невзирая ни на какие убеждения со стороны Марьи Петровны, упрашивавшей Христом-богом соседку погостить еще денечек, она осталась непоколебимою в своем намерении. Делать было нечего; велено было рябой Палашке приказать кучеру запрячь каурую кобылу. К полудню старинные дрожки Марьи Петровны бойко подкатили к крыльцу, причем рыжий Степка, сидевший кучером (отец злополучного Фетиски находился еще в расслабленном состоянии после вчерашнего праздника), поглядел на дворовых, столпившихся у застольной, как бы похваляясь перед ними своей удачей. Когда обещанный кулечек с картофелем был привязан белобрысою Палашкой к экипажу, Софья Ивановна, закутанная с головы до ног, стала усаживаться на дрожки, поддерживаемая лакеем Федором, у которого все лицо, от стужи ли, или от чего другого, было покрыто синяками. Марья Петровна, стоявшая с поручицей-приживалкой на крыльце, готовилась уже спуститься вниз, чтобы в последний раз поцеловать дорогую соседку, как в это самое время откуда ни возьмись появился перед нею староста. На лице Демьяна не было и следа вчерашней гулянки; оно выражало одни лишь тяжкие заботы.

— Что ты, Демьян? — спросила помещица.

— Да к вашей милости, матушка Марья Петровна, — отвечал он с поклоном, — вечер, матушка, приходил сюда хворый мужик, так вы его отослать приказали... Ну, слава

богу, сударыня, что отделались мы от него... такую было беду заварил.

— Что такое? — вымолвила с беспокойством старушка.

— Да что, матушка Марья Петровна, сюда приехал на мельницу мужик из Орешкова, сказывал, старика-то, вишь, нашли у них нынче к рассвету, на меже, мертвого... Пошли, говорит, ихние ребята за кольями, а он, сударыня, и лежит подле самой-то межи, в канавке, словно, говорит, живой... подле него мешок, шапка... сказал мужик тот; к ним и становой, вишь, приехал... така-то, говорит, беда завязалась...

Софья Ивановна всплеснула руками и подпрыгнула на дрожках; Марья Петровна прослезилась и подняла очи к небу; одна лишь поручица прослушала все это с обычным своим хладнокровием.

— Божия мать, святой Сергей-угодник... Ох! — простонала наконец Марья Петровна.

Головка ее тряслась сильнее обыкновенного, и теплые благодарственные слезы текли по иссохшим ее щекам.

— Вот то-то,— произнесла ей соседка, размахивая руками,— теперь небось сами, Марья Петровна, благодарите бога, а вчера, помните ли? и слушать меня не хотели... ну, не предупреждала ли я вас, а? а вы еще хотели оставить его у себя... ну да слава царю небесному, что это дело так благополучно для вас окончилось, очень рада... Прощайте, душенька Марья Петровна, благодарю за хлеб за соль, да к нам в Закуряево скорей приезжайте погадать в карточки... Прощайте!..

И дрожки укатились, унося с собою помещицу, добрую меру картофеля и целый короб новостей, которые Софья Ивановна поспешит сообщить другой своей благодетельнице, куда и приказывает немедля направить путь рыжему Степке.

КАПЕЛЬМЕЙСТЕР СУСЛИКОВ

Повесть

I

Несколько лет тому назад город Б*** находился в страшном волнении. Один из самых богатых обывателей этого города, Алкивиад Степаныч Кулындин, получил известие, что одно довольно значительное лицо, приходящееся ему несколько сродни, проездом остановится у него в доме. Супруга Алкивиада Степаныча, Софья Кирилловна, тотчас же приказала заложить карету и поспешила сообщить новость приятельницам; те, разумеется, точно таким же порядком передали ее своим, а те опять-таки своим. Сам Алкивиад Степаныч, не медля ни минуты, дал знать о событии местному начальству, которое в свою очередь передало весть женам, те опять другим приятельницам, так что в самое короткое время весь город узнал о неожиданной новости. Все засуетилось. Со всех сторон показались озабоченные лица; у мужчин заботливость эта, неизвестно почему, выразилась вдруг значительным пожиманием бровей и обращением губ в трубу; у дам обозначилась она радостными улыбками и той суетливостью, какая предвещает всегда появление чего-нибудь необыкновенного, торжественного. Но не в том дело; уже во всех концах города гремели коляски, рыдваны, дрожки, тарантасы, разлюли; многочисленные экипажи направлялись, однако ж, сколько известно, преимущественно к двум только пунктам: те, в которых сидели мужчины, стремглав летели к подъезду Алкивиада Степаныча; другие, занятые дамами, направились к голубому домику, украшенному надписью: «Госпожа Трутру из Парижа, Modes»¹, с прибавлением внизу русскими буквами: «Нувотé»². Не мешает заметить, что Софья Кирилловна в разговорах с приятельни-

¹ Моды (франц.).

² Модные новинки (франц.).

цами намекнула вскользь о бале, который думает дать ее муж в честь дорогого родственника. В то время когда каждый занимался своим делом, местное начальство съезжалось к Кулындиным, а жены осаждали г-жу Трутру, город Б***, забытый всеми, решился показать, что он не хуже других и, в случае надобности, может точно так же пригласить свою будничную наружность и пощеголять перед гостем: улицы вдруг очистились, обвалившиеся заборы отнеслись на задворья, домостилась площадь, ворота окрасились свежей масляною краской, и с такою тщательностью, что даже не было никакой возможности отогнать от них собак, привлекаемых, вероятно, столько же искусством маляра, сколько необыкновенною свежестью колеров. Город Б***, украсив таким образом свои главные улицы (об остальных он и не заботился), перещеголял даже многих обывателей мужского пола, которые, несмотря на парадный вид, очень походили на вымоченных куриц. Появление дорогого посетителя возбуждало такое любопытство, что один толстенный, коротенький обыватель с крутым брюшком и круглою головою поместился у самой заставы, чтобы только прежде других посмотреть ему в лицо; он то и дело щурил масляные свои глазки по направлению к большой дороге, подымался на цыпочки и, приложив жирную ладонь ко лбу в виде зонтика, удваивал внимание каждый раз, как в той стороне показывалась пыль...

Приезд родственника Кулындиных подействовал, однако ж, сильнее всего на Николая Платоныча Сабанеева. Лицо его отразило почти в одно и то же время все разнохарактерные выражения, какие только неожиданная весть могла разбросать на лица остальных обывателей города. Он то улыбался, то сердито хмурил густые свои брови, то вдруг опять самодовольная улыбка появлялась на губах его; он расхаживал с озабоченным видом взад и вперед по кабинету, трепал себя немилосерднейшим образом за высокие воротнички (в то время носили еще высокие воротнички), взъерошивал волосы и радостно потом потирал руки. Николай Платоныч, точно так же как приятель его Алкивиад Степаныч,— обыватель города Б***, обыватель с достатком, с весом. Сверх того, он был еще и содержателем театра. Нечего упоминать, что полунитие антрепренеры, таскающиеся по ярмаркам и уездам с оборванною труппою, так же походили на него, как актер, представляющий Цезаря на сцене, похож на настоящего Цезаря.

Николай Платоныч не только не имел в виду гнусной корысти, но даже охотно жертвовал каждый год из своего кармана на улучшение и содержание театра, который в самом деле представлял все совершенства, каких только можно ожидать в провинции. Особенно оркестр обращал на себя внимание г. Сабанеева. Николай Платоныч был сам музыкант, меломан в душе и даже композитор по призванию — главная причина, заставившая его, как утверждали многие, взяться за управление театром. Что он такое компоновал, определить трудно, потому что, кроме огромной оперы, над которой трудился он неусыпно десять лет сряду в своем кабинете, из-под пера его вышли две только пьесы, марш и русская песня; но, во всяком случае, избранное общество города Б*** очень хорошо делало, сохраняя высокое мнение о его таланте и музыкальных познаниях. Уже одна наружность Николая Платоныча свидетельствовала если не совсем гениального человека, то уж, конечно, натуру необыкновенную. Маленькая подвижная фигурка, как будто разбитая когда-то вдребезги и склеенная потом неопытным мастером, увенчивалась огромною головой, казавшеюся втрое еще больше от серых сухих волос, встрепанных самым неистовым образом; лицо Николая Платоныча, свойства желчного, представляло одни только глубокие впадины и выступы; между последними особенно отличались энергический нос, загнутый клювом, и четырехугольный подбородок, редко выбритый; одну из самых резких особенностей композитора составляла небрежность туалета. Николай Платоныч находился вечно в каком-то волнении: глядишь — сел; не успеешь отвернуться — как уже быстро расхаживает по комнате, покручивая головой, взъерошивая волосы и мурлыча что-то под нос. Сухощавые, но жилистые и крепкие его члены подергивались непрерывно судорожными движениями; он никогда не оставался в покое; взглянув на него, действительно можно было поверить, что в нем, как сам он утверждал, сидела целая дюжина огнедышащих гор. Николай Платоныч говорил разбитым, надорванным голосом; но это потому, что он никак не мог победить в себе горячку и спорил до упаду с встречным и поперечным о музыке и своих произведениях, несмотря на ежедневную клятву обращаться с таким предметом к одним дамам. Г. Сабанеев не бегаёт дамского общества; напротив того, присутствие прекрасного пола как-то вдохновляет, вооду-

шевляет композитора; между женщинами и артистами существует уже издавна сродство: одни нежные, мягкие души способны понимать друг друга. Не все, однако ж, согласятся с этим: одна молоденькая дама не разделяла общего сочувствия к Николаю Платонычу; она уверяла даже, будто русская песня и марш знакомы ей еще с детства и не принадлежат его гению; но это несправедливо, и Николай Платоныч был вправе продолжать отзываться о ней дурно, несмотря на то, что уже прошло много лет с тех пор и молоденькая дама успела с того времени родить сына и определить его в пансион; впрочем, дама была музыкантша: это объясняет лучше другого ее вражду к композитору. Пора, однако ж, объяснить, каким образом при всех этих обстоятельствах, по-видимому совершенно частных, приезд гостя так сильно мог подействовать на директора театра. Несколько месяцев до начала рассказа в гостиных города Б*** распространился слух, что Николай Платоныч подводит к концу свою оперу и решился наконец подарить Б*** общество несколькими выдержками; но слухи, подтвержденные самим автором, почему-то не состоялись; слышно только было, что репетиции делались каждый день и оркестр, управляемый старым капельмейстером Сусликовым, просиживал с утра до вечера в театре. Так продолжалось до тех пор, пока Алкивиад Степаныч не получил вести о прибытии в Б*** своего родственника. Нечего распространяться о том, как обрадовался Николай Платоныч случаю, позволяющему показать постороннему лицу, да еще значительному, театр во всем его блеске; что же в самом деле могло быть выгоднее для славы провинциального театра выдержек из совершенно новой, оригинальной оперы, написанной притом самим директором? Он распорядился отлично: из выдержек составил целый дивертисмент, с хорами, танцами и пением. Судя по репетициям, дивертисмент подавал надежду пройти очень удовлетворительно. С другой стороны (и что очень естественно), его терзало то тревожное чувство, которое суждено испытывать каждому артисту, выставляющему на суд публики свое произведение, даже и тогда, когда существует твердая уверенность в его успехе и достоинстве.

В таком-то неопределенном состоянии духа Николай Платоныч сел в карету и поехал на репетицию

Репетиция еще не начиналась. На слабо освещенной сцене толпилась уже почти вся труппа. Подле оборванных кулис, на лавочке, изображающей лодку, сидело несколько женщин, вязавших чулок; кое-где в потемках в глубине театра, между холстяными полосами, представляющими швейцарскую долину, слонялись из угла в угол хористы, актеры и статисты. На темном этом поле четко обозначалась фигурка молоденькой сухощавой женщины, освещенная сбоку лампою; на ней было коротенькое танцевальное платье; ухватившись одною рукой за кулису, она мерно размахивала левою ногой и упражнялась в батманах; неподалеку от нее стоял, вывернув носки и приложив пятку к пятке, человек лет тридцати, коренастый, с завитками на голове, в белой холстяной куртке и таких же панталонах; он плавно разводил руками и, сгибая колени, делал плие за плие¹. Между ними, как маятник, ходил взад и вперед через всю сцену толстый трагик труппы, с синеватым, отекившим лицом, посреди которого высовывался нос, похожий на пузырек с баканом; вся краска с широкого лица его постепенно сходила к этому носу, который в самом деле был так красен, что казалось, как будто кровь всего тела устремилась туда и раз навсегда остановилась в нем. Заложив обе руки за спину, закинув назад голову, он поминутно останавливался, подымал опухшие глаза свои к холстяным облакам, болтавшимся на потолке, издавая раздирающие восклицания, явно относившиеся к роли, потому что никто не обращал на них внимания. На переднем плане сцены, подле темного оркестра, из которого выглядывали глянцевитые лысины и головы музыкантов, ярко освещенные свечками, прикрытыми колпаками, сидела на позлащенном картонном стуле примадонна в шляпке и бархатном бурнусе; подле нее увидался вертлявый режиссер с гладко прилизанными волосами и такою лоснящеюся физиономией, как будто ее только что вымазали постным маслом. Говор, шушуканье и хохот, слышавшиеся со всех сторон, перебивались иногда бранью бородатых мужиков, тащивших с криком и гамом лес или гору; иногда вся сцена, от колосников до преисподней, наполнялась яростными сухими раскатами грома, который машинист приводил в движение ради пробы; с

¹ Па в танцах.

другой стороны внезапно раздавались удары молотков или слышался пронзительный свист искусственного ветра; были минуты, где весь этот шум, смешиваясь с говором, писком, визгом, дополняемый звуками инструментов, которые настраивали в оркестре, производил такую кутерьму, что примадонна затыкала уши и топала ногою, причем режиссер бегал по сцене, хлопал в ладоши и кричал: «Тише! тише!...»

В одну из таких минут послышалось вдруг шиканье, и кто-то неистово крикнул из-за кулис:

— Николай Платоныч! Николай Платоныч!

Все разом смолкло.

— Позвать Сусликова! — произнес почти в то же время разбитый, хриплый голос, и содержатель театра, взъерошивая себе волосы, торопливо вошел на сцену.

Все присутствующие, кроме примадонны, повскакали с своих мест и поклонились.

— Здравствуйте, здравствуйте, — говорил Николай Платоныч, направляясь прямо к примадонне, — здравствуйте, Глафира Львовна. Ну, матушка, новости! Все сюда, все! — продолжал он, становясь спиною к оркестру и нетерпеливо махая рукою. — Горковенко, собрать всех ко мне!

Режиссер засуетился; вмиг труппа окружила Сабанеева; даже коренастый господин в белой курточке, с завитками на голове, перестал упражняться в плие и, с помощью вывороченных, гусиных ног своих, стал подбираться к общей группе.

— Сегодня спектакля не будет, — начал содержатель театра, обращаясь, однако ж, к одной примадонне, — завтра идет полный дивертисмент из моей оперы, тот самый, который мы репетировали: сначала третий номер, потом хор вятичей и радимичей и русская ария Миловиды. (Тут он самодовольно покрутил головою и, наклонившись к Глафире Львовне, пошептал ей что-то на ухо.) Горковенко! выставить крупными буквами на завтрашней афише имя Глафиры Львовны да составить скорей афишу: пьесы оставь, какие были назначены; главное — надо успеть еще раз прорепетировать дивертисмент. Смотрите же, — продолжал он, повертываясь наконец лицом к труппе, — не плошать у меня завтра, особенно ты, смотри! У-у-у!.. (Тут он с некоторою строгостью посмотрел на трагика с пузырем бакана вместо носа, который стоял потупя голову и глядел исподлобья.) А что же Сусликов? Горковенко, скоро ли?..

Горковенко метнулся за кулисы, но чуть было не шлепнулся со всего размаху, столкнувшись с Сусликовым, который в страшных попыхах бежал на сцену. Это был человек лет пятидесяти, среднего росту, сухощавый, жиденький, кисленький, вида самого кроткого, смиренного, отчасти немного даже глуповатого; крошечное лицо его, усыпанное красными и синими жилками, скорее склонялось книзу, чем закидывалось кверху; серенькие глаза, лишенные ресниц, постоянно слезившиеся, заслонялись большими круглыми очками в оловянной оправе, скрепленной кое-где черными нитками. Широкая лысина, сливающаяся непосредственно с низеньким лбом и обнажавшая все темя, вплоть до того места, где затылок упирался в воротник сюртука, обрамлялась с боков жиденькими пучочками седых волос, зачесываемых обыкновенно Сусликовым на самую лысину справа налево. Одежду его составляли ветхий бумажный галстук, полосатый жилет, упорно подбиравшийся к подбородку, и классический длиннополый сюртук горохового цвета, сделавшийся уже почему-то неизбежной принадлежностью всех старых театральных музыкантов. Оправившись немного после сшибки с Горковенкой, Сусликов подбежал к Сабанееву и, сложив по обыкновению своему обе ладони к животу, согнулся в три погибели.

— Куда это ты вечно забежишь, что тебя собаками надо отыскивать? Где ты был до сих пор? — спросил Николай Платоныч, закидывая руки назад.

— Я-с насчет... все... маленечко. Николай Платоныч, — начал было Сусликов, да замялся и окончил оправдание новым поклоном.

— Ну, ну, хорошо, хорошо, — перебил содержатель театра. — Все пьешь! — заключил он, насупив брови. — Завтра идет дивертисмент; чтоб все у тебя было исправно. Смотри, Сусликов: я знаю, кто тебя подбивает, — прибавил он, грозя пальцем трагику, который тотчас же принял мрачный вид, — все ли у тебя в оркестре как следует, а?..

— Все-с, — возразил Сусликов, — вот только, Николай Платоныч, гобойчик разве...

— Что такое? — живо перебил содержатель театра.

— Да захворал как словно маленечко...

— Что ж ты мне прежде не сказал этого? а? а? ну, что же ты стоишь? надо поскорей дать знать Алкивиаду Степанычу и просить, чтобы он одолжил своего гобоиста на завтра. — Куда? куда-а-а? погоди, после, теперь надо пройти

дивертисмент... я сам пошлю потом: ступай! да живо на-строить оркестр!

Николай Платоныч говорил «ты» всем артистам без различия; но тыканье его отнюдь не было грубо и оскорбительно; напротив того, в нем заключалось что-то нежное, отеческое, способное скорее размягчить, чем оскорблять сердце того, к кому оно относилось. Через несколько минут лысина Сусликова показалась посредине оркестра, и началась репетиция. Прежде всего пошла русская ария Мило-виды, главная пьеса дивертисмента.

— Тише! Сусликов, тише! — кричала, топая ногами, Глафира Львовна, когда не хватало у ней голоса, чтобы покрыть весь оркестр.

— Тише же, тише вы! — повторял примирительным тоном автор, самодовольно проводя ладонью по волосам. — Тра, та, та, та!..

Тут он ударял в такт ладошами и, когда оркестр начинал играть, принимался снова расхаживать по сцене, закинув назад руки.

— Громче, громче! Что это, я просто петь не могу! Громче, говорят! — отчаянно произносила примадонна каждый раз, как обрывалась у ней нота и она чувствовала, что не дотянет ее до конца.

— Ну громче же, громче! — подхватывал композитор. Наступила очередь танцовщицы.

— Скорее! Скорее! — кричала она, опасаясь кончить пируэт прежде музыки, — скорей! Тише теперь, тише! — продолжала она, становясь в аттитюд, в котором выгодно выказывались ее плечи.

Затем последовала казацкая пляска, исполненная танцовщицей и тем самым господином с вывернутыми ногами и завитками на голове, который упражнялся в плие, потом дело дошло до комического танцора Розанцева, который должен был пройти свой знаменитый английский комический па под названием «horn-pipe»¹; затем выступили вперед хористы, и началась проба еще одной выдержки из оперы директора: хор вятичей и радимичей; но тут уже сам автор принужден был несколько раз останавливать оркестр, чтобы мылить капельмейстеру голову. Николай Платоныч был, впрочем, очень доволен выполнением своих выдержек и если задавал Сусликову остротки, так единственно на том же основании, как одна баба,

¹ Правильно: hornpipe — матросский танец (англ.).

нежная мать, наказывала сына из убеждения, что побои-то для будущности пригодятся. Едва кончилась репетиция, появился Горковенко с составленною афишею.

— Хорошо,— сказал Николай Платоныч, пробегая глазами.— А зачем же в драме назначен Переславский вместо Muskатицкого, а? Выставить опять Muskатицкого, да вперед не умничать!

— Никак нельзя-с,— отвечал Горковенко.

— Что такое? Как нельзя?

— Никак не упрaviшься, Николай Платоныч; Muskатицкий даже на сцену сойти не мог, мы водою его отливали в уборной, насилу очнулся-с...

— Позвать его сюда, притащить пьяницу! о-о-о!..— твердил Николай Платоныч, быстро расхаживая по сцене...

Спустя минуту привели первого любовника труппы, Muskатицкого, высокого, худощавого, как щепку, человека с неимоверно длинными белобрысыми волосами, пропитанными водою и прилипавшими к его лицу и шее; на нем было жиденькое прорванное твиновое пальто, составлявшее, впрочем, всегдашний и вместе с тем единственный домашний гардероб первого любовника. Увидя перед собою содержателя театра, Muskатицкий опустил глаза свои, тусклые, как у вареной рыбы, и горько зарыдал, повторяя посреди всхлипываний, что его обидели.

— Спустить его под сцену,— сказал Николай Платоныч Горковенке,— да сию ж минуту снять с него сапоги, чтоб не убежал, а к завтрашнему спектаклю все-таки выставить его на афише... Ступайте!..

Сделав такое распоряжение, Николай Платоныч снабдил еще кой-какими замечаниями артистов, пожал руку Глафире Львовне, дал еще раз поучительное наставление Сусликову, мимоходом погрозил трагику и, взъерошивая себе волосы, покинул наконец театр, очень довольный своими выдержками. Вскоре сцена опустела; остались один только первый любовник Muskатицкий, которого жалобные вопли глухо раздавались под полом, да Сусликов, убравший в оркестре ноты. Наконец и капельмейстер вышел на подъезд. Яркий солнечный свет так ошеломил его после закулисных потемок, что он невольно ухватился за лицо руками, причем толстые тетради нот, находившиеся у него под мышкою, шлепнулись наземь. Сусликов проворно раскрыл глаза и, к величайшему удивлению, увидел в нескольких шагах от себя Анику Федоровича Громилова, трагика

труппы, того самого, которому так часто грозил директор. Закинув один конец шинели за плечо и драпируясь в него наподобие римских трибунов, он мрачно глядел на афишу, возвещавшую о представлении, только что отмененном директором. Шум упавших нот заставил его оглянуться в ту сторону. Увидев капельмейстера, трагик подозвал его к себе величественным жестом. Сусликов поспешно подобрал ноты и приблизился с видом крайне оторопевшего человека.

— Сюда, Семен, сюда, ко мне! — закричал трагик, хватая его обеими руками за воротник сюртука и дергая так сильно, что тот едва держался на ногах. — Смотри (тут он указал ему на афишу), видишь, опять она! опять ее имя напечатано выше моего, да еще крупными буквами! Тараторка проклятая! Ты слышал, как «он» приказал Горковенке напечатать ее имя еще повиднее... мало ей! Сюда ждут, вишь, важного человека, так боится, чтоб не пропустил ее. Чай, опять раздаст «он» цветов да венков своим людям да велит им хлопать ей что есть мочи... Глафира Цветошникова! Эка диковинка! я небось и постарше ее, все первые роли играю в трагедиях, драмах, мелодрамах, комедиях, да не выставляют Громилова крупными буквами, не бросают венков... Имечко-то Громилова почище ее, Громилова все театры видали, все! Да ничего! пусть ее выставляют, пусть! Громилов себя покажет! Громилову только обидно... «Но тверд, из глаз нет слез, из уст не слышен стон!...»

Тут трагик оттолкнул далеко капельмейстера, ударил себя кулаком в грудь и снова принял мрачный вид.

— Охо-хошиньки, — повторил Сусликов, обтирая беспрерывно лоб, лицо и лысину клетчатым дырявым платком.

— Семен, дай понюшку! — отрывисто сказал трагик.

Сусликов пошарил в кармане, поскрипел табакеркою и поспешно подал ее Громилову.

— Да, будь у меня деньги, — продолжал Аника Федорыч, — я б им показал, как понукать Громиловым, я б им... Семен! — прибавил он, величественно махнув рукой, — ступай за мной!..

— Куда ж это мы так пойдем-то, Аника Федорыч? — вымолвил капельмейстер, боязливо оглядываясь на стороны.

— Ступай за мной! — торжественно заключил трагик,

направляясь прямо к трактиру, которого вывеска с надписью «Trakteur» блистала в отдалении.

— Аника Федорыч, миленький, постой, Аника Федорыч, погоди, что я скажу тебе...— повторял Сусликов, стараясь всеми силами удержать трагика за полы шинели.

— Ну, что?..

— Аника Федорыч... маленечко как будто уж поздно-ватенько...— едва внятно произнес капельмейстер,— милый человек, погоди, что я тебе скажу... домой пора...

— Полно врать, ступай за мной!..

— Ох... да что ж она-то, Арина-то Минаевна-то...

— А, так ты опять стал бояться ее? — сказал Громилов, презрительно оглядывая Сусликова с головы до ног.— Где она? подай мне ее сюда!.. Ах ты! что ж ты, муж, что ли? али нет? а? Она тебя бьет, а ты ее боишься... Ах ты, тряпка ты этакая... Семен! за мной... идем!

Идем на путь, предназначенный славой!..

Идем!.. И кто ж, Семен, велел тебе жениться на этом уроде?.. Нет!..

Не Гименей там был, Мегера там была!..

Ступай за мной!..

Трагик держал Сусликова за рукав; Сусликов уже не противился и ковылял за ним, как школьник, которого учитель поймал в шалостях и ведет сечь.

— Я тебя выучу, как бояться Арины Минаевны,— повторял трагик, сжимая все крепче и крепче обшлаг городского сюртука,— ты у меня забудешь Арину Минаевну...

— Слабый человек, слабый человек,— бормотал сквозь зубы капельмейстер,— ох... хошиньки... хохошиньки...

Наконец они подошли к трактиру.

Ступай вперед! — сказал трагик, вталкивая Сусликова в двери, несмотря на все усилия последнего, упиравшегося руками и ногами.

Четверть часа спустя приятели вышли из трактира и гут же на пороге расстались; путь каждого из них лежал в противоположную сторону. Оставшись один, Сусликов вздохнул свободнее и начал оглядываться во все стороны. Кругом все было тихо, нигде живой души, и только глухое дребезжание дрожек обывателей города Б***, возвращавшихся кто от Алкивиада Степаныча, кто от г-жи Трутру, раздавалось в отдалении на главных улицах. Капель-

мейстер приладил под мышку ноты, обтер лицо и лысину, значительно покрасневшиеся, потом поскрипел табакеркою и, окинув еще раз глазами площадь, направился неровным, колыхливым шагом к дому.

III

Если Сусликова прозывали тряпкой и он в самом деле оправдывал такую кличку, из этого еще не следует, чтобы в нем не было природного дарования, точно так же как не следует и того, что дарование это наследовал он от отца своего, Игнатия Сусликова, игравшего в свое время на контр-басе. Смело можно утверждать, что дарование, какое бы оно ни было, явление совершенно случайное в роде Сусликовых. Трудно сыскать человека, который находился бы в таких враждебных отношениях с музыкою, как покойный Игнатий Сусликов, отец Семена Сусликова. Прежде чем сделаться контр-басистом, Игнатий Сусликов слыл в целом околотке за самого страстного охотника. Да вдруг как-то его барин произнес: «в контр-басы!» — и стал с тех пор Игнатий Сусликов контр-басистом.

Но с сыном Сусликова было совсем другое; заметив в нем сызмала склонность к музыке (кто заметил и почему, неизвестно), ему дали скрипку (почему именно скрипку, также неизвестно) и принялись не на шутку учить музыке. От шестнадцати до двадцати пяти лет его жизнь не обозначалась ровно ничем замечательным, кроме разве, что из Сеньки он преобразовался в Семена, из Семена в Семена Игнатьича, да и то с такою постепенностью, что, право, не стоит и упоминать об этом. Когда умер отец его, он уже изрядно делал *pizzicato*¹, а когда скончался хозяин оркестра, Сусликов состоял первою скрипкою в капелле. Он и еще три музыканта согласились тогда отправиться в О*** попытать счастья... Они дали концерт, но счастье их обмануло, и скоро концертисты рассеялись бог весть куда, за исключением Сусликова, попавшего в оркестр к одному знатному барину. Жизнь Сусликова была бы самая счастливая, если б он только сумел ею воспользоваться; капельмейстер этого оркестра, старик лет восьмидесяти, по прозванию Матвей Гусликов, принял его под свое покровительство; разумеется, это досталось ему не даром.

¹ Пиччикато или пиццикато — исполнение щипками, без применения смычка (итал.).

Не знаю, с чего вспало на ум Сусликову сочинить кадрили. Старый капельмейстер, узнав об этом, взял кадрили и при первом торжественном случае разыграл ее перед баринном. «Это что-то опять новенькое? — сказал барин капельмейстеру, — хорошо, хорошо, продолжай!» Капельмейстер встал и, выразив на лице своем добродушную улыбку, почтительно поклонился. С тех пор, как только являлся торжественный случай: именины, обед, съезд, старый капельмейстер поручал Сусликову написать кадрили, матрадуру, монимаску, курант — словом, все, что требовалось. Сусликов писал, барин хвалил, а старый капельмейстер кланялся с обычной добродушной улыбкой. Справедливость требовала же наконец, чтобы старый капельмейстер получал какое-нибудь вознаграждение за покровительство, оказываемое им молодому музыканту; смешно было восставать против этого; но грубой натуре Сусликова недоступны были такие тонкие отношения; он не замедлил отплатить благодетелю самою черною неблагодарностью. Раз как-то Гусликов поручил Сусликову написать экосез к балу, назначенному в день именин барина. Экосез был окончен с умыслом в день самого бала. Добродушный старик попросил Сусликова сделать пробу и заранее потирал себе руки. Но когда вечером он взял смычок и оркестр грянул экосез, все присутствующие разразились таким неистовым хохотом, какого, верно, не слышно было со времен богатырских. Вместо экосеза Сусликов нарочно наплел такую белиберду, так перепутал звуки инструментов, что сам наконец не выдержал и покатился со смеху под самым носом своего благодетеля. Но шутка стоила ему дорого. Гусликов так возненавидел Сусликова, что принялся гнать его беспощадно; музыканты, подчиненные Гусликову, движимые чувством справедливого негодования к неблагодарному, начали вторить своему капельмейстеру; Сусликова гнали, гнали, и так гнали, что он должен был искать себе другого места. Но Сусликов родился под счастливою звездою. Он вскоре попал в оркестр одного довольно значительного провинциального театра. В этом театре, однако ж, как назло, все капельмейстеры и даже музыканты были композиторы, и уже достаточно было им узнать, что новый собрат сочинил матрадуру, чтобы не дать ему ходу и сбыть его как можно скорее с рук. Так и случилось. Сусликову пришлось плохо, денег ни гроша; он уже задумывал было покончить с музыкою навсегда, да, к счастью

выручил содержатель другого театра, приехавший вербовать свежую труппу. Дело сладилось скоро, и Сусликов отправился с ним в качестве первой скрипки и капельмейстера. Несмотря на непостоянство и шаткость провинциальных театров вообще, Сусликов ухитрился, однако ж, так, что провел на своем месте несколько лет сряду с самым невозмутимым спокойствием. На сороковом году от рождения (эпоха, в которую начал он носить очки и завел табакерку со скрипом) счастье стало сильно изменять ему. Это обстоятельство значительно подействовало на капельмейстера; привыкнув опираться весь свой век на фортуна, как на костыль, он вдруг ослабел, как ребенок, смирение, кроткость и уступчивость сделались отличительными чертами его характера. Он вдался в чудачество и, что всего хуже, не только не умел поддерживать к себе уважения товарищей, но даже заслужил от них название «плюгавого капельмейстера» — кличка, оставшаяся за ним вплоть до той минуты, когда бросили последнюю горсть земли в его могилу.

Никто, разумеется, не понимал настоящей причины, внезапно изменившей капельмейстера; всякий объяснял ее по-своему. Причина заключалась в следующем: Сусликов нанимал квартиру у одной бездетной вдовы одного провинциального трагика; вдова эта, олицетворявшая как нельзя лучше всем известную Бобелину и не уступавшая в энергии и силе духа сказочной героине, воспользовалась могучими своими качествами, чтобы взять в руки Сусликова, и делала из него по произволу то верх, то подкладку. Ослабевший Сусликов боялся ее как огня и с каждым днем поддавался ей сильнее и сильнее. Такая покорность объясняется только влиянием боа на птицу или животное: боа пользуется обыкновенно своим влиянием и поглощает свою жертву; энергическая хозяйка Сусликова поступила иначе: она вышла за него замуж. Как решился Сусликов на такой отважный поступок, объяснить трудно. Со стороны выгод каких-нибудь не представлялось ему ровно ничего. Он жил у ней несколько лет сряду жильцом самым горемычным, — женившись, остался неизменно в положении того же самого жильца, в той же самой комнате, под тем же строгим надзором Арины Минаевны; а впрочем, бог его знает, разные бывают причины, почему иногда люди женятся; я знал, например, одного человека, женившегося потому только, что его крайне соблазнил парадный обед, который должен был сопровождать свадьбу; мысль

быть распорядителем на том обеде, первым лицом — словом, играть роль, заставила его закрыть глаза на пятидесятилетнюю невесту; другой сочетался браком вследствие купленной им по оказии за дешевую цену двуспальной кровати.

Что ж касается до Арины Минаевны, цель ее очевидна: Семен Игнатьич получал четыреста рублей ассигнациями в год, и хотя она и прежде еще, до свадьбы, распоряжалась этими деньгами как хотела, но все-таки приятнее было ей глядеть на них как на законную, неотъемлемую собственность. «Ну, а как сгонят его вон,— думала предусмотрительная Арина Минаевна,— как обанкрутится содержатель театра, он съедет с квартиры, поступит на другое место, я-то что тогда?» Арина Минаевна имела права более, чем какая-нибудь другая женщина, искать положительного обеспечения; покойный трагик оставил всего-навсего три целковых долгу в трактире, которые в свое время стоили ей много слез и горя. Арина Минаевна пробавлялась кой-как своими трудами: то уладит свадебку честную, то съездит к благодетельным помещицам уезда попросить бедной вдове на бедность; да ведь горек такой хлеб; хорошо еще, если подадут его; случалось попадать и на жесткое, каменное сердце; приедет к помещице и плачет-то над нею, заливаясь, и жалеет-то ее всячески, и хвалит-то, да с тем и уедет, все труды пропали... вот это-то каково?..

Чтобы окончательно оправдать Арину Минаевну, стоит только сказать, что она не обманулась и предусмотрительность ее вовсе была не лишняя. Не прошло и года после ее брака, как содержатель театра действительно обанкрутился и Сусликов лишился своего места. Арина Минаевна тотчас же запаслась рекомендательными письмами, взвалила домашний скарб и мужа на подводу и поехала в другую губернию. Она бегала, хлопотала, плакалась, забегала и кончила все-таки тем, что нашла Семену Игнатьичу место в другом театре. Тут только понял Сусликов, что Арина Минаевна ему необходима, и уже с той минуты окончательно покорился ей во всем. Таким образом провели они несколько лет, таскаясь из театра в театр, пока наконец Арина Минаевна не заехала со своею подводою, рухлядью и мужем в город Б***, где и определила последнего к Николаю Платонычу. Никогда еще положение Сусликова не было так благополучно обставлено. Даже то, что причиняло обыкновенные невзгоды капель-

мейстеру, именно способность сочинить на скорую руку матрадуру или монимаску, обратилось здесь ему в пользу. Николай Платоныч особенно благоволил к нему. Расположение это приняло вскоре такие широкие размеры, что композитор строжайше запретил Сусликову обнаружить кому бы то ни было о своей авторской способности, опасаясь, вероятно, чтобы подобное известие не вооружило против него других музыкантов города Б***, как нарочно людей самых завистливых и самолюбивых. Вот именно около этого-то времени и появились в свет выдержки из оперы Николая Платоныча (это приводится здесь исключительно для исторической верности). Впрочем, что ж скрывать: Николай Платоныч, пожалуй, если хотите, и прибегал иногда к помощи Сусликова; но нужно опять принять в соображение, как это делалось. «Позвать Сусликова!» — крикнет обыкновенно содержатель театра. Придет Сусликов. «Ну, брат, — говорит ему Николай Платоныч покровительственным тоном (заметьте, покровительственным, а отнюдь не повелительным), — подойди сюда, а вот я опять написал кое-что... а?... возьми-ка да перепиши... у меня, ты знаешь, рука неразборчива; перепиши же, да смотри не дай маху, не ошибись... ну, понимаешь... если встретишь там какой-нибудь промах или пропуск — так поправь: всего не досмотришь: да смотри, никому не говорить, что, мол, Николай Платоныч написал новую пьесу: я держу это покуда в секрете; ступай!» Сусликов прикладывал по обыкновению обе ладони к животу, низенько кланялся, брал ноты и шел домой, очень довольный ласкою и милостями г. Сабанеева. При всем том, он сумел-таки насолить себе. Ни с того ни с сего связался он с Аникою Федорычем Громиловым, известным трагиком и еще более известным пьянчужкой. Сам нечистый, казалось, завидуя его счастью, натолкнул его на этого бесшабашного человека. Уж одно то, что дурной пример пагубно действовал на старика; но, приняв еще в расчет его робость и слабость, сообщество с Громиловым легко могло погубить окончательно капельмейстера. Дело шло, однако ж, до сих пор довольно ладно; Николай Платоныч глядел на проказы капельмейстера сквозь пальцы. Сусликов был счастлив и доволен и, вероятно, прожил бы в таком завидном состоянии до глубочайшей старости, если б не случилось одного обстоятельства, которое сразу подкосило все его существование.

Приближаясь к дому, серенькой лачужке о двух окнах и крылечке, выглядывающих на улицу и пятившихся недоброжелательно друг от друга, Сусликов вытянул вперед шею и, повернувшись несколько бочком, стал прислушиваться; таким образом добрался он до самых окон, осторожно заглянул в каждое из них и наконец юркнул в сени. Повсюду царствовала мертвая тишина, прерываемая только жужжанием мух. Сусликов бодро вступил в следующую комнату, но в ту же минуту отшатнулся в угол и стал как вкопанный: на постели, заваленной пуховиками и перинами, лежала Арина Минаевна. Огромное ее туловище, закутанное в черный коленкоровый капот, почти исчезло в перинах; одни лишь ноги, запрятанные в серые шерстяные чулки, да голова с черными встрепанными волосами, прикрытыми черным же чепчиком, выглядывали наружу. В комнате стояла жара нестерпимая: два окна на двор были заколочены наглухо, несмотря на знойное лето. Арина Минаевна тяжело дышала, и по широкому красному лицу ее струились ручьи, как по самовару, когда утекает кипящая в нем вода. Семен Игнатьич вскоре, однако ж, оправился; подогнув колени и съжившись в три погибели, он начал подбираться на цыпочках к двери, останавливаясь при каждом скрипе и шорохе и не упуская из виду несметных полчищ мух, осаждавших лицо Арины Минаевны так же усердно, как морские птицы спинку кита, случайно высунувшуюся из воды. Сусликов пробрался наконец в кухню; но тут он уже смелее подошел к сундуку, на котором спала кухарка.

— Дарьюшка, Дарьюшка,— шептал Сусликов, толкая ее легонько под бок,— вставай, голубушка... вставай!..

— Асиньки?.. о! о! о!.. а! да это ты, кормилец,— вымолвила Дарья, сбрасывая босые ноги на пол и принимаясь тереть глаза, или «кукситься», как выражаются в простонародье,— ах, мой касатик, рожонный ты мой, что ж тебе, чай, покушать небось надеть?..

— Да, Дарьюшка... я нынче еще не обедал... поест бы маленько чего-нибудь...

— Ох ты, болезный ты мой, умаялся, чай, на службе-то на своей... что ж тебе такого... Арина-то Минаевна почитай что сама все поела... уж так-то, касатик ты мой, осерчала сегодня...

Сусликов проворно оглянулся назад.

— А мне бы чего-нибудь кисленького... — вымолвил он, бросая еще раз украдкой глаза к двери.

— Ох ты, рожоный ты мой... да кисленького-то, кажись, у нас нетути... киселику нынче не готовили, а вот огурчики соленые да похлебочка осталась... покушай на здоровье.

— Ничего, Дарьюшка, ты только потихонечку; все равно, дай хоть солененького... да только потихохоньку, не буди...

— Ох ты, рожоный, ненаглядный ты мой, — твердила Дарья, роясь в темном шкапу, наполненном мухами, как улей пчелами. — А вот и пирожка с капустой нашла... сейчас соберу на стол. Ты, чай, здесь в кухоньке покушаешь?..

— Здесь, все равно, — сказал Сусликов, снимая сюртук и усаживаясь к окну против березового дощатого стола.

Нужно заметить, что хозяйственная часть в доме Сусликова находилась в крайнем запустении и беспорядке. Арина Минаевна, проживавшая день-деньской у благодетельниц или бегавшая по делам сватовства, не имела времени заняться этим предметом. Все было поручено старой Дарье, простой деревенской бабuse, поступившей к ней в батрачки за два с полтиной в год и спавшей решительно с утра до вечера на своем сундуке.

— Рожоный ты мой, да ты хоть пирожка-то еще прикушай, — говорила Дарья, нарезывая ломоть за ломтем, — чай, голоден, болезный ты мой...

— Нет, спасибо, а вот кабы теперь кваску бы, Дарьюшка, — произнес Сусликов, когда все уже исчезло со стола (старик любил плотно покушать), и он уже готовился снять очки, чтобы всхрапнуть часочек, как вдруг в соседней комнате послышался громкий кашель и вслед за тем раздались по всему дому шаги Арины Минаевны. Дарья и Сусликов заметались как угорелые; последний кинулся к двери, но в ту самую минуту на пороге показалась Арина Минаевна, и он остался пригвожденным к полу, с открытым ртом, в котором виднелся еще кусок пирога.

— Что вы здесь делаете, а? — прохрипела Арина Минаевна, быстро окидывая заспанными глазами кухню. — Где ты по сю пору шляется, а? — присовокупила она, мгновенно обращаясь к мужу и сердито хмуря густые с проседью брови.

— Ей-богу... а вот же ей-богу... Арина Минаевна, был

на репетиции...— отвечал Сусликов с уверенностью, разводя руками, но так, однако ж, чтобы, в случае надобности, защитить ими свою лысину.

— Врешь, врешь,— круто перебила жена,—я давно встретила этого поганца Горковенку... ты опять шлялся, а? — прибавила она, делая шаг вперед.

— Уж я ли, я ли шляюсь, Арина Минаевна,— произнес Сусликов, забиваясь в угол и стараясь принять вид самого ничтожного, незначительного существа.

— Опять ты у меня по трактирам пошел! — продолжала Арина Минаевна.— Погоди же, разбойник ты этакой... вот я тебе покажу...

— А вот же, ей-богу, не был... ей-богу,— сказал супруг, высовываясь из угла,— отсохни руки и ноги, коли был... Грешно тебе, Арина Минаевна, бога ты не боишься... (Тут Сусликов быстро подогнул колени, прикрыл лысину обеими руками и окончательно исчез за душегрейкою Дарьи, болтавшеюся на гвоздике.)

— Уж попадись только в руки этот плут Громилов, окаянный, разбойник этакой... я ему покажу, как подбивать людей да водить по трактирам!..

— Ей-богу, Арина Минаевна, не был,— повторял Сусликов, высовывая опять голову,— маковой росинки во рту не было.

Арина Минаевна была в тот день очень не в духе. Во-первых, купец Рыжиков, которому она сватала дочь купца Севрюгина, повздорил с отцом невесты за роспись приданого, требуя от него настоятельно лисьей шубы, означенной в росписи и от которой Севрюгин начинал отнекиваться,— свадьба разошлась, и, следовательно, труды свахи пропали даром; во-вторых, Арина Минаевна, забежавшая после такой неудачи к одной молоденькой даме, провела битых три часа, восхищаясь ее красотой и платьем, только что принесенным от г-жи Трутру для бала, назначенного в честь гостя Кулындиных, не получив за то ровно никакого вознаграждения. Арина Минаевна осталась без гроша, и это обстоятельство тем более возбуждало в ней желчь, что до получения мужнина жалованья надо было ждать целый месяц. Куда девала Арина Минаевна столько денег, неизвестно. Не знаю также, до чего возросло бы неудовольствие грозной супруги, если бы не раздался в сенях стук и вслед за ним не послышался голос: «Кто здесь?.. дома, что ли?..»

В дверях показалась долговязая фигура с серыми глазами, в серой фуражке и серой ливрейной шинели с красным стоячим воротником и такими же красными полосами на капюшоне.

— Чего вам надо? — спросила наотрез Арина Минаевна.

— А надо, что Алкивиад Степаныч Кулындин требует к себе музыканта, что при театре.

— Зачем?

— Вот еще зачем? а я почему знаю зачем? требует, приказал позвать, то есть чтоб сейчас же шел, нужно очень скоро...

— Скажите, батюшка, сию, мол, минуту придет, — отвечала Арина Минаевна, бросаясь впопыхах к мужу, — сию минуту... что ж ты, чушка ты этакая, копаешься? — ворчала она, подталкивая Сусликова, который схватывался за лысину и подгибал колени каждый раз, как только супруга приближалась. — Ступай скорей! А ты, разиня, чего буркалы-то свои глупые кажешь? потри ему сапоги. Ну, ну, скорей! неравно еще помощь какую оказать хочет тебе, дураку... а коли за чем другим зовет, так сам проси у него... ну, ступай! ступай!..

Через несколько минут Сусликов ковылял по улице, провожаемый глазами Дарьи, которая стояла на крылечке и, скрестив руки на крутую грудь свою, повторяла жалобным голосом: «Ах ты, рожоный, болезный ты мой, и отдохнуть-то тебе, сердешному, не дадут... ненаглядный соколик!»

Вскоре Сусликов очутился подле дома Алкивиада Степаныча Кулындина и не замедлил войти в переднюю. В передней толкалось множество лакеев; тут находились всякого рода люди. Но Сусликов не оторопел, как нужно было ожидать; он поспешно поскрипел табакеркою и учтиво предложил каждому из них понюшку. Тонкая политичность капельмейстера, разумеется, не могла пройти даром в таком образованном обществе; кто-то из них взялся даже доложить о нем барину.

Когда Сусликов вошел в залу, его чуть не сшибли с ног шут и шутовка, или, правильнее сказать, дурак и дура, выпрыгнувшие неожиданно из-за двери и принявшиеся трепать его за полы сюртука. Капельмейстер согнул уже колени и прикрыл руками лысину, как перед Ариной Минаевной, но дело вскоре выяснилось: шут и шутовка по-

требовали табаку. Сусликов поскрипел табакеркою и поспешил исполнить их просьбу. Тогда дура, наряженная в белый суконный балахон, испещренный красными кругами, треугольниками и фигурками, побежала вперед, как бы расчищая дорогу, а дурак, приподняв свой халат из цветных лоскутков, пустился плясать вокруг Сусликова, ударяя при каждом коленце пяткою в пол и напевая в такт:

Чижик, чижик, где ты был?

На Фонтанке воду пил...

и т. д.

Сусликов вступил в кабинет, сопровождаемый ими.

— Василиса пришла! — произнесла дура, вытягиваясь перед барином и делая самую серьезную мину, как будто докладывая о вошедшем.

— Пошла, пошла, Фефелка, пошла, дура, — сказал с добродушной улыбкою Алкивиад Степаныч. — Здравствуй, Сусликов; подойди сюда, милый мой...

Алкивиад Степаныч, человек высокого роста, худощавый, приятной наружности, в золотых очках, с мягкими реденькими черными волосами, но так гладко прилизанными, что можно без большого затруднения пересчитать все выступы и впадины на его черепе, что, без сомнения, доставило бы большое удовольствие не только Галлю, но и вообще всякому другому френологу. Алкивиад Степаныч изъясняется мягко и плавно; в его голосе есть что-то такое, невольно располагающее в его пользу.

— А я вот зачем позвал тебя, милый мой, — начал он. — Я ожидаю с минуты на минуту своего родственника... завтра у меня бал... Пошел прочь, Эська, пошел, дурак, — присовокупил он, обращаясь к шуту, который, просунув рыжую, выстриженную в кружок голову под руку Сусликова, показал ему язык, что крайне смутило капельмейстера. — Да, так у меня завтра бал... Можешь ли ты, милый мой, написать мне польский?

— Как же, сударь... только бы Николай Платоныч... — отвечал, переминаясь, капельмейстер.

Но тут Эська схватил Сусликова за плечи и, повертывая им как волчком, запел с приплясом:

Ой, коток, коток, коток,

Что ж ты ходишь без чулок...

— Пошел прочь, Эська! Экой дурак! пошел вон! Фефела! прогони своего жениха... пошли в залу... Ну, так ты можешь написать мне к завтраму польский?

— Как же, можно-с... вот только разве Николай Платоныч...— повторил Сусликов.

— Знаю, знаю,— перебил Алкивиад Степаныч,— да он и без того очень занят, ему некогда... я нарочно не просил Николая Платоныча, он бы не отказал мне; да видишь ли, дело к спеху, а я слышал, у тебя к этому большой навык; главное, чтоб поспело к завтраму вечеру; так можешь ли взять на себя такую работу?

— Можно, сударь... если ваша милость...

— И к завтраму будет готово?

— Как же, сударь.

— Наверное?

— Слушаю-с; можно даже к вечеру, если угодно, и репетиčku сделать.

— И прекрасно! ну, а уж ты мною останешься доволен.

Сусликов приложил руки к животу, поклонился и повернулся, чтобы выйти.

— погоди, милый мой,— сказал Алкивиад Степаныч, удерживая его за руку,— я позабыл сказать тебе, что все это должно оставаться в тайне до завтрашнего вечера, чтобы никто не знал об этом; это сюрприз... слышишь?.. Устрой так, чтобы даже музыканты до репетиции не знали.

— Слушаю-с...

— Ну, хорошо, милый мой, принимайся сейчас же за работу, чтоб не опоздать — это главное; ступай, милый мой, прощай!

Сусликов вышел в залу, но опять-таки попал в руки Фефелы и Эськи, которые, вместо ласк, принялись на этот раз преследовать его с гиком и визгом вплоть до самой передней. Наконец капельмейстер выбрался на улицу.

— Ну что, зачем тебя призывали? — спросила Арина Минаевна, выбегая к нему навстречу.

— А насчет музыкантов,— отвечал, запинаясь, Сусликов,— завтра, вишь, бал там, просил поуправить с оркестром.

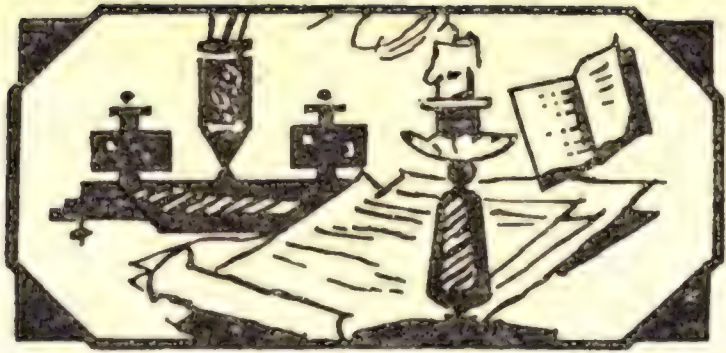
— Что ж он тебе дал?

— Посулил, Арина Минаевна; говорит: не забуду, доволен останешься.

— А тебе бы, дураку, попросить да поклониться.

— Не смел, Арина Минаевна.

— Э, дурак, дурак! ну, что — чай, при тебе небось говорили — что сказывали, а? ждут, чай, гостя?..



— Ништо, Арина Минаевна, ждут-таки.

— Ну, а в доме ничего не видал? чай, суматоха идет, а?

— Два какие-то, ништо, Арина Минаевна, так-то прыскают.

— Какие два?

— Скоморошенные, кажись, какие-то...

— Эх ты, дурак, дурак!

Арина Минаевна поспешно набросила на плечи траурный платок и побежала со двора. Сусликов снял сюртук, приладился к окну, поставил чернильницу, нотную бумагу, и вскоре весь дом наполнился визжанием скрипки, прерываемым иногда скрипом пера, которым Сусликов довольно быстро водил по бумаге, выставляя крючки и закавычки. Дарья, любившая засыпать под шумок скрипки своего болезного хозяина, приподымалась, однако ж, довольно часто с своего сундука и, отворив осторожно дверь, произносила вполголоса, жалобно качая головою:

— Рожоный ты мой... Ох, болезный, соколик ты наш, вишь как умаялся, касатик, и вздохнуть-то тебе не дадут, моему батюшке...

Проговорив все это, она снова запирала дверь и отправлялась на сундук.

Сусликову тем более удобно было заниматься, что жена не ночевала дома. Арина Минаевна провела ночь у одной вдовы, оплакивавшей мужа, скончавшегося десять лет тому назад, и единственное утешение которой составляла старая моська, кормимая пилюлями из пресного еста, нарочно для нее изготовляемыми.

Весь следующий день прошел для Сусликова в занятиях. Он не отрывался от своего дела ни на минуту; он не заметил даже, как мимо его окон пролетали дрожки и линейки, не обратил ни малейшего внимания на общую городскую суматоху, возвещавшую о приезде ожидаемого гостя в город Б***. К вечеру только, часу в четвертом, капельмейстер вышел из дому, неся под полою только что оконченный польский. Все прошло как нельзя лучше; Алкивиад Степаныч остался до того доволен музыкою Сусликова, что тут же вынул из бумажника две беленькие и подал их капельмейстеру, подтвердив ему явиться тотчас же по окончании спектакля на бал для управления оркестром и польским.

Зала театра была полнешенька. Все, что слыло в городе лучшим, собралось сюда в тот знаменитый вечер. Даже в местах за креслами и в райке сидели не бедняки. Первые ряды были заняты местным начальством и ремонтерами, тамошними театрами. Нечего упоминать, что избранная публика съехалась не для каких-нибудь драм или водевилей, которых все более или менее видели несколько раз; даже самый дивертисмент Николая Платоныча служил, кажется, одним только предлогом. Всеобщее внимание исключительно обращалось к приезжему, сидевшему налево, в ложе бельэтажа, принадлежавшей Алкивиаду Степанычу Кулындину, — обстоятельство, возбуждавшее в разных концах залы несколько едких эпиграмм и замечаний со стороны самых искренних приятельниц Софьи Кирилловны Кулындиной и ее супруга, который в самом деле принял почему-то уже слишком надменную и оскорбительную позу, хотя и не переставал улыбаться. Взоры всех все-таки с жадностью устремлялись на известную ложу; одна пожилая дама в зеленом платье с розовыми бантами, уподоблявшими ее издали тучному кусту, усеянному пышными розами, приехавшая в театр с тремя жиденькими дочерьми, была так очарована наружностью гостя, что не давала дочкам глядеть на сцену и, подталкивая поочередно каждую из них сзади, повторяла беспрестанно:

— Инна, держись прямее!.. Ринна, куда глядишь!.. Пинна, смотри налево!..

Причем Инна, Ринна и Пинна вытягивались в струнку и, кокетливо суживая глазки, бросали томные взгляды на ложу Кулындиных. Тишина в зале не прерывалась; зрители хранили благоговейное молчание, так что, если б внимание публики было обращено на актеров, никто не проронил бы слова из драмы, которая разыгрывалась на сцене. Признаюсь, в этом случае можно сожалеть о присутствии родственника Кулындиных, потому что драма действительно достойна внимания, — уже одно то, что главная роль считалась лучшею в репертуаре Громилова. Вот ее содержание:

Один молодой человек (Аника Федорыч) и одна молодая девушка (Курочкина) страстно любят друг друга; ложный друг Громилова (Мускатицкий) влюблен также в эту девушку. Он похищает ее против воли из дому родителей и увлекает несчастную на корабль. Громилов преследует

их на другом корабле Буря посреди океана. Корабли сшибаются, разбиваются вдребезги, и часть обеих экипажей бросается на плот, нарочно приготовленный для непредвиденного случая. На плоту сталкиваются: ложный друг Мускатицкий, Громилов и Курочкина. Страшная сцена, заглушаемая ревом бури, свистом ветра и раскатами грома. Мало-помалу все умирают с голоду. Гром поражает злодея Мускатицкого. Остаются в живых одни лишь несчастные любовники. Но голод томит их; они уже четырнадцать дней без пищи; Громилов, в забытьи и ярости, решается наконец съесть свою возлюбленную, которая, жалобно скрестив ослабевшие руки на грудь, умоляет о пощаде, припоминая ему, в трогательных выражениях, то время, когда они рвали фиалки у берега ручья. Но освирепевший Громилов уже ничего не слышит, и жертва погибает. Утолив голод, несчастный любовник (и в этой-то сцене особенно хорош Аника Федорыч) начинает мало-помалу приходить в себя: он катается по плоту, терзаемый угрызениями совести, и решается лишить себя жизни, как вдруг показывается шлюпка. Но Громилов сошел уже с ума. Пьеса кончается тем, что Громилов бродит по лесу, отыскивая повсюду гробницу милой; но вдруг появляется прислуга из дому умалишенных, вооруженная факелами. Громилов хватается за сердце, вновь обретает рассудок. Но поздно: силы его слабеют, он падает в изнеможении и выпускает последний вздох посреди живописной группы прислужников, потрясающих факелами.

Тишина в зале прерывалась, однако ж, каждый раз, когда заезжий гость, желая поощрить актера или оказать учтивость Николаю Платонычу, с которым его только что познакомили, хлопал в ладоши,— потому что тогда вся публика, от райка до задних рядов, принималась также хлопать, движимая, вероятно, теми самыми чувствами, какие воодушевляли гостя.

Николай Платоныч, находившийся в это время за кулисами, не переставал, однако ж, трепать себя за волосы и, казалось, был в сильном волнении. Через полчаса какие-нибудь должен был начаться дивертисмент. Он поминутно посылал в оркестр за Сусликовым.

— Все ли у тебя исправно? — в сотый раз спрашивал Николай Платоныч.— Смотри, не забыл ли чего-нибудь? Сейчас начнется дивертисмент,— помни, что я тебе говорил: как только Глафира Львовна оборвется или не дотянет

ноты, fortissimo¹ всем оркестром! Да и не слишком за-
чащивай, когда танцовщица начнет свой па,— дай ей три
такта, три такта... слышал? Смотри же, держать ухо востро;
ступай!..

Волнение Николая Платоныча возрастало с каждой
минутой; временами оно принимало даже вид некоторой
досады; это особенно случалось, когда громкие рукоплеска-
ния раздавались в честь Громилова, Мускатицкого и деви-
цы Курочкиной. Наконец начался дивертисмент. По мере
того как русская ария Глафиры Львовны приходила к
концу, не нарушив ни разу молчания, досада г. Сабане-
ева начинала обнаруживаться сильнее и сильнее. «Охрип-
ла! робеет! — твердил Николай Платоныч. — Сорвалась но-
та — э! Проклятый Сусликов не подтянул: fortissimo,
fortissimo! — кричал он в оркестр, прикладывая к губам
обе ладони в виде трубы. — Опять опоздал, — э! ну, брр...
прр! ну, пошло все к сатане!.. Вот что наделали, него-
дяи!» — присовокупил он, пожимая плечами и ударяя ку-
лаком по коленям. Начался хор радимичей и вятичей;
но хору суждено было претерпеть ту же неудачу. И в са-
мом деле, охота же была Николаю Платонычу исклю-
чительно писать ученую музыку, доступную одним лишь
высоким знатокам и ценителям искусства. Николай Плато-
ныч ходил уже как угорелый, проклиная артистов и не-
ловкого капельмейстера. Как назло, случилось, что при
первом появлении танцовщицы и господина с вывернутыми
ногами рукоплескания заглушали оркестр; г. Сабанеев за-
скрежетал зубами; но когда г. Розанцев начал свой коми-
ческий английский па под названием horn-pirre и публика,
потеряв всякое воздержание, разразилась единодушным
восторженным браво, от которого дрогнули самые стены
театра, гнев окончательно обуял композитора; даже режис-
сер Горковенко и еще несколько человек, одетых испански-
ми грандами, стоявшие поблизости, попрятались в самые
темные углы кулис. «Позвать Сусликова! Сусликова сю-
да!..» — мог только прокричать Николай Платоныч, под-
стрекаемый, как нарочно, криком толпы, вызвавшей Розан-
цева за комический horn-pirre. Должно полагать, однако
ж, что вызовами занимался в это время раек, потому что
главная публика спешила уже давным-давно на бал к
Кулындиным.

Дом Алкивиада Степаныча представлял самое велико-

¹ Очень сильно (итал.).

лепное зрелище: плошки, шкалики, фонари снаружи по карнизам и на подъезде, цветы и ковры на парадной лестнице, везде лакеи в богатых парадных ливреях; по комнатам, усыпанным сотнями свечей, носятся струи самых тонких курений. Свет главной залы, обращенной окнами на парадный двор, был так ярок, что позволял даже различать лица горожанок и купчих, стекавшихся толпами к решетке двора, чтобы поглазеть на праздник. Танцы еще не начинались. В залах, наполнявшихся народом, слышался покуда отрывчатый глухой говор и шелест туго накрахмаленных платьев. Дорогой гость, держа под руку хозяйку дома, стоял посредине залы, под самую люстру; его окружали значительные лица города; остальные, менее значительные лица бродили взад и вперед, бросая томные, но более завистливые взгляды на эту группу. Пожилая дама в зеленом платье с розовыми бантами, окончательно очарованная наружностью величавого гостя и желавшая, вероятно, чтобы дочки разделяли ее чувство, не переставала подталкивать Инну, Ринну и Пинну, приглашая их всматриваться в него как можно пристальнее. Все казались, однако ж, очень довольными и веселыми. Мрачен был один только Николай Платоныч, приехавший после других. Он, пожалуй, также улыбался, но это были скорее тени улыбок, да и то появлявшиеся не иначе, как когда гость поворачивался в его сторону. В таком многочисленном собрании никто, разумеется, не замечал мрачного лица директора; да и кому в эту минуту было до него. кроме разве Сусликова, который, судя по времени, должен уже был стоять где-нибудь в оркестре.

— Послушай, Николай Платоныч, я отыскиваю тебя повсюду, я уже думал, что ты не приехал,— сказал хозяин дома, неожиданно подлетая к директору.— У меня к тебе просьба: позволь твоему капельмейстеру управлять оркестром... Представь, он увидел тебя и, хоть зарежь его, не хочет; умора! Ну, брат, нечего сказать, задал же ты ему страху,— прибавил он шутливо, трепля его за руку.

— Пожалуй, любезнейший, сколько хочешь... Ты знаешь, я ни в чем тебе не отказываю... пусть управляет... пусть управляет...

— Нужно тебе сказать, у меня сюрприз,— это по твоей части,— новый польский... чудо!

— Чей? — спросил Николай Платоныч, судорожно ухватив себя за воротнички.

— Твоего Сусликова, — отвечал ему на ухо Алкивиад Степаныч. — Ну, брат, просто талант, я нарочно не говорил тебе, хотел сделать сюрприз: ну, *mon cher*¹, и ты-таки удивил нас всех нынче... спектакль твой — *charmant, charmant!*² — присовокупил хозяин дома, повернувшись на каблуке и послав композитору поцелуй рукою.

Но композитор уже ничего не слышал и не видел; он судорожно взъерошил себе волосы и в один миг очутился подле оркестра. Горячий пот прохватил его насквозь, когда, по знаку Алкивиада Степаныча, Сусликов появился вдруг на возвышении перед музыкантами, и польский грянул всем оркестром. Все вокруг засуетилось, и вскоре пестрая вереница из дам и кавалеров, предводительствуемая гостем и хозяйкою дома, потянулась зигзагами по зале. «*Charmant! прекрасно, превосходно! славный польский!*» — слышалось внезапно отовсюду. Содержатель театра вздрогнул. Если б только Сусликов взглянул в эту минуту на Николая Платоныча, он, верно, выронил бы смычок и дал тягу, — но, к счастью, этого не случилось. Сусликов уже ничего не видел перед собою. По мере того как польский приближался к концу, группы перед оркестром умножались и похвалы раздавались сильнее и громче, — лицо старика разгоралось, оживлялось, колени его выпрямлялись, тщедушная согнутая фигурка его как будто вырастала и закидывалась назад; он быстро размахивал на все стороны смычком, мотал головою, топал ногою; жиденькие волосы, прилизанные на лысине, взбились кверху и колыхались, как степной ковыль, раздуваемый ветром...

— *Charmant! прекрасно! отличный польский! ай да Сусликов!* — кричали отовсюду.

Воодушевление капельмейстера возрастало... Но вдруг он опустил смычок, склонил лысину на сторону и дрожащею от волнения рукою положил скрипку: польский кончился.

— Прекрасный польский! очень, о-о-очень хороший, — сказал в свою очередь гость, останавливаясь перед оркестром подле самого директора (гость, нужно заметить, был в полном убеждении, что польский сочинен Николаем Платонычем, о котором наслышался уже как о музыканте). — Алкивиад Степаныч! — продолжал приезжий, обращаясь к хозяину дома, который подошел к нему с

¹ Мой милый (франц.).

² Прелестно, прелестно! (франц.)

видом счастливейшего человека, скажи, пожалуйста, от куда этот польский? Я никогда его не слышал Это должно быть, что-то новенькое! Очень, о-о-очень хорошо..

— Это сочинение капельмейстера из оркестра господина Сабанеева,— отвечал с сияющим от восторга лицом г. Кулындин, подводя содержателя театра к своему родственнику.

— Неужели! — воскликнул тот.— Поздравляю вас, милостивый государь, с таким прекрасным приобретением. Это просто находка,— присовокупил он, пожимая руку композитора, с которого градом катился пот,— вы обладаете, как вижу, прекрасными талантами, и я вам вполне завидую... Нельзя ли мне как-нибудь доставить этот польский?.. Вы бы меня очень обязали... я большой охотник до музыки...

— Мне будет очень приятно,— пробормотал сквозь зубы Николай Платоныч, не упуская случая кивнуть Сусликову, который стоял ни жив ни мертв за своим пульпитром.

— У меня тоже свой оркестр,— продолжал гость, — но, признаюсь вам, далеко от такого капельмейстера...

— Вы делаете мне много чести,— пробормотал, краснея до ушей, Николай Платоныч и в то же время подал знак Сусликову, чтобы тот сошел вниз.

Николай Платоныч подавал эти знаки так искусно, что гость и окружающие видели одни только приятные улыбки на лице Сабанеева, тогда как Сусликов встречал каждый раз грозно сдвинутые брови и вздрагивающие губы. Раскланявшись с гостем, Николай Платоныч бросился в угол подле оркестра, где ожидал его капельмейстер. Что говорил он ему, неизвестно; издали, впрочем, судя по фигуре Сусликова и выражению его лица, казалось, как будто Николай Платоныч извещал его о скоропостижной кончине отца и матери.

В то время приезжий, сопровождаемый многочисленной своею свитою, успел уже отойти на середину залы; место Сусликова в оркестре занял домашний капельмейстер Алкивиада Степаныча; через несколько минут заиграли первую французскую кадрили, и бал начался.

Но Николаю Платонычу было уже не до праздника; напрасно предлагали ему сесть в преферанс или остаться до ужина: он наотрез отказался. «Что с тобою, Николай Платоныч? Не болен ли ты? Не случилось ли чего?» —

спрашивали вокруг приятели. «Ну, брат, поздравляем тебя! Вот не ожидали! Каков Сусликов, а? Кто бы мог думать?.. Талант, просто талант!» — говорили другие. Николай Платоныч ровно ничего не отвечал, хмурил только брови, дергал себя за воротнички, взъерошивал волосы и думал, как бы скорее выбраться вон. С своей стороны, Сусликов спешил также домой. Мысли его были в страшном беспорядке. «Дома ли Арина Минаевна?» — мог только произнести капельмейстер, когда Дарья вышла на его стук с фонарем в руках.

— Нетути ее, рожоный ты мой, не приходила; да что с тобой, касатик? Али что прилучилось недоброе?..

— Ох-хохошиньки... хохошиньки... беда наша, Дарьюшка, — отвечал Сусликов, заботливо потирая лысину. — Не сказывай только Арине Минаевне, — прибавил он умоляющим голосом.

Далее Сусликов ничего не объяснил старой Дарье, сколько она ни допытывалась. Собрав черновые листы польского, он пустился со всех ног к Николаю Платонычу. Вручив бумаги камердинеру, он также поспешно возвратился домой, спросил опять: «Дома ли Арина Минаевна?» — и, получив отрицательный ответ, казалось, несколько успокоился.

На другой день, часу в двенадцатом, Николай Платоныч явился к родственнику Кулындиных с польским, исправленным им в продолжении ночи. Гость был любезен до крайности, осыпал его похвалами и, в довершение, объявил, что польский уже есть у него, ибо Алкивиад Степаныч, не далее часа тому назад, принес ему эту пьесу в оригинале, оставленном вчера после бала на пульпитре.

Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство произвело, однако ж, очень важные последствия. «Позвать Сусликова!» — были первые слова, произнесенные содержателем театра по возвращении его домой. Слова эти были так произнесены, что лакей, к которому обращено было приказание, исполнил его на рысях, и не более как через пять минут явился сам Сусликов.

Какого рода совещание происходило между Николаем Платонычем и Семеном Игнатьичем, определить в точности трудно; должно предполагать, однако ж, что объяснение было горячее, потому что первый любовник, Muskaticкий, которого также приказал позвать Сабанеев для каких-то

переговоров, услышав частичку разговора, никак не решился войти в кабинет и стоял за дверью, пронимаемый попеременно ознобом и жаром, как будто его обдавали то кипятком, то студеной водой.

Свидетельство Сусликова ровно ничего не объясняло из того, что происходило между ним и директором. Когда расспрашивали его об этом, он только прикрывал рукою лысину да подгибал поспешно колени, и больше ничего.

VI

К вечеру того же дня в городе узнали, что капельмейстер Сусликов отставлен от своей должности, а на место его назначен кларнетист, дальний родственник известной примадонны, Глафиры Львовны Цветошниковой. По поводу этого родства и поспешности, с какою исполнялось Николаем Платонычем все, чего требовала Глафира Львовна, было, разумеется, много толков.

Каждый легко вообразит, какое впечатление произвело на Арину Минаевну известие об изгнании мужа. Распространяться о том, что произошло в ее доме, чем обнаружились первые ее движения, лишнее; вторым ее делом было кинуться к Николаю Платонычу. Но композитор не дослушал ее слезной речи, повернулся к просительнице спиною, взъерошил волосы, дернул себя за воротнички и приказал немедленно выйти ей вон. Затем Арина Минаевна пустилась со всех ног к Алкивиаду Степанычу. Алкивиад Степаныч, выслушав внимательно, в чем дело, попросил ее подождать, сел в коляску и полетел прямо к Николаю Платонычу. Не прошло и четверти часа, как он снова вернулся назад; но, вместо утешительных известий, г. Кулындин объявил наотрез Арине Минаевне, что ровно ничего не может для нее сделать, что Николай Платоныч грубый человек, с которым хочет он прервать всякого рода сношения, что он прежде не знал этого, что с этого же дня нога его не будет в доме Сабанеевых и, наоборот, что он очень сожалеет о невозможности определить Сусликова в свой собственный оркестр, за неимением в нем на время никакой надобности, и так далее; словом, поверг Арину Минаевну в совершенное отчаяние. Но кто представит себе весь ужас злосчастной женщины, когда, вернувшись домой, она услышала от Дарьи, как Сусликов пропал из дому, а с ним вместе и Аника Федорыч Гро-

милов, как захватили они с собою скрипку, ноты, баночку с канифолью и как после всего этого рожоный и болезный Семен Игнатьич сулил ей три двугривенных, если только она согласится поступить к трагику кухаркой.

Арина Минаевна с плачем и воплем бросилась к благодетельницам, прося защиты и помощи, но на этот раз никто не слушал ее. Уж весь город, не включая и самих благодетельниц, был исключительно занят ссорой Николая Платоныча и Алкивиада Степаныча. В самое короткое время образовались две партии — одна за Сабанеевых, другая за Кулындиных; партии эти, предводительствуемые большею частию благодетельницами, объявили вскоре войну; прошли споры, толки, пересуды, и бог весть чем бы все это кончилось, если б мужья, наскученные такою дребеденью, не махнули рукой и не разъехались кому куда пришлось. Тогда только, посреди возникшей тишины, вспомнили старого Сусликова и его супругу; но тут толков не много было и партий решительно никаких не возникло; все единодушно утверждали, что Сусликов пьет запоем, а Арина Минаевна — бедная женщина, достойная всякого сострадания и лучшей участи. Последнее заключение справедливо, но первое, к несчастью, еще справедливее.

В таком-то положении находились дела, как вдруг Алкивиад Степаныч получил письмо от дорогого своего родственника, в котором тот убедительно просил его переманить как-нибудь к нему в оркестр капельмейстера Сусликова. Хотя Алкивиад Степаныч был человек известный своей обходительностью и кротостью, однако ж мысль сделать что-нибудь в пику своему врагу Николаю Платонычу так обрадовала его, что он тотчас же приказал позвать к себе старого капельмейстера. Обстоятельства Сусликова, нужно заметить, находились в это время в самом жалком состоянии. Уже две двадцатипятирублевых ассигнации, пожалованные ему за польский, приходили к концу, а вместе с тем и сама дружба Аники Федорыча что-то начинала ослабевать; уже старик приходил в отчаяние и думал прибегнуть к крайней мере, обратиться снова к Арине Минаевне, когда неожиданно позвали его к Кулындину. Увидев перед собою капельмейстера, Алкивиад Степаныч отступил шаг назад, скрестил руки на грудь и покачал головою.

— Ай, ай, ай! — произнес он, оглядывая старика с головы до ног, — значит, милый мой, мне правду про тебя

говорили... тсссс... ай, ай... стыдись, милый мой, стыдись, посмотри, на кого похож теперь...

Сусликов действительно много переменялся: лицо его осунулось, похудело, спина согнулась, волосы не были приглажены по обыкновению на лысине справа налево, а торчали туда и сюда, как после сна; от жилета и горохового сюртука оставались одни лишь лохмотья...

— Тсссссс... — продолжал Алкивиад Степаныч, — жаль, жаль, ведь ты, милый мой, артист, художник, тсссс... ведь тебе только что по-настоящему открывается дорога. Знаешь ли что: мой родственник, тот самый, который хвалил твое новое сочинение, просит определить тебя к нему в оркестр капельмейстером... а ты так дурно ведешь себя, пьешь все... стыдись, милый мой. Знаешь ли, что родственник мой показывал твой польский артистам и музыкантам, лучшим музыкантам: все утверждают, что у тебя есть талант, что ты можешь выйти далеко... а ты еще пьешь, милый мой... тссс... стыдись...

Сусликов ничего не отвечал; он стоял, понуря лысую свою голову, и только переминал дрожащими руками лохмотья бумажного платка.

— Ну, милый мой, — присовокупил Алкивиад Степаныч, — надеюсь, что ты исправишься... не так ли? Подумай, ведь ты артист, милый мой, художник, человек с дарованием... как же это можно пить! тсссс... (тут г. Кулындин опять-таки замотал головою). Нужно тебе сказать, — прибавил он, — что родственник мой дает тебе две тысячи рублей в год жалованья, ты будешь жить в его доме, на его глазах; подумай об этом; ведь если ты станешь продолжать вести себя таким образом, ты лишишься своего места, а что ж тогда?... тсссс...

Сообщив Сусликову еще кой-какие замечания касательно нового места, снабдив его добрыми наставлениями, Алкивиад Степаныч, тронутый, вероятно, жалким видом горохового сюртука, сунул ему в руку ассигнацию и приказал немедленно готовиться в дорогу. На радостях Сусликов, может быть, и отправился бы в ближайшее заведение, но, к счастью, намерение его предупредили. Камердинер Алкивиада Степаныча, согласно отданному заранее наставлению, передал его из рук в руки Арине Минаевне, которая, извещенная уже обо всем, ожидала блудного своего супруга в передней. Находясь в трезвом состоянии и быв, следовательно, слаб духом, Сусликов не

противился и, прикрыв лысину, подогнув колени, тотчас же последовал за дражайшею половиной... Несколько дней спустя после того из ворот серенького домика с крылечком, где жил старый капельмейстер, выехала телега, навьюченная кулечками, перинами, горшками и всяким домашним скарбом и рухлядью. Главное место подводы занимала Арина Минаевна. Толстая голова ее была укутана черным шерстяным платком, по-дорожному. Подле нее, ближе к козлам, между кулем картофеля и футляром скрипки робко высывалась голова Сусликова. Воротник горохового сюртука, приподнятый кверху, позволял, однако ж, различить лицо старика, изображавшее глубокую тоску. На облучке рядом с извозчиком сидела, обернувшись передом к хозяевам, Дарья. Телега подвигалась молча, никем почти не замеченная, посреди пыльных улиц города Б***; на всем пути от дома до заставы попались два-три лица, выглянувшие из окон между горшками с бальзаминном, да и те такие заспанные и недовольные, что Сусликов невольно отвернулся. У заставы подвода остановилась. Дарья медленно слезла наземь. Началось прощанье. Все совершалось как нельзя спокойнее. Но когда Арина Минаевна отдала приказание ехать и телега тронулась, Дарья, оставшаяся одна-одинешенька, выронила из рук узелок, в котором хранились ее пожитки, присела на тумбочку и разразилась таким воплем, что стоявший поблизости ее таможенный досмотрщик почел необходимым сказать ей: «Чего ты глотку-то дерешь? отваливай! здесь не место...»

Делать было нечего; Дарья встала, взвалила узелок на плечи и направилась к городу, не переставая, однако ж, оборачиваться поминутно к дороге, где клубилось косое облако пыли, относимое ветром...

Легко, очень легко могло стать, что Сусликов, несмотря на то, что ему было скоро шестьдесят и глаза его начинали слепнуть, довершил бы свою музыкальную карьеру чем-нибудь достопримечательным и оправдал бы надежды Алкивиада Степаныча Кулындина, если бы только счастливая звезда его, утомленная, вероятно, напутствовать такого недостойного любимца, не закатилась преждевременно. Сусликову, должно быть, уж на роду написано было получать не более пятисот рублей жалованья и проживать смирненько, скромненько, в глухой неизвестности, под блюстительным оком Арины Минаевны. Дело в том, что Семен

Игнатъич не доехал до места назначения. На третьей или четвертой станции от города Б*** он почувствовал сильный жар и попросил чего-нибудь кисленького, чтобы утолить жажду. К несчастью, в гостинице нашлось все, что угодно, кроме того, что спрашивал проезжающий. Арина Минзевна уложила мужа в подводу и поехала далее. На пятой станции стало ему хуже, на шестой — еще хуже; на седьмой — он слег в постель шурина, станционного смотрителя, полежал час, другой, вздохнул, попросил еще раз чего-нибудь кисленького и отдал богу грешную свою душу...

Что ж касается до Арины Минаевны, она живет о сю пору, и как еще живет! толстеет и добреет с каждым часом; да, впрочем, что ей делать? Она разъезжает по уездам от одной помещицы к другой: где день погостит, где два, где целую недельку. Тут выпросит медку, там крупичицы, здесь курочку, в другом месте поднесут рюмочку, в третьем предложат очередную подводку да проводника доехать до ближайшего соседа. И вот Арина Минаевна садится и едет себе по извилистому кочковатому проселку, побрякивая да подталкивая своего вожатого. Подъезжает она, голубушка, к барскому дому, вываливается, кряхтя, из телеги, спрашивает повелительно помещика или помещицу и прямо вваливается в комнаты.

— Здравствуйте, сударыня или сударь,— говорит Арина Минаевна, смягчая по возможности свой сиплый, басистый голос,— здравствуйте, честь имею рекомендоваться — была прежде жена музыканта — капельмейстера, а теперь — просто Арина Минаевна.

— Позвольте узнать,— спрашивают обыкновенно хозяева,— что вам угодно?

— Всякое даяние благо... всякое даяние благо... не можете ли чем бездетной одинокой вдове?.. — отвечает Арина Минаевна, слегка приподнимаясь с места и устремляя серые глаза свои на хозяев.

Она всем берет, чем угодно; и удивительное дело, как проворно исчезает в ее руках всякое подаяние! вот, кажется, только что взяла целковый, глядишь, глядишь пристально — и уже нет его, между тем как ее пальцы, толстые и жирные, кажется, вовсе не созданы для фокусов. После подаяния радушные хозяева предлагают бедной вдове откусать с ними чем бог послал; но Арина Минаевна

имеет обыкновение отказываться, уверяя, что только что отобедала у губернаторши.

— Велите-ка лучше, милостивая государыня,— присо-вокупляет вдова,— истопить мне баньку...

После бани, которую Арина Минаевна, между прочим, считает первым наслаждением, она просит, чтоб ей отрекомендовали кого-нибудь из ближайших соседей, и обращается обыкновенно с этою просьбою к людям.

— Да ты мне, братец, не толкуй,— говорит она с некоторым жаром,— не рассказывай про тех, у кого в семи дворах один топор; говори про тех, которые могут мне помощь оказать... понимаешь?..

Расспросив подробно, как и куда следует ехать, Арина Минаевна как бы вдруг переменяет намерение и просит у хозяев позволения заночевать. Таким образом заночевывает она, сердечная, ночь, другую, третью, пока наконец хозяин или хозяйка, приведенные в отчаяние опустошительною гостею, не предлагают ей очередную подводу. Тогда Арина Минаевна Сусликова, нимало не обидясь, прощается с хозяевами, укладывает свои узелки с подаянием, вваливается, кряхтя и ворча, в телегу и снова отправляется в путь.

ПАХАРЬ

Повесть

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

I

...Звонили к вечерне. Торжественный гул нескольких сотен колоколов усиливался постепенно и разливался мягкими волнами над Москвой. При ярком блеске весеннего солнца, начинавшего клониться к западу, Москва казалась волшебным, золотым городом. В эти часы весенних ясных вечеров Москва ни с чем сравниться не может! Но все-таки не нахожу слов, чтобы передать радостное чувство, которое овладело мною при расставании с городом. Я как будто воскрес душою, когда миновал Замоскворечье, проехал последнюю улицу, обставленную трактирами, запруженную народом, подводами, сайками, калачами, баранками, и очутился наконец за заставой.

Шум и возня, превращающие близость застав в многолюдный базар, делают еще заметнее резкий переход из города на поле. С каким наслаждением откидываешь верх тарантаса! А между тем впечатление еще не полно: долго попадаются возы с телятами, овощами и припасами всякого рода, встречаются толпы каменщиков, плотников и других рабочих. Все это невольно приводит на память городскую возню и суматоху, которую только что покинул и которая так давно наскучила. Время от времени приходится проезжать длинные села с каменным барским домом, как бы перенесенным сюда прямо с Тверского бульвара. На улице народ в картузах и синих мещанских кафтанах; бабы в штофных коротайках; парни похожи на фабричных щеголей; девки с бойкими глазами и пухлыми, белыми руками, никогда не бравшими серпа. Все почти подворотни превращены в лавочки: везде весы, баранки, деготь и ободья; в окнах неуклюжие самовары. Верст за десять и даже более от заставы встречаются щегольские, расписанные цвета-

ми тележки, в которых величественно восседает толстая мешанка с золотисто-фиолетовым платком на голове; рядом помещается такой же толстый сожитель, мешанин.— купец, поставляющий крупу или муку в один из столичных лабазов... И долго, еще долго будут попадаться давно наскучившие и как бы скроенные на один лад физиономии; долго станет преследовать звяканье медных пятков, смешанное с тем несносным, одуряющим голову дребезжаньем, которое преследует вас в городе и днем, и ночью. Приморские жители уверяют, что звук, который слышится в больших раковинах, происходит от того будто бы, что и в пустоте навсегда остается шум моря: «море нашумело», говорят они. Надо полагать, человеческое ухо, как эти раковины, если не всегда, то надолго способно сохранять шум города. Город давно уже успел исчезнуть; исчезли постепенно и самые признаки городской суетливости; даже колокольный звон, долго покрывавший все остальные звуки, тонул и терялся в пространстве. Но все еще в ушах раздавались шум и трескотня улиц, грохот экипажей, хлопотливый говор, знакомые голоса и восклицания... Я страшно тяготился городом!..

Разлука с ним чувствительна для тех, кто оставляет за собою особенно близких людей или особенно дорогие воспоминания; но когда нет ни тех, ни других, когда покидаешь одну суетную, мелкую жизнь, оставляющую после себя чувство умственной и душевной усталости и непременно чувство какого-то неудовольствия и даже раскаяния,— разлука с городом делается сладостною выше всякого описания. Понятно тогда, почему так заботливо стараешься забыть все прошлое; понятно, почему сердце так только вот и рвется вперед и вперед к этому бескрайнему горизонту, полному такой невозмутимой, такой торжественной тишины...

С каждым шагом вперед кругом делалось тише и тише, воздух свежее и свежее. Я нетерпеливо ждал минуты, когда прощусь с большой дорогой. К счастью, недолго было дожидаться: на пятнадцатой версте я повернул на проселок.

II

И вот я снова в полях, снова на просторе, снова дышу воздухом, пахнущим землею и зеленью!

Чудный был вечер! Солнце было еще высоко над горизонтом: оставалось час или полтора до заката. Прозрач-

ное, безоблачное небо дышало свежестью; оно сообщало казалось, свежесть самой земли, где на всем виднелись признаки юности. Апрель приближался к концу. Весна была ранняя, дружная; снег давно сбежал с полей. Повсюду, направо и налево от дороги, вдали и вблизи, по всем буграм и скатам, зеленели озими, освещенные косвенными золотыми лучами; тонкие полосы межей были еще темны; над ними, вместо тучных кустов кашки, донника, ежевики и шиповника, лоснились покуда пунцовые прутья и подымались ноздреватые, пересохнувшие стебли прошлого года где-где разве развевывался и сквозил мягкий, как бархат лист земляники. Но как уже хорошо было в поле! Гиша на необыкновенная. Так тихо, что ни одна былинка не покачет головкой; а чувствуешь между тем — слышишь даже, что весь этот неоглядный простор земли и воздуха наполнен жизнью и движением. Напрягаешь слух, жадно прислушиваешься... И — странно! — звуки эти радостно даже как-то отдаются в душе и тешат ее... совсем не то, что в городе... В блестящей глубине небесного свода не видать жаворонка; но воздух наполнен его переливами. В каждой борозде, в чаще мелкой травы, в озимях слышатся писк, шорох. Далеко в рощах воркует горlinkа, и перелетают с места на место дикие голуби. Все оживает: в самой тонкой ветке, в самых нежных стебельках движется свежий сок, хлынувший из корня, которому так тепло теперь под землею, нагретою солнцем. Мириады насекомых роями жужжат в воздухе, снуют и качаются на гибких травках молодой зелени. Солнце везде и всюду: солнце насквозь пронизывает густые чащи, не успевшие еще заслониться листом; солнце донимает в глубине лесов и оврагов остатки рыхлого, почерневшего снега; солнце жаркими лучами обливает поля, где сквозь редкую еще зелень блистают новые отпрыски озимого хлеба и желтеет прошлогоднее, дотлевающее жнивье. С каким наслаждением выставляешь на вешнее солнце спину и обнаженную руку! В воздухе уже не чувствуешь той проникающей сырости, которая заметна в первую весеннюю пору, когда реки в разливе: реки вступили в берега свои. Вода сквозила и отражала чистую синеву неба; леса — особенно если смотреть на них сбоку — видимо почти опушались. Еще два-три такие дня, и птицы, которые поминутно встречаются с соломинкой или перышком в носу, начнут вить свои гнезда в защите под куполами и сводами молодых листьев.

Местами проселок был влажен; но нигде не было следа грязи: колеса катились как по бархату, оставляя по черно-зему следы, как бы покрытые лаком. Славное было время для путешествия!

III

Мне следовало проехать около двухсот верст по этому проселку. Не далеко, кажется; но, в сущности, это целое странствование: предстояло переехать Оку, на которой, судя по времени, не успели еще навести моста; было на пути еще несколько маленьких речек, которые переезжаются обыкновенно вброд, потому что мосты на них обманчивее всякого брода. Но я не скучал этим.

Надо вам сказать, я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вам когда-нибудь случай ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, полные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собою; местами та же суэта, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. От Петербурга до Харькова, от Москвы до Перми — те же станционные дома, те же вытянутые в ряд села и деревни, предлагающие овес, деготь, кузнеца и самовар; вам мечутся в глаза те же полосатые версты, те же чахлые, покрытые едкой пылью ветелки, те же ямщики. Вся разница в том, что один ямщик говорит на «о» и носит шапку на манер гречишника, а сто верст далее делают ударение на «щ», и шапка его несколько приплюснута. «От Муромы до Нижнего столько-то, и столько-то от Орла до Тамбова!» — вот все, что узнаете вы на больших дорогах.

То ли дело проселки! Вы скажете: поэзия! Что ж такое, если и так? И наконец, если хотите знать, поэзия целой страны на этих проселках! Поэзия в этом случае получает высокое значение. Правда, вам не предложат здесь баранков, вы часто исходите целую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здесь ни пестрых столбов, ни ветел, ни станций; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудился над ними инженер — все это совершенная правда: их попросту протоптал мужичок своими лаптишка-

ми; но что ж до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какую частою, мелкою сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?.. Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте — они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведенного сердца.

На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, с тем необъятно-манящим простором, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!..

IV

Посмотрите теперь, какое здесь разнообразие. Проселок, цепляясь с другими, бежит вперед и вперед, открывая поминутно новые виды; где деревушку, которая боязливо лепится по косогору, где пруд с головастыми ветлами, осокой и дощатым плотом — на нем толпа баб с вальками и коромыслами — пруд, отражающий клочок неба и кровлю перекосившейся избышки; где группу кудрявых дубков с выющимися над ними галками и отдыхающим в стороне стадом; где гладь бескрайнюю, необозримую гладь полей, и посреди ее, на каком-нибудь перекрестке, одинокий крест или часовню; где лощину, покрытую частым орешником и перерезанную ручьем, который пересох в песчаном дне, усеянном угловатыми камнями. Вы спускаетесь на мост, который, едва прикоснулись к нему копыта лошади, весь как будто переполнился страхом; дрожит он всеми своими суставчиками; дрожит, опасаясь, вероятно, за свое собственное существование столько же, сколько за жизнь смельчаков, которые так беззаботно вверяют ему свои кости. С диким криком и верезгом поднялась стая чибезов, испуганных шумом... И вот снова поднялись вы по косогору, снова на проселке, и снова пошли направо и налево новые виды: где клин соснового бора, который глянул для того, кажется, чтобы тотчас же скрыться; где снова зеленеющие пажити, с движущимися тенями туч и косыми полосами ливня на горизонте; а вот и большое село, с белою

церковью на бугре, речкой, отражающей старинный липовый сад, лугами, избами, скворечницами и колодезным журавлем, высоко чернеющим в небе... И как, право, хороши эти виды!

V

А между тем чем далее подвигался я в глубину полей, тем тишина, меня окружавшая, делалась все торжественнее. Солнце село; вместе с ним угасла, казалось, и сама жизнь: смолкли хоры, смолкла гармоническая музыка, наполнявшая весь день и воздух, и землю. Темно-синий горизонт разлился по небу, и загорелись звезды...

На другой день, вечером, я приближался к цели моей поездки. Беззаботное, счастливое настроение духа, которое не оставляло меня во всю дорогу, стало изменять мне; сам не знаю отчего, но кровь волновалась сильнее; я начинал чувствовать то внутреннее беспокойство, которое предшествует всякому ожиданию, как радостному, так и печальному. Когда я поднялся на холм, откуда видны были сначала деревня, потом роща, а за нею кровля дома, сердце мое забилося вдруг необыкновенно сильно.

Не верьте, пожалуйста, нашим столичным умникам, которых мы же сами, не находя им другого названия, а может быть, просто из снисхождения, прозвали людьми с строгим, философским складом ума. Посмеиваясь над самыми простыми, естественными и, уж конечно, лучшими нашими чувствами, называя их действием воображения или слезливо-сентиментальными выходками, они, я уверен, слову не верят из того, что проповедуют: они только рисуются перед нами. Ведь только глупцы могут потешаться над тем, чего не знают или чего сами сознательно не переживали. Философия наших знакомых — больше ничего, как фразы, сухое и очень дешево доставшееся резонерство. Истинная философия состоит в убеждении, что лишнее умничанье ни к чему не ведет. Счастье заключается в простой жизни; просто живут те только, которые следуют своим побуждениям и доверчиво, откровенно отдаются движениям своего сердца. Дайте любому философу живописный участок земли, дом — какой-нибудь уютный, теплый уголок, скрытый, как гнездо, в зеленой чаще сада; пускай вместе с этим домом соединятся воспоминания счастливо проведенного дет-

ства,— и тогда, поверьте, подъезжая к нему после долгой разлуки, он искренно сознается, что вся философия его — вздор и гроша не стоит!

VI

С каждым поворотом колеса я приподымался и нетерпеливо вытягивал шею. Глаза с жадностью перебежали от ряда знакомых ветел к крышке дома, которая начинала выглядывать из-за угла старого сада. Я уже мысленно ступал по тропинке, протоптанной через двор, она вела к липовой аллее — свидетельнице моих детских игр, первых моих слез и первых радостей. Существуют ли еще качели, привешенные к шесту между двумя старыми деревьями?.. Что случилось с моим садиком, который занимал всего аршин, но казался мне тогда великолепным парком?.. Все ли еще существует и белеет на своем месте, за ветхою стеною амбара, каменная плитка, над которой, обливаясь когда-то слезами, хоронил я умершего воробья... Я превращался в ребенка; я волновался и радовался, как будто меня ждала там и простирала ко мне руки вся минувшая моя юность; как будто ждало меня там бог весть какое счастье!..

VII

А счастья, право, никакого не было! Дом мой опустел давным-давно, никто не махал мне издали платком; никто не бежал к околице; никто меня не встретил. Самый дом глядел угрюмо, неприветливо своими серыми бревенчатыми стенами, наглухо заколоченными ставнями, заброшенным палисадником и полуобвалившимся плетнем, из которого половина кольев была вынута.

И все-таки — не странно ли это? — в душе моей ни тени тоскливого чувства! Кроме сладких воспоминаний детства, в сердце постепенно рождалось еще другое ощущение... сказать ли вам? я радовался тому именно, тому радовался, что никто не встретил меня, никто в эту минуту обо мне не думал и не заботился!.. Я вошел в этот опустелый дом с тем же радостным биением сердца, с каким подъезжал к нему. Не вините меня в мизантропии или вообще в расположении к мрачному одиночеству. Не нужно быть вовсе мизантропом, чтоб чувствовать иногда сильнейшую потребность умственного, душевного спокойствия. Я просто утомился городом и искал тишины.

VIII

Мне случалось встречать людей, горячо привязанных к семейству. Вдруг, посреди самой счастливой обстановки, сами сначала не сознавая этого, начинали они предаваться неслыханной тоске. И в мыслях, и на языке была одна только мысль: уехать, исчезнуть куда-нибудь, где бы ничто не напоминало прерванных на время связей; и все это без малейшего повода со стороны семейства или внешних каких-нибудь обстоятельств.

В числе убеждений, вынесенных мною из жизни и внутренних мне опытом, находится, между прочим, следующее: очень часто свет удивляется продолжительности некоторых сердечных связей. Вся тайна заключается в препятствиях, которые ставит этот же самый свет между связанными людьми и мешает им не только неразрывно делить жизнь, но даже мешает беспрестанно видеться. Уничтожьте препятствия, и тогда, наоборот, все станут удивляться непрочности сердечных привязанностей. Счастье многих и многих семейств поддерживается только временными разлуками. Иное сердце пресыщается скоро, другое медленнее; но все равно испытывают пресыщение. И наконец, даже и без этого чувства, так уж душа бывает иногда настроена, что полное, глубокое одиночество кажется единственным блаженством существования. В такие минуты самые ласковые речи, самая искренняя, задушевная нежность способны только раздражать нервы.

IX

Дом мой расположен как нельзя удобнее; он отдален от деревни; между ними холм и роща; из деревни не доходит ни одного звука, кроме лая собак и петушиного крика на заре. Самая деревня находится в исключительно благословенном положении: она как бы затеряна в глубине уезда между нескончаемыми полями и рощами.

Первым движением моим, как только я вошел в комнату, было отворить окно в сад. Ночь сменила сумерки. Высокие липы обступали сад; кусты, разбросанные в беспорядке и успевшие уже в эти два дня опуститься зеленью, сливались местами в одну совершенно темную массу и неопределенно круглились между дорожками, которые слегка серебрила роса. Слева только, между черными как уголь

стволами, светлела часть пруда; в ней, как в чистом зеркале, незыблемо отражались синее небо и робко мерцающие звезды. Струи воздуха, пробежавшие перед закатом, не трогали теперь ни одной веткой. Запах вечерней росистой мглы, смешанный с запахом почек, молодых отпрысков и запахом прошлогоднего листа, проникал, казалось, каждый атом воздуха и медленно курился над садом. Самое полное, самое невозмутимое безмолвие распространялось не только вокруг, но даже далеко по всей окрестности.

Я опустил на окно, отдаваясь весь новому сладчайшему впечатлению. Слух мой, освобожденный от трескотни города, получил страшную чуткость; но тишина окрестности ничем не нарушалась. Изредка чиликнет внезапно пробудившаяся птичка, прожужжит запоздавший жук, стукаясь рогатой головкой о сучья, или послышится треск молодой ветки, которая распахнулась от избытка свежего сока, и снова воцаряется молчание...

Влияние тишины, царствующей над полями, вполне может быть доступно тем только, кто долго тяготился треволениями житейского моря, чей слух и чьи нервы многие годы постепенно тяготились и раздражались безумною суматохою города. Я чувствовал, как тишина вливалась в душу и как делалось в ней и покойнее, и светлее.

Х

Каждый день, прожитый здесь, приводит меня к убеждению, что сельская жизнь улучшает человеческую природу. Не считая того, что она ставит в необходимость жить больше с самим собою, представляет мало развлечений и тем самым сосредоточивает мысли и делает их яснее, одно из главных преимуществ ее заключается в том, что она значительно усмиряет нашу гордость.

Влияние ее в этом случае совершенно противоположно влиянию города.

Там все заставляет нас много о себе думать: стесненные в домах и улицах, которые кажутся широкими только сравнительно, встречая на каждом шагу тысячи предметов, изобретенных человеком, мы невольно начинаем считать себя чем-то особенно важным. Все подтверждает уверенность в наше могущество, силу и способности. Здесь впечатления совсем другого рода: здесь уже давит нас один этот

простор, которым окружены мы с утра и до вечера. На улицах, между домами, точно делаешься заметным; здесь — превращаешься почти в ничто, в едва видную точку. Ваша власть уничтожается как ваши размеры: здесь все растет, создается, разрушается и движется, не обращая на вас ни малейшего внимания, не спрашивая ни вашего совета, ни вашего разрешения.

В городе отдаешь себе ясный отчет в своем гордом удивлении и, надо сказать, тотчас же переносишь частицу этого удивления к себе самому; здесь — удивляешься молча. Ум, пораженный бесконечным совершенством природы над совершеннейшими делами рук человеческих, пораженный всегдашним ее величием, смиренно сознает свое детское бессилие.

XI

Здесь встречаются, так же как и везде, неудачи, препятствия, неприятности; но если не выходишь из мирной сферы сельской жизни, самые эти неудовольствия не раздражают духа: в них всегда есть что-то примирительное. И в самом деле, на кого здесь пенять? На дождик ли, который не вовремя упал на вашу ниву? на запоздалую ли весну и холодные утренники, которые задерживают рост травы и озимей? на червь ли, подточивший корень вашего хлеба, или на град, скомкавший широкое поле ржи, так приветливо золотившееся на июньском солнце и обещавшее такую богатую жатву?.. Никто в этом не виновен. Горе «не от человека». «Так, знать, богу угодно», «Его на то святая воля!..» — скажет вам здесь простолюдин. Вместе с этой нивой он и семья его теряют, однако ж, спокойствие целого года. Мысль эта является здесь беспрерывно. Горе, поразившее вас, велико; но оно не оставляет раздражения в сердце, не возбуждает бесполезного, грешного ропота. Свыкаясь с жизнью, привыкаешь мало-помалу отдавать все помыслы свои на волю Провидения. Существование, порученное, таким образом, в исключительное распоряжение Промысла, привычка покоряться постоянно Его воле, дают здесь, мне кажется, то душевное спокойствие, которое так напрасно ищешь в общественной жизни и городе, где все более или менее зависит от нас же самих или таких же, как мы, смертных. Жизнь течет здесь ровно, покойно. Когда живешь созна-

тельно и честно, не знаешь, что значит «убивать время». День проходит незаметно.

Глазам не веришь, когда, подняв голову, видишь, что солнце давно обогнуло половину неба.

XII

Сильно также действует на душу ближайшее знакомство с бытом простого народа.

До сих пор, сколько я ни замечал, мне казалось всегда, что образованный класс общества всегда сочувствовал этому быту. Жизнь народа, была ли она изображена в книге или на полотне, всегда трогала и привлекала человека. Популярность таких художников, как, например, Леопольд Робер, успех многих сочинений, как древних, так и современных, только и объясняются этим тайным сочувствием к народу, к сельской жизни и всей наивной ее обстановке. Как, однако ж, после этого растолковать себе испуг, который все решительно обнаруживают при столкновении с самой действительностью?.. Виновата ли эта действительность, если праздность, городская скука и неведение сельского быта внушают нам мечтания о каком-то небывалом, часто совершенно идиллическом мире?.. Настроенные таким образом, мы, конечно, не находим в деревне того, чего искали. Разочарование ждет нас уже у самой околицы...

Сельская жизнь приучает смотреть на тот же предмет здраво, без преувеличения. Взгляд этот скоро примиряет с народом. Грубая его сторона находит свое оправдание в непросвещении и общих свойствах человеческой природы; она за ним и останется. Но зато какие сокровища добра и поэзии открывает другая сторона того же народа! Кого не удивит и вместе с тем не тронет слепая вера в Провидение — этот конечный смысл всех философий, этот последний результат мудрствований и напряжений человеческого разума? Кого не тронут эти простодушно детские мысли и вместе с тем этот простой, здравый смысл, не стремящийся напрасно разгадывать тайны природы... нет! но принимающий дары ее с чувством робким, но радостным и исполненным величайшей благодарности? Кто не умилился душою при виде этого всегдашнего, ежедневного труда, начатого крестным знаменем и совершаемого терпеливо, безропотно?

Когда откроется перед вами картина широкого простора и на ней живой пример тяжкого труда и простой, первобытной жизни, все ваши идиллии, плод праздной фантазии, покажутся вам мелкими до ничтожества! Присмотритесь, и вы увидите, что поэзия действительности несравненно выше той, которую может создать самое пылкое воображение!..

ПРОГУЛКА

XIII

Наступило время, когда после долгой зимы поселянин снова выезжает в поле; когда, приладив соху в сошник, праздно лежавший столько времени и успевший покрыться ржавчиной, пахарь делает его чище серебра, взрывая согретую солнцем землю. Наступило время первой пахоты и первого посева. Я отправился в поле.

Вечер был чудесный,— такой же почти, как когда я, несколько дней тому назад, подъезжал к дому. Круглые облака опалового цвета, с белыми сверкающими краями, как бы выкованными из светлой жести, почти недвижно стояли в небе, открывая глубокие темно-голубые просветы. Окрестность наполнялась радостным сиянием. Листья окончательно распустились, и зелень блистала повсюду; у опушек рощ часто попадались фиалки и ландыши; бледно-розовые и белые колокольчики повилики, которая с первым дуновением весеннего ветра быстро переплетает старое жнивье, начинали пестрить поля и разливали в недвижимом воздухе тонкий миндальный запах. Солнце, несмотря на первые дни мая и пятый час вечера, пекло, как в июле. Но меня не пугали ни жар, ни дальность расстояния (поля, куда я направлялся, считаются у нас самыми отдаленными от жилья). Следовало пройти холм и рощу, которые отделяют меня от деревни, миновать самую деревню и перейти речку. После моста дорога пошла тотчас же в гору. Волнистые скаты горы, то круглые и поросшие кустарником, то спускающиеся мягкими склонами и покрытые местами березовыми и сосновыми лесочками, составляют правый бок зеленеющей, живописной долины: на дне ее, полукруглыми извилинами, блестит речка. Вершины этих скатов позволяют обозревать всю окрестность; но прежде чем достигнешь такой высоты, приходится очень долго подыматься.

Я почувствовал наконец, что дорога стала как бы опускаться; вместе с этим воздух сделался подвижнее. Окрестность открылась как на ладони; деревня казалась подле самого моста; дом, холм и березовая рощица казались примыкавшими теперь к деревне. Все это — и дом, и сад, и деревня принимали теперь вид тех игрушек, где стебли мха изображают деревья, кусочки зеркала — речку. Овцы, рассыпанные по лугу, на дне долины, мелькали, как белые крапины, которые то сверкали на солнце, то исчезали посреди длинных голубых теней, бросаемых облаками. Поля занимали всю вершину горы; она была срезана как ножом и представляла версты на две гладкую, как стол, поверхность. Горизонт замыкался только небом и, слева, опушками рощ, которые спускались в долину; облака на дальнем горизонте выходили как будто из земли.

По мере того как я подвигался вперед, ветер делался заметнее. Иногда меня обдавало теплом, как из жерла раскаленной печки, и вместе с этим сильнее приносился тучный запах земли, которым так легко, однако ж, дышится. Крики: «возле, возле!», которыми пахари понукают лошадь, заставляя ее в то же время идти подле соседней борозды, доходили явственнее. Вскоре передо мной совсем открылось поле, облитое солнцем и оживленное пахарями, лошадьми, подводами, глухим жужжаньем насекомых и жаворонками, которые неумолкаемо заливались в небе.

XIV

Дорога вела в самую середину полей; на всем протяжении они перерезывались ровными десятинами. Пересохшие растения и корни, выхваченные зубьями сохи, местами покрывали межи; местами межи резко отделялись зеленою молоденькой травки от коричневой, только что вспаханной почвы, исполосованной свежими бороздами. Земляные испарения струились и переливались в воздухе, сообщая особенную, какую-то золотистую мягкость всем предметам, жарко облитым солнцем.

На углу почти каждой нивы стояла распряженная телега с овсом. В стороне, немного поодаль, виднелись пахари. Впереди всех шел всегда сеятель. То был большею частью человек преклонный, отец или дед. К концам веревки, перекинутой через плечо сеятеля, прикреплялось решето или кузов, наполненный зерном: выступая покойным, сдержанным

шагом вперед, старик то и дело опускал руку в кузов, простирал ее потом по воздуху и разом выпускал зерна, которые рассыпались всегда ровным полукругом. Постепенно удаляясь и исчезая в солнечном сиянии, сеятель уступал дорогу сыну или внуку, который управлял сохою и закрывал землею разбросанные зерна. За ним, звеня и подпрыгивая, тащилась борона с прицепившимися к ее зубьям комками косматых трав и корней. Лошадью правил обыкновенно мальчик. Иногда лошадь, если только она была старая, привычная к работе кобылка, шла сама собою: покорно следуя за хозяином, она изредка позволяла себе замедлять шаг, чтобы не смять жеребенка, который, в нетерпении своем, вытягивал шею под оглоблю и принимался сосать ее изо всей мочи.

Но этим еще не оканчивалось шествие: за каждой бороной летела в беспорядке стая галок, грачей, сизых и белых голубей. Они, казалось, совсем свыклись с людьми и лошадьми: то жадно припадая к земле, то взлетая на воздух, чтобы подраться за червячка, птицы следовали все время за бороною, нимало не пугаясь крика и свиста пахарей. Все поле усеяно было птицами...

XV

Несмотря, однако ж, на крик и свист пахарей, несмотря на звонкие голоса птиц и шумные их драки, несмотря на движение людей и лошадей, которые сновали взад и вперед по десятинам, несмотря на щебетанье мелких птичек, жужжание насекомых, фыркание лошадей, ржание жеребенка и пение жаворонка, этого дарового музыканта пахаря,—несмотря на все это оживление и странное разнообразие голосов и звуков, все представлялось одним гармоническим целым. Широкий простор полей смягчал и сглаживал все звуки. Вся эта деятельная картина посева принимала вид чего-то мирного, какой-то кроткой радости и покоя!

Переходя от одной нивы к другой, я незаметно приблизился к опушке последней рощи. Тут оканчивалось поле. Последняя десятина склонилась даже несколько по скату, смотревшему на запад и на долину; защищенная от солнца рощею, которая обступала ее полукругом, она наполовину уже покрылась зубчатою тенью. Издали я увидел на ней одинокого пахаря; он работал совершенно один:

сам сеял, сам боронил, сам управлялся с сохой. Я удивился еще больше, когда подошел ближе. Пахарь принадлежал к довольно многочисленному семейству. Особенно странным казалось мне, что с ним не было его отца. Первый весенний сев пользуется в простонародье особым почетом: им преимущественно управляют старики. Прошлый еще год я видел старика на этой самой ниве и в это самое время. Одинокство молодого парня было для меня необъяснимым: вся семья его слыла в околотке одною из самых заботливых, деятельных в полевых работах. Я оставил межу, пошел полем и через несколько минут был подле пахаря.

XVI

Его звали Савелием. Это был парень еще молодой, лет тридцати, высокий, смуглый, с правильным, продолговатым лицом и кудрявыми, русыми волосами. На вид он не казался очень плотным; но расстегнутый ворот его белой рубахи выказывал широкую, крепкую грудь, уже тронутую загаром на том месте, где застегивался ворот; плечи его и мускулы рук богатырски круглились, выпучивая складки рубашки; через плечо его висел на веревке большой кузов, полный зерна, но он держал его с таким видом, как будто не знал, что такое тяжесть. Коричневые глаза его глядели спокойно, но прямо, откровенно. Солнце садилось за спиною пахаря, и вся фигура его, окаймленная золотыми очертаниями, красиво рисовалась перед рощей, потопленной голубоватою тенью. Я подошел к нему в ту минуту, как он забросил вожжи на спину лошади и готовился сеять.

— Что ж это старика-то не видно? где он? — спросил я.

— Старик дома, лежит, — возразил пахарь, делая шаг вперед.

— Что ж так?

— Все хворает, — сказал он.

Я осведомился, почему, наконец, брат не выехал в поле, но получил в ответ, что брат остался с больным отцом.

— Ему с самой весны что-то нездоровится, — подхватил Савелий, — а в эти три дня наш старик совсем слег... Очень опасаемся: все думается, не встать ему; человек древний... долго ли? Вот уж третий день не ест, не пьет, слова не выговорит, все лежит, только что вот вздохнет

иной раз. Господь знает, что такое! — заключил он отводя рукою кузов с зерном и потупляя голову.

Мне тотчас же представилось, что старика ударил паралич: старик был деятелен не по летам; с приходом весны деятельная природа его должна была, разумеется, воскреснуть. Вероятно, по обыкновению своему, он слишком горячо припал к работе; спеша уладить разом многочисленные дела, которые падают весной на простолюдина, он надорвал стариковские свои жилы: к этому, вероятно, примешалась также и кровь: разогретая усиленным трудом, а также и весенним временем, она вдруг расходилась и сковала параличом его ослабевшие члены. Я начал подробно расспрашивать сына обо всем случившемся.

XVII

— Недели две назад,— начал было Савелий, но остановился, сделал несколько шагов вперед и принялся хлопать в ладоши, чтобы отогнать стаю птиц, которая расположилась в телеге и взапуски клевала зерно,— недели две будет,— подхватил он, возвращаясь назад,— мы ничего такого не чаяли, как словно даже лучше стало, отлегло, стал поправляться... весне, что ли, очень уж обрадовался. Господь знает!.. Первый-то день, как встал, до самого обеда ходил все по полю, смотрел озими; только на поясницу очень жаловался: «Поясница, говорит, добре очень одолела». Вечером прихожу я к нему на гумно, он и говорит мне: «Вот, говорит, Савелий, весна на дворе...» — говорит так-то, а сам все кругом осматривается. «Весна, говорит, на дворе, наши пахать едут». Стал он тут на силу на свою жаловаться: «Сила, говорит, обманула меня... Знать уж, говорит, не придется мне нонче и пахать с вами...» — «Полно, говорю, батюшка! что папредки загадывать, бог милостив!» — «Нет, говорит, не пахать мне нонче с вами... сердце мое чует!» Подошел после того к соломе, маленечко постоял, лег на нее, да вдруг как заплачет! индо жаль стало!.. Никогда с ним этого не было. Так почитай пролежал до самого до вечера; насилу уговорили в избу пойти. На другой день опять как будто стало легче, опять в поле ушел...

— Как же вы его не удержали? — перебил я.

— Кто его удержит! хлопотлив очень, заботлив! такой-то завистливый в работе, другого такого не найдешь!

Мы и то говорили ему, и матушка говорила — ничего не слушает. Пришел это он домой, суетится, хлопочет, сам до всего доходит, борону чинить зачал; а уж куда: у самого руки-то так и дрожат; ходит по всему двору, по всем углам... точно взаправду чуяло его сердце, словно со всем домом ходит прощается... даже мы с братом подивились... Нет, видно, уж не встать ему!.. — добавил Савелий, после минутного молчания.

Я спросил о том, что произошло три дня тому назад.

— И бог знает, как сказать, что такое! — произнес Савелий, заботливо потрянув головой, — пошел он к лошадям корму засыпать. Он ведь у нас до лошадей-то охотник: никто и не подходит, окромя его! Стали это я да брат его уговаривать; видим, чуть на ногах держится, и матушка к нам пристала. Опять не послушал: «Ничего, говорит, авось, как промнусь, легче будет!..» Ничего ведь с ним не сделаешь!.. Вот матушка и говорит нам, мне да брату: «Что-то, говорит, долго старик нейдет; поглядите-ка, сходите, где он...» Пошли мы с братом; глянули под навес, а он там и лежит. Стали спрашивать: слова не добьешься, лежит словно мертвый; так без языка домой и принесли. С тех самых пор не вставал, трое суток без языка лежит!..

— Надо было тотчас же кровь пустить, как же вы не подумали об этом? — воскликнул я, нимало не сомневаясь, что старик остался бы жив, если б приняты были своевременные меры.

— Брат и то два раза ездил, — сказал Савелий, — два раза кровь отворяли — не пошла только! должно быть, сильно уж она в нем запечаталась! Так уж, знать, господь устроил, что помереть ему надо! уж, видно, не топтать ему травы! — заключил он спокойным, но таким грустным голосом, что у меня екнуло на сердце.

С последними словами Савелий приложил ладонь к глазам, в виде зонтика, и пристально посмотрел в поле. Так как в последнее время слова его часто сопровождались этим движением, я невольно взглянул в ту сторону. На дороге, которая вилась по полю, я увидел бабу. Она быстро подвигалась вперед, иногда даже принималась бежать; она махала руками и направлялась прямо к опушке роши.

Савелий между тем поставил наземь короб с зерном. Он не отымал ладони от глаз. По мере того как баба приближалась, я заметил, что в чертах пахаря проступало беспокойство, брови его судорожно изгибались, ноздри вздра-

гивали; весь он превращался, казалось, в зрение. Немного погодя я мог различать черты приближавшейся женщины; это была жена Савелья.

XVIII

Она остановилась еще раз, чтобы перевести дух, и пустилась бежать быстрее прежнего.

— Савелий! Савелий! домой ступай! скорее ступай домой! — крикнула она, когда была еще на дороге.

Лицо ее было красно и выражало все признаки сильнейшего замешательства; крупные капли пота текли по разгоревшимся щекам вместе со слезами, которыми вымочены были ее глаза и ресницы; беспорядок в ее чертах и одежде показывал беспорядок и смущение чувств.

— Что случилось? — спросили мы.

— Батюшка отходит!.. ступай прощаться!.. — проговорила она, прижимая руки к груди и едва переводя одышку.

Я взглянул на Савелия. Он стоял с понурою головою и тяжело опущенными руками; с минуту стоял он как громом пораженный. Можно было думать, что, говоря со мною за несколько минут о смерти родителя, он не верил в душе, чтобы она пришла так скоро... Нет такого очевидного горя, в котором человек не старался бы обмануть себя и не подкреплял бы себя надеждой. В простонародье существует даже поверье, что лучшее средство избавиться от несчастья заключается в том, что надо говорить о нем, как о предмете верном, несомненном. Меня поражало, однако ж, в пахаре его внешнее спокойствие: лицо его было скорее грустно-задумчиво, чем взволновано; только вздрагивающие веки и ноздри изменяли ему. Жена его между тем заламывала руки, била себя кулаком в грудь и разливалась-плакала.

— Ступай же скорей... совсем уж отходит... простись поди... чего ты стоишь? — говорила она, дергая его за рукав, — все наши в избе давно... за дядей Карпом поехали... пойдем скорей... я подсоблю с лошадьми управиться! — заключила она, поспешно направляясь к лошадям, щипавшим траву на меже.

Савелий несколько секунд оставался неподвижен; наконец он медленно, как бы стараясь привести себя в память, провел ладонью по волосам, тяжело вздохнул, перекрестился и пошел за женою.

В движениях его, когда он припрягал лошадь в подводу, не было заметно малейшей суетливости: он не забыл ни одного ремешка, ни одной мелочи, хотя мысли его, очевидно, были далеки от дела. Он точно не видел и не слышал жены: во все время он слова ей не сказал, даром что она не переставала тормошить его, суетилась без толку, плакала и говорила без умолку, вычисляя в скорбных выражениях добродетели умирающего. Наконец воз был увязан, лошади взнузданы, соха перекинута сошником кверху, и они оставили ниву. Я пошел за ними.

Поля начинали покрываться красноватым блеском; одни межи ярко освещались солнцем, глядевшим между рощами, и тени от рощ захватывали иногда целые участки. Поля пустели. Кой-где, на отдаленной пашне, золотилось облако пыли, и из него выглядывала лошадь, с сидевшим на ней пахарем, который возвращался с работы. Птицы несметными стаями кружились высоко в небе; но, отставая постепенно друг от дружки, они опускались в рощи. Тени между тем быстрее бежали вперед, и вместе с тем с каждой минутой умолкала шумная деятельность поля.

ПАХАРЬ

XIX

Я знал отца Савелия еще в детстве. Но не одни воспоминания прошлого привязывали меня к нему и заставляли сожалеть о нем: можно сказать без преувеличения, что вместе с ним весь околоток лишался одного из самых почтенных, самых достойных стариков своих.

Иван Анисимович, или просто Анисимыч (так звали старика), принадлежал к числу тех трудолюбивых, деловых пахарей старого века, которые, к величайшему сожалению, переводятся год от году. Особенно редко теперь встречаются в наших местах. По мере того как развивался у нас фабричный промысел, возделывание полей приходило в упадок; челнок, красная рубаха и гармония заметно сменяли соху, балалайку и лапти; вместе с тем заметно также исчезал тип настоящего, коренного, первобытного пахаря. В последние дни один Анисимыч исключительно, можно сказать, жил своим полем. Его не сокрушали даже неурожайные годы. Он продолжал пахать, боронил и сеял даже в то время, когда фабрики стали приносить очевидные выгоды против пашни. Но не упрямство управляло им, не

закоснелая привычка к старому прадедовскому ремеслу; не управляли им также расчет и тонкая сметливость: старик нимало не соображал о том, что не век же продлятся неурожайные годы, не век же миткалю будет цена высокая! В уме его было меньше, может быть, хитрости и пронырства, чем у любого тридцатилетнего фабричного щеголя. Наконец, мне сказывали, он считал даже грешным делом вперед заглядывать: «что будет, то все в руке господя; словесами либо думой тут не поможешь», — говорил он. Старик не расставался с полями потому только, кажется, что свyksя с ними и шибко к ним привязался. Мудреного нет: он начал привыкать к ним еще в то время, когда покойная его мать, отправляясь на жнитво, носила его туда в люльке. А это было очень давно: Анисимыч доживал уже теперь восьмой десяток.

XX

С мыслью о смерти старого пахаря вся простая жизнь его, исполненная безропотного, неусыпного труда и детского простодушия, ясно представилась моему воображению; даже мелкие черты характера и ничтожные эпизоды его скромного существования, которые давным-давно были мною забыты, стали выясняться, как бы для того, чтобы в минуту смерти оставить о нем еще больше сожаления.

Меня особенно поражали в нем всегда необычайная кротость нрава, чистота помыслов и благочестие. Единственная вещь, быть может, которой не любил он, было миткалевое производство; но никогда, однако ж, не относился он с насмешкой, злобой или пренебрежением, когда речь заходила об этом предмете. Он, помнится, покручивал только седую головой и говорил: «Худое ремесло то, когда ничего не делаешь! Коли человек кормится фабриками, стало, и в них прок есть. Не хороша только жизнь фабричная — вот что похвалить нельзя; не хороши эти гулянки, да кабаки, да пищалки эти (так называл он гармонии). Что денег-то дают хозяева, — присовокуплял он обыкновенно, — за этим гнаться нечего: деньги только в соблазн вводят. Нашему брату деньги не надобно; был бы хлеб святой. Есть хлеб, ни в чем, значит, недостатка не будет, потому что хлеб всем надобен, всякому то есть человеку; на что хочешь можно променять его!.. По-моему, пахота самое, выходит, первое дело! — заключал всегда старик, редко пропускавший случай поговорить о ремесле своем, когда был в ду-

хе, и стараясь при этом выставлять все его выгоды.— Да! пахота всякому ремеслу голова! Какое ни есть руко-месло, уж это все, значит, живешь при нем как словно не в удовольствии: фабриканту ли какому или хозяину работа-ешь, им, примерно, и отвечать должен. Люди-то неравны — вот что! И хорошо сделаешь, всеми силами стараешься, да не угодишь; ну, сердце-то и кипит в тебе, все не в удовольствии... Ну, а с пахотой этого не бывает: сам себе ра-ботаешь, сам себе и отвечаешь: старался — значит, тебе же хорошо; поленился, не родилось ничего — сам, выходит, на себя и пеняй!.. И живешь покойнее, потому, выходит, сер-чать не на кого: весь ты, как есть, во власти господней!»

Анисимыч доказывал на деле, как мало имел пристра-стия к денежному барышу. Когда заводился лишний грош, он спешил принанять лишней земли, употреблял его на по-купку какой-нибудь снасти или на поправку домашней, хо-зяйственной принадлежности. Во всем околотке дети, мо-ложе даже восьми лет, занимались размоткою бумаги и доставали этой работой «на соль», как выражались отцы их. Анисимыч слышать не хотел об этом. Ребятишки его поль-зовались полной свободой бегать по полям и рощам. На четырнадцатом году, однако ж, старший брат Савелья ловко уже управлял сохою и никогда не портил борозды.

XXI

И не расстраивался как-то Анисимыч, несмотря на не-урожайные годы, несмотря на добровольное лишение выгод, которые могли доставить ему фабрики. Соблюдая строгий хозяйственный порядок, живя просто, неприхотливо, он ни в чем никогда не нуждался; он находил даже способ быть запасливым. Часто даже доводилось зажиточным крестьянам занимать у него муку и зерна на посев. В этих случаях, надо заметить, старик оказывался всегда очень «крепким». Человек беспутный, нетрезвый, не выманил бы у него куска льду зимою. Он не давал займы без раз-бора; но когда случалось ссужать соседа, то делал это, никогда не требуя вознаграждения. Благодаря промышлен-ному состоянию края в редкой деревне не сыщешь своего рода ростовщика. Мужик, застигнутый врасплох нуждою, берет у него овес, соль и деньги, с тем чтобы по истечении условного срока отдать в полтора раза больше. У нас, следовательно, простолюдин знаком очень хорошо с процен-

тами. Старому пахарю часто предлагали отдать долг с излишком, лишь бы только смягчить его: он всегда отказывался. Емуставляли на вид, что если б он брал лишки с должников, то в скором бы времени обогатился; но такие речи встречали всякий раз в пахаре самое полное равнодушие: он слушал их, как будто они вовсе не к нему относились. Ответ его был постоянно один и тот же:

— Я денег не даю,— говорил он,— денег у меня нет; я хлеб даю... коли есть; хлеб — дар божий!.. Господь с нас процентов не берет, стало, и нам грех, не приходится... Хлеб — дело святое,— не то что деньги; деньги от человека! он их выдумал, он их и делает...

Анисимыч слыл мастаком во всяком хозяйственном деле. Знание его, соединенное с услужливостью и необыкновенною терпимостью нрава, было причиной, что часто также прибегали к нему с просьбами другого рода. К нему ходили за советом. Встречалась ли соседу надобность купить корову и лошадь, Анисимыч должен был прежде осмотреть животное: приговор старика решал тотчас же дело. Требовалось ли соорудить новую снасть, купить топливо на зиму или лесу на избу, опять обращались к его опытности. Во всем, что касалось полевых работ, Анисимыча слушали, как оракула. Глядя на то, что он делал, делали и другие: он выезжал сеять — вся вотчина сеяла, он не косил — никто не брал косы, хотя бы даже минули петровки.

— Анисимыч рассаду сажать выехал: стало, время! — говорили бабы.

XXII

И точно, лучше старика никто не мог знать о времени жнитва и посева, о свойствах земли и зерен. Более шестидесяти лет прожил он в полях; постепенно, год за год, сроднялся он с почвой. В этом сродстве его с полями было что-то трогательное. Эти три-четыре нивы, которые пахали его отец, дед и прадед, обуславливали всю его жизнь: от них зависело благосостояние детей его и целого семейства; он возлагал на них все свои надежды и всегда с жаркою молитвой поручал их богу. Сколько забот и попечений они ему стоили, сколько тревог и радостей принесли они ему, сколько пота пролил он на них в эти шестьдесят лет своей трудовой жизни!

Но и они как будто понимали его; между ними уста-

новилося как словно тайное сочувствие. «Эх! — скажет. бывало, старик, оглядывая летом свое поле, — вот этот осминничек как славно обманул меня! Мало ли положил я в тебя зерен, — не жалел, кажется! и вспахал лучше быть нельзя! А колос-то жиденский, соломка тощая!.. Обманул ты меня!..» Проходит лето, жатва скошена, уж журавли летят в теплые стороны. Анисимыч снова в поле, снова идет к осминнику, который не оправдал его надежды. Старик крестится, с удвоенным старанием бороздит его вдоль и поперек, раза два лишних боронит и вспахивает, прилаживает лишний камень на борону. «Ну, теперь ладно, надо быть; не надо бы, кажется, теперь обманывать! — скажет он, обтирая рукавом крупные капли пота, — так запахано, комушка нет! как пух земляца! Славная будет постелька для зернышка!..» И в самом деле, на другое лето старик не натешится, глядя на свой осминник, покрытый из края в край частым, высоким стеблем, который плавно колышется на ветру, шумя тяжелыми гроздьями золотого овса. Эти три-четыре нивы были для него целым миром, в котором жил он всеми своими помыслами, всею душою. Мысли его редко переносились за предел зеленеющих межей, окружавших его поле.

XXIII

Но и в этом тесном горизонте научился он многому. Премудрость божия не так же ли бесконечно поразительна в стебле травы, как и в громадных явлениях природы! Довольно было старому пахарю прожить свой век под этим узеньким клочком неба, между этими бедными холмами и рощами, чтобы приобрести опыт и значение, которые составляют мудрость сельского жителя. Не этот ли опыт и знание помогали старику поддерживать благосостояние семьи и тех окружающих, которые хотели слушать его советов?

— А что, Анисимыч, не пора ли овес сеять? — вымолвит сосед, выходя весною за ворота, чтобы погреться на солнце. — Вишь, теплынь какая стала, даже пар от земли пошел!

— Нет, погоди, — скажет старый пахарь, — ходил я нонче в поле, глядел: лист что-то мал на дубках, не совсем еще развернулся, — ждать надо холоду, стало быть; может стать, еще будет и сиверка: овес этого не любит! Сей его, как лист дубовый развернется в заячье ухо: тогда и сей, потому, значит, земля тогда готова, за свой род принялась

У него на все были свои приметы. Они, надо полагать, постоянно оправдывались в продолжение целых шестидесяти лет: он слепо им верил! Раз, помнится мне, всю весну лили непрерывные дожди; земля в полях размокла, как кисель; кругом стали опасаться за корень ярового хлеба. Не унывал один Анисимыч. А между тем ему более, чем всякому, следовало бы тревожиться: поле составляло все его богатство; но он оставался покойным: он утвердительно говорил, что лето будет ведреное и все высушит, все поправит. Другого объяснения не было, как то, что в день апостола Якова (30 апреля) солнце взошло в ясном, безоблачном небе и весь день не видно было ни одной тучки. Старик присоединял к этому еще другую примету: он наблюдал вскрытие реки; река вскрылась рано и дружно, а, по словам его, это служило несомненным знаком благополучного лета. Предсказание его оправдалось как нельзя лучше. Основываясь на приметах, он почти всегда верно угадывал о злой и счастливой судьбе, которая ожидала поселянина в поле. Помня день, когда начал завязываться первый колос, он безошибочно высчитывал, день в день, все периоды произрастания хлеба и всегда верно определял срок жатвы.

— Что ты, Анисимыч, на луг-то уставился? — шутливо замечал сосед. — Лошадей, что ли, высматриваешь?

— Нет, на гусей гляжу.

— А что?

— Да все что-то на одну ногу становятся: надо быть, скоро снежок выпадет!.. Вон также и журавли: вишь, как низко летят. По всему сдается, рано нонче зима станет.

Иной раз радостно ожидал он дружную, теплую весну «Был я нонче в поле, — говорил он, — ни одного грача не видно; а уж давно прилетели! Прямо, значит, на гнезда на свои сели: тепло, значит, чуют, торопятся детей выводить» Стоит иной раз засуха, вся деревня нос повесила; Анисимыч ходит, бывало, всех ободряет. Полагаясь на какую-нибудь примету, он весело поглядывает на нивы, палимые солнцем. «О чем вы? — скажет, бывало, — и дождик, и ветры, и солнце, — все это в руке божией. Он знает, что делает, у него все сосчитано, все дни и весь год уравнен не пропадет зря ни единой капельки во весь год, не колыхнет ветер стебля коли не ко времени. Он знает лучше, что надобно...» В истинно скорбное время, когда солнце спалило хлеб или град скосил дотла созревающую рожь, он никогда

не отчаивался, никогда не падал духом: им овладевало тогда какое-то сосредоточенное, задумчивое спокойствие. «Тут ничем не поможешь,— были всегдашние слова его,— надо бога просить, чтоб на будущее время помиловал...» И снова принимался он с прежней доверенностью делать свои наблюдения.

Одним словом, приметы эти наполняли жизнь его, они управляли каждым его действием: не брался он ни за какое дело, не посоветовавшись сначала с знамениями, которые природа, как нежная мать, заботливо рассыпает по лицу своему в назидание человеку, отдавшему ей свое существование. Не голос ли это божий слышится нам в этих знамениях? не потому ли и жизнь старого пахаря протекла так беззаботно и мирно, что так покорно слушался он этого таинственного голоса?..

XXIV

Нет, как бы сильно ни чувствовали мы природу, она никогда не может говорить нам столько, сколько скажет пахарю. Так уже судьба поставила нас, что между природою и нами нет и быть не может близкой, родственной связи. Мы только мимоходом восхищаемся ее красотами или вдаемся по поводу ее явлений в сухие теории и сухие исследования: в обоих случаях не является ли она перед нами книгой, в которой мы любимся картинками, но не разбираем текста?

Простолюдина мало трогают красоты ее: он не размышляет, как мы, о ее таинствах (размышлять, судить о чем-нибудь — не значит ли отрешать уже себя некоторым образом от обсуждаемого предмета, считать себя если не выше его, то хотя исключением?). Пахарь сродняется с природой от колыбели; он покоряется без размышления ее законам, он живет ее жизнью; его судьба, радости и горести,— все в руках ее. И природа, как будто сознавая детское бессилие пахаря и тронутая его зависимостью, постепенно бросает к ногам своим таинственные свои покровы; она открывает ему грудь свою и знакомит его с собою. Величаво-молчаливая с ними, гордыми мира сего, она говорит пахарю и распускающимся листом, и восходом солнца, говорит ему мерцанием звезд, течением ветра, полетом птиц и тысячею-тысячею других голосов, которые для нас, гордых мира сего, останутся навсегда языком непонятным.

Тому, кого занимали только расчеты по поводу сельского хозяйства и сельской жизни, тому никогда не понять поэзии, которая заключена в этом родстве пахаря с землей и природой. Есть вещи, светлая сторона которых открывается только сердцу. Если находятся люди, которые чувствуют эту поэзию, стало быть, она существует; но почему не предположить, что душе пахаря сознательно доступна хоть одна сторона ее? Человек, который не может ни дать отчета в своих впечатлениях, ни выразить их словами, конечно, кажется беднее одаренным того, кто обладает такими способностями; но следует ли заключать, что он ничего не чувствует? Почему знать, о чем думает пахарь, когда, выйдя в поле на заре ясного весеннего утра, оглядывает он свои нивы? Неужели улыбка на лице его и радость на сердце служат только выражением грубого чувства и уверенности в будущем барыше и выгодах? Отчего же, глядя на нивы свои, не может он принимать и осенний вечер, в который засеивал их, и теплую молитву, с которой поручал их тогда богу, и семейную радость, когда омыло их первым дождиком, и те стократ счастливые дни, когда увидел он, что эти голые поля, поднятые его рукою, начинали покрываться частою, сочною зеленью?.. Что же такое поэзия, если не живое представление мирных минувших радостей?..

XXV

Анисимыч никогда не был ни старостой, ни даже сотским; он, как особенной милости, просил всегда, чтоб избавили его от всякой почетной должности. При всем том его почитали и слушали больше даже, чем начальников, которые избирались миром.

В деревенском быту, несмотря на внешние грубые формы, нравственные качества так же хорошо взвешиваются, как и в образованном сословии; влияние нравственной личности так же здесь заметно и сильно, как и там. Здесь точно так же взвешены права на уважение каждого лица и семейства. В каждом углу рассчитывают поступки каждого, разбирают, кто с кем в родстве, почему лучше отдать дочь замуж в такой-то дом или взять такую-то для сына, и все это не в одном денежном смысле. Общественное мнение господствует над всеми и управляет поступками каждого более, чем думают.

Не было примера, чтобы мирская сходка обходилась без Анисимыча. А между тем он стоял в каком-то исключительном положении, как пахарь в фабричной деревне, не был ни особенно богат, ни силен, ни криклив; но его слушали, и совет его служил всегда последним, решительным приговором. То же самое было во всех крайних, запутанных делах и даже в семейных распрях: что скажет, бывало, старик, то и свято. Мне ясно представляется теперь один случай:

Делились два брата. Всякий, кто жил в деревне, знает, с какими трудностями сопряжены дележи такого рода. Как разделить, например, одну избу между двумя человеками? Не разрубить же ее пополам, в самом деле! Как уравнивать ценность лошади с несколькими овцами или ценность хозяйственных орудий с домашнею утварью? Дележ между двумя братьями не подвигался к концу, несмотря на деятельное участие мира и конторы. «Позвать разве Анисимыча: что он скажет!» — заметил кто-то. Братья и все присутствующие выразили согласие. Послали за стариком, и немного погодя он явился. Сначала он долго отговаривался, говорил, что, что бы ни сказал он, один из братьев все-таки останется не в удовольствии, и проч.; но к нему приступили решительнее и потребовали ответа. «Ну, во имя отца и сына и святого духа!» — сказал он тогда, набожно осеняя себя крестным знамением. (Он объяснил потом движение это тем, что «просил господу помочь ему судить по-божески, по-справедливому, а не по-человеческому».) Затем он решил спор таким образом: все хозяйство и весь скот следовало разделить пополам, как «приобретенное»; но хлеб — дар божий! Бог печется о каждом человеке и посылает хлеба каждому сколько нужно: хлеб надо делить, следовательно, по душам; у одного брата три души, у другого восемь: так последнему больше надо.

Так и сделали.

XXVI

В жизни пахаря, которая протекла так же спокойно и тихо, как песок стеклянных часов, было, однако ж, одно сильное потрясение. На семью его пала рекрутская очередь. Его не предупредили в этом, слова не сказали: думали сделать лучше. Но раз ночью пришли к нему в избу и захватили одного из сыновей его, первого, ко-

торый попался. (Говоря потом об этом, он сказывал, что сердце его в эту минуту сделалось вдруг тяжелым, как пуд, и словно окаменело.) Но случай этот его порази́л так сильно го́лько по своей неожиданности. Придя в себя, старик побежал в контору и просил, чтобы ему самому предоставили выбор детей. На другой день он отвез всех трех сыновей в город.

До сих пор еще многим лицам, присутствовавшим на ставке, памятна сцена, когда после произнесения очередного имени в дверях присутствия явился вдруг седой, шестидесятилетний старик. «Ваше благородие! — сказал он, обращаясь ко всем членам присутствия, — очередь за моею семьею. У меня три сына... пытался — не могу выбрать: все равно дороги!.. Соблаговолите позвать всех трех... выбирайте уж лучше сами!..» В комнату вошли три парня, один краше другого. Двое стали по правую руку отца, один по левую. Старик обнял поочередно всех трех и произнес, положив им сперва руку на голову: «Все милы!.. все дороги!.. все хороши!..» Тут дыхание как бы стеснилось в груди его; он остановился, покачал головою, тяжело вздохнул и вдруг залился слезами. Присутствующие, тронутые его положением, стали его успокаивать. Он попросил позволения кинуть жребий. Вынув из кошелька три медные гроша, он подал их детям, внимательно потом осмотрел каждый грош, положил на каждом знак зубами и велел бросить их в шапку.

«Вам, ваше благородие, — сказал он, обратясь опять ко всем, — вам, я вижу... вы о них также жалеете... прикажите уж лучше позвать какого ни на есть человека... который не видал меня с ними... Пускай уж лучше он жеребий вынет...» Позвали солдата. Старик сказал ему: «Как вынешь жеребий, никому не показывай... мне отдай .» Жребий вынут. Старик взял грош у солдата, отошел к окну, взглянул на него, дрогнул, но тотчас же оправился, перекрестился и возвратился к детям. «Вася. — вымолвил он, обратясь к младшему, — Вася... голубчик мой! подойди ко мне...» Он снова положил ему руку на голову, с минуту глядел на него молча и наконец произнес: «Ты был... да, был ты мне хорошим сыном... завсегда хорош был.. будь же хорошим солдатом царю нашему...» Он обнял его, благословил и, закрыв ладонью лицо, пошел к двери, плача каким-то детским плачем.

КОНЧИНА

XXVII

Припоминая прошлое и стараясь представить себе как можно яснее почтенную личность старого пахаря, я незаметно миновал поле. Я даже удивился, когда увидел себя вместе с Савельем и его женою на скате горы, откуда открывались деревни и окрестность.

Солнце приближалось уже к горизонту. Долина наполнялась тенью; там только, где местность в долине несколько подымалась или где возвышалась роща, выступали яркие пятна света, которые казались тем ослепительнее, что их окружал голубоватый сумрак. Верхушки одиноких дерев, разбросанных кое-где по долине, принимали издали вид золотых островков, плавающих в синем море. Посреди пестрой смеси света и тени особенно сильно освещалась улица; лучи солнца прямо били на один бок ее, превращая в огонь окна избышек; в каждой избе топились как будто печь или пылал костер. Я уже сказал, что с этого ската деревня виднелась как на ладони. Я заметил с первого взгляда, что там происходило необыкновенное оживление: черные точки поминутно перебегали на улицу; длинные тени, бегавшие заодно с людьми, обманчиво усиливали движение.

— Скорей... скорей!.. — вымолвила жена Савелья, не отрывая глаз от деревни.

Она хотела еще что-то прибавить, но выразительно указала вперед рукою и побежала к мосту. Савелий не замечал ни движения жены, ни ее голоса, ни того даже, кажется, что она нас оставила. Голова его была по-прежнему опущена на грудь; глаза, с дрожащими над ними бровями, притупленно смотрели на землю. В задумчивой фигуре его, как словно машинально идущей по дороге, заметно было присутствие одной только мысли, которая отталкивала все, что до нее ни касалось. Он ускорял, однако ж, шаг по мере приближения к цели.

Мы вошли в деревню в ту самую минуту, как в околицу вгоняли стадо. Оно бежало к нам прямо навстречу и еще больше усиливало движение, которое я заметил издали. Бабы, ребята и девчонки поминутно перебегали нам дорогу: их точно держали до сих пор взаперти и вдруг разом всех выпустили. Все стремились к освещенной половине деревни и

направлялись к одной избе, у ворот которой стояла уже порядочная толпа. Рев, блеянье, топот, крики старух, которые загоняли коров и овец, не позволяли мне расслышать говор народа, толпившегося у двери избы; раз только с той стороны слышался мне как будто глухой сдавленный вопль нескольких голосов.

— Савелий! брось лошадей-то! старик умирает! — быстро проговорила какая-то баба и еще быстрее пронеслась мимо.

Савелий постепенно ускорял шаг. Из избы явственно уже теперь приносились вопль, крики и голошенье; когда отворяли дверь, можно даже было разбирать слова и узнавать голоса. В толпе, теснившейся у избы, все горячо и торопливо говорили. Когда мы приблизились к воротам, все смолкли и обратили любопытные глаза на Савелья.

Под навесом ворот жались полдюжины овец и две коровы; в общей суматохе они были забыты хозяевами. Савелий остановил лошадей, сделал шаг, с очевидным намерением отворить ворота, снова вернулся к лошадям, начал было их разнуздывать, но отчаянный вопль, вырвавшийся из избы, отнял, видно, у него последнюю твердость: руки его опустились, он тоскливо замотал головою и пошел к низенькой боковой двери, которая вела в сени. В толпе с особенною какою-то торопливостью дали ему дорогу.

XXVIII

Мне никогда не случалось присутствовать при последних минутах умирающего. Смерть действует особенным страхом, когда дело идет о знакомом человеке. Мимо чувства сожаления, возбуждаемого сознанием вечной разлуки, душа в этих случаях невольно содрогается при мысли, что существо, лежащее теперь бездыханным трупом, вчера еще говорило с вами; я слышал звук его голоса, он и теперь еще явственно как будто раздается в ушах моих; я делил с ним мысли и чувства, видел, что жизнь наполняла его до тончайшей фибры,— и вдруг все это смолкло, остановилось, кончилось навсегда и никогда, никогда больше не возобновится! Жутко...

Я окончательно смутился, войдя в сени, битком набитые плачущим народом. Посреди протяжных причитаний выходил иногда вопль, который как ножом надрезывал сердце. В избе было еще теснее: не было решительно возможности

подвигаться вперед. Бабы, с грудными младенцами на руках, стояли даже на лавках; печь и полаты усеяны были головами, все жались и тискались. Вопль был так силен, что с трудом можно было заставить понять себя, говоря громко на ухо. В толпе то и дело попадались распахнувшие, красные лица, с зажмуренными глазами и раскрытыми ртами, из которых вырывались пронзительные крики. Большая часть баб стояла крепко обнявшись: положив голову на плечо друг дружке, они мерно раскачивались под такт унылого, размеренного голошенья.

Мне тогда не был еще знаком обычай нашего народа спешить наполнить избу умирающего и выразить скорбными возгласами то уважение, которое имели к нему при жизни. В первую минуту, признаюсь, мною овладела даже досада «Чего им здесь надо,— подумал я,— чего они не видали? Человек не успел умереть, и вот все набились в избу и кричат во все голоса, что он умрет! Ему и без того, быть может, тяжело расстаться с жизнью, а они не перестают напоминать ему о прожитом счастье, об осиротелом семействе!» Но почти в ту же секунду мне пришла следующая мысль: поспешность эта выразить свое отчаяние,— поспешность, часто преждевременная и с первого взгляда возмутительная, не показывает ли, как мало вообще народ избалован надеждой? Он не привык обманывать себя успокоительными мечтаниями: он отдается своему горю без размышления, и не потому ли кажется оно ему неизбежным. Я окончательно примирился с воплем, раздававшимся подле умирающего, когда вспомнил, сколько было у него близких и родственников: они, конечно, не могли достаточно оплакивать его кончину.

До сих пор, сколько я ни старался пробраться вперед, передо мной мелькали только головы и впереди виднелся темный угол избы, в котором тускло мерцало пламя желтой восковой свечи, прилепленной к образу. Прежде всего я различил колени умирающего. Меня с ног до головы обдало холодом: сам не знаю отчего, но мне не так тяжело было увидеть его самого, как увидеть эти недвижные, выступающие острым углом колени. В ногах пахаря сидела жена его, древняя старуха, как и он сам. Обняв руками шею двух замужних дочерей, которые рыдали, как безумные, она бессильно свешивала голову то к одной на плечо, то к другой. Платок, покрывавший ей голову, бросал густую тень на лицо ее; изредка слабый стон вырывался из

впалой груди старушки. Она сама как будто умирала. Подле стоял старший сын, такой же видный мужчина, как Савелий, но только смуглее его. Прислонясь правым локтем в стену, закрыв правою ладонью лицо, он был недвижим, и только тяжкие вздохи приподымали могучую грудь его. По другую сторону находился Савелий. Он стоял на коленях; кудрявая голова его лежала на обнаженной руке, вытянутой вдоль соседней лавки. Все убивались над стариком, как над бесчувственным трупом покойника; а между тем предмет их скорби боролся еще с жизнью; глаза его были закрыты, но грудь время от времени высоко еще подымалась.

XXIX

Он лежал под образами, на лавке, устланной соломой. Голова его покоилась на снопе овса. Длинные серебристые волосы старика не раскидывались в беспорядке, как у человека, который судорожно, отчаянно борется со смертью: они спускались мягкими волнистыми прядями вдоль худощавых щек, покрытых мелкими складками и тем смуглым, черствым отливом, который накладывает жизнь, проведенная на воздухе во всякое время года: в холод, зной, дождь и ветер.

Я стоял в двух шагах и мог различить мельчайшие черты почтенного лица его. Оно поражало своим контрастом с лицами, меня окружавшими: сколько истинной, неподдельной скорби и безотрадного отчаяния виднелось на последних, столько же спокойствия написано было в чертах умирающего старца; нет, никогда потом, нигде и никогда не встречал я такого тихого, такого кроткого выражения! Ясно между тем видно было, что смерть не отняла еще у него полного сознания: мысль как бы просвечивала сквозь закрытые веки его и озаряла черты его; он должен был слышать все, что вокруг происходило: слышал вопли родных, слышал страшные слова прощанья, слышал раздиравшие сердца возгласы двух дочерей, умолявших его не покидать их, пожить еще с ними: слышал глухой плач Савелья и горькие всхлипывания старшего сына; но мысль, оживлявшая черты его, не принадлежала уже, видно, окружавшему его миру. Ни одна морщинка не показывала душевной, внутренней тоски. Он как будто засыпал в поле после трудового утра и, отходя постепенно ко сну,

сладко прислушивался к пению жаворонков, которые заливались в вышине небесной...

«Так вот смерть!» — думал я, пристально всматриваясь в лицо его. Я видел смерть в первый раз; но мне страшнее было слушать вопли, страшнее был вид живых лиц, обезображенных отчаянием, чем вид самой смерти. Страшный, ужасающий образ, который представлялся моему воображению всякий раз, когда я думал прежде о смерти, исчезал постепенно, по мере того как я всматривался в кроткое, покойное лицо пахаря. Мне стало казаться, что в том трепетном мерцании, которое разливала свечка над изголовьем умирающего, стоит не страшный, ужасающий образ, — нет! но ясно улыбающийся ангел, который ласково простирал вперед руки и тихо двигал белыми лучезарными крылами...

XXX

В одну из тех минут, как я напрягал зрение, чтобы уловить на лице пахаря отражение окружающей его скорби, в дальней части избы неожиданно стихли вопли. Послышалась давка, и несколько женских голосов прокричало: «Пропустите, касатки! пропустите дедушку Карпа... дайте пройти! проститься хочет!..» Я посторонился вместе с другими и дал место седому, низенькому старичку.

Это был родной брат пахаря. Хотя между летами того и другого считался только год разницы, но Карп смотрел уже совершенной развалиной. Он давно оставил полевую работу, перемогался со дня на день и в последнее время проводил жизнь на печке, изредка выходя на завалинку, чтобы погреться на солнце. Крошечное лицо его изрыто было морщинами; каждый трудовой день провел как словно на нем черту свою. Ноги его дрожали; руки тряслись; голова, на которой оставались по бокам редкие клочки волос, ходила из стороны в сторону. Он, очевидно, дрожал не от волнения, но от дряхлости. В тусклых глазах, устремленных на брата, не было пока заметно замешательства. Он подошел ближе, медленно перекрестился и сказал.

— Эх, Иван, Иван! чаял я, поживешь еще с нами.. Рано, Иван, ты нас покидаешь!

Страшный вопль двух дочерей умирающего перебил старика. Они неожиданно оторвались от матери, которая бессильно опустилась мужу на ноги, и бросились обнимать отца Савелий и старший брат его громко зарыдали. Тихая

мысль, освещавшая лицо умирающего, стала как бы потухать. В чертах его, дышавших спокойствием, изобразилось вдруг тяжелое томление. Голоса родных точно в первый раз нашли дорогу в его сердце и возвратили его на минуту к действительному миру. Глаза его остались, однако ж, закрытыми, и грудь по-прежнему подымалась ровно и медленно.

— Бабы... полно вам!.. — проговорил Карп, притрагиваясь к племянницам, — Савелий, Петр, вы бы их удержали!.. ему и без того жаль с вами расставаться... пуще во всем-то душу мутят... оставили бы... будет еще время убиваться-то!..

Петр и Савелий подняли сестер и отошли к ногам отца. Лицо умирающего постепенно вытягивалось и принимало грустное выражение. Грудь его приподымалась теперь едва заметно.

— Эх, брат Иван, — произнес неожиданно Карп, и, я заметил, голос старика задрожал сильнее, — в какое время ты нас покидаешь!.. Встань, Иван!.. Погляди-ка поди, весна на дворе; наши ведь все пахать поехали...

При этом каждая черта умирающего наполнилась вдруг выражением страшной тоски. Веки его, начинавшие уже углубляться, дрогнули, слегка раскрылись в углах и пропустили две крупные слезы. Они медленно потекли по морщинам и видимо, казалось, застывали на холодевших щеках его...

Светлые струи ручья многие годы оживляли долину. Тихо журчали они, отражая и небо, и зелень, и мирные окрестные виды; но время открыло скважину в русле; ручей заметно мельчает; тускней и тускней делается его поверхность, и наконец он вовсе пропадает, оставив темное, земляное дно, в котором не блеснет уже никогда луч солнца!

Так и жизнь, невидимым путем своим, покидала старого пахаря. Грудь его подымалась все реже и реже; мертвенная бледность покрывала черты его. До сих пор душа все еще как бы носилась над чертою, разделяющею земную жизнь от загробной. Она тревожно, хотя постепенно слабее и слабее, прислушивалась к воплям и крикам; но вот стала она переходить роковую черту...

Лицо старца снова стало приобретать спокойствие и ясность, и, казалось мне, в трепетном мерцании, разливавшемся над изголовьем пахаря, снова являлся улыбаю-

щийся ангел, который ласково простирал к нему руки и тихо двигал белыми лучезарными крыльями...

XXXI

Прошло два дня. Я шел уже отдавать последний долг пахарю.

Не помню, чтобы было когда-нибудь такое тихое, такое ясное утро. Ни одна тучка не омрачала неба. Какой-то мягкий, янтарный блеск разливался по всей окрестности, и не было, казалось, такого затаенного уголка, куда бы не проникал луч солнца; а между тем ранний час утра поддерживал прохладу в воздухе и сообщал свежесть полям, холмам и рощам. Роса сверкала повсюду. Листья были недвижны. Изредка под тем или другим деревом раздавался шорох и слышалось, как била по листьям катившаяся капля росы. Но как звонко зато распевали птицы, каким жужжаньем, писком и чиликаньем наполнялся недвижный воздух! Все, что имело только крылья, собралось как словно праздновать в это утро. Кузнечики, как искры, сыпались под ногами, и жаворонки неумолкаемо заливались по обеим сторонам дороги, которая вела из дома в деревню.

Но зрелище, ожидавшее меня там, сильно противоречило веселой, улыбающейся картине утра. Я вошел в деревню, когда совершался вынос. Я увидел густую толпу народа и над нею, несколько дальше, белую верхушку гроба, которая сияла на солнце и медленно раскачивалась из стороны в сторону, как бы посылая прощальные поклоны избам и зеленеющим нивам. Погребальное шествие, сопровождаемое толпою и подводами, скрип которых заглушался рыданиями сидевших в них баб, стало опускаться к лугу. На нем изгибалась дорога, которая вела к приходу.

Достигнув точки, где начинался скат к лугу, я встретился с одним из самых древних стариков деревни. У него, как видно, не достало сил идти дальше за гробом; он провожал его глазами и крестил.

— Прощай, Анисимыч! Прощай... Скоро все там будем! — сказал он, махнул рукою и медленно побрел к избам.

Прежде чем подняться в гору, скрывавшую приходское село, погребальное шествие остановилось. На этом месте, по обеим сторонам дороги, кругом покрытой мелким кустарником, возвышаются два столетние тополя: они обозначают наши границы с соседскими землями. Здесь обык-

новенно в последний раз прощаются с покойниками. Вопль и голошение, заглушаемые говором, раздались сильнее. Народ тесно жался вокруг гроба, опущенного на землю. Каждый хотел проститься с пахарем.

Я подошел ближе. Но мне не удалось уже видеть почтенное лицо старца: оно было закрыто; наружу выставлялись одни смуглые, загоревшие руки его. Каждый из присутствовавших подходил к гробу, кланялся в землю и целовал эти смуглые честные пальцы, которые, в продолжение семидесяти лет, складывались только для труда и для крестного знамения. Наконец обряд прощанья кончился. Гроб, приподнятый на плечи носильщиков, снова озарился солнцем. Родственники, истомленные продолжительными слезами и скорбью, усажены были на подводы.

Мы стали подыматься в гору, постепенно удаляясь от толпы, которая стояла у тополей и провожала нас глазами до тех пор, пока гроб совершенно не скрылся из виду.

XXXII

К полудню я возвращался один по той же дороге. Окрестность так же радостно сияла; птицы так же весело пели. Но веселость, царствующая иногда в природе, тем именно и разнится от веселости города, что она не отуманивает головы, не развлекает мыслей. Напротив, ясность, вас окружающая, как бы передается вашей душе и вашим мыслям.

Когда я пошел к двум тополям, свидетелям прощального обряда, там давно уже никого не было. Под листьями, палимыми солнцем, жужжали только насекомые; луга, холмы и рощи погружены были в сонливое молчание жаркого майского полудня. Пройдя еще несколько шагов, я увидел в кустах, растущих вправо от дороги, пук соломы и на нем черепки глиняной кубышки. То были последние вещественные предметы, которые напоминали усопшего. Клок соломы служил ему последним ложем; из кубышки черпали воду, которою обмывали его похолодевшее тело.

Я не знаю, что лежит в основании обычая оставлять эти предметы на дороге, по которой в последний раз проносили покойника; в обычае этом есть, однако ж, что-то трогательное... Грустно настроенный посреди сияющей природы, я долго стоял под тополями.

«Вот,— думал я, глядя на черепки и солому (эти послед-

ние и уже точно ничтожные, бранные памятники столь долгой жизни), — вот и месяца даже не переживут они: ветер разнесет солому, прохожий растопчет черепки, и никакого даже видимого следа не останется от старого пахаря!..»

Но что до этого! Стоит ли думать об этих бранных, вещественных, грубых напоминаниях! Не оставил ли пахарь другого, более прочного воспоминания!.. Существует еще что-то лучше памяти, основанной только на вещественных знаках. Есть память другого рода: она основана на душевных свойствах, на нравственных заслугах оплакиваемого человека. Такая память — высшая поэзия нашего нравственного мира, — и старый пахарь вполне ее заслужил. Кроткий, смиренный образ его — оболочка души прекрасной и чистой — останется, навсегда останется окруженный любовью и уважением тех, кто знал его, жил с ним и умел понимать его. Не лучшая ли это награда и не самый ли это яркий, прочный след, который можно после себя оставить?..

Да, старый пахарь, несмотря на то что жизнь его казалась нам, гордым мира сего, такою ничтожною и мелкою, старый пахарь заслуживал такую память! Благочестивая жизнь его прошла в труде непрерывном, неусыпном. Он, пока жил, сделал все, что мог, и сделал все, что должен был сделать! Нет нужды и не место разбирать здесь его общественное положение, смиренную сферу его деятельности и скромные результаты этой деятельности. Нравственный смысл нашего рассказа исключает понятие о личности: здесь дело идет собственно о «человеке». Целью нашей было сказать, что с точки зрения высоконравственного смысла тот только «человек», кто в сфере, предназначенной ему судьбою, недаром жил на свете, кто честно и свято исполнял свои обязанности, кто сохранил чистоту души, про которого можно сказать без лести и пристрастия, что он сделал все, что мог и что должен был сделать!

Пускай же истлевают солома, служившая старцу последним ложем, пускай глиняные эти черепки превращаются в прах, как и кости его: из памяти моей, как из памяти всех смиренных людей, которым он сам, не подозревая того, служил советом, образцом и примером, — долго не изгладится честная личность старого пахаря!

В ОЖИДАНИИ ПАРОМА

Рассказ

Кого хоть раз в жизни не застигали на наших дорогах продолжительное ненастье, весенняя распутица или позднее осеннее время, тому, может быть, лишнее описывать все, что претерпевает в таких случаях путешественник. Достаточно сказать, что курная изба, со всею ее грязью, вонью и духотою, приветствуется тогда с величайшею радостью.

На мою долю выпали и грязь, и ненастье. Апрель стоял на половине; зимний путь прекратился; но ехать пока еще можно было; почва благодаря возвратившимся морозам и постоянному холодному ветру держалась довольно твердо. Вдруг ветер повернул с юга; по прошествии какого-нибудь часа небо покрылось тучами, и частый, теплый дождь зашумел со всех сторон. Воздух сделался так мягок, что земля видимо почти распускалась; низменные места дороги и колеи наливались водою; в ровных местах было еще хуже: глина навивалась на колеса целыми ворохами и мешала двигаться. Я торопил, однако ж, ямщика. Нам предстоял переезд через Оку. Принимая в соображение время и погоду, мы легко могли засесть на этом берегу, в случае, если замешкаем. До перевоза осталось верст шестнадцать,—сухая безделица, кажется! По железной дороге проехать такое пространство — полчаса, по шоссе — час, много полтора; но надо заметить, мы пробирались так называемым большим почтовым трактом; как все пути такого рода, дорога наша отличалась от полей кое-где торчавшими по сторонам ветелками. Тут уже нет возможности расчислить время, соображаясь с числом верст; можете благополучно проехать от станции до станции; можете также просидеть в какой-нибудь котловине и всего чаще под каким-нибудь мостом целые сутки.

Мы едва тащились. Время от времени попадались подводы с мукою, которые безнадежно бились посреди дороги; мы подсобляли им карабкаться и продолжали путь, чтобы полверсты далее засесть, в свою очередь, и ждать, пока не выручат оставшиеся позади и только что нами же вырученные люди. В таком обмене услуг заключались, можно сказать, путевые впечатления и развлечения.

Гладкая, пустынная, как степь, местность убегала во все стороны; всюду мелькала темная, взбудораженная почва, по которой хлестал ливень; встречались сломанные оси, чахлые ветлы и стаи галок, которые, как бы в контраст грустной неподвижности всего остального, проносились стрелою над нашими головами. Не помню, чтобы было когда-нибудь так печально на земле и на небе! Весеннее время года перемежается в средней полосе России периодами, где решительно не разберешь, что происходит в природе; признаки весны исчезают совершенно; кажется, скорее наступила суровая, опустошительная осень; птицы, прилетевшие при первом теплом ветре, бог весть куда все попрячутся; серый туман застилает окрестность; отчаянная глушь воцаряется всюду; обнаженные деревья, обливаемые дождем и колеблемые ветром, уныло гудят, дополняя тоску, которая сама собою вливается в душу...

Был уже час восьмой вечера, когда сквозь частую сеть дождя и начинающиеся сумерки блеснул в отдалении один из поворотов Оки. Но прежде чем попасть на перевоз, следовало проехать длинную-длинную деревню, раскинутую по низменному берегу. Улица буквально запружена была лошадьми, подводами и народом, ждавшим очереди. Нечего было думать ехать далее; надо было остановиться при самом въезде в деревню.

— Где паром, на той или на этой стороне? — спросил я, как только выравнялся с ближайшими возами.

— Паром ушел... — отозвалось несколько голосов.

— Давно ли?

— С утра ушел!

— Как с утра?..

— С утра... Канат порвался у парома... он и ушел...

Дождь промочил во многих местах мое платье, и я продрог до костей; но при этом известии меня в жар кинуло. Кроме того, что я спешил достигнуть цели своей поездки, мне слишком хорошо было известно, что значит дожидаться восстановления порядка, когда наблюдения за порядком,

передаваясь от одного лица к другому, переходят наконец к мелким властям, а мелкие власти, после дружеского объяснения с содержателем перевоза, предоставляют последнему полную свободу действовать и распоряжаться по своему произволу.

Я решился оставить лошадей, взять чемодан и попытаться переехать на лодке. С такою мыслью направился я к реке. С каждым шагом вперед труднее было двигаться. Улица, окутанная уже полумраком, представляла совершенную кашу из подвод, людей и лошадей; все это располагалось зря, без всякого порядка, тискалось и сбивалось, уходя в грязь по колено и по ступицу; иная телега стояла прямо, другая поперек; в одном месте голова лошади упиралась в воз, в другом — задние ноги животного тесно жались к соседним колесам; трудно было понять, как все это могло устояться таким образом; но еще труднее было понять, как все это разъедется, как отцепится одна ось от другой, как двинутся колеса без того, чтобы не переломать ноги бедным клячам. Нескончаемый этот лабиринт неожиданно прерывался гуртом волов, которые неподвижно лежали под дождем и смутно обозначались в седом паре, клубившемся над ними. На самом берегу, у спуска к косогору, стояли толпы народа. Крики, говор и шлепанье по грязи — все это мешалось с грохотом реки, шумевшей от падавшего на нее дождя, с плеском волн. Не было возможности разобрать целой речи; посреди говора ясно только слышалось: «куда лезешь! народ! начальство не позволяет!.. слышь: начальство!..» Слова эти, произносимые с сильным малороссийским акцентом, принадлежали сухопарому, рябому инвалиду очень мирного вида, который тут и там появлялся с тоненькою хворостинкой в руке. Этот же самый инвалид на вопрос мой: можно ли проехать в лодке? — отвечал, что это никак невозможно, что лодка была привязана к парому, и ее унесло вместе с ним; а что вот как придет паром, тогда, пожалуй, можно и на лодке переехать...

Скрепив сердце, я отправился назад искать ночлега.

Сколько ни странствуйте по нашим дорогам, сколько ни испытывайте всякого рода дорожных бедствий, при каждой новой поездке вам непременно встретится новый, еще не изведанный случай. Мне, по крайней мере, ни разу не приводилось быть жертвой порванного каната, хотя я много раз слышал о подобных случаях. Этот канат не выходил

у меня из головы. «Отчего бы ему оборваться?..— рассуждал я мысленно.— Отчего могло произойти все это?.. надо думать, вот как было: конторщик или управитель какого-нибудь помещика купил дешевенькие семена коноп-ли (в расходной книге выставлены были, разумеется, семена первейшего сорта и самые дорогие): уродилась плохая конопель, из нее вышла плохая пакля; управитель или конторщик ловко подсунул ее купцу-поставщику, который, в свою очередь, ловко подсунул ее канатному фабриканту. Фабрикант начал вить из нее особенного рода дешевенькие канаты, предназначенные на продажу лицам, не больно сведущим в деле веревочного производства. Содержатель парома был не настолько дурак, чтобы покупать дорогой канат, когда под руками находится дешевый. Авось сдержит! — думал он, не видя даже лично для себя никакой потери, в случае, если и не сдержит; народу, съезжающему к его перевозу, все равно деваться больше ведь некуда,— хочешь не хочешь, переезжай здесь, а не в другом месте; ближе сорока верст в обе стороны нет парома: потери, следовательно, никакой нет для содержателя перевоза; бояться ему также нечего после предварительного переговора с мелкими властями». Восходя таким образом к источнику беспорядка, я мысленно говорил: «но отчего же, наконец, такая круговая порука взаимного надувательства и недобросовестности?.. Отчего же все это?.. Отчего?..»

Совсем уже стемнело и в окнах зажигались огни, когда я возвратился к своему ямщику. Мы направились к ближайшей избе. Но так уже суждено было, чтобы в этот день испытывать одни неудачи: в избе скопилась целая орда, не оставалось свободного уголка. Нас отправили в избу насупротив, уверяя, что там найдем много свободного места; изба принадлежала бурмистру; он держал горницу и пускал одних купцов и помещиков.

На этот раз действительность далеко даже превзошла ожидания. У бурмистра нашел я трех человек; с первых слов оказалось, что то были проезжие помещики, претерпевавшие одинаковую со мною участь. Все трое сидели вокруг стола, уснащенного стаканами и блюдечками; тут же возносился самовар, шипевший самым привлекательным образом. Минут через десять, переодетый и обогретый, сидел я между ними со стаканом чая, радушно предложенным мне соседом, человеком средних лет, весьма симпатической наружности, закутанным в коричневое пальто,

повязанным черным галстуком, пропускавшим белые и тонкие воротнички рубашки. Второй сосед был миниатюрный, худенький, но живой и веселый господин с крошечным белокурым лицом, отличавшимся необыкновенною подвижностью. Третий представлял из себя толстяка лет шестидесяти с шарообразною седоватою головою, серыми глазами навыкате и коротенькой шеей; он сидел без галстука, в халате и туфлях, покуривая из коротенького чубука, залепленного сургучом,— обстоятельство, заставлявшее его поддерживать свободною рукою живот, который, от чрезмерного сотрясения туловища, приходил всякий раз в сильное колебание. По-видимому, ему тесно было даже в халате; он ехал, видно, на своих: под ногами его стоял тяжеловесный поставец, а шагах в двух подымалась широкая, пышно взбитая перина с ситцевым одеялом и подушками.

В промежуток этих десяти минут, как я вошел в избу, он слова не промолвил; во все время сохранял он какой-то неловкий, сконфуженный вид, пыхтел и краснел, бросая, особенно на меня, недоверчивые, косые взгляды; компания, очевидно, стесняла его. Первым поводом к беседе послужил, разумеется, беспорядок, которому обязаны мы были нашим столкновением.

— Мошенники! — неожиданно пробурчал толстяк, к совершенному удовольствию маленького живого господина, который, казалось, только и ждал, чтобы разразиться смехом.

Замечание толстяка произнесено было таким мрачным, таким недовольно-комическим тоном, что действительно трудно было удержаться.

— Чего вы смеетесь? Конечно, мошенники! — повторил он, дико поглядывая на весельчака.

— Еще бы не мошенники!.. Разве я заступаюсь? — возразил тот, продолжая надрываться.— Впрочем, нам с вами нечего много жаловаться,— подхватил он преднамеренным каким-то тоном и как бы желая подразнить старика.— Нам с вами грех роптать; одно разве: домой позже приедем! Что ж касается до всего остального — мы здесь блаженствуем,— именно блаженствуем! Видите: сидим в теплой избе, пьем чай... ваш человек даже вам перину послал. Чего же еще?.. Нет, скажите-ка лучше, каково-то теперь бедному мужичонку, что стоит на улице, вот что! Каково этому мужичонку, который не только не пьет чаю теперь и не уснет на перине, но которому нечем даже за ночлег

отдать, чтобы от дождя спрятаться? Скажите-ка лучше, — ему каково?.. Вот, — добавил маленький господин, живо обратясь ко мне и насмешливо прищуривая глазки по направлению к толстяку, — вот они говорили нам, что все это ровнёхонько ничего не значит, что мужик привык ко всему этому...

— Разумеется, привык! — произнес толстяк, нахмуривая брови и как-то боком пятясь на своем стуле.

— Ну, а как вы думаете, — заговорил в свою очередь господин в коричневом пальто, холодно поглядывая на толстяка, — думаете ли вы, что этот мужик, у которого, по вашему мнению, кожа должна быть дубовая, привык ли он, например, платить за хлеб для себя собственно и за овес и сено для своей лошади, привык ли он платить втридорога против того, что в самом деле стоит овес, сено и хлеб? Не думаю, чтоб это было ему нипочем!.. А между тем, могу вас уверить, весь этот народ, который вы видели здесь на улице, находится в таком положении! — присовокупил он, переменяя голос и обратясь ко мне. — Я сам спрашивал: тут есть бедняки, которые уже третьи сутки дожидаются; известно: человеку надо есть, надо, чтоб и лошадь сыта была; как же не воспользоваться таким случаем? ломи с него за все втридорога! Таких случаев, как тот, которому обязаны мы нашей встречей, только и ждут обыватели приречных деревень! Надо было видеть, что происходило в этой самой деревне (и нет причин, чтобы в других не было того же самого) во время половодья, недели две назад; я давно привык ко всему этому, но, признаюсь, последний раз пришел в ужас: подвод съехалось, я думаю, больше, чем теперь; большая часть возвращалась из Москвы после обоза; Ока восемь дён стояла в разливе, восемь дён не было возможности попасть на ту сторону! Хлеба, сами, полагаю, знаете, весною остается уже немного: у другого, если семья большая, в феврале уже весь вышел; об овсе и сене говорить нечего! И наконец, не напасешься всего этого дней на десять, которые необходимы для переезда из деревни в Москву и обратно. Вот тут-то поглядели бы вы, что здесь происходило: кто продавал одежду для того, чтобы прокормиться, — а время, надо заметить, было самое холодное и дождливое, — кто продавал лошадь, чтобы не дать ей издохнуть с голоду, кто сани сбывал.. Все эти предметы отдавались, разумеется, за самую безделицу; проезжающий находился в руках обывателей, кото-

рые, нимало не стесняясь совестью, просто грабили! Я вам говорю: такая картина, что не приведи бог во второй раз видеть!.. а придется, непременно придется, потому что я каждую весну и осень проезжаю по этой дороге...

Разговор, к которому тотчас же пристал маленький живой господин, завязался на эту тему. Мы совсем почти забыли толстяка; он, впрочем, молчал; казалось, он недоволен был предметом беседы. Переходя от одного вопроса к другому, мы невольно коснулись быта народа и нравственных его свойств. Мнения были очень различны; мы вообще так мало обращаем внимания на народ, так мало знаем его, что иначе быть не могло; перебрав хорошие качества нашего простолюдина, мы пришли к его недостаткам; тут мнения еще резче стали отличаться одно от другого. Одно более всего возмущала жадность к барышу, часто даже заглушающая совесть и религиозное чувство; другой нападал на отсутствие крепкого нравственного начала, на малодушие и бесхарактерность; маленький господин с жаром обвинял мужика в лени, которую часто даже прикладывает он к личным своим интересам. Хотя маленький господин, очевидно, увлекался собственными словами и чересчур горячился, суждения его показывали человека, не лишённого наблюдательности и много обращавшегося с народом. По мере того как говорил он, толстяк заметно делался внимательнее, он начал даже поддакивать, утвердительно потряхивал головою и время от времени бросал на меня и моего соседа торжествующие взгляды. Слово за словом, речь коснулась той роли, которую играют страсти в душе простолюдина.

— Я имею основание думать, что страсти вообще, то есть как бы благородные, так и неблагородные, одинаково свойственны всякому человеческому роду без различия состояний...— сказал собеседник в коричневом пальто,— на мои глаза (думаю, и на ваши точно так же), не существует между людьми другой разницы, как та, которую дают бóльшая и меньшая степень развития и образования; но в деле страстей, мне, по крайней мере, так кажется, образование и развитие не имеют большого значения; они помогают только страсти иначе выразиться, смягчают форму; действие страсти, сущность нравственного процесса остается все та же...

Такое мнение не встретило возражения ни с моей стороны, ни со стороны маленького господина. Казалось,

это удивило толстяка; до настоящей минуты он не переставал моргать нам обоим с видом взаимного соучастия, как бы ожидая, что вот-вот оба мы разразимся смехом; обманутый в своих ожиданиях, он раздул губы и отвернулся с видом пренебрежения, как будто хотел сказать: «Ну, опять запороли чепуху!..»

— Мне известно из самых верных источников, — продолжал между тем господин, начавший разговор, — знаю верно, что в наших тюрьмах, например, на три тысячи преступников средним числом находится около восьмисот таких, которых страсти, я разумею сердечные страсти, довели до преступления; такая пропорция что-нибудь доказывает в пользу нашего общего мнения! Я убежден в этом. Постоянно живу в деревне, постоянно наблюдаю; всего насмотрелся. Не далее как прошлую осенью был у меня случай с одним из этих вялых и апатичных, как вы их называете... Пожалуй, я расскажу вам, если не скучно...

Я и маленький сосед мой выразили готовность слушать. Толстяк ничего не сказал; он явно предубежден был против рассказчика; щетинистые брови его выпрямились, однако ж, и пухлое лицо повернулось в нашу сторону. Господин в коричневом пальто обрезал сигару, налил новый стакан чаю и начал таким образом:

— Я заметил, кажется, что происшествие, о котором пойдет речь, случилось осенью; но осенью оно, собственно, только кончилось; началось гораздо раньше, — весною прошлого года. Верстах во ста отсюда, за Окою, находится у меня деревушка, вернее, выселки из другой деревни, где я провожу обыкновенно лето; выселки от меня версты две; народ на оброке; но ни расстояние, ни оброчное положение не мешают мне знать очень хорошо, что там делается. Надо вам сказать, я сам занимаюсь своим хозяйством; это не весело, если хотите; куда как не весело! но я делаю это из убеждения; действуя таким образом, мне кажется, я исполняю свой долг, — это раз; и, наконец, я приношу этим действительную, существенную пользу моим крестьянам, такую пользу, какую не мог бы принести самый лучший, добросовестный управитель...

— Уж это точно! — вымолвил толстяк с уверенностью, — эти управители — все мошенники; кругом тебя обворуют

— Совершенно справедливо! — произнес рассказчик, посылая ему самый серьезный поклон, — вы угадали мою

мысль! Но все это, господа, дело постороннее; я коснулся всего этого с тою только целью, чтобы понятнее было, каким образом мог я изведать подробности моего рассказа. Итак, я знал более или менее всех выселовских мужиков. В числе их был один, который особенно всегда возбуждал мое любопытство; это потому, может быть, что я знал его менее других. Такого рода личность легко, впрочем, могла ускользнуть от самого наблюдательного глаза; в жизнь мою не видал я человека более бесцветного: не было ни наружной черты, ни факта из жизни, которые могли бы служить для пояснения его характера. Представьте себе жидкую, в высшей степени разварную фигуру, с подслеповатым белокурым лицом, усыпанным веснушками, длинною головою, странно как-то приплюснутою на лбу,—головою, которая держалась всегда на сторону и сонливо клонилась к земле. Глядя издали, вы бы непременно сказали: «над чем так крепко задумался этот мужичок? верно, пришибло его каким-нибудь горем»... Вблизи оказывалось, что как в глазах его, так и во всех чертах царствовало полнейшее отсутствие жизни и даже мысли. Непомерная апатия и вялость еще резче проявлялись, когда он ходил или принимался дело делать: длинные руки болтались словно сами собою; ноги, несмотря на худобу, тяжело передвигались, подгибались в коленях, переплетались как у пьяного; он не пил, однако ж, капли в рот не брал,—не на что было. Присоедините к этому страшную неряшливость; она как бы дополняла жалкий вид наружности. Не помню, чтобы явился он когда-нибудь без прорехи или зацепины; в одежде его непременно чего-нибудь да недоставало: или меховой обшивки вокруг шапки, или веревочки на одном лапте, или целого плеча на полушубке; и сколько бы ни пропекало его морозом в прорванное место — он на другой день выходил с тою же прорехой, как и накануне. Та же самая распушенность была и в домашнем быту его, и в хозяйстве, и в поле; у других, например, озими или яровое бархатом стелется; у него, смотришь, на десятине те же прорехи, что на рубахе; везде плешины; где густо, где нет ничего... И между тем не было возможности взыскивать с него, заставить его быть расторопнее, деятельнее,—заставить, чтобы дело шло иначе...

На этом месте рассказа хрипенье толстяка перешло в удушье, и он начал высказывать сильнейшие знаки нетерпения.

— Вам, кажется, угодно что-то сказать?..— обратился к нему рассказчик.

— Что уж тут говорить! — комически-безнадежным тоном промолвил толстяк, — а вот я вам скажу, подхватил он с сердцем, — посечь бы его хорошенько, этого мужика, — так ничего бы этого не было... отличный был бы мужик.

— Вот оно что значит настоящий-то хозяин! — воскликнул весельчак, стараясь сохранить серьезный и даже почтительный вид, — вашу руку, милостивый государь, вашу руку! я всегда питал искреннее, глубочайшее уважение к практическим людям; всегда! — заключил он, потрясая жирную руку толстяка, который, по-видимому, недоумевал, как принять все это: за настоящую ли монету или за насмешку.

— Теперь, — довершил веселый господин, обратившись к рассказчику, — позвольте просить вас продолжать: вы сказали, что нельзя было прицепиться к этому мужику...

— Я, по крайней мере, не мог этого сделать, — подхватил рассказчик, — духу не доставало. Он решительно хоть кого бы, впрочем, обезоружил своею кротостью. Иной раз идешь мимо его поля, невольно возьмет досада: так бы вот, кажется, и разругал его и тотчас же заставил переделывать, перепахать; но при виде несчастной этой фигуры, покрытой заплатами, при виде этого смиренного лица, опущенного к земле, только отвернешься да пройдешь поскорее мимо. Вся эта распушенность слишком уже очевидно происходила скорее от внутреннего бессилия, от врожденной, свойственной его природе лености и апатии, чем от преднамеренности, лености или вообще порочного какого-нибудь свойства.

Им, наконец, и без того уже много помыкали. Если безответные, кроткие люди играют жалкую роль в образованном обществе, можете судить, в какое положение ставят такие свойства в кругу народа! Он находился во всеобщем пренебрежении; каждый над ним трунил, подсмеивался. Не было примера, однако ж, чтобы он, с своей стороны, кого-нибудь облаял; он не подавал голоса даже в таком деле, когда очевидно приходило ему внаклад; он всегда молча повиновался. Надо думать, что, кроткий и смиренный по природе своей, он в детстве был сильно загнан или запуган. Тем только и обозначалось присутствие его в выселках, что поле его и изба занимали там место; на самом деле он как будто не существовал. Возьмите

также в расчет действительно самую безотрадную домашнюю обстановку: детей куча, ни брата в доме на подмогу, ни старика; поневоле упадешь духом и одуреешь! Тут же, кстати, одно к одному, жена попалась ему такая же ничтожная, как и сам он. Попадись баба сметливая, расторопная, смышленная,— дело, разумеется, шло бы другим порядком. У нас часто встречаются бабы, которые вертят и хозяйством, и мужем, любо смотреть, как распоряжаются! Мнение, будто в домашнем быту народа жена играет второстепенную роль и всегда подчинена мужу — ошибочное мнение; второстепенная роль точно присуждена ей обычаем; но обычай существует только в памяти народа, на словах существует; это ничего, что муж иной раз поколотит; он поколотит, а она все-таки свое возьмет. Бывает даже, что целой деревней управляют бабы: заведется какая-нибудь тетка Маланья, да в дворне еще Аграфена, да к ним присоединится еще мельничиха; одна к старосте подольщается, другая — к конторщику, третья за нос водит мужа, который, в свой черед, имеет влияние на конторщика и на старосту. Староста, конторщик и мельник воюют на миру, надрываются; Маланья, Аграфена и мельничиха виду не подают, так только, как бы невзначай встречаются и шепчутся,— а дело,— смотришь,— дело делается по-ихнему.

К несчастью, жена Якова (так звали моего мужика) не из таких была. Она принадлежала к разряду так называемых плакс, канючек. Пустейшая была баба. Вот ее смело можно было упрекнуть в лени! Она положительно высказывала явное нерасположение к труду; даже дома редко чем-нибудь занималась; вечно сидит, бывало, у соседа или шляется по окрестным деревням, навещая кумушек; жалобы на бедность и сетования на судьбу служили только придиркою к тому, чтобы поболтать, язык поточить. С мужем жила она, однако ж, смирно; мне сказывали только, будто они никогда друг с другом не разговаривали; он молчит, и она молчит, и все это не потому, чтобы имели они что-нибудь друг против друга,— вовсе нет; так просто; говорить, видно, не о чем было. Меня всегда удивляло, как, при таких странных отношениях, могли у них ежегодно рождаться дети,— а ежегодно рождались, семеро ребятишек было. В доме находилась еще мать Якова; но ее пока считать нечего; все равно, что была она, что нет. Она уже пятый год не сходила с печки; паралич

свел ей левую руку и ногу. Казалось бы, что при такой обстановке, особенно при таких характерах, трудно ожидать в этой семье драматического эпизода; по всем данным, этот Яков, поживши своею жалкою жизнью, должен бы сойти в могилу, не оставив после себя малейшего следа, даже воспоминания... Случилось, однако ж, иначе; вот как это было.

Один из выселовских мужиков, который был позажиточнее, нанял работницу. Взял он ее из-за реки, верст за десять, на какой-то миткалевой фабрике. Женщина эта (она, забыл вам сказать, была вдова и бездетна) пользовалась даже между фабричными не совсем благонадежной репутацией: значит, уж хороша была. Ее знали в околотке под именем рябой Марфутки.

После того как кончилась история, которую вам рассказываю, я имел случай ее видеть; трудно представить наружность более непривлекательную: лицо пухлое, рябое; нос комом; из себя коротыш какой-то; к тому же было уж ей лет сорок, может даже и с хвостиком. Но, несмотря на все это, в выселках нашлись поклонники. Марфутка эта была, впрочем, баба бойкая, разбитная; она отлично играла на гармонике, могла выплясывать часа по три без отдыха, знала наперечет все местные песни и обладала таким звонким, пронзительным голосом, что за версту отличишь его в хороводе.

С первых же дней стала она как бес на выселках: с одними вступила в тесную дружбу, с другими успела поссориться. Число поклонников заметно возросло. Недели через три после ее прибытия произошла даже маленькая свалка: она подралась с одною из баб, которая, не знаю, основательно или неосновательно, но только приревновала ее к мужу. Прошла Святая, наступила пахота. Мужики стали выезжать в поле; отправился и наш Яков с ними.

В один из этих дней мужик, нанимавший Марфу, послал ее за чем-то в соседнюю деревню; дорога лежала через те самые поля, на которых работал народ; нива Якова примыкала к дороге. Проходя мимо, Марфа остановилась. До того времени, нужно заметить, Марфа слова не сказала с Яковом; по всей вероятности, редко даже с ним встречалась; но, вероятно, она имела о нем некоторое понятие, слышала, по крайней мере, как над ним подтрунивали, и, проходя мимо, вздумалось ей, в свою очередь, побала-

гурить. Бедность мужика, его вялая, кислая наружность служат верным подтверждением, что у Марфы, кроме балагурства, не было другого повода вступать с ним в беседу. Как начался разговор, в чем состоял он — неизвестно; но после этой встречи беседы их стали повторяться. Хотя встречи происходили как бы случайно, они не ускользнули от глаз любопытных; это дало новую пищу смеяться над Яковом. Марфа сама, казалось, потешалась над ним вместе с другими; а между тем ловила случаи попадаться ему на дороге. Многие видели, как иной раз Яков торчал где-нибудь за углом или подле рощи, переминался на одном месте несколько часов сряду и, очевидно, ждал чего-то; при встрече с кем-нибудь из крестьян он вдруг раскисал, щурился и с пристыженным, крайне жалким и неловким видом направлялся домой.

Не могу сказать вам, какие способы пустила в ход Марфа, чтобы приворожить к себе, сбить с толку и, наконец, совершенно погубить этого человека; после говорили, будто все это случилось по наговору; она, говорили, опоила его каким-то зельем; но это пустяки, разумеется. Еще труднее объяснить, каким образом страсть, — я говорю: страсть, потому что нельзя дать другого названия чувству, которое овладело Яковом, и, наконец, по заключению этой истории сами вы увидите, что одна безумная страсть в силе одурманить до такой степени человека, — каким образом, повторяю вам, это вялое, по-видимому, совершенно безжизненное, кислое и робкое существо могло так сильно привязаться к женщине, которая явно вела постыдную жизнь, — словом, отвратительная была во всех отношениях. Началось с того, что Яков пришел однажды домой без полушубка; он рассказал, что снял его и положил на межу перед тем, чтобы сеять; вернувшись к меже, полушубка уже не было: его украли. Это случилось в начале недели; в следующее за тем воскресенье Марфа явилась в новом, красном как маков цвет, платке и новых котах.

— Фу-ты, как расфрантилась! — говорили бабы, — откуда у тебя все это?..

— Давно было; в сундучке лежало! — возразила без малейшей запинки Марфа; пухлое лицо ее лоснилось от удовольствия и багровело, как красный сафьян.

В этот день голос ее немолчно дребезжал на выселовской улице; она превзошла самое себя и в пляске, и в песнях. В скором времени со двора Якова ночью унесены были

корыто, чугунок и лошадиная сбруя. С женою своею Яков не вступал почти в объяснение по этому предмету; но в разговоре со старухой матерью высказал решительное недоумение касательно того, как могли пропасть эти вещи: он в эту ночь, как нарочно, спал на дворе. Спустя несколько дней у Марфы завелся новый передник, запонка, серьги и позумент на подоле понёвы. Короче сказать, по мере того как у Якова происходили пропажи,— а такие случаи повторялись чаще и чаще,— Марфа покрывалась обновками... Ясно, что в выселках завелся вор, который преимущественно избрал дом Якова, хотя в этом доме меньше было чего взять, чем в других...

— Какой тут вор! — нетерпеливо перебил толстяк, поглядывая с пренебрежением на рассказчика, — какой вор! Вам сказали: вор! — вы этому и поверили... Этот же самый Яков, которого вы так жалеете, — он сам таскал у себя! Утащит, мерзавец, продаст, да Марфе этой и купит обновку.

— Может ли быть? — спросил с напряженным изумлением весельчак, переглядываясь со мною и рассказчиком.

— Разумеется! — возразил толстяк.

— Они совершенно правы! — подхватил рассказчик, сдерживая улыбку, — вор точно был не кто другой, как Яков; об этом давно даже догадались все бабы; всем решительно известно было, что Яков тащит все из своего дома, закладывает у целовальника, — и на вырученные деньги наряжает Марфу. Нашлись люди — стали ему выговаривать; но больше проходу не было от насмешек: стоило Якову на улицу высунуться — из-за угла уж непременно кто-нибудь кричит: «Яков, ступай скорей, Марфа дожидается!..» — и тому подобное. Смеялись также и над Марфой; но, вообще, она держала себя так бойко, так осаживала тех, кто приступал к ней, что насмешки никогда не переходили за предел шутки; даже мужик, нанимавший ее, не делал ей замечаний; его останавливало, вероятно, опасение лишиться дешевой и ловкой работницы; потому что, надо сказать, Марфа, мимо проделок своих, могла, когда хотела, заткнуть за пояс самого здорового батрака. Замечательнее всего, что Яков не встречал ни малейшего препятствия со стороны домашних; жена словом не обмолвилась, — виду не показывала, что что-нибудь знает. С тех самых пор, как открылись отношения между Марфой и Яковым, жена совсем почти дома не сидела; уйдет в поле

или к реке, ляжет ничком наземь и давай выть; голосит, словно по покойнике. Но чаще всего забиралась она к дальним родственникам и соседям; там уж выгружала она свой горести и, казалось, тем охотнее это делала, чем больше находилось слушателей. Мало или, вернее сказать, вовсе почти не заботясь о детях, она колотилась теперь головою, говоря о них; говорила, что вот пустил-де разбойник по миру сиротинки горьких; остались они, черви малые, одни, как нива без огорода,— и проч., и проч. Дети между тем бегали по улице оборванные, неумытые; весьма вероятно, часто даже бывали голодны... Раз только, один-единственный раз, старуха мать Якова попрекнула сына. Приходит он в избу; никого там не было, кроме старухи; по обыкновению, лежала она на печке.

— Яков! — говорит она.

Он подошел.

— Что, матушка?

Над верхней перекладиной печки показалась седая косматая голова, и два мутные глаза пристально на него устремились.

— Яков,— произнесла старуха, не спуская с него глаз,— Яков, что ты это затеял,— разбойник, а?..

Больше ничего не сказала она; но сам Яков признавался потом, что весь этот день ходил как шальной; словно тоска давила его; и он нигде не находил себе места. Но минул день — и все пошло опять своим порядком.

Перед людьми и миром Яков оставался тем же робким, безответным, смирным человеком; он постоянно молчал; знака сопротивления не показывал, когда староста, не зная уж чем остановить его, переговорив предварительно со стариками, начал водить его в пустой сенной сарай и наказывать. Все это решительно, однако ж, ни к чему не послужило. Стыд, совесть, самый страх — все заглушала несчастная привязанность; это было что-то похожее на запой, против которого все средства оказывались бессильными. В доме его постепенно, одна за другою, исчезли: телка, две овцы, горшки — словом, все, что могло превращаться у целовальника в наличные деньги. Марфа выходила по воскресеньям великолепная как пава, день-деньской грызла орехи; начали даже часто замечать ее навеселе. Наступило под конец совершенное разоренье; в избе остались только лавки, стены, оборванные ребятишки да старуха; которая с того дня, как сделала первый намек сыну, дала словно

обет молчания слова не произносила она, хотя все видела, все замечала. Придут к ней соседки и родственницы, принесут ей и внучатам творожку или хлеба, начнут рассказывать про сына, ругают его, соболезнуют о детях, старуха слова не промолвит: сидит, понуря голову, молчит, точно дело не до нее совсем. Она представляла совершенную противоположность снохе, которая всем уже надоела своими слезами и жалобами.

— Позвольте, почтеннейший, позвольте, прервал толстяк, насмешливо прищуривая заплывшие свои глазки,— как же вы-то, вы, сударь мой, никаких мер не принимали против такого беспорядка?..

— Признаюсь, я сам хотел сделать вам тот же вопрос,— заметил маленький господин.

— К сожалению, меня в ту пору не было. Я приехал домой к концу уборки, когда Яков дошел уже до того положения, о котором я говорил вам. Первым распоряжением моим было отдать приказание, чтобы Марфу непременно выслали из выселок; потом велел я призвать Якова. Сначала я сильно было на него напустился; но, подумав в ту же минуту, что все эти рассказы о его проделках могли быть преувеличены (мысль, которая невольно рождалась при воспоминании о его жизни и характере), обезоруженный, сверх того, робким, совершенно потерянным видом этого человека, который стоял передо мной с опущенною головою, дрожал как осиновый лист и обливался холодным потом,— я переменял грозный тон на увещательный; всячески начал я его усовещивать; говорил о грехе, о семействе, о голодных детях и так далее. Во все время он не проронил ни слова, не сделал движения: он казался убитым, подавленным совестью и раскаянием; из-под жиденьких волос, наполовину закрывавших лицо его, я заметил слезы, которые текли по щекам и разбегались по морщинам. Я выслали его, строго наказав старосте докладывать мне о том, как пойдет теперь житье Якова.

Прошел месяц; я не слышал малейшей жалобы. Между ним и Марфой, которая перешла версты за две в село Лысково, прекратились, казалось, все сношения. Я начинал уже радоваться такой перемене, как вдруг узнаю, что все пошло опять на прежний лад; узнаю, что Яков продал свою единственную лошадь, а деньги дедал неизвестно куда; должно быть, Марфе отдал. Теперь необходимо следовало уже решиться на энергическую меру; но, признаюсь, в чем должна

была состоять эта мера — я не мог придумать. Отдать в солдаты человека сорока пяти лет не было возможности; посадить в острог, хотя бы временно, нельзя без причины, установленной законом; не говоря уже об отвращении подвергнуть его домашнему наказанию (к счастью, ограниченному правительством), но и эта мера была уже приведена в действие без малейшей пользы. Отправил бы его на поселенье, — не принес бы я ровно никакой пользы его семейству. Кроме того, каждая из этих мер казалась мне чересчур уж сильною для человека, который хотя и служил худым примером остальным крестьянам, хотя требовал наказания, но сам по себе не сделал ничего особенно резко преступного. С нашей пошлой привычкой судить легко или рутинно о нравственных свойствах простого класса я верить не хотел в искренность Якова; я не предвидел, чем все это могло кончиться; напротив, хотя было не до смеху, — мне смешным казался этот новый кавалер Де Гриё, явившийся у меня в выселках. Как бы то ни было, я не знал, на что решиться. Вот, однако ж, чем все это кончилось.

Впоследствии объяснилось, что в этот последний месяц между Марфою и Яковом вышла разладица. Причиной была, разумеется, Марфа; ей, без сомнения, в голову не приходило, не могла даже понимать она и думать о том, какого рода чувство влекло к ней бедного мужика; видя, что взять с него больше нечего, она стала вдруг от него отбиваться. Кроткий нрав мужика поощрял ее действовать грубо и бесцеремонно. Она усвоилась в деревне Лыскове так же скоро, как в выселках, и так же скоро нашла там обожателей. Она попалась Якову в роще (роща отделяла Лысково от выселок), попалась ему с работником лысковской мельницы. Раза два потом Яков, следивший за нею украдкой, видел, как входила она в кабак вместе с тем же работником. Обращение ее с Яковом, когда он начал упрекать ее, проникнуто было дерзостью и наглостью самою возмутительною; она как бы не понимала, что хотел от нее мужик, с чего он к ней привязывался. Яков между тем день ото дня делался сумрачнее. Это заметила его жена, мать и многие даже из посторонних людей. Все они сами потом говорили об этом. В таком-то положении, вероятно, он и решился продать лошадь. Может быть, тут ревность действовала; но всего вероятнее, как человек слабый, бесхарактерный, не мог он совладать с собою, не мог перенести мысли о разлуке. Ослепленный страстью, он вперед не зага-

дывал, страх и последствия, ожидавшие его после продажи лошади,— все это исчезло при одной надежде, что авось-либо Марфа снова с ним сойдется, авось все пойдет у них, хоть на время, да пойдет по-прежнему, а там, после но о том, что после будет, он, вероятно, даже и не думал. Так, по крайней мере, кажется все это теперь, когда дело уже кончено. Кончилось это, как я вам сказывал, прошлою осенью.

Выселовские мужики купили в Лыскове десятину леса для топлива. Пришли они ко мне проситься на рубку. Я советовал повременить, потому что день, выбранный ими, вовсе не отвечал такому делу: ветер ревел в полях, как голодный волк, и без пощады рвал последние листья; на горизонте видимо росли тяжеловесные тучи; даль застилалась сумраком; холодно не было, но рука стыла на воздухе; все предвещало или грозу, или продолжительное ненастье. Я представлял им всевозможные резоны, говорил, что дорога из лесу идет в гору и что, в случае дождя, лошадям тяжело будет тащить возы, навьюченные лесом; говорил, что самые дрова, смоченные дождем, не просохнут до самого снега; но наш мужик если уж что заломит, ничем его не удержишь: поставили на своем, поехали. Так как дело было мирское, с ними отправился Яков. Началась рубка. В то же время и в том же лесу лысковские бабы собирали валежник; тут также и Марфа была. Подсмотрев, когда она осталась одна, Яков подошел к ней. С чего началось у них — никто не знает: надо думать, обращение Марфы было чересчур уже грубо и жестоко, потому что сам Яков возвысил голос; от слов перешло у них к брани, и наконец Яков, потеряв, видно, терпение, замахнулся и ударил ее в лицо. Марфе ничего не стоило ответить тем же; но тут она вдруг ни с того, ни с сего повалилась наземь и стала звать на помощь; она кричала во всю мочь, что Яков убил ее до смерти. Когда прибежали на голос, Яков стоял у дерева; на расспросы товарищей он ничего не отвечал: у него точно язык отнялся. Марфа между тем продолжала кататься по земле и кричала, что ее убили. Видя, что никакого толку из этого не выходит, только народ смеется, она встала, разразилась бранью и пошла своею дорогой; ее проводили насмешками, добрая часть которых выпала, конечно, на долю Якова.

В мирском деле, как и следует, впрочем, быть, не то что на барщине: время терять не любят, посмеялись — и опять

за работу. Но то, что я предсказывал мужикам, поневоле укоротило их деятельность; к полудню тучи окончательно заволокли небо, и дождь пошел как из ведра. Нечего было думать продолжать работу.

Вернувшись домой, Яков показался домашним чудным каким-то; так они сами потом выразились. Не касаясь уже того, что он ни с кем слова не молвил, ему не сиделось на месте: то встанет, то сядет, то выйдет в сени, то обойдет вокруг двора — и снова придет в избу; и все это делал он безо всякой причины, сам, по-видимому, не сознавая даже того, что делал. Река у нас не очень далеко: стоит обогнуть крестьянские риги и пройти луг. Яков несколько раз отправлялся на реку. Движимая любопытством, возбуждаемым загадочным поведением мужа, жена выходила из избы и за ним наблюдала: подойдет Яков к реке и начнет ходить взад и вперед по берегу; или спустится к воде, постоит-постоит, словно в раздумье каком-то — и снова наверх подымется. Раз быстрыми шагами направился он к роще, совсем уже подошел к опушке и снова вернулся в деревню. Во все время дождь лил не переставая, ветер ревел с тою же силой, как и утром, Яков ничего не замечал как будто; он продолжал бродить у себя по двору и по окрестности. Наконец наступила ночь. В выселках все улеглись и заснули. Несмотря на то что дождь и ветер превратились с наступлением ночи в бурю, — Яков все еще не возвращался. Он пришел домой около полуночи; жена и дети давно спали. Он тихо вошел в избу и сел на лавку.

По прошествии некоторого времени он встал, бережно подобрался к печке, нащупал в потемках стремечки, по которым взбираются на печь, и сел подле матери. Она не спала; но Яков не мог разобрать этого: старуха лежала неподвижно и молчала. Руки Якова дрожали так сильно, что несколько раз провел он ими по воздуху, прежде чем нащупал старуху.

— Кто тут? — спросила она, как бы пробуждаясь от сна.

— Я, матушка!..

— Что ты?

— Матушка, — произнес Яков, — нет больше моей моченьки... Матушка, я убью ее!..

— Кого? — спросила старуха, сохраняя прежнюю неподвижность; только голос ее словно несколько оживился.

— Ты, матушка, — продолжал Яков, — ты хоша ничего не говорила, но все видела, — видела все мое разоренье...

мою гибель. Заела она всю мою жизнь, змея подкодная... Моченьки моей нету... я убью ее!..

Выражения Якова при объяснении с матерью были, вероятно, энергичнее, может статься, совсем даже другие; приблизительно, в общих словах, передаю то, что слышал, что показала потом сама старуха. Вообще, во всей этой истории нет ничего вымышленного; точь-в-точь рассказываю, как дело происходило в действительности; следствие, которое при мне происходило, и показания действующих лиц при допросе доставили мне все сведения.

Старуха мать осталась, по-видимому, совершенно бесчувственною к словам сына; она не сделала малейшего замечания, слова не промолвила. Но когда Яков в третий раз повторил: «Матушка, я убью ее!..» — она медленно приподнялась на локте, кряхтя и охая, слезла с печки и принялась суетливо шарить в углу, где стоял стол. Яков слез также с печи и следовал за матерью. Старуха нащупала в ящике нож и молча сунула его сыну, который тотчас же бросился из избы.

По прошествии часу выселовский народ пробужден был страшными криками; все впопыхах высыпали на улицу. У околицы нашли Якова; он лежал ничком на дороге, страшно бил себя кулаками в грудь и голову и кричал во весь голос: «Батюшки, вяжите меня!.. Я убил ее!.. Батюшки, вяжите! убил ее, убил!..» Выбежав тогда с ножом из избы, он пустился сломя голову в Лысково, ворвался в клеть, где спала Марфа, и нанес ей сряду, одну за другою, восемнадцать ран!.. каждая была смертельна.

С последними словами толстый господин, слушавший рассказ очень равнодушно, разразился вдруг против Якова самою энергическую, крупною бранью. Он как будто давно уже вывел свое заключение об этом человеке и ждал только окончания истории, чтобы высказаться. Но, к великому удивлению нашему, тотчас же открылось, что помещик выходил так сильно из себя вовсе не потому, чтобы возмущал его поступок Якова; преступление само по себе было в глазах его самою обыкновенною вещью: такие случаи часто встречаются, чего же и ждать от полудикого человека! — негодование толстяка выходило совсем из другого источника. Яков настолько заслуживал внимания и возбуждал негодования, насколько шашни его и потом убийство навлекли хлопот, беспокойств и неудовольствий барину; шутка платить теперь за него и семейство подушные до следую-

щей ревизии! А следствие-то! — следствие, которого не было бы без этого мошенника Якова и которое так убыточно для вотчины и, следовательно, для помещика! Словом, во всей этой истории толстяк видел одного только барина; у него не было другой точки зрения. Мораль его объяснений состояла в том, что послабления покуда не годятся и ведут только, неминуемо ведут помещика к убыткам и неприятностям.

— У вас, сударь мой, — заключил он, — у вас, судя по тому, как вы о народе судите, люди попросту от жиру бесятся, — именно от жиру! У меня бы этого не случилось; нет, шутишь! Заведись такой мужик, я бы дал ему Марфу!.. Этот ваш Яков просто мошенник, я вам скажу; бестия продувная, сударь мой!.. да-с, продувная бестия, который так только смирячком прикидывался! А вы еще заступаетесь, сударь мой, да еще жалеете...

— Конечно, жалею, как и следует жалеть всякого человека, который почему бы то ни было гибнет; но не знаю, с чего вы берете, что я заступаюсь! — возразил рассказчик, — я привел этот факт единственно потому, что речь, если помните, зашла у нас о страстях в простом классе народа...

— Какие тут страсти, сударь мой! какие страсти! — нетерпеливо перебил толстяк тоном пренебрежения, — все это баловство одно... Какие нашли вы еще страсти!..

— Полноте, господа! ну, стоит ли спорить об этом! — воскликнул маленький собеседник, — поверьте, вы их не убедите! — подхватил он, обратившись к рассказчику и мигая на толстяка, — пусть каждый остается при своем мнении... Знаете ли что? чем спорить, расскажу-ка я вам лучше другую историю... Она отчасти идет под лад той, которую вы сейчас слушали... Тут, с одной стороны, действует крестьянка, простая деревенская девушка; с другой — сын богатого фабриканта: малый грамотный, выросший посреди достатка, даже некоторым образом шлифованный. Вы говорили, что развитие и образование умягчает человеческую природу, что страсти человека образованного невольно уже как-то принимают облагороженную форму... Предстоит увидеть, насколько внешняя шлифовка или полуразвитие лучше, в нравственном смысле, — насколько лучше они самого полного невежества... — промолвил он, украдкой взглянув на толстяка. — Предупреждаю вас, происшествие, о котором пойдет речь, еще трагичнее того, которое

вы рассказывали... оно такого рода, что, будь здесь барышня, я бы не стал передавать его... Хотите слушать? Ведь все равно в ожидании паромы нам нечего делать...

Один толстяк не согласился, казалось, с таким мнением; он предпочел, по-видимому, возлечь на перину и предаться сладкому отдыху. Увидев, что я и господин в коричневом пальто просили начать историю и приготавлились слушать, он остался на своем стуле.

— Дело, господа, происходило в Ярославской губернии,— начал маленький господин, откашливаясь,— там, как вы, вероятно, знаете, сплошь и рядом попадаются деревни, в которых почти совсем нет мужиков: они не живут дома. Бóльшая часть молодцов, которые в Москве, Петербурге и губернских городах покрикивают: «Пельсины, лимоны хорош!..» «Вот садова м-а-лина!..» и проч.; бóльшая часть того народа, который погуливает по городским улицам с лотками на голове, а по проселкам — с коробами за спиною; все почти лавочники, зеленщики, пивовары, ценовальники, мелкие торгаши,— спросите у любого из них: откуда? — он почти наверное скажет: ярославец! Домой, на побывку, приходят они по большей части в зиму. В деревнях остаются одни бабы, девки, ребята да старики, которым бродячая жизнь уже не под силу.

В одной из таких деревень жило, между прочим, семейство, состоящее из бабы и ее дочери, девушки лет семнадцати; муж бабы, отец девушки, торговал в Петербурге. Мать держала дочь в большой строгости; это бы еще куда ни шло; но дело в том, что строгость эта имела характер самый бессмысленный и бестолковый; сама мать, впрочем, была женщина в высшей степени взбалмошная, отчасти даже глуповатая,— с придурью, как в деревнях говорится. Сегодня, например, привязывается ко всякой безделице; дочь шагу не смей ступить без спросу, не смей выйти на улицу,— ругает ее наповал, как с дубу рвет; упрекает ее в таких вещах, которые девушке даже во сне не грезились; иной раз даже и поколотит; и все это без всякого основания, так себе, здорово живешь! В другое время, опять-таки без причины, ластится к дочери, сама с ней заговаривает и всячески хвалить станет. Бедная девушка решительно сбивалась с толку и не знала, как приноровиться к матери. Такая бестолковщина в обращении с детьми беспрерывно встречается в простонародье; живя в деревне, на каждом шагу видишь такого рода сцены: положим, ребенок

заплакал, мать сломя голову кидается на него с веником. «Ах ты, пострел окаянный! Уймешься ли ты? вот же тебе! вот тебе!. Перестань, говорят! перестань! Ну, на пирожка. на пирожка А, так ты вот как, не унимаешься!.. Вот же тебе!. вот тебе!..— и веник снова пускается в ход; потом опять слышно «Ну, уймись! ну, на пирожка...» и т. д.

В середине лета, когда случилась история, мать удвоила вдруг строгость, покажись ей, что между дочерью и одним очень молоденьким парнем, который доживал последнее лето в деревне, завелись шашни. Собственно говоря, особенных шашней не было; девушка находилась неотлучно при матери, и если встречалась с парнем, так только на улице и при народе. Могло стать, что парень часто торчал подле девушки; чаще других ловил ее, играя в горелки. Но глупой, взбалмошной бабе довольно было подозрений; не расспросив, не выведав дела, она накинулась на дочь и с того же дня стала запирает ее на ночь в летничек, род клетки, которая примыкала к сеням. Как только пригонят скотину, отдоят коров, отужинают и уберутся, старуха ведет дочь в летник и запирает ее там на запор вплоть до зари.

Около этого времени в деревне явилось новое лицо, сын фабриканта из той же губернии. Явился он вот по какому случаю: отец его купил у владельца деревни несколько десятин земли, с целью выстроить фабрику для тканья полотен. Началась стройка; но вскоре другие заботы отозвали старика, и он послал на свое место сына; хотелось, видно, ему начать приучать парня к делу. Парню стукнуло уже двадцать два года; до настоящей минуты он сидел в лавке, отмеривал холст и ситец и перемигивался с мещанками. Основываясь, вероятно, на том, отец дал ему в руководители и помощники своего — приказчика. Приехав в деревню, хозяйский сын и приказчик поместились наймом в избе одного крестьянина.

Отношения между молодым человеком и приказчиком были такого рода: последний постепенно, втихомолку от родителей, потакал дурным наклонностям первого: этим способом он совершенно овладел молодым человеком; он влез к нему в душу и как хотел, так и вертел им. Все это делалось, разумеется, неспроста; приказчик имел свои виды; хозяин был стар; сын должен был наследовать всем имением. Вообще, этот приказчик был мошенник и плут первой

руки; кроме того, что он развращал сына, он и отца обкрадывал; впрочем, хорош был также и молодой купчик; они друг друга стоили, несмотря, что последнему минуло только двадцать два года.

Дня два-три после приезда в деревню приказчик выводит купчика на улицу и говорит: «Ну, говорит, какая только здесь есть девушка,— чудо! — говорит. Перед ней все эти бабы, что вы вечор выхвалили, самая то есть выходит мразь,— сволочь нестоющая!..» — «Какая девушка? Где?..» — спрашивает купчик. Приказчик указывает на избу бабы, которая жила с дочерью и о которой я вам рассказывал. Купчик случайно увидел девушку; она ему очень понравилась. Начал он ухаживать; караулил ее на улице, старался заговаривать при встречах, прохаживался мимо окон; изо всего этого вышло только то, что юноша чаще видел кулак матери, высунутый из окошка, чем самую дочку. Девушка, с своей стороны, или пряталась, или попросту отворачивалась. Быть может, поступала она таким образом из страха; скромность, робость также, может быть, тут действовали; без этих последних свойств не могла бы она выносить так безропотно обращение взбалмошной матери. Ничего нет мудреного, если невнимание девушки происходило также от того, что в самом деле нравился ей молодой парень, за которого так доставалось ей от матери. Как бы там ни было, купчик отъехал ни с чем, как говорится. Он передал свои неудачи приказчику: «Ничего,— говорит тот.— это значит не так взялись за дело; манера не годится; надо взять дело в другую сторону; ничего, наша будет; не извольте ничего себе беспокоиться! Вы, говорит, главное. виду теперь не показывайте... дайте мне уладить дело... Практика эта нам знакома!..» Узнав от хозяйки, а также и от других баб подробности о житье-бытье матери и дочери, приказчик выдумал такую штуку: молодой человек должен был пробраться в летничек до того времени, пока мать не запрет там дочку; ему следовало завалиться куда-нибудь за лавку, за сундук и во всю ночь пролежать так смирно, чтобы девушка никак не могла подозревать его присутствия; он должен был показаться тогда только, когда мать отворит летник, чтобы выпустить девушку. Купчик решительно не понимал, к чему ведет такая штука; приказчик сказал, чтоб он только слушался; слушаться будет — увидит, к чему поведет выдумка. В тот же вечер купчик и его товарищ прокрались

к риге матери; выждав минуту, когда старуха и ее дочь вышли на улицу встречать стадо, — купчик бросился в летник и спрятался; приказчик повторил ему свои наставления и скрылся.

С наступлением ночи мать, как это обыкновенно делается, запирает девушку; молодой человек слышит, как она раздевается и ложится спать; он находился от нее в каких-нибудь двух-трех шагах, но не отступил, однако ж, ни на волос от того, что говорил приказчик: во всю ночь не повернулся, не кашлянул. На заре девушка оделась и стала стучаться в дверь. В ту самую секунду, как старуха отворила летник, купчик ловко вышел из своей засады и показался подле девушки...

Предоставляю вам самим судить об изумлении матери и особенно дочери. Не успела бедная девочка прийти в себя, мать яростно на нее бросилась и принялась колотить ее насмерть; после этого старуха как бы вдруг очнулась, повернулась к купчику и повалилась ему в ноги: «Батюшка, говорит, не погуби только! взмилуйся, касатик!.. никому не расславляй, батюшка, об этом деле! не срами, касатик! никому не рассказывай!..»

Молодой человек, смекнувши, к чему могла повести выдумка приказчика, поспешил успокоить старуху: он клялся, что ничего никому не скажет, и с того же утра смелее приступил к девушке. В ответ на это она только заливалась-плакала и осыпала его проклятиями. Жизнь ее сделалась окончательно невыносимой: с одной стороны, неотступно приставал купчик, который внушал ей страх и ужас, с другой — не было житья от матери, которая была ее с утра до вечера. Приказчик между тем не переставал расспрашивать, как идут дела. Купчик сначала лгал: говорил, что все идет превосходно, что дело увенчалось блистательнейшим успехом; но раз как-то, после сотого неудачного приступа, передал ему всю правду. «Об ней нечего думать, — советует приказчик, — главная статья — больше на мать напирать; постращайте хорошенько старуху-то; скажите, что обо всем размолвите по деревне; увидите, — дело тогда само собою сладится».

Молодой человек согласился, что дело точно пойдет тогда вернее; но прежде, однако ж, чем исполнить совет, попытался он обратиться сначала снова к девушке и взять лаской. Девушка, как и прежде, слышать ничего не хочет. Юноша приходит раз к старухе и говорит:

«Послушай, говорит, тетка, что ж она?.. Коли денег понадобится, мы в этом не постоем; и подарки, и все такое... я хоть сейчас. А только не вели ей ломаться... Теперь уж поздно», — говорит.

Старуха опять бух в ноги:

«Кормилец, молчи только, не сказывай! Муж узнает — убьет до смерти... Ах она дура этакая, проклятая!..»

Накидывается она опять на девушку и давай бить. Та только рыдает да головой о стены стучается. Такого рода сцены повторялись раз и два; дело все-таки не двигалось, вопреки обещаниям советчика. Потеряв наконец терпение, юноша объявляет напрямик матери, что, если дочь станет еще ломаться, он решительно начнет рассказывать по деревне обо всем случившемся. Малый, как видно, был с характером. Объяснение это происходило вечером, после пригона скотины. Купчик, действуя, вероятно, по совету приказчика, нарочно выбрал такое время; он как будто не сомневался уже в успехе и бил наверняка. Началось с того, что мать снова бросилась таскать девушку; она пришла в такое бешенство, что не случись тут купчика, она сделала бы дочь калек. После этого старуха силою втаскивает дочь в летник, кланяется в ноги купчику, умоляет его молчать, сама ведет в летник и запирает с дочерью...

Очутившись наедине с девушкой, купчик заметил не без удивления, что она уже более не плачет. Ободренный этим, начинает он разговаривать. Она не бранит его, не проклиняет, как прежде; она даже не отворачивается. Как окаменелая стоит она подле постели; изредка под платком, накинутым на плечи и совсем почти заслоняющим лицо ее, пробегает судорожная дрожь; юноша объясняет себе это робостью и, ободренный более и более, садится подле нее; она не делает даже сопротивлений, когда он начинает обнимать ее. Не отвечая на его ласки, не смотря на него, не произнося ни слова, она совершенно ему покоряется. Одного только никак не мог он добиться: не мог он добиться от нее живого слова, она точно онемела. Впрочем, не много заботился он об этом. На заре, когда старуха отворила летник, торжествующее лицо купчика доказывало, что он был очень доволен собою. Оставив девушку в летнике, он отозвал старуху в избу; ему хотелось сделать ей подарок. В ту минуту, как он полез в карман за деньгами, — в дверях неожиданно показалась девушка. Лицо ее было бледно, растрепанные волосы рассыпались по плечам, в

чертах проступало такое отчаяние, что мать и сам купчик испугались. Девушка сделала два шага, взглянула на мать, произнесла проклятие, схватила, как бы в беспамятстве каком-то — схватила себя руками за голову и кинулась из избы. Мать пустилась за нею вдогонку; девушка как словно исчезла; купчик присоединился к старухе; стали искать: обошли все закоулки, обшарили ригу — нигде нет; начали расспрашивать соседей: не видал ли кто? — никто не видал... Словом, искали весь день — и нигде не нашли. К вечеру только отыскалась она... отыскалась — на дне пруда, который тянулся за деревней... Ну, как вы об этом скажете? — заключил рассказчик, неожиданно обращаясь к толстяку. — Как вы скажете: с чего утопилась эта бедная девушка? Что заставило ее поступить таким образом?

— С чего утопилась? — возразил толстяк с невыразимым спокойствием. — Известно, с чего утопилась, — сдуру!..

— Вы решительно, стало быть, отвергаете в простом человеке всякого рода благородные движения души и даже чувства честности? — воскликнул господин в коричневом пальто, вдруг разгорячась, так что краска выступила на лице его. — По-вашему, надо думать, люди только те, которые, как мы с вами, носим халаты, курим табак, земли не пашем, в избе не живем, нужды не терпим да знаем, что есть на свете Франция и были когда-то римляне?.. Мы одни, стало быть, — подхватил он, не замечая наших взглядов, которые ясно говорили ему о бесполезности таких объяснений, — одни мы можем чувствовать благородно и думать по-человечески?.. На чем же вы все это основываете? Вы человек уже пожилой, не можете же вы говорить без основания...

— Эх, господа, перестаньте, бога ради! охота же вам! — снова вмешался, и с тою же поспешностью, как и прежде, маленький господин. — Разговоры такого рода решительно ни к чему не ведут; вы их не убедите, они — вас; убеждать, следовательно, бесполезно... Не лучше ли, право, чтобы кто-нибудь из вас рассказал еще какую-нибудь историю? Самое красноречивейшее рассуждение, как сказал один из наших писателей, не стоит самого мелкого рассказа, взятого только из действительной жизни и который мог бы служить фактом... Только факт что-нибудь значит, остальное все туман... Основываясь на этом, позвольте, я расскажу вам происшествие, которое пришло мне на память. Я рассказываю плохо, но вы простите неловкость, мешковатость слога

за смысл. К тому же я нахожу, мы довольно уже говорили о мужиках... Кроме того, все, что ни говорилось, проникнуто было каким-то мраком, чем-то диким, грубым, необузданным... Для разнообразия расскажу историю из другого быта: начать с того, что история эта не мрачного свойства; и потому, тут идет речь о людях, которые... ну, да вы сейчас увидите...— присовокупил он, окидывая нас лукавым взглядом и как бы приглашая не спускать глаз с толстяка, к которому, как казалось, преимущественно хотел он обратить речь.— Вот в чем дело: верстах в трех от меня жили, и теперь еще, слава богу, живут и благоденствуют два помещика; одного зовут Кондей Ильич, другого — Михайло Васильич; фамилии их вам знать не для чего; они не громки и притом не придадут интереса рассказу; без них обойдемся. Кондей Ильич человек вида могущественного, сановитого, рост богатырский, косая сажень в плечах; весь он точно целиком из дубового пня вырублен; в жизнь не видал я таких огромных ступней, таких кулаков и мускулов, как у Кондея Ильича; его, кажется, ядром не убьешь. Михайло Васильич представляет из себя человека тоже коренастого, но коротенького, с глазами, которые как словно чему-то изумились и застыли навсегда в таком виде. В характере Кондея Ильича есть что-то героическое, соответствующее его осанке; он смел, отважен, действует всегда напролом и решителен в высшей степени. Случается ему, например, рассердиться на Михайла Васильича,— а это случается часто,— он тотчас же отыскивает его, идет к нему и с прямою, свойственною благородным людям, говорит: «Ты подлец и скотина!» Михайло Васильич обыкновенно ничего на это не отвечает; не может он вообще похвастать храбростью и прямизною нрава; он скорее берет умом и хитростью. Рассердившись на соседа, он тщательно всегда скрывает настоящие свои чувства, старается даже избегать его, но с той же минуты бежит на мельницу, к приказчику соседней деревни, к пономарю и другим лицам и наскжет всегда таких ужасов про Кондея Ильича и его семью, что у робких людей пробегает холод в затылке. У Кондея Ильича девять душ; у Михайла Васильича семь; каждому из этих мужей уже около пятидесяти лет; словом, оба почтенного возраста.

С годами враждебные чувства, которые питают они друг против друга, нимало не умягчаются: напротив; с го-

дами вражда только усиливается; она, надо думать, перешла к ним по наследству от родителей, которые точно так же ненавидели друг друга и раз так даже шибко схватились, что сбежавшиеся шестнадцать мужиков того и другого никак не могли разнять их.

Впрочем, самая обстановка двух помещиков такого рода, что неминуемо должна разжигать их друг против друга; дома их, поставленные еще покойными родителями, находятся на расстоянии шести сажень; они обращены лицом друг к другу и разделяются двориком. До сих пор не решено, кому принадлежит дворик. Об этом обстоятельстве спорили одинаково безуспешно отцы и теперь спорят дети; как те, так и эти сотни раз прибегали к местному начальству и подавали несчетное число прошений о том, чтобы раз навсегда определили, кому владеть двориком; местное начальство являлось, но всякий раз, как между родителями, так и между настоящими владельцами, подымалась такая война, что начальство отказывалось напрямик от всякого посредничества; оно уже радо было, когда могло растащить ссорившихся. Как Кондею Ильичу, так и Михайлу Васильичу нет ни малейшей надобности в этом дворике; ими в этом случае управляет та мысль, что тот, кто уступит дворик, даст случай восторжествовать над собою врагу; другой причины не существует. Как бы там ни было, несчастный дворик служил и служит основою и театром всех событий, совершающихся в этом уголке нашего уезда, который, не мешает заметить, богат такими уголками. Раздражение одного семейства против другого так сильно, что самое неуловимое обстоятельство способно подлить масло в огонь. Бывает вот как: индийский петух Кондея Ильича, прогуливаясь по двору, станет, например, против окон Михайла Васильича, распушит хвост и буркнет свою песню; Михайло Васильич принимает это тотчас же в обидную для себя сторону. Мошенники, говорит, нарочно подучили его!

В ту же секунду из-за угла летит на петуха палка; супруга Кондея Ильича стремится на выручку петуха; супруга Михайла Васильича выбегает к ней навстречу; на крик из обоих домов вылетают как пули, один за другим, Кондей Ильич и Михайло Васильич; за ними бегут дети, потом золовки, свояченицы (у обоих число душ собственной семьи втрое превышает число душ крестьян). Через минуту двор представляет одну движущуюся кучу людей, из

которой во все стороны торчат и болтаются руки, ноги и головы. И хорошо еще, если б один дворик служил театром и поводом для таких сцен! Управляемые тем же чувством, которое мешает им покончить с разделом дворика, они до сих пор еще остаются чересполосными; их, если хотите, давно размежевали, вырыли даже межевые ямы и столбы поставили; но это ни к чему не служит; так бывает, впрочем, у многих помещиков, которые не чета Кондею Ильичу и Михайлу Васильичу. Кондей Ильич подозревает, что Михайло Васильич подкупил землемера; Михайло Васильич питает с своей стороны те же подозрения: оба владеют теми же участками, какими владели их отцы и прадеды. Рига Кондея Ильича до сих пор открывается на землю Михайла Васильича; бабы Михайла Васильича полощут белье в пруду соседа, народ и семья Кондея Ильича пользуются водою из колодца Михайла Васильича. При малейшей ссоре Михайло Васильич ставит у колодца мужика с дубиной; Кондей Ильич бежит к пруду, принимает героическую позу, машет кулаками и кричит: — Подойди только, — разобью вдребезги!..

Одним словом, вражда, существовавшая некогда между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем Гоголя, ровно ничего не значит против той, которая существует между Кондеем Ильичом и Михайлом Васильичем.

— Что это вы, сударь мой, рассказываете! позвольте вам заметить, — промолвил толстяк с заметным неудовольствием, — где вы видели таких помещиков?..

— Если вам не угодно верить, что во всем этом не прибавлено ни одного слова, не выдуманно ни одной черты, — не хотите ли сделать мне честь отправиться со мною ко мне в деревню; мы отсюда всего шестьдесят верст; нам даже, может быть, по дороге; я сочту за особенное удовольствие познакомить вас с Кондеем Ильичом и Михайло Васильичем; пожалуй, познакомлю вас и с другими, которые ни в чем им не уступают... Господа, — промолвил маленький рассказчик, обратясь к нам, — неужто вы также не даете веры моему рассказу? Неужто вам не случалось встречать таких помещиков, как мои соседи?

Господин в коричневом пальто верил совершенно; мало того: он насчитал до десятка Кондеев Ильичей в своем уезде; я с своей стороны вызвался познакомить присутствующих также с десятком лиц, которые шли совершенно под стать героям, описанным рассказчиком.

— Может, и есть такие, только я не видал, не приводилось!.. — пробормотал толстяк. — И наконец, какие же это помещики?.. так, мелюзга какая-то...

— Конечно, мелюзга, но все же они помещики!..

— Семь душ всего! какие помещики! — упорствовал толстяк, — это тоже мелочь, которую вот этот ваш Гоголь описывал... они не идут в счет...

— Ну, нет: сосчитайте-ка их, — куш выйдет порядочный! — перебил господин в коричневом пальто. — А вы Гоголя читали? — перебил он.

— Читал; так же все преувеличивает и во всем прибавляет... Таких людей, как он описывает, никогда не было...

— Ну, этого опять также нельзя сказать! — подхватил господин в коричневом пальто, который обращался теперь к толстяку неохотно и явно раздражался, когда говорил с ним. — По-моему, напротив, нельзя не согласиться, что Гоголь не только не увеличивал, но даже смягчал, значительно смягчал каждое лицо, которое описывал; это особенно относится к помещикам. Выставляя Собакевичей и Ноздревых, он, если смею так выразиться, берет только одну сторону своих героев; они гадки и пошлы, как частные личности. Описывая нашего брата, русского помещика, — одной этой стороны мало. Представьте себе, во сколько раз Собакевичи и Ноздревы показались бы гаже, если б Гоголь захотел выставить их не только как мужей, отцов семейства, словом, как частных лиц, — но еще и как помещиков? Всякий из нас помещик. В этом отношении мы находимся в исключительном положении; положение это так тесно вяжется с нашим существованием, от него в такой зависимости наша жизнь, что, описывая одно, необходимо коснуться другого, чтобы описание было полно. Я могу быть отличным отцом и скверным помещиком; примерным мужем и, из любви к жене, разорять крестьян, покупая жене шляпки и шали, и т. д. Гоголь не трогал этой стороны своих героев по многим причинам. Выставь-ка он Собакевича и Ноздрева как помещиков, — они, может быть, превратились бы в злодеев; Гоголю не хотелось этого... Мне, признаться, всегда жаль, что он не делал этого... Повторяю: наша жизнь слишком тесно связывается с этим помещичьим положением, оно играет в нашем обществе слишком большую роль, чтобы можно было упускать его из виду, описывая нашего брата! По-моему, невозможно даже иметь верного понятия о ком-нибудь из нас, не

руководствуясь в отношении друг к другу таким соображением или, пожалуй, пословицей: покажи на деле, каков ты помещик, и я скажу тебе, что ты за человек!

Совершенно справедливо! — подхватил маленький господин, именно: дай мне только понять, каков ты как помещик, — и я скажу, что ты за человек! — присовокупил он, украдкой взглянув на толстяка. — Но послушайте, хотя я скажу теперь общее место, истину, давно уже всем известную: заслуга Гоголя останется все-таки неизмеримо огромна! Уже одно то, что он внес в нашу литературу правду! — правду, которой до него не было и которая не мешает Гоголю быть великим поэтом! Положим, выставил он частных лиц, как вы говорите, но зато как поразительно они верны в смысле общечеловеческом! Что ни лицо — то тип! Он точно собрал всю нашу братью, разделил по кучкам, каждую кучку посадил в особую клетку и сказал: это Собакевичи, это Маниловы, это Чичиковы и т. д., — просто клеймо положил! Многие до сих пор еще не любят Гоголя именно, кажется, за эту сортировку! У меня, например, тысяча душ, я задаю обеды, задираю свой глупый нос, кричу на выборах; Гоголь объяснил каждому, что я не кто другой, как Собакевич; меня иначе не зовут, как Собакевичем; согласитесь, это очень ведь неприятно!.. — добавил маленький господин, засмеялся и снова бросил косвенный взгляд на толстяка, который сидел, мрачно насупив брови, и дышал особенно тяжело как-то, — но мы, однако ж, далеко зашли, господа! Позвольте кончить мою историю. Кондей Ильич и Михайло Васильич, точно так же, как жены их, свояченицы, тещи и проч., чрезвычайно между тем заботились о том, как думают и что говорят об них соседи; дома дрались они, как какие-нибудь бойцы и мясники; вне дома оба лезли из кожи, чтобы казаться настоящими помещиками. С семьей и девятью душами не уедешь далеко по части важности; тщеславие — плохая пожива! Для поддержки общественного мнения Кондей Ильич держит пару кобыл, на которых подкатывает к церковной паперти или является на ярмарки со своим семейством; у Михайла Васильича одна только лошадь и вместо тарантаса тележка; но к тележке своей приделал он складные подножки, как у тарантаса, и выкрасил ее темно-бурой краской; на лошади щегольская сбруя, с медною оковкою, которая так сияет на солнце, что решительно ослепляет глаза. Оба на ярмарках

и на городских праздниках поминутно выходят из своих экипажей, забегают на видные места и кричат кучеру: «Эй, подавай!» Особенно надо любоваться Кондеем Ильичом и Михайлом Васильичем, когда они входят в церковь, сопровождаемые своим семейством. Кондей Ильич гордо, важно проходит всегда мимо помещиков; нужно видеть, как, ведя свое семейство, расталкивает он вправо и влево народ, заслоняющий дорогу, и с каким озабоченным видом говорит: «Посторонись! посторонись!» Михайло Васильич ведет себя гораздо деликатнее: при входе в церковь он оставляет семью, протискивается к каждому помещику и, все равно, знаком ли он с ним или нет, протягивает наотмашь руку и осведомляется о здоровье. Он старается внушить всем, что он свой брат. Он и жена его ведут тесную дружбу с дьячком и дьяконом, нарочно с тою целью, чтобы в конце обедни им время от времени подносили просвиру. Когда в первый раз удостоились они этой чести, жена Кондея Ильича вошла тотчас же в теснейшие сношения с попадьей; теперь просвиру подносят как жене Кондея Ильича, так и жене Михайла Васильича.

Несмотря, однако ж, на толчки свои и величавый вид, Кондей Ильич пользуется в народе несравненно большею популярностью, чем сосед его. Кондей Ильич держит себя так гордо перед мужиками и бабами только при посторонних,—особенно перед помещиками; дома живет он запанибрата со своими мужиками: ходит к ним в избу, пирует у них на крестинах и свадьбах, хлебает с ними щи из одной чашки и проч., он вообще невзыскателен в работе, и если иной раз которого из них поколотит, то это скорее потому, что не в духе, чем на основании какой-нибудь причины; мужики не ставят ему этого в укор; они любят Кондея Ильича. Михайло Васильич никогда не дерется, но зато обращение его сухо и холодно; фамильярность с крепостными считает он несовместною с достоинством дворянина и помещика; он требует, главное, чтобы мужик и баба уважали его; требует, чтобы называли его барином, жену его барыней, детей барчонками; любит, чтобы мужик при виде его снимал издали шапку, а баба отвешивала низкий поклон. Мужик и баба терпеть его не могут, называют его гордецом, чуфарой...

Но оставим все это; надо вам передать теперь одно маленькое событие, которое случилось прошлой осенью; в событии этом нет ничего, кроме самого обыкновенного.

Это было в сентябре, не помню, они из-за чего-то опять поссорились. Михайло Васильич, по принятому издавна правилу, пустился тотчас же к мельнику, управителю и пономарю. но потому ли, что злоба бушевала в нем сильнее обыкновенного или находился он в особом припадке вдохновения,— он наговорил таких ужасов про соседа, что под конец сам даже испугался. Рассказы легко могли дойти до слуха Кондея Ильича; с ним, как известно, шутить было не совсем выгодно. Михайло Васильич с детства, можно сказать, питал к нему непобедимый страх, и чувство это, хотя тщательно им скрываемое, служило главным основанием ненависти к соседу; что ж мудреного — от одного взгляда Кондея Ильича мог бы, кажется, вскочить волдырь на лице врага; удар должен был превращать врага в блин! Под влиянием своих опасений Михайло Васильич целые трое суток не выходил из дому; он передал жене свои мысли; на общем семейном совещании решено было прекратить раз навсегда все сношения с злодеем (так звали могучего Кондея Ильича). Для этой цели Михайло Васильич в ту же ночь собрал своих семерых мужиков, настрогал кольев, нарубил хворосту и до зари воздвиг плетень, который заслонил дом его от дома врага. Все это было превосходно придумано; оставалось удивляться, как до сих пор подобная мысль не приходила в голову хитрому Михайлу Васильичу; но, к несчастью, в горячке своей Михайло Васильич не сообразил одного обстоятельства: плетень как раз пришелся против риги врага! Иначе, впрочем, нельзя было устроить; задние ворота риги Кондея Ильича отворялись на землю соседа; рига стояла подле дома.

На другое утро Кондей Ильич выходит с мужиками веять рожь; отворяют ворота риги, чтобы дать ход ветру; «что за черт, плетень!» Не сомневаясь, что это было сделано с целью досадить ему, Кондей Ильич подошел к плетню, припер плечом и своротил его; но усилие, употребленное им, не было рассчитано; он потерял баланс и рухнулся вместе с плетнем наземь. Не успел он очнуться, как Михайло Васильич налетел на него со всех ног и дал ему оплеуху. Такая необычайная решимость и храбрость со стороны Михайла Васильича объясняется тем, что уже слишком много, вероятно, накипело злобы в его сердце; им овладело, надо думать, что-то вроде корсиканской вендетты, какая-то необузданная жажда мести и бешенства.

Кондей Ильич вскочил на ноги, взглянул, замахнулся — и Михайло Васильич лежал уже разбитый вдребезги у ног врага; на крик сбежались жены, золовки, свояченицы и дети; картина, как можете судить, была торжественная; все умолкло; наступила тишина; но это только была тишина перед грозой. Полчаса спустя Михайло Васильич, перевязанный и упакованный, сидел в расписной тележке своей и катил во всю мочь по дороге к уездному городу; за ним поспевал во все лопатки Кондей Ильич в своем тарантасе. Оба стремились к губернскому предводителю, который жил в деревне, подле самого города. Каждый выбивался из сил, чтобы поспеть первым. Они приехали вместе, однако ж, вместе ворвались в прихожую предводителя и оттуда, после доклада, вместе бросились к дверям, где и застряли.

— Господа, — сказал предводитель, смекнув, в чем дело, что, мимоходом сказать, было нелегко, потому что оба помещика говорили в одно время, опровергали клятвенно друг друга и раза два даже чуть было не сцепились, — господа, я, право, не знаю, что мне делать!.. От всех этих историй я начинаю терять голову... Не говоря уже о сраме, потому что, господа, вы все-таки дворяне... но... но такого рода история служит еще, сверх того, дурным примером... Ей-богу, это ужасно...

Предводитель обратился к Михайлу Васильичу и просил рассказать обстоятельно, как было дело. Кондей Ильич тотчас же было вмешался, но предводитель попросил его помолчать до времени.

— Помилуйте, ваше превосходительство, — сказал Кондей Ильич, — за что же ему такое предпочтение?.. за что? вы прежде меня должны выслушать; я первый получил оскорбление!..

— Может быть, может быть, — возразил предводитель, — но только я сужу по тому, что вижу... Ваш сосед разбит совершенно... тогда как вы невредимы... тут уже улика налицо...

При этом Кондей Ильич отступил три шага; сердце его закипело и переполнилось негодованием; он скрестил руки на могучей груди своей и произнес голосом человека, сраженного несправедливостью судьбы и людей:

— Ваше превосходительство, где же справедливость?.. чем же я виноват, что у меня тело крепкое и знаков не остается?..

— Ваше благородие, паром пригнали!..— неожиданно прокричал бородастый хозяин избы, появляясь в дверях...

Трудно передать действие, которое произвело на всех нас такое известие. Рассказчик остановился посреди своей фразы. Впрочем, и то надо сказать, вздумай он продолжать, никто, конечно, не стал бы его слушать; все бросились к шапкам, шинелям и калошам. Толстяк, кряхтя и задыхаясь от суетливости, в одно и то же время запахивал халат, убирал чайные ложечки, запирал поставец и звал во весь голос лакея. Тишина в избе, прерываемая только голосом рассказчика и редкими возражениями слушателей, уступила место страшной возне, нетерпеливым возгласам и суматохе.

Но что значит этот переход от тишины к возне и шуму сравнительно с тою переменою, которая произошла между отношениями присутствующих? Минуту назад троих из нас тесно как будто связала одна общая мысль; мы невольно тянулись внутренне друг к другу; силою этой мысли чувствовали друг к другу что-то близкое, родственное; один миг, одно слово, одно пустое восклицание: «паром пригнали»,— и все это сродство так же неизгладимо исчезло, как дым, когда дунет ветер; мы были уже чужими, перестали существовать даже один для другого; самая мысль, которая сродняла нас, была забыта. У всех была теперь одна мысль: как бы опередить друг друга, поспеть скорее на паром и занять там удобное, покойное место. Что же осталось бы от этой мысли и куда делось бы то святое чувство, которое пробудило в нас мысль, если б вместо перспективы занять место на пароме,— перед нами открылась бы другая, более важная выгода?..

Минут через пять мы уже ощупью пробирались между возами и, завязая в грязи, перегоняли друг друга с таким же комическим усердием, как Кондей Ильич и Михайло Васильич, когда спешили они к предводителю.

Известие о приходе парома привело улицу в сильное движение. Посреди непроницаемого мрака бурной, ненастной ночи раздавались крики, брань, скрип телег и бескончаемое шлепанье по лужам; все рвалось к реке; беспорядок был невообразимый. С помощью локтей, иногда даже пинков, мы подвигались, однако ж, благополучно. Никто из нас не думал теперь о бедном мужике, который стоял под дождем; никому уже в голову не приходило уступить этому мужику то место на пароме, которого ждал

он несколько суток,— каждый из нас, без сомнения, встретил бы с насмешкою и негодованием того, кто не шутя, сделал бы нам такое предложение. А сколько между тем истинного, неподдельного жара было в словах господина в коричневом пальто! Как горячо мы ему сочувствовали и готовы были распинаться за наши убеждения! Какой же толк в этом жаре и убеждениях?

Первым нашим делом, как только вошли мы на паром, было сунуть скорее перевозчикам денег, чтобы они поскорее только отчаливали (в этом случае мы действовали, надо сказать, с замечательным единодушием, и снова, казалось, одна общая мысль нас на секунду связала). Причал ловко отняли, и мы благополучно отвалили от берега.

Дождь лил ливня. Уныло гудел ветер, всплескивая волны реки, едва отделявшейся от темных, пустынных берегов и еще более темного неба, которое облегало, казалось, всю землю и мрачно смотрело...

КОШКА И МЫШКА

Повесть

I

ОСЕННИЕ ВИДЫ И МАЛЬЧИК С БОЧОНОМ

К концу осени, когда нет еще снега, но утром и вечером начинает порядочно уже подмораживать, выпадают иногда такие ясные, лучезарные дни, что на минуту обманываешься и думаешь: не апрель ли опять на дворе?.. Солнце горит так же ярко, в воздухе столько же блеска, тени на обнаженных холмах так же легки и прозрачны! Недостает только воркованья и весенних ручейков, запаха земли и песни жаворонка, чтоб подкупить вас совершенно.

В один из таких дней, утром, часов около десяти, в окрестности села Ягодня показался белокурый мальчик лет тринадцати. Мальчик, каких бы то ни было лет и с какими бы то ни было волосами: белыми, черными или рыжими, принадлежит к самым обыкновенным сельским явлениям. Но мальчик, о котором идет речь, заслуживал особенного внимания: он нес за плечами ведерный бочонок, обвязанный старым кушаком, концы которого находились в руках его. Будь за плечами этого мальчика корыто, ушат, связка хворосту, плетеная кошелка с мякиной, пук сена; восседай там другой мальчик — младший братишка, — или болтайся за плечами лапти или даже новые смазные сапоги, ничего бы не было удивительного, но бочонок — особенно с железными обручами и новой точеной деревянной пробкой, воля ваша, такое обстоятельство невольно возбуждало любопытство!

Начать с того, что посудинки этого рода вовсе не в употреблении в крестьянском хозяйстве: нечего класть туда; потом, бочонок не по карману; наконец, известно было, что во всем околотке таким бочонком обладала одна только дьячиха; и то достался он ей по случаю: одна из приходских помещиц подарила. С какой же стати мальчик этот, не принадлежащий ни с которой стороны дому дья-

чихи, нес этот бочонок?. Но мальчишку мало, казалось, занимали такие соображения. Выйдя за околицу, он тряхнул бочонок с самым беззаботным видом, перенес концы кушака в левую руку, поправил свободною рукою шапку, которая лезла на глаза, и, весело посвистывая, зашагал по дороге.

Дорога, укатанная недавно еще проезжавшими подводами с овсяными и ржаными снопами, звенела под ногами и лоснилась на солнце, как серый полированный камень. Вправо от нее неоглядно желтели поля, покрытые шершавым жнивьем; слева тянулись крестьянские гумна, обнесенные старым земляным валом с торчавшими кое-где плетнями и ветлами, побросавшими свои листья. Тень от плетней и ветел местами пересекала дорогу, отпечатывая на ней прихотливые узоры инея, который превращался в капли и пропадал, как только убегала тень и прикасались к нему лучи солнца; от канавки, наполненной листом, кустами крапивы и полыни, побелевшими от изморози, несло острой свежестью. Но чем темнее рисовались плетни и стволы ветел, тем ослепительнее сверкали за ними скирды и крыши гумен; чем тише было вправо от дороги, тем шумнее было за ветлами. Там из конца в конец немолчно звучали удары цепа, шумела рожь, падавшая звонкими, сухими зернами на гладко убитый мерзлый ток, слышался говор народа, шелест голубей и крик галок, перелетавших с места на место.

В числе пернатых воробьи, как и всегда впрочем, отличались особенною егозливостью и трескотнею. Недаром называют их в простонародье ворами и разбойниками! Глядя, как суетились они, как задирали одиноких галок и как потом таращили серые свои перышки, когда которая-нибудь из этих птиц выказывала намерение напасть в свою очередь; как обсыпали они тогда соседнюю ветлу и разом принимались пищать и бить крылышками,—можно было думать, что они считали себя здесь полными хозяевами и приходили в такую ярость потому лишь, что защищали собственность.

Такие проделки сильно забавляли мальчика; можно сказать, воробьи сделались даже единственным предметом его внимания, как только ступил он на дорогу. Следя за ними быстрыми, веселыми глазами, он то ускорял шаг, то замедлял его; каждый раз, как крикливая стая, сделав неожиданный поворот в воздухе, опускалась на макушку

ветлы, мальчик припадал к земле и начинал подкрадываться; брови его подымались, и лицо выражало быстроту и лукавство; в чертах и движениях явно проглядывало намерение подкрасться ближе и застать птиц врасплох; но нетерпение всякий раз портило дело: не успев сделать трех шагов, он суетливо свешивал на бок свою ношу и принимался стучать камнем в дно бочонка, издававшего при этом какой-то глупый глухой звук.

Бочонок был пуст — это ясно; иначе быть не могло: одна пустота бочонка могла объяснить прыжки мальчика, легкую его поступь и веселость; не мог бы он в другом случае бегать за воробьями и не стал бы так громко смеяться, когда птицы, испуганные грохотом бочонка, пугливо и врозь разлетались. Мальчик выказывал, впрочем, такой веселый нрав, что мог бы, кажется, смеяться и под более тяжелой ношей. Веселость его проистекала, по-видимому, столько же из нрава, сколько от здоровья и довольства жизнью; от полных щек его, разрумяненных остротою утреннего воздуха, дышало свежестью; в чертах не было следа лишений и преждевременного утомления. Он был в лаптишках, старом полушубке, очевидно принадлежавшем рослому человеку, и шапке, которая, конечно, могла только принадлежать владельцу полушубка; но все это было, однако ж, в порядке; заплат было много; попадались даже заплатки из синего и бурого сукна; но не висели они лохмотьями, а тщательно обшиты были кругом белыми здоровыми нитками; короче сказать, все показывало очень счастливого мальчика, — мальчика бережного, вволю пичкавшего хлеб и кашу, не лишенного нежных материнских попечений. Уже самая фигура его, крепкая, пышущая здоровьем и похожая издали на медвежонка, ставшего на задние лапы, красноречиво подтверждала такие предположения.

Он продолжал стучать в бочонок и посвистывать до тех пор, пока не миновал гумен. Тут он тряхнул шапкой как-то сверху вниз и без помощи рук надвинул ее на глаза. Солнечные лучи, не заслоняемые ветлами и скирдами, били ему теперь прямо в глаза. Дорога выходила на пологую, ярко освещенную луговину, за которой вдалеке круто вырастал горный уступ, окутанный тенью. С левой стороны луговины мелькали последние кровли села; там же, но только несравненно ближе к дороге, возвышалась старая деревянная церковь, обнесенная решеткой. Глубокий воздушный простор за церковью наполнен был ярким солнечным сияни-

ем; от церкви через луг шла длинная тень, в которой точно так же серебрилась изморозь, отпечатывая на траве углы колокольни, крест и тонкие полоски решетки.

Мальчик с бочонком продолжал спускаться и посвистывать. Внезапно он замолк и остановился. Посреди мертвой тишины слышались стоны... Они раздались за церковной оградой, где находилось кладбище... Случись такое обстоятельство ночью или даже в сумерки, мальчик бросил бы свой бочонок и полетел бы без оглядки в село; но теперь он ограничился тем, что стал вслушиваться. Румяное лицо его, исполненное до настоящей минуты рассеянностью и детскою беззаботливостью, осмыслилось выражением внимания. Он свернул с дороги и пошел к церкви. Стоны усиливались и превращались в рыдания. Немного погодя мальчик остановился у ограды; приложив щеки к решетке, увидел он высокого, худощавого мужика, который закапывал могилу; баба между тем лежала навзничь подле ямы и отчаянно колотилась головою оземь.

Лицо мужика знакомо было мальчику; он знал, что мужика звали Андреем; он встречал его в селе, встречал в церкви по воскресеньям, встречал на дороге, на мельнице. Он слышал, как родные, говоря о нем, называли его всегда бедным. Все это припомнил мальчик, и вид знакомого человека в слезах и горе еще сильнее пробудил его любопытство. Но любопытство находило особенную пищу в отчаянии бабы; она билась у могилы и приговаривала нараспев:

Ох, тяжело мне... тяжело!
Ах ты, сизый голубь мой,
Ненаглядное дитяtko!..
Кто мне теперь защебещет?
Кто меня сердцем порадует?

— Полно, жена... Ох!.. Знамо, тяжело! Как быть!.. Власть божья!..— говорил в то же время мужик, тяжело переводя одышку и продолжая закапывать могилу.

— Батюшка!.. батюшка!..— голосила еще отчаяннее баба,— ох, батюшка!.. Егорушка... дитяtko мое... белянушка!.. Засыпали твои светлые глазунки, кормилец мой... Не воротишься уж оттоль, родной мой!.. Ох!.. Тяжко!.. Тяжко мне, горькой!..

— Полно!.. Ну, полно... Как быть!.. Христос с ним,— проговорил Андрей, продолжая работу и часто останавли-

ваясь, чтобы отереть слезы, которые текли по щекам его и въедались в морщины.

Прислушиваясь к таким речам, мальчик машинально следил глазами за лопатой Андрея. Мерзлые комки земли сыпались с лопаты в могилу; она постепенно мельчала. Вот там мелькал еще уголок, куда проникал луч солнца: но земля засыпала его. И никогда уже в этот уголок не глянет солнце! Никогда также не увидит дневного света и Егорушка! Что случилось теперь с ним, так недавно еще бегавшим, кричавшим и резвившимся на улице? Впрочем, ему, верно, теплее теперь, чем отцу и матери, которых едва прикрывают лохмотья! Но зато как холодно ему будет, когда мороз насквозь прохватит рыхлую землю могилки! Как страшно будет Егорушке в глухую зимнюю ночь, когда живой человек не пройдет мимо кладбища; когда по округу рыщет только серый волк, прислушиваясь чутким ухом к лаю собак и свисту ветра... Ветер гудит в стропилах колокольни и веет из-за угла церкви сыпучий снег... Винтом крутится снег в мерзлом воздухе и ложится косыми полосами поперек погоста...

Такие соображения легко могли представиться воображению мальчика с бочонком за плечами, а впрочем, не ручаюсь; достоверно то, что он отошел от ограды тогда только, когда Андрей засыпал могилу, поднял жену и повел ее с погоста. Мальчик возвратился на дорогу; раз или два останавливался он, чтобы посмотреть им вслед; но вдруг, как бы вспомнив о чем-то, пошел вперед по скату ускоренными шагами. Немного далее, когда совершенно уже открылся луговой скат, спускавшийся к горному уступу, мальчик увидел бабу, которая вязала пучки льна, разостланного по траве ровными рядами; за нею тотчас же показались другие бабы, занимавшиеся тою же работой. Дорога проходила мимо, и первая баба окликнула мальчика, как только он с нею поравнялся.

— Гришутка!

— Эй! — весело отозвался мальчик.

— Откуда, из села?

— Да.

— Посылали стало зачем? — вмешалась другая молоденькая бабенка, оставляя также работу и приближаясь к мальчику, — зачем посылали?

— Вишь, бочонок! — сказал мальчик, встряхивая своей ношей.

— Здравствуй, Гришутка! — промолвили еще две другие, выходя на дорогу, — отколь?

— Да уж сказал — из села! — возразил мальчик, — за бочонком посылали, вина хотят взять...

— Что у вас, праздник, что ли? — спросили в один голос бабы.

— Сестра родила... — отвечал мальчик.

— Ой ли! Когда?..

— Ахти, касатки! — воскликнула молоденькая бабенка, — кого родила, мальчика или девочку?..

— Мальчика...

— То-то, я чай, дядя-то Савелий возрадовался! ась?.. Семь лет ждал внучка-то! И ты небось рад, Гришутка? а?.. Рад, я чай? Сам дядей стал тепереча... Дядя теперь!.. Дядя!..

— То-то, касатушки, он с нами нонче и здороваться не хотел! — подхватила самая молоденькая, поглядывая на мальчика лукавыми глазами, — идет себе, как чуфарка какой, право! Смотреть даже не хочет... Ах ты, дядя! дядя!.. — промолвила она, засмеявшись, и неожиданно нахлобучила ему шапку на глаза.

— Ну!.. оставь!.. Чего ты... Полно! — закричал Гришутка, откидываясь в сторону и делая невероятные усилия бровями, чтобы приподнять шапку на лоб.

— То-то у него щеки-то нонче как разгасились! вишь, красные да жирные какие! — подхватила другая, подсакивая к мальчику, прежде чем успел он поднять шапку, и прикладывая ладони к щекам его, которые были так свежи, что баба почувствовала свежесть даже на ладонях своих.

— Оставьте! Ну!.. Что пристали?.. Ну!.. — кричал мальчик, тщетно стараясь освободить глаза от шапки и отбиваясь от баб, которые, радуясь случаю побаловать и пошутить, обступили его кругом, тискали и дергали во все стороны.

— А ну-ткась, тяжел ли бочонок-то? — говорила одна, налетая руками на посудинку и выгибая назад мальчика.

— Не пуще тяжел! — смеялась другая, дергая концы кушака, перехватывавшего плечи мальчика и нагибая его вперед.

— Бабы, — вали его наземь! вали, разбойника! — крикнула третья.

В ту же секунду несколько рук обхватили его; но чье-то плечо перекосило шапку Гришки набок, и правый глаз его освободился из мрака; это обстоятельство мигом воскресило в нем бодрость, начинавшую уже падать; он начал рваться во все стороны, работать локтями, брыкаться ногами, двигать бочонком, и прежде чем бабенки, посреди хохота и крика, успели возобновить осаду, ловко вывернулся из кружка и стремглав пустился вниз по дороге. Скачки мальчика приводили в движение старую пробку, проткнутую когда-то в бочонок и которая лежала там, прилепившись ко дну; принимая шум прыгавшей пробки за погоню, Гришка первую минуту летел стрелою и без оглядки. Он вскоре очнулся, однако ж, и остановился, чтоб перевести дух.

— Экие ведьмы! — закричал он, быстро оборачиваясь к верхней части луговины, где стояли бабы, хохотавшие во все горло. — Право, ведьмы!.. Ведьмы! ведьмы! — подхватил он скороговоркою и постепенно усиливая голос.

Бабы захлопали в ладоши и сделали движение, как будто пускались догонять его. Гришутка задвигал ногами и снова полетел без оглядки. Он остановился тогда уже, когда добежал почти до подошвы лугового ската и ясно увидел, что опасения его ни на чем не основывались: баб не было даже видно: лен расстилался в небольшой ложине, которая делалась заметною только издали; бабы принялись, видно, опять за работу, и наклоненное положение скрывало их от взоров мальчика. Тем не менее он счел долгом назвать их несколько раз ведьмами; облегчив себя как будто от огромной тяжести, он бодро тряхнул бочонком и начал прыгать по камням, служившим переходом через ручей; ручей бежал между подошвой пройденного лугового ската и горным обрывом, который подымался почти отвесно.

В этом месте подводы переезжали обыкновенно вброд, а дорога, перехваченная ручьем, снова показывала колеи свои между берегом и обрывом; она следовала течению ручья и шла влево. Немного погодя мальчик обогнул часть ската, и церковь в высоте предстала перед ним, обращенная другим своим фасом; обернувшись назад, он мог бы увидеть также село Ягодню, которое, с этой точки дороги, целиком почти рисовалось и смотрело своими окнами, игравшими на солнце, на небольшую долину, по которой вился ручей. Но Гришутка не думал обо-

рачиваться. Его привлекали другие предметы; то на одном из камней усаживалась ворона, и требовалось задержать шаг, подобраться к ней ближе и пугнуть ее с места; то останавливали его внимание маленькие заводи ручья, покрытые блистающими иглами льда, не успевшего еще оттаять на солнце; нельзя же было пройти мимо, не надломив ледяной корочки, не пососав ее. Лед теперь в диковинку; шутка! как давно его не было! Трудно также было утерпеть, чтобы не спихнуть камня, который висел над ручьем и, казалось, сам просился упасть в воду; или не пустить по ручью обломка древесной коры и не полюбоваться, как пойдет она вилять и прыгать между камнями; как буркнет и пропадет она в пене, сбившейся подле уступов, и как потом снова поплывет, следуя прихотливому изгибу.

Местами берега покрыты были кустами лозняка, который укреплялся даже кое-где посреди ручья в виде маленьких островков. Но как плачевно смотрели теперь эти островочки. Чем сильнее пронизывало их солнцем, тем заметнее выказывалась их бедность; вместо частой, непроницаемой зелени всюду торчали голые, холодно лоснящиеся прутья, перепутанные поблекшей ежевикой, засыпанные у основания листом, похожим на луковичную скорлупу и жалобно хрустевшим при самом легком ветре. Проходя мимо, Гришутка открывал иногда между прутьями серенькое пушистое гнездо; такое открытие давало ему всякий раз случай дивиться, как не заметил он его прежде, проходя тут летом. Что же была это за птица такая?.. Должно быть, крохотная какая-нибудь! и куда она теперь делась.

«Погоди, постой, лето опять придет, прилетит она опять на прежнее место выводить яйца!..»

И мальчик, озираясь на стороны, старался заметить камень, земляной выступ, овражек против куста с гнездом, чтобы не обознаться, когда придет время прямо напасть на след.

А между тем щеки долины расходились, склоны с обеих сторон понижались, каменистый грунт заметно делался мягче и покрывался травой, по которой плавно теперь, без пены и шума, спускался ручей. Вскоре открылись пространные луга, кое-где замкнутые лесистыми холмами. Вся эта плоскость, залитая тем же блестящим, хотя и холодным сияньем, казалась совершенно гладкою; нигде

не было видно деревушки. Но тут и там подымались вдалеке тонкие струйки дыма. Несколько ближе, хотя очень еще далеко, выступало строение с высокой остроконечной кровлей, которая вырезывалась синеватым треугольником под сверкающим краем горизонта. Еще ближе — возносились группа ветел; между головастыми их стволами и сквозь голые сучья мелькал на солнце бревенчатый новый амбар с лепившимися к нему избою и навесом. Ручей, откинувшись от дороги, делал два, три поворота, пропадал раза два и снова сверкал у ветел; дорога шла прямо к амбару. При виде старых ветел и амбара рассеянный, беспечный вид мальчика исчез тотчас же; он снова как будто вспомнил о чем-то и теперь уже с озабоченным и совершенно деловым видом ходко пошел вперед.

Мало-помалу не в дальнем расстоянии за ветлами показался берег реки, тянувшийся прямо к строению с высокой кровлей, мелькавшей в отдаленье. Ручей бежал к реке; но прежде чем в нее скатиться, он замыкался плотиной и наполнял небольшой пруд, обсаженный с одного бока ветлами; к тому же боку примыкал амбар, изба и плетни с навесом. В летнее время все это должно было пропадать в зелени; но теперь опавший лист позволял рассматривать два водяные колеса, прикрепленные к амбару, и под ними дощаной желоб; сквозь щели досок просачивались длинные серебристые водяные нити, между тем как с дальнего конца желоба каскадом ниспадал водяной стержень, обдававший пеной всю нижнюю часть амбара. Вода, очевидно, пущена была от избытка, потому что колеса оставались неподвижными. Пруд сверкал как зеркало; и на незыблемой его поверхности ясно отражались стволы ветел с их прутьями, часть плетня, калитка в плетне и ярко освещенный амбар с его кровлею, обсыпанною мучною пылью; место, где вода из пруда устремлялась в желоб, представлялось неподвижною стеклянною массой; быстрота стремления выказывалась только утками, которые, как ни спешили двигать красными своими лапками, но все-таки едва плыли против течения.

Обогнув пруд (дорога проходила по той стороне пруда и упиралась прямо в ворота амбара, которые были теперь заперты), Гришутка ступил на гибкую доску, брошенную через желоб против калитки. В другое время он, конечно, не преминул бы попугать уток, и без того уже бившихся из сил, чтобы выплыть из стремнины; не преминул бы также остановиться посреди доски и покачаться над во-

дою, в которой представлялся он стоявшим вверх ногами со своим бочонком,— но надо думать, не до того теперь было. Он суетливо перешел доску, поглядел сначала в щель калитки и, приняв вдруг решительное намерение, вступил на дворик мельницы.

II

СЕМЕЙНАЯ РАДОСТЬ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ

— Это ты, молодец?.. Что долго так? А я думал, ноги твои быстрые; думал — духом слетаешь...

Голос этот, несколько надорванный, но снисходительный какой-то и очень мягкий, принадлежит старичку, который сидел под навесом двора верхом на обрубке бревна и работал что-то топором. Именно только такой голос и мог принадлежать этому старику: он как-то шел к нему, отвечал его кроткому, ухмыляющемуся лицу, дополнял, если можно так выразиться, то впечатление, которое производил старик с первого взгляда. Прозвучи голос его хрипло, как тупая пила в гнилом дереве, или раздайся как из бочки, это было бы то же, как если б воробей гаркнул по-вороньему. Если хотите, старик наружным видом своим отчасти даже смахивал на воробья: те же прыткость и суета в движениях, такой же острый нос и быстрые глаза, те же относительно, разумеется, личные размеры; разница сходства состояла в том, собственно, что воробей весь серый, тогда как у старика серыми были одни брови; волосы его белели как снег и рассыпались волокнистыми, как трепленный лен, прядями по обеим сторонам маленького, но чрезвычайно умного и оживленного лица.

— Что ж так долго, а? — повторил старик, поглядывая на Гришку.

Нельзя сказать, чтобы мальчик очень смутился, он запнулся, однако ж, не нашел, что ответить, и, чтобы поправиться, поспешил спустить с плеч бочонок и поставить его на вид.

— Это-то я вижу вижу. промолвил старик, потряхивая головою, да был долго зачем? вот что

Бабы, дядюшка задержали оне все

Какие бабы? спросил удивленный старик

Лен на лугу вязали Я иду а оне оне и давай

привязываться. Я и то все в бежки... почитай всю дорогу... ничего с ними не сделаешь!.. озорные такие...

— Какие же это бабы?.. С чего ж бы им так-то привязываться... Ну, брат, тут что-то не ладно. Шишковато больно говоришь! Не ладно что-то, Гришунька...

При имени «Гришунька» неловкость мальчика мигом пропала. Он знал очень хорошо, что когда старик хотел бранить его или вообще был не в духе, то звал его всегда Гришкой, Григорием; когда же был в духе, другого названия не было, как Гришутка, Гришаха или Гришунька. Пора было привыкнуть мальчику к таким оттенкам: он жил у старика третий год; он приходился родным братом его снохи, и старик взял его у родителей с тем, чтобы приучать исподволь к мельничному делу.

— Ну что же смотришь-то? а?..— подхватил старик.— Бочонок принес, ну и ладно; чего глядишь-то?.. али что здесь в диковинку?

— Нет, дядюшка, смотрю: где же это собаки-то наши? — возразил мальчик, к которому снова возвратилась его ветреность и рассеянность,— собак не видать...

— Эх забота припала... собак не видать!.. а!.. Волки съели.

При этом старик ослабил беззубые свои десны и засмеялся. По всему было видно, что находится он в отличном расположении духа; веселость светилась в его глазах, проглядывала в движениях седой головы, которая самодовольно покручивалась; тесно было, казалось, веселости и груди его, и она вырывалась оттуда сама собою.

— Поди, о чем сокрушается: о собаках! Эх, паренек, паренек!.. вот уж подлинно: молодо — зелено!.. Чем собак-то высматривать,— оне, слышь, за Петрухой побежали, не пропадут небось! — ты погляди-ка сюда лучше, сюда погляди. Совсем почитай уж покончил... ну, что, хорошо ли?..

Предмет, на который указывал старик, действительно заслуживал внимания: из-под навеса, бросавшего густую тень на двор, высовывался длинный гибкий шест; в конец шеста проходило старое ржавленное кольцо, от кольца спускались четыре коротенькие веревки, которые расходились и прикреплялись концами к углам деревянной рамы, обшитой внутри посконной холстиной и представлявшей подобие неуклюжего мешка.

— Ну, какова штука-то, ась? — сказал старик, пригибая

несколько шест веревками и вдруг выпуская их из рук, причем рама и мешок начали прыгать.

— Что ж это, дедушка? — спросил мальчик, следя за эволюциями мешка и рамы.

— А что ты думал?

— Качка?

— Хе, хе, хе!.. — залился старик, — знамо, что качка, а не амбарный ящик, ну, молодец, сказывай: хорошо, что ли?

— Хорошо, дядюшка!

— Эвна! эвна! эвна! — произнес старик, снова приводя в движение люльку и подпираясь ладонями в бока, — эвна! знатно будет лежать нашему молодцу!.. Подобью еще дно войлочком, да тюфячок положим... вот тут еще маленько веревки того... сам вижу — криво; все в правый бок забирает. И тогда повесим!.. Хорошо будет спать моему внучку и твоему племяннику, Гришутка; словно в лодочке! не ворохнется.

Тут ухмылявшееся лицо старика сделалось вдруг серьезным; он отвернулся и склонил голову.

— Дай только господь пожить ему, сердечному... Создай такую милость, царица небесная!.. — произнес он вполголоса, крестясь медленно, с расстановкой.

Гришутка, не спускавший с него глаз, машинально снял шапку.

— Ты, Гришаха, не встречал дорогой Петра? — спросил старик, расправляя брови.

— Нет, дядюшка.

— Чтой-то все вы нонче как замешкались? День такой. хлопот полон рот, а они ухом не ведут... точно, право, зарок дали...

— Вот он, никак, дядюшка... Вот едет! — крикнул Гришка и побежал отворять ворота, за которыми слышался шум подъехавшей телеги.

Щелкнул деревянный засов, ворота пронзительно закрипели, и в темном дне навесов открылся вдруг ярко сияющий квадрат с лошадьёю на первом плане, тележкой и сидевшим в ней молодым парнем. Но прежде чем Гришка успел взять лошадь под уздцы, его чуть не сшибли с ног две собаки: одна серая, большая, похожая на волка; другая несколько меньше, черная, с желтыми зрачками, полужаслоненными шершавыми бровями, покрытая вся взъерошенными завитками, делавшими ее похожею издали на мячик, обшитый черным мохнатым барганом

— Дядюшка дожидает,— сказал Гришка, отбиваясь одною рукою от собак, другою хватаясь за поводья.

— Да, пора бы! давно пора! — отозвался старик с другого конца навеса.

Телега въехала на двор. Из нее вылез светло-русый малый, лет двадцати семи, среднего роста, но плотный, приземистый, дышащий силою и здоровьем. Это был сын старика и муж Гришкиной сестры. Насколько брал он против отца силой, настолько, казалось, уступал ему в расторопности, живости и той быстрой сметке и смысленности, которая отражалась в глазах и каждой черте старика. Малый поглядывал даже несколько простаком, но, впрочем, был усердный помощник отцу, надежная, плотная опора его старости; малый он был кроткий, покойный, честный; свойства эти явно отпечатывались на его широком, круглом лице, опущенном снизу бородкой, сквозь которую просвечивали толстые, добрые губы и время от времени сверкал ряд зубов белизны ослепительной.

— Что так поздно? — спросил старик, выходя к нему навстречу.

— Ничего не сделаешь, батюшка,— смиренно возразил сын,— Василья дома не было: пришлось обождать.

— Ну, что ж, купил?

— Купил, батюшка, все купил, что ты наказывал: солонины один пуд, баранины двадцать фунтов, масла и гороху на кисель...

— Много, чай, рассорил денег-то? — спросил старик, прищуриваясь.

— По той цене взял, как ты сказывал...

— Вот это хорошо!.. Эй, тетка Палагея! подь к нам! — закричал старик, суетливо обращаясь к крылечку избы.

— Иду, кормилец, иду!.. — прохрипел голос в сенях, и появилась затем старушка со впалою грудью и лицом, сморщенным, как чернослив.

Старик взял ее из Ягодни на все время, пока лежать будет сноха его; сверх обычных хлопот по хозяйству, Палагея обязывалась, за два с полтиной, состряпать крестинный обед, назначенный на завтра.

— Ну, тетка Палагея, стряпня твоя приехала!.. Бери, кроши, повертывай,— да в печку ставь!.. Готовы ли горшки-то?..

— Готовы, касатик!.. У нас духом-летком! Было бы из чего, родимый,— за мною дело не станет... Не смигнешь,—

все представлю в твое удовольствие!..— бодрясь, говорила старуха, подходя к телеге и принимаясь вытаскивать кулечки.

— Гришутка, полно тебе с собаками-то возиться!.. вишь, время нашел! подсоби тетке Палагее в избу таскать... Ты, Петруха,— присовокупил старик, понижая голос и указывая глазами на старуху,— ты за нею поглядывай... баба-то вострая; недоглядишь — и крупичи себе отсыпет, и ветчины отрежет, и маслица отольет... Хозяйке твоей, знамо, не до того теперь,— с малым возится... Ну, а у священника был?

— Был.

— Что ж он?

— Как обедня отойдет, говорит, тут и окрестим; приезжать велел.

— Ну, а к свату Силаеву и куму Дрону заезжал звать их?

— Нет, батюшка, не успел... Василий добре задержал меня с покупками... Я схожу к ним, как уберусь

— Да, малый ты с затылком! рази у нас одно это дело-то?.. Ну, да ладно; авось там справимся как-нибудь... Пока ты в село пойдешь, а я за вином съезжу; Гришунька бочонок принес. Ну, и я без тебя не сидел скламши руки... погляди-ка поди,— примолвил старик, подводя сына к люльке и снова приводя ее в движение,— эвна! эвна! эвна как! Хорошо, что ли?

— Хорошо, батюшка... Я, батюшка, как по лугу ехал, повстречал три воза из Протасова; к нам на мельницу едут; скоро, чай, будут... Встретился также Андрей со мною...

— Какой Андрей?

— Да наш, из Ягодни... Схоронил ноне опять парнишку; последнего схоронил...

— Что ты!.. Экой горький этот мужик, право! И что за диковина такая: не стоят у него ребята, да и полно! Все в одно время, почитай, решились, в одну осень нынешнюю... И бедность-то, да и горе-то... Что ж, не сказывал он, зачем шел? — заключил старик, посматривая вопросительно.

— Нет, не сказывал; никак, мешок нес с рожью; должно быть, молоть идет

— Гм! гм! хорошо все это, только не по времени; право, недосуг; бог с ними со всеми и с возами-то! Сидишь, бывает, делать нечего, никто не едет; ноне хлопот не оберешься, — все как нарочно повалили.

— Я, батюшка, схожу пока хозяйку проведаю,— перебил сын.

— Ступай!.. Я здесь поуправлюсь... вот качку надо еще приладить... Эй, Гришунька! эй!

— Что, дядюшка?

— Распряги лошадь, поставь ее на место, а телегу отодвинь — сейчас воза приедут!

Мальчик побежал к лошади; старик снова уселся верхом на обрубок и начал тесать колышки, предназначавшиеся для распорки рам на люльке.

Лошадь была уже распряжена, и мальчик возился с телегой, когда в светлом отверстии отворенных ворот показался Андрей, тот самый мужик, который хоронил ребенка. С первого взгляда Гришка не признал его, Андрей был очень высок ростом; но теперь согнутый в дугу под тяжестью мешка, перекинутого через плечо, казался он маленьким человеком. На нем были те же лохмотья; к ним теперь присоединялась еще шапка, которой не было у него на кладбище. Медленным, отягченным шагом пошел он прямо к старику, шагов за пять снял он шапку; несмотря на холод, лоб его был совершенно мокр и черные волосы свивались на лбу и висках.

— Бог помочь, Савелий Родионыч! — сказал он, сбрасывая мешок наземь.

— А! здорово, брат Андрей... здорово!.. — сказал старик, насаживая топор в обрубок и вставая. — Слышал я о твоём горе, слышал! сын сказывал! Как быть-то, брат, как быть!.. Знать, так господу богу угодно... Его, знать, воля святая, — подхватил он с сожалением. Частию также старик повел такую речь с умыслом: он не сомневался, что Андрей пришел с какою-нибудь просьбой и хотел ему не дать на это время; старик был «крепковат в счетах», как говорят в простонародье.

Андрей слушал, свесив руки и потупя голову; красивое лицо его, побледневшее от усталости, изрытое нуждою и лишениями всякого рода, выражало глубокую скорбь; но в скорби этой было что-то покорное, тихое; он, как видно, свыкся уже с ударами рока, не возмущался ими, и если слезы текли по ранним его морщинам, так это было совершенно против воли: не мог он никак совладать с ними.

— Да, — проговорил он с расстановкой, — да, Савелий Родионович, — господь последнего взял... Один был... и

того теперь нету, сирота стал, Савелий Родионыч, как есть сирота теперь...

Он не договорил, отвернулся и отер лицо изнанком ладони.

— Да... Как быть... власть божья!..— промолвил Савелий тоном, сквозь который проглядывало эгоистическое чувство счастливого человека,— у тебя вот господь, творец милосердный, отнял, а мне дал! ты ноне, Андрей, схоронил детище, а у меня ноне в ночь внук родился! семь лет ждал, молил господа,— не было; а теперь послал господь!.. Власть божья! Его не переспоришь... Ведь у тебя было, никак, всего трое ребят? один, помнится, косинькой такой, маленечко еще на ногу припадал... нога-то с кривинкой была... Этот, что ли, помер?

— Этот, Савелий Родионыч...

— Ну, этот господь с ним! обиженный был человек... Не был бы тебе помощником... Калека был!

— Нет, Савелий Родионыч, этого мне жалче... других хоронил, словно не так горько было!.. Косинького всех жалче, Савелий Родионыч!.. Уж так-то жалко... кажись... Пришел в избу, гляжу — нет его, нет Егорушки, вспомнил... индо даже от сердца оторвалось у меня... Косинького всех жалчее!..

— Что говорить... последний был; своя полоса мяса!.. Что говорить! — сказал Савелий, поглядывая на стороны.— Ты, брат Андрей, не серчай на меня... Ей-богу, некогда... недосуг нонче... У нас ноне хлопот-то — и-и-и!..

— Я за делом к тебе, Савелий Родионыч...

— Гм! Какое же твое дело?.. Коли можно...

— Да помолоть пришел... один мешок всего...

— Ну, что ж, засыпай!..

— Только... нельзя ли как-нибудь, Савелий Родионыч... Как перед истинным богом говорю: нет у меня ничего... от похорон гроша не осталось... за помол отдать нечего...

Савелий поморщился и почесал затылок.

— Сделай милость, Савелий Родионыч!.. право, на хлебец, на один хлебец муки нет...

Савелий смотрел в землю и пожимал губами.

— Дядюшка, к нам возы едут! Три воза! — крикнул Гришка, стоявший в воротах.

— Вишь, тебе господь бог посылает, Савелий Родионыч! — вымолвил Андрей.

— Н... ну бог с тобой! засыпай! ступай только скорее,

пока те не подъехали,— сказал старикашка, приняв снова свой добродушный вид.— Гришутка, отцепи колесо поди,— у первой снасти!..

Минуты две спустя внутри амбара слышалось шипенье жернова, который вскоре разошелся и пошел порхать, посылая из амбарной двери легкие клубы мучной пыли.

— Петрунька,— сказал Савелий, останавливая сына после того как возы въехали на двор, установились и пущена была в ход вторая снасть,— как же нам, слышь, быть теперь?

— Что ж, батюшка?

— Ты идешь в село теперь на крестины звать; может, там опять промешкаешь; до вечера, может, пробудешь; дни теперь короткие... Тут вот эти, прости господи, приехали! — прибавил он, указывая глазами на подводы,— мне от них отойти нельзя никак... А кто ж теперь за вином-то поедет?..

— Пошли, батюшка, Гришку,— он съездит!

Старик пожал губами и покачал головою.

— Что ж такое! — продолжал сын,— разве мудрость какая! подал деньги целовальнику — и все тут; бочонок ведь ведерный, обмерить нельзя: дело все на виду...

— На виду-то на виду... Оно так... Да малый-то, думается, того... Ну да ладно, ступай!.. — произнес Савелий, одумавшись.— Эй, Гришка,— крикнул он, когда Петр исчез в воротах,— поди запрягай лошадь; смотри только, как дугу надевать станешь, мне скажи, сам не затягивай...

— Дай я подсоблю ему,— сказал Андрей, выходя из амбара,— мне пока делать нечего.

Он пошел навстречу мальчику, который вел уже лошадь. Когда подвода была готова, Савелий велел Гришке надеть шубенку и взять шапку. Тот вытаращил сначала удивленные глаза; но потом, как будто вместе с этим приказанием соединилось для него великое счастье, полетел в избу и разом даже перескочил через все ступеньки крылечка

— Посылать его хочешь? — спросил Андрей.

— Да, вина взять на завтра,— возразил Савелий, запуская с озабоченным видом руку за пазуху и вынимая оттуда кожаный кошель.— Что это как вино стало у нас но не дорого!.. Четыре целковых за ведро... Виданное ли это дело!.. И добро бы вино-то было хорошее, спорое... а то леший их знает, прости господи, чего туда подливают, разбойники! Бывало, два с полтиной платили; теперь

хуже стало, а все четыре целковых отдай... Беда, да и только!..

— Все теперь вздорожало, Савелий Родионыч; за что ни возьмись, все дороже.

— Охо-хо! — говорил Савелий, высчитывая на ладони деньги, — стало, уж времена такие пришли... времена такие тугия... Такие времена!

Надеть полушубок и схватить шапку было для Гришки делом одной минуты; он возвратился на двор прежде еще, чем старик успел сосчитать деньги.

— Дядюшка, я здесь! — сказал он, торопливо застегивая на ходу верхнюю пуговицу у полушубка и любопытно поглядывая то на лицо старика, то на ладонь с деньгами. — Я здесь, дядюшка!.. — повторил нетерпеливо мальчик.

— Вижу... вижу!.. Шесть гривен, да полтина... да двугривенный... — бормотал старик, — возьми бочонок, Гришутка, положи его в телегу, — прибавил он мимоходом и возвышая голос, — еще три четвертака... Всего четыре целковых... Вишь ты эти деньги? — заключил он, обращаясь к мальчику.

— Вижу, дядюшка!

— Что ж ты видишь-то?

— Деньги, дядюшка!

— Да сколько их?

— Не знаю...

— То-то же и есть!.. прыток больно... ох уж ты у меня, смотри... слушай, тут четыре целковых, — продолжал старик, копотливо завертывая мелкую монету в две замасленные рублевые бумажки, — смотри, не оброни!..

— Нет, дядюшка, в руке держать буду: не выпущу!

Савелий покачал головою, молча расстегнул ему полушубок, ощупал овчину внутри, опять покачал головою; молча потом снял шапку мальчика, внимательно осмотрел тулью, приподнял ее и, вложив туда деньги, крепко опять надвинул шапку на голову Гришки.

— Смотри у меня, не сымать шапки дорогой! — сказал он, — поедешь теперь в кабак, возьмешь там ведро вина, скажи целовальнику: «бочонок-то ведерный, видно будет, как обмеришь!..» Постой! — возвысил голос старик, видя, что мальчик бросился к телеге, — погоди! эх его носит как!.. знаешь ли еще, где кабак-то?

— Как же, дядюшка! как не знать... я рази впервой... кабак за рекою...

— Погоди!..— перебил старик, высказывая в свою очередь нетерпение,— постой!.. эх его носит!.. ну, что ты похваляешься-то? что похваляешься? кабак, знаю, за рекою... да ведь за рекою-то у нас два кабака; как проедешь реку, от перевоза будут две дороги; одна пойдет влево, другая прямо, налево не ездят; ступай прямо... слышишь?

— Слышу, дядюшка!

— А коли слышишь, садись да поезжай; вот еще что: смотри у меня, лошадь не гнать! Приедешь домой, я погляжу: коли потная она, вихры намну!.. помни же, что сказано: шапки не сымай дорогой; как в кабак приедешь, тогда только сыми...

Последние слова сказаны были мальчику, когда он сидел уже в телеге и держал вожжи. Андрей взял лошадь под уздцы и вывел ее из ворот. Гришка свистнул собаке, которая полетела за ним, и вскоре собака и телега пропали из виду.

— Андрей,— крикнул старик, когда тот возвратился,— побудь пока здесь в амбаре; погляди за помольцами, на минутку в избу схожу, сноху проведаю, погляжу на внука....

— Ладно, Савелий Родионыч.

— Постой!.. поди-ка сюда...— вымолвил старик, направляясь к той стороне навеса, где висела люлька,— ты, брат, повыше меня, достанешь без подставки... сыми кольцо с шеста... кстати уж заодно пойду качку в избе прилажу... погоди! — присовокупил он, останавливая одной рукой Андрея, другой рукой приводя в движение люльку,— теперь, кажись, ровно идет... Эвно! эвно!.. ладно, сымай теперь!

Андрей исполнил его просьбу.

— Побудь же пока в амбаре-то,— повторил дядя Савелий.

И, пропустив кольцо в костлявые свои пальцы, вытянув руки, чтобы дно люльки не тащилось по земле, он поплелся в избу, сохраняя во все время на лице самодовольную улыбку.

III

МАЛЕНЬКАЯ БИОГРАФИЯ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Эпоха, в которую родился Савелий, относится к весьма отдаленному времени. Лучшим доказательством этого слу-

жит то, что помещики имели тогда право продавать крестьян своих поодиночке. Теперь благодаря просвещению, которому так справедливо удивляемся и мы, и европейцы,— право продажи душ поодиночке не существует.

Теперь крестьяне продаются не иначе, как целым семейством: оно и человечнее, и даже выгоднее.

Соседу понравился, например, ваш столяр; он предлагает за него очень выгодные условия.

— Человек отличный! — говорите вы с одушевлением, — превосходный! клад — не человек! При случае он может даже красить крыши, составлять лаки... жена его также отличная женщина...

— Но жены его и детей мне не надобно, — возражает сосед, — я хочу иметь одного только столяра; он один мне нужен...

— Без жены и детей не могу... не могу! — говорите вы с убеждением, — разве не знаете вы, что я уже не могу этого сделать...

— Делать нечего, продайте всю семью... мне, собственно, все равно!.. Но в таком случае денежные условия останутся те же...

— Что вы! что вы!.. Христос с вами!.. — говорите вы, пораженные бесстыдством и наглостью соседа, — жена его отличная прачка; она даже тонкие кружевные воротнички стирает! Отпустите на оброк, — она принесет вам верных пятнадцать целковых!.. Наконец, у него есть еще мальчик лет двенадцати, удивительный мальчик! Самоучкою выучился грамоте, пишет, как писарь, почерк чисто каллиграфический... у меня в семействе даже зовут его каллиграфом... Словом, замечательный мальчик! Года через четыре-пять он принесет вам рублей тридцать оброку, если не больше!.. Я бы никогда не расстался с этим ребенком и его матерью... Я уступаю их единственно потому, что отец мне не нужен; а так как по закону одно лицо продать невозможно, решаюсь уже заодно продать все семейство...

Соседу столяр нужен до зарезу, он предлагает, сверх положенной суммы за отца, кое-что еще за мать и сына, — и вы остаетесь, следовательно, в барышах против того, как было бы при продаже одной души. Но все это дело постороннее и выставлено здесь единственно в защиту успеха нашего просвещенного века.

Савелий Родионыч принадлежал к другой губернии, а не к той, где теперь находился. Семи лет от роду продан

он был на своз вместе с отцом и матерью в село Ягодню, где в то время земли было вчетверо против числа душ. Переселение из родины на новое место совершилось очень благополучно; не обошлось, конечно, без слез, воплей и даже криков отчаяния при разлуке, нельзя же: сердце не камень! Привелось прощаться с родными, которых никогда больше не увидишь, привелось расставаться навеки с погостом, на котором покоились кости отцов, и проч. Но нет такого горя, которое не умялось бы временем. Поплакали и перестали. Семейству Савелия выстроили избенку и отвели земли. Местность Ягодни, воздух, вода, жизнь при тогдашнем помещике — все было лучше, чем на родине. При всем том переселенцам как-то не посчастливилось на новом месте. Мать Савелия видимо чахла; к началу осени слегла она, а к концу отдала богу грешную свою душу. На второй год Савелий остался круглым сиротою, потому что отец его тоже «переселился», то есть переселился в такой край, откуда никакой помещик — предлагай он хоть все свое состояние — не мог бы уже достать отца Савелия.

Сирота начал переходить из одного семейства в другое. На вызов управляющего, нет ли желающих взять мальчика на воспитание, многие семейства изъявляли величайшую готовность; мальчика отдавали; но вскоре явилась необходимость отнять его у воспитателей: одни заставляли пахать его на восьмилетнем возрасте, другие отдавали его внаймы в соседнюю деревню, третьи выказывали явное намерение воспитать его для той цели, собственно, чтобы отдать за сына в солдаты, когда придет очередь, и т. д. Такие распоряжения не отвечали видам управляющего, который, к счастью, был человек рассудительный и, главное, очень добрый. Он решился испробовать еще раз и отдал сироту одинокому мужику, жившему с женою. Мужик брался воспитать мальчика; он обещал даже усыновить его. На этот раз можно было, кажется, положиться на воспитателей. Несмотря на крайнюю бедность новых хозяев мальчика, они не посылали его ни пахать, ни отдавали внаймы соседям. Жизнь Савелия пошла не в пример лучше прежнего. Вскоре начал он свыкаться с хозяевами; мало-помалу и те стали привыкать к нему. Мальчик был, впрочем, славный, — хотя, надо сказать (и в этом старик и старуха сознавались с сокрушенным сердцем), — он поедал у них множество хлеба «К росту, что ли, он так или преж-

де добре уж голодал много,— говорили они,— но только съедает, Христос с ним! — словно взрослый! не напасешься никак!...»

Год от году, однако ж, меньше каялись они, что взяли его, и меньше жалели хлеба. Хлеб шел впрок мальчугану; он рос, крепчал, привязывался к старикам и вместе с тем не шутя делался им полезен. На тринадцатом году он свободно уже управлялся с сохою; и это вовсе не потому, чтобы много понукал хозяин,— но по своей охоте. В прежнее время, когда выходила старику очередь ехать в ночную или отрывали его другие мирские и барские дела,— поле его часто гуляло (батрака нанять было не на что), собственные работы его останавливались, плетень оставался недоплетенным, лошадь неприбранною и проч.; теперь он оставлял малого, и если последний не приводил дела к полному успеху, то, по крайней мере, все же хоть сколько-нибудь подвигал его. И все делалось у него как-то скоро, охотно, весело; все как-то давалось ему и спорилось в руках его. Старик занимался несколько плотничным ремеслом; Савелий любил присматриваться к такой работе. Лет пятнадцати он владел топором ничуть не хуже своего воспитателя. Прошел год, другой. Около этого времени в Ягодне перестраивали церковь, которую мы видели. Савелий попал в число плотников.

Выбор этот определил, можно сказать, судьбу его. Церковь перестраивалась своими мужиками, но ими заведовали два испытанные егорьевские плотника. С первых же дней заметили они, что никто не строгал досок глаже Савелия, никто так чисто не выводил желобков для стока воды, никто не был так сметлив, ловок и смел с топором и на подмостках. Они дали ему рубить углы и посадили за рамы. Но где особенно отличился Савелий, так это когда пришлось убирать узорчатыми подзорами наружные стены и церковные навесы. Он выдолбил в доске такой красовитый узор, что все только ахнули и решили, что лучше не выдумать. Теперь уже не существуют эти деревянные фестоны, служившие когда-то лучшим наружным украшением церкви; обливаемые дождем в продолжение пятидесяти лет, съедаемые червоточиной и плесенью, они истребились совершенно; в одном только месте, с восточной стороны церкви, там, где алтарь и где теснятся могилы, осталась еще одна — серая тесина с треснувшим и полуосыпавшимся узором; но и этот последний остаток висит уже

на одном гвозде и день ото дня грозит упасть на ближнюю могильную плиту и рассыпаться в прах.

Слухом, говорят, земля полнится. В окрестностях сделалось известным, что в Ягодне находится ловкий плотник; слух не замедлил проникнуть на мельницы, которых тогда уже было довольно много в околотке. Мельники стали звать Савелия.

— Что ж, батюшка,— сказал Савелий, когда старик завел речь об этом предмете,— коли ты с матушкой отпустишь, я бы пошел, пожалуй; плотничья работа далась мне; супротив всякого дела имею я к ней охоту... Сдается мне, худобы для дома от этого никакой не будет; емельяновский мельник сулит от Святой до заговенья сто тридцать рублей; восемьдесят рублей отдашь батраку; земли у нас не бог знает сколько, он с нею управится; ты маленько еще подсобишь... Значит, пятьдесят рублей в доме останутся! Как умом ни раскидывай, все, значит, в барышах останешься.

Такая речь пришлась старику по душе и по разуму. Савелий отправился. Лишним считаю распространяться о том, как жил Савелий на емельяновской мельнице. Достаточно сказать, что на второй год мельник сулил ему не сто тридцать, а сто восемьдесят, лишь бы остался работник. Одна из причин, почему жалованье усиливалось, заключалась отчасти в том также, что соседние мельники старались всячески переманить к себе работника. Такие обстоятельства достаточно, кажется, говорят в пользу Савелия.

На десяти мельницах, по крайней мере, известно стало, что лучше емельяновского плотника не сыскать по округу: емельяновские колеса его изделия пошли в славу столько же по чистоте отделки, сколько и потому также, что, принимая меньше воды, вертели так же скоро, как прежде. Малый, сверх того, был на все руки: хочешь, приставь его в прудке, вели толчею в ход пустить, пошли на базар с мукою или дай приглядеть за помольцами — ни в чем не сплхует, ко всему горазд, нигде не покривит душою; и малый-то каков: хмелем не зашибается, нравом кроткий, хозяина всегда готов уважить, — словом, клад, а не работник! Савелий остался у прежнего хозяина; с него пошел он в ход, и не хотелось идти ему на новое место, тем более что на первом он привык и давали ему столько же жалованья, сколько и на вторых.

Маленькое хозяйство старика и старухи год от году между тем поправлялось. Савелий вовремя высылал им деньги и никогда копейки от них не утаивал.

— Вот, батюшка,— скажет,— здесь трех целковых с пятьалтынным не в достаче; ты не сумлевайся: два целковых пошли на полушубок; вот гляди: на спине протерлось... новую овчину вставил да на локти еще... Один целковый отдал за сапоги. А за пятьалтынный ты, батюшка, не серчай: набивной платок купил... в праздник, знамо, поразгуляться захочешь, повяжешь на шею... у нас все так-то ходят; не хотелось супротив других-то... словно совестно!..

Батрак, заступивший место Савелия, попался хороший: поля не стояли, обрабатывались; не то что прежде, когда, бывало, старик, отвлекаемый то миром, то барщиной, не успевал управиться со своими делами. Хлебушка было теперь вдостачу; оставалось даже на продажу.

Но человек так уже сотворен, видно, что никогда не доволен настоящим. Сколько Провидение ни расточай на него благ своих, сколько ни балуй его, он все-таки стремится получить больше, все-таки продолжает докучать Провидению, прося у него новых даров, нового счастья. То же было и со стариками — приемными отцом и матерью Савелия. До преклонных годов терпели они нужду горькую, бедность; господь сжалился над ними: утолил их нужду, утешил их старость, послал им сына — подпору; положим, сын не был родной; но не все ли равно, когда жил он с ними и радовал их, быть может, лучше всякого кровного! Так нет же! Стоило только попериться старикам, стоило им порадоваться над Савелием и возблагодарить за него бога,— начали они воссылать к нему новые мольбы, начали давать волю новым мечтаниям! Утром, вечером ли, короче сказать, когда ни встречались старик со старухой, только и слышно было у них разговору, что вот, дескать, конечно, творец милосердный благословил их всем, послал и сынка, и достаток, но что ко всему этому как словно недостает еще чего-то... Что надо бы теперь поженить сынка-то, надо бы порадоваться на его счастье, надо бы внучат понянуть... и проч. Слова нет, при существующих обстоятельствах такие мечтания не были, может статься, заносчивы, теперь любая девка охотно пошла бы в дом к ним; но все-таки не доказывает ли это, что человек, даже преклонный, никогда не успокаивается, вечно будет уноситься мечтаниями и требовать бóльшего. Дало Провидение сына,— нет,

мало: давай еще сыну жену, потом внучат, и так далее. Старик и особенно старуха начали искать невесту. Ходить было не далеко и не долго; в той же самой Ягодне выискалась вскоре хорошая девушка. Зимой, на побывку, пришел Савелий. Старики поговорили ему, показали девушку; девушка парню понравилась, он согласился — и в тот же месяц сыграли свадьбу. Месяца два пожил он дома, провел рождественские праздники с молодою женою — и снова отправился на работу. Такой уговор был у него с содержанием Бархинской мельницы, слывшей в то время первой мельницей по всей губернии. Савелий получал уже теперь триста рублей в год жалованья. Но счастье не в достатке! именно: не в достатке счастье. Сколько ни молил бога Савелий, сколько ни просили старики угодников, старуха ходила даже по этому предмету на богомолье; нет, не давал господь детей Савелию, не давал внучат старикам! На все остальное снизошло благословение; хлеба рождалось много, скотинка велась хорошая: была корова и телка, восемь овец, две лошади; жили они в новой избе и с широкою печью, полатами и перегородкой; остальное строение также все поисправилось: столбы навесов были новые, плетни стояли стеною, крыша так густо покрыта была соломой, что стало бы ее на три крестьянских двора; сами они, и старики, и сноха, и Савелий, пользовались хорошим здоровьем, — словом, все было так, что лучше и желать нельзя, но детей не давал господь; не рождались дети, да и только!

Савелию было уже около тридцати семи лет, когда неожиданно умер его помещик. Наследники поспешили продать Ягодню. Новый помещик приехал в приобретенное. Первым распоряжением его было — собрать налицо всех мужиков, работавших на стороне и ходивших по оброку. Савелий только что нанялся тогда заправлять новой какой-то мельницей; он лишился места и, сверх того, должен был еще заплатить неустойку.

Но мы оставим на время Савелия. Расскажем в нескольких словах историю Ягодни за двенадцать лет. Жизнь крестьянина так тесно связана с положением его деревни; положение деревни находится в такой зависимости от жизни помещика, его взглядов, нрава и образа управления, что, рассказывая историю деревни, или, все равно, историю управления над нею, даешь в то же время возможность судить о житье-бытье самого крестьянина.

Провидение, всегда хранившее Ягодню, спасавшее ее от

пожаров, неурожаев, моровых язв и дурных помещиков, казалось, вдруг от нее отвернулось. Так, по крайней мере, говорили и думали крестьяне. В эти двенадцать лет в Ягодне сменилось сряду пять помещиков; все они, как на подбор, принадлежали к классу, известному у нас под именем: «помещиков-спекуляторов». К этому классу, благодаря бога весьма немногочисленному в нашем отечестве, принадлежат большею частью люди темного происхождения; они выходят из семинарий, из уездных судов, из задних рядов гражданской государственной службы, дослуживаются до секретарей и коллежских советников, иногда больше, и, набив копейку, пускаются приобретать имения, с целью закруглить капитал. Такие господа не живут обыкновенно в деревнях своих. Детство их не запечатлено воспоминаниями сельской жизни,—воспоминаниями, которые сердечно привязывают человека к такому-то месту и людям, ему принадлежащим, и заставляют смотреть на все это мимо всяких выгод и расчетов. В глазах помещика-спекулятора имение представляет ничего больше, как капитал, из которого стараются они извлечь по возможности больше процентов; на крестьян смотрят они как на известного рода свеклу, которую чем сильнее нажмешь, тем больше получишь из нее соку. Часто помещик-спекулятор стыдится приехать в деревню, потому что дядя его был там дьячком или дворовым человеком. Он посылает тогда управителя, отставного унтера какого-нибудь или знакомого протоколита, которому протезирует и которого выводит в люди. Из числа помещиков, владевших Ягодней в продолжение двенадцати лет, двое посылали туда управляющих, три сами являлись и лично занимались управлением. Последние были самые худые. Одни действовали таким образом: не изменяли прежней системы управления, но только удвоили оброки; они уничтожали затяглых и сажали их на оброк; накладывали оброк на девок и ребят свыше двенадцатилетнего возраста; женили семнадцатилетних парней, чтобы увеличить число тягл; известно, что с тягла, т. е. с мужа и жены, можно больше взять, чем с девки и парня. Они продавали на сруб рощи; продавали невест из крестьянских и дворовых девок, продавали скот. Владея таким образом год или два имением, собрав два непосильные оброка, собрав еще один оброк вперед за третий год, они неожиданно продавали Ягодню. Другими управляла иная система они уничтожали оброк и сажали имение на

пашню; земля и народ не знали отдыха. Правило, назначающее столько-то дней работать на барщине, столько-то на себя, уничтожилось само собою; народ неустомимо работал в полях, работал на кирпичном заводе, который вдруг возникал в Ягодне, возил продавать кирпич в город, пахал, молотил и веял, не зная сна и покоя. Выжав сок из земли и крестьян, разорив вконец имение, помещик наскоро подправлял плетни, покрывал крыши, подкрашивал амбары, воздвигал кое-где красивенькие решетки и, показав лицом Ягодню, выгодно сбывал ее другому, менее опытному из своего же брата. Результатом этих двенадцати лет было то, что Ягодня, слывшая как-то чуть ли не первой деревней уезда, сделалась последней; земля истощена, леса порублены, крестьяне разорены; у многих не только коровы не было,— не было лошади и даже курицы в доме. Бóльшая часть побиралась.

К этому числу не принадлежал, однако ж, Савелий. Он был беден; куда! — следа не осталось от прежнего благосостояния! но, сравнительно с другими, он все еще кое-как пробавлялся. В эту страшную эпоху разоренья мужичку все-таки встречалась надобность поправить угол избы, требовалось подвести ось телеги, починить кадку; бабам нужны были деревянные гребни для мычек, веретена, корыта; никто лучше Савелия не мог исполнить таких дел, и при этом всегда перепадал ему лишний кусок хлеба. В эти двенадцать лет много, впрочем, изменилось в его домашнем положении: старик и старуха приказали долго жить; но, как бы взамен такого горя, господь услышал наконец его молитвы и послал ему сына. Савелий не падал духом. Какая-то внутренняя сила,— быть может, вера в промысл, быть может, природная потребность деятельности, быть может, то и другое вместе,— подкрепили его. Он разгибал спину после барщины и, приходя домой, снова сгибал ее, всегда находя под рукою какую-нибудь работу. Действием этого было то, что он ел хлеб, тогда как другие побирались.

Наконец судьба сжалилась над бедною Ягодней. Она попала в руки соседнему помещику, настоящему помещику,— коренному, как называли его крестьяне. Пошли тотчас же другие порядки: имение поступило на оброк, не на такой, которого не могли платить крестьяне, но который мог только их поправить. В первое же воскресенье, следовавшее за купчею, церковь Ягодни была полна наро-

ду. Старики стояли на коленях; бабы кланялись иконам и плакали; все молились и благодарили творца, внявшего их грешным молитвам.

Обыватели Ягодни вздохнули. Вместе с ними вздохнул, разумеется, и Савелий. Но вскоре вздох радости сменился у него тяжелым вздохом; около этого времени он лишился жены. Правду говорят: не бывает радостей без печали!

Поплакал, прогрустил Савелий; но делать нечего, мертвого не воскресишь! надо было приниматься тянуть как-нибудь житейскую лямку. Сына своего (мальчишке было тогда семь лет) поручил он жениной родне, а сам, перекрестясь, снова пошел ходить по мельницам. Дело было знакомо, сподручно. На мельницах Савелия еще помнили; думали, конечно, что силы в нем поубавилось; думали также, от дела отвык; взяли его больше за прежнюю славу. Сначала сам Савелий так думал; но пожил весну, пожил лето, плечи расходились, снова явилась прежняя сметка — и пошло по-старому, с тою разницею, что разуму теперь и опыту стало в нем больше. Мало-помалу делишки опять начали поправляться. Землю свою передал он до времени мужу родственницы, у которой находился сынишка; избу свою он не только не продавал, но всячески даже старался ее поддерживать. Когда мальчику минуло четырнадцать лет, Савелий взял его с собою и определил сначала без жалованья на ту мельницу, где сам занимал место первого работника. Между тем как исправлялся Савелий, поправлялись также другие жители Ягодни; но, не имея ремесла, не одаренные той сметкой и деятельностью, которые отличали Савелия, — они поправлялись медленнее. Только спустя десяток лет Ягодня и ее обыватели пришли в прежнее положение.

Эти десять лет принесли большие перемены в быте Савелия; он женил сына и сам, к концу этого срока, перебрался домой на жительство. Ему наскучило, видно, таскаться по чужим местам, хотелось пожить своей волей, своим домком-хозяйством; к тому же и кости состарились, пора было на покой, на отдых. Так рассуждали его родные и соседи. Савелий, надо полагать, думал иначе. Силы его точно истратились (ему минуло уже под шестьдесят), лета ослабили его тело, но не угомонили духа и деятельности. С утра и до вечера копошился он на своем дворе, не переставал рубить, строгать, плесть плетни, и ни на минуту престарелые руки его не остались праздными. Но, оказалось, не по

душе, не по привычке были старику такие мелкие, мирные занятия; он словно скучал, ел мало, нигде не находил себе места. В свободное время, а такого было теперь много (он считался уже затыглым; один Петр сидел на оброке и платил пятнадцать целковых), в свободное время старик отправлялся обыкновенно к ручью, который огибал луговой скат села, где была церковь, извивался по долине и падал в речку. При этом впадении когда-то, в давние времена, находилась маленькая колотовка; от нее оставались теперь только старые ветлы. Прогулки старика повторялись чаще и чаще. Ни один человек, — даже сын и сноха, не подозревали намерений старика. Вскоре все объяснилось; как домашние, так и посторонние узнали, что Савелий был у помещика, предложил ему выстроить на свой собственный счет мельницу, где была прежняя колотовка, предлагал платить за нее, вместе с сыном, тридцать рублей оброку в год. Так все и ахнули. Но ахов было еще больше, когда Савелий приступил к стройке; особенно когда заплатил за два жернова двести рублей да за амбар еще триста.

«Поди ж ты!.. — говорил народ, — кто бы подумал об этом?.. Виду ведь никакого не показывал, — а денег-то, денег-то сколько! Шутка, капитал какой!..»

Капитал был точно значительный. Мельница стоила Савелию шестьсот рублей ассигнациями; но это еще не все: оставалось у него про запас еще целковых сорок. Все это, в общей сложности, представляло капитал в семьсот сорок рублей на ассигнации. Действительно, страшная сумма, если принять в соображение, что на составление ее потребовались только всего-навсего каких-нибудь десять лет! Конечно, каждая копейка этого капитала досталась потом; для добывания каждого рубля требовалось работать не разгибая спины; но что могут значить труды сравнительно с таким огромным вознаграждением!..

Простым классом народа вообще управляет рутина: его пугают всякие нововведения: он боится идти новым путем и редко решается употребить деньги на промысел, на дело, которым не занимались отцы и деды. Соседи совсем не шутя жалели его, не шутя думали, что он рехнулся. К такому мнению не мало способствовали окрестные мельники; Савелий покушался отбить у них помольцев: они досадовали и распускали насчет его предприятия самые неблагоприятные слухи, они старались даже вредить ему более действительным образом: подсылали кидать ртуть в ручей,

с целью повредить плотине, которая должна была от этого просачиваться; говорили, что воды ручья недостаточно, чтобы поднять два жернова, что в весенний разлив реки вода пойдет ко двору и снесет мельницу, и проч.

Но не таков был Савелий, чтобы стал действовать наобум, очертя голову. Зоркий глаз его давно высмотрел местность, сметливый ум исчислил все выгоды и неблагоприятные случаи, долгий опыт научил, как предупредить их. Дело было слишком ему знакомо, слишком много лет из жизни своей употребил он на изучение его, чтобы мог обмануться. Слухи и разговоры прекратились, как только подняты были в первый раз шлюзы, оба колеса дружно завертелись и жернова пошли порхать так же скоро, как у соседей. Всем известно теперь, что в своем округе мельница дяди Савелия самая исправная, даром что самая маленькая и стоит на ручье, а не на речке: ни разу не прорвалась ее плотина, ни разу не было недостатка в воде, ни разу не подмывала она двора, ни разу не задержался помолец; ко всему этому следует прибавить, что в эти три года помолец уезжал всегда довольный и в разговорах никогда достаточно не нахваливался обычаем маленькой мельницы: там оставляли на распыл меньше муки, чем у соседей, никогда не оттягивали зерен, мука была всегда мягкая и всегда строго наблюдалась очередь: кто первый заехал, тот и засыпай; не то что в других местах: тот прав всегда, кто больше посулил мельнику.

Год от году жерновам Савелия доставалось больше работы; барышей больших не было, но жить было можно; хорошо можно было жить! Не встречалась, не предвиделась пока надобность трогать запасный капитал, оставшийся после постройки мельницы. Деньги лежали скрытно ото всех в сундуке,— и радовали сердце предусмотрительного старика. Так было, по крайней мере, до того дня, когда Савелий приготовился к крестинам и делал качку для новорожденного внука, предмета стольких ожиданий и радостей.

IV

ПЕРЕДРЯГА

Бедный Андрей, из Ягодни, давным-давно уже отмолол свой мешок ржи и оставил мельницу; мало того, из трех возов, так некстати тогда приехавших, оставался всего

один; и все-таки не видно было ни Петра, ушедшего в село с приглашениями, ни Гришутки, уехавшего за вином. Время приближалось к вечеру. Солнце садилось, усиливая с каждой минутой пурпуровый блеск холмов и отдаленных рощ, смотревших на запад; с востока между тем спускались синие, холодные тени; они бежали как будто от солнца, быстро наполняли лощины и раскидывались все шире и шире по лугам, оставляя кое-где за собою верхушку ветлы или кровлю, которые, при блеске заката, горели точно охваченные пламенем. Ветер не трогал ни одним поблекшим стебельком, ни одной соломинкой на кровле; но и без ветра сильно пощипывало уши и щеки. Прозрачность воздуха и ослепительная ясность заката предвещали на ночь мороз порядочный; даже теперь в низменных местах, где тень сгущалась, опавший лист и трава покрывались седою изморозью. Дорога звенела под ногами. За две, за три версты можно было, кажется, различить малейший звук: лай собак в отдаленных селах, голоса на соседней мельнице, шум доски, внезапно сброшенной на мерзлую землю. Но сколько ни прислушивался Савелий, нигде не раздавалось дребезжанье телеги: Гришутка не являлся. Напрасно также глаза старика обращались к долине, по которой вилась дорога: и Петр не показывался. Постояв минуты с две у ворот, Савелий возвращался на двор, заглядывал в амбар, обменивался несколькими словами с помольцем, который домалывал последний воз, и снова уходил в избу.

Изба его была невелика, но было в ней и тепло, и уютно. По случаю стряпни к крестинам было в ней даже жарко; но это ничего: когда на дворе морозит, чувствуется особенная приятность войти в сильно нагретое жилище. Изба ничем не отличалась от прочих изб: направо от двери возвышалась печь; дощаная перегородка, отделявшаяся от печки небольшой дверцей, упиралась другим концом в заднюю стену. Два окна освещали эту первую половину; окна смотрели на запад, и заходящее солнце било так сильно в перегородку, печь и на пол, что свет отражался под столом и лавками, оставляя кое-где только непроницаемые пятна тени. В заднем углу, который называется красным, хотя бывает обыкновенно самым темным, виднелись иконы, медный литой крест, кончики желтых восковых свеч и неуклюжий стаканчик из толстого фиолетового стекла; все это располагалось на двух полках,

украшенных внутри кусочками обоев, снаружи — грубою, но замысловатою резьбою; стиль резьбы был тот же, что на подзорах, украшавших некогда церковь Ягодни; она относилась, надо полагать, к тому времени и принадлежала тому же долоту и топору. Солнечные лучи, пронизывая маленькие оконные стекла с радужным отливом, золотили пыль, проходившую двумя параллельными полосами через всю избу, и упирались в чугунок с водою, стоявший у печки; над чугуном, в темном, закоптевшем потолке, дрожало светлое пятно, которое дети называют «мышкой». Неподалеку играла кошка и четверо полосатых котят.

Во второй половине, за перегородкой, против печки, помещалась койка, устланная соломой и покрытая войлоком, на котором лежала жена Петра. Под рукою ее висела люлька, приделанная к концу шеста, укрепленного в потолке; младенец лежал, однако ж, не в люльке, а подле матери. Тут находился также шкаф с посудой, два сундучка и широкая лавка, которую Палагея, хлопотавшая у печки, устала караваем, горшками и пирогами. За этой перегородкой было и тесно, и душно. Тут также было окно; но солнечный луч, встречая множество углов и выступов, цеплялся то за люльку, то за край лавки, то, проходя по ряду пирогов, густо зарумяненных яичным желтком, производил здесь страшную пестроту; глаз отдыхал на верхней части постели, которая тонула в мягком желтоватом полусвете, где покоились голова родильницы и спавший подле нее младенец.

— А-ай да морозец! знатно завертывает! — сказал Савелий, входя в избу и потирая ладонями, напоминавшими корку старых древесных пней, — коли так денька два постоит, пожалуй, что и река станет... Эк нажарили! — промолвил он, повертывая за перегородку, — словно в бане, право, в бане!.. только что вот дух другой: пирогами пахнет!.. Ну, сношенька наша любезная (до рожденья внучка он всегда называл ее просто Марьей и вообще не выказывал ей большой нежности), не знаю, что мне делать с нашими молодцами: о сю пору не видать! А давно бы пора, кажется...

— Приедут, батюшка, — слабым голосом отозвалась Марья.

— Вот есть об чем умом раскидывать! — бойко вмешалась Палагея, гремя в то же время ухватом, — один не нашел, должно быть, хозяев. Пришел: «дома?» — спраши

вает. «Ушел», — говорят; он его дожидаться сел либо искать пошел... Другой в кабаке сидит; может, народу много — он и дожидает, пока других не отпустит целовальник; знамо: парень малый, больших не перекричит; тот и после пришел, да первый взял...

— Ну, нет, не таковский! Шустер, — у-у-у — шустер! — перебил старик, грозя пальцем на какой-то воображаемый предмет, — небось в обиду себя не даст, даром невеличек!.. Не об этом я совсем думаю: думаю: парнишка-то востер оченно, не напроказил бы там... Ну, да вот приедет, спросим, спросим... — добавил он, как бы заминая речь и подходя к постели родильницы. — Ну, сношенька любезная, как можется, а?

— Ничего, батюшка, бог милостив...

— Все ты меня... к примеру, меня не слушаешь!.. Вот что...

— В чем же, батюшка?

— А хошь бы в том... оченно уж много труда принимаешь... ей-богу! На первых-то порах так не годится... Ведь вот нарочно качку сделал для малого. Нет, все подле себя его содержишь, все с ним возишься; ну, помилуй бог, еще заснешь как-нибудь... Долго ли до беды!

— И-и, касатик. — перебила Палагея, — Христос с тобою! Господь милостив, до греха такого не допустит!

— Нет, бывает! бывает! — подхватил Савелий тоном убеждения, — ведь вот случилось же: выселовская Марфа заспала ребенка-то!.. Коли не это, все равно другой случай может выйти: заснет она, подберутся как-нибудь котята, лицо младенцу, Христос с ним! исцарапают... Ну, что хорошего! Вас, баб, не вразумишь никак! Ведь вот нарочно качку сделал, нарочно повесил подле кровати: заплакал младенец — протяни только руку, либо, коли не осилишь, Палагея подаст... Опять же теперь другое рассуждение: разве ему не покойнее лежать в люльке, чем на кровати?.. Он, вестимо, не скажет, а уж это всякий видит, что в люльке покойнее! Нарочно для покою и сделана...

Старик нагнулся к младенцу.

— Агу, батюшка. агу! — произнес он, потряхивая сиднами и комически как-то сморщиваясь. — Слышь. сношенька... дай-ка, право... дай положу его в люлечку.. Ну, что он тут? Кормила ты его?

— Кормила, батюшка

Ну и ладно! Подь, касатик, подь! говорил старик.

подымая ребенка, между тем как обе женщины молча на него смотрели.

Ребенок был красен, как только что испеченный рак, и представлял пока кусок мяса, окутанный в белые пеленки: ничего не было хорошего; при всем том морщины Савелия сладко как-то раздвинулись, лицо ухмылялось, и в глазах заиграло такое чувство радости, какого не испытывал он даже тогда, когда удачно запрудил первый раз мельницу, когда пущена она была в ход, когда дешево купил он жернова свои... Поди ж ты, суди после этого, как устроена душа человеческая и на чем основываются иногда его радости!

Подержав ребенка на руках своих с таким видом, как бы мысленно прикидывая, сколько в нем весу, старик бережно уложил его в люльку.

— Ну, как же не покойнее? — самодовольно воскликнул он, отступая на шаг. — Как же не покойнее?.. Вишь: словно в лодочке... Эвна! — прибавил он, приводя слегка в движение люльку, — эвна! эвна как!..

— Ах ты затейщик! затейщик! — говорила между тем старая Палагея, подпираясь локтем в конец ухвата и покачивая головою, — право затейщик!..

Во время последних этих объяснений слышался шум приближающейся тележки; но Савелий громко разговаривал, Палагея гремела ухватом, внимание снохи поглощалось ребенком и болтовнею свекра; так что никто не приметил шума извне, пока наконец телега не подъехала почти к самым воротам.

— А вот и Гришутка! — сказал старик.

В эту минуту со двора раздались такие отчаянные крики и вопли, что ноги присутствующих на секунду приросли к земле. Савелий опрометью кинулся из избы. Петр держал лошадь под уздцы и печально вводил ее на двор; в телеге рядом с Гришуткой сидел человек с худощавым, но багровым и рябым лицом, в высокой бараньей шапке и синем тулупе, плотно перехваченном ремнем.

Савелий узнал в нем кордонного, отставного солдата, охранявшего границу соседней губернии против контрабандного провоза вина. Сердце старика так и екнуло. Кордонный держал за ворот Гришку, который ревел во весь голос и приговаривал, горько всхлипывая:

— Ей-богу, не знал!.. отпусти!.. Золотой, отпусти! батюшка, не знал!.. Золотой, не знал!..

Лицо Гришутки распухло от слез; они текли ручьями из полузажмуренных глаз и капали в рот, разевавшийся непомерно, должно быть, от избытка давивших его вздохов и рыданий. Шествие закрывал помолец, остававшийся дома-лывать последний воз; то был маленький черномазый мужичок, очень прыткого, суетливого вида; он, впрочем, как только увидел Савелия, выскочил вперед, замахал руками и, страшно вытаращив глаза, крикнул надрывающимся от усердия голосом:

— С вином попался!.. Схватили!.. взяли! С вином взяли!..

— С вином попался!.. — печально повторил Петр.

— Как?.. Ах ты господи! — произнес Савелий, останавливаясь в недоумении.

Шум в сенях и голос Палагеи заставили его обернуться. Марья рвалась вперед на крылечко, так что Палагея едва могла удержать ее; лицо молодой женщины было бледно, и вся она тряслась от головы до ног; увидя маленького своего брата в руках незнакомца, она вскрикнула и покачнулась.

— Куда! не пускай ее... Петр, держи!.. Ах ты творец милосердный! Уведите ее скорее!.. — воскликнул Савелий.

Петр бросился к жене и с помощью Палагеи увел ее в избу. В это время кордонный соскочил с тележки.

— Ты здесь хозяин? Ты за вином посылал? — спросил он, обращаясь к старику, который не мог прийти в себя.

— Я, батюшка...

— С вином поймали!.. Эко дело! ах! Схватили! взяли! — спешил пояснить черномазый мужичок, снова пуская в ход глаза и руки.

— Точно, батюшка, поймали! — сказал Петр, появляясь на крыльце и быстро спускаясь на двор.

Савелий ударил себя ладонями по полам полушубка и с сокрушенным видом замотал головою.

— Дядюшка... не знал я... Не знал, дядюшка!.. — рыдая, заговорил Гришутка, — микулинские мельники научили. Сказали: тот кабак ближе...

— Кто ж за вином-то посылал? ты, что ли? — повторил опять кордонный, дерзко поглядывая на Савелия.

— Мы посылали! — отвечал Петр, потому что отец мотал только головою и бил себя ладонями по полушубку.

— А вы кто такой? — спросил кордонный Петра.

— Я сын его... Я, батюшка, — подхватил Петр, встре-

тился с ними, как они уж к нашим воротам подъехали...

— Сейчас только встретился! — вмешался опять маленький помолец, — подъехали, — он тут! Смотрю: и я подошел! Эко дело!..

— Об этом после расскажешь, — перебил кордонный. — За вином послал вот он, — стало, он и ответит... Эки разбойники! — присовокупил он, разгорячась, — свой кабак под рукою... нет, в другой посылать надо!..

— Не знал я ничего!.. На мельнице научили... — промолвил Гришутка, истекая слезами.

— Молчи! — сказал Петр.

Мальчик положил ладонь ко рту, прислонился лбом к тележке и заревел громче прежнего.

— Да что же это, батюшка... Как же так? — сказал Савелий, нетерпеливо махая рукою в ответ помольцу, который мигал, дергал его за рукав и делал таинственные какие-то знаки.

— С вином попался, — и все тут! — возразил кордонный, — попался в селе у нас, как только из кабака выехал; вино у нашего старосты осталось, там и печать к бочонку приложили.

— Печать приложили! Припечатали!.. — отчаянно возопил Гришутка.

— Плохо дело! — крикнул помолец, приходя весь в движение, — затаскают, дедушка, затаскают!.. Лопни глаза — затаскают!..

— А то как же, так, что ли, сойдет? — перебил кордонный, — известно, проучат! будешь знать, как в чужую губернию за вином ездить! Сказано: не смей, не приказано! Нет, повадились, окаянные! Нонче поверенного ждем; ему передадут, примерно, все расскажут... Завтра же в суд представят...

До настоящей минуты Савелий бил только руками по полушубку и мотал головою, с видом человека, поставленного в самое затруднительное положение; при слове «суд» он поднял голову, и в смущенных чертах его заиграла вдруг краска; даже шея его покраснела. Слово «суд» подействовало также, казалось, и на Гришутку; между тем как шли последние объяснения, он стоял с разинутым ртом, в который продолжали капать слезы; теперь он снова припал опять лбом к тележке и снова наполнил двор отчаянными рыданиями. Петр переминался на месте и не сводил глаз с отца.

— Вот беду-то накликali! Вот греха-то не чаяли! — произнес наконец старик, оглядывая присутствующих.

Он еще хотел что-то прибавить, но вдруг переменял намерение и быстрыми шагами пошел к маленькой калитке, выходящей к ручью.

— Послушай, добрый человек!.. Эй, слышь! — сказал он, останавливаясь в калитке и кивая кордонному, — подь, брат, сюда... На два словечка!..

Багровое лицо кордонного приняло озабоченный вид; он направился к калитке, показывая, что делал это неохотно, — так, только из снисхождения.

— Послушай, добрый человек, — заговорил Савелий, отводя его к пруду, — слышь, — промолвил он, пожимая губами, — слышь! нельзя ли как... а?

— Это насчет чего? — спросил тот более смягченным тоном и как бы стараясь взять в толк слова собеседника.

— Сделай такую милость, — упрашивал старик. — Сколько живу на свете, греха такого не было. Главная причина, мальчик попался! через него все вышло... Ослобони как-нибудь... а? Слышь, добрый человек!..

— Теперь нельзя, никаким то есть манером... Печать приложили! К тому, дело было при свидетелях... никак нельзя...

— Сделай милость, — продолжал старик, неудовольствуясь на этот раз умолять голосом, но пуская еще в ход пантомиму и убедительно разводя руками, которые дрожали.

Серые, плутоватые глаза кордонного устремились к амбаре, за которым слышались голоса Петра и пономельца; после этого он отступил еще несколько шагов от калитки.

— Слышь, добрый человек! — подхватил одобренный Савелий, — возьми с меня за хлопоты... только нельзя ли как дело-то это... к примеру... Нельзя ли как ослобонить... право!

Кордонный поправил баранью свою шапку, почесал переносицу указательным пальцем и на секунду задумался.

— Двадцать целковых дашь? — спросил он, понижая голос.

Савелия так огорошило, что он открыл только рот и откинулся назад.

Меньше нельзя! — спокойно-убедительным тоном подхватил кордонный, рассуди надо тепереча дать старосте в селе, дать надо мужикам, которые были в свиде-

лях, надо также целовальнику дать; не дашь — обо всем поверенному расскажут, — уж это бесприменно, сам знаешь: народ нынче какой!.. Ну, и сосчитай: много ли сойдет мне из двадцати целковых?.. Узнает поверенный — я через это пропасть должен! Наше дело такое: мы, братец, затем к должности приставлены; как, скажут, ты с вином поймал, утаил от конторы и с мужика взял!.. Я через это подлецом должен остаться перед начальством! Из того хлопочешь, чтоб было из чего...

— Двадцать целковых за ведро вина! — вымолвил старик, снова вспыхнув до самой шеи.

— Послушай, дядя, — миролюбиво сказал кордонный, — ты не кричи, — нехорошо! мы не к тому пришли сюда; говорил: помириться хочешь... так ты и делай; а то что кричать-то, не годится. По душе говорю, право, больше отдашь, коли в суд представят: за вино одно возьмут с тебя втрое; так по закону отдашь за вино двенадцать целковых! да в суде еще сколько рассоришь...

Старик слушал и смотрел в землю; теперь, более чем когда-нибудь, был он, казалось, подавлен происшедшим с ним случаем.

— Эко дело! эка напасть! — повторял он, чмокая губами, качая головой и безнадежно разводя руками.

— Батюшка, — неожиданно произнес Петр, появляясь в калитке, — поди-ка сюда!

Савелий поспешно заковылял к сыну. Тот дал ему знак повернуть за угол амбара. Там стоял маленький помолец, который, как только показался старик, снова весь преисполнился быстротою.

— Слышь, дядя, — торопливо заговорил он, хватая старика за рукав и выразительно мигая на калитку, — слышь: ничего ему не давай; плюнь, плюнь, я говорю! Окроме него, все ведь видели! видели, как малый-то попался! При народе было дело! Дашь ему — ничего не будет, слухи дойдут, все единственно! Плюнь! Сколько ни давай, — все в суд потребуют: дело такое; при народе было; дойдут слухи; все единственно! обмануть хочет!.. Плюнь, говорю!..

Мужичонок торопливо отскочил, услышав шаги за калиткой. Кордонный как будто догадался, о чем шла речь за амбаром. Он окончательно убедился в этом, когда позвал старика и тот, вместо того чтобы пойти к нему, задумчиво продолжал смотреть в землю.

— Дело такое настоящее, — сказал кордонный, бросая

злобный взгляд на помольца, который зевал на стропилы навесов как ни в чем не бывало,— мы через это пропасть можем... Всяк себя оберегает: дело такое! Представят завтра поверенному, ты его и проси... Этаким народ! сказано: в чужой кабак не ходи — нет! Теперь и разведывайся!.. А я что?.. я не могу. Поверенного проси!

Последние слова сказаны были уже за воротами. Кордонный поправил шапку и, ворча что-то под нос, быстро пошел по дороге.

— Должно быть, слышал, о чем мы здесь разговаривали...— вдруг возвратилась вся его приткось,— вестимо, слышал либо догадался, все единственно! Видит: взять нечего, разговаривать не стал! Сколько просил, дядя? сколько?

— Двадцать целковых!..

— Ах он шитая рожа! Эк, разбойник! ах ты! — воскликнул мужичонок, порываясь как-то разом во все стороны,— двадцать целковых! поди ты!.. Эк махнул! Ах, бестия! Эти целовальники, нет их хуже! самые что ни есть мошенники... душа вон! Ей-богу! Ах ты шитая рожа, поди ж ты!.. Ах он!..

Савелий не обращал никакого внимания на слова помольца: он не отрывал глаз от земли и, по-видимому, размышлял сам с собою. Никогда еще не чувствовал он себя столько расстроенным. Это потому, быть может, что во всю жизнь никогда еще не был так спокоен и счастлив, как в последние эти три года,— когда выстроил мельницу и жил сам по себе, с сыном и снохою.

— Эко дело! — проговорил он наконец голосом, который показывал, что склад его размышлений был самый безотрадный.— Вот не чаяли горя-то! вот уж не чаяли!..

Помолец снова приступил было и уже схватил его за рукав, но Савелий махнул только рукою, отвернулся и медленным, отягченным шагом побрел в избу.

V

ОБЪЯСНЕНИЕ.— НАДЕЖДЫ.— ПОСЛЕДСТВИЯ

Минут пять спустя старик снова появился на крылечке.

— Григорий! — крикнул он, озираясь вокруг с недовольным видом.— Григорий! — повторил он, возвышая голос. Гришка не откликался.

— Должно быть, где-нибудь за амбаром,— отозвался Петр, принявшийся распрягать лошадь.

— Уберешь лошадь, позови его ко мне,— сказал Савелий, уходя опять в избу.

Распрягши лошадь, Петр несколько раз окликнул мальчика; ответа не было. Петр повел лошадь и мимоходом заглянул в амбарную дверь.

— Что, ай малого-то нету? Неужели убег? — заботливо осведомился маленький помолец, ослабляя зубы, которые были так же почти белы теперь, как лицо его, выпачканное мукою,— никак, старик кликал? Как не осерчать! осерчаешь! вишь, набедовал как... насдобил! Стало быть, запужался... завалился куда-нибудь... Испугаешься!.. подожмешь хвост!.. Пойдем; я поищу; отчего ж? поискать можно!.. Пойдем.

Петр вел между тем лошадь в клетушку, прилаженную к задней части навесов; услужливый мужичонок следовал за ним, стараясь попасть в ногу и поминутно хватая его за рукав, как бы желая обратить внимание Петра на каждый угол, щель, где, по мнению мужичка, должен был непременно сидеть мальчик. Оба они вошли в клеть.

— Здесь! вот он! взял! взял! держу! — закричал во все горло помолец, хватая Гришутку, который стоял смиренно, забившись лицом в угол.

— Вижу, вижу! ну, что кричишь-то? — сказал Петр.

Ободренный словами и голосом Петра, Гришутка, остолбеневший в первую минуту от страха, зажмурил вдруг глаза, раскрыл рот и залился жалобным воплем.

— Ну, о чем плачешь-то? о чем? — промолвил Петр.— Пойдем, отец зовет; эх ты, страмник! страмник!.. право, страмник этакой!

— Высекут, это как есть! И-и, высекут! — подхватил, двигая руками и глазами, помолец,— как не высечь? Надо, не балуй!..

— Ничего этого не будет,— сказал Петр,— старик, Гришутка, ничего не сделает, только спросит... Не бойся! разве не знаешь?.. Не плачь, а то хуже...— добавил он, взяв за руку несколько утешенного мальчика.

Черненький мужичонок сопровождал их до самого крыльца; он, вероятно, пошел бы дальше, но вспомнил, что рожь приходила к концу в ящике, и опрометью побежал в амбар. Савелий находился за перегородкой, где лежала сноха его.

— Подойди сюда,— сказал он мальчику, который смотрел бычком в землю и пыжился из всей мочи, чтобы удержаться от слез.— Ну, видишь, смотри! — примолвил старик, обращаясь к снохе,— видишь, ничего с ним не сделали! не сковали, не повезли в острог... Цел, видишь! Было из чего полошиться, бежать на стужу... словно полоумная какая, право!.. Хошь бы о себе-то подумала, об ребенке подумала... А то: зря выбежала на стужу, вся раскрымшись; ну есть ли разуму-то? И стоит ли он того, чтобы сокрушаться-то о нем?.. озорник этакой!.. Поди сюда,— промолвил старик, снова поворачиваясь к мальчику и выходя в первую половину избы,— зачем поехал ты в чужой кабак, а? Разве я не говорил тебе, куда ехать? сказывай... а?.. не говорил разве?.. ну, какой твой будет ответ, а?..— заключил он, садясь на лавку.

Из объяснений мальчика открылось (голос его звучал такою искренностью, что нельзя было ему не поверить, и наконец, все слова его потом оправдались), открылось, что виновниками всего случившегося были старшие сыновья хозяина микулинской мельницы, той самой, что виднелась в отдалении. Встретив Гришку на плотине, они спросили, куда он ехал; он сказал; они уверили его, что кабак, куда посылал его дядя Савелий, был теперь заперт; целовальник уехал с женою на свадьбу сестры и возвратится только завтра; они говорили, что все равно вино можно взять в другом кабаке, что тот кабак еще ближе первого, что там вино не в пример даже лучше и что дядя Савелий скажет еще спасибо. Гришутка поверил и отправился. Он клялся и призывал всех святых в свидетели, что не сымал шапки во всю дорогу; выйдя из кабака, он благополучно поехал в обратный путь; но при выезде из села налетел на него кордонный; его схватили, повели к старосте и отняли у него вино.

Дойдя до места, когда к бочонку приложили печать, рассказчик остановился и снова залился горькими слезами, как будто в этом именно печатании бочонка и заключалось, собственно, все несчастье. Но Савелий не слушал уже его. Он смотрел даже в другую сторону. Он притупленно молчал и только время от времени досадливо потряхивал сединою, произнося упреки, относившиеся, впрочем, более к микулинскому мельнику и сыновьям его. Пора бы им, кажется, войти в совесть! пора бы оставить его в покое! Чего им еще от него надо? Разве он на реке поставил свою

мельницу? Разве перебил у них воду? У них мельница-крупчатка о семи поставах, работают они год круглый, тысячи добывают! Неужто мало им этого?.. Неужто зависть берет и не довольно вредили они ему?.. Богачи, крупчатку имеют, тысячи наживают, а завидуют какой-нибудь коло-товке о двух колесишках! Чай пьют, калачи едят крупитча-тые, а завидуют крохам бедного человека! Богачи, купцы, а на какие срамные дела пускаются! мальчика подучают ехать в чужой кабак, чтобы подвести под беду родителей!..

Под влиянием таких соображений, приправленных еще мыслью, что дело с бочонком не обойдется даром, дядя Савелий сделался ворчлив и несообщителен. В эти последние три года, как устроилась мельница, никто из домаш-них не видал его таким пасмурным, недовольным. За ужи-ном, где старик бывал обыкновенно таким болтливым, он едва сказал несколько слов. Он послал Петра рассчитать-ся с помольцем и прежде всех завалился на печку.

Петр, его жена и старая Палагея, рассуждая о завтраш-нем дне, думали, однако ж, что авось-либо на завтра серд-це старика как-нибудь разойдется. Предположения их оправдались. Заря следующего утра показала им, что лицо Савелия совсем уже не было таким, как накануне; лоб его, правда, морщился; но морщины выражали скорее суе-тливость, чем мрачное настроение духа. Он тотчас же по-слал Петра за вином; против всякого ожидания, не выска-зал он даже большой досады, отсчитывая ему следуемые четыре целковых; раза два пожал только губами и кряк-нул.

Прибытие кума и кумы, поездка в церковь, обряд креще-ния, возвращение домой — все это заметно развлекло ста-рика. Съехались гости, пошли поздравления и угощения. Не обошлось без того, разумеется, чтобы не упомянуть о происшедшей вечер неприятности; но речь об этом пред-мете благодаря стаканчикам винца, которые успели уже пропустить собеседники, приняла такой путаный характер, так часто прерывалась всякого рода восклицаниями и взрывами хохота, что не имела никаких последствий на расположение престарелого хозяина. Вообще, крестинный обед прошел весело. Савелий, сидевший между кумом Дроном и сватом Стегнеем, смеялся даже громче их, когда к концу угощенья старая Палагея выскочила вдруг из-за перегородки и, прищелкивая пальцами, начала отхватывать какие-то диковинные коленца.

Хорошее расположение старика не прерывалось даже и на другой день. Он спал еще, когда на двор въехало семь подвод с рожью. Одно разве могло несколько озабочивать старика: внучек, который был так покоен, начал вдруг ни с того ни с сего кричать; вместе с этим узнал он также, что Марья сильно жаловалась на головную боль. Легко могло статься, что простудилась она, выбежав на крыльцо, когда привезли Гришку; но отчего бы ребенку плакать? отчего бы ему не брать груди?.. Напрасно уверяла Палагея, что все дети кричат на второй день, что крик внучка, может, происходит оттого также, что просто не в охоту грудь матери и лучше будет, коли дадут ему рожок; но слова ее пропадали, казалось, даром. Старик качал головою и пожимал губами.

Надо было, однако ж, обратиться к делу; не всякий день является по семи помольцев на мельнице! Двое суток сряду отбою не было от помольцев; жернова работали без отдыха, и мучная пыль не переставала клубиться над амбаром. В день крестин и последовавший затем день Савелий не проходил мимо Гришки, чтобы не погрозить ему пальцем или не остановиться, подперевшись в бока, и не сказать ему: «Эх, ты у меня... Эх!.. Смотри!..»

Но теперь все это миновало; он звал его Гришуткой, Гринькой и Гришахой; словом, все пошло опять по-старому, пока неожиданно, на четвертый день после крестин, утром явился сотский. Он был от станowego пристава. Это обстоятельство навзничь опрокинуло мирное течение мыслей в голове Савелия. Было отчего, впрочем. Оказывалось, что на Савелия поступила в стан «бумага» за противозаконный провоз вина из чужой губернии. Становой велел ему тотчас же явиться на становую квартиру. Сотский издавна знаком был Савелию; пошли спросы-расспросы. Сотский сказал, что дело, собственно, не большой важности; придется только поплатиться; но сколько придется отдать — этого не знал он положительно.

— Так точно, — хрипел сотский, представлявший из себя совершенное подобие гриба, закутанного в чахлую шинелишку, такого же цвета и такую же морщинистую, как лицо его, — денег с тебя возьмут, так по положению, это так точно; главная причина, проси Никифора Иваныча (так звали станowego), его проси, чтоб до суда не доводил; поблагодарить придется, не без этого, так точно; главное, без денег не суйся; возьми денег; требуется; лучше дай, сразу реши

дело, отрежь; таскать начнут — дорожке обойдется, не в пример дорожке, это так точно...

Во время этого объяснения Петр стоял шагах в трех и тревожно смотрел на отца, который бил себя по полушубку и вообще выказывал величайшее беспокойство. Гришка, пропавший при первом появлении сотского, сидел между тем в самом темном углу клетушки; он был ни жив ни мертв. Но никто об нем не думал; не до него было совсем. Мигом заложена была тележка. Пока Петр, по приказанию отца, отсыпал сотскому мучицы, Савелий оделся. Он не послушал, однако ж, сотского, не взял денег. Ему хотелось прежде уяснить хорошенько все обстоятельства, убедиться, точно ли дело такой важности, как показалось со страху, точно ли суд вступится в такую безделицу. «Что ж такое, что мальчик кабаком обознался?» — рассуждал он. «Разве кто-нибудь от этого отпирается? Коли в самом деле по закону так требуется, он, пожалуй, готов отдать, что следует,—его грех! Но больше давать за что же? Лучше съездить лишний раз домой, достать сколько денег требуется, чем брать их с собою... Может, так как-нибудь, и безо всего еще обойдется; возьмешь деньги, того и смотри, пронюхают как-нибудь; тогда уж не отвертишься, возьмут, потому статья такая будет подходящая...»

Так рассуждал сам с собой старик, всячески стараясь ободрять себя; между тем руки его дрожали и под сердце подступали тоска и беспокойство. Он довез сотского до Ягодни и прямо пустился на станovou квартиру. Становой уехал в город и раньше двух дней не мог возвратиться. Савелий узнал, сверх того, что и письмоводителя также не было. Оставался только писарь, но последний не мог дать никакого объяснения касательно дела; он советовал старику ехать в город и скорее явиться к становому. Покормив лошадь, Савелий в тот же вечер поехал в город. От стана до города считалось верст тридцать; ему хотелось поспеть туда чем свет на другое утро.

Мысли, бродившие в голове старика, были такого свойства, что, конечно, не могли развлекать его приятным образом. Во всю дорогу лицо его сохраняло озабоченное, задумчивое выражение; ни разу не оживилось оно той добродушной улыбкой, которая снова, казалось, установилась на губах его. Впрочем, и самое время изменилось теперь против того, как было в последние дни. Рыхлые, тяжелые тучи покрывали небо; накануне, в эту самую пору,

поля ярко еще освещались закатом — теперь наступали сумерки; даль начинала уже пропадать, заслоняясь густым, сизым мраком. Пасмурное небо смотрело неприветливо, тускло; серо и голо было в окрестности. В воздухе также произошла большая перемена; вместо сухой морозной свежести, румянившей щеки и приятно щекотавшей ноздри, дул теперь мягкий, но сильный, порывистый ветер. В мутной глубине сгущавшихся сумерек слышно было, как шумели рощи. Сухие листья, кружась и шуршукая, проносились мимо; отставший листок падал иногда на дорогу и, как бы не решаясь пуститься одиноко в сумрачную даль глухого поля, долго-долго катился по дороге, пока наконец не встречал новых товарищей, которые подхватывали его и снова увлекали дальше... Местами на пути попадались ручьи и реки; дня три назад мороз покрыл их ледяною корой, и смело можно было на ней держаться; вода теперь отовсюду просачивалась, и лед осаживался. Нельзя было ждать, однако ж, ненастья. Время дождей и грязи давно миновало. Рыхлые тучи и мягкость воздуха предвещали другое; с минуты на минуту надо было ждать снега; снег, как говорится, висел над головою.

Савелий ехал всю ночь. Был уже час шестой, когда сквозь редяющий мрак показались наконец городские церкви, едва тронутые бледной утренней зарею.

VI

КОШКА И МЫШКА

Город, куда не замедлил въехать Савелий, считался — и совершенно справедливо — одним из самых значительных наших уездных городов. Когда-то думали даже сделать его губернским. Он раскидывался по берегу большой, судоходной реки; здесь ежегодно грузилось несколько тысяч судов, уносивших в Москву и Нижний рожь, овес и пшеницу. Большая часть обывателей занималась оптовой хлебной торговлей. Нельзя было сделать десяти шагов на любой улице, чтобы не пройти мимо лабаза, украшенного снаружи скамьею с намалеванной посредине шашечной доскою, на которой восседали хозяева с седыми, черными и рыжими бородами. Многие из этих бород имели миллионы. Город богател и процветал год от году.

Все это не мешало, однако ж, что в городе никак не

могла утвердиться контора дилижансов. Контора устроилась прекрасно, экипажи были отличны; цена за места назначена была самая умеренная; от города до Москвы брали всего четыре целковых. Но почетное купечество находило более выгодным ездить с вольными ямщиками, которые держали кибитки, устроенные таким образом, что, в случае надобности (а надобность всегда встречалась), можно было помещаться человеку трем на козлах и человеку пяти в рогожном мешке, прикрепленном в задней части кузова. Последние места обходились в один рубль. Бедные пустые дилижансы с сокрушенным сердцем взирали на то, как почтенное купечество погружалось в мешки, проскакивало до Москвы вверх ногами и, погрызывая сайку, лукаво на них посматривало. Контора не могла долго бороться против такой опасной конкуренции: рогожные мешки одержали победу, и дилижансы скоро закрылись.

Часов около девяти Савелий отправился отыскивать станового; он был у него на квартире, но там сказали, что Никифор Иванович ушел в уездный суд. Уездный и земский суды помещались в большом двухэтажном доме, смотревшем на собор и отличавшемся белизною наружных стен. Уездный суд был во втором этаже. Поднявшись по лестнице, Савелий вступил в темную прихожую, казавшуюся еще чернее от множества шинелей, висевших на стенах. Тут стояло довольно много мужиков, попадались даже бабы. Едва вошел Савелий, одна из баб тотчас же обратилась к нему и, утирая слезы, сказала:

— Батюшка... кормилец, взмилуйся!.. Муж у меня ратник, год слуху об нем не имею; не знаю, жив ли, умер ли... Была у ротного, сюда прислал, кормилец...

— Чего ж тебе надо? — нетерпеливо спросил Савелий.

— Батюшка, не сказывают ничего об муже-то... Пришла сюда бумага об нем,— да не сказывают... Просила-просила,— пятьалтынный спрашивают; без этого не сказывают... А нет у меня ничего, кормилец; пришла я, отец, за сорок верст... взмилуйся, не поможешь ли?..

— Как же, много у меня! Дело-то, может, твоего хуже...— проговорил Савелий, хмуря лоб и не обращая внимания на соседей, которые скалили зубы.

Он дал ей, однако ж, грош и, чтобы избавиться от дальнейших преследований, протискался вперед к двери. Посреди второй комнаты, окруженной столами, за которыми человек десять трещали пером, стоял, раздвинув ноги,

голый господин с шитым воротником и толстыми руками, заложёнными за фалды; раздув брюзгливо губы, насупив брови, он неохотно слушал какого-то белокурого человека, который шептал ему на ухо, страшно егозил и весь расплывался, таял и умилялся. Господин с шитым воротником, видимо, скучал; глаза его воспалёнными белками блуждали по сторонам; они остановились на двери в ту самую минуту, как белая голова Савелия высунулась из толпы.

— Чего тебе? — густым басом спросил его господин с шитым воротником, очевидно, с тою только целью, чтобы развлечь себя.

Савелий сказал, что он, собственно, затем здесь, чтобы видеть станowego Никифора Иваныча, который, так сказали ему, здесь находился.

— Никифор Иваныч! — забасил стоячий воротник, тяжело поворачиваясь на каблуке и не обращая никакого внимания на белокурого человека, который продолжал припадать к его уху и по-прежнему егозил, таял, млея и умиленно что-то нашептывал.

В соседней комнате слышался голос и чьи-то быстрые шаги; секунду спустя в дверях появился Никифор Иваныч — человек молодой, круглый, румяный и очень снисходительного вида. Савелий выступил два шага и поклонился.

— Что скажешь? — ласково спросил становой, закинул руки за фалды и начал перекачиваться с носков на каблуки и обратно.

Савелий сказал, что за ним посылали, и передал ему свое дело.

— Знаю, знаю, — перебил становой, — так это, брат, ты попался? хорош гусь! Дело твоё теперь уже не у меня; оно поступило сюда к исправнику; я, собственно, затем тебя и вызвал в стан, чтобы ты немедленно сюда явился.

Ободренный ласковым видом станowego, Савелий начал просить, нельзя ли ему как-нибудь вступить, ослобонить его.

— Что ты, братец, не понимаешь разве, что ли? Русским языком говорю: дело о тебе поступило уже к исправнику; я тут ничего не могу; проси исправника или вот, чего же лучше: сходи к откупщику, его попроси; он же, на твоё счастье, вчера в город приехал; его проси, а я ничего не могу.

Савелий слушал все это, понуря голову и переминая в руках шапку. Живая сметливость и восприимчивость духа,

которых не могли победить годы, теперь как будто его оставили. Ум его, так быстро соображавший размеры колес относительно количества воды, так хитро придумывавший шестерни и всякие улучшения в плотинах, так ловко применявший самое незаметное обстоятельство к успеху мельничного и плотничного дела, не давал ему теперь никакого объяснения и совета.

«Гришутка попался с вином, это точно; вино по закону запрещено брать в чужом уезде или губернии, это так; становой вызвал его по этому случаю; оказывается, что дело уже перешло к исправнику; почему же к исправнику? неужто в самом деле так важно это дело и будут его судить? его? За что же? Такая дрянь нестоящая,— ведро вина! — и сколько возни, хлопот, быть может, даже издержек?.. Что же там за откупщик такой? Неужто властен он над исправником? Надо к откупщику идти... надо... А ну, как держит он руку исправника?..»

Все это сбивало старика с толку и наполняло туманом его голову. В этих комнатах, перед этими пишущими людьми, перед этими господами в светлых пуговицах, он чувствовал себя как будто на другой планете, в другом мире, чувствовал себя совершенно отчужденным, уничтоженным, подавленным, без силы, без воли и разума. Нет, здесь не то что на улице Ягодни, где каждый был ровня, каждый готов был его послушать, каждому почти был он нужен при случае; здесь не то что на мельницах, где все представлялось ему таким понятным и ясным; здесь никто не нуждался в колесах, плотинах, советах насчет жерновов, толчеи и снастей; здесь на все это плевать хотят, и требуется здесь совсем другое... Робость невольно прокрадывалась в душу старика; ласковое обращение станового ободрило его только на минуту. Как только исчез Никифор Иванович, два-три мужика приступили к Савелию с расспросами, но он не отвечал; он торопливо вышел на лестницу, надел шапку, потом снял ее, два раза перекрестился и, спустившись на улицу, спросил, куда идти к откупщику.

Дом откупщика знаком был каждому в городе; Савелию стоило только обратиться с вопросом своим к первому человеку, чтобы узнать дорогу. К тому же дом находился недалеко от присутственных мест; это было большое каменное здание, выходившее одним боком на просторный двор, обнесенный вокруг деревянными навесами и другими строениями. Савелий застал на дворе человек тридцать

народа; все они, очевидно, принадлежали к дому; кто перекатывал бочки, кто набивал обручи, кто таскал мешки с солодом. Против одного из строений, находившегося ближе к дому, стояла распряженная карета, возле которой возился кучер в черном плисовом казакине. Откупщик действительно только что накануне прибыл. Он заглядывал сюда раз или два в год, когда проезжал через губернию, которую держал на откуп. Для таких случаев в доме, нанимаемом собственно для конторы, оставлялось несколько комнат. Откупщик с семейством своим жил или в Москве, или в Петербурге; и тут, и там имел он собственные дома; сверх того, в окрестностях обеих столиц были у него дачи, отделанные с баснословным великолепием. Все это возникало вдруг, как бы по мановению волшебного жезла.

Роскошь Пукина (так звали откупщика) давно проникла через молву уездного города, куда прибыл он накануне. Многие из обывателей уезда были у Пукина в Москве и Петербурге; возвращаясь восвояси, они по целым неделям ни о чем больше не говорили, как об убранстве комнат Пукина, о его обедах, лошадях, цельных зеркальных окнах, резных потолках и о том невероятном богатстве, которое позволяло ему бросать деньги, как песок. Ясно, что приезд такого человека должен был всегда производить впечатление в уездном городе. В промежуток трех-четырех дней пребывания Пукина должностные лица и многие из частных обывателей почти не выходили из дома откупщика: они пили у него чай, завтракали, обедали, играли в карты и ужинали. Так было и теперь. В то время, как Савелий входил на двор конторы, у Пукина сидели гости.

Ранний час утра не позволял обществу быть многочисленным; оно состояло пока из исправника и городничего. Оба сидели с хозяином дома в большой зале, смотревшей окнами на двор. Тут находился также управляющий конторою и два поверенных; но последние не принадлежали обществу,—их считать нечего; первый стоял поодаль в каком-то подобострастном оцепенении, два другие торчали в дверях, сохраняя на лицах выражение благоговейного умиления.

Не следует, впрочем, думать, чтобы обращение исправника и городничего отличалось особенною фамильярностью; разница между первыми и вторыми состояла почти в том, что первые стояли, тогда как вторые сидели. Иначе даже быть не могло. Начать с того, что Пукин был благодетель город-

ничего: он выхлопотал ему место, разместил детей его, помог выстроить дом после пожара, дал раз две тысячи рублей, которых не достало при каком-то казенном отчете, и тем спас protégé своего от позора и гибели. Городничий ясно понимал, может статься, что благодетель действовал неспроста; понимал он это, но, с своей стороны, лез из кожи, желая доказать Пукину свою благодарность: позволял держать кабаки открытыми до часу ночи, и даже всю ночь, скрывал все случаи, происходившие в этих приютах, и проч., и проч. При всем том мера благодеяния превышала все-таки выражения благодарности, и городничий не мог считать Пукина за обыкновенного человека. Что же касается исправника, он стеснял себя перед откупщиком совершенно бескорыстно; он знал, что Пукин слишком привык к лести и подобоострастию, чтобы можно было подъехать к нему такими путями. Исправник просто не мог победить в себе чувства невольной робости и удивления при виде человека, который из ничего сделал себе миллионы и бросал деньгами, как песком. Пукин возбуждал, впрочем, удивление и не таких добродушных людей, как исправник. Одни удивлялись его гению, других поражало безграничное его тупоумие; замечательнее всего, что те и другие были совершенно правы.

Гений Пукина заключался в следующем: не далее четырнадцати лет назад он служил на побегушках и, как говорили, исправлял даже самые низкие должности у откупщика Сандараки, успевшего также нажить миллионы и носящего теперь фамилию Сандаракина. Пукин понравился, получил место поверенного, потом дистанционного и наконец попал в управляющие конторой. Счастье ли тому способствовало или так распоряжался уж Пукин, но в два года уезд, под его управлением, дал Сандараки вдвое больше прежнего. Изобретательность Пукина была изумительна; она удивляла даже Сандараки, который сам прошел огонь, воду и медные трубы и давно уже ничему не удивлялся. Известность Пукина росла между откупщиками; начали его переманивать, но Пукин остался верен Сандараки. Последний дал ему небольшой пай в каком-то большом предприятии и послал его уполномоченным на свое место. В акте сказано было, что Сандараки дает мещанину Пукину два пая; но Пукин из двух ухитрился сделать двадцать два, хватил неслыханный куш и учтиво тогда раскланялся с Сандараки, который должен был поневоле молчать:

предприятие было такого рода, что обязывало не раскрывать тайны. Пукин вышел сух и бел, как лебедь из воды, расцвел, вырос, представил залогов и сам сел в откупщики. Он, говорили, был уже тогда в семистах тысячах. Дело его пошло отлично, счастье ни разу не изменило. Откупщики только ахали; многие, несмотря на молодость Пукина, стали обращаться к нему за советами. Вскоре Пукин нашел покровителей между людьми сильными. Он так пошел вдруг в ход, что все об нем заговорили. Он брал теперь по десяти городов на откуп, брал целые губернии,— и ни разу не оборвался. Начали его бояться: стоило Пукину явиться на переторжку — ему давали огромные отступные суммы, чтобы он только не набивал цен, и т. д.— словом, в четырнадцать лет из человека, исполнявшего низкие должности у Сандараки, Пукин сделался миллионером. В этом, по мнению многих, заключалась гениальность Пукина.

Тупоумие откупщика основывалось вот на чем: как только явились у него миллионы (известно, как легко они ему достались), он вообразил себя каким-то всеобъемлющим человеком; отправляясь с этой точки зрения на пути богатства, Пукин тотчас же заразился самым непомерным тщеславием. Пройдя от доски до доски всю школу надувательства, он позволял теперь надувать себя самым жалким образом. Двум-трем негодьям, движимым очевидным расчетом, ничего не стоило, например, уверить его, что он, Пукин, ничему никогда не учившийся, едва знающий грамоту,— был все-таки умнее их всех; они твердили ему с утра до вечера, что он обладает способностями министра, что на него устремлены взоры государства, что он, Пукин, человек популярный! Пукин, при всей своей плутоватости, чистосердечно всему поверил,— поверил как простофиля. В ослеплении своем он толковал о Европе, разрешал вопросы высшей политики, высказывал суждения о литературе, не понимая страшного комизма той роли, которую на себя принял. Фимиами, которыми воскуряли подленькие сеиды и мюриды, составившие двор его, решительно вскружил Пукину голову. Он помешался на том, чтобы быть популярным и чтобы об нем говорили. С этой целью, собственно, сыпал он такие безумные деньги. Стоило явиться какой-нибудь дорогой вещи, будь эта вещь: дом, лошадь, картина, главное, чтобы она была дорога и пришлась не по карману какому-то графу и князю,— Пукин тотчас же покупал ее.

Все для той же цели купил он дом в Москве и отделал его великолепно, купил дом в Петербурге и отделал его еще великолепнее. Он покупал картины, бронзу, редкости. Пушкин находился в полном убеждении, что совершенно достаточно знать толк в пиве и пеннике, чтобы уметь ценить произведения искусства; он сделался меценатом, покровительствовал художникам; и тут, так же как и везде, сыпал деньгами самым бестолковым образом. Художникам было это, конечно, с руки: они сбывали ему свой хлам, получая за него больше, чем за лучшие свои картины. Но Пушкину было все равно, он не гнался за достоинством, — да и грех ему было! — ему нужно было только знаменитое имя на картине, нужно было много картин, чтобы говорили «известная галерея Пушкина!» — вот за чем он гнался.

Роскошная жизнь, великолепные обеды, на которые не стыдились являться очень умные люди, чтобы поесть, попить и потом посмеяться над Пушкиным, — все это, весьма естественно, имело некоторое влияние на мещанина, бывшего на побегушках у Сандараки. Из разбитного Степки, перетянутого сначала полушубком, потом чуйкой, потом уездным сюртучком с высокой тальей, — образовался господин, с величественной, комически-горделивой осанкой, покровительственно улыбающейся физиономией, глубоко-мысленно раздувающий ноздри и с достоинством махающий руками. Он самодовольно судил и рядил теперь обо всем, не терпел возражения и мрачно хмурил брови, когда что-нибудь не по нем выходило. Таким являлся он дома, сидя в бархатных своих креслах, на улице — в своей бекеше или трехтысячной шубе. На самом же деле был он тот же Степка, тот же приказчик питейного дома, но только в бобрах вместо овчины и смотревший не из кабака теперь, но из кареты или из окна роскошного дома, в котором каждый кирпич представлялся воображению ведром пенника, сильно разбавленного водою...

Но мы, кажется, довольно уже говорили о Пушкине, чтобы стоило распространяться о его наружности. Достаточно сказать, что Степан Петрович Пушкин изволили откусывать чай, оделись и вельможественно расхаживали по зале, возбуждая удивление городничего и исправника и подобострастное благоговение управителя конторы и двух поверенных. Он сделал таким образом несколько поворотов, когда в дверях залы показался становой Никифор Ивановч.

— Честь имею явиться-с Степан Петрович! — весело

сказал Никифор Иваныч, делая несколько шагов вперед и протягивая руку хозяину дома.

Такая смелость, и еще в становом, видимо, не понравилась откупщику, он небрежно кивнул головою и подал палец, украшенный богатым перстнем.

— Здравствуйте,— сухо сказал он.— У вас там в стану опять что-то случилось,— отрывисто прибавил откупщик,— первый раз слышу, чтоб в одном и том же стану так часто случались у нас неприятности...

— Что такое? — спросил Никифор Иваныч, с недоумением поглядывая на городничего и исправника, которые укоризненно качали головою.

— До меня то и дело доходят слухи,— продолжал Пукин,— что в вашем стану народ поминутно попадает с контрабандным вином.

— Невозможно справиться, Степан Петрович,— возразил сконфуженный становой,— мой стан пограничный, входит углом в соседнюю губернию; наконец, что ж мне делать? я рад был бы, чтобы этого не случилось... но это совершенно не в моей власти.

— Я вам говорил, Никифор Иваныч! — произнес значительно исправник.

— Ваше дело их преследовать, Никифор Иваныч,— преследовать и преследовать! — с жаром сказал городничий, выпуская клуб дыма.

Городничий курил сигару, предложенную ему Пукиным; куря ее, городничий раздувал ноздри, щурил глаза, сладко вдыхал дым — словом, всячески старался показать хозяину дома, что испытывает неописанное наслаждение и блаженство.

— Садитесь! — сухо сказал Пукин, обращаясь к становому и принимаясь снова расхаживать.

Услышав шум на дворе, он повернул туда голову и подошел к окну. Кучер Пукина гнал в шею какого-то седенького старичка, который хотел что-то объяснить стоявшим тут же мужикам и порывался вперед.

— Спросить, что там такое? — произнес откупщик, кивая головою двум поверенным.

Те полетели стрелою; через минуту возвратились они и, перебивая друг друга, сообщили, что какой-то мужик хочет непременно видеть Степана Петровича.

— Спросить, что ему надо... или нет, привести его сюда! — сказал Пукин.

На этот раз за поверенными кинулся сам управляющий конторой. Они ввели Савелия.

— Что тебе надо? — спросил Пукин, снисходя к такой роли по какому-то странному капризу, свойственному богатым, избалованным людям.

— Это тот самый мужик, который... — начал было становой.

— Что такое? — нетерпеливо перебил его Пукин.

— Который, — подхватил Никифор Иваныч, — в последний раз с вином попался.

— Точно так... ваша милость... — заикаясь, сказал Савелий, — по нечаянности, простите, сударь... вам господь вдвое воздаст... Сказывают... теперича с меня двенадцать целковых потребуют... простите, сударь!.. вам господь втрое воздаст!..

Добродушие старика, который не шутя, казалось, думал, что Пукин гонится за двенадцатью целковыми, вырвало у последнего невольный смех; с этим смехом обратился он к исправнику и городничему; те также засмеялись и пожали плечами.

— Простите... сударь... Помилуйте!.. — повторил Савелий упавшим каким-то голосом.

Он чувствовал себя здесь еще более отчужденным, чем даже в суде, перед лицами с светлыми пуговицами. Так ли уж настроили старика впечатления нынешнего дня, или напуган он был поверенными, — но внутренний голос шептал ему, что перед ним теперь сила и воля страшная — сила и воля, которые все ломили, перед которыми все должно было уступать и склоняться. Робость подступала к его сердцу и путала его мысли; он казался таким жалким маленьким, раздавленным, уничтоженным; комкая свою шапчонку, не смел он поднять глаз и слышал только, как звенело в ушах и как стучало сердце.

А между тем другой какой-то голос, извне как словно вторгавшийся в залу откупщика, — голос, сначала тихий потом постепенно укрепляющийся, начинал ходить внутри и вокруг всей конторы... Голос с каждой секундой разрастался и приобретал больше и больше силы... Буря, опустошающая села, ломающая столетние дубы, поднимающая к небесам волны морские, уносящая кровли и хижины как щепки, — не так, казалось, ревет и грохочет, как ревел теперь этот голос, потрясавший до основания, до последних сводов каменное здание конторы... Звук откупщицкого

баса терялся и пропадал, как едва приметная пискотня едва приметной мухи... Все заглушалось голосом, который, постепенно возвышаясь, вырастая сильнее и яростнее, покрывал шум города и все дальше и дальше распространялся, как громовые раскаты... И ясно, казалось, ясно для всякого слуха говорил голос: «Не бойся, дядя Савелий! не робей! смотри прямо,— смело и прямо смотри в глаза откупщику Пукину! Не пугайся его, дядя Савелий, не кажись таким маленьким и подавленным! Смелей, дядюшка Савелий, смелей! Выпрями спину, подыми седую голову, взгляни ему гордо в глаза! Не ты перед ним маленький,— он перед тобой прах и крошка! Ты ведь также капиталист, дядя Савелий. У тебя сорок целковых,— и каждый грош твоего капитала выбит честным трудом и покрыт потом,— каждый грош его миллионов заклеймен плутней! кто же из вас двух богаче? Кто?... Не робей же, дядя Савелий,— не робей! Ободришь и прямо смотри на откупщика Пукина, он прах перед тобою,— честный ты труженик, честная, простая душа! Прах перед тобою — частицей той могучей, прочной силы, перед которой откупщик Пукин с его миллионами ничтожен, как самая ничтожная пылинка, сорванная ветром с кучи негодного сора!...»

Но слова таинственного голоса,— слова внятные и ясные для всех,— проходили неслышными мимо ушей Савелия. Вместо того чтобы ободриться, продолжал он комкать свою шапчонку, продолжал обливаться потом, не находя даже смелости повторить свое оправдание. «Простите... батюшка!.. Помилуйте!» — вот все, что мог сказать он, когда Пукин снова к нему обратился.

— Который случай? — спросил Пукин, поворачиваясь к управляющему.

— Двадцать седьмой-с! — живо возразил тот, тараща глаза и страстно как-то впиваясь в лицо начальника.

Пукин значительно приподнял брови.

— Нельзя простить,— сказал он, взглянув на Савелия, который завертел опять шапкой,— вы этак все, пожалуй, станете ездить в соседнюю губернию; вас поучить надо хорошенько, поучить — непременно!.. Андрей Андреич,— добавил он, подзывая исправника, который шарахнулся к нему со всех ног,— пожалуйста,— подхватил Пукин, отводя исправника несколько в сторону,— подержите у себя этого старика; он заплатит установленный штраф,— это само собой; но вы, сверх того, подержите его еще у себя на

домашнем аресте; они больше даже этого боятся, чем штрафа; нужно, чтоб знали в народе, что такие проделки даром не обходятся...

Во все это время исправник моргал глазами, внимательно слушал и одобрительно кивал головою; как только Пукин кончил, исправник обратился к Савелию, велел ему идти к себе на квартиру и дожидаться там его возвращения.

— Нельзя, господа, никак нам нельзя пропускать такие случаи безнаказанно! — заговорил Пукин, входя в роль оратора, которая всегда ему очень нравилась. — Какое-нибудь ведро вина, сто, тысячу ведер для нас ничего не составляют! вы понимаете, тут дело не в ведре вина, а в искоренении злоупотребления, в нарушении порядка, нарушении наших постановлений! Сказано народу: не ходи в чужую губернию; он должен повиноваться! Не повинуются — заставь повиноваться!.. И наконец, имеем мы, кажется, полное право требовать повиновения в отношении к нашим постановлениям! Платим мы миллионы за такую-то губернию, такой-то город; я заплатил, дал деньги, купил право — народ должен пить у меня, а не у другого!.. Что ж бы это такое было? Хорошо бы шли откупá! Да они плевать бы тогда не стоили! не стоило бы рук марать!.. — продолжал Пукин, самодовольно поглядывая на присутствующих, которые сохраняли, за исключением, может быть, одного станового, сохраняли такой вид, как будто прислушивались к сладчайшей музыке.

Они даже били такт головою... Савелий сидел между тем на дворе исправника и ждал, когда тот явится, чтобы решить его участь. Он ждал долго. По прошествии трех часов разнесся слух, что исправник рано дома не будет: он остается обедать у откупщика и проведет там остаток вечера. Известие это принес старый инвалид, занимавший должность рассыльного в канцелярии исправника.

— Где тут мужик, который к откупщику ходил... ты, что ли? — спросил неожиданно рассыльный, взглянув на Савелия.

— Я, касатик...

— Тебя велено не пускать отсюда; задержать велено.

— Как же так, батюшка... Что же это?.. — проговорил Савелий, озираясь кругом, как потерянный.

— Так приказано! — возразил рассыльный, не давая другого ответа.

Домашнему аресту в квартире исправника подвергаются только те крестьяне, которые по незначительности вины не могут быть посажены в острог; такое право предоставлено исправнику; но он может приводить его в исполнение и не приводить — по своему произволу; нет ему никакой охоты держать у себя на дворе постороннего человека; правда, может он заставить арестанта возить воду, колоть дрова, топить печи и проч.; но игра свеч не стоит. Сажая под арест, исправник по большей части делает дружеское одолжение помещику, который просит его об этом, не зная, как справиться с крестьянином, требующим некоторой острастки. Домашний арест входит, следовательно, в состав частных, домашних мер. Для негодяя арестанта мера эта недействительна, если она не соединяется с розгами; ничего не стоит ему убежать — никто за ним не присматривает; ему скажут только, чтобы не смел он никуда выходить, — и только.

Савелий покорился судьбе своей и решился терпеливо дожидаться исправника. Его беспокоила мысль о домашних: что-то скажут они, как увидят, что он не возвращается; пройдет эта ночь — и будет уже двое суток, как он выехал из дому. Немало также сокрушала его лошадь, оставленная на постоялом дворе; кто об ней побеспокоится? Кто даст корму? Вот уж часов шесть будет, как она, сердечная, ничего не ела. Старик сообщил свои беспокойства другому инвалиду, несколько помоложе первого и, как казалось, более снисходительному. Инвалид не обманул его ожиданий: точно оказался добряком. Он согласился вывести старика, как только смеркнется, и сходить с ним на постоялый двор; за все это просил он только гривенник; он требовал, однако ж, чтобы арестант не делал сопротивления, когда придет время назад возвращаться. Савелию доставлен был таким образом случай переговорить с хозяином постоялого двора; тот согласился оставить у себя лошадь и кормить ее.

Савелий тем охотнее начал сокрушаться о семействе, что ничто уже его не развлекало. Исправник явился домой ночью; на другое утро встал он поздно, велел сказать просителям, чтобы приходили завтра, и снова на весь день отправился к откупщику. Тоска еще неотвязчивее, чем накануне, приступила к Савелию.

«За что же здесь держать? Хоть бы сказали, по крайней мере, чего хотят? Коли штраф заплатить требуется, он

готов это сделать; но что же значит, что не выпускают его отсюда?.. У него свои дела есть: у всякого есть дела свои!.. Теперь самое время помола; одному Петру не управиться. Кроме того, живучи в городе, приходится кормить лошадь ни за что ни про что... везде убытки, изъян!..»

Он не переставал ходить по двору и беспокойно потряхивать седою головою: тоска подмывала его, и не сиделось ему на месте; посидит минуты две, ударит себя ладонями по полам полушубка — и снова пошел кружить по двору исправника. В таком положении находился Савелий, когда неожиданно попался ему благодетель. Благодетель был не кто другой, как писарь, или письмоводитель исправника, — человек с косым левым глазом и флюсом на правой щеке, туго перетянутой косынкой. Савелий заметил, что писарь утром и в обед прошел мимо него два раза и кашлянул; но старик сначала не обратил на это внимания и ограничивался тем, что вставал и кланялся. Вечером, на второй день, письмоводитель снова явился, прошелся по двору и кашлянул; на этот раз, однако ж, он остановился, подозвал старика и сказал:

— Ну что, старче, скучаешь, а?..

— Вся душа изныла, батюшка. Хлеба даже лишился... — отвечал Савелий, — хоть бы узнать только, когда конец-то этому будет... Кажись, все бы отдал, чтобы только выпустили!.. Похлопочи, батюшка!.. век буду за тебя молить бога!..

— Что ж, это можно... — сказал письмоводитель, моргая косым глазом, — похлопотать можно... только без денег нельзя...

— Мы, отец, не постоим в этом; сколько надо, готов отдать... Только ослобони, Христа ради!.. Ослобони, батюшка!

— Тридцать целковых, — ласково сказал письмоводитель.

Савелия при этом встряхнуло, словно кто-нибудь дал ему тумака в спину.

— Тридцать целковых, — продолжал письмоводитель, поправляя платок, перевязывающий щеку, — менее нельзя; из них штрафных за вино отдать надо двенадцать целковых; потом придется еще кой-кому дать... без того не выпустят! Не скупись, старик, ой, не скупись! тебя же жалеючи, говорю; ведь хуже будет: продержат здесь недель

шесть, пожалуй; там, пожалуй, в острог еще посадят... Ну что тебе: раз отдал — и дело кончил; убытков меньше будет; а уж я похлопочу, дело сделаю; одно говорю: выпустим.

— Батюшка! — воскликнул Савелий, — у меня и денег-то таких нет... Где же их взять-то? Где?

— Найди как-нибудь, твое дело! У тебя лошадь здесь есть, — продай! Говорю: дашь эти деньги — дело решенное, поконченное; это все в наших руках! Ни за какие деньги не захочу я в подлецах остаться; сказал: сделаю, стало, можно, потому и говорю; у нас случаи такие бывали; не впервой; свертим, говорю: дай только деньги!..

Надо было на что-нибудь решиться: или сидеть здесь в мучительной неизвестности, подвергая себя изъязну, или отдать деньги. Савелий думал, и как ни тяжело было — решился на последнее. Затруднение состояло в том теперь, как дать слух домой и вытребовать сына, потому что лошадь свою Савелий ни за что не хотел продавать. Продать ее можно было одному хозяину постоянного двора; но тот, зная положение продавца, конечно, даст за нее втрое меньше против цены настоящей. С такими мыслями сидел он на третьи сутки, когда услышал за собою шаги; подняв голову, увидел он младшего инвалида, который шел к нему торопливо.

— Старик, тебя спрашивают, — сказал инвалид, указывая на калитку, — никак, сын пришел проведать...

Савелий опрометью бросился к калитке; увидев Петра, он в радостях трижды поцеловался.

— К тебе, батюшка, — сказал Петр, оглядывая отца беспокойными глазами (он едва переводил дух, и, казалось, столько же происходило это от внутреннего волнения, сколько и от усталости), — добре уж очень об тебе соскучились... Сутки нейдешь, вторые нет тебя, — пошел я на станковую квартиру; оттуда сюда... Начал по постоялым дворам спрашивать, — никто не знает! Тут напал на нашу лошадь... мне все сказали...

— Да, — перебил Савелий, прищуривая глаза и с горечью потряхивая сединами, — жил век, ничего со мною такого не было... привелось под старость!.. Дорого обошлось нам это ведро вина!.. пуще того сумленья одного сколько!.. как быть... за грехи, видно, господь наказывает!..

Старик провел ладонью по глазам и задумался.

— У нас, батюшка, тоже есть дома не ладно,— сказал Петр,— мальчик мой добре разнемогся...

Старик перекрестился, не поднимая головы.

— Не знаю, что такое сделалось,— продолжал Петр,— кричит день-деньской и ночь всю... весь даже извелся; одни косточки остались!.. Палагея сказывала: у жены молоко, вишь, как-то попортилось... очень уж в ту пору она испугалась, как Гришку схватили... сама опосля сказывала; да это не от того припало к мальчику: он и рожка не берет... чем живет,— бог ведает!..

— Видно,— произнес старик, покашливая,— видно, горе-то не в одиночку ходит... не в одиночку!.. Прогневили, знать, господа!..

Старик отвел сына несколько в сторону и передал ему от слова до слова разговор с письмоводителем; требование тридцати целковых озадачило Петра ничуть не менее, чем отца; но это потому так было, что Петр не подозревал даже, чтобы такая сумма могла у них находиться. Узнав об этом, Петр начал упрашивать старика отдать деньги. Он говорил, что денег этих пока им не надобно; что живут они и без них по милости создателя; что работы вволю теперь, и, коли бог благословит — наживут они опять столько же. Старик долго крепился, молчал, пожимал губами; наконец рассказал сыну, где лежали деньги, и велел ехать домой как можно поспешнее.

Отсутствие Петра продолжалось почти целые сутки; от города до мельницы, если даже ехать наперекоски, считалось верст сорок. Лошадь плохо была кормлена; пришлось ехать медленно; пришлось даже лишний раз остановиться на перепутье и дать вздохнуть бедному животному. Наконец Петр явился.

Старик переговорил еще раз с письмоводителем и отдал ему требуемые деньги. Письмоводитель действительно не показал себя подлецом; он сдержал слово. Остается совершенно неизвестным, как устроил он дело (надо думать, исправник отчасти участвовал в заговоре); Савелий в тот же вечер получил свободу и мог отправиться на все четыре стороны. Он расплатился с хозяином постоянного двора, дал лошади перехватить корму и, несмотря что на дворе была уже ночь (старика сильно тревожила мысль о внучке, которому было хуже), сел с сыном в тележку и покати́л из города.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МЕЛЬНИЦУ

Савелий и Петр подвигались медленно. В ночь выпал снег; необыкновенная мягкость воздуха делала его рыхлым и мягким; он ворохами навивался на колеса и так отягощал тележку, что лошадь с трудом ее тащила. Тучи застилали небо; но снежная белизна окрестности распространяла ясность, и ночь была не так черна, как ожидали путешественники. Тем не менее лошадь часто сбивалась с колеи; местами дорога вовсе пропадала; Петру и Савелию приходилось пробивать первый зимний путь. Совсем уже рассвело, когда прибыли они в Ягодню. Они завернули к куму Дрону, взяли у него сани, перепрягли лошадь и, не теряя секунды, опять отправились. Минуты две какие-нибудь потребовалось, чтобы спуститься по луговому скату; санишки летели сами собой, раскатываясь то вправо, то влево и каждый раз загребая глыбы снега. Лошадь, почуяв стойло, пустилась вскачь. Миновали ручей.

Весело подъезжать к дому. Весело глядеть, как постепенно показывается и вырастает вдалеке родимая кровля. По лицам Савелия и Петра нельзя было сказать, чтоб они были веселы; смущение и беспокойство обозначались в чертах отца; тяжелое предчувствие сильнее вторгалось в его душу по мере приближения к мельнице. Он слова не говорил с сыном. Петр также молчал. Молча вылезли они из саней и отворили ворота.

При появлении их на двор Гришутка выглянул из-за угла амбара; он скрылся в ту же секунду, и потом видно было сквозь щели плетня, как проскочил зайцем и пропал за клетушкой. Не знаю, обратил ли на это внимание Петр; но старик ничего не заметил. Оба поспешили к крыльцу. Вопль, неожиданно раздавшийся в избе, рванул их за сердце; они переглянулись. В эту минуту на крылечке показалась Палагея. Нечего уже было спрашивать: лицо Палагеи и, еще более, вопль, свободно вылетающий теперь в полурастворенную дверь избы, ясно сказали, что все кончено...

— Очень уж больно убивается... — проговорила Палагея, — подите к ней... Нонче помер, Христос с ним, на самой на заре...

Отец и сын вошли в избу. Младенец, покрытый белым

платком, лежал под образами, тускло отражавшими крошечное пламя желтой восковой свечи. Марья сидела подле; обхватив руками тело младенца, спрятав лицо в ногах его, она неутешно плакала. Потеря ребенка, которого она ждала шесть лет, которого девять месяцев потом так радостно носила под сердцем, тяжело отзывалась в душе ее; но к этому примешивалось еще другое чувство: младенец теснее как-то привязывал к ней мужа, очевидно располагал к ней свекра. Душа ее, горько настроенная потерей ребенка, создавала новые, преувеличенные опасения: она теряла уверенность в любви мужа и расположение свекра.

Савелий, в глазах которого крошечное пламя свечи принимало вид большого мутного круга, тут же увидел, что ему еще придется утешать сноху и сына. Сделав три земные поклона, он велел Петру остаться с женою, а сам спустился на двор и начал распрягать лошадь. Поставив ее на место, он снял с перекладины навеса две новенькие тесенки и медленно повлек их к обрубку, где дней пять назад сколачивал люльку. С люлькой больше было хлопот, чем в теперешней работе. Когда Петр вышел к отцу, гробик совсем почти был окончен.

— Петр,— сказал старик,— тебе со мною идти незачем, посиди пока с женою; я один схожу; тягость в нем небольшая!.. Сам снесу его, сам схороню... Ты здесь побудь... Да где же Григорий? Что я его не вижу... Где он?

Петр словно по чутью какому-то пошел прямо к клетке. Минуту спустя он вывел оттуда Гришку; мальчик не смел поднять головы и вообще выказывал знаки сильного испуга.

— Поди сюда, Григорий! — произнес старик кротким голосом.— Куда ты все прячешься... зачем?.. Это нехорошо... Побудь здесь... Вот я его возьму с собою,— промолвил Савелий, обратившись к сыну,— он подсобит; к попу ходит и лопату снесет... Ты поди пока, посиди с ними...

Ласковое обращение старика произвело, по-видимому, на Гришку совсем другое действие, чем следовало ожидать; вместо того чтобы ободриться, он кисло как-то пожимал губами и плаксиво моргал глазами; он не трогался с места, не смел поднять головы, так что кверху выглядывали только два вихра на его затылке и уши, которые были так же красны, как лицо его. Но старик, принявшийся за крышку гробика, снова забыл как будто о существовании мальчика. Вскоре, однако ж, был он развлечен стуком лошадиных

копыт и голосом помольца, который въезжал на двор мельницы. Помалец поздоровался, спросил, есть ли свободная снасть и можно ли засыпать.

— Засыпай, добрый человек, засыпай...— промолвил Савелий тем же кротким, расслабленным голосом, с каким обращался к Гришке,— которая снасть понравится, в ту и засыпай...

— Что ж это... Никак, у вас покойник? — спросил помолец.

— Внучек...— тихо сказал Савелий, подбирая как-то вовнутрь губы свои, которые начали вдруг морщиться,— внучек... Вот был он... а теперь... теперь и нету...

Полчаса спустя на дворе мельницы опять раздались вопли и крики; теперь были они только сильнее; Марья стояла на крылечке: с одной стороны держала ее Палагея, с другой Петр. Она рвалась к Савелию, который выходил из ворот, придерживая гробик, перевязанный кушаком, переходившим через плечо старика; Гришка, также без шапки, следовал за ним с лопатой и скребком на плече. Во всю дорогу Савелий не обернулся к своему спутнику, слова с ним не промолвил. Гришка нарочно, казалось, ступал осторожнее и старался не шуметь скребком и лопатой, чтобы не обращать на себя внимания. Время от времени он заходил в сторону и сбоку и поглядывал на лицо дяди Савелия; но в этих взглядах далеко уже не было того лукавства, той быстроты, какими отличались они несколько дней назад, когда мальчик выступал по той же дороге с бочонком за спиною. Самые мысли его были теперь как словно другие. Он не думал спихивать камней в ручей, не думал подкрадываться к воронам, садившимся иногда в десяти шагах от дороги. Самые воробьи не занимали его, хотя, надо сказать, они так же шумливо, как и тогда, егозили в ветлах, прыгали по плетням и били крылышками, купаясь в рыхлом снегу.

Поднявшись в Ягодню, старик зашел прежде всех к куму Дрону, потом к свату Стегнею и попросил их подсобить ему выкопать могилку. Те сначала поохали, потом начали вспоминать о том, давно ли было, как пировали они на крестинах; но видя, что Савелию было не в охоту плакать, взяли скребки и отправились. Пока рыли могилу, Савелий послал Гришку за попом. Обряд похорон совершился очень скоро. Немного погодя на том месте, где была яма, поднялся небольшой холмик. Снег валил густыми

хлопьями, и прежде чем Савелий успел уровнять землю, снег обсыпал ее точно пухом.

— Ну,— проговорил Савелий, вздохнув как-то в два приема,— ну, внучек, прости!.. Думал, поживешь с нами... в утеху будешь... Прости, внучек!..

— Полно, кум,— сказал Дрон,— есть о чем сокрушаться! Добро бы уж ходил внучек-то либо лепетать начал, а то всего только пять дней было ему...

— Бог даст, другого наживешь внучка-то! — проговорил, в свою очередь, сват Стегней,— сноха не старая, сын — парень также молодяк; какие года ему!..

В ответ на такие утешения Савелий махнул только рукою и отвернулся. Кум Дрон и сват Стегней переглянулись, как будто сказать хотели друг другу: «Оставить надо; не до того теперь!» — простились и пошли по домам.

Савелий, сопровождаемый Гришкой, который по-прежнему шел в некотором отдалении, ступал бережно и старался не обращать на себя внимания, покинул кладбище. Неподалеку от церкви встретились они с Андреем. Савелий находился в родстве с Дроном и Стегнеем: первый доводился ему кумом, второй сватом; Андрей был ему чужой, а между тем Савелий обошелся с ним гораздо ласковее, чем с двумя первыми. Он приподнял шапку в ответ на поклон Андрея и даже замедлил шаг.

— Савелий Родионыч,— сказал Андрей своим грудным тихим голосом,— послушай: у меня трое было... трое уж взрослых! Девочке моей пошел двенадцатый год; Егорушке семь лет было... И тех схоронил, Савелий Родионыч!.. Как тут быть-то! Знать, так уж нам господь посылает; он дает детей, он и отнимает... Говорю тебе: у меня трое было,— всех схоронил!

— Братец ты мой,— промолвил Савелий, в первый раз в этот день возвышая голос,— возьми в толк: ведь шесть лет ждал внучка-то! Шесть лет просил о нем господа! Уж, кажется, я ли ему не радовался! Как радовался-то!.. А тут еще одно к одному, другой случай вышел... Совсем сокрушился!..

— Слышал я, слышал... Сказывали! — подхватил Андрей,— пожалел я тебя, Савелий Родионыч... Ну и в этом также, Савелий Родионыч... в этом также... рассуди: у тебя достаток: деньги были... Случись такой грех с другим, с бедным, тут что делать? Как тут быть? Вестимо, жаль... Ну, да бог с ними! по крайности, хоть ослобонился...

— Братец мой, последнее ведь отдал! Всего только и было! — сказал Савелий, покачивая головою с боку на бок, — только всего добра и было! Десять лет трудился, десять лет спины не разгибал и потом обливался!.. Разве они даром мне, достались, эти деньги-то? Подумай тоже и ты: разве я нашел их, сидючи на печке да руки скламши? Десять годов работал, берег — и все пошло прахом! В один день — все ушло... и куда ушло, подумаешь!

— Полно, Савелий Родионыч, полно! господь наказывает, господь и милует! Кабы не господь, на кого бы еще надеяться! Моя жизнь тошнее твоей, и-и! куда! а ведь живу же, живу!.. Живут люди и не в такой горести, Савелий Родионыч, право так! Право!

Беседуя таким образом, они незаметно спустились к ручью, который просачивался теперь в снежных сугробах холодною темно-синею лентою. Тут Андрей и Савелий расстались; один пошел в Ягодню, другой направился к мельнице.

Снег продолжал валить хлопьями. Церковь на возвышении и даже ближняя часть лугового ската исчезали совершенно, как бы задернутые белым, медленно колеблющимся пологом. В двадцати шагах нельзя было различать предметов на дне долины. Мало-помалу, однако ж, в воздухе стало проясняться: снежная, движущаяся сетка заметно редела. Местами открывались клочки серого неба, которое постепенно синело и сгущалось, приближаясь к дальнему горизонту. Немного погодя снег перестал падать; изредка только то тут, то там, мимо синего горизонта, медленно пролетали, кружась и тихо опускаясь, одинокие снежные хлопья.

Но перемена погоды встречала глубокое равнодушие со стороны Савелия; в этом случае, как и во всех, впрочем, случаях, представлял он резкую противоположность с Гришуткой. Последний, надо думать, обладал большою твердостью духа и способен был переносить с более философским спокойствием удары рока. Он, по-видимому, заметно ободрялся; казалось даже, успел овладеть всегдашним своим расположением или старался, по крайней мере, развлечь себя и рассеять. Он внимательно следил за одиноко кружившимися в воздухе снеговыми хлопьями, выводил носком лаптя вычурные фестоны по снегу, не пропускал случая выставить изнанку ладони навстречу спускавшимся снежинкам; часто даже улучал минуту и, закинув назад го-

лову, ловил их на язык. Правда, стоило Савелию кашлянуть или сделать движение рукою, Гришутка выпрямлялся, выравнивал на плече своим скребок и лопатку и вообще принимал озабоченный, суетливо-деловой вид; но это продолжалось минуту, много две, после чего он снова овладел собою и снова старался себя рассеять.

Так вышли они на луг, который, под снежным покровом своим, убегал как будто еще дальше к бледно-лиловым рощам и темно-синему небосклону. Тишина была мертвая; все пропало, казалось, под снегом и погрузилось в глубокий сон. Кровля маленькой мельницы и осенявшие ее старые ветлы одиноко белели, возвышаясь под сизым, отдаленным горизонтом. Там было так же тихо, как и во всей окрестности. Не слышно было ни шума воды, ни того глухого, ровно вздрагивающего гула, который показывает, что жернова на всем ходу и колеса дружно повертываются. Помолец окончил, видно, свою работу и уехал, — оно и лучше было. Так думал Савелий. На дворе и в доме застал он ту же тишину; тишина снизошла даже как будто в самую душу обывателей маленькой мельницы. Петр смотрел теперь не так печально; Марья заметно успокоилась. При виде свекра, возвращавшегося с пустыми руками, она снова заплакала; но слезы ее не сопровождались криками и воплями отчаяния; слезы ее приостановились даже, когда Савелий подошел к ней и ласково начал утешать ее, ссылаясь на промысл, на волю Божию.

— Знаю, батюшка, Божию волю не нам судить, ее не переспоришь, — а все горько! — сказала Марья голосом, надорванным печалью. — Не забыть мне, долго не забыть моего дитятку... Так я к нему привыкла, так привязалась!.. Кажись, батюшка, век буду я им беременна! век буду носить его!.. век его не забуду!

Но в горестные минуты человеку всегда свойственно терять надежду в будущее, всегда свойственно преувеличивать свои страдания! Не прошло года, и уже между жителями маленькой мельницы помину не было о минувших несчастьях. Мирная, безмятежная радость изображалась на всех лицах, особенно на старческом лице дедушки Савелия, которому снова пришлось сидеть на обрубке под навесом, снова пришлось хлопотать над люлькой.

Пришлось также опять за вином посылать; но поехал уже Петр, а не Гришка, хотя, надо сказать, последний ни за что бы теперь не попался; Гришутка заметно меньше

зевал по сторонам и вообще выказывал меньше рассеянности. Крестины прошли на этот раз несравненно веселее, чем в былое время. Сват Стегней, кум Дрон и Палагея пели песни; Савелий радостно потряхивал седидами, отпускал ласковые шуточки снохе и поминутно трепал по плечу Андрея, который часто заглядывал теперь на маленькую мельницу. Самая мельница словно разделяла радость своих хозяев. В день крестин возы с рожью не только наполняли двор, но даже стояли за воротами, жернова порхали, как бы порываясь пуститься в пляс; колесо вертелось без отдыха, обдавая пеной нижнюю часть амбара, тогда как кровля, тихо вздрагивая, посылала в воздух легкие облака мучной пыли.

Микулинский мельник и сыновья его продолжают коситься на маленькую мельницу. Но Савелий не обращает на них никакого внимания. Мельница его год от году процветает, год от году появляется на ней больше помольцев, так что снова приходится жернова менять, совсем почти износились; впрочем, есть теперь на что купить, слава богу! Но это с одной только стороны старика радует; с другой стороны, другая радость: у него внучек, крепенький, здоровый мальчуган, которого, можно сказать без преувеличения, сам дедушка почти вынянчил.

Часто, в ясные солнечные дни, можно видеть, как внучек ступает по двору и, переваливаясь с ноги на ногу, наподобие утки, спешит убежать от деда, который выбивается из сил, по-видимому, чтобы поймать ребенка, хлопает в ладоши и во все время преследования не перестает ухмыляться в седую свою бороду. Но веселые крики ребенка, хлопанье в ладоши деда, голос Петра, песня Марьи постепенно умолкают, по мере того как вечерняя заря угасает на небе. Ночь спускается на землю... Все стихает, кроме маленькой мельницы, которая, ровно вздрагивая, одна шумит посреди заснувшей окрестности, напоминая как будто о старом своем хозяине. Он также не знал никогда отдыха и век свой трудился, даже в то время, как спали другие.

ПАХАТНИК И БАРХАТНИК

Повесть

Не будет пахатника, не будет
и бархатника.

Русская пословица

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПАХАТНИК

I

Такого продолжительного, нестерпимо жаркого лета не могли запомнить даже самые старые люди. С половины июня до конца июля ни разу не освежило дождем воздуха; раскаленная земля трескалась, превращалась в камень или пыль, которая лежала тяжелым рыжеватым пластом на дорогах. Каждое утро солнце восходило багровым шаром и, подымаясь выше в сверкающем, безоблачном небе, совершало свой круг, никому не давая отдохнуть от зноя. Все живущее словно умаялось и повесило голову. Цветы, не защищенные лесом или тенью рощи, пересохли; горох пожелтел преждевременно; проходя полем, слышно было, как лопались его стручья, рассыпая, словно дробь, свои зерна. Трава, скошенная утром, начинала к полудню пучиться, подымалась ворохом и звонко хрустела, когда брали ее в руки. Стада упорно жались к ручьям и речкам; во всякое время дня коровы и лошади по целым часам недвижно стояли по брюхо в воде; можно было бы принять их за окаменелых, если б не двигали они хвостами, стараясь отогнать мух и оводов, которые роями носились и жужжали в воздухе.

Во всей природе, которая как будто изнемогала и тяжело переводила дыхание, одни насекомые бодрствовали; чем горячее жарило солнце, тем больше их появлялось и тем громче раздавались жужжанье и шорох. Там, где полуиссохшие ручьи впадали в речки, роями стояли коромысла, блистая на солнце своими кисейными глянцевыми крылышками и зелеными, словно стеклянными головками; запыленные шмели и бесчисленные миллионы всяких мух и мошек облипали каждого, кто только останавливался.

В полях весь этот шелест заглушался трескотнею ку-

знечиков; из-под каждой травки, из-под каждого стебелька немолчно дребезжал тот жесткий, металлический звук, который всегда как бы дополняет впечатление страшной засухи; в сырое время кузнечик поет не так звонко. В полях часам к двум-трем пополудни зной особенно был чувствителен. Солнечные лучи, насквозь пронизывая рожь до корня, нагрели, казалось, самые стебли; даже там, в глубине колосьев, бросало в испарину; чувствовалось, что пышет от почвы, как от жерла раскаленной печки. Васильков совсем не было, они давно пересохли, оставив тощие зеленоватые стебли; одна повилика, туго оплетая подошву колосьев, разливала в воздухе тонкий миндальный запах и пестрила своими бело-розовыми колокольчиками жаркое, лучезарное сиянье, наполнявшее глубину поля.

II

Несмотря, однако ж, на удушливый зной, от которого сохло в горле и потом обливало тело, все пространство поля покрыто было народом; куда ни обращались глаза, отягченные солнечным сверканьем, всюду над морем колосьев мелькали, то опускаясь, то подымаясь, белые рубашки баб; перегнув в три погибели спину, прикрытую мокрой сорочкой, они вязали снопы; мужья их, отцы и братья выступали между тем один за другим, звонко размахивая косами.

Работа кипела; время было такое, что нельзя было ни на один час отложить покосы; благодаря жаркому июлю едва успели откоситься и убрать сено, как рожь поспела; там совсем уже налился и созревал овес — того и смотри, сыпаться станет. Изредка останавливался тот или другой работник, отирал рукавом загорелый лоб и принимался точить косу, издававшую при этом сухой, острый звук, вторивший как нельзя лучше дребезжанью кузнечиков. Изредка та или другая баба разгибала спину, оглядывалась и торопливо направлялась выпить кваску из серого кувшинчика, спрятанного в укромном месте, или шла к люльке, скрывавшей ребенка. Но едва мать успевала раскрыть холстяной полог люльки, едва припадала грудью к губам младенца, голос старосты снова призывал ее к работе.

— Эй, бабы, бабы! — покрикивал он, являясь то тут, то там, — что-то уж больно часто бегаєте! Покормили раз-другой — и шабаш! Главная причина, не надо бы вовсе

таскать с собою ребяташек — вот что! Оставляли бы дома лучше старухам да бабкам!..

— Хорошо, Гаврило Леоныч, коли есть такие, — возразила молоденькая живая бабенка, — коли не на кого оставить, поневоле тащишь...

— Все же так часто бегать не приходится, — возразил староста. — Говорю: покорми раз-другой — и шабаш!.. Ну ступай, ступай, полно разговаривать!.. — довершил Гаврило Леоныч, направляясь в другую сторону.

Немного погода посреди звяканья кос и шума падающей рядами ржи голос его раздавался на дальнем конце поля.

III

В голосе этом не было, впрочем, ничего повелительного или грозного; с появлением старосты никто не бросал в его сторону боязливых взглядов. Косы, правда, начинали скорее двигаться и бабы усерднее принимались вязать снопы, но это, очевидно, происходило не столько от страха, сколько от жалкой привычки русского простолюдина жить и действовать не иначе, как с помощью понуканья. Гаврилу слушали точно так же, как стали бы слушать любого мужика, поставленного в старосты главным управляющим. Гаврило ничем не отличался от остальных мужиков своей деревни; он только знал счета и разбирал грамоту; основываясь на этом, его выбрали в начальники и выдавали ему ежегодно пятнадцать рублей жалованья из главной конторы, которая находилась верстах в семидесяти, в соседнем уезде. Гаврило сильно даже скучал своею должностью; пуще всего сокращало старосту, что, будучи сам человеком домовитым и хозяином, он принужден был по минутно отрываться от дела и ездить в контору из-за каждой безделицы, иногда даже так, безо всякой надобности. Случалось, самое нужное дело на руках, — нет, бросай все и отправляйся! Кроме того, всякий раз надо было неизбежно стоять с глазу на глаз перед управляющим, который внушал Гавриле, точно так же, как и всем, находящимся в зависимости от конторы, страх непобедимый. Короче сказать, староста готов был ежегодно приплачивать еще своих денег, лишь бы освободили его от должности; то же самое готов был сделать каждый крестьянин, принадлежавший деревне Антоновке.

Не только в нравственном отношении, но и по наруж-

ности Гаврило во всем был сходен с мужиками, работавшими в поле. Ему было лет пятьдесят; на лице его, покрытом мелкими морщинками, явно проглядывал нрав мягкий, сговорчивый и веселый. Он носил на голове шапку на манер гречишника, из-под которой с той или другой стороны всегда выглядывал кончик клетчатого платка; платок служил скорее для того, чтобы утирать лицо, чем для настоящего употребления. Выходя в поле, Гаврило постоянно вертел в руках палочку, служившую ему биркой; на ней-то надрезывал он ножом число копен, скирд, снопов и проч. Как потом мог он добраться толку и распутать на своей бирке все эти насечки, зарубки и крестики — это останется вечной неразгаданной тайной.

IV

— Ну, братцы, подкашивай, подкашивай! — понукал Гаврило, переходя от одного ряда косарей к другому, — по-настоящему, к вечеру решить бы надо!.. Вот разве бабы не успеют снопы довязать...

— Нет, сват Гаврило, нонче не управимся, — заметил коротенький кудрявый мужичок, останавливаясь, чтобы снять шапку и отереть лицо, — добре уж очень парит; раза три махнешь косой, так инда всего тебя размочалит. Невмоготу даже...

— Не одному тебе, всем жарко!.. Ну-ка, сват, полно, бери косу-то, бери! — подхватывал Гаврило, — оттого, что жарко, оттого и откоситься скорей надобно; погоди-ка денька три, в колосе совсем ничего не останется... Эку сухомень сотворил господь!.. эку сухомень!..

— Везде сухо, везде зерно сыплется, — промолвил высокий рыжий мужик с коротенькой, крутой, кудрявой бородкой. — Вот уже третий день никто в свое поле не заглядывает! — присовокупил он, не оборачиваясь к старосте и продолжая косить, — значит, здесь справляйся, а со своим добром как знаешь, — пропадать должно!..

— Это точно, — проговорил старый мужичок, усыпанный веснушками, — хошь бы на один день ослобонили!.. Здесь хлеб уберегай, а со своим управляйся, как бог велит.

— Толкуют, точно первинку рассказывают, точно про то никто не знает! — перебил Гаврило, встряхивая шапкой, — опять-таки я, что ли, тому причиной?.. Так велено; кто велел — сами знаете; поди-тка сладь с ним! «Чтобы все поле,

говорит, на мирской магазин которое отрезано, убрать, говорит, к воскресенью; уберут, говорит, тогда за свое пускай принимаются!» Сам обещался наведаться; сам до всего доходит. А мне что? Мое дело сторона; как велят, так и делаю...

— Надо, значит, самим идти просить в контору,— сказал рыжий мужик.

— Поди-ка сунься,— много возьмешь! — заметил Гаврило.

— Значит,— продолжал опять рыжий мужик, размахивая так сильно косою, что звон ее сделался вдруг слышнее других кос,— значит, оброк только для виду для одного; слава только: вот, дескать, на оброк отпущены! Поглядеть — выходит хуже барщины! Барщинные по крайности оброка не знают; у нас деньги оброчные отдай само собою, а там еще плетни плети вокруг садов, луга коси господские, дороги починяй, пришла пора рабочая, хоть бы вот теперича — идти бы убирать свой хлеб,— нет, сюда ступай... Дни вишь такие выговорили!.. Сосчитай-ка эти выговоренные дни — много ли время на свое дело останется?.. Право, барщина сходнее...

— Знамо так; Филипп правду рассказывает... Это точно как есть!.. — отозвались ближайшие мужики.

— Поди-ка столкуй с управителем, поговори ему, что он тебе скажет,— произнес Гаврило с сердцем,— уж было такое дело, из других вотчин приезжали, говорили ему,— с тем и уехали! Ты свое — он свое: «знать, говорит, ничего не хочу; мое дело, говорит, было бы прежде всего исправно!..» А что насчет работы, какую теперь справляем,— продолжал рассудительно Гаврило,— надо правду сказать — браниться да жаловаться не за что: поле не господское, «мирское»¹ — стало, все единственно, для себя трудимся.

— Главная причина, дядя Гаврило,— заговорил опять мужичок с веснушками,— не ко времени работа — вот что! Этим пуще всего народ обижается; у самих хлеб сыплется, а ты здесь валандайся; оно хоть и мирское дело — а свое все жалчее упустить.

¹ Мирским полем называется часть земли, которая отрезывается крестьянам для посева хлеба, поступающего потом в так называемые магазины. Такой запас ржи и овса делается на случай неурожая, недостатка зерен для посева. В деревнях, где существует порядок, строго наблюдают, чтобы в магазине всегда находился запас зерен, который обеспечивал бы в случае несчастья все население деревни. (Прим. автора.)

— Потому и говоришь вам: братцы, велено! как ни бейся, сделать надо; работай дружнее, не тормози рук; здесь скоро отделаемся, за свое скорей примемся... Ну, дружей, ребята, подкашивай, подкашивай — к вечеру чтобы совсем убраться!.. — подхватил Гаврило, возвышая голос и принимаясь снова ходить по полю. — Эй вы, бабы, — полно вам бесперечь к люлькам бегать!.. Ох, эти бабы пуще всего!.. Авдотья, ты, никак, с самого обеда торчишь у люльки, ни одного снопа не связала... Брось, говорю!.. Эки, право, ни стыда в них нет, ни совести!..

V

Во время этих разговоров с той стороны, где деревня заслонялась пологими холмами, показался мужик. С первого взгляда легко было заметить, что он не принадлежал к числу обывателей Антоновки или если принадлежал, то по каким-нибудь обстоятельствам освобожден был от работы.

Длинные ноги его, обутые в довольно плохонькие сапоги, передвигались безо всякой поспешности; он рассеянно поглядывал направо и налево, время от времени посвистывал и вообще имел вид человека, который лишен всяких забот и вышел в поле единственно затем только, чтобы прогуляться. Ему было лет под сорок; рубашка его начала просвечиваться на локтях, и швы во многих местах пообсеклись; но зато подпоясан он был новым гарусным шнурком и на голове его, покрытой реденькими черными завитками, красовался совершенно новый картуз с козырьком, вроде тех, какие носят подгородные мещане и фабричные. Сам он скорее похож был на мещанина, чем на обыкновенного поселанина; несмотря на знойное лето, загар едва коснулся его лица и шеи; на лице его, довольно еще красивом, не было следа тех морщин, той загрубелости, которые преждевременно накладывает тяжелое, трудовое житье. Взгляд его, обращавшийся как-то сверху вниз — точно он считал себя значительнее всех тех, с кем встречался, — не был лишен живости, точно так же как и остальные черты лица; в движениях заметно, однако ж, проглядывали лень, вялость, сонливость.

Человек этот не был совершенно чужим и незнакомым лицом в здешних местах; едва поравнялся он с первыми косарями, многие его окликнули:

— Федот, здорово! Откуда?

— С люблинской мельницы...

— Дело, что ли, есть?

— Да,— лаконически отвечал Федот, слегка приподымая картуз и продолжая идти далее.

Замечательно, что в голосе каждого, кто обращался к Федоту, звучала веселость; каждый почти, заговаривая с ним, прищуривал глаза и осклаблял зубы. Случалось, что иной мужичок — особенно из молодых и которые были попроще,— видя, как осклаблялись другие, схватывался попросту за бока и громко начинал смеяться. В таких случаях Федот выше только подымал голову, весь как словно от макушки до пяток преисполнялся чувством собственного достоинства и шел мимо, сохраняя такой вид, как будто на пути попался муравей, не стоящий никакого внимания.

Приближаясь к месту, где сосредоточивалась главная деятельность и куда сошелся почти весь народ, Федот спросил, как бы найти ему дядю Карпа? Карп, оказалось, косил в числе передовых косарей и находился на дальнем конце поля. Федот медленно, как бы желая похвастать своей неторопливостью, направился в указанную сторону. Проходя мимо подвод, которые приехали за снопами, мимо баб, вязавших снопы, и мужиков, шумевших косами,— Федот снова осведомился, где отыскать дедушку Карпа.

Признав наконец того, кого отыскивал, Федот встрепенулся и ускорил шаг; он словно вдруг вспомнил о чем-то; лицо его выразило озабоченность, суетливость; он пошел так скоро и начал так размахивать руками, что пот выступил на лице и даже шее; подойдя к Карпу, который продолжал усердно косить, не замечая приближающегося, Федот, и без того запыхавшийся, старался еще показать вид, что едва переводит дух от усталости.

VI

— Дядя Карп, здорово! К тебе...— озабоченным тоном проговорил Федот, снимая картуз и отирая плоский белый лоб с прилипнувшими к нему жиденькими кудрями.

— А, Федот! — воскликнул седой как лунь старичок, быстро поворачивая к Федоту сухощавое лицо, изрытое глубокими морщинами,— как ты здесь?..

— К тебе, дядя Карп... Ух, умаялся! — дай дух переведу,— сказал Федот, стараясь показать вдвое больше уста-

лости, чем было на самом деле.— Примерно такое дело... переговорить надо...

Тут Федот нахмурил брови, покосился на стороны и, заметив, что ближайšie мужики остановились и посматривали в его сторону, начал мигать Карпу на соседнюю ниву, где не было еще ни одного косаря.

— Говори здесь — все одно, — сказал старик.

— Нельзя, — суетливо перебил Федот, — никаким то есть манером... дело такое... Отойдем, говорю...

Он дернул старика за рукав рубахи и силою почти отвел его шагов за десять.

— Аксен Андреев прислал, — произнес он, быстро оглядываясь и как бы желая убедиться, что никто не слушает.

— Это зачем?

— Насчет избы; ты избу приторговал... Прислал: «скажи, говорит, Карпу — он тебе родственник, часто выдается, — скажи: задатку надо прибавить!..»

— Ведь я дал ему задаток, и дело совсем порешили; чего же еще? — произнес старик нетерпеливо.

— Говорит, много на избу охотников...

— Ну...

— Много очень народу избу торгуют и деньги сейчас отдают... «Коли, говорит, Карп прибавит задатку, я обожду, пожалуй, а то, говорит, несходно!» Я затем и пришел к тебе; ты, дядя, нонче же беспрременно сходи к Аксену. Он так и наказывал: сегодня переговори с ним; дело, примерно, такое, никаким манером нельзя оставить! — примолвил рассудительным тоном Федот и даже зажмурил глаза.— Избу я видел: изба знатная; и цена небольшая... упустить никак невозможно!..

Старик не слушал последних слов Федота; с досадливым, беспокойным выражением лица смотрел он в землю.

— Когда видал ты Аксена? — спросил он.

— Нынче утром, в самый обед. Как сказал он об этом — «дело такое, думаю себе, упустить нельзя; Карп Иванов сродственник, оставить не годится», — прямо к тебе бросился...

— Как же попал ты туда, к Аксену? — спросил Карп, медленно направляясь к прежнему своему месту.

— Встретились по соседству... Я теперь на люблинской мельнице... вот уже с неделю живу в работниках...

— Как! ты, стало, уж не на фабрике у Василья Иванова?

— Нет, рассчитался!.. Хозяева добре очень уж зазнались... Мне здесь сходнее: хозяева — лучше быть нельзя, обходительные такие и жалованья больше... в неделю три целковых получаю...

Карп недоверчиво покачал головою.

— Ей-богу, три целковых! — с живостью подхватил Федот.

— Ты, никак, на мельницах-то прежде не жывал... — промолвил Карп рассеянно.

— Как не жывал? — возразил Федот с уверенностью, — вот те раз! Перед тем как на фабрику поступил, только и работал, что на одних мельницах!.. дело привычное... все статьи примерно знаю; другой мельник того не сделает.

Хотя старик вполтину слушал Федота, но снова покачал головою.

Придя на свое место, он далеко не был так бодр и весел, как когда подошел к нему Федот; седые брови старика не оставляли нахмуренного положенья; несмотря на несколько минут отдыха, он дышал тяжелее, чем когда без усталости размахивал косою.

— Подсоби, Федот, — сказал он, — подсоби маленько, чтоб упущения не было; я тем временем дойду до снохи, кваску выпью.

— Давай, давай!.. Нам не впервые! — бойко и с величайшей готовностью проговорил Федот. — Ступай, дядя, справимся!..

Федот выпрямился, молодецки поправил картуз, поплевал в ладони и взял косу.

VII

— Никак, подсобить хочешь?.. — произнес соседний мужик.

— Нам это дело в привычку! — хвастливо возразил Федот, — в наших местах — мы на Оке живем — луга такие: конца-краю не видно, глазом не обведешь! Месяц целый косим: весь мир косит, а все остается верст за десять нескошенного места... так и оставляем... скот травит

Сказав это, Федот снова поправил картуз, снова поплевал в ладонь и молодецки махнул косою; но луга косить видно, не то, что рожь; под косою Федота жнивья осталось вдвое больше, чем следовало, и колосья, захваченные им, легли не в ряд, а раскидались на стороны. Два молодые парня, работавшие слева, громко засмеялись.

Федот повернулся к ним спиною и осмотрел косу.

— Ну, уж коса! — сказал он с усмешкою, обращаясь к мужику, который начал разговор, — диковинное дело, как только Карп управляется... Как есть ничего не берет! Дай-ка, братец ты мой, точило... Эх, была у меня коса — вот так уж точно коса! — подхватил Федот, принимаясь водить брусом по лезвию, — и теперь еще две такие же дома остались — вот так косы! Случается, найдешь на такое место — конятником заросло, — такие места есть, — махнешь косою — словно трава валится! В наших местах всё такие-то косы; по два рубля платим; этих, какими вы косите, у нас в заводе нет, впервые вижу...

— Слышь, брат, — сказал словоохотливый мужичок, — ты этак по одной-то половине не води точилом... этак совсем косу затупишь.

— Ничего, ладно, живет! — возразил Федот, возвращая ему точило.

Не поворачиваясь к двум смеявшимся парням, Федот снова принялся за работу; но дело по-прежнему не клеилось; чем больше он храбрился, чем сильнее махал косою, тем дело меньше спорилось, — выходило и криво и косо.

— А, Федот! отколь бог принес? — неожиданно спросил Гаврило.

— К Карпу за делом пришел... Он отошел кваску испить; подсобить попросил...

— Да что ты, брат, косы, что ли, в руки не брал? — сказал Гаврило. — Смотри-ка, что натворил!..

Молодые парни опять засмеялись; даже словоохотливый мужичок начал ухмыляться.

— Натворишь поневоле! — возразил Федот, тыкая с сердцем косу в землю, — вишь, у вас косы-то какие... мне не в привычку...

— А как же Карп-то косит? ведь ладно же выходит, не по-твоему!..

— Не такую мы косьбу видали! — сказал Федот тоном надменного пренебрежения, скрывавшим обиженное чувство. — В степи жить приходилось, рожь-то вдвое повыше вашей, — косили не хуже других!.. По два целковых в день получал... Стало, не даром; дело свое знаем...

Он замолк, увидев приближающегося Карпа.

Гаврило и соседние ребята начали было трунить над Федотом, указывая Карпу на работу его родственника; но ни Карп, ни Федот ничего не отвечали. Первый молча

взял свою косу и продолжал работу, которая пошла как по маслу: второй, поправив картуз, обратился к старику и громко вымолвил:

— Приходи же, смотри, как я сказывал...

— Ладно, приду,— отвечал Карп, не поворачиваясь.

Такая невнимательная выходка со стороны старика, и еще при людях,— вконец, по-видимому, разобидела Федота; куда ни обращались глаза, он всюду встречал ухмыляющиеся лица. Помявшись с минуту на месте, как человек, который ищет угла, чтобы спрятаться, Федот вдруг повернулся спиною и, никому не поклонившись, никому не сказав слова, пустился мелким, пристыженным шажком в обратный путь.

По мере того, однако ж, как удалялся он от места, где претерпел столько неудач, стан его заметно выпрямлялся и глаза снова начали посматривать сверху вниз; проходя мимо подвод и баб, он выступал уже величественным, сдержанным шагом; дальше он начал насвистывать; еще дальше — вся фигура его приняла беззаботный вид человека, который вышел прогуляться для собственного удовольствия; наконец Федот окончательно пропал из виду.

VIII

Известие, сообщенное Федотом, сильно, казалось, встревожило старого Карпа. До того времени болливый и разговорчивый, он впал вдруг в крайнюю несообщительность; на расспросы соседей, желавших узнать, зачем был Федот, старик отделялся, говоря, что родственник приходил безо всякой цели, а чаще всего отмалчивался. Он точно так же усердно продолжал косить, хотя уже видно было, что работа шла теперь машинально и косою водило не столько сознание, сколько привычка такого занятия. Потлил с него ручьями; он оставался, однако ж, к этому менее прежнего чувствительным; он реже даже останавливался, чтобы дать себе отдых, остыть и порасправить спину.

Несмотря на то что солнце совсем уже скатилось к горизонту, в поле было почти так же душно, как в полдень. Воздух, налитый испарениями, был неподвижен; самые тонкие стебельки, приходившие в колебание без всякой видимой причины, стояли теперь, как околдованные; облако пыли, поднятое стадом, которое полчаса назад прогнали в деревню по отдаленному холму, стояло так же высоко и только постепенно меняло свой цвет, превращаясь из зо-

лотистого в багровое, по мере того как ниже опускалось солнце.

Наконец солнце скрылось.

— Дядя Карп, народ по домам пошел! — сказал соседний мужичок.

— Шабаш! — слышалось в отдалении. — Шабаш, домой! — подхватили ближайšie косари.

Карп молча подбросил косу на плечо и поднял голову.

В разных концах поля народ направлялся к деревне; то тут, то там раздавался скрип навьюченных снопами телег, которые тяжело покачивались, пробираясь по пашне.

Карп направился ускоренным шагом в надежде догнать сноху свою; но ее нигде не было; она не кормила ребенка и, как все бабы, избавленные от такой заботы, успела, вероятно, отойти очень далеко. Попадались только те бабы, которые поневоле должны были отставать, потому что еле-еле передвигали ногами, неся на спине люльку, а в руках серп и кувшинчик.

При повороте с поля на дорогу Карп встретился с Гаврилой.

— Ну, брат, Карп Иваныч, разобидели мы твоего Федота, — смеясь, заговорил староста, — пошел от нас — никому даже слова не промолвил; что за человек такой уродился! Сказывают, опять переменял место; на люблинской мельнице нанялся теперь... Зачем это приходил он? Тебя, что ли, проведать?

— Эх! — произнес старик, махнув рукою.

— Разве что неладно?

— Такое дело, совсем даже в сумленье приводит; зарецкий Аксен, что лесом торгует, прислал его ко мне...

— Зачем?

— Сказывал я тебе, приторговал я у него избу, — начал Карп таким голосом, как будто у него накипело в сердце и он рад был наконец высказаться, — задатку взял он с меня семьдесят рублей; дело совсем сладили; теперь прислал Федота, говорит: «прибавить надо к прежнему задатку»; очень, вишь, много народу на ту избу охотятся и деньги все сейчас отдают; «несходно, говорит, ждать до осени!» Сам суди, Гаврило Леоныч, откуда взять теперь денег? Хлеб не убран, и хошь бы и убран был — все одно не время его продавать; только в убыток продашь... Вот дело какое — шут его возьми! Я третий год за избой гоняюсь; так было обрадовался; моя совсем плоха; насилу

прозимовали... Коли Аксен заартачится, не знаю, право, где уж искать избу; в своей зиму никак не проживешь; вся кругом как есть промерзает... Эх, шут его возьми! скрутил он меня этим по рукам и ногам...

— Почем за избу-то просит?

— Уговор был двести тридцать рублей, совсем уж было поладили...

— Сходно; по теперешним ценам на что сходнее.

— Об том и сокрушаешься; сходнее не найти; потому больше и жаль, Гаврило Леоныч...— вымолвил старик, на-супив брови.

Немного погода сквозь сереющие сумерки открылась деревня; войдя в околицу, Карп и Гаврило расстались.

IX

Антоновка построена была под самым скатом, на плоской луговине, которую огибала небольшая речка: во всякое время на улице стояла топь непроходимая; только теперешнее лето могло вполне просушить ее и превратить грязь в слой пыли. Избы шли в два порядка, со множеством узеньких проулков; в глубине деревни, там, где речка делала поворот и пропадала, высоко подымалось несколько старинных ветел; дальше, за ветлами, снова шли пологие холмы, исполосованные оврагами и темными клиньями сосновых перелесков.

Изба Карпа выходила углом в проулок и на улицу; она действительно никуда больше не годилась, как в лом; бок ее, смотревший на улицу, круто выпучивался и, без сомнения, давно бы повалился, если б хозяин не позаботился подпереть его двумя осиновыми плахами; все пазы были вымазаны глиной, которая истрескалась от жары и во многих местах отвалилась. Изба была одною из самых старых в деревне; Карп, доживавший уже седьмой десяток, не помнил, когда ее ставили. Ветхость избы еще заметнее бросалась в глаза от соседства с плетнями, которые отличались плотностью, стояли прямо на толстых высоких кольях. Карп не осиливал только с избою; все остальное, что зависело от его рук и средств, смотрело как нельзя пригляднее и обличало домовитого, деятельного хозяина.

Войдя во двор, Карп встречен был блеянием овец, фырканием трех лошадей и глухим чмоканьем коровы, которая в сумерках принимала вид огромного белого камня, брошенного посреди двора. Старик повесил под навес косу,

вступил в темные сени, но наткнулся на кого-то и поспешно отступил на шаг.

— Ай, дедушка, чуть Ваську не уронил! — раздался тоненький голосок.

При этом на крыльцо выступила девочка лет семи, державшая на руках толстого, как пузырь, ребенка, который кряхтел и отдувался, как словно не его тащила девочка, а он нес ее на руках своих.

— А сама что под ноги лезешь! — проговорил ворчливо дедушка, входя в избу.

В избе царствовала уже тьма кромешная; от жары едва можно было переводить дух; мухи, бившиеся на потолке и в окнах, наполняли ее глухим журчаньем. Заслышав шум у печки, Карп обратился в ту сторону.

— Старуха, ужинать собирай; я чаял, все уж у вас готово...

— Сейчас, батюшка; сейчас сноха вынесет стол на крылечко; здесь пуще жарко... Нонче печь топили; новые хлебы, из новой муки пекла; мука белая, хорошая, на скус хлебы прошлогоднего лучше.

Но и это обстоятельство, всегда почти тешащее душу простолюдина, столь бедного на прихоти и радости всякого рода, не произвели никакого действия на Карпа.

Он повесил голову, вышел из избы и снова в сенях чуть было не сшиб с ног девочку, которая, вся изогнувшись на один бок, тащила толстого Ваську.

— Ой, — крикнула девочка, с трудом пятясь назад, — ох, дедушка, — Васька! Ваську чуть не уронил!..

— А ты опять под ноги лезешь!

— Что ты его взаправду все таскаешь — сядь поди с ним, Дуня! Сядь, — проговорила сноха, явившаяся на крылечко собирать ужин.

— Здорово, батюшка! — раздался голос из-под навеса, и на дворе показался рослый мужик, лицо которого невозможно было рассмотреть за темнотою.

Это был сын Карпа и муж молодой женщины, хлопотавшей с ужином. Карп лет уже семь освобожден был, за старостью, от всякой работы; он постоянно, однако ж, ходил в поле и исполнял все мирские и господские повинности; старик находил расчет работать за сына, который в это время управлялся в собственном поле или занимался дома; расчет был верен: Петр (так звали сына) был одним из лучших работников Антоновки.

Выйдя из-под навеса, Петр махнул рукою и погнал лошадей к воротам.

— Погоди, Петруха,— сказал старик прежде еще, чем сын коснулся ворот,— кто нынче у нас в ночном? Чей черед?

— Андрей Воробей с ребятами поедет.

— Смотри, молодого серого меринка не спутывай: он не сильно боек, не уйдет от табуна; боюсь, как спутаешь, зашибут его копытами... У Гаврилы кобыла бойкая такая, скольких уж зашибла!

— Ладно, батюшка!

Серый этот меринок дороже был Карпу всей остальной скотины; в продолжение десяти лет старику, несмотря на все старания, никак не удавалось вывести ни одной лошадедки своего завода; все или дохли, или оказывались слабыми; этот конек вознаградил его наконец за все неудачи: серый меринок, которому пошел уже четвертый год, удался во всех статьях; старик не мог на него нарадоваться и берег его пуще глазу.

Петр отворил ворота и вышел с лошадьми на улицу. Немного погодя он вернулся, поднялся на крыльцо и сел подле отца на лавку, которую поставила жена.

Х

— Что, как нынче день? — спросил старик.

— Ничего, батюшка, ладно; рожь совсем решил, завтра возить стану. .

— Сыплется, чай?

— Сыплется, только не много: в пору захватили; умолот будет знатный!..

В эту минуту старуха поставила на стол чашку с тертым горохом, приправленным маслом.

— Ты, касатик, хлебца-то новенького отведай,— сказала она, подавая мужу полновесный ломоть и крепко нажимая его пальцами, как бы желая доказать этим мягкость и доброкачественность хлеба,— отведай, батюшка: с прошлого года новенького хлебца не ели...

— Ой! бабушка, пропусти! ой, не пролезу; ох!..— отчаянно прокричала вдруг Дуня, стараясь пролезть между столом и лавкой и всеми силами упирая живот Васьки в край лавки, а собственный затылок в стол.— Ой, не пролезу! бабушка, пропусти! — повторила она, но уже со слезами в голосе.

— Ступай, родная; ступай, Христос с тобою...— промолвила бабушка, торопливо отодвигая лавку.

— Ой, тятка, пропусти... ой, уроню Ваську! — снова закричала Дуня, увязая на этот раз между столом и коленями отца.

Петр привстал и подсобил дочке усесться с Васькой между собой и дедом.

Во время этих переходов и неудач, повторявшихся сто раз в день, на долю Васьки выпадало всегда большое число испытаний, даром, что сидел он постоянно на руках сестры и казался вдвое ее сильнее. Часто тоненькие руки Дуни туго обхватывали Ваську поперек живота; часто, заигравшись на улице с подругами и поспешая на зов матери или бабушки, она второпях брала Ваську таким образом, что он совсем перевешивался набок, цепляясь ручонками за ее рубашку; случалось даже Ваське висеть головою вниз и болтать в воздухе ногами; но все это было ему решительно ни о чем; в какое бы трудное положение ни приводила его Дуня, он казался совершенно довольным и никогда не пищал; но зато стоило сестре попробовать посадить его на лавку или на траву,— Васька мгновенно багровел, начинал трясти руками, наливался весь кровью, так что даже кожа его лоснилась,— и раздражался вдруг пронзительным воем, который сию же минуту привлекал мать и бабушку.

Усевшись со своим неизбежным спутником, который открыл рот, как только услышал запах еды,— Дуня придвинулась к чашке; ложка девочки ни разу не коснулась ее губ без того, чтобы сначала не попасть в рот брата; она пичкала его с таким усердием, Васька так уписывал, что отец и мать только посмеивались.

Одна бабушка не разделяла их веселости.

— Ешь, батюшка; кушай на здоровье, касатик. Христос с тобою! — повторяла старушка озабоченным голосом.

После ужина Карп обратился к востоку, перекрестился и потребовал шапку.

— Куда ты? Никак, идти собрался? — спросила старуха.

— Да; дело такое вышло... Шапку давай! — повторил Карп, усаживаясь на ступени крыльца, чтоб снять лапти.

— Куда ты, батюшка? Никак, взаправду идти хочешь? — спросил в свою очередь Петр.

— Да, на реку надо сходить...

— Ты бы завтра; не то мне вели — я сбегаю.

— Нет, дело такое, надо самому идти,— приду, отдохну потом.

Карп взял шапку и вышел за ворота, плотно заперев их за собою.

XI

Темная звездная ночь давным-давно обняла небо.

Выйдя за околицу, Карп несколько раз шмыгал босою ногою по траве; нога его осталась почти сухою; воздух, не освеженный росой, был тяжел, душен, точно перед грозой; нигде, однако ж, не видно было признака тучи: только зарницы, вспыхивая поминутно, обливали окрестность красноватым светом.

Дорога на Оку шла все время по берегу маленькой речки; сделав крутой поворот за Антоновкой, речка протекала дном плоской долины и версты три далее впадала в Оку. Местами бока долины суживались, местами расходились, образуя по обеим сторонам речки более или менее пространные луговины.

Приближаясь к первому из этих лугов, Карп услышал лошадиное фыркание, сопровождаемое визгом и глухими ударами копыт. При блеске зарниц различил он табун, который только что выгнали в ночное. Старик свернул с дороги и пошел к лошадям. Почти в ту же минуту его окликнули:

— Кто идет?..

— Я,— отозвался Карп, направляясь прямо к длинному человеку, который так же скоро шел к нему навстречу.

— Ты, Карп Иваныч? — заговорил длинный человек тоненькой, надорванной фистулой, которая заслужила ему еще с детства прозвище Воробья,— я вечер еще собирался поговорить с тобою...

— Об чем это?

— Сродственник твой Федот, что женат на твоей племяннице, нанялся теперь на люблинской мельнице...

— Знаю: ну так что ж?

— Скажи ему,— произнес Воробей, неожиданно оживляясь, причем голос его сделался еще пронзительнее,— скажи ему, коли станет шлаться у моей риги или застану его опять у себя в огороде — ему так не сойдет; там что ни выйдет, на себя пусть пеняет!..

— Что ты, Андрей; в другом чем не постою за него, а насчет то есть баловства такого, чтобы на чужое добро

польстился,—этого за ним никогда не водилось; никогда об этом слуху даже не было...

— Я не насчет этого говорю,— подхватил Воробей тем же раздраженным голосом,— я знаю, чего ему надо; он, собака, к сестре моей подлащивается, вот что! Она хошь и солдатка, человек вольный, а пока с нами живет, не хочу я этого сраму брать... Не хочу, чтобы ходил он к нам! Ей-богу, провалиться на месте,—коли еще раз застану в риге или увижу в огороде,—ей-богу, мы с братом намнем ему бока так, что не встанет!.. Так и скажи, коли увидишь; так и скажи! Ей-богу, исколотим всего в один синяк! Так и скажи!

В ответ на это Карп только тряхнул шапкой и досадливо кряхнул. Рассудив, что при теперешнем настроении Воробья нечего думать поручать ему присмотреть за мерином, старик простился с Андреем и, обещав поговорить Федоту, поплелся далее.

Вскоре шум табуна начал удаляться и наконец совсем пропал.

Мертвая тишина стояла над рекою и склонами долины, которые то озарялись зарницами, то погружались в темноту непроницаемую.

Карп услышал шум небольшой мельницы, которую также содержал богатый люблинский мельник. Люблинская мельница находилась уже при самом впадении речки в Оку. Миновав плотину и пройдя вдоль забора, ограждавшего мельничный двор, за которым раздался сиплый лай цепной собаки, Карп продолжал путь другим берегом реки.

С той стороны бок долины неожиданно изменялся; склон ее подымался круче и весь, сверху донизу, покрыт был густым орешником; местами, как основы великанов, возвышались над чащей сухие столетние дубы, простиравшие к небу черные, причудливо изогнутые ветви. Немного далее лес, как словно насильственно раздвинутый, оставлял с вершины холма донизу совершенно голую почву, покрытую рядами ям и бугров, которые, каждый раз как вздрагивала зарница, придавали перелеску особенно мрачный, пустынный характер

XII

Место это считалось вообще «недобрым» в околотке. Тут, сказывали, находилась когда-то деревня, которая до последней щепочки выгорела от громового огня. Носились

также слухи, будто в давние времена Ока при весеннем разливе принесла сюда росшиву, нагруженную татарским золотом; барка застряла именно в этом месте, после чего ее доверху занесло илом. Лет тридцать назад нашелся одинокий старый мужичок (Карп помнил его очень хорошо), который не шутя прельстился сокровищами, скрывавшимися будто бы в этом месте. Он стал ходить сюда чаще и чаще; сначала ходил он так, ради любопытства; осмотреться, что ли, ему прежде хотелось — неизвестно; потом начал брать с собою скребок и уже каждый день с утра до вечера, с зари до зари, проводил время, взрывая и ворочая землю. Так провел он целое лето. Он с каждым днем заметно более и более впадал в раздумье; мало-помалу перестал он с людьми разговаривать, начал дичиться и бегать от ближайших знакомых. Раз, — это было уже осенью, — батраки люблинской мельницы, проходя мимо этого места холодной морозною зарею, нашли старика распростертого навзничь с лопатою в руках: стали его окликать, подошли ближе, — он был мертв.

Множество баб и даже некоторые, по-видимому, степенные люди положительно утверждали, что самим им случилось, проходя мимо Глинища (так звали место), слышать подземный жалобный стон, от которого сами собою начинали шевелиться уши и холод пробежал по спине и волосам. Короче сказать, место считалось «проклятым», и редкий человек даже среди белого дня не проходил мимо, не ускоряя шага.

Но Карп, надо полагать, не верил таким слухам; быть может также, чувство страха ослаблялось в нем привычкой; более шестидесяти лет ходил он мимо Глинища, и во все это время ни разу с ним ничего не случилось. Мудреного нет тоже, мысли Карпа слишком сильно заняты были предстоящей беседой с Аксеном, чтобы мог он обратить на что-нибудь внимание.

По мере приближения к Оке лес редел и щеки долины расходились, оставляя место просторным лугам. В непроницаемо темной глубине сверкнула наконец Ока; по мере того как река открывалась, удушливый воздух заметно освежался. Слева, над берегом, возносились черными неправильными углами строения большой люблинской мельницы. Дорога делала неожиданно поворот и прямо вела к парому. В то время, когда Карп проходил мимо пристани, парома не было; недвижною темною точкой стоял он, ка-

залось, на гладкой поверхности реки, отражавшей мириады мигающих звезд. Далее, шагах во ста от пристани, громоздилась куча бревен; тут же насупротив возвышалось несколько новых, непокрытых срубов.

Проходя мимо одного из них, Карп невольно приостановился и оглядел его сверху донизу; это была та самая изба, которую он приторговал у Аксена.

Карп прямо пошел к маленькой крытой избушке, в которой летнею порою помещался обыкновенно Аксен.

У входа, на траве, раскинувшись на войлоке и прикрывшись полушубком, лежал человек, который храпел «во всю ивановскую».

XIII

— Аксен! — сказал Карп, нагибаясь к спавшему и слегка подталкивая его. — Аксен Андреев!..

— А? — проговорил Аксен, высовывая из-под овчины голову и прерывая свой сон безо всякого затруднения, с легкостью, свойственной вообще тем деятельным простолюдинам, для которых первый жизненный вопрос — дело, барыш и которые отдаются отдыху не в условный час, не когда захочется, а когда свободно и где придется.

— К тебе, Аксен Андреич! — вымолвил старик не совсем уверенным голосом, — в другое время недосуг ходить; ты присылал ко мне нонче Федота.

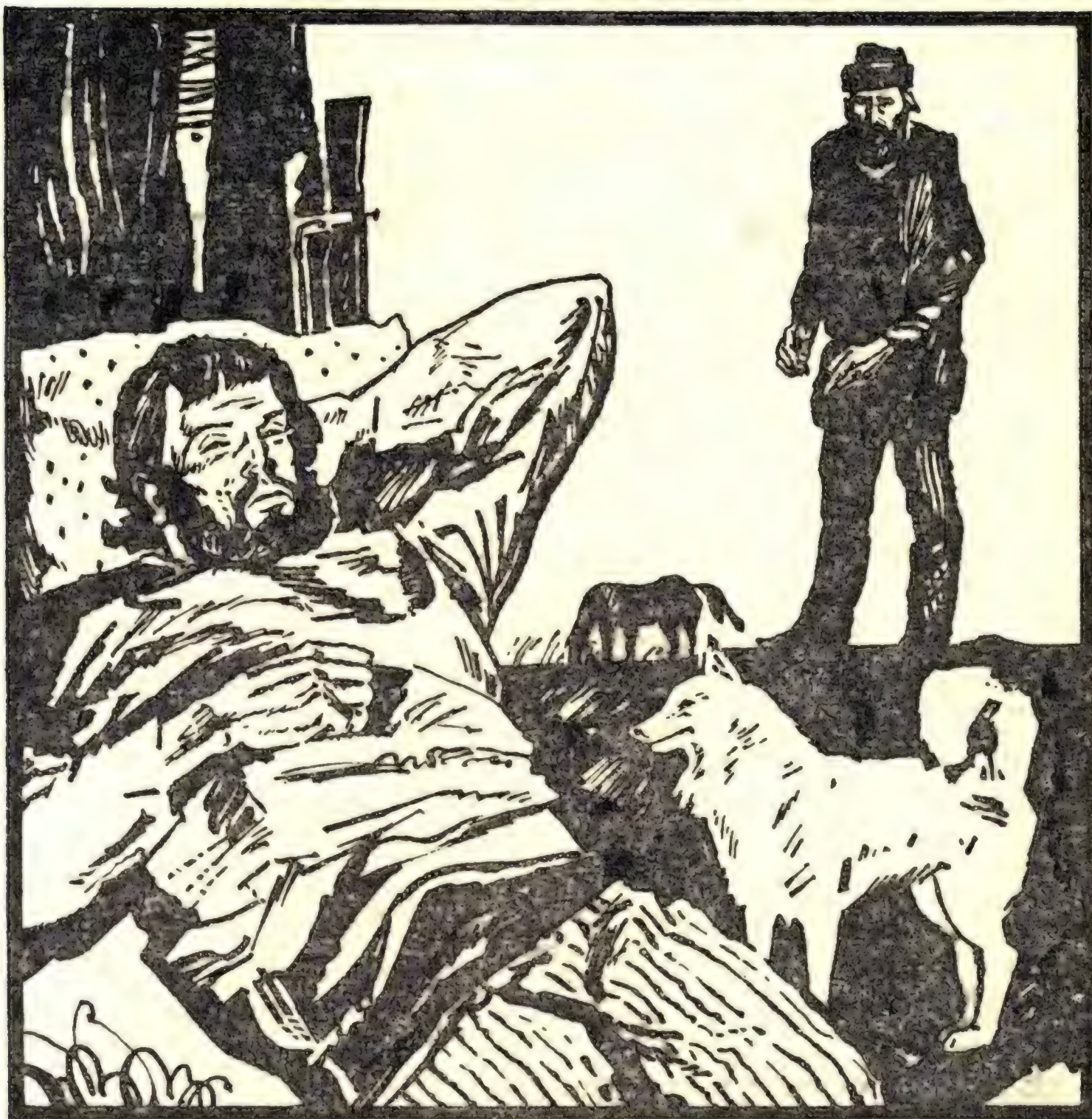
— Посылать — не посылал, только велел сказать при случае: ты бы ко мне как-нибудь понаведался.

— Сказал он... Я все в толк не возьму, Аксен, право, в толк не возьму; ведь я тебе семьдесят рублей задатку отдал...

— Отдал.

— Тогда уговор у нас был: семьдесят рублей задатку, а в осень, после уборки, остальные деньги... Совсем было того — поладили; теперь что же это будет такое? Ведь этак, Аксен, не годится, право, не годится...

— Экой ты, братец, чудной какой! — право, чудной! Я от задатка твоего разве отказываюсь? Говорю только: надо как-нибудь сладить, потому выходит дело совсем несходное. Всяк свой барыш наблюдает; ты норовишь себе потрафить — я себе... Вот теперича человек двадцать напрашиваются на избу-то! — и деньги все сейчас отдают, как есть до копейки. На прошлой неделе выселковский



мужичок приходил ко мне; так тот тридцать рублей лишку давал, в упрос просил, отдай только! Рассуди сам теперича: люди деньги выкладывают; барыши дают; за тобой ждать еще два месяца, пожалуй что и тогда не разделаешься с хлебом,— не соберешься с деньгами... Суди, сходно ли? А насчет задатка говорить нечего, возьми его хоть завтра...

— Что ж ты прежде мне об этом не сказывал? — произнес старик досадливым голосом, — вишь, время какое — самая уборка! Сам знаешь: где нашему брату достать денег?.. Где их взять!

— Денег у тебя не спрашиваю; может, так как-нибудь, без денег сойдемся.

Карп ясно понял, что Аксен неспроста отказывался от денег, что, верно, держал на уме какое-нибудь намерение. Старик не показал, однако ж, виду своего недоумения; он сделался только внимательнее прежнего.

— Вот к осени коров стану бить на мясо, — проговорил Аксен, — не найдется ли у тебя лишней скотины?..

— Всего одна корова.

— Ну, в другом чем сойдемся... У тебя меринок серый трехгодовалый... его отдай; цену какую положишь, так и пойдет в счет избы...

Предложение Аксена поразило Карпа самым неожиданным образом. Он знал очень хорошо, что Аксен не тот человек, чтобы стал говорить зря и наобум касательно приобретения лошади, что, верно, он имел свои виды, что все давно было у него обдумано.

Несмотря на свою наружную простоту и сговорчивость, Аксен принадлежал к числу самых тонких, самых пронырливых и хитрых мужиков уезда. Способность его пронюхивать барыш там, где другие барыша не подозревали, могла только равняться с его оборотливостью и неутомимой деятельностью. Аксена видели всюду, на всех ярмарках, базарах, по пристаням в торговые дни; он вел торговлю сплавным лесом, досками, солил солонину, торговал говядиной, жег кирпичи и известку, скупал рощи, сымал сады у помещиков. Нельзя сказать, чтобы товар его был хорош и отличался доброкачественностью; все делалось спешно, зря, на живую руку: говядина была тощая, яблоки снимались незрелыми, срубленный лес продавался всегда сырым, кирпичи были недопечены. «Ничего, сойдет!» — говорил всегда Аксен. И точно, крестьяне и помещики уезда поневоле должны были обращаться к Аксену, который

силою денег и деятельности завладел мелкою торговлею уезда.

Карп знал также — и это всего более приводило старика в расстройство, — что, при простоте своей и сговорчивости, Аксен — человек крепкий, как кремень: если уж что заберет в голову, ни за что не отступится. Нечего, значит, было и разговаривать; надо было тут же решиться или уступить серого меринка, или взять назад задаток и отказаться от избы. Тем не менее Карпу обидно как-то показалось уступить сразу, с первого слова.

— Рассуди теперь и ты, Аксен Андреич, — произнес он внушительно, — у меня две лошади: хорошо, отдам я тебе меринка, как же я при одной останусь?..

— Скоро осень, а там и зима привалит; больше одной лошади держать тогда незачем; у вас же все на оброке, обозов не справляют, зачем две лошади? Куда их? только корм травить понапрасну... Пожалуй, я на то согласен: до того времени, как в поле работа не кончится, оставь у себя меринка, я за этим не погонюсь.

— Кто ж тебе об нем сказывал? — спросил Карп, у которого при этом словно подступило к сердцу.

— Мало ли сюда ходит всякого народу... из вашей деревни, из других также; пуще, признаться, хвастал сродственник твой Федот...

— Он-то, собака, из чего? — промолвил старик, быстро сжимая кулаки и так же скоро разжимая их, чтобы не заметил этого собеседник.

— Уж этого я не знаю; только каждый день придет, и давай хвалить... Заезжай, говорит, погляди да погляди! Было мне к вам по дороге, я и подъехал к вашему табуну... Федот со мной ввязался; он и лошадь указал... Точно, лошаденка складная; шестьдесят рублей можно дать.

Подвернись в эту минуту Федот, старик разругал бы его на все бока, мало того, вцепился бы, кажется, в жишенькую бородку родственника и тряс бы ее до тех пор, пока волоска не осталось.

Тут между Карпом и Аксеном завязался сильный торг, который кончился тем, что Аксен прибавил за мерина еще четыре с полтиной; на том дело и остановилось. Эти шестьдесят четыре с полтиной, приложенные к прежним семидесяти рублям, составляли сумму, которая в качестве задатка совершенно удовлетворяла Аксена; с Карпа оставалось получить около ста рублей; Аксен соглашался

ждать эти деньги до осени, как прежде было условлено.

— Когда же за мерином-то прислать? — спросил Аксен.

— Хошь завтра, хошь послезавтра — когда хочешь! — проговорил Карп отрывисто.

Он поправил шапку, которая во время этих разговоров совсем скосилась на сторону, и, простившись с Аксеном, повернул на дорогу.

— Эй, слышь, Карп! — крикнул Аксен, делая шаг вперед, — слышь — Федот ко мне просился; взять его, что ли?

— Провались он совсем! — нетерпеливо возразил Карп.

— Не братъ, стало, что ли?

— Ведь он, собака его ешь, две недели всего нанялся на люблинской мельнице — чего ему еще? — спросил Карп, останавливаясь. — Три целковых в неделю жалованья одного получает, что ж еще — собаке!

— Он, что ли, тебе сказывал? — смеясь, вымолвил Аксен, — ну, здоров, значит, врать-то! Всего за четыре рубли в месяц живет: за ту же цену и ко мне просится; так как же, по-твоему, взять его, что ли?

— А пес его возьми совсем! — с сердцем сказал Карп, удаляясь.

XIV

Когда Карп подошел к окраине той части берега, где находилась пристань, паром стоял уже на причале. Фигуры двух перевозчиков смутно обозначались на песке берега; сколько можно судить по голосам, тут, кроме перевозчиков, находилось еще несколько человек. Все они сидели у самой воды и громко разговаривали. Проходя мимо, Карп явственно услышал голос Федота.

Первым движением старика было сойти по скату берега и тут же, при людях, осрамить Федота и разругать его на чем свет стоит; но он удержался, рассудив тотчас же, что этим дела не поправишь. К тому же степенный нрав старика противился всякому шуму и брани, — особенно на миру, при чужих людях.

«Ну его, поганца! подвернется где-нибудь в одиночку — я ему тогда все припомню!» — подумал старик, отводя глаза от парома.

Голос Федота громко раздавался: заметно было, он говорил с жаром и увлечением.

Карп невольно замедлил шаг; минуту спустя он остановился и насторожил слух; любопытно стало ему послу-

шать, о чем это так горячо тараторил его родственник.

— Эка невидаль пять пудов поднять! Как жил я на крупчатой мельнице под Коломной, такие у нас батраки были, мешка по четыре пшеницы в третий верх таскали! Значит, пудов по десяти! Самому, бывало, не одна случалось... Известно, был я в ту пору помоложе!.. Да это что, братцы,— вот дед был у меня, так точно была силища! Супротив него таких теперь и людей нет! Пойдем, бывало, на пристань в базарный день, распоясается: «выходи!» — кричит; первого, кто покуражился, хлобызнет, бывало, под сусолы либо под микитки — тут тому и конец... Бывало, часа по три без отдыха бьется, весь даже синий делается, словно чугунный котел; а все, кто ни подвернется,— так и кладет лоском. «Нет еще, говорит, человека такого, кто бы победил меня! Был бы только, говорит, крест на человеке, со всяким буду драться, никого не боюсь!..» Такая была крепкая скотина!.. А насчет того, о чем прежде спрашивали, братцы,— это мне наплевать! я был и сам у Герасима (так звали люблинского мельника), — ни за что не остался! Нанялся я у него потому больше, что надо как-нибудь время проволочить недельки еще на четыре! — с уверенностью продолжал Федот,— такой уговор был у меня с купцом Бахрушиным... Прокофий Андреевич — знать... Вы, чай, об нем слышали? первейший купец в Коломне, миллионщик, торгует на первый сорт, и в Москве также лавку свою содержит... Такой уговор был у нас: «как поделюсь, говорит, с братом, ты, Федот Васильич, ко мне поступай, и жалованье, примерно, и все такое, говорит, будет тебе по самому настоящему положению...» Он сродни мне доводится... по жене... Потому жена моя купеческого званья... Жду, значит, теперича этого раздела промеж братьев; по той самой причине и поступил сюда... Главная причина, мы к этой мельницкой должности не приучены; жили всё по торговой части, этим больше сызмальства занимались, и родители мои также... Упокойный родитель трактир содержал; также лавку с красным товаром.

— Вы, значит, в городе жили? — спросил один из слушателей.

— Нет, дома; только у нас село больше другого города; церквей одних семь, и все каменные; дома также все каменные; фабрик одних, никак, пять или шесть... Все богачи содержат, купцы московские и серпуховские... Мы к торговле с малых лет приобучены... Во всем, значит, привычка

требуется... Посади теперь любого из вас, братцы, в лавку либо в трактир, как есть ни один не управится — в лесу все единственно!..

— Где! куда тебе! Уж это как есть! — отозвалось несколько слушателей.

— Главная причина, Прокофий Андреич потому и звал меня, знает, я ихнее дело насквозь произошел... Хозяйка моя тем временем своим домом станет управляться... У нее две батрачки... да еще девочку нанимает для подмоги.

— Что ж много? — спросил кто-то.

— А ты думаешь как? — еще словоохотливее заговорил Федот, — у меня дом-то немалое количество: в три сруба выстроен!.. В наших местах все так строят; нет этих здешних изб... Внизу стряпают; работницы и батраки живут...

— Ты разве и батраков держишь?

— А то как же? Двух нанимаю... Кто ж бы землю-то стал пахать?.. У нас земли и лугов не то, что здесь... Ну, внизу батраки, вверху горница — мы с женою занимаем... Вот, братцы, коли кто из вас в Москву пойдет, заходите дорогой... Меня не будет — все единственно, к хозяйке моей зайдите; скажите: «Федот, мол, прислал»; сами посмотрите наше житье... Прошлого года дом мой под трактир нанимали, только не отдал; несходно... И хозяйка так говорит: «не отдавай, говорит, Федот Васильич; самим потом нанимать надо, одно на одно выйдет...» Заходите же, братцы; посмотрите на мое житье, сами скажете: из какого, мол, дьявола таскаться так-то Федоту по мельницам!

— То-то и я так думаю... — проговорил тоном недоверия и насмешки один из слушателей, — хоть бы теперича набиваешься ты к Аксену в работники... Из какой такой неволи?..

— Эх, братец ты мой! — произнес Федот с таким выражением, что можно было думать, он обращается к пустому и вздорному малому, который совался в разговор затем только, чтобы противоречить. — Говорю вам, братцы, пуще всего надо проволочить время. Пока Прокофий Андреич с братом не поделятся — все же одно, делать нечего, деньги свои понапрасну проживать, что ли?

— Денежки-то, стало, водятся?

— Да, — проговорил Федот с какою-то густотою в голосе, — после упокойного родителя тыщонки две, может, осталось... и теперича есть...

— Врешь! — отозвались почти все в один голос.

— Приходите, покажу... И больше было, только дом дорого стал, на стройку много пошло...

— Где ж у тебя эти деньги? — спросил кто-то.

— Известно, в сундуке спрятаны; где ж им больше быть?..

— Уж подлинно: охота пуще неволи! — снова заметил собеседник, обращавшийся с недоверчивостью. — Будь у меня такие деньги, стал бы я, как же, по чужим людям шляться...

— Говоришь так, братец ты мой, потому — денег у тебя нет своих, — вот что! было бы, стал бы беречь их, все единственно... Коли сила есть в тебе, почему ж и не поработать? — рассудительно продолжал Федот, — бережешь пуще к старости, было бы тогда чем прожить, вот что! Хоронишь также деньги из осторожности: люди бы не зарились, займы не просили: покажи только; тот: «Федот Васильич, ссуди»; другой: «Федот Васильич, ссуди»... Дашь — поди ищи потом, не то и вовсе пропали... Уж ведь бывали статьи такие! У меня сродство большое... Есть богатые, есть и бедные... всякие есть!.. Вот бы хошь теперь в Антоновке, может, знаете, старик живет, Карпом звать?.. сродни приводится... Также немало ему от меня денег-то перепало... почитай, я его и поправил... Теперь избу новую торгует... Покажи только деньги, вынь их, сейчас пристанет: «дай да дай!..» Потому больше их и хоронишь!..

XV

Карп слушал-слушал и только качал головою, пожимал губами и время от времени ударял ладонями по коленям. При последних словах Федота он только плюнул.

— Ах ты, провал тебя возьми! собака ты этакая непутная!.. — проговорил он, выходя на дорогу и ускоряя шаг.

Перебирая все, что привелось теперь слышать, старик невольно забыл на минуту свое горе; он начал даже усмехаться.

Действительно, было над чем потешиться. Во всем, что говорил Федот, не было правды на маковую росинку. Жил он в маленькой разоренной деревушке, где не было даже часовни; дом его состоял из полуобвалившейся дымной лачужки, имевшей вид заплаты даже в соседстве невзрачных избенок; не было у него ни сохи, ни лошади, ни коровы; землю свою отдавал он за девять рублей в год

одному из соседей. Жена Федота доводилась, как известно, Карпу племянницей; она была круглая сирота, и сам же Карп снарядил ей, по силе своей, кой-какое приданое. Она существовала тем, что ходила работать то к одной соседке, то к другой, и жила в страшной бедности. Федот не заглядывал домой по целым полугодам. К какому бы месту он ни прилаживался, ему нигде не уживалось; он сам отходил, или его рассчитывали.

В первые два-три дня он приводил в восхищение самого взыскательного хозяина: расторопность его и усердие в работе не имели границ; он разом хватался за все, и все кипело и выправлялось в руках его; не только прикладывал он старание к той части, для которой собственно его наняли, но радел и надсаживался там, где, казалось, его вовсе не спрашивали; он выметал двор, чистил хозяйский самовар, приколачивал жерди или доски там, где они доставляли удобство; и вдруг, на третий или четвертый день, все это радение плашмя падало; он ни с того ни с сего насупливался, переставал говорить, словно его чем обидели, и наконец вовсе бросал заниматься делом: проводил день-деньской сидя у ворот или так бил баклуши. И все это происходило вовсе не потому, чтобы действительно нашел он повод быть чем-нибудь недовольным; такой уж, видно, каприз напал. Вдруг казалось ему, что хозяева не довольны его ценят и не отдают ему должного уважения; или выходило все из того, что он вдруг обижался, зачем, при возвращении с работы, хозяева не поставили ему самовара, тогда как он прежде вовсе не думал об этом, никогда этого не случалось, никогда даже не думали уговариваться насчет самовара ни хозяева, ни сам Федот. Как только такая дурь попадала Федоту в голову, он делался невыносим. Он начинал смотреть на всех свысока, делался недоступно-гордым и уже с этой минуты никого не удостоивал словом; едва-едва даже отвечал хозяевам, когда те спрашивали о самом важном деле.

Рассказы Федота недолго, впрочем, занимали Карпа; послав его мысленно к нечистому, старик снова обратился к настоящим своим делам и снова отдался прежним тревожным думам; к ним присоединялась теперь мысль об утрате серенького меринка, которого он так долго ждал, берег и холил с такою заботливостью.

Таким образом Карп незаметно почти возвратился в Антоновку; он не пошел к околице, но повернул задами де-

ревни, прошел к себе в ригу, помолился и растянулся на соломе, прикрыв лицо шапкой.

XVI

В сельской трудовой жизни, особенно с апреля до октября, время пролетает с неимоверной быстротою; не успеваешь кончить с одной работой, смотришь, уже другая наготове; в иную пору скопляется вдруг столько занятий, что длинный летний день кажется коротким. Несмотря, что дело, по-видимому, очень немногосложно: все ограничивается овсом, рожью и сеном — руки неустомимо работают и потлется ручьями в продолжение целых шести месяцев.

Самые эти занятия так разнообразны и несхожи одно с другим, что каждое из них не только вносит новые условия в жизнь простолудина, но совершенно даже дает новую физиономию деревне и окрестности. Всего каких-нибудь четыре недели назад деревни и села были пусты и оживлялись только по праздникам или к вечеру, после солнечного заката. Жизнь сосредоточивалась в поле; там кипела полная деятельность; там от зари до зари неумолкаемо звенели косы, скрипели воза и раздавался говор. Теперь все переменялось; теперь, в свою очередь, опустело поле; самые стрекозы и мухи неизвестно куда вдруг делись; изредка слышится протяжное посвистывание пастуха, который лениво подгоняет тощее крестьянское стадо.

Время и дожди немало также содействовали к тому, чтобы дать окрестности другой характер; жара миновала, и вместе с тем побледнело лучезарное небо, на которое нельзя было взглянуть не прищурясь. Рощи смотрят теперь бодро, хотя по опушкам начинает кое-где показываться желтый лист; луга сбросили болезненный вид и снова стелются ярким зеленым бархатом; темные увлажненные десятины, только что засеянные под озимь, резко отделяясь от бледно-желтого жнивья, придают картинность местности, которая прежде затушевывалась скучным, однообразным серым тоном. С речкой также произошла перемена; она стала полнее, так что седые листья лопуха, которыми покрыты были песчаные откосы берегов, кажутся теперь плавающими над водою. Ручьи, едва заметно пробиравшиеся между камнями, звонко гремят теперь, унося с быстротою обломки древесной коры и сухие листья; но уже в укромных местах, густо обросших зарею и травами, там, где ручьи впадают в реку, — не роятся коромысла

со своими стеклянными головками и кисейными крыльями.

Но что особенно бросалось в глаза, так это перемена в Антоновке. Она словно обновилась. Все почти избы покрыты новой соломой; на задах деревни неуклюжие риги заслонены скирдами, которые, привлекательно круглясь в сжатом пространстве гумен, гордо возносят свои остро-конечные макушки. Со всех сторон раздаются учащенные удары цепов или слышится шум подбрасываемого на воздух зерна, которое звонко падает на гладко убитый ток.

В этой деятельности, сосредоточенной в деревне, всегда как-то меньше суетливости, чем в поле, даром что там она сжата, здесь рассеяна на большом пространстве. В поле чувствуется всегда присутствие чего-то спешного, судорожно-хлопотливого, — словно весь работающий люд находится под влиянием тревожного какого-то ожидания; в деревне совсем не то; прислушайтесь осенью, в будничной день, к деревенским звукам — в них нет ничего беспокойного. Со всех сторон бьют цепи, шумит рожь, а между тем нет тревоги, нет суетливости; отовсюду веет миром и кротостью — чем-то таким, что сообщает душе спокойное, удовлетворенное чувство.

Тайна этого не заключается ли в тех высоких скирдах ржи и овса, которые заслоняют гумно каждого почти крестьянина?..

XVII

Хотя ворота Карповой риги — те ворота, которые открывались на ток, — были настежь раскрыты, нечего было думать приступать с этой стороны. Из ворот вылетало, клубясь и подымаясь кверху, целое облако пыли; перед входом громоздился ворох куколи, мякины и всякого сору; кроме того, легкая летевшая пыль ослепила бы глаза. Надо было обогнуть строение и войти в другие ворота, также настежь отворенные, но обращенные к полям, откуда тянул легкий ветерок.

При входе в ригу сначала решительно ничего нельзя было рассмотреть от резкого перехода из света под темную крышу, но это проходило скоро. Прежде всего выставлялись горы взбитой соломы, и между ними сквозь облако пыли виднелись Карп, его сын и сноха, которые, стоя друг против друга, неистово махали цепами, стараясь, по-видимому, истребить друг друга; потом, при взгляде наверх, постепенно выяснялись кривые стропила и пучки соломы, из кото-

рых поминутно вылетали ласточки, стремительно пропадавшие в светлом пятне ворот. Под конец глаз совершенно привыкал, начинал даже любоваться коричневым полусветом, который наполнял ригу и постепенно темнел, приближаясь к воротам, как бы для того, чтобы еще резче выставить всю миловидность светлого пейзажа с клочком голубого неба, зеленым лужком и сверкающим белым облаком, отражавшимся в повороте речки.

Судя по солнцу, время приближалось к полудню, когда за плетнем неожиданно раздались чьи-то охи; вслед за тем в светлом пространстве ворот показалась Дуня.

Пройдя от дому до риги, она совсем уже запыхалась и через силу поддерживала Ваську; выпучив глаза и засунув в рот указательный палец, Васька так же мало, по-видимому, заботился о руках сестры, как паша какой-нибудь о диване, на котором покоится.

— Ух! — вымолвила Дуня, переваливая Ваську на другое плечо. — Дедушка, староста зовет! — подхватила она топорливо, — стучит под окнами, народ собирает... Под ветлой на улице народ собирается!..

— Чего им там надо! — произнес Карп, опуская цеп.

— Не знаю, дедушка! — отозвалась внучка, думавшая, что вопрос к ней относился.

— Гаврило, никак, в контору не ездил... — заметил Петр.

— Оттуда, может, приказ прислали, — сказал Карп, надевая шапку и утирая рукавом лицо, совсем почерневшее от пыли. — Скоро время обедать, — вымолвил он, останавливаясь в воротах, — вы, как копну домолотите, домой ступайте, я скоро приду.

— Ладно, батюшка! — отозвался сын, принимаясь снова за цеп.

XVIII

Народ действительно собирался к ветле, бросавшей тень на тесовую крышу мирского магазина. Еще издали Карп услышал шумный говор. Судя по тому, с какой поспешностью крестьяне шли к сборному месту, надо было думать, причина сбора была немаловажная и слух о ней успел уже обежать деревню.

Карп ускорил шаг.

— Карп, слышал? — обратился к нему старый мужичок, толкавшийся вместе с другими.

— Ничего не знаю...

— Оброк требуют!

— Как так?

— Теперь, говорят, требуют...

— Срок к Кузьме и Демьяну; всегда так отдавали...

Еще семь недель до срока остается...

— Теперь, говорю, требуют! Из конторы писарь с бумагой приехал; сказывают, наказ такой из Питера барин прислал...

— Кто сказывал-то?

— Гаврило; он и бумагу читал...

Карп, приведенный в смущение таким известием, начал протискиваться в кружок, чтобы узнать что-нибудь повернее; но толку нельзя было добиться никакого; все говорили в одно и то же время, и все говорили разное, перетолковывая каждый по-своему. Теперь, как и всегда, впрочем, в случаях мирской сходки, первым действующим лицом являлся рыжий Филипп, тот самый, который смелее других выражал когда-то в поле свое мнение.

Голос его на этот раз не покрывал остальных голосов; тем не менее плечистая фигура его, целою головою почти превышавшая толпу, появлялась то в одном конце сборища, то в другом; шапка его то и дело пригибалась к уху товарищей, с которыми не переставал он потихоньку, но с одушевлением разговаривать.

— Где ж староста? Куда его носит! все, никак, собрались... Кого еще надо? — громко наконец произнес Филипп, выпрямляя голову. — Эй, Гаврило! — крикнул он еще громче, поглядывая на улицу и обращаясь к старосте, который обходил последние избы, постукивая в окна. — Эй, староста! ступай! Все уж здесь!..

— Иду! — отозвался Гаврило, торопливо направляясь к магазину.

Толпа расступилась и замкнула в свой круг старосту. Человек десять, из которых один только разбирал печать, но не мог читать писаного, легли Гавриле почти на спину.

— Что вы, братцы! — сказал староста, ворочаясь на месте, — думаете, что я от вас утаить хочу, что в грамоте писано... Бери, читай сам, кто хочет..

— Ну, читай, читай! — нетерпеливо вымолвил Филипп, становясь к старосте ближе всех. — Помолчи только, братцы, ничего как есть не слышно.

Вмиг все замолкло.

Гаврило вынул из-за пазухи письмо и прочел довольно внятно и толково следующее:

«Гаврило Андреев, с получением сего приказываю тебе собрать мирскую сходку и объявить о немедленном сборе оброка; в случае если выйдут какие замедления, приказываю тебе не медля явиться в контору и донести мне об этом.

Старший управляющий конторой Попов».

Громкий ропот пробежал по толпе; все заколыхалось и пришло в движение.

XIX

— Что ж нам, братцы, делать теперича? — спросил Гаврило с недоумевающим видом.

— А то делать — не посылать оброка, — вот и все! — сказал Филипп, оглядываясь вокруг и стараясь увериться, не торчит ли где-нибудь писарь, присланный из конторы. — Сказано: срок к Кузьме и Демьяну, — тому, стало, и быть! — прибавил он решительно.

— Писарь сказывал мне, — начал Гаврило, — из Питера в контору такой приказ пришел; сам барин велел оброк представить...

— Господа нашего положения не ведают; это все вертят эти мошенники управители! — заговорил опять Филипп. — Православные! — воскликнул он, неожиданно обращаясь к толпе, причем лицо его сделалось вдруг таким же красным, как волосы и коротенькая курчавая бородка, — православные! что ж вы стоите, молчите? Надо всем ответ держать!.. Что ж это такое! одно, выходит, разоренье! До оброка целых семь недель сроку остается... Откуда теперь взять его? У многих хлеб еще в поле; а хошь и обмолотились, куда его продашь? Цены нет никакой теперь. Даром, что ли, отдавать?

В толпе опять разом все заговорило, так что в первую минуту невозможно было разобрать слова.

— Погодите маленько, братцы, дайте слово сказать! — крикнул Гаврило.

Снова наступило молчание.

— Обо всем этом, что ты говоришь, Филипп, сами мы знаем, — начал Гаврило, — надо, примерно, не об этом... Настоящим делом рассудить надо... Оброка, говоришь, не платить... Велят — так заплатишь... Надо настоящее го-

ворить... потому словесами одними ничего не сделаешь...

— Изволь, я и настоящее скажу... Давно бы сказал... ты же перебиваешь! Настоящее то, что в контору надо ехать к управителю! — возразил Филипп. — Велели миру собраться — и собрался; миром и положили: время такое — нет силы возможности отдавать оброка; к Кузьме-Демьяну отдадим, как следует по положению... Теперь нет цены на хлеб... Продать теперь — значит разоренье одно... так и сказать надо!..

Все в один голос подхватили мысль Филиппа. Напрасно Гаврило убеждал в бесполезности поездки к управителю с таким порученьем, напрасно приводил из опыта разные примеры, — мир поставил на том, чтобы Гаврило ехал.

Решив таким образом, толпа стала расходиться, собираясь на улице маленькими кучками, в которых громко говорили.

Карп вернулся домой чуть ли не из последних.

Войдя во двор, он застал жену и сноху под навесом, где стояли лошади; обе женщины, припав к плетню лицом, жадно к чему-то прислушивались. До слуха старика долетели в то же время крики, раздававшиеся у соседа.

Скрип ворот заставил баб обернуться; обе побежали к Карпу.

— Батюшка, касатик, — заговорила старуха, — сейчас Воробей с братом сестру свою, солдатку, били... Так били — у нас даже слышно было... Пришли они, как народ стал расходиться, — и давай колотить... Слышим, кричат... Что такое, думаем?.. Подошли послушать: уж так-то кричит — и-и-и!..

Карп сейчас же смекнул, в чем дело; но он был слишком не в духе, чтобы вступить в разговор и дать жене и снохе объяснение того, что происходило у соседа. Он сделал вид, как будто не обратил никакого внимания на слова жены.

Поднявшись на крыльцо, он сказал только бабам, чтобы скорее собирали обедать.

XX

Несмотря на то что зори по утрам начинали быть довольно холодны, Карп все еще продолжал спать в риге. В ночь, которая следовала после сборища у магазина, Карп, начинавший уже засыпать, внезапно пробудился и стал прислушиваться. Слух его явственно различал шорох

но где он раздавался, внутри или снаружи риги,— этого в первую минуту не мог разобрать старик... Наконец слышно стало, что кто-то царапался вдоль плетня и перебирал ногами в высокой крапиве, окружавшей ригу. Немного погодя чьи-то руки ощупали деревянный засов и бережно начали отворять ворота.

— Кто тут? — крикнул Карп, торопливо приподымаясь с соломы.

— Я... дядюшка Карп... — проговорил кто-то, шмыгнув в ригу.

— Кто ты? — еще громче крикнул Карп, делая шаг вперед.

— Не признал, что ли?.. Я, я, — Федот! — произнес голос, явно старавшийся принять характер примирительный, заискивающий.

— Так это ты! — мог только выговорить старик, озадаченный таким неожиданным появлением.

— Было мне по дороге, думал отдохнуть у тебя, — подхватил Федот скороговоркою и как бы стараясь замять речь старика. — Аксен просил сходить в Андреевское... на счет, то есть — корова там у барыни продается... так посмотреть просил... Я у него живу теперича... Ну, запоздал маленько... Дело не спешное, думаю: дай зайду к дяде Карпу, отдохну до зари...

— Врешь, врешь! бесстыжие твои глаза! — заговорил сквозь зубы и как бы с озлоблением старик. — Врешь! знаю я, зачем ты сюда шляешься! Знаю, с какими коровами ходишь... Собака ты этакая!..

— За что ж ты ругаешься...

— Ах ты, непутный ты этакой! — продолжал Карп, все более и более разгорячаясь. Будь я помоложе, — я бы в тебе места целого не оставил!..

— Не тот я человек, чтобы меня трогать! — обиженным тоном возразил Федот, — никто еще меня не трогал... Это уж я вижу: значит, тебе на меня наговорили...

— Нет, не наговорили!.. Кто разболтал Аксену про мерина, а? — кто?.. Говори, через кого, коли не через тебя, лошадь отошла от двора моего?..

— Слушай, Карп Иваныч, — снова скороговоркою начал Федот, — провалиться мне на этом месте, отсохни мои руки, лопни мои глаза...

— Молчи, бесстыжий! Не божись лучше, не греши... Сам я про все знаю. Стой, погоди! — воскликнул Карп,

думая, что Федот хочет улизнуть, тогда как Федот отступал только в сторону, боясь, чтобы Карп его не ударил.— Сказывай, благо пришло к случаю, какие и когда давал ты мне деньги? а? Говори, когда я брал у тебя? Зачем же ты рассказываешь, что ссужал меня деньгами, и теперь хоронишь, которые остались,— боишься, не стал бы я просить на избу...

— Отсохни мои руки, лопни мои глаза...— начал было Федот, но Карп не дал ему договорить.

— Молчи, окаянный, не божись, сам слышал!

— Ничего я этого не говорил.

— Врешь! Как шел я наредни ночью от Аксена, сам слышал, как ты на пароме...

— Что ты? — перебил Федот, — ноги моей никогда на пароме не было! Все это, Карп Иванович, одни сплетки про меня пускают, — подхватил он невинным голосом. — И охота только слушать тебе... Меня все знают!.. Не тот я человек совсем.

— Ну, теперь, — продолжал Карп, не обращая внимания на оправдание своего родственника, — сказывай, зачем пришел? Чего надо?.. Сестра Воробья, солдатка, приманила!.. На себя бы ты поглядел!.. Тебе ли, лысому черту, такими делами заниматься?.. Хоть бы людей-то постыдился, коли в тебе ни стыда нет, ни совести! Ведь через тебя ссоры только в семье да брань: и то сегодня, через тебя, братья ее таскали... Да и тебе так не сойдет... Воробей с братом сами мне сказывали; попадись только им — тут тебе и голову положить! Они и день и ночь на сторожке, как бы только поймать тебя; может, и теперь уж укараулили...

— Все это сплетки одни; как перед богом, сплетки... — неуверенно и даже плаксиво проговорил Федот.

— Ладно, сплетки!.. А пока ступай от меня! проваливай! чтоб духу твоего здесь не было!..

— Дядя Карп, пусти переночевать, — сделай милость... Что ж я, чужой тебе, что ли? — робко промолвил Федот.

— Вон ступай, бесстыжие твои глаза! Вон!

— Дядя Карп, сделай милость...

— Не пущу! — заключил Карп, выталкивая Федота, который пятился назад. — Вон ступай, говорю, вон, — и на глаза мне не показывайся.

Карп запер ворота и возвратился на солому. Шуму никакого не было теперь слышно за плетнями; изредка — и то едва заметно — раздавался треск сухих стеблей, ло-

мавшихся под ногами, которыми, очевидно, переступали с большой осторожностью. Наконец все замолкло, кроме петухов, которые начали вдруг драть горло, почуяв полночь.

XXI

Но не успел Карп заснуть, шум в воротах снова привлек его внимание; на этот раз кто-то смело стучался.

— Кто тут? — с досадою крикнул старик.

— Я, дядя Карп! — отозвался голос Филиппа.

Карп поднялся на ноги и отворил ригу.

— Я затем к тебе в такую пору, — не видать теперича... Не станут, значит, болтать... — сказал Филипп. — Слышь, дядюшка, вот дело какое: я почитай уж со всеми перемолвил, все в одном утвердилось: до Кузьмы-Демьяна не отдавать оброка! Тут толковать нечего; знамо, не барину нужно; господа люди понятные; одна тут управительская воля. «Как, мол, хочу, так и верчу!» вот что! Управитель у нас новый; возьмет такую привычку — житья нам не будет... Мы вот на чем положили: известно, один человек упрется, ничего не сделает, — в рог согнут! А как миром что скажут, коли весь мир в согласии, — тут хошь не хошь, ничего не возьмешь; с целой деревней ничего нельзя сделать; всех к становому не отправишь.

— Так-то так, Филипп, — отозвался старик, — не вышло бы только худо из этого...

— Эх! братец ты мой, говорю тебе — весь мир в согласии; главная причина, крепко только надо друг за дружку держаться! Мы чего добиваемся? Хотим держаться до поры возможности, чтобы время протянуть до срока; установится на хлеб цена настоящая, хлеб продадим, тогда и оброк бери... Так, что ли?

— Хорошо, как бы так-то...

— Главная причина, — подхватил Филипп с воодушевлением, — не выдавать друг друга! Примерно, хоть тебя спросят: «Зачем не продаешь хлеб?» — «Я, говори, ничего... мир не велит, всем миром так положили ждать до осени!..» Так все уговорились, я со всеми перетолковал; все на одном стоят: не продавать хлеба до Кузьмы-Демьяна, пока цена не устави́тся... Смотри, Карп, не выдавай; говори заодно со всеми...

— Кому убытки — мне разоренье, — сказал Карп, — коли мне продать хлеб теперь, без цены, да из тех денег оброк

отдать, ничего на избу не останется... Надо также и на зиму малость денег оставить...

— То-то же и есть!.. У тебя изба, у другого свои дела; у всякого так-то!.. Так слышь: как другие, так и ты делай; такой уж уговор; я за тем и зашел к тебе, чтобы как, то есть, повернее... Ну, прощай, время идти... — заключил Филипп, суетливо выходя из риги.

Карп снова отправился на солому; но сколько ни ворочался он с боку на бок, на этот раз долго не мог заснуть; сон сморил его тогда только, как пропели вторые петухи.

XXII

На другой день вечером Карп, осмотрев свое озимое поле и оставшись очень доволен всходами, возвращался в Антоновку, когда недалеко от поворота в околицу услышал за собою трескотню тележки. Он оглянулся; узнав по гнедой вислоухой лошади владельца телеги, Карп остановился; лицо его заметно оживилось любопытством. Немного погодя телега с сидевшим в ней старостой Гаврилой поравнялась с Карпом.

Уже одна наружность Гаврилы свидетельствовала, что поездка его была крайне неуспешна; он сидел нахохлившись, как воробей после дождя; глаза его против обыкновения мрачно, недоброжелательно как-то поглядывали из-под шапки, пропускавшей большой клин клетчатого платка, которого он не думал поправлять.

— Что, как? — спросил Карп, следуя рядом с телегой, которая продолжала приближаться к околице.

— Эх! — был только ответ старосты.

— Худо, стало быть?

Гаврило потрянул только шапкой.

— Напрасно, значит, съездил?

— Говорил тогда — нет, не верили! — вымолвил наконец староста. — Вышло все по-моему, как я говорил: ничего этого, о чем мы толковали, не берет в рассуждение!.. Только ругается... Грозит еще станового прислать...

Карп зачмокал губами, отнял руку от перекладины телеги и также нахохлился.

Таким образом вступили они в околицу.

Появление Гаврилы на улице произвело ожидаемое действие; многие увидели старосту — и слух о его возвращении мигом распространился по деревне. Едва он подъехал к избе своей и вылез из телеги, его окружила

толпа еще многочисленнее той, которая стояла у магазина.

Все, что было взрослого в Антоновке, знало более или менее причину отъезда старосты, и все любопытствовали узнать, какой будет ответ из конторы.

В первые две-три минуты Гаврило не мог выговорить слова — его решительно затормошили; наконец, когда старые люди подали голос, призывая всех к молчанию, — Гаврило передал миру почти то же, что сообщил Карпу.

— Писарь, который ввечер приезжал сюда, не соврал нам, — продолжал Гаврило, — точно, грамота такая пришла из Питера! Мне земский сказывал; он и письмо барина видел...

— Да ты сказал ли управителю, о чем мир просит? — неожиданно вмешался Филипп, просовываясь вперед.

До той минуты он молча стоял в толпе и только прислушивался.

— Ругается, кричит, — вот те и все тут! ничего не сделаешь! — ответил Гаврило, разводя руками, — знай только кричит: «станового пришлю!..»

— Эка невидаль! — перебил Филипп, — присылай, пожалуйста! Мы становому то же скажем...

— Как же, станет он слушать! Он, знамо, управительскую руку держит, — вымолвил Гаврило, — что скажет ему управитель — тому и быть.

— Это как есть!.. Что он скажет, — тому и быть!.. Эхма... — слышалось отовсюду на разные тоны.

— Православные! — заговорил опять Филипп, с живостью обращаясь к толпе, — неужто взаправду разоряться? По-моему, вот что делать: самим к управителю ехать; выбрать из мира человек пяток и ехать... А коли не поможет, напишем тогда письмо к барину; из Коломны, по почте, чрез пять дней в Питер доставят... Это всего вернее... Помереть мне, коли все это дело не от управителя; помереть — коли барин об этом ведает...

Одобрительный говор пробежал в толпе.

— Православные! — крикнул ободренный Филипп, все более и более воодушевляясь, — выходи, братцы, кто к управителю поедет! Савелий, ступай сюда в круг, — обратился он к рослому смуглому мужику, стоявшему ближе других.

— Охотников без меня много... — проговорил Савелий, запинаясь и пятясь назад.

— Стегней, выходи! — крикнул Филипп другому мужику с оживленным, решительным выражением лица.

Живое и решительное лицо быстро скрылось в толпе.

— Кум Демьян, поедем! опаски никакой нет; удастся — ладно, не удастся — письмо написать можно; поедем! выходи, становись в круг!..

Но кум Демьян, шумевший до сих пор столько же, сколько сам Филипп, был, по-видимому, другого мнения. Он глухо пробормотал что-то, и с этой минуты никто уже не слышал его голоса.

Филипп, у которого побелели губы, обратился еще к трем-четырем человекам, но так же безуспешно.

Толпою, где плечо одного чувствовало плечо другого, все надсаживали горло, выказывали смелость, решимость — и, казалось, готовы были города брать; но, странное дело, как только дело касалось каждой личности порознь, — едва требовалось проверить силу убеждений целого общества по силе убеждения каждого лица отдельно, — каждый, к кому ни обращались, напрямик отказывался действовать и даже назад пятился.

— Полно, Филипп! ничего из того не будет, — проговорил Гаврило, поглядывая на Филиппа, который, казалось, с трудом удерживал кипевшее в нем негодование.

— Известно, ничего не будет, когда сначала все заодно, а как пришло к делу — все врозь, — сказал Филипп. — Испугались, что ли?.. — промолвил он, мрачно озираясь вокруг.

— Что ты храбришься-то! ехал бы сам, коль охота есть! — иронически заметил Гаврило.

В толпе многие засмеялись.

Это окончательно взорвало Филиппа.

— Что ж, и поеду, — сказал он, обмеривая глазами Гаврилу, — ты, может, ничего этого не сказал, как надобно, управителю... добре уж очень страх взял!.. Потом приехал, рассказываешь! такое-то, мол, решение, — а тут тебе и поверили...

— Поверили! поверили! — перебил староста, передразнивая Филиппа, но вместе с тем из предосторожности отодвигаясь назад. — Поезжай сам, говорю, — авось сладишь...

Вместо ответа Филипп снова обратился к толпе:

— Что ж, православные, никто, стало, не едет?.. все от слова отступились!..

Каждый раз, как взгляд его куда-нибудь устремлялся, там тотчас же воцарялось молчание и в толпе заметно редело.

Филипп плюнул наземь, рванулся вперед и быстрыми шагами пошел к своему дому.

— Экой горячий! Бедовый!.. Рыжие и все такие-то!.. Куды бравый какой!..— раздалось в толпе.

Общее мнение было таково, что Филипп нахвастал, хотя до сих пор никто еще не мог привести случая, когда бы Филипп поступил таким образом. Вскоре об нем совсем забыли. Везде во всех отдельных кружках только и толку было, что об известии, привезенном Гаврилой,— о том, что такая уж, знать, напасть пришла,— и делать нечего: наступили, знать, времена такие тяжкие!

XXIII

Между тем брат Филиппа и другие члены его семейства, которое очень многочисленно, спешили возвратиться домой.

Увидя, что Филипп не шутя готовится в путь, все приступили к нему, убеждая его не ехать. Но Филипп ничего не хотел слушать; он велел бабам идти в избу и оставил при себе только брата, с которым жил всегда очень дружно; они до сих пор ни разу даже не поссорились.

Брат начал в свою очередь убеждать Филиппа оставить свое намерение.

— Вот вздор какой! Чего ты опасешься? — возразил Филипп голосом, который показывал, что сердце его еще не улеглось и кипело остатком негодования.

— Боюсь, брат, не вышло бы худа из этого...

— Это насчет меня, думаешь? Ничего не будет! Каков ни есть управитель, он все же свой рассудок имеет; увидит — не пьяница я, не бунтовщик какой; приехал просить об настоящем деле.

— Хорошо, как послушает; сказывают, не такой человек...

— Врет Гаврило! — нетерпеливо перебил Филипп. — Отсохни правая моя рука, коли не врет! Сам рассуди: статочное ли дело, чтобы человек, какой он ни есть, слушать не стал, коли толком, настоящее говорят? Побожиться рад — Гаврило ничего этого, что надо было, не сказал управителю; такая уж душа соломенная! Не токмо перед управителем, другой раз и перед своим-то братом — кто побойчее — и то молчит... Ты ничего этого не опасайся. Приеду, скажу: так и так, повременить только просим до срока, — как по положению... цена уставится, — к Кузьме-Демьяну все как есть представим...

— Делай, как знаешь; я бы не поехал,— сказал брат.

— Это почему?

— Потому, если и ладно сойдет, послушается тебя управитель,— не стоят они того, чтобы хлопотать...

— Думаешь, за мир просить еду?..— с живостью произнес Филипп.— Нет, подождут теперича! Пускай опять Гаврилу посылают,— черт с ними! Как знают, так пускай сами разделяваются... Как только к делу пришло, все один за одним отступились... Еду за себя просить — за семью свою. Нам всего накладнее приходится; хлеба продашь вдвое — деньги выручишь те же: по семейству по нашему, давай бог, что при настоящей-то цене на зиму хлеба достало, покупать не пришлось; потому больше и еду. Нет, разделявайся они как сами ведают!.. Я теперь, что хошь мне давай,— пальца не согну для мира — шабаш!..

Брат, побежденный отчасти такими доводами, не старался более удерживать Филиппа и помог ему даже запрячь лошадь.

XXIV

Как только узнали в деревне об отъезде Филиппа, мнение об нем тотчас же переменилось. Даже те, которые на сходке подтрунивали над ним заодно с Гаврилой и говорили, что Филипп только храбрится и хвастает, не переставали теперь выхвалять его, величали его самым толковым, деловым и вместе с тем самым смелым мужиком деревни. Все домохозяева, повесившие было голову, снова исполнились надеждой и воспрянули духом — точно так же, как в то время, когда ждали возвращения Гаврилы. Деревня снова громко заговорила.

Гаврило, переходя из избы в другую, напрасно убеждал всех, что поездка Филиппа не принесет никакой пользы, кроме той разве, что его самого хорошенько проучат и сделают посмирнее,— что управитель,— если б даже не понуждало его к тому письмо барина,— совсем не таковский человек, чтобы стал кого-нибудь слушать; напрасно убеждал он покориться и приступить к сбору оброка,— никто не трогался с места; отовсюду встречал он один ответ: «торопиться некуда; время терпит; дай Филиппу приехать, что Филипп скажет!»

...На другой день вечером напрасно, однако ж, прождали Филиппа: он не возвращался.

— Что ж бы это значило?..— спрашивали друг друга соседи.

В доме самого Филиппа началась между тем тревога: мать, жена и сестры его одна за другой выбегали на дорогу за околицу; часто та или другая выжидала его там по целому часу. Беспокойство заметно также начало овладевать братом. На следующий день в доме Филиппа раздались всхлипывания.

Прошел и этот день. Филипп все-таки не возвращался. Всхлипывания в его доме превратились в громкий вопль. Брат начал было уговаривать мать и сестер стараясь всячески их обнадежить,— ничего не помогало; к жене брата он уже не приступался; она лежала ничком на дворе и голосила, словно по покойнике.

Наконец, на четвертый только день, поздно вечером, распространился слух, что Филипп приехал. Немного погодя стали разглашать по деревне странные вести: говорили, будто Филипп, как только вышел из тележки, прямо отправился к себе в ригу; ни с кем из домашних он не поздоровался, никому даже слова не промолвил. Обрадованная жена, с которой жил он всегда ладно, бросилась было к нему с воплем,— он грубо отвел ее руками и сказал только: «Что тебе... давно, что ли, не видала?..» После того пошел он в ригу. Жена, мать и сестры последовали за ним, желая добиться какого-нибудь толку,— он всех разогнал, всем велел идти домой и допустил к себе одного брата. Войдя в ригу, Филипп с сердцем бросил наземь полушубок, бросил шапку и ничком повалился на солому. Два-три человека, которым потом удалось говорить с братом, спешили сообщить, что Филипп велел брату везти хлеб и продать его за первую цену, какую дадут.

— Стало, и нам то же делать! — был общий отзыв.

Слух обо всем этом не замедлил, конечно, достигнуть ушей Карпа.

— Оброк не пуще велик, а много придется теперь за него хлеба отдать! — задумчиво промолвил старик, обратившись к сыну, который передал ему общую весть.— Хлеба, который останется,— только на зиму хватит для семейства... Сколько ни считал я все эти дни, не выручишь денег тех, что за избу отдать надобно... Так, стало, тому и быть! — довершил он угрюмо.

Карп, точно так же как и остальные обыватели Антоновки, лишившись всякой надежды на благопрятный пово-

рот дела, упал вдруг духом и толковал теперь о том только, чтобы насыпать возы и везти хлеб на продажу.

Так как пятнадцать рублей, получаемые Гаврилой в виде жалованья, засчитывались ему ежегодно в оброк,— староста на свой счет не очень сокрушался. Он тревожился тем только, что управитель, того и смотри, пришлет за ним и потребует отчет за медленный сбор мирского оброка. Движимый такою мыслью, он еще неусыпнее начал убеждать всех и каждого, что, если уж вышло такое невзгодье,— откладывать нечего; чем скорее отдашь деньги, тем скорее отвяжешься от управительского надзора и неприятностей, которые грозят миру в случае промедления.

— Главная причина, в спокойствии тогда оставят, вот что! — повторял староста, — станем оттягивать — осерчает, уж это наверное так; пожалуй, еще станового пришлет... расправа начнется... что ж хорошего??

На этот раз никто не возражал ему; вместо смелых, бойких ответов он встречал одну молчаливую покорность.

Решено было всем миром понаведаться завтра же утром к Дроздову и условиться с ним насчет цен. Впрочем, это были одни только пустые разговоры; никто не сомневался, что все равно надо будет отдать хлеб за ту цену, которую назначит Дроздов.

XXV

То же самое ожидало крестьян, если б они повезли теперь хлеб в ближайшие уездные города. Купцы очень хорошо знают, что, если мужик в такую пору приехал с хлебом,— видимое дело, его прижали, ему до зарезу надобны деньги; они спешат воспользоваться таким благоприятным обстоятельством и, в свою очередь, его прижимают. Городские кулаки еще плутоватее, еще неумолимее деревенских. Уже одно то, что крестьянин насыпает дома рожь настоящей мерой, а купец принимает ее по своей мере, несравненно большего объема,— заставляет всегда первого избегать продажи в городе.

На этом основании антоновцы решились прибегнуть к Дроздову, к тому же он проживал от деревни верстах в пяти всего-навсего.

Дроздов, или, лучше, Никанор, потому что так обыкновенно называл его народ,— был простой откупившийся на волю мужик, содержащий большую миткалевую фабрику.

В некоторых уездах средней России таких фабрик

развелось,— особенно в последние годы,— такое множество, что нет почти деревни, где бы не возвышалось неуклюжее бревенчатое строение, из которого с утра и до вечера слышится шум разматываемой бумаги и щелкотня ткацких станков. Над этими фабриками не существует ни присмотра, ни контроля; хозяева, обеспечивая себя ежегодно домашними расчетами с мелкими местными властями,— приобретают положение, которое ничем почти не отличается от положения начальников диких племен на самых отдаленных архипелагах Тихого океана. Самоуправство является здесь в полном своем безобразии. Хозяева по произволу изменяют заработную плату; назначается такая-то цена за основу; основа готова — хозяин переменял цену, и работник получает меньше того, на что рассчитывал. Бедные крестьяне соседних деревень посылают на фабрику своих девочек и мальчиков для размотки бумаги; нет возможности приходить всякий день за несколько верст и уходить вечером; дети ночуют на фабриках; все это спит где ни попало и вповалку; можете судить о том, что здесь происходит и как, по мере процветания фабрик, должна процветать нравственность. Мало того, хозяева редко или, вернее, никогда не рассчитываются с народом на чистые деньги. Они покупают в городах залежалые партии сапогов, оптом скупают шапки, подмоченную соль, годовалую муку, перепревшую крупу и т. д. и рассчитываются таким материалом, ставя за него всегда втридорога против того, что стоит он им самим. Народ, следовательно, обут и одет скверно, ест худую пищу и постоянно без гроша денег.

Многие из этих хозяев владеют большими капиталами. Никанор принадлежал к числу последних. Впрочем, он продолжал только дело, начатое еще покойным его родителем.

XXVI

Взглянув на лицо фабриканта, нельзя было поверить, чтобы мог он так успешно вести дела свои. Наружность Никанора ставила в тупик — так резко противоречила она его действиям. На всем свете не было, казалось, тупоумнее человека. Бесцветные навывкате глаза, как у разварной рыбы, смотрели мутно, как будто угасла в них способность осмысливать предметы; плоские, как щепки, волосы мертвенно висели по обеим сторонам пухлого, но крайне болезненного лица, окруженного редкими бакенами и такою же чахлой, жидкой бородкой; все черты выражали одну сон-

ливість, вялість, неспасібнасць. Усе ў ім было адно к аднаму; гаворіў ён вяло, словна клешчамі хомут нацягваў; нагамі сваімі, абутымі ў башмакі, перадвiгав медленна, словна процiв волі. Ходіў ён заўсёды, запахiваюсь ў доўгiы бумажны набiвны халат такога жэ пачты грязновато-большага цвэта, як і лiцо яго. Словна, не было магчымасці паверiць, каб такі чалавек быў на што-нiбудзь годен. Дзела яго мiжду тэм шлi блистатальна; ён ворочав такімі дзеньгамі, што нiчога не значыло ёму усадiць ў сваём прыходе пяцьдзсят тысяч на постройку агомнай царквы с круглым зеляным купалам.

Эта не мешало, аднако ж, самаму Нiканору жыць, як гаворiцца, свiнья свiньей. Дом яго, ачель поместiтельны, с нiжнiм этажом кiрпiчным, а верхам дэравянным, быў крыт жалезам і выкрашен зеляной краской, оставшейся от царковнаго купала. Внiзу помещалiсь подвалы для склада тавара і кантора. Верхнiй этаж із шесті-сепі камнат занiмал Нiканор с сваім сямействам.

Жил ён, сабствэнна, ў адной толькo із гэтых камнат; астальныя стаялi пустымі; кое-гдэ развэ пападалась скамья ілі стаяла кадушкa с квашеной капустой, прiжатой кiрпiчом. В камнатэ Нiканора рамы не выставлалiсь со врэмені постройкi дома; там с трудом мажно было пераводiць дыханне; все смотрело до невозьможнастi грязно — начiная с самой хазяйкi і ёе засусоленных, золотушных дэтей і канчая зеляным, как словна прокислым, самоваром і стеклами акон, пачты до темноты засiженнымі мухамі.

У дверей, ў высоком буром футляре, доходившем до потолка, чикалi часы с циферблатом, размалеванным цвэтaмi; ў углу стоял не прiслоненный к стене диван, покритый ободранной кожей; но боже было упаси сесть на него; асобенною апаснастью угрожалi гвоздiкi і тесемка, обшивавшая кое-гдэ кожу; под каждым гвоздем і складкой сидело, мирно прiютясь, целое гнездо клопов. Все это, крэме, впрочем, дивана, который постоянно, годы целые, оставался на сваём месце, чистилось і переставлялось раз в год — іменно на страстной недэле перед светлым праздником; тогда целые ушаты воды разом проливалiсь ў этом втором этаже; хляск воды раздавался повсюду; вода, не находя себе выхода, скорее всего утекала ў шiрокие щели кой-как сколоченного пола, удобряла земляную настилку і гэтым спосабом разводила мiриады блох, кото-

рые несметными легионами появлялись уже к Святой.

Но Никанор и его семейство так сжилося со всем этим, что всякое другое место показалось бы им крайне неудобным. Незачем было, следовательно, изменять порядка, начатого блаженной памяти упокойным родителем, — порядка, которым удовлетворялся сын и, верно, будет удовлетворяться золотушное потомство.

XXVII

Карп был один из первых, который явился к Никанору. Войдя в контору, старик застал там хозяина. В конторе никого почти не было; стояли только две бабы и оборванная девочка, пришедшая за бумагой для размотки.

Тем не менее Никанор сделал вид, как будто не заметил вошедшего. Он никогда не кланялся первым простому мужику. Никанор прежде был проще; гордость напала на него с той самой поры, как воздвиг он церковь и к концу каждой обедни поминали его, как строителя храма, и подносили ему просвиру.

Карп подошел к прилавку, разделявшему контору на две половины, и поклонился.

— Чего надо? — спросил Никанор, едва поворачиваясь.

— Хлебца привез, Никанор Иваныч... десять четвертей: не возьмешь ли?.. — задабривающим голосом сказал Карп.

— Не надоть! — возразил фабрикант как бы сквозь сон.

— Что ж так?.. Возьми, сделай милость!..

— Сколько хлеба навезли — девать некуда.

— Всего ведь десять четвертей!

— К тому же денег теперь нету... — начал было Никанор, но Карп перебил его:

— У тебя?.. У кого ж и быть деньгам-то!.. Возьми, пожалуйста!

— Пять с полтиной, — коротко и сухо проговорил наконец Никанор.

— Как, за четверть? — воскликнул Карп, между тем как фабрикант повернулся к нему боком и, казалось, перестал даже его слушать. — Побойся бога! к Кузьме-Демьяну четверть-то девять рублей стоит; три рубля с полтиной на четверть хочешь нажить... Бога ты побойся!

На мутном лице Никанора промелькнула тень пренебрежения.

— Чего ты пристал ко мне, — произнес он, не возвышая,

однако ж, голоса,— говорю, не надо: вези куда знаешь... где сходнее...

В эту минуту батрачка позвала хозяина наверх; почти в то же время в контору вошел еще мужичок из Антоновки.

Карп передал ему свой разговор с фабрикантом.

— Делать, знать, нечего, Карп Иваныч; отдать надо,— отвечал тот,— больше не даст; вечер уж трое из наших к нему приезжали; за ту же цену отдали.

— Знаю, сказывали мне,— вымолвил старик.— Я думал, посоветится, не надбавит ли каким случаем; потому и разговор такой повел с ним.

— Как же, жди от него совести, эх захотел!.. И я свои два воза за те же деньги ссыпал, делать-то нечего!..

С возвращением Никанора дело Карпа было кончено. Фабрикант, поручая приказчику сходить и смерить привезенную рожь, говорил так же сонливо, вяло и неохотно; казалось, он не подозревал даже, какой огромный оборот делал, скупая в настоящее время хлеб из Антоновки.

Получив деньги, Карп сел в пустую тележку и вместе с сыном, поместившимся на другой подводе, отправился домой.

Путем-дорогой старик принялся в сотый раз сводить свои счета; он как будто все еще не доверял прежним своим соображениям и думал — авось-либо выйдет как-нибудь по-другому.

Нет, по-другому не выходило! Прежние расчеты были совершенно верны. Отдав пятьдесят два с полтиной оброку, отложив десять четвертей на зиму для семейства, Карп мог продать всего-навсе шесть четвертей ржи и четыре четверти овса. Как умом ни раскидывай, не было возможности, даже при самых счастливых обстоятельствах, выручить из этого столько денег, чтобы добавить Аксену за сруб, отдать плотникам за постройку избы, печнику за печь — и мало ли еще сколько денег требуется при сооружении нового дома!

Касательно первого задатка, отданного Аксену, Карп не беспокоился; Аксен был известен своею честностью; старик ни на минуту не сомневался, что получит свои деньги. Но вот что неотступно его тревожило — тревожила мысль о втором задатке, о сером меринке, который, как назло, приглянулся Аксену так, что последний им не хваливался. Тут как быть? Как тут рассчитывать? Вернее всего, Аксен оставит его за собою; ведь ему надо

получить вознаграждение за убытки; на избу много было охотников; не случись Карпа, Аксен давно бы продал ее с барышами.

Карп так углубился в свои соображения, что поднял голову тогда только, как лошадь остановилась перед его воротами.

После дождя, лившего всю ночь и все утро, избенка, как нарочно, представлялась такой кислой, так грустно поглядывала на улицу своими крошечными окнами, полусгнившими углами и выдавшейся мокрой стеною, что вчуже забирала жалость.

Понятно, такой вид не мог порадовать и развлечь ее владельца.

XXVIII

Время между тем шло своим чередом, свершая в природе обычные, неумолимо неизменные перевероты. Давно ли, кажется, поля, луга и рощи дышали таким оживлением? Все это миновало! Первыми возвестниками наступающих холодов были, по обыкновению, ласточки; они отлетели с первыми морозными утренниками. За ними в похолодевшем воздухе пронеслись длинные белые нити тенетника; потом в светлом, хотя уже бледно-зеленоватом небе, пролетели журавли, возбуждая отдаленным криком своим громкие возгласы деревенских мальчишек.

Давно ли, наконец, антоновская роща, одетая с макушки до корня зеленою клена, березы, орешника и разного рода кустарников, наполнялась веселым треском, свистом и пением каждый раз, как проникал в нее первый солнечный луч? Давно ли, кажется, было все это!.. Теперь, от маковки до корня, стоит она обнаженная, и хотя бы три раза в сутки начинался день, не пошлет уже ему навстречу веселых, приветливых звуков. В серой, сквозящей глубине рощи мелькают одни голые стволы и перекрещиваются во все стороны почерневшие обнаженные ветви. Вместо прохлады отовсюду несет сыростью и крепким запахом опавших листьев, которые наполняют глубину кустарников и густо устилают дорогу. Изредка кое-где тоскливо, в разлад, чиликнет краснобрюхий снегирь или вдруг в стороне зашуршуют листья и через дорогу пугливо пробежит заяц.

Все остальное, куда ни обращаются глаза, носит ту же печать опустения. Окрестность словно состарилась; колеи, которыми взрыты дороги, кажутся глубокими морщинами;

речка, так долго отражавшая в последнее время свинцовые, серые тучи, усвоила навсегда как будто цвет их, отвечающий, впрочем, общему тону печали, которым окутались не только окрестности, но и самое небо.

Куда девался также веселый вид деревни, когда, бывало, при заходящем солнце ослепительно сверкают соломенные крыши избушек; когда старые ветлы, бросая через реку на луг длинные густые тени, постепенно зарумяниваются, покрываясь багрянцем заката; когда весь деревенский люд, высыпая в эту пору на улицу и — то уходя в сизую тень, бросаемую избушками, то выступая на свет — начинает петь песни и водить хороводы, играя на солнце ярко-алыми и синими платками и рубашками... Куда все это делось! Антоновки узнать невозможно. Она также отжила, как будто вдруг состарилась. Стены избушек, вымоченные непрерывными дождями, так же почти черны, как улица, которая превратилась в грязь, замесилась и стала непроходимой; старые ветлы обнажили свои головастые пни, и ветви на них торчат кверху, как волосы на голове взъерошенного человека. Солома на крышах сделалась совсем серою и едва-едва отделяется теперь на сером небе.

Небо пока не шлет еще дождя, но в отдалении начинают уже клубиться тяжелые, мрачно-сизые тучи.

XXIX

Дядя Карп, которого ненастье отрывало поминутно от начатой работы, спешил воспользоваться этим временем. Обрадованный, что перестал наконец дождик, он с помощью сына с утра еще выкатил две пустые кадки; они служили старику козлами для подмосток; приставленные к наружной стене избы и устланные досками, кадки давали Карпу возможность достать рукою почти до крыши.

Взгромоздившись на подмостки, Карп старательно набивал глину в пазы и трещины избенки; он то и дело обращался к снохе, которая тут же в стороне мешала лопатою сырую глину. Бедная бабенка едва успевала управиться; с одной стороны кричал свекор, с другой поминутно высывалась из окна свекровь с хозяйственными расспросами, с третьей — приводилось гнать Дуню, которая, несмотря на холод, никак не хотела идти в избу. По всей вероятности, Дуня согревалась Васькой; крепко перехватив брата поперек живота, она переносила его с одного плеча на другое; но как терпел Васька — это делалось решительно

непонятным! Мальчик перешел уже от багрового цвета в синий; но ничего, однако ж; Васька не плакал: он только кряхтел и пыжился, и то, по-видимому, не столько от стужи, сколько от того, что вздрагивавшая сестра слишком уж сильно нажимала ему живот.

Подле другой стены, со стороны улицы, происходила также работа; Петр приваливал к стене солому, укрепляя ее жердями.

По мере того как с той и с другой стороны подвигалась работа, избушка принимала вид больной, хилой старушонки, которую обкладывают пластырями и кругом обвязывают и кутают.

На улице никого почти не было, кроме семейства Карпа. Изредка проходил кто-нибудь. Так прошла баба с ворохом неразмотанной бумаги на спине. Поравнявшись с избою Карпа, она остановилась, поздоровалась со стариком и его снохою.

— Карп Иваныч,— сказала она,— тебе сродственник твой Федот велел кланяться!

— Ну его совсем! — ворчливо проговорил старик, продолжая шлепать глиной.

— Ты, Дарья, откуда? — спросила сноха,— я думала, ты от Никанора.

— И то, оттуда; вишь, взяла ребятам разматывать! — возразила Дарья, встряхивая бумагой.

— Где ж ты Федота видела? Он ведь у Аксена живет; разве так повстречались?

— Нет, касатка, нанялся он теперь к Никанору; у Никанора живет в работниках.

При этом Карп сердитее только шлепнул глиной.

Немного спустя после ухода Дарьи место ее заступил маленький, живой мужичок с веснушками, который во время уборки ржи беседовал с Гаврилой.

Поглядев с минуту молча на работу Карпа, он наконец придвинулся.

— Ничего от этого, сват, теплее не будет,— сказал он,— я, как не было у меня новой избы, свою старую тоже глиной обмазал,— продувает; так-то продувает — хуже быть нельзя.

— Коли хорошо, крепко смазать — не продует! — отозвался Карп неохотно.

— Хуже, сват, право, хуже; тогда снутри преть начнет; у меня то же было; пойдут морозы — в окнах, поверишь

ли, вот какие сосульки намерзнут! — добавил мужичок, показывая от плеча до ладони.

Карп ничего не ответил.

— Сейчас, сват, к Филиппу заходил, — продолжал словоохотливый мужичок, — дома нету, уехал; сказывают — опять запил; года три за ним этого не было; зарок, сказывают, на себя наложил, чтоб не пить... Теперь опять, сказывают, зашибается... Э! да, никак, дождик?.. — промолвил он, подымая голову.

Карп, сноха и Петр, слышавшие весь этот разговор, сделали то же самое.

Серые тучи, которые бежали, казалось, над самою крышею, действительно начинали отделять дождевые капли; в то же время ветер сильнее зашевелил соломой.

— Прощай, сват! Надо скорей до дождя укрыться!.. — сказал мужичок, направляясь к избе, которая стояла на самом краю деревни.

Пока он приближался к дому, тучи, давно уже потоплявшие своею тенью окрестность, быстро надвигались на Антоновку. С каждой минутой местность, лежавшая за старыми ветлами, заслонялась и пропадала; вот и ветлы начали показываться как бы сквозь серую дымку и вскоре пропали; дождик заметно делался чаще и усиливался. В дальнем конце деревни кто-то, закутанный с головою, баба ли, мужик ли, разобрать было невозможно, — промелькнул через улицу.

На минуту можно еще было различать, как Карп, его сын и сноха бегали и суетились, убирая свои кадки; но и они не замедлили исчезнуть за частою сетью дождя, который, крутясь и двигаясь по воле ветра, ударил косым ливнем и заслонил наконец самую Антоновку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БАРХАТНИК

XXX

Позвольте теперь перенести вас из унылой деревушки, утопающей в грязи и облитой дождем, прямо в центр Петербурга. Переход, конечно, очень резок; но тем лучше, мне кажется. Без контрастов и неожиданных переходов от худого к хорошему, от мрачного к веселому и обратно

не только романы и повести, но и самая жизнь была бы однообразна и, следовательно, невыносимо скучна.

Итак, поспешим войти через парадную дверь в один из самых больших домов Малой Морской. Признаком, что дом при основании своем исключительно предназначался для помещения жильцов богатых или таких, которые во что бы то ни стало хотели прослыть за богатых,— служила широкая, устланная ковром лестница, украшенная каминами и швейцаром.

Нам незачем подыматься слишком высоко; достаточно остановиться во втором этаже против двери с медной дощечкой, на которой награвировано: «Аркадий Андреевич Слободской».

Аркадий Андреевич вместе с домашней его обстановкой,— начиная с круга знакомых и кончая мебелью его обширной квартиры,— составляют главный предмет настоящего повествования. Мебель, особенно гостиной и кабинета, так великолепна, что, я уверен, если б любое кресло перенести вдруг в Антоновку и поставить посреди улицы, ни один из тамошних обывателей ни за что не определил бы, что это за штука такая; сам приходской священник сильно бы затруднился дать ему вдруг, сразу, настоящее имя и только разве после некоторого размышления мог бы решить, что изделию сему всего более подобает находиться в храме для замещения старинного седалища в алтаре.

Аркадий Андреевич был холост, любил роскошь и решительно не видел надобности себе в ней отказывать; у него было около семи тысяч душ, в числе которых, если не ошибаюсь, состояли также знакомые антоновские души.

Часов в двенадцать утра в богато убранном кабинете Слободского находилось уже несколько посетителей. По мере того как приближался день, посетители умножались; многие являлись, впрочем, минут только на пять; спешно выкурив папироску, повертевшись перед камином, они так же скоро исчезали. Все входили совершенно бесцеремонно; брали со стола сигары и папиросы и во всем поступали как у себя дома. Кто усаживался, укладывая удобно ноги на соседнее кресло, кто попросту разваливался на кушетке против пылающего камина, кто расхаживал взад и вперед, пуская кверху дым, который расходился мутными, серыми клубами, потому что самое утро было мутно, серо и ненастно. Все они по большей части были товарищами Слободского по службе; некоторые, подобно ему, вышли в отставку;

другие ходили в мундирах. Хозяин дома, заслонив себя от каминного жара стеклянными ширмами, располагался в вольтеровских креслах.

Это был человек лет двадцати восьми, с чертами лица чрезвычайно правильными и красивыми, но уже заметно начинающими отцветать. Военная служба не оставила на нем ни малейшего отпечатка; он так же изящно одевался и так же свободно двигался в серых панталонах, сером жилете и серой жакете английского покроя, как будто век не носил другого платья; в приемах его не было ничего жесткого, натянутого, во всей фигуре его, начиная с маленьких, красивых ушей и кончая белой, нежной кистью руки, было что-то женственное, изнеженное. Он казался усталым, хотя всего час назад вышел из постели. Слободской не переставал говорить то с тем, то с другим из гостей своих; в голосе его и во взглядах проглядывало, однако ж, полнейшее равнодушие если не всегда к предмету беседы, то всегда почти к собеседнику.

Слободской далеко не был мизантропом; равнодушие его проистекало частью из жизненного опыта, частью из того также, что он никого не любил искренне из тех, с кем постоянно жил и в кругу которых ежедневно вращался. Выражение: «*mon ami, — il n'y a pas d'amis!*»¹, изобретением которого был он очень доволен, повторялось им каждый раз, как только слышал он слово «друг». Слободской, тративший большие деньги на обеды, где за каждого приятеля приходилось иногда платить рублей тридцать и сорок, пожалел бы между тем десять целковых, чтобы спасти приятеля, которому случилось бы обкушаться на его обеде.

Он разделял своих знакомых и приятелей на три разряда. К первому принадлежали лица, которые в самом деле были к нему привязаны и любили его; до сих пор он встретил одного только такого; но и того убили на Кавказе. Ко второму разряду причислялись те, которые ездили к нему ради удобств, хороших сигар, надежды выгодно променять лошадь, занять денег или ради того также, что надо же деться куда-нибудь и вертеть языком — благо он существует; третий род приятелей состоял из лиц, которые положительно его ненавидели, но виделись с ним, частью чтобы скрыть настоящие свои чувства, частью потому, что пошло, глупо расходиться с человеком, не имея, кроме за-

¹ Друг мой, — друзей не существует! (франц.)

таенной ненависти, другой, более основательной причины.

Из числа последних не было, к счастью, ни одного между посетителями настоящего утра: все они по большей части принадлежали ко второй категории. Несмотря на положительную глупость многих из них, каждый, по-видимому, в отношениях своих к Слободскому стоял на настоящей точке зрения; никто не обманывался в его чувствах; но никому, казалось, не было дела до этого, никто об этом не заботился; каждый думал о себе самом, о своем удобстве, о хорошей сигаре — и точно так же чувствовал к хозяину самое полное равнодушие.

Все это нисколько не мешало вести самую короткую, дружескую беседу.

XXXI

— По-моему, одно из самых главных, самых натуральных чувств человека — это чувство благодарности! — говорил Слободской, продолжая начатый разговор и преимущественно обращаясь к смуглому господину средних лет, лежащему на кушетке с сигарою в зубах. — Человек, не имеющий такого чувства, на мои глаза, существо недоконченное, что-то вроде получеловека!.. И вот именно этого-то чувства, — невесело в этом сознаться, но надо говорить правду, — именно этого-то чувства не вижу я в нашем простом народе...

Господин, лежащий на кушетке, выразительно усмехнулся.

— Я говорю так решительно потому, что основываю свои суждения на собственном опыте, — продолжал Слободской. — При покойном отце крестьянам моим было так плохо, как хуже быть не может: отец почти безвыездно жил в Париже; в имениях распоряжались управляющие — грабили, разумеется, и разоряли крестьян до невозможности; когда я вступил во владения имениями, первым делом моим было искоренить весь старый порядок и злоупотребления; я сменил управляющих, уничтожил барщину и посадил мужиков на оброк, зная, что такое положение для них несравненно легче барщины. Сотни, тысячи помещиков берут двадцать, двадцать пять рублей и более оброку; я назначил всего пятнадцать с семейства — с тягла, как там называют... Кажется, сделано было все, что только можно сделать! Какой же вышел результат? Крестьяне сделали только неисправнее; с первого же года до на-

стоящей минуты я только и слышу, что о недоимках и недочетах, чего прежде, при отце, никогда не бывало!.. Далеко идти незачем; я теперь более месяца без денег... Пишу, пишу,— недели проходят, прежде чем пришлют из той или другой конторы каких-нибудь четыре-пять тысяч! После всего этого поневоле придешь к убеждению, что при снисходительном, гуманном, как говорят теперь, управлении народ делается только неисправнее и балуется; управлять им, как видно, может только страх; горько сознаться — но это так!..

— Что ж вы хотите, Слободской, чтоб я сказал вам на это?..— произнес небрежным тоном и по-французски господин, лежавший на кушетке,— мне отвечать нечего; вы по этому предмету давно знаете мои убеждения!..

XXXII

Убеждения этого господина заключались в том, что он называл Россию непроходимой тундрой и отвергал в русском народе, которого величал тунгусом, всякую способность к развитию. Происходя из чисто русской фамилии Ипатовых (невозможно, кажется, подозревать примесь чего-нибудь иноземного), он ненавидел все русское, и нельзя было лучше польстить ему, как сказав, что он по выговору, привычкам своим и наружности представляет совершеннейший тип француза или англичанина. Не имея понятия о самых главных, основных фактах отечественной истории — фактах, известных почти каждому школьнику, не прочитав во всю жизнь ни одной русской книги, потому что, как сам он говорил, вся русская литература не стоила маленькой комедии Октава Фелье или пословицы Мюссе, оставаясь также равнодушен, как какой-нибудь японец, к самым живым событиям, совершающимся в отечестве,— он в то же время с неимоверной жадностью поглощал иностранные газеты, *revue*¹ и брошюры.

Трудно найти человека, который был бы сильнее Ипатова, когда речь заходила об административном, политическом или финансовом вопросе Европы. Он знал имена всех замечательных деятелей континента и Британии и мог сообщать мельчайшие подробности из их биографии. Прения верхней и нижней палаты, виды английской политики, подробности касательно борьбы вигов и тори, направление наполеоновской политики, отношение француз-

¹ Журналы (франц.)

ского государства к восточному и итальянскому вопросу, политическое состояние Австрии и Германии — все это занимало Ипатова и действительно знакомо было ему в той самой степени, как мало знакома была Россия и вообще все отечественное.

Всего замечательнее, что Ипатов никогда не бывал за границей, всю свою жизнь провел он в Петербурге, изредка посещая Москву, чтобы повидаться с теткой, над которой громко всегда смеялся, называя ее княгиней Халдиной.

Он проводил время, читая или рыская по гостиным, где на изящнейшем французском наречии рассказывал о ходе современных европейских дел и каждый раз, как представлялся случай, проливал потоки желчи, кость на чем свет стоит Россию.

Предположение, будто основанием желчи служило оскорбленное самолюбие, совершенно несправедливо; с самой юности до настоящего времени не произошло с Ипатовым решительно ничего такого, что хотя бы кончиком волоска могло задеть его самолюбие. Другие слагали причину его желчи и раздражительности на бедность, которую скрывал Ипатов тщательнее своих пороков, но и это неосновательно; Россия виновата была в этом, конечно, никак не более Англии, Франции, Германии и т. д.

В последнее время Ипатов сделался еще заметно терпимее; прежде он был решительно невыносим. Мания его к чужеземному доходила до того, что он никогда ни с кем не хотел слова сказать по-русски; так, например, во время обеда, желая выпить стакан воды, он обращался всегда к соседу и говорил по-французски: «Сделайте милость, скажите лакею, чтобы налил мне воды!»

Я сам лично был свидетелем такого факта; хотите — верьте, хотите — нет!

XXXIII

— Я давно слышал, — продолжал Слободской, закури-
вая новую сигару и опрокидываясь на спинку кресел, —
будто вся эта дикость, недобросовестность — словом, весь
этот нравственный упадок народа происходит от крепост-
ного состояния; я не защищаю его — нет; но все-таки же-
лательно бы знать, — подхватил он, пуская струю дыма, —
почему, несмотря на крепостное состояние, которое нача-
лось не на прошлой неделе, в прежнее время шло как-то
исправнее; самый народ был лучше и нравственнее?..

— Полно, пожалуйста, Слободской! — с жаром заговорил белокурый молодой человек, до сих пор ходивший молча по кабинету. — Удивляюсь только, как можешь ты это говорить! Что теперь худо — никто в этом не сомневается; но что прежде было хуже — это так же верно, как то, что ты теперь в Малой Морской; дело в том, что прежде жили мы в неведении счастливом, как говорится, — о России понятия не имели; все было от нас шито да крыто; теперь начинаем мы мало-помалу с ней знакомиться...

Ипатов прислушивался к речи молодого человека, как к чему-то очень забавному и вместе с тем достойному сожаления; он считал всегда, что знакомство с Россией достигнуто в совершенстве, когда произнесешь слово — «тундра»; по его мнению, это легче было, чем выкурить папироску.

— Да, я утверждаю, — подхватил тот же молодой человек с прежним оживлением, — всему виновато крепостное состояние; только оно одно могло постепенно привести в такой упадок нравственность крестьянина...

— Эх, досадно, право, слушать, — сказал, нетерпеливо вставая, плотный кавалерийский ротмистр с рыжими бакенами, расходившимися веером, — у меня даже кровь в голову бросается, когда он начинает проповедовать! Знаете ли вы, Лиговской, что русский мужик во сто крат счастливее меня с вами — да-с!..

— Вот это прекрасно...

— Да, счастливее, — подхватил ротмистр, багровея. — Что ему делается! Хлебает себе щи, пичкает с утра до вечера пироги и сметану да на печке валяется... А тут, подле, жена... какая-нибудь толстая, белая, румяная баба...

Все засмеялись, кроме Лиговского.

— Превосходно знаете вы, стало быть, положение нашего простолюдина, — произнес он. — Не только не ест он пирогов, но часто нечем печь истопить — ту печь, на которой, по словам вашим, он весь день валяется! Слава богу, мы начинаем теперь иначе смотреть на вещи; я думаю, нет теперь человека, который не ждал бы ото всей души скорого уничтожения крепостного права; я уверен, что как только...

— Лиговской! Лиговской!.. — смеясь, закричал хозяин дома, указывая на верхний косяк двери. — Лиговской, посмотри... Ты, кажется, знаешь правило!..

К верхнему косяку припилен был булавкой кусок

бумаги с крупной надписью: «Здесь не говорят об эмансипации!»

— Скажи-ка лучше,— подхватил Слободской,— ты, который часто видишься с Берестовым,— разыграл ли он свою комедию, разошелся ли наконец со своей танцоркой?

— Нет, каждый день ссорятся, расходятся, потом мирятся и снова сходятся — совершенно как старый Исаакиевский мост,— отвечал рассеянно Лиговской,— мне кажется, они век проживут таким образом.

— С этими барынями всегда легче сойтись, чем разойтись...— сказал Слободской.— Сначала они ни за что как будто не хотят начинать; потом, как начнут, ни за что не хотят кончить! Это всегдашняя история... Скажи, пожалуйста, ну а граф Пирх все еще влюблен?

— Разве он у тебя не бывает?

— Бывает, но только давно что-то блистает своим отсутствием.

— Влюблен по-прежнему! Утром проезжает своих лошадей мимо ее окон; в шесть часов вечера провожает ее карету до театра; после театра торчит на театральном подъезде.

— Но как дело его? идет успешно?

— Кажется; не знаю только, чем кончится.

— Ничем не кончится! — заметил ротмистр.— Пирх вконец промотался — даром что немец; говорят, он даже долгов не платит...

— Ну, это еще не доказательство! Долги платят теперь одни только наследники... и то в первое время своего богатства... Увидите, господа, Пирх достигнет своей цели; там, где другой берет браслетами, Пирх возьмет терпением... И наконец, что ж мудреного: оба они могут быть влюблены друг в друга...

— Какая тут любовь! — перебил Лиговской с тем же самым жаром, как говорил об эмансипации и состоянии народа,— какая любовь! если есть что-нибудь у них — так просто обмен двух капризов.

— Ну, прощайте, господа! — сказал Ипатов, приподымаясь с кушетки.— Как скоро речь зашла о балете и театре, вы, по обыкновению, никогда не кончите,— прощайте, Слободской!..

— Прощайте! я тоже уйду,— вымолвил ротмистр, пристегивая палаш.— Ты не забыл, Слободской, что обещал сегодня Острейху приехать посмотреть его лошадей?

— Нет, но стоит ли? Хороши ли лошади?

— Знатные есть кони! Я купил у него верховую

— Доволен?

— Не совсем. Лошадь во всех статьях красива, — проговорил ротмистр, насупливая брови, но я погорячился, нахожу в ней сухость какую-то в аллюре; своего, природного в ней мало. Понимаешь, братец, — нет под седлом фантазии; фантазии нет! Так ты приедешь?

— Да, в три часа, как обещал, — отвечал Слободской, поглядывая на булевские часы, украшавшие камин.

XXXIV

Выходя из кабинета, Ипатов и ротмистр встретили в дверях камердинера, который нес на подносе несколько конвертов, запечатанных казенною печатью.

— Сейчас с почты принесли, — проговорил камердинер, подавая их барину.

Слободской распечатал одну повестку за другою, бегло взглянул на цифру, потом подвинулся к столу, черкнул на обратной стороне доверенность на имя камердинера и велел ему, не медля ни минуты, съездить сначала в полицию для удостоверения подписи, потом в почтамт для получения денег.

Камердинер вышел.

В общей сложности повестки объявляли о получении из разных губерний суммы в пять тысяч. Слободской ждал гораздо больше; в другое время он жестоко бы рассердился и тотчас же написал бы громовое письмо в главную свою контору. Но нынешнее утро застало его в хорошем расположении духа. Это обстоятельство спасло главную контору, а следовательно, и все, что находилось в ее зависимости, от передраг, суеты, беспокойств и даже притеснений всякого рода.

Слезно прибегаем к провидению, моля его продлить хорошее расположение духа Аркадия Андреевича Слободского

— Слушай, Лиговской, — сказал Слободской, поворачивая кресла к молодому человеку, который стоял спиною к камину, расправив в обе стороны фалды сюртука, — я ждал ухода Ипатова и милейшего из ротмистров, чтобы пригласить тебя сегодня в ложу.

— Спасибо; все та же ложа — литера Ц с левой стороны?

— Да. Так ты приедешь?

— Непременно; но скажи, пожалуйста,— весело подхватил Лиговской,— как идут твои собственные дела с маленькой Никошиной?.. О других ты расспрашиваешь, о себе никогда ничего не скажешь.

— Мои дела,— смеясь, возразил Слободской,— мои дела пока еще в будущем! Они ограничиваются утром — прогулкою по Театральной улице...

— Говорят — улица любви! — с комическим укором подсказал Лиговской.— Вступив в круг театралов, ты должен говорить их языком и называть вещи настоящим их именем.

— Вечером, когда балет,— продолжал Слободской,— сижу в ложе, где у нас происходит стрельба...

— Которая, прибавь, идет очень удовлетворительно; в прошлый вторник я сидел в креслах; едва вошел ты в ложу — она не спускала с тебя глаз; стоя за кулисами, она так же исправно на тебя постреливала... Прелесть, какая миленькая девочка! Но я не об этом... Мне хотелось узнать, не приступаешь ли ты к более действительным мерам?

— Нет еще; до сих пор не мог даже хорошенько узнать, есть ли у нее какая-нибудь родственная обстановка...

— Да, это статья не последняя!

— Еще бы!

— Надо бы попросить барыню Берестова разузнать об этом... Но, впрочем, вот и Дим! Спроси у него. Здравствуй, Дим!..

XXXV

Восклицание это относилось к молодому человеку лет двадцати трех, худенькому, тщедушному, но с приятным лицом, исполненным огня и одушевления, не совсем обыкновенных. В юноше этом было что-то особенное — какая-то внутренняя притягательная сила, которая невольно влекла к нему и располагала в его пользу.

Он действительно любим был всеми, кто только знал его,— начиная с лиц высшего общества, к которому принадлежал он, и кончая скромными кружками бедных студентов и художников. Лучшим доказательством хорошей природы его служило то, что всеобщее баловство и своего рода популярность не имели на него никакого действия; он был скромнее, проще и добродушнее многих никому не ведомых юношей, с которыми водил дружбу и которая,

скажем мимоходом, сильно не нравилась его отцу, матери и другим родственникам.

Предрассудки и обстоятельства, его окружавшие, служили с ранних лет преградой всем его стремлениям, не дали развиться ни одному из его талантов, лишили его всякого направления; он ни на чем не остановился. А между тем уже по одному тому, за что брался он иногда, видно было, что могло бы выйти из него при других условиях. Никогда не учась рисовать, он набрасывал эскизы и композиции, которые обличали богато одаренное воображение и сильное артистическое чутье; не учась никогда музыке, он бегло разыгрывал *à livre ouvert*¹ какие угодно пассажи, играл на память целые оперы; врожденное музыкальное дарование высказывалось в его вкусе, в способности быстро понимать и сильно чувствовать истинно хорошее — даже в манере петь романсы, которые передавал он часто лучше многих известных артистов. Артистическая природа еще сильнее выказывалась в его разговоре, отличавшемся живописностью и пластикой; двумя-тремя меткими выражениями умел он обрисовать живую фигуру или перенести слушателя в тот круг, который хотел изобразить. Принимаясь за книгу случайно, урывками, он прочел очень много: и здесь точно так же выбор его — показывал вкус и верное чутье. Словом, если б разделить дарования этого юноши между пятью французами и пятью англичанами, — вышло бы, наверное, десять замечательных людей. Из Дима ничего не вышло; вышел только милый, умный, занимательный малый, который с шестнадцати лет рисовал карикатуры в альбомы барынь высшего круга, пел романсы и цыганские песни в обществе камелий, был необходимым членом всех холостых обедов и попоек, являлся на всех загородных гуляньях, скачках и празднествах, на всех вечерах и пикниках с актрисами, лоретками и цыганками, — где снова пел романсы, танцевал, произносил комические спичи и пил наравне с самыми застарелыми питуками веселых сборищ.

Папенька его в это время неизбежно сидел в английском клубе, где провел более двадцати лет своего существования; маменька, которой давно минуло за сорок, сидела в театре или, разряженная в пух и прах, в *manches courtes* и *décolleté*², вертелась на каком-ни-

¹ С листа (франц.).

² С короткими рукавами и декольтированная (франц.).

будь бале, окруженная роем молодых людей, в числе которых один особенно отличался всегда своим постоянством.

Дим, настоящее имя которого было Дмитрий, а фамилия граф Волынский, вошел не один к Слободскому. Его сопровождал тоже молодой человек, но только плотный, коренастый, с крутыми огромными икрами, выпяченной грудью, коротенькой шеей и шарообразною головою, обстриженной под гребенку. Господин этот, по фамилии Свинцов, был фанатическим поклонником Волынского; он точно влюблен был в него до идиотства; он не отставал от него ни на шаг, стремительно летел туда, где мог быть Волынский,— словом, не мог без него обходиться; каждое слово Волынского, каждая его выходка, каждая плохая острота имели свойство приводить Свинцова в восторг и восхищение неописанные.

— Здравствуй, Дим! ты как нельзя кстати,— сказал Слободской, здороваясь с Волынским и пожимая руку Свинцову, которого называли всегда субъектом, вполне достойным своей фамилии,— мы говорили здесь с Лиговским о Фанни Никошиной...

— За которой он зверски ухаживает, хотя и скрывает это! — подсказал Лиговской.

— Положим!.. — перебил Слободской. — Я до сих пор не знаю, есть ли у ней родня какая-нибудь, папенька, маменька, бабушки, тетушки и т. д., — проговорил он с комической интонацией.

— Если ты точно влюблен — не испытывай, пожалуйста, моей деликатности, — сказал Дим, улыбаясь, — спроси лучше, хорошенькие ли у ней ножки; мне тысячу раз приятнее будет тебе ответить...

— О ее ножках я и без тебя знаю!.. Из того, что ты говоришь, я должен, следовательно, заключить, что Фанни обременена многочисленным и вдобавок, что всего приискорбнее, добродетельным семейством...

Вместо ответа Волынский подошел к роялю, сел на табурет и взял несколько аккордов.

Свинцов засуетился, поспешно поставил каску и подошел к роялю.

— Я лучше спою вам вещь, которую оба вы, и ты и Лиговской, верно, не слыхали...

— О, это превосходно!.. Восхитительно!.. Как он поет это, господа!.. Послушайте, это просто — просто восхити-

тельно! — произнес Свинцов, сияя весь с головы до ног бессмысленным восторгом.

— Свинцов, я уже сказал тебе раз навсегда, — меньше восторга и больше скромности в отношении ко мне, — сказал Волынский, откашливаясь.

— Что это такое? — спросили Лиговской и хозяин дома.

— «La chanson du pain»¹ Пьера Дюпона:

Quand dans l'air et sur la rivière
De moulins se tait le tic-tac...²

— Слушайте!

Но не успел он спеть первой фразы, как в кабинете неожиданно явилось новое лицо.

XXXVI

На этот раз предстал господин лет уже под пятьдесят, высокий, плотный, в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, по-военному. Лицо его, брюзглое и морщинистое, как печеное яблоко, украшалось сверху коротко обстриженными волосами, посредине круто завинченными усами; и то и другое было так дурно выкрашено черною краской, что всюду просвечивала седина и рыжеватый корень; золотые очки и коричневые перчатки, которые так были широки, что сами собою сползали с пальцев, дополняли его наружный вид.

— А, князь! — закричали присутствующие в один голос.

— Bonjour!³ — отвечал с каким-то недовольным, нахмуренным выражением князь, поочередно пожимая всем руки.

— Что с вами? Вы сегодня, кажется, не в духе, — спросил Слободской.

— Нет... ничего... — возразил князь, насупливая брови.

— Полно врать, пожалуйста! — крикнул Волынский, который со всеми решительно, даже с дряхлыми стариками, был на «ты», — все знают, что такое!..

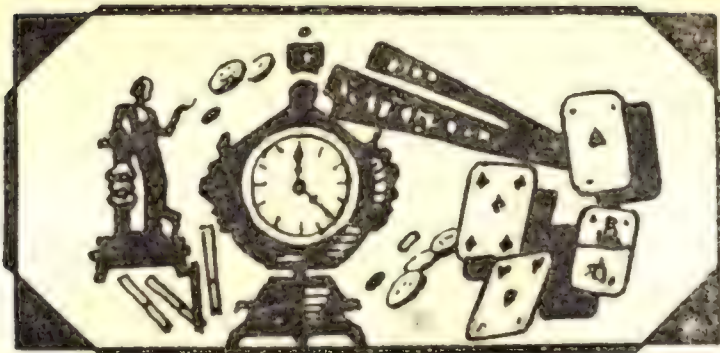
— Если знаете, стало быть, спрашивать нечего! — сухо возразил князь, принимаясь ходить из угла в угол по кабинету.

— Сам рассуди, братец, — начал Волынский умышленно

¹ «Песнь о хлебе» (франц.).

² Когда в воздухе и на реке
Умолкает шум мельниц... (франц.)

³ Здравствуйте! (франц.)



серьезным тоном, как же ты хочешь, чтобы Фисочка Вишнякова, которой, скажем мимоходом, протежируешь ты черт знает из чего, нашла себе обожателя? Не сам ли ты уверил ее, что у нее есть талант, бегал к театральному начальству и хлопотал, чтобы перевели ее из балета в Александрийский театр; кто ее там увидит? Останься она в балете — другое дело!.. И наконец, талант ее совсем не из тех, который может обратить на нее внимание...

— Совсем не о таланте речь! — с жаром заговорил князь, — я говорю только, — вот девушка с самыми блистательными условиями, молоденькая, хорошенькая, ангельски кроткого характера, не имеющая никакого родства, кроме старой бабушки, которая безвыездно живет в Кронштадте, и при всем том девушка эта никого не находит, кто бы обратил на нее внимание! Да знаете ли вы: *elle n'a pas de chemises!*¹ — понижая голос и с сильным драматическим оттенком добавил князь, не замечавший, что присутствующие переглядывались и посмеивались.

— Ну, так и купи ей дюжину рубашек — и делу конец! — сказал Волынский.

— Не могу же я одевать всю дирекцию! — возразил князь патетически, — да, господа, это просто срам! — подхватил он с возраставшим негодованием. — В прежнее время этого бы не случилось! Нынешняя молодежь — просто дрянь!.. Да!.. Это какие-то вялые сосульки, и больше ничего! Я не могу говорить... об этом равнодушно... Это... просто черт знает что такое!

Всего замечательнее было то, что князь в негодовании своем был как нельзя более искренен. Проведя более тридцати лет в театральном обществе, в пользу которого отказался от своего собственного, он так с ним сблизился и сроднился, так усвоил себе закулисную точку зрения, что не шутя принимал к сердцу судьбу каждой неустроенной молодой танцовщицы или актрисы; он бился и хлопотал изо всей мочи, чтобы как-нибудь уладить дело. Для этого он давал у себя обеды, устраивал танцевальные вечера, куда приглашалась молодежь и театральные дамы, сочинял пикники, составлял в летнее время разные увеселительные прогулки, катанья в лодках и проч., и проч. Князь крестил почти во всех устроенных им семействах. Когда, с его точки зрения, удавалось ему устроить судьбу какой-нибудь Ашеньки, Пашеньки или Глашеньки, он на несколько дней

¹ У нее нет рубашек! (франц.)

совершенно перерождался, расправлял брови, не переставал мурлыкать под нос какие-то песенки и крепко потирал ладонями от восхищенья; весело постукивая тростью по плитам невского тротуара, князь подходил тогда к каждому знакомому и, радостно потирая руками, произносил:

— L'affaire est arrangée! Nous avons bacle l'affaire!¹

XXXVII

— Знаешь, князь,— сказал Волынский, перебирая клавиши,— не шутя тебе советую — напусти-ка ты старого Галича на свою protégée...

— Ну его, старого шута!

— Представьте, господа, этот старикашка, Галич, не шутя, кажется, рехнулся! — сказал Волынский. — Вчера сидел я с ним в ложе князя; на сцену выходит Цветкова; клянусь вам, она ни разу на нас не взглянула; напротив, умышленно даже отворачивалась; князь, который на том свете ответит за Галича, потому что первый втравил его в театр и волокитство,— князь говорит ему: «Ты ничего не замечаешь, она с тебя глаз не сводит!» Смотрю, Галич закрыл вдруг глаза, припал головою к перегородке ложи и, пожимая нам нежно руки, проговорил глухим, потухающим голосом: «Merci, merci!..»²

Все засмеялись. Сам князь улыбнулся и с той минуты словно повеселел.

— Но лучше всего — это история с поэмой...

— Какой поэмой? — спросил Лиговской.

— Как! разве ты не знаешь?

— Нет.

— Галич, которого опять-таки подбил князь, сунулся на подъезд актеров после спектакля и сказал Цветковой какой-то комплимент... Та что-то ему ответила, надо думать, приятное, потому что Галич в тот же вечер полетел к старухе, сестре своей, и наотрез объявил ей о своем намерении жениться на Цветковой! Бедная старуха, говорят, покатила на диван, и часа два не могли привести ее в чувство... Дня четыре назад сидим мы после обеда у князя,— является Галич. В жизни не видал я более уморительной и вместе с тем жалкой фигуры...

¹ Все устроено! Мы уладили это дело! (франц.)

² Благодарю, благодарю!.. (франц.)

Волинский подогнул колени, повесил голову набок и так поразительно живо представил Галича, что все снова разразились смехом.

— Князь, которому Галич сообщил уже свою поэму в честь Цветковой, начал его упрашивать прочесть нам ее, я думал, старик начнет ломаться,— ничуть не бывало! Он берет восторженную, самодовольную позу и начинает декламировать... Больше всего,— промолвил, смеясь, Волинский,— больше всего понравились мне следующие стихи:

Я на Арарат ее поставлю
И весь мир думать заставлю:
«Вот та, которую я люблю!!»

— Не правда ли, это прелесть! я тотчас же и музыку сочинил... Что-то торжественное, во вкусе марша Черномора из «Руслана и Людмилы»...— заключил Волинский, подходя к роялю в сопровождении Свинцова.

— Пой, я пока оденусь: меня ждут в три часа,— сказал Слободской, направляясь к уборной.

Он возвратился, однако ж, увидев камердинера, входившего с толстыми пакетами, запечатанными пятью печатями.

Слободской сорвал обертки, положил деньги в стол и, заперев его ключиком, который носил всегда в кармане, ушел в уборную.

В продолжение четверти часа долетали до его слуха звуки фортепиано и пение, прерываемое время от времени криками «браво» и громким хлопаньем.

— Господа,— произнес Слободской, выходя в кабинет совсем уже одетый,— я предлагаю вам сделать мне сегодня маленькое удовольствие... Сегодня, как вам известно, балет; приезжайте все ко мне в ложу; ложа обыкновенная — литера Ц с левой стороны.

— Господа,— вмешался Лиговской,— отказать ему нет возможности! Знаете сами, какой день сегодня; сегодня Фанни Никошина,— нечего объяснять вам, какое значение имеет она для хозяина дома сего,— Фанни танцует сегодня свое первое па... Это некоторым образом ее дебют!

— Еще бы! непременно! Просить нечего! — заговорили присутствующие, с участием окружая Слободского, который смеялся, как человек, которому ничего больше не оставалось делать.

— Господа, да будет вам известно,— сказал окончательно развеселившийся князь,— я приеду в ложу пер-

вым; без букета никто не впускается; «с'est de rigueur!»¹

— Спасибо, князь! — вымолвил Слободской, — я прошу вас об этом, господа, не столько для своих целей, сколько, не шутя, для того, что надо же поощрить молоденький, начинающий талант.

— Знаем! знаем! — заметил Волынский.

Все снова засмеялись.

Слободской позвонил, открыл ящик в столе и вынул несколько ассигнаций.

— Сходи сию же минуту к Казанскому собору в цветочную лавку, — сказал он, подавая деньги вошедшему камердинеру, — спроси два лучших букета из белых камелий — не забудь: белых камелий! Скажи только хозяину: для господина Слободского, — он знает! А что, коляска готова?

— Готова.

— Ну, господа, извините, надо ехать; дал слово, — заключил он, поглядывая на часы.

Все взялись за шляпы и вышли из кабинета вместе с хозяином дома.

XXXVIII

Острейх жил в Сергиевской. Слободской проскакал, следовательно, по всему Невскому и Литейной в тот час именно, когда на первой из этих улиц, даже в дурную погоду, бывает особеннолюдно. Коляска произвела свой всегдашний эффект.

Он имел обыкновение выезжать на страшной паре вороных, которых охотники называли «чертями и дьяволами», а остальные смертные — «лошадьми непозволительного свойства», — и при этом всегда бранили полицию, позволяющую скакать по городу во все лопатки. Такие жалобы не совсем были справедливы; полиция нисколько не была виновата, что коляска Слободского опрокидывала извозчиьи дрожки, раз задела четырех подмастерьев со шкапом на голове, а раз совсем сбила с ног и чуть не задавила какую-то старушку, проходившую через улицу. Полиция неоднократно отбирала лошадей у Слободского. Слободской ограничивался тем, что сменял кучера, покупал новую отличную пару, променивал ее на свою прежнюю, и снова «черти и дьяволы» появлялись на Невском.

Слободской вовсе не думал встретить у Острейха многочисленную компанию. Когда он приехал, общество нахо-

¹ Таково правило! (франц.)

дилось в конюшне: там началась уже выводка и продажа.

На свою долю Слободской купил маленького английского пони; он вовсе не был ему нужен, но так уж пришлось, — с языка сорвалось, как говорится. Приобретение пони внушило Слободскому мысль заказать легонький кабриолет, в котором, не обременяя маленького коня и сидя только с грумом¹, можно было бы ездить в летнее время на острова. С такою мыслью Слободской, привыкший исполнять свои прихоти и фантазии тотчас же, не откладывая минуты, отправился к своему каретнику.

Оттуда он проехал в Большую Миллионную к сестре, с которой не видался более восьми дней.

Сестра его была женою великолепного, блистательного господина, который задавал каждую зиму роскошные балы и праздники, куда съезжался весь город, но который вместе с тем сидел постоянно без гроша денег, так что в последние два года, несмотря на строжайшие предписания докторов, не находил никакой возможности отправить жену и детей в Гапсаль для излечения здоровья.

От сестры Слободской проехал к одной светской даме, которой говорил «вы» при муже и «ты», когда супруг находился в отсутствии. Он ехал к ней единственно с тою целью, чтобы только показаться на глаза и этим способом избавить себя, хоть на время, от преследований и длинных писем, исполненных опасений, упреков, и часто, — что было всего невыносимее, — писем, закапанных слезами. Связь эта, продолжавшаяся всего десять месяцев, но стоившая ему три года постоянных и почти безнадежных ухаживаний, страх теперь ему прискучила и была в тягость. Он бросился в театральство и распускал слух о волокитстве за маленькой Фанни, в той надежде, что это, по всей вероятности, дойдет до дамы его сердца и ускорит между ними разрыв.

Узнав от швейцара, что барины нет дома, но барыня принимает, Слободской, который прежде после такого известия радостно взбегал по лестнице, страшно теперь надулся. Он надулся еще более, застав барыню совершенно одну. «Хоть бы лакей какой-нибудь торчал в дверях...» — досадливо подумал он, ожидая начала докучливых объяснений. Он не ошибся: действительно, началась одна из тех сцен, когда женщина, чувствуя себя оскорбленною, но столько еще любящая, что мысль о разлуке тяжелей всего переносится, забывает вдруг всю мелочь самолюбия и явно,

¹ Грум — здесь: конюх.

не скрываясь, отдается своему горю. Но странно, чем справедливее были ее упреки, чем обильней лились слезы, тем более и более ожесточалось сердце Слободского, тем сильнее разгоралось в его груди чувство досады и даже злобы. Наконец он встал, произнес мелодраматическим тоном: «Encore des larmes, madame! Encore des reproches! C'est horrible vraiment!..»¹ — и торопливо вышел.

Он заехал еще в два дома, чтобы оставить карточку, и велел везти себя как можно скорее в Малую Морскую. Ему оставалось ровно столько времени, чтобы успеть переодеться. Он ехал на полуофициальный именинный обед, который можно было бы назвать обедом проклятий, потому что тот, кто давал обед, проклинал его еще за три дня, — и те, которых звали, также проклинали его в свою очередь.

Тем не менее обед прошел как нельзя лучше, хозяин и хозяйка дома были очаровательно любезны, гости также; и все весело встали из-за стола, помышляя об одном только: как бы поскорее удрать, не обижая хозяина, который, с своей стороны, думал, как бы только поскорее освободиться!

Слободской ускользнул первым. Он заехал опять домой и снова переоделся.

— В Большой театр! — закричал он, влезая в карету, которая стремглав понеслась, едва захлопнулись дверцы.

XXXIX

Туман, который опустился на Петербург часам к семи, был так густ, что карета несколько раз должна была останавливаться, — частью чтобы не налететь на другие экипажи, катившие по тому же направлению, — частью потому также, что лошади скользили и спотыкались на торце, увлажненном сыростью. На театральной площади было еще хуже. Сотни экипажей стремительно неслись на площадь и храбро врезывались в туманную мглу, которая ходила волнами и постепенно сгущалась; ничего нельзя было различить. Слышались только со всех сторон крики, неистовый грохот колес и быстрый лошадиный топот.

Большей возни и суматохи не могло быть, кажется, на дне Красного моря, когда волны его, расступившись стеною, вдруг сомкнулись и закрыли фараоново войско.

Все это выпутывалось каким-то чудом и подкатывало к

¹ Опять слезы, опять упреки, сударыня! Право, это ужасно!.. (франц.)

ярко освещенным подъездам. Из экипажей поминутно выходили воздушные, как сильфиды, дамы, которые быстро исчезали в дверях, распространяя в воздухе тонкий, благоухающий запах фиалки, *ess-bouquet*¹ и гелиотропа. В коридорах было почти так же жарко, как было сыро и холодно на улице. Там уже с трудом можно было двигаться. Львы и денди всех возможных возрастов и слоев общества офицеры всех возможных полков, дамы, молоденькие и старые, в бальных нарядах, ливрейные лакеи и капелъдинеры — все это двигалось взад и вперед, взбиралось по лестницам и хлопало дверьми лож и партера.

В зале, наводненной светом, было еще шумливее. Поминутно, то тут, то там ряды лож унизывались хорошенькими женщинами, блиставшими своими нарядами, плечами и драгоценными камнями. Хорошо было, что с первого взгляда доставлялась возможность верно судить о том, чем именно следовало любоваться, выставлялось только то, что действительно заслуживало внимания; здесь, при всем желании усмотреть что-нибудь другое, можно было видеть одну только профиль; тут показывалась на всеобщее удивление часть спины, от которой рябило в глазах и сладко вздрагивало сердце; там поражала чудная белизна руки с обнаженным локтем, который привлекательно лоснился на красном бархате перил. Иногда в той или другой ложе усаживалась в кресло ветхая фигура, представляющая одну грудку драгоценных камней, которые блеском своим привлекали на минуту всеобщее внимание.

В глубине лож, не считая постоянных лиц, общество то и дело сменялось; множество мужчин, старых и молодых, со звездами и без звезд, статских и военных, желая до начала представления воспользоваться свободным временем, спешили отдать свои визиты и пробирались из яруса в ярус. В качестве гостей в ложи являлись иногда мужья; повертевшись с минуту, они спешили исчезнуть, чтобы скорее занять свое место в креслах, — и оставляя за спиною жен изящнейших молодых людей, которым жены давали держать букет, бинокль, бросая на них украдкой нежные, выразительные взгляды.

В половине осьмого зала театра окончательно наполнилась; в партере не было уже свободного места. Начинали чувствоваться жар и духота; в разных концах раздавалось хлопанье и шумели ногами, требуя, чтобы скорее подняли

¹ Сорт духов (франц.).

занавес. Звуки инструментов, которые настраивали в оркестре, говор в ложах и креслах, шум шагов, хлопанье — все это заметно уgomонилось, как только в оркестре появился капельмейстер.

В то же время в литерной ложе налево выставились вперед Слободской, князь Лиговской и Волинский, за спиною которого показалось сняющее бессмысленной веселостью лицо Свинцова.

Наконец грянул оркестр, проиграли увертюру, и при внезапно воцарившемся молчании подняли занавес. В зале сделалось свежее, точно пахнуло свежестью из роскошного тропического леса, изображенного на декорации.

Несмотря на величавые телодвижения индийского набоба, которого невольники принесли в паланкине, несмотря на изумительные прыжки вновь ангажированного бордоского танцора, — тишина в зале не прерывалась до той минуты, пока из-за кулисы не выбежала маленькая Фанни. Сигнал аплодисментам, поданный из литерной ложи налево, был тотчас же подхвачен в креслах и других частях залы, где рассажены были агенты Слободского. Каждое движение Фанни сопровождалось криками «браво» и хлопаньем; наконец, когда после не совсем удавшегося пируэта остановилась она и поклонилась публике, — к ногам ее упала целая дюжина букетов, брошенных из знакомой литерной ложи; в числе букетов особенно бросались в глаза два из белых камелий, стоившие пятьдесят рублей, — кто знает, может быть, те самые пятьдесят рублей, добытие которых произвело (если помнит читатель) целую драму в семействе старого Карпа из Антоновки...

Но не время ли нам остановиться и здесь — именно здесь, а не в другом месте — окончить нашу повесть?

Нам, конечно, ничего бы не стоило описать, как Слободской и его общество отправились после спектакля на театральный подъезд, как веселились они на вечеру у m-lle Emilie¹, как потом отправились все вместе ужинать к Борелю и как, наконец, часу уже в третьем ночи, поехали всей гурьбой к цыганам; но веселое расположение автора вдруг изменило ему; он извиняется перед читателями, которые останутся недовольны таким резким окончанием, и скорее ставит точку.

1860

¹ У мадмуазель Эмилии (франц.).

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

Повесть

I

Когда я родился — я заплакал, впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...

Метель! Метель!! И как это вдруг! Как неожиданно!! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к веселости и пестроты уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день масленицы. Так продолжалось почти до трех часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовалась на площади против цирка. Публика, выходявшая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицына Луга, где были балаганы. Лошади, сани, кареты — все смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбрали.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, — метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что, если погода к восьми часам не улучшится, — касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссер цирка, проводя глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссер мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное все: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи — уходили в темноту, местами неопределенно чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьака, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемненные снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать еще больше сумрака. Во всем этом обширном темном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай ученых собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забеленные известью. У основания их, вдоль закругленных коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свертки цветных флагов; при свете газа четко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золоченый шест и выделялась голубая, шитая блестками занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим

в обруч, с тем чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли как с мячиком,— в этом светлом коридоре и расположенных в нем уборных встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блестками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперек лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через всю голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссера он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; режиссер поспешил остановить его.

— Эдвардс, погодите минутку; успеете еще раздеться! — сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал,— подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где мадам Браун? Позовите ее сюда... А, фрау Браун! — воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе,

также не молодых лет, и шляпке, еще старше салоп

Фрау Браун подошла не одна: ее сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

— Фрау Браун,— торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса,— господин директор недоволен сегодня вами — или, все равно, вашей дочерью; очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!..

— Я сама испугалась,— тихим голосом произнесла фрау Браун,— мне показалось, Мальхен упала на бок...

— А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья...

— Но, господин режиссер, бог свидетель, во всем виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч — лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала... вот все видели, все то же скажут...

Все видели — это правда: но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссер не смотрел на нее, и робко на него поглядывала.

— Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата,— сказал режиссер.— Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

— Но она вечером не работает...

— Будет работать, сударыня! Должна работать!..— раздраженно проговорил режиссер.— Вас нет в расписании, это правда,— подхватил он, указывая на писанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену,— но это все равно; жонглер Линд внезапно захворал, ваша дочь займет его номер.

— Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером,— проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос,— теперь масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала...

— Но это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, ясно; и, наконец, фрау Браун: полу-

чая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом; именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссер повернулся к ней спиною. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвел его испытующим взглядом.

Притупленный вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссеру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мертвую; и тогда уже прощай все расчеты на клоуна — расчеты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилиристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей, — а как клоун, как потешник — не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Все тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, — чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было не много. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий; первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный темного происхождения, — для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребенком из труппы; за неимением такого, он возился с собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился все более и более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло еще на него рассчитывать. Представления не успевали еще утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, в рыжем парике, набеленный и на-румяненный, с перпендикулярно наведенными бровями, он видимо еще бодрился, присоединяясь к товарищам и приготавливаясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам: браво! — звукам оркестра, — он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссеру крикнуть: клоуны, вперед!.. — он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже с этой минуты, посреди взрывов хохота и восторженных браво! — неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание...

Но кончалось представление, тушили газ — и все как рукой сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь; тогда ничего уже не помогало; он все тогда забывал; забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который, с его освещенной ареной и хлопающей публикой, заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка; все пропивалось; пропивалось накопленное жалование, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блестками.

Понятно теперь, отчего режиссер, следивший еще с начала масленицы за возрастающим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвел его в сторону.

— Эдвардс, — произнес он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, — сегодня у нас пятница; остались суббота и воскресенье — всего два дня! Что стоит переждать, а?.. Прошу вас об этом; директор также просит...

Подумайте, наконец, о публике! Вы знаете, как она вас любит!! Два дня всего! — прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее из стороны в сторону. — Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике, — подхватил он, очевидно более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни, — вы говорили, он стал как будто слабее работать... Мудреного нет: мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить! Что же с ним?

Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди.

— И там и здесь нехорошо у мальчика, — сказал он, отводя глаза в сторону.

— Нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться; он на афишке; нечем заменить до воскресенья; два дня пускай еще поработает; там может отдохнуть, — сказал режиссер.

— Может также не выдержать, — глухо возразил клоун.

— Вы бы только выдержали, Эдвардс! Вы бы только нас не оставили! — живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссер, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса.

Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно пошел раздеваться.

Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошел в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей; нестерпимо было в ней от духоты и жары; к конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива; с одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой; подле, на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи; дальше, на деревянном гвозде, торчала остроконечная войлочная шапка с павлиньим пером на боку; несколько цветных камзолов, шитых блестками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась еще столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер — совершенное подобие Голиафа.

Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстой перевязке костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо напояженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала, и притом грубым инструментом; хотя ему было на вид лет под сорок,— он казался тяжеловесным и неповоротливым — обстоятельство, нисколько не мешавшее ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене в трико телесного цвета он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, но был еще в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкой пива.

На другом стуле помещался, тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел еще простыть после представления; на тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся еще лоск от испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания.

Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошел в уборную.

— Чего надо? — неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.

— Полно, Карл,— возразил Эдвардс задобривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие,— ты лучше вот что: дай-ка мне до семи часов мальчика; я бы погулял с ним до представления... Повел бы его на площадь поглядеть на балаганы...

Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.

— Не надо,— сказал Беккер,— не пущу; он сегодня худо работал.

В глазах мальчика блеснули слезы; взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил.

— Он вечером лучше будет работать,— продолжал задобривать Эдвардс.— Послушай-ка, я вот что скажу: пока мальчик будет простывать и одеваться,— я велю принести из буфета пива...

— И без того есть! — грубо перебил Беккер.

— Ну, как хочешь; а только мальчику было бы веселее; при нашей работе скучать не годится; сам знаешь: веселость придает силу и бодрость...

— Это уж мое дело! — отрезал Беккер, очевидно бывший не в духе.

Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головою и вышел из уборной.

Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху, крикнул: марш! — и, пропустив вперед воспитанника, зашагал по коридору.

Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся щедушный, неоперившийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным боровом...

Минуту спустя цирк совсем опустел; оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления.

II

Воспитанник акробата Беккера назывался «гуттаперчевым мальчиком» только в афишках; настоящее имя его было Петя; всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком.

История его очень коротка; да и где ж ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год!

Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, ее помнил. Как теперь видел он перед собою тощую женщину со светлыми, жиденькими и всегда растрепанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвертывалось под руку: луком, куском пирога, селедкой, хлебом, — то вдруг, ни с того ни с сего, накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлепать его чем ни попало и куда ни попало. Петя тем не менее часто вспоминал мать.

Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки. Не знал он, что мама его была ни больше ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, отчасти за неряшливое обращение с посудой, бившейся у нее в руках как бы по собственному капризу.

Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место; она и тут не выдержала. Не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно-отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать ее решимости. Чухонцы, говорят, вообще упрямы. Но не меньшим упрямством отличался, должно быть, также и жених — даром что был из русских. Побуждения с его стороны были, впрочем, гораздо основательнее. Состоя швейцаром при большом доме, он мог уже считать себя некоторым образом человеком оседлым, определенным. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством: потолок срезывался углом, так что под возвышенной его частью с трудом мог выпрямиться человек рослый; но люди живут и не в такой тесноте; наконец, квартира даровая, нельзя быть взыскательным.

Размышляя таким образом, швейцар все еще как бы не решался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешевую цену самовара на Апраксином дворе. Колебания его при этом начали уступать на более твердую почву. Возиться с самоваром действительно было как-то не мужским делом; машина, очевидно, требовала другого двигателя; хозяйка как бы сама собою напрашивалась.

Анна (так звали кухарку) имела в глазах швейцара то особенное преимущество, что, во-первых, была ему уже несколько знакома; во-вторых, живя по соседству, через дом, она в значительной степени облегчала переговоры и сокращала, следовательно, время, дорогое каждому служащему.

Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу.

Первые два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то ни то ни се; наконец дело совсем испортилось, когда наступило время родов и затем — хочешь не хочешь — пришлось справлять крестины. Швейцару как бы в первый раз пришла мысль, что он поторопился несколько, связав себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попреки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорожденного, беспокоившие жильцов.

Последнее, без сомнения, было несправедливо. Новорожденный явился на свет таким тщедушным, таким изну-

ренным, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня: если б не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребенок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал, — новорожденный действительно мог бы оправдать предсказанье. К этому надо прибавить, что воздух под лестницей не имел в самом деле настолько целебных свойств, чтобы в один день восстановить силы ребенка и развить его легкие до такой уже степени, что крик его мог кого-нибудь обеспокоить. Вернее всего, дело заключалось в желании удалить беспокойных родителей.

Месяц спустя швейцара потребовали в казармы; в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход.

Перед разлукой супруги снова сблизились; на проводах много было пролито слез и еще больше пива.

Но ушел муж — и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было; с ребенком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год.

Анну вызвали однажды в казармы, объявили, что муж убит, и выдали ей вдовый паспорт.

Обстоятельства ее, как каждый легко себе представит, несколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селедки и куска хлеба для себя и для мальчика; если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик, наверное бы, зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба наконец сжалилась над Анной. Благодаря участию соотечественницы Варвары, она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на Черной речке.

Здесь действительно можно было вздохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал; он мог всюду следовать за матерью и цепляться за ее подол сколько было душе угодно.

Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий люд расходился, оставались только женщины, служившие у хозяев. Утомленные работой и дневным жаром, женщины спускались на плот, усаживались по скамейкам, и начиналась на досуге нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смехом.

В увлечении беседы редкая из присутствующих заме-

чала, как прибрежные ветлы постепенно окутывались тенью и в то же время все ярче и ярче разгорался закат; как нежданно вырывался из-за угла соседней дачи косой луч солнца; как внезапно охваченные им макушки ветел и края заборов отражались вместе с облаком в уснувшей воде и как, одновременно с этим, над водою и в теплом воздухе появлялись беспокойно движущиеся сверху вниз полчища комаров, обещавшие такую же хорошую погоду и на завтрашний день.

Время это было бесспорно лучшим в жизни мальчика — тогда еще не гуттаперчевого, но обыкновенного, какими бывают все мальчики. Сколько раз потом рассказывал он о Черной речке клоуну Эдвардсу. Но Петя говорил скоро и с увлечением; Эдвардс едва понимал по-русски; отсюда выходил всегда целый ряд недоразумений. Думая, что мальчик рассказывает ему о каком-то волшебном сне, и не зная, что отвечать ему, Эдвардс ограничивался тем обыкновенно, что ласково проводил ему ладонью по волосам снизу вверх и добродушно посмеивался.

И так Анне жилось изрядно; но прошел год, другой, и вдруг, совершенно опять неожиданно, объявила она, что выходит замуж. «Как? Что? За кого?..» — слышалось с разных сторон. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомство, — никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха — человека ростом с наперсток, съезженного, с лицом желтым, как испеченная луковица, притом еще прихрамывающего на левую ногу, — ну, словом, как говорится, совершенного михрютку.

Никто решительно ничего не понимал. Всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с Черной речки, и еще громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил вотчима за галстук и начал душить его, между тем как мать с криком бросилась разнимать их.

Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Анны пожалеть о торопливости связать себя брачными узами. Но дело было сделано; каяться было поздно. Портной проводил день в мастерской; к вечеру только возвращался он в свою каморку, сопровождаемый всегда приятелями, в числе которых лучшим другом был тот, который собирался задушить его на свадьбе. Каждый приносил поочередно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся

обыкновенно свалкой. Тут доставалось всегда Анне, попадало также мимоходом на долю мальчика. Сущая была каторга! Худшим для Анны было то, что муж почему-то невзлюбил Петю; он косил на него с первого дня; при каждом случае он изловчался зацепить его и, как только напивался, грозил утопить его в проруби.

Так как портной пропадал по нескольку дней сряду, деньги все пропивались и не на что было купить хлеба. Анна, для прокормления себя и ребенка, ходила на поденную работу. На это время поручала она мальчика старушке, жившей в одном с нею доме; летом старуха продавала яблоки, зимою торговала на Сенной вареным картофелем, тщательно прикрывая чугунный горшок тряпкой и усаживаясь на нем с большим удобством, когда на дворе было слишком холодно. Она всюду таскала Петю, который любил ее и называл бабушкой.

По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал; одни говорили — видели его в Кронштадте; другие уверяли, что он тайно обменял паспорт и переселился на жительство в Шлиссельбург, или «Шлюшино», как чаще выражались.

Вместо того, чтобы свободнее вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она сделалась какою-то шальной, лицо ее осунулось, в глазах явилось беспокойство, грудь впала, сама она страшно исхудала; к жалкому ее виду надо еще то прибавить, что вся она обносилась; нечего было ни надевать, ни закладывать; ее покрывали одни лохмотья. Наконец однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла ее на улице в обессиленном от голоду состоянии. Ее свезли в больницу. Соотечественница ее, прачка Варвара, навестив ее раз, сообщила знакомым, что Анна перестала узнавать знакомых и не сегодня — завтра отдаст богу душу.

Так и случилось.

В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери. В последнее время он мало с ней виделся и потому отвык несколько; он жалел ее, однако ж, и плакал, — хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро; с низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег; подгоняемый порывами ветра, он колот лицо как иголками и волнами убегал по мерзлой дороге.

Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой

Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах; ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами; одежда на нем случайно была подобрана: случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках; случайным был кафтанишко, которого нельзя было бы надеть, если б не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс; случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу. Ознакомясь потом близко с усталостью ног и спины, он все-таки помнил, как уходился тогда, провожая покойницу.

На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определение по закону, куда следует; но как это сделать? К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие и притом практические люди. Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара.

III

Заглядывая к бабушке и встречая у нее мальчика Варвара брала его иногда на несколько дней к себе.

Жила она на Моховой улице в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка; они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Подымаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история; все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался; всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да, ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.

Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда

все господа ушли на репетицию и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата.

Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками; на голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок; на столе перед ним стояли три бутылки пива — две пустые, одна только что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая, как у быка, были красны; самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти!

По привычке охорашиваться перед публикой, он принял позу даже при виде прачки.

— Ну, вот, Карл Богданович... вот мальчик!.. — проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю.

Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке, Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад; Беккер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова, выходившие у него не то немецкими, не то совершенно неизвестного происхождения.

Тем не менее они понимали друг друга.

— Хорошо, — произнес акробат, — но я так не можно; надо раздевать малшик...

Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера; с последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил свое требование и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, начал кричать и биться, как цыпленок под ножом повара.

— Чего ты? Экой, право, глупенький! Чего испугался?.. Разденься, батюшка, разденься... ничего... смотри ты, глупый какой!.. — повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстегивала пуговицы на его панталонах.

Но мальчик решительно не давался: объятый почему-то страхом, он вертелся как выюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.

Карл Богданович потерял терпенье. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания

на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны; после этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голого поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию.

Прачке было жаль Петю; Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал; но, с другой стороны, она боялась вступить, так как сама привела мальчика и акробат обещал взять его на воспитанье в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает,— только посмотрит!..

Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колена, повернул его к себе спиной и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед, голова его опрокинулась назад и весь он как бы замер от боли и ужаса,— Варвара не могла уже выдержать; она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез.

— Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали!.. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя...— повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тот кивнул головою и налил новый стакан пива.

Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате; он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям,

с тем чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем.

Наконец все это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза.

Петя продолжал трястись, как в лихорадке; черты его худенького, болезненного лица как-то съеживались; в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка.

Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание.

— Ну, малшик, слуш,— сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети,— когда ты хочу там... (он указал на дверь),— то будет тут!! (он указал несколько ниже спины),— und fest! und fest!!¹ — добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво.

В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось.

На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевывала на летний сезон в Ригу.

В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверек, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика; но до того ли было! И все проходили мимо.

Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю; наметив глазами тот или другой угол, он уловлял минуту, когда подле никого не было, и скоро-скоро перебежал к намеченному месту.

Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей! Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущенной мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов; Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам.

Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался; но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпенья своего хозяина, он снова засыпал.

В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди; ко многим из них он

¹ И сильно! и сильно! (нем.)

успел присмотреться; многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке; раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть; при нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал о том только, как бы не заплакать...

Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике; Петя был легок, как пух, и гибок в суставах; недоставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами; но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретется от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой маневр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка; мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул; но только, когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе. последнее редко удавалось; Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею.

Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя; другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он скорее мог содействовать к разитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надежном порядке.

Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления.

В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница; поперек ее перекладин, на некоторой высоте от полу, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу, сначала пять минут, потом десять, — и так каждый день по несколько приемов. Разнообразие состояло в том.

что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу,—лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение; последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди.

Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика.

Начиналась брань и ссора,—после чего Пете приходилось иногда еще хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом.

Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмешь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян, что страх внушает несомненно робость, а робость первый враг гимнаста; потому что отымает у него уверенность и удаль; без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине.

В пример приводился часто акробат Ризлей, который так напугал собственных детей перед представлением, что когда пришлось подбросить их ногами на воздух,—дети раза два перекувырнулись в пространстве, да тут же прямехонько и шлепнулись на пол.

—Бросились подымать,—подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты,—подняли, глядь: оба fertig!¹ готовы! У обоих дух вон! Дурак Ризлей потом застрелился с горя,—да что ж из этого? Детей своих все-таки не воскресил: fertig! fertig!..

И странное дело: каждый раз как Эдвардс, разгоряченный беседой и пивом, принимался тут же показывать,

¹ Готовы! (нем.)

как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнение с большей ловкостью и охотой.

В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлепывая румянами два клякса на щеках, выводил его во время представления на арену; иногда, для пробы, Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы; но часто они изменяли ему; пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головою в песок,— чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях.

Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов; в руках Беккера дальнейшее развитие очевидно замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нем, стесняло ему мысли и чувства, заставляло горько плакать по ночам, когда, лежа на тюфячке, прислушивался он к храпению акробата.

И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом; он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища.

Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, по-видимому, все равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой,— оставались лохмотья, что белье на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и более других Эдвардс,— часто укоряли его в том; в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щелкал хлыстиком по панталонам.

Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно. Он хуже этого делал.

Раз, по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге; он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело учащенно целовал его в мокрую розовую мордочку.

Беккер, раздосадованный во время представления тем, что его публика не вызывала, возвращался во внутренний коридор; увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону; щенок ударился головой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки.

Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходившему в эту минуту из уборной.

Беккер, раздраженный окончательно тем, что вокруг слышалась брань, одним движением оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощечину.

— Schwein!¹ Швынья!.. тьфу!.. — сказал Эдвардс, отплевываясь с негодованием.

Но что уж дальше рассказывать!

Несмотря на легкость и гибкость, Петя был, как мы сказали выше, не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.

IV

Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение! Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разостлан был ковер также голубого цвета и стены оклеены были не слишком светлыми обоями.

В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками; они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было свое особое отделение.

Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кровати с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках — обозначали владения девочек; столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряженная в коляску, большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, — обозначали владения мужского пола. Комната эта так и называлась «игральной».

Рядом была учебная; дальше спальная, окна которой

¹ Свинья! (нем.).

всегда были закрыты занавесами, приподымавшимися там только, где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из нее, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней ее части клеенкой: с одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом; дальше блистали белизною две ванны с медными краями, изображавшими лебединые головки; подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе, по клеенчатой стене, висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликс каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красоту на их нежное тело.

В среду, на масленице, в игровой комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. Мудреного нет; вот что было здесь между прочим сказано: «Деточки, вы с самого начала масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда; если вы будете так продолжать,— вас в пятницу вечером возьмут в цирк!»

Слова эти были произнесены тетей Соней — сестрой графини Листомировой — девушкой лет тридцати пяти, сильной брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости; она постоянно носила черное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тетя Соня жила у сестры и посвятила жизнь ее детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходоваться и накопившихся с избытком в ее сердце.

Не успела она проговорить свое обещанье, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать ее; кто цеплялся за ее платье, кто усиливался влезть на ее колена, кто успел обхватить ее шею и осыпал лицо поцелуями; осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликс вошла в одну дверь, в другую вбежала молодая швейцарка, приглашенная в дом как учительница музыки для старшей дочери; за ними показалась кормилица, державшая новорожденного, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками.

— What is going on here?..¹ — удивленно осведомилась мисс Бликс.

Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающеюся грудью, красными щеками, как бы закапанными сургучом, и красною шеей свекловичного оттенка.

Тетя Соня объяснила вошедшим причину радости.

Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской веселости всех больше удивил Паф — пятилетний мальчик, единственная мужская отрасль фамилии Листомировых; мальчик был всегда таким тяжелым и апатическим, но тут, под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, — он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щеку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазами, — принялся изображать клоуна.

— Мисс Бликс! подымите его, подымите скорее, — ему кровь бросится в голову! — проговорила тетя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую.

— Дети, дети... довольно! Вы, кажется, не хотите больше быть умными... Не хотите слушать, — говорила тетя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Ну, не могла она этого сделать — не могла — не могла решительно!

Она обожала «своих детей», как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы.

Старшей девочке, Верочке, было уже восемь лет; за нею шла шестилетняя Зина; мальчику было, как сказано, — пять. Его окрестили Павлом; но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф — имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического, невозмутимого нрава, с шарообразною головою и круглым лицом, на котором единственною заметною чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотревшие вообще сонливо, проявляли также оживление и беспокой-

¹ Что здесь происходит? (англ.)

ство по утрам и вечерам, когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его донага и, поставив на клеенку, принималась энергически его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою; когда мисс Бликс при окончании такой операции возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струи воды по телу, превращавшемуся тотчас же из белого в розовое,— глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слез, и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздраженного, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляют кричать, нажимая им живот. Этим невинным писком, впрочем, все и оканчивалось. С исчезновением губки Паф умолкал мгновенно, и уже потом мисс Бликс могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, могла заворачивать ему голову, могла мять и тереть его,— Паф выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдобного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между теплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке.

Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен; но нельзя было не остановиться на нем, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фамилии графов Листомировых и, как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и меланхолически свешивая голову набок: «мол,— кто знает? — мог играть в будущем видную роль в отечестве?!»

Предрешать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было представление в цирке, старшая дочь, Верочка, вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата.

Едва-едва начинался между ними признак разлада,— она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу и, поочередно целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие.

Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка: тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесенное яичко, с голубыми жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то

всегда прямо, не по летам внимательно; но лучшим украшением Верочки были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шелк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Паф мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода,— но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги; помимо ее миловидности, ее любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Еще четырех лет она с самым серьезным видом входила в гостиную и, сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щеку. К ней даже особенно как-то относились, чем к другим детям. Вопреки давно принятому обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращенные и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как ее настоящим именем. Верочка была — Верочкой и осталась.

Что говорить, у нее, как и у всякого смертного, были свои слабости, вернее, была одна слабость; но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением ее характеру и наружности. Слабость Верочки, заключавшаяся в сочинении басен и сказок, проявилась первый раз, как ей минул шестой год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню и тут же, нимало не смущаясь, с самым убежденным видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую, и, несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок воображение и без того уже впечатлительной и нервной девочки, Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподыматься с постели, заслышав какой-то странный шепот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись, что девочка, вместо того чтоб спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно, — приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью.

Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав

как-то в гостиную и застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи; напрасно уверяли мать и сам Тютчев,— Верочка стояла на своем; поглядывая недоверчиво на старика своими большими и голубыми глазами, она повторяла:

— Нет, мама, это не может быть!..

Заметив наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слезы:

— Я думала, мама, что стихи сочиняют только ангелы...

С самой среды, когда обещано было представление в цирке, до четверга благодаря нежной заботливости Верочки, ее уменью развлекать сестру и брата оба вели себя самым примерным образом. Особенно трудно было справиться с Зизи — девочкой болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданиям и капризам.

В четверг на масленице тетя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что, так как дети были умны, она проездом в город желает купить им игрушек.

Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Паф также оживился и заморгал своими киргизскими глазками.

— Ну, хорошо, хорошо,— сказала тетя Соня,— все будет по-вашему: тебе, Верочка, рабочий ящик,— ты знаешь, папá и мамá не позволяют тебе читать книг; тебе, Зизи, куклу...

— Которая бы кричала! — воскликнула Зизи.

— Которая бы кричала! — повторила тетя Соня,— ну, а тебе, Паф, тебе что? Что ты хочешь?..

Паф задумался.

— Ну, говори же, что тебе купить?..

— Купи... купи собачку — только без блох!.. — добавил неожиданно Паф.

Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тетя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившаяся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормошить будущего представителя фамилии.

После этого все снова повисли на шее доброй тети и докрасна зацеловали ее шею и щеки.

— Ну, довольно, довольно,— с ласковой улыбкой произнесла тетя,— хорошо; я знаю, что вы меня любите; и я люблю вас очень... очень... очень!.. Итак, Паф, я куплю тебе собачку: будь только умен и послушен; она будет без блох!..

V

Наступила наконец так нетерпеливо ожидаемая пятница. За четверть часа до завтрака тетя Соня вошла в «маленькую» столовую, так называемую для отличия ее от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже прошли туда из своих уборных.

Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приемами утонченного дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, все ли на нем в порядке. Два другие лакея, похожие на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками.

Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон.

— Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк? — произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тете Соне и в то же время украдкой поглядывая на мужа.

— Отчего же? — весело возразила тетя, усаживаясь подле самовара,— я смотрела афишку: сегодня не будет выстрелов, ничего такого, что бы могло испугать детей,— наши детки были, право, так милы... Нельзя же их не баловать! К тому же удовольствие это было им обещано.

— Все это так,— заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошел в эту минуту к столу и занял обычное свое место,— но я всегда боюсь этих зрелищ... Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны...

Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графине, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом не вышло привычного заключения, что все в доме творится без его совета и ведома.

Но граф и тут ничего не сказал.

Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих,— хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере его мыслей, так как он больше ограничивался

намеками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумысли и как бы говорил самому себе: «не стоит!» Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость.

Задумчивое настроение графа согласовалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом, замечательно длинным-длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног,— и напрасно это делал; по справедливости, ему следовало бы даже гордиться худобою ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех графов Листомировых.

Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица, с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно уходившем между сплюснутыми боками головы, большею частью склоненной набок.

Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая высказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли еще не в то время, когда ему минуло девятнадцать лет и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как версты по шоссейной дороге,— ничего только из этого не вышло.

На первых порах граф принимался как бы действовать и даже много говорил; но тут же неожиданно умолкал и удалялся, очевидно чем-то неудовлетворенный. Мысли ли его были не поняты как следует, или действия не оценены по справедливости,— только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры,— если не считать, конечно, несколько звезд на груди и видного придворного чина.

Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот.

Граф был только аккуратен. Прирожденное это свойство доходило, правда, до педантизма, но, в сущности, было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенною на том

самом месте, где была однажды положена; каждый мельчайший предмет имел свой определенный пункт. Если, например, мундштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался / в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы: кто переставил? зачем? почему? и т. д.

Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой; время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозвав камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось ему, встречался беспорядок. Деспотом граф также не мог быть по той причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего ограничивался тремя словами: «*Tu penses? Tu crois? Quelle idée!..*»¹ — и только.

С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами в какой-то далекий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую. Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы. Граф внимательно сосчитывал деньги, нетерпеливо всегда переворачивая бумажку, когда номер был кверху или книзу и не подходил с другими, запирали пачку в ящик, прятал ключ в карман и, приблизившись к окну, пощипывая усики, произносил всегда с грустью: «Охо-хо-хо-хо!!» — после чего начинал снова расхаживать по дому, задумчиво убирая все, что казалось ему лежащим неправильно.

Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, всосанных, так сказать, с молоком. Не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался вдвоем с женою, — и находя это необходимым потому, что это... это всегда поддерживает — именно поддерживает... — но что поддерживает, — это граф никогда не досказывал.

— *Tu crois? Tu penses? Quelle idée!..* — Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и тетей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную даль и выпускал из груди несколько вздохов, — из

¹ Ты думаешь? Ты полагаешь? Какая мысль! (франц.)

чего жена и тетя Соня с огорченным чувством заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением.

Тогда обыкновенно наступала очередь тети Сони утешать сестру — когда-то весьма красивую, веселую женщину, но теперь убитую горем после потери четверых детей и страшно истощенную частыми родами, как вообще бывает с женами меланхоликов.

На больших булевских часах столовой пробило двенадцать.

С последним ударом граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую.

— Отчего же детей нет? — торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тетю Соню, — мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в двенадцать часов; скажите мисс Бликс, что завтрак давно готов! — обратилась она к буфетчику.

Но в эту самую минуту один из лакеев растворил настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую.

Завтрак прошел, по обыкновению, очень чинно.

Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею, громко играли и говорили; сильные изъявления каких бы то ни было чувств пробуждали в нем всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения и неловкости.

На этот раз, по крайней мере, граф мог быть довольным. Зизи и Паф, предупрежденные Верочкой, не произнесли слова; Верочка не спускала глаз с сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое их движение.

С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своею обязанностью заявить графине, что никогда еще не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры, и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке.

При этом известии Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с такою силой, что на секунду совершенно заслонила ее лицо своими пушистыми волосами; таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мундштук с пахитоской. От

отца Верочка перебежала к тете Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору, и в глаза, в щеки, в подбородок, в нос — словом, всюду, где только губы девочки могли встретиться с лицом тетки. Зизи и Паф буквально проделали тот же маневр, но только, надо сказать, — далеко не с таким воодушевлением.

Верочка между тем подошла к роялю, на котором лежали афишки; положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно-вопрошающим голосом:

— Мама... можно?... Можно взять эту афишку?..

— Можно.

— Зизи! Паф! — восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой, — пойдемте скорее!.. Я расскажу вам все, что мы сегодня увидим в цирке; все расскажу вам!.. Пойдемте в наши комнаты?..

— Верочка!.. Верочка! — слабо, с укором, проговорила графиня.

Но Верочка уже не слышала; она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс.

В игровой комнате, освещенной полным солнцем, стало еще оживленнее.

На низеньком столе, освобожденном от игрушек, разложена была афишка.

Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие: и тетя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, — все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного бока, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец с помощью тети и это уладилось.

Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению.

— Милая моя, — тихо произнесла тетя Соня, — зачем же ты читаешь нам, в каком цирке, в какой день, какого числа; все это мы уже знаем; читай лучше дальше: в чем будет заключаться представление...

— Нет уж, душечка тетя; нет уж, ты только не мешай мне, — убедительно и с необыкновенною живостью перебила

Верочка, — ангельчик тетя, не мешай!.. Уж я все прочту... все, все... что тут напечатано... Ну, слушайте:

— *«Парфорсное упражнение на неоседланной лошади. Исполнит девица...»* Тетя, что такое парфорсное?

— Это... это... Вероятно, что-нибудь очень интересное... Сегодня сами увидите! — сказала тетя, стараясь выйти из затруднения.

— Ну, хорошо, хорошо... Теперь все слушайте; дальше вот что: *«Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции...»* Это, тетя, что же такое трапеция?.. Как это будет? — спросила Верочка, отрываясь от афишки.

— Как будет? — нетерпеливо подхватила Зизи.

— Как? — произнес в свою очередь Паф, поглядывая на тетю киргизскими глазками.

— Зачем же я буду все это вам рассказывать! Не лучше ли будет, когда сами вы увидите...

Затруднение тети возрастало; она даже несколько покраснела.

Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром:

— *«Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в шесть аршин!..»* Нет, душечка тетя, это уж ты нам расскажешь!.. это уж расскажешь!.. Какой же это мальчик? Он настоящий? живой?.. Что такое: гуттаперчевый?

— Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий... наконец, вы это увидите...

— Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте?.. Как это он будет делать?..

— Как будет он делать? — подхватила Зизи

— Делать? — коротко осведомился Паф, открывая рот.

— Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много... Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером все это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала; ну, что ж дальше?..

Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такою живостью; интерес заметно ослаб; он весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевом мальчике; гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора.

Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке; они оставили свои табуреты

и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками — что всякий раз вызывало восклицание у тети Сони, боявшейся, чтоб кровь не бросилась ему в голову.

Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату.

Никогда еще не было так весело в игровой комнате.

Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, веселые, покрасневшие лица, играло на разбросанных повсюду пестрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, теплым светом. Все, казалось, здесь радовалось и ликовало.

Тетя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала ее доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой; давно примирилась с неудачами жизни. И прежние мечты свои, и ум, и сердце — все это отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем...

Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонило большой серой тучей и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего уже нельзя было видеть; метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья.

Первое чувство тети Сони — было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещания, данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладело и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тете и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила:

— Это ничего, тетя?.. Мы в цирк поедem?..

— Ну, конечно... конечно! — поспешила успокоить тетя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть.

Но уже с этой минуты в миловидных чертах Верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной веселости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивала у

каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, как тетя Соня выходила из детских комнат и спустя несколько времени возвращалась назад, она всегда встречалась с голубыми глазами племянницы; глаза эти пытливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей: «Ты, тетя, ты ничего, я знаю; а вот что там будет, что папá и мамá говорят...»

Худенькая Зизи и неповоротливый Паф были гораздо доверчивее: они также высказывали беспокойство, но оно было совсем другого рода. Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тете и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший встречаем был тем же вопросом:

— Какой час?..

— Пятый в начале.

— А скоро будет семь?

— Скоро; подождите немножко.

Детский обед прошел в расспросах о том, какая погода и который час.

Тетя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия. Зизи и Паф хотя и волновались, но еще верили; что ж касается Верочки,— известие о том, что метель все еще продолжается, заметно усиливало ее беспокойство. По голосу тетки, по выражению ее лица она ясно видела, что было что-то такое, чего тетя не хотела высказывать.

Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тетя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину; с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк.

Вихрем все поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещенной теперь лампами. Пришлось страшать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать.

— Пойдемте теперь; надо проститься с папá и мамá,— проговорила тетя, взяв за руку Верочку и пропуская вперед Зизи и Пафа.

Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие. Церемония прощанья не была продолжительна.

Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова

внимательно осмотрели и прикутали и наконец выпустили на подъезд, перед которым стояла четырехместная карета, полузанесенная снегом. Лакей величественного вида, с галунами на шляпе и на ливрее, с бакенами á l'anglaise¹, побелевшими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому, седому швейцару; он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трем дамам; и надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умиленного благоговения.

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели.

VI

Представление в цирке еще не начиналось. Но на масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика, по обыкновению, запаздывала. Чаше и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти лица при входе с улицы в ярко освещенную залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом оправлялись, проходили — кто направо, кто налево вдоль барьера, и занимали свои места в бенуарах и креслах.

Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста.

Вскоре бенуары над ковровым обводом барьера представили почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза. Но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера.

Между ними всех милее была все-таки Верочка!

Голубая атласная стеганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к ее нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, ниспадавшим до плеч, прикрытых такою же стеганой голубой мантильей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая,

¹ По-английски (франц.).

она не могла, однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то Зизи и Пафу и не поглядывать веселыми глазами на тетю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой.

Зизи была одета точь-в-точь как сестра, но подле нее она как-то пропадала и делалась менее заметной; к тому же при входе в цирк ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещания тети, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое.

Один Паф, можно сказать, был невозмутим; он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недаром какой-то шутник, указывая на него соседям, называл его тамбовским помещиком.

Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавесь у входа в конюшню раздвинулась и пропустила человек двадцать, одетых в красные ливреи, обшитые галуном; все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады.

Сверху донизу цирка прошел одобрителный говор.

Представление начиналось.

Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться, по обыкновению, в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену.

Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нем тотчас же любимца Эдвардса.

— Браво, Эдвардс! Браво! Браво! — раздалось со всех сторон.

Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной шутки; кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу; он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и ни вызывали его, он не являлся.

На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая на все стороны, пятнадцатилетняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром, во время представления.

На этот раз все прошло, однако ж, благополучно.

Девицу Амалию сменил жонглер; за жонглером вышел клоун с учеными собаками; после них танцевали на проволоке; выводили лошадь высшей школы, скакали на од-

ной лошади без седла, на двух лошадях с седлами, — словом, представление шло своим чередом до наступления антракта.

— Душечка тетя, теперь будет гуттаперчевый мальчик, да? — спросила Верочка.

— Да; в афише сказано: он во втором отделении... Ну что, как? Весело ли вам, деточки?

— Ах, очень, очень весело!.. О-че-нь! — восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Бликс, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью.

— Ну, а тебе, Зизи?.. тебе, Паф, — весело ли?..

— А стрелять будут? — спросила Зизи.

— Нет, успокойся; сказано: не будут!

От Пафа ничего нельзя было добиться; с первых минут антракта все внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимся на руках разносчика.

Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение.

— Когда же будет гуттаперчевый мальчик? — не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой, — когда же он будет?..

— А вот, сейчас...

И действительно. Под звуки веселого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика.

Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блестками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест, с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались, по обыкновению, красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большою бабочкою на груди.

Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, — после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление.

Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватившему живот, и начал приводить



в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка.

Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься кверху.

Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую.

Громкое «браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг наконец верхушки шеста и послал оттуда поцелуй.

Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс.

Мальчик между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо, тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками.

Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.

— Браво!.. браво!.. — раздалось снова в зале.

— Довольно!.. довольно!! — слышалось в двух-трех местах.

Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй.

Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.

Все шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги; он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине.

— Довольно! Довольно! Не надо! — настойчиво прокричало несколько голосов.

Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою...

Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе; в ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену.

В один миг все заволновалось в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела; раздались крики и женский визг; слышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица; прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьеру, закрывавшей вход в конюшню.

На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладиной на одном конце.

Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку; на арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов; но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу.

Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье; обвивая руками шею дамы в черном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай, мальчик! мальчик!!»

Положение тети Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована; с другой — надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку, с третьей — надо было торопить мисс Бликс и швейцарку, копавшихся с Зизи и Пафом, наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея.

Все это, однако ж, уладилось, и все благополучно достигли кареты.

Расчеты тети Сони на действие свежего воздуха, на перемещение в карету несколько не оправдались; затруднения только возросли. Верочка, лежа на ее коленях, продолжала, правда, рыдать, по-прежнему вскрикивая поминутно: «Ай, мальчик! мальчик!!» — но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Паф плакал, не закрывая рта, валился на всех и говорил, что ему спать хочется... Первым делом тети, как только приехали домой, было раздеть скорее детей и уложить их в постель. Но этим испытания ее не кончились.

Выходя из детской, она встретилась с сестрой и графом.

— Ну что? как? Как дети? — спросили граф и графиня.

В эту самую минуту из спальни слышалось рыдание, и голос Верочки снова прокричал: «Ай, мальчик, мальчик!...»

— Что такое? — тревожно спросил граф.

Тетя Соня должна была рассказать обо всем случившемся.

— Ах, mon Dieu!¹ — воскликнула графиня, мгновенно ослабевая и опускаясь в ближайшее кресло.

Граф выпрямился и начал ходить по комнате.

— Я это знал!.. Вы всегда так! Всегда!! — проговорил он, передвигая бровями не то с видом раздражения, не то тоскливо, — всегда так! Всегда выдумают такие-то... цирк; гм!! очень нужно! quelle idée!! Какой-то там негодяй сорвался... (граф, видимо, был взволнован, потому что никогда, по принципу, не употреблял резких выражений), — сорвался какой-то негодяй и упал... какое зрелище для детей!.. Гм!! наши дети особенно так нервны; Верочка так впечатлительна... Она теперь целую ночь спать не будет...

— Не послать ли за доктором? — робко спросила графиня.

— Tu crois? Tu penses? Quelle idée! — подхватил граф, пожимая плечами и продолжая отмеривать пол длинными своими ногами...

Не без труда успокоив сестру и графа, тетя Соня вернулась в детскую.

Там уже наступила тишина.

Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены и все окончательно утомилось, тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свечку и снова прошла в детскую. Едва переводя дух, бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки и подняла кисейный полог.

Разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под покрасневшую щечку, Верочка спала; но сон ее не был покоен. Грудь подымалась неровно под тонкой рубашкой, полураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившейся от недавних слез, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила в углу рта.

Тетя Соня умиленно перекрестила ее; сама потом перекрестилась под кофтой, закрыла полог и тихими, неслышными шагами вышла из детской...

¹ Ах, боже мой! (франц.)

Ну... А там? Там, в конце Караванной... Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега,— там что?..

Там также все темно и тихо.

Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты; на тюфяке лежит ребенок с переломленными ребрами и разбитою грудью...

Ночник освещает его с головы до ног; он весь обвязан и забинтован; на голове его также повязка; из-под нее смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз.

Вокруг, направо, налево, под потолком,— все окутано непроницаемою темнотою и все тихо.

Изредка раздается звук копыт из конюшни или доходит из отдаленного чулана беспокойное взвизгиванье одной из ученых собак, которой утром во время представления придавили ногу.

Время от времени слышатся также человеческие шаги... Они приближаются... Из мрака выступает человек с лысой головою, с лицом, выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу, и красными кружками на щеках; накинутае на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блестками, нашитую на груди камзола; он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается...

Но клоун Эдвардс, очевидно, не в нормальном состоянии. Он не в силах выдержать до воскресенья обещания, данного режиссеру, не в силах бороться против тоски, им овладевшей; его настойчиво опять тянет в уборную, к столу, где едва виднеется почти опорожненный графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головою и отходит от мальчика нетвердыми шагами. Облик его постепенно затухает, окружющею темнотою, пропадает наконец вовсе,— и снова все вокруг охватывает мраком и тишиною...

На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений «гуттаперчевого мальчика». Имя его и потом не упоминалось; да и нельзя было: гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Утехин. Д. В. Григорович	5
Петербургские шарманщики. <i>Рассказ</i>	23
Деревня. <i>Рассказ</i>	48
Антон-Горемыка. <i>Повесть</i>	111
Бобыль. <i>Рассказ</i>	215
Капельмейстер Сусликов. <i>Повесть</i>	235
Пахарь. <i>Повесть</i>	272
В ожидании парома. <i>Рассказ</i>	309
Кошка и мышка. <i>Повесть</i>	346
Пахатник и бархатник. <i>Повесть</i>	413
Гуттаперчевый мальчик. <i>Повесть</i>	486

Дмитрий Васильевич Григорович

ИЗБРАННОЕ

Рецензент
В. МЕЩЕРЯКОВ

Редактор
О ГОЛЕВА

Художественный редактор
Е АНДРЕЕВА

Технические редакторы
Г БОЙЦОВА, В ЮРЧЕНКО

Корректор
Г ПАНОВА

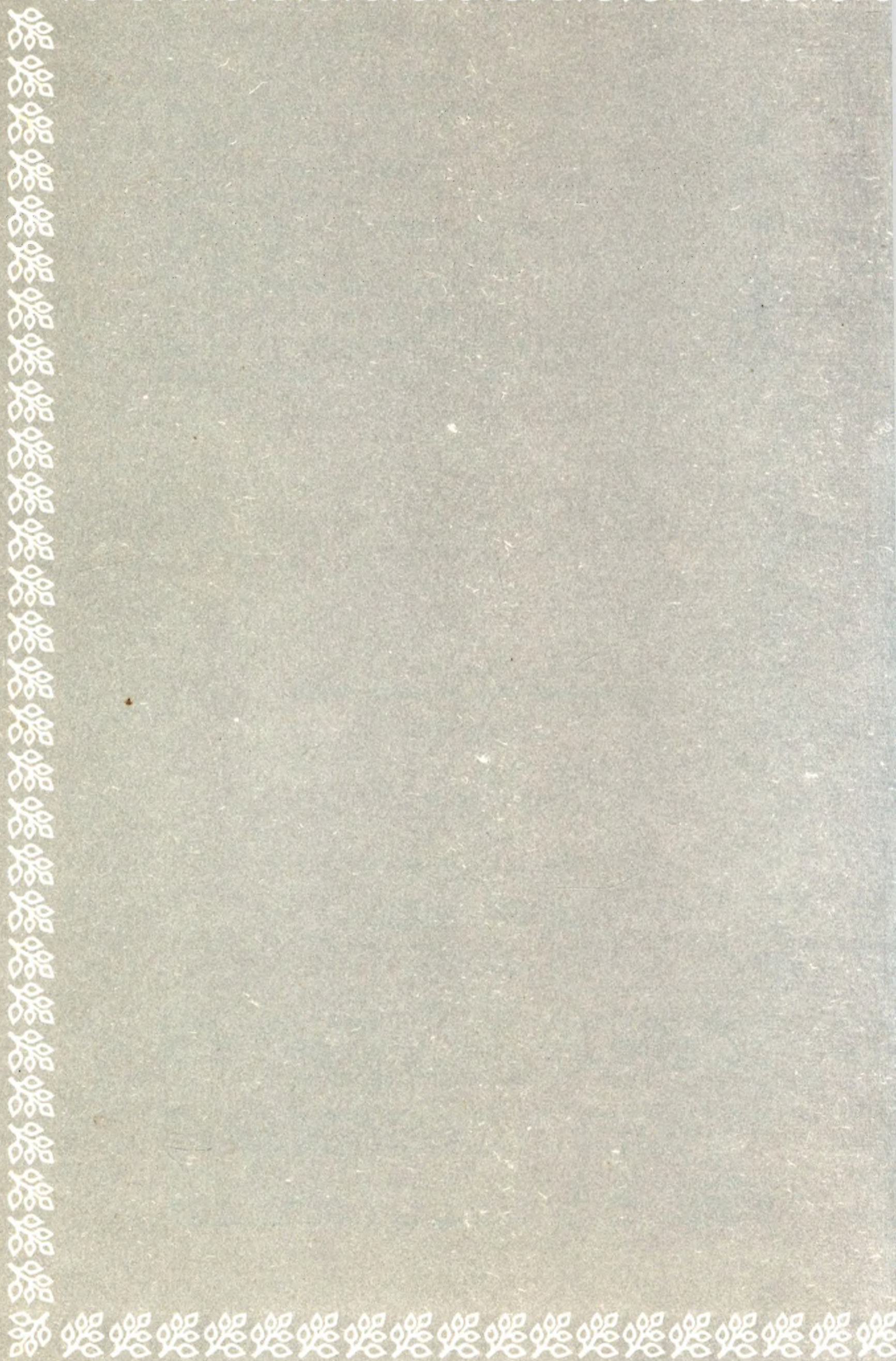
ИБ № 2796

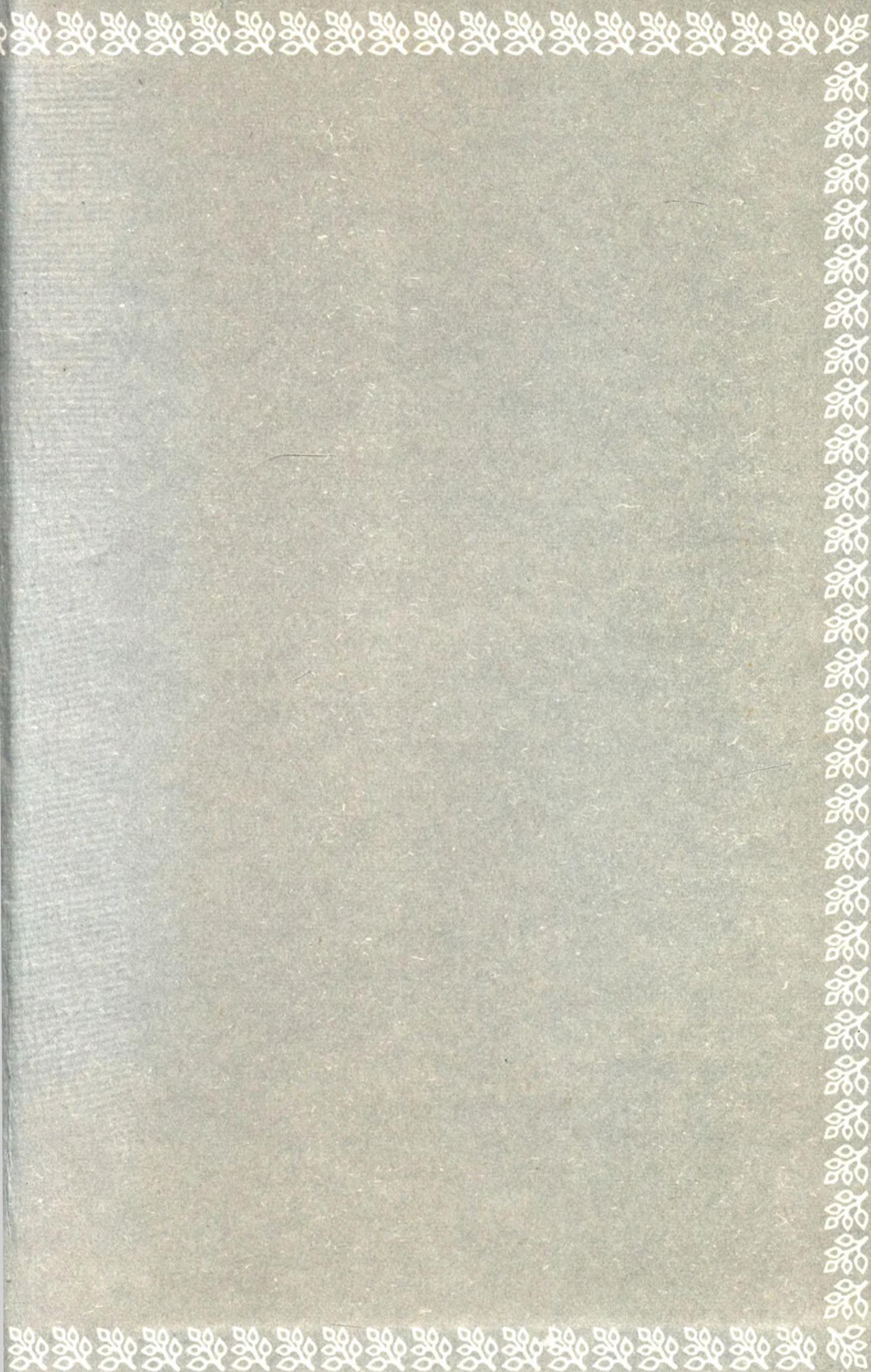
Сдано в набор 12.05.83. Подписано к печати 14.11.83. Формат
84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип № 2
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 31,05. Тираж
200 000 экз. Заказ 2578. Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писа-
телей РСФСР 121351, Москва, Г 351, Ярцевская, 4

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат
детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома
Госкомиздата РСФСР Калинин, проспект 50-летия Октября, 46







128000811

Li.

Ipul

Journal

0000811

128000